

ACTA ANTIQUA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

A. DOBROVITS, J. HARMATTA, GY. MORAVCSIK

REDIGIT

I. TRENCSENYI-WALDAPFEL

TOMUS IV

FASCICULI 1-4



1956

ACTA ANT. HUNG.

ACTA ANTIQUA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21

Az *Acta Antiqua* német, angol, francia, orosz és latin nyelven közöl értekezéseket a klasszika-filológia köréből.

Az *Acta Antiqua* változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet.

A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők :

Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440.

Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés.

Az *Acta Antiqua* előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Bankszámla 43-790-057-181) vagy külföldi képviselőinél és bizományosainál.

Die *Acta Antiqua* veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der klassischen Philologie in deutscher, englischer, französischer, russischer und lateinischer Sprache.

Die *Acta Antiqua* erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band.

Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden :

Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440.

An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten.

Abonnementspreis pro Band: 110 forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussenhandels-Unternehmen »Kultura« (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

ACTA ANTIQUA

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

ADIUVANTIBUS

A. DOBROVITS, J. HARMATTA, GY. MORAVCSIK

REDIGIT

I. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL

TOMUS IV



1956

ACTA ANT. HUNG.

INDEX

Э. Беке: Возникновение падежей в индоевропейских и финно-угорских языках ..	1
I. Borzák: Otium Catullianum	211
Д. Чаллань: Памятники византийского металлообрабатывающего искусства II ..	261
A. Dávid: Un fragment de brique sigillée de Nabû-kudurri-ušur II.	31
A. Förster: Prolegomena metrica	171
†М. Gyóni: Les variantes d'un type de légende byzantine dans la littérature ancienne-islandaise	293
Э. Марони: Пиратство около Сицилии во время пропреторства Верреса	197
A. Mócsy: Die Entwicklung der Sklavenwirtschaft in Pannonien zur Zeit des Prinzipates	221
Дь. Надор: Фатализм и верование в чудеса в мировоззрении эллинизма	153
T. Nagy: Les campagnes d'Attila aux Balkans et la valeur du témoignage de Jordanès concernant les Germains	251
M. Riemschneider: Die Herkunft der Philister	17
W. Ruben: Der Minister Jābāli in Vālmīkis Rāmāyaṇa	35
Á. Szabó: Achilleus, der tragische Held der Ilias	55
A. Szabó: Wie ist die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft geworden?	109
Scriptores Graeci et Latini. Nouvelles éditions bilingues de l'Académie Hongroise des Sciences (J. Gy. Szilágyi)	315
R. Bianchi-Bandinelli: Situazione dell' arte greca nella cultura contemporanea (J. Gy. Szilágyi)	322
Moravcsik Gy.: Bizánc és a magyarság (Gy. Moravcsik: Byzantium and the Hungarians) (†М. Gyóni)	326
Horváth J.: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái (J. Horváth: Stilprobleme unserer lateinsprachigen Literatur der Arpadenzeit) (J. Gerics)	330

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАДЕЖЕЙ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ И ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

Вопрос о родстве финно-угорских и индоевропейских языков издавна интересует лингвистов. В последнее время Н. Sköld (FUF XVIII, 216—231) В. Collinder, *Indo-uralisches Sprachgut*. Uppsala 1934. стремился уже установить некоторые звуковые законы, несмотря на то, что число принятых лексических соответствий не превышало 16.

Хотя родство названных языковых семейств и оспоримо, все же для исследователей индоевропейских и финно-угорских языков весьма полезно взаимно следить за результатами друг друга, тем более, что есть вопросы, которые не поддаются выяснению при помощи родственных языков, но приходится пользоваться явлениями языков другой семьи, ибо последние могут не только осветить их, но и способствовать окончательному разрешению таковых. Лингвисты неоднократно пользовались этой возможностью. Хирт, например, в своем труде «Über den Ursprung der Verbalflexien im Indogermanischen» (IF, XVII) определил понятие о неопределенном падеже индоевропейских языков с помощью якутской грамматики Бётлингга.

I

Учение о падежах индоевропейских языков тоже является областью, заключающей в себе целый ряд спорных вопросов. Прежде всего неизвестно, имела ли первоначально индоевропейская система падежей характера обстояательства места. Эта неуверенность относится главным образом к дательному падежу, ибо местный характер локатива и аблатива не подлежит сомнению. Дельбрюк в свое время (KZ, XVIII 100) выразился положительно по отношению к дательному падежу, подчеркнув, что когда-то он тоже выражал обстоятельство места, но позднее, в своем сравнительном синтаксисе (*Vergl. Syntax* I, 185) отказался от этого мнения, и к его отклонению присоединился и Хирт (IF, XVII, 47). В своем труде «*De dativo Latino*» (Helsingfors 1904) Густавссон тоже высказался за происхождение дательного падежа из части предложения, обозначавшей обстоятельство места, а Бругманн (*Grundriss* II, 2², 473, 548) считал оба мнения приемлемыми. Солмсен (KZ, XLIV, 167) исходил из индоевр. дательного падежа на *-ai с оттенком значения обстояательства цели (ср. неопр. наклонения с окон-

чаниями *-μεναι*), равно как и из другого дательного падежа, оканчивавшегося на **-ei* (ср. оск. *-ei*, кипр. *ΛιFei-φίλος* и т. д.).

Но если мы рассмотрим систему падежей других языковых семейств, то увидим, что части предложения, выражающие какие-либо обстоятельства, обозначают место действия отчасти на вопрос где?, отчасти же на вопросы откуда? и куда? Например, осм. *su* 'вода': *su-da* 'в воде', 'у воды', *su-dan* 'из воды', 'от воды', *su-ja* 'в воду', 'к воде'; маньс. *Ās-vūta-t* 'на берегу' [р.] Оби, *joli-tḡrēm-t* 'на земле' (дословно: 'на нижнем небе'), *Ta'it taləx-t* 'у источника' [р.] Сосвы, *sun-puṅkə-t* 'в передней части' (дословно: 'на голове') саней, *tḡrēm-t* 'в небесах', *vit-tə* 'в воде'; — *puṅkə-nəl* 'от головы', *kan-nəl* 'от места', *śārīs-nəl* 'от моря', *upä-nəl* 'от свекра', *tḡrēm-nəl* 'из небес'; — *urə-n* 'на гору', *porä-n* 'на плот', *tḡrēm-nə* 'в небеса', 'к небесам', *mā-nə* 'на землю', *vitə-n* 'в воду'.

Вышеупомянутые направления в большинстве финно-угорских языков специализировались и дальше. В каждом направлении можно выразить, где совершается действие, внутри, на верху или возле чего-либо. См. венг. *ház-ban* 'в доме', *ház-ból* 'из дома', *ház-ba* 'в дом'; — *ház-on* 'на доме', *ház-ról* 'с дома', *ház-ra* 'на дом'; — *ház-nál* 'возле дома', *ház-tól* 'от дома', *ház-hoz* 'к дому'. Эти обстоятельства места образуются не первоначальными, односложными окончаниями, а при помощи более сложных аффиксов, возникших из послелогов. Эта специализация в некоторых языках не так развита и окончания выражают только то, что действие совершается внутри или вне чего-нибудь, см. фин. *puu-ssa* 'в дереве', *puu-sta* 'из дерева', *puu-hun* 'в дерево'; — *puu-lla* 'на дереве', 'возле дерева', *puu-lta* 'с дерева', 'от дерева', *puu-lle* 'на дерево', 'к дереву', *pöydä-llä* 'на столе', *pöydä-ltä* 'со стола', 'от стола', *pöydä-lle* 'на стол'.

Из части предложения, обозначающей обстоятельство места, развился целый ряд обстоятельств с переносным смыслом. Это развитие происходило по двум направлениям. 1. Из локатива образовались части предложения, выражающие обстоятельство времени на вопрос когда?, из латива же и аблатива возникли части предложения, обозначающие обстоятельство времени на вопросы до каких пор? и с каких пор? 2. Потом развились и части предложения, выражающие обстоятельство состояния, начала или конца действия (дательный падеж и транслатив), а затем и части предложения, выражающие обстоятельство образа, причины и цели действия.¹

¹ Для образования обстоятельства времени из обстоятельства места см. венг. *táj* 'район, край, местность' ~ *dél tájban* 'к полудню', *akkor tájban* 'к тому времени', *a század közepe táján* 'к середине столетия'; *nyom* 'след' ~ *nyomban* 'сейчас же' (ср. лат. *in vestigio*, *e vestigio*, нем. *auf der Stelle*); *hely* 'место' ~ диал. *hejbe* (< *helyben*), *hejből* (< *helyből*) 'сразу'; *ahajt* (< *az helyt*) 1. 'там'; 2. 'позже', *ehejt* (< *e helyt*) 1. 'здесь', 2. добавочное слово без особого значения; *azonnal*, *ezennel* < устарелые выражения (из XVI столетия): *azon hel(y)t*, *azon hel(y)en*, *ezen hel(y)t* 'сейчас' (ср. лат. *ilico*, *illico* < *in loco*); *mi-helyt* 'как только', *legott*, *legottan* 'сейчас', *ottan* (уст.) 'сейчас', *iz-i-ben* 'немедленно, сейчас', *ut-á-n* 'за чем, после чего' (первонач. 'по пути прошлого'), см. нем. *da* 1. 'здесь, там', 2. 'ныне, теперь'.

Подобно урало-алтайским языкам, индоевропейские языки, по всей вероятности, также имели — кроме локатива и аблатива — латив (отвечающий на вопрос куда?), который идентичен с дательным падежом, подлинное значение которого, выражающее обстоятельство места, сохранилось в некоторых индоевропейских языках, ср. др.-инд. *grāmāya gacchati* 'er geht zum Dorfe'; пāли *sakunto jālamutto va appo saggāya gacchati* 'wenige gehen zum Himmel wie ein von Netz befreiter Vogel';² церк. слав. *bogovi prichodiši* 'du kommst zu Gott', др.-русск. *убежа нову городу* 'er floh nach Novgorod', серб. *idem ocu svojemu* 'ich gehe zu meinem Vater', *vode njega dvoru bijelome* 'führen ihn zum weissen Hause'; лат. *it clamor coelo* (ср. *eo* 'туда', *quo* 'куда?'); др.-верхненем. *botoŋ quement mīne thir* 'meine Boten werden zu dir kommen'; гр. *χαμ-αί*, лат. *hum-ī* 'zur Erde hin'; церк. слав. *domovi* 'nach Hause', *dolu* 'hinunter', *nizu* 'herab' *vūnu* 'hinaus' (см. Delbrück I, 177, 184, 289; Brugmann, Grundriss II/2², 553, 703, Kurze Vgl. Grammatik 432, 453; Miklosich, Vergl. Grammatik d. sl. Sprachen IV, 579; Vondrak, Vgl. Slav. Gr. II, 360).

Дательный падеж ничто иное, как латив, употребляющийся в переносном смысле. Об этом свидетельствуют не только современные индоевропейские (см. англ. *to* = нем. *zu*, франц. *à* < лат. *ad*), но и урало-алтайские языки, в которых окончание латива служит для обозначения дательного падежа. Напр., осм. *kīz-a* 'девушке', *kuš-a* 'птице', *deli-je* 'дураку'; каз. тат. *ata-γa* 'отцу', *jil-gä* 'ветру'; — маньс. *āmp-nə* 'собаке', *xum-nə* 'мужчине', хант. *svm-na* 'глазу', *xoil-na* 'человеку'. С окончанием аллатива образуются: коми *tšoi-lj* 'сестре', *niļis-lj* 'его дочери'; мари *pi-lan* 'собаке', *rāβāž-lan* 'лисице', *βatš-lan* 'женщине'; фин. *kuninkaa-lle* 'королю', *köyhi-lle* 'бедным', *sinu-lle* 'тебе'. — Окончание *-nak*, *-nek* венгерского дательного падежа представляло собой когда-то окончание, выражающее направление вообще, ср. *nekimenni valaki-nek* 'напасть на кого', *fejfel megy a fal-nak* 'бьется головой об стену', *az erdő-nek tart* 'идет к лесу', *dél-nek tart* 'держит курс к югу', *nyugat-nak visz az út* 'дорога ведет к западу', *Duná-nak megy* 'бросается в Дунай'. Относительно употребления окончания *-nak -nek*

² По мнению Дельбрюка (ук. соч. I, 177) за *dativus finalis* считаются такие формы, как, например, др.-инд. *ēdhēyo vrajati* 'er geht nach Brennholz'. В таких случаях в урало-алтайских языках появляется латив, см. осм.-тур. *odun-a gider* 'er geht um Holz', каз. тат. *ul urmanya utinya bargan* 'er ging in den Wald um Holz', *alar siuya töstölär* 'sie gingen zum Fluss um Wasser', *bolonya pečängä bordiñ* 'du gingest auf die Wiese Heu zu machen'. В финском языке применяется иллатив или аллатив, ср., например, *mennä marjaan* или *marjoille* 'итти за ягодами', *mennä heinään* 'итти (косить) сено', *mennä kalaan* 'итти (ловить) рыбу'. В языке мари и в пермских языках подобные обороты выражаются аллативом, причем не исключено и влияние турецкого языка, см., например: мари *pulan kemä!* 'иди за дровами', *karak pällän kei* 'ворона идет за водой', *šudēlan mien toleš* 'идет за сеном', удм. *hōñli ležillam* 'послал его за хлебом', *purudä vuli istim* 'он был послан к озеру за водой'; коми *sije munis turunla* 'он пошел за сеном', *biła munis* 'пошел за огнем', *mēdis sije istisni tagla* 'в другой раз послал его за хмелем'.

в функции дательного падежа см. *leány-nak* 'девушке', *kereskedő-nek* 'торговцу'.

В финно-угорских языках часто наблюдается, что некоторые бывшие окончания падежей уже не употребляются в первоначальном смысле, переставая быть живыми элементами языка. Они встречаются отчасти в окостенелых наречиях, из которых неоднократно развивались послелого, отчасти же в частях предложений переносного смысла, которые потеряли свою оригинальную функцию, состоявшую в обозначении направления. Такими являются, например, окончания инессива *-ssa -ssä* (< **-s-na*, **-s-nä*) и аллатива *-lla, -llä* (< **l-na*, **l-nä*). Первоначальное окончание локатива сохранилось в следующих словах: *koto-na* 'дома' (*kota* 'домик, изба'), *kauka-na* 'далеко', *taka-na* 'позади', *tä-nä päivä-nä* 'сегодня' (дословно: 'в этот день'), *mennee-nä kesä-nä* 'летом прошлого года' (дословно: 'прошлым летом'), *lapse-na* 'как ребенок', *sairaa-na* (эссив) 'больным'. Окончание бывшего латива, теперешнего транслатива, в финском языке *-ksi*, ср. *taa-ksi* 'за что (на вопрос: куда?)', *kau(v)as* (< **kauvaksi*) 'вдаль', *kau(v)emma-ksi aika* 'на длительное время', *mennä sisemmä-ksi* 'итти дальше внутрь', *kuninkaa-ksi* 'в короли', *sairaa-ksi* '(стать) больным'. Слова языка мари, снабженные первоначальными окончаниями локатива: *küş-nö, kükšä-n* 'наверху', *tü-nö* 'вовне', *mündär-nö* 'вдали'; слова, имеющие окончание первоначального эссива: *kiškä-n* 'змеей', *uškälä-n* 'коровой', *pütš-γē tšä-n* 'во время поста' (дословно: 'в постный день'), *ruš-aria kē tšä-n* 'в воскресенье'. Маньсийские слова с первоначальным окончанием латива: *tj'v* 'сюда', *xot-ä* 'куда', *kwon-ä* 'вон', *vitj'* '(стать) водой', *xgnt-j'* '(стать) армией', *axwtäs-j'* '(стать) камнем', *jäny-j'* '(делать) большим'. — Слова венгерского языка, в которых сохранилось первоначальное окончание аблатива *-ól* (~ *-ul*), *-öl* (~ *-ül*): (устар.) *haz-ól, haz-ul* (ср. *ha-zul-ról* 'из дому' от слова *ház* 'дом'), *fel-öl* 'со стороны', (> *fel-ül* 'над чем'). Венгерские слова с окончанием латива: *haz-a* 'домой', *id-e* 'сюда', *od-a* 'туда', *bel-é* 'вовнутрь', *mell-é* 'возле (чего, на вопрос: куда?)'. Венг. слова с окончаниями транслатива: *vízzé*, '(стать) водой', *vassá* '(стать) железом' (в древнем языке и диал. *víz-é, vas-á, vas-é*); *kőv-é* (< **köv-é*) '(стать) камнем'.

Но если употребление дательного падежа для выражения обстоятельства места и не было бы подтверждено примерами, то из его употребления в переносном смысле было бы нелегко угадать его первоначальную функцию.

II

Из сказанного можно заключить, что аблативы, локативы и дательные падежи в самом начале обозначали различные направления действия. А что же представляла из себя первоначальная функция творительного падежа

(*casus instrumentalis*)? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо обратиться к финно-угорским языкам, ибо эти языки применяют специальный падеж для выражения того, что действие происходит через что-нибудь или вдоль чего-нибудь. Этот падеж называется просекутивом или пролативом. См. саам. из Луле *ætnuk* 'вдоль реки', *vagek* 'вдоль долины', *tagu* 'hier vorbei', *tuəgu* 'dort vorbei', *kogu?* 'wo vorbei?'; фин. *taatse* 'von hinten her vorbei', *sivutse* 'längs der Seite', *ajoi vuoren alitse* 'он мчался мимо подножия горы', *edetse* 'von vorne vorbei', *mennä tien ylitse* 'über den Weg fahren', *läpitse* ~ *lävitse* 'hindurch' (ср. *läpi* 'Loch, Öffnung; durch etwas'), *minä tulin meritse*, *mutta isäni tuli matitse* 'я прибыл морским путем (дословно: через море), а мой отец — по суше', *juoppo kulkee seinitse* 'пьяный идет мимо стены'; — морд. *kuvā?* 'wo entlang?', *šija* 'dort vorbei', *šetga* 'obenhin', *alga* 'unten entlang, unterhalb hin', *ēādga* 'das Wasser entlang', *ki(ja)va* 'längs des Weges', *ežemga* 'längs der Bank', *kudo p'rava* 'das Hausdach entlang', *ēi'ga meže a jutati?* 'was kann nicht durch den Wald hin passieren?' *vaļmava* 'durch das Fenster', *ortava* 'durch die Pforte'; — удмурт. *mi tatsi ki'fi liktim?* 'welchen Weg kamen wir hierher?', *tim vili'i kuštem* 'warf ihn über den Pfahlzaun weg', *kapkati en p'ir(ε) kuimatiš* 'geht nicht durch das Tor, [sondern] über den Plankenzaun', *Artšati mine* 'geht durch [die Stadt] Arsk'; — коми *tati* 'diesen Weg', *seti* 'jenen Weg', *vjviti* 'über—hin', *uvti* 'unter—hin', *kiti p'iris*, *set i petas* 'woerhineingegangen ist, da kommt er auch heraus', *ašniš p'irasni saraj ēdžestiš* 'sie gehen durch die Neubodentür hinein', *tujed* 'längs des Weges', *muēd vellān Mikēlaži* 'du, auf Erden wandernder [heiliger] Nikolaus', *pētēlēkēd* 'längs der Zimmerdecke', *dorēd* 'längs des Randes', *sajed* 'längs der Hinterseite, hinter—hin'.

В угорских языках, равно как и в языке мари отсутствует аффикс просекутива. Вместо него применяется окончание аблатива, в финском же языке — окончание бывшего аблатива: партитива. Ср., например, древне-венг. *honnān mehetne fel (a kútból)* 'каким путем мог бы он подняться (из колодца)?', *az onnan mulók* 'practereuntes', *mellőle kell vala elmenni* 'надо было пройти мимо него', *az fülem mellől bocsátom* 'пропускаю мимо ушей'; — маньс. а) *nē-lunt numəl ti mini* 'самка гуся идет [летит] там наверху', *jamla-wanā tujtəl xartaxtevit* 'узды волочатся по снегу', *kwol-talaxəl kwon ta minəs* 'он вышел через крышу'; б) *mōrt minəm mūtēnnəl q̄s ti minei?* 'они проходят через то же самое место, как и прежде', *nērpiŋ jām'uw qulānā tūjtnəl xartaxtevit* 'киски его кашеных узд волочатся в снегу', *mā-sajnəl minän!* 'идите за полем!', *talkwə jiw talxā pasnəl q̄jkā jḡmi* 'старик идет на высоте небольшого дерева', *akw' sayānəl liliŋ hoxs nḡŋx xḡŋxi* 'по косе ползет живая кунница', *āwinəl juw poḡərmātəs* 'катится через дверь', *jolūl sunsevim ta asnəl* 'смотрю вниз через это отверстие'; — хант. *nōmalla-gi manlən* 'если идешь наверху', *ḡas-numbi ēuəlt sidi manl* 'начало проникать через королевну', *ašni uḡəl ḡēs ēuəlt, ḡul-ḡās ēuəlt iəŋ'k kḡpda*

pīdās 'вода начала проникать в нос и рот медведя'; — мари *moren i-βōle tsən kēdāleš* 'заяц бежит по льду', *kuyižān pōrt-kutan¹-gə tsən aškedeš* 'er steigt am Giebel des königlichen Hauses vorbei', *uremet pokšečet andālčet kajaleš* 'по середине улицы идет коробейщик', *popšā okna γāč užšn* 'поп выглядел в окно', *ašaže töržayāc sola* 'мать бросает его вон через окно'; — фин. *ne kaksi mentiin hyvää tietää* 'оба шли по хорошему пути', *oravan pītää hypätä tien suuntaa* 'белка должна прыгать по дороге (т. е. по направлению к дороге)', *hän mäkeä laskepi* 'спускается по холму', *pääsky löyhähti sieltä variksen päältä* 'ласточка пролетела там над вороной'; эст. *akna alt läpi minema* 'пройти под окном'; фин. (элат.) *ja sitten tulee elefanti tiepuolesta* 'затем идет слон вдоль дороги', *ei mene kulkusta alas ruoka keisarilta* 'не идет пища вниз в горло у царя'.

Турецкие языки не имеют особого окончания для просекутива, оно заменяется окончанием аблатива. Например, осм. *geçme kaput önünden!* 'не иди мимо моих ворот!', *atladem baxçeden geçtim* 'я перескочил через сад', *baxçe dēvarēndan aştım* 'я ступил через стену сада', *kēz penžereden içeri al beni jata'ēna!* 'девушка, пропусти меня через окно в твою кровать!'; — каз. тат. *kajsi juldān barırsın?* 'по какой дороге пойдешь?', *bu sıudan kimesez niçek kiçärbez?* 'как мы пройдем через эту воду без судна?', *sın aulıñbızdan uzıyan çayında küreşerbez* 'когда пойдешь через нашу деревню, мы увидимся'.

Просекутивы в частях предложения, выражающих обстоятельство времени (в частности срока): саам. *talvek* 'зимой', *keseke* 'летом', *kidok* 'весной', *tjaktjek* 'осенью', *peivek* 'днем', *jejjeka* 'ночью'; — морд. *šobdava* 'утром', *kuva mo'an, . . . a mo'c avatdan* 'идя, . . . непрерывно плачу', *kona škava kšniš palj, še škañe tšaft* 'куют железо, пока горячо', *čij kunčkava* 'в полдень' (*kunčka* 'середина'), *čij kovalma* 'весь день': — удмурт. *minsa, minsä beralaz puni-jiraz-gina šettizi* 'идут они, медленно идут, наконец-то находят собачью голову', *vekči no nazik mugormä budon kuspeti dat baštiz* 'стройным и слабым телом моим при росте овладел чужеземец', *uj-kotirti* 'через ночью' (*kotir, kotirti* 'вокруг, во время'), *so tulisti gužem-kä luoz, gerides kutiteken kilä* 'лишь после весны, когда лето наступило, надо схватить соху'; — коми *me sij berti vokta* 'иду следом за ним', *šid ažalgm berti kažalin* 'ты заметил лишь, когда щи уже проквасились', *vasaiš užig kostiis* 'пока водяной спал', *sij kosti* 'в то время как, пока', *kiti riš, kiti skatš* 'bald im Trab, bald im Galopp' (*kiti* 'welchen Weg, worüber, wodurch').

Аблатив срока: фин. *yötä päivää* (партитив) 'день и ночь'; — мари *erla keçe γāč āštēna* 'завтра будем работать весь день', *mo'nar keçe γāč āštet?* 'через сколько дней ты это приготовишь?'; — хант. *tolal-ki šarəs tol èğəlt noyälleen* 'если и гонишь его тысячами зимами', *lābat èğəlt ierman lājil* 'уж неделю стоит он связанный', *lābat xptl èğəlt, lābat āt èğəlt küdärmesən* 'они борются семь дней и семь ночей'; — морд. *jar¹camstīnza* 'пока он кушает'.

ardumsta 'пока я бегал', *veškat exkakšne nal^hksimste moñese i'xkist tandafñit* 'маленькие дети угрожают друг другу мною, пока играют'; — каз. тат. *ike können kajtirdir* 'через два дня он наверняка вернется', *min ber atnadan kilerem* 'приду через две недели', *un beš minuttan ašarlar* 'они едят 15 минут'.

Первоначальное окончание аблатива обско-угорских языков применяется для выражения творительного падежа (с. instr. et comitativus). Например, маньс. а) *saïrapl saïrepitü* 'ударяет топором', *akw^c pälü tür-vitäl lqutästü* 'он умыл себе бок водой озера', *sur-jiväl jñmi* 'ходит палкой'; б) *añ ġs amki mēt-xumil jālunkwə patsəm* 'я стал путешествовать один с моим батраком', *tū ti mołəmtaxtəs āyitā-pjūtäl* 'он приспешил со своим сыном и дочерью'; — хант. d) *xatta-jinat padettäi, xatta-ñeremat jāvetmedäi* — 'er würde mit dem Lebenswasser bespritzt, mit der Lebensgerte geschlagen', *najat etäñen* 'sie wurden im Feuer verbrannt'; β) *mojat menda poñmešen* 'sie rüsteten sich mit dem Hochzeitszuge zu gehen', *joxportadat poderdidēt* 'er sprach mit seinen Brüdern', *tette moñen Keu-jaranjagal tađestet* 'hier kämpft dein Neffe mit Ural-Samojeden'.

Casus instrumentalis индоевропейских языков выражает путь (линию), по которому (по которой) совершается действие. Напр., др.-инд. *divā yānti* 'sie gehen am Himmel hin', *antārikṣēṇa patati* 'er fliegt durch die Luft', *agninā ha sā brāhmaṇo dvārēṇa prāti padyatē* 'durch Agni als das Tor des Brahman tritt er ein', *anyēna pathā nayati* 'er führt auf anderem Pfade'; — лит. *kād ji jōtu vīs keliū* 'dass sie immer die Strasse entlang reiten solle', *jūrėmis bėgti* 'auf dem Meere (über das Meer hin) fahren', *asz pajūrėmis kai važiavaū* 'als ich den Meeresstrand entlang fuhr'; — церк.-слав. *sъchožduaše patēmi tēmī* 'er kam auf diesem Wege herab', *dvīricami sūmoštraachq dolu* 'sie blickten durch die Fenster herab'; — др.-русск. *лесомъ* 'durch den Wald'; — серб. *i pogleda poljem Kosovijem* 'und blickt über das Amselfeld hin', *pak otide morem trgovati* 'da ging er über das Meer um zu handeln'; — греч. (почти исключительно в окостенелых наречиях) атт. *ἐπορεύετο τῇ ὁδῷ ἣν πρότερον αὐτὸς ἐποίησато* 'er zog auf dem Weg, den er hergestellt hatte', *ταύτῃ* (sc. ὁδῷ) 'in dieser Richtung', *πῇ ἄλλῃ*; — лат. *ex Tuscis frumentum Tiberi veniit*; *Aurelia via profectus est*; *omnibus viis semitisque essedarios ex silvis emittebat*; *ut jugis* ('über die Berge hin') *Octogesam perveniret*; *his pontibus* ('über diese Brücken hin') *pabulatum mittebat*; *qua tu porta* ('durch welches Tor') *introeris*; — др.-верхненем. *gangan pfedin* 'aus den Pfaden gehen', — англосакс. *faran flóðweze* 'auf dem Flutweg fahren'.

Творительный падеж (с. instrumentalis) для выражения срока: др.-инд. *sá naḥ kṣapābhīr āhabhiṣ ca jinvatu* 'er erquicke uns die Nächte und Tage hindurch', *māsēnānuvāko dhītaḥ* 'in einem Monat wurde der Abschnitt gelernt', *divā* 'bei Tage', *doṣā* 'am Abend', *naktayā* 'bei Nacht', *vasāntā* ~ *vasantā* 'im Frühling'; — лит. *kita,s mētais rugiai anksciaūs nunókavo*

'während anderer Jahre pflegte der Roggen früher zu reifen', *rythmeczaīs* 'morgens', *vakaraīs* 'abends', *naktimīs* ~ *naktimīs* 'nachts', *pētumīs* 'mittags'; — церк.-слав. *trimi dinimi sozūdati ja* 'διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν', *otūvede vojiny noštiȳa* 'noctu milites abduxit', *noštiȳa i dinȳa* 'Nacht und Tag'; — серб. *dnevi leže a noću putuju* 'bei Tage ruhen sie und bei Nacht wandern sie', *danjom, danju* 'bei Tage', *noću* 'bei Nacht', *jutrom* 'morgens', *večerom* 'abends', *zimom* 'im Winter', *litom* 'im Sommer'; — др.-русск. я *воиъ свой (домъ) достроилъ сими днями* 'ich baute mein Haus in diesen Tagen', *целыми часами сидель сильно задумчивымъ и грустнымъ* 'ganze Stunden lang sass er sehr gedankenvoll und traurig da', *прошлымъ годомъ ослепла* 'im Laufe des vergangenen Jahres erblindete ich', *днемъ* 'am Tage', *ночью* 'in der Nacht', *утромъ* 'am Morgen', *вечеромъ* 'am Abend', *весною* 'im Frühling', *летомъ* 'im Sommer', *осенью* 'im Herbst', *зимою* 'im Winter', (см. Delbrück I, 242—246, Brugmann Gr. II/2², 480, Kurze Vgl. Gr. 427, 453, 454, Miklosich IV, 687).

В этих случаях значение творительного падежа (с. instrumentalis) было — по мнению Бругманна — первоначальным, из которого происходило значение просекутива. По моему мнению, развитие произошло наоборот: средством достижения цели оказался путь, по которому или через который совершалось действие. Это подтверждается и оригинальным значением локатива, аблатива и дательного падежа, выражающим обстоятельство места, равно как и фактом, что части предложения, выражающие обстоятельство времени, происходили непосредственно из частей предложений, обозначавших обстоятельство места.

Очень важное доказательство представляет собой и латинский предлог *per*, оригинальное значение которого, выражающее обстоятельство места, не подлежит сомнению.³ То же самое наблюдается и в литовском

³ Надо подчеркнуть, что первоначальное значение предлога *per* сохранилось в латинском языке, а не в др.-инд. *pāri* или греч. *περι* 'um'. Это видно между прочим и из того, что наречие и предлог со значением 'um' может принимать еще и окончание творительного падежа (с. instrumentalis) или вернее просекутива, см., например, чешск. *kolem* или *kolem do kola* 'ringsherum' (ср. *kolo* 'Rad'), русск. *кругомъ*. Греч. *κύκλω* возникло, повидимому, подобным же образом. Вышеназванное русское наречие было заимствовано мордовским, где оно было дополнено еще окончанием просекутива: *krugomga*. Подобное же окончание имеют и удмурт. *kotirti* и коми *gegerti* 'вокруг, кругом' происходящие из основных форм *kotir* и *gegir* 'das Umliegende, die Umgebung; um, herum'. Кроме того, имеются и просекутивные, образовавшиеся при помощи аффикса аблатива, например, венг. *körül* (< *kör* 'круг'), эст. *ümbert*, фин. *ympäri* (< *ympäri* 'das ringsum o. herum Befindliche, die Umgebung; um, herum, umher, um—her, um—herum, im Umkreise'). Значение 'um—herum' просекутива освещается следующими финно-угорскими примерами: морд. *odžatše langa jakstere karks karksaž* 'über die Kleider einen roten Gurt gebunden', *otsu ervinānts kočkaravat punar'inza, pilmanžavat šormanza, sur-preavat ožanza, kener-pakaŋa šormanza* 'die Hemden der älteren Schwiegertochter reichen bis zu den Knien, ihre Ärmel bis zu den Fingerspitzen, ihre Stickereien bis zu den Ellenbogen'; — хант. *čāhč vičivēt čupa xoŋai* 'bis zu den Knien wurden sie in Stücke gehauen'; — фин. *reunoja myöten täysi* 'bis an den Rand gefüllt' (*myöten* 'längs'), *kulkevat syvimmälle yhä, kunne seisoo ukko jo leukapieliään myöten vedessä* 'sie gehen immer tiefer und tiefer, bis der Alte schon bis zum Kinnbacken im Wasser steht'; *vyötiistään myöten*

языке, напр., *per mēsta keliūti* 'durch die Stadt reiten', *per nakti budēti* 'die Nacht hindurch wachen'. Помимо этого, названный предлог употребляется «im Sinne des Mittels (eig. des Weges), durch den hin etwas geschieht, vermittelt wird»: *zokānas per Moyzēszū, gra dū'tas* 'das Gesetz ist durch Moses gegeben worden', *smeītis atējo ī svēta, per grēka*, 'der Tod kam in die Welt durch die Sünde (Delbr. I. 715). Употребление предлога *per* в подобном же значении известно и в латинском языке. Нем. *durch*, венг. *által* (с окончанием аблатива), греч. *διὰ* также подкрепляют данное объяснение. Творительный падеж (с. instrumentalis) славянских языков объясняется аналогичным образом у Миклошича (ук. соч. 683).⁴

Венг. слово *út* 'дорога, путь', снабженное окончанием -*n* локатива может служить и послелогом. Напр., *barátom útján* 'путем моего друга, посредством моего друга', *árverés útján adják el a házat* 'дом продается с аукциона' — *a földműves munkája után él* 'земледелец живет своим трудом', *úgy izzad, mintha munkája után kellene enni kenyérét* 'потеет, будто бы он был должен зарабатывать себе на хлеб своим трудом', *fenntartja ő magát esze után is* 'он содержит себя и своим умом', *a király leánya . . . az útfélen koldulása után keresi kenyérét magának* 'королевна . . . зарабатывает себе на хлеб попрошайничеством по дороге', *valamicske hasznunk a malom után is csak van* 'мы извлекаем известную пользу и из мельницы', *száz annyi nyersz utána* 'посредством этого выиграешь стократное' *az után édegél, amit úgy kéreget össze* 'он живет тем, что собирает попрошайничеством'; — *révén* 'через что, посредством кого' (*rév* 'пристань, рейд').

Сюда относится и творительный падеж (с. instrumentalis), который в связи с глаголом страдательного залога выражает исполнителя действия, например, др.-инд. *dēvadattēna kṛtam* 'durch D. ist getan worden' (см.

oli ukko-rukka jo sillī tapaa vedessū 'der arme Alte war auf solche Weise schon bis an den Gürtel im Wasser', *juoksee polvesta merehen* 'rennt in's Meer bis zum Knie'.

⁴ См. еще и славянский предлог *по*, который с винительным падежом означает 1) место, к которому относится действие, 2) место, где ухватывается предмет (для примеров см. Вондрак: ук. соч. II², 382). Обороты, входящие в пункт 2) выражаются также просекутивом в финно-угорских языках. Например, коми *boštis pies jursēdis* 'er ergriff den Knaben bei seinem Haar'; удмурт. *tuštiz-ke kutiskod* 'wenn du ihn beim Bart ergreifst', *olo-kih-kū tonū dēr-sētīd kēsaz-a?* 'jemand zauste dich vielleicht bei deinen Haaren?', *kiksū-ik kizā gir-pumtīz vandilīm* 'er schnitt ihm beide Arme von den Schultern an herab'; — морд. *uš vačkutīze ščokava, son tokaš peke bokava* 'sie schlug ihm auf die Wange (просекутив), sie stieß ihn an der Bauchseite'. — С аффиксом аблатива: морд. *kundiža hēde* 'ich fasste ihn am Schnabel'; — фин. *sokeata talutetaan kädestä* (элат.) 'man führt den Blinden bei seiner Hand', *kanna sinä latvasta, minä kannan tyvi-puolesta* 'trage du es bei der Spitze, ich trage es bei der Wurzel'; — марй. *kala-βatš-kats pōtril yā'tsa* 'er zieht sie an den Haarflechten', *poč kōč peren yōlben merajēm* 'auf den Schwanz schlug sie den Hasen'; — хант. *kat āñēt čyalt källsali* 'er ergriff ihn bei seinen zwei Hörnern'; — маньс. *ātānəl noj towitūs* 'sie ist an den Haaren hängen geblieben'. — В тюркских языках появляется тоже аблатив: осм. *kurdu kuayından tutmak güc* 'es ist schwer den Wolf bei seinen Ohren zu packen'; каз. тат. *čäčennän, kulinnan totto* 'er hielt ihn bei seinen Haaren, bei seiner Hand'.

Дельбрюк ук. соч. I, 176). Такое употребление этого падежа восходит в далекое прошлое и в славянских языках (см. Дельбрюк ук. соч. I, 268, Вондрак ук. соч. II², 349).

Здесь требуется сказать еще несколько слов о соотношении творительного падежа, выражающего средство действия (с. *instrumentalis*) и творительного падежа, выражающего содействователя (с. *sociativus*). В предложении *Он бил его палкой* слово *палка* представляет собой средство, при помощи которого совершается действие. В венгерском же предложении: *Bottal mentem el hazulról* 'я ушел из дома с палкой' (в венгерском языке без предлога!) тот же самый случай является уже социативом.

III

Определение сущности винительного падежа причинило почти непреодолимые трудности лингвистам. «In den Akkusativ — пишет Дельбрюк (ук. соч. I, 187) — tritt derjenige Substantivbegriff, welcher von dem Verbalbegriff am nächsten und vollständigsten betroffen wird». Я не желаю теперь заниматься вопросом, безупречно ли это определение, так как из прибавления названного автора («dass der Akkusativ in der regelmässigen Wortstellung seinen Platz unmittelbar vor dem Verbum hat, so dass also, wenn mehrere Kasus, z. B. auch noch ein Dativ, vorhanden sind, die regelrechte Wortfolge die sein würde: Nominativ, Dativ, Akkusativ, Verbum») явствует, что он приближался к неоспоримому факту, по которому винительный падеж является древнейшим и первым дополнением сказуемого.⁵

В связи с семитическими языками было установлено, что «das Ursem. drei grammatische Kasus besass, einen Nominativ zur Bezeichnung des Subjekts und des Prädikats mit der Endung *š*, einen Adnominalis zur näheren Bestimmung eines Nomens (meist Genitiv genannt) mit der Endung *š* и einen Adverbialis zur näheren Bestimmung eines Verbums mit der Endung *ā* (meist Akkusativ genannt)». «Neben diesen drei im engeren Sinne grammatikalischen Kasus besass das Ursem. noch einen Lokativ mit der Endung *š*» (Brockelmann, Grundr. d. vgl. Gramm. der sem. Sprachen, I, 459, 460).

Локатив сохранился большей частью в окостенелых наречиях (напр., араб. *faṣṣu* 'oben', *taḥtu* 'unten', *qablu* 'vorher' *ba'du* 'nachher'; этиоп. *lā'lā* 'oben', *tāḥtū* 'unten', *qadimū* 'früher'), винительный же падеж служит для выражения различных направлений. Например, на вопрос куда? : евр. *hāšā* 'hinaus', *āršā* 'auf die Erde', *az-zāpā* 'nach Gasa', *aršā Mišraim*

⁵ „Die ältesten Kasus waren der Nom. Sg. und Akk. Sg.“ — пишет Ш п е х т в своем труде (Der Ursprung der idg. Deklination. 1947, стр. 353).

'nach dem Lande Ägypten', *Misraimā* 'nach Ägypten', *uajja'teq miššām hāhārā* 'und er zog von dort nach dem Berge weiter', *hāššāmaimā* (plur.) 'gen Himmel', *Kašdīmā* 'zu den Chaldäern'; др.-араб. 'atā mā'an 'er kam an ein Wasser', *u'aḥuǧǧu 'l-baita* 'und ich werde zum hl. Hause pilgern', 'idā nazala 'l-'arḏa 'wenn er sich auf die Erde niederlässt'; нов. араб. *hatsir ššāmba* 'ich werde nach der Schamba gehen', *gi eššātir Meḥammed* 'er kam zum schlauen M.'; этиоп. *gabī'a behereja* 'in mein Land zurückkehren', *naššara samāja* 'er blickte gen Himmel'; ассир. *šiguru aškunšunu* 'ich tat sie in einen Käfig', *ša nāram išliam* 'der in den Fluss eingetaucht'.

Возле глаголов, обозначающих движение, слова, выражающие исходный пункт действия, принимают окончание винительного падежа во всех семитических языках. См. араб. 'idā kunna ḥārigāti 'l-mā'i 'wenn sie aus dem Wasser herauskommen'; амх. *gūrdō iayattā dōqēt (sendē)* 'Mehl (Weizen), der aus der Kleie hervorgegangen' (т. е. высший сорт), *tña bāhrā uāšā* 'vom Meere gekommen' (т. е. доторо); евр. *hēm iūš'u 'eḇ hā'ir* 'sie gingen aus der Stadt heraus'; арам. *h'ūā 'ālel qartā u'nāfeq qartā* 'er ging in die Stadt hinein und heraus'; ассир. *aqēlam šu'atu ālam ušēšū* 'дiesen Menschen soll man aus der Stadt hinaustreiben', *āsē abulli ālišu* 'die aus dem Tor seiner Stadt heraus kamen' (Brockelmann II, 282—285).

Винительный падеж семитических языков служит и для выражения обстоятельства места на вопрос где? Например, евр. *Maḥ^anaimā* 'zu M.', *šammā* 'dort', *bannezbā* 'im Süden' (там же I, 464); южн. араб. (мехри) *gabrīs makōneh lābōb* 'sie fand ihn an seinem Ort, am Tor', (сок) *keqo'od meṭārah* 'wenn er im Dattelhainen sitzt', *keṣotārki rey di-fidehen* 'da wir uns auf dem Gipfel des Berges aufhalten'; этиоп. *hallayū gadāma* 'sie waren auf dem Felde'; амх. *Gondar naborū* 'sie waren in G.'; ассир. *idāja illik* 'ging an meiner Seite', *bāb šušinak ušazmir* 'am Tore von S. liess er singen', *maḥāza māti lā inamdū* 'in der Stadt des Landes lassen sie sich nicht nieder (там же II, 338—341).

Семитические языки выражают винительным падежем части предложения, обозначающие обстоятельство времени (там же II, 341—346), меры (II, 346—348), равно как и то, что обозначается дательным падежем в других языках (там же II, 296).

В финно-угорских языках тоже часто наблюдается винительный падеж, выступающий в роли косвенного дополнения сказуемого. См. венг. *Ezt a kerek erdőt járom én* (народная песня) 'обхожу я этот круглый лес', др.-венг. *határokát járni* 'обходить околицы', *országokat járni* 'объезжать страны', *az iskolát járja* 'ходит в школу', *mikoron nagy hő időn hágnáják az hegyet* 'когда во время сильного жара поднимаются на гору', *a kősziklákat hágnák* 'они поднимаются по скалам', *tűzzel villámló pallossal a kaput állja* 'стоит у ворот с мечом, сверкающим огнем (в руке)', *a tojásokat ülni* 'сидеть на яйцах', *tanácsot ülnek* 'они заседали, совещаясь'; — саам.

akta alamuča skojjum waccicmienie 'человек шел лесом'; — мари *kornəm košteš* 'идет по дороге', *toškaltššəm kūža* 'поднимается по лестнице', *kurəkkəm kūža* 'поднимается на гору', *opšam pura* 'входит в дверь', *jaləm lektes* 'выходит из деревни', *jūt jəmal moγərm pəl toles* 'с севера идет облако', *juməm kumales* 'преклоняется перед иконой (на деле: богом)'.

В северо-маньсийских говорах объект не имеет суффикса, но в соответствующих словах приводимых предложений нужно рассматривать не прямое определение без окончания, а объект: *lēsiŋ ləŋx am ti minevəm* 'иду по дороге, где устроена засада', *noxsin vör kisməjevət* 'охотятся в богатом куницами лесу', *nālin kankwə lūlevim* 'стою на местечке со стрелками', *vortin tgw jāmäsīmāt sujti* 'слышно, что они шагают по крепкой ветке'. Что они действительно представляют собой винительный падеж, видно из случаев, когда глагол воспринимает личные суффиксы объективного спряжения, например, *kwoləm šältiləm* 'вхожу в свой дом', *qššä ləŋx elä sūmiləm* 'уношусь по узкой дороге', *jāŋkin āwi širkipä ūnlilītä* 'сжиживает в углу покрытой льдом двери', *ti inŋʹ-jiw sāt sēwam naŋ manəŋʹ jāmili-lən?* 'зачем ты обходишь семь кустов этого шиповника?'.

Страдательные конструкции в обско-угорских языках очень распространены. Так как интранзитивные глаголы также могут иметь объект, они тоже могут воспринимать страдательные аффиксы. В таких случаях часть предложения, которая может быть переведена только косвенным дополнением будет подлежащим предложения, например, маньс. *tī mā xəŋxān āluwə?* 'кто будет жить на этой земле?' (прибл. 'кем эта земля будет населена?'), *ness lūlnə rēs-jiw titä hīrnə tēlawe* 'ствол неподвижно стоящего лесного дерева зарастает прутьями', *saməm pors-tawrin patwəs* 'кусочек стружки попал мне в глаз' (прибл. 'мой глаз был поражен кусочком стружки'); — хант. *lābət oγəlŋa ɣisāɣu* 'семь саней приехали к нам', *ɣas-təl muralna āmetsa* 'весь город сидел у него' (прибл. 'он был окружен жителями всего города').

Части предложения, выражающие обстоятельство времени, снабженные аффиксом объекта, тоже встречаются в финно-угорских языках: а) на вопрос когда?, см., напр., мари *ɣəðəm lüdəš* 'ночью страшно', *keŋežəm jaβəγə, tēləm ördä* 'летом он худеет, зимою толстеет', *šəžəm* 'осенью', *šošəm* 'весной'; — удм. *so-berə so murt beren tuçisše mɨnem* 'потом весною человек опять пошел (в лес)'; — коми *pop oisə i saɣdmas* 'in der Nacht erwacht der Priester', *asuvse kəžaxin suvtas* 'der Wirt steht morgens auf'; б) на вопросы до каких пор? на сколько времени?, см. венг. *öt napot töltöttem falun* 'пять дней я провел в деревне'; — саам. Т. *tam kieš'em täšn'ä arraɣijjim* 'этим летом я там жил', *tie orru kitāu taunä* '(всю) весну они останутся там', К. *jieliŋ kolm piejve* 'он жил три дня'; — фин. *minä sinua talven syötän* 'я кормил тебя (всю) зиму', *yön niitä pieksää, murentaa* 'он (всю) ночь бьет их', *astui, astui päivän, toisen, kolmannen syömättä* 'он шел день, шел два, три,

голодая'; — морд. Э. *kizeh peřt' robotiřt', a ĵarcit', a řinut', spokoř a sodiřt'* 'все лето они работают, не едят, не пьют, не знают покоя'.

Сюда относится винительный падеж индоевропейских языков для выражения направления, например, др.-инд. *grātam ġacchati* 'er geht zum Dorfe', *dīvam* 'in den Himmel', *mūkham* 'in den Mund', *tā vāruṣam agacchan* 'sie kamen zu Varuṣa'; — греч. (в языке поэзии) *Τροίην*, "*Ὀλυμπόν, οὐρανόν*" 'in den Himmel', *μνηστῆρας* 'zu den Freiern', *γῆρας* 'zum Greisenalter' [ср. еще *οἶκόν-δε, οἶκα-δε* 'nach Hause' *θύραζε* 'hinaus' (= лат. *foras*), *Ἀθήναζε, Μέγαράδε*]; — лат. *Rotam, rus, domum, foras* (точно: 'zu Türe'); — церк. слав. *вънъ* 'вон', *низь* 'вниз', *близъ ~ близь* 'вблизи' (Дельбрюк ук. соч. I, 303, 596, 623, Brugmann, Kl. vgl. Gram. 441, Вондрак ук. соч. II², 311).

Асс. temporis: др.-инд. *nāktam* 'nachts'; — греч. *αὐτῆμαρ* 'denselben Tag'; — лат. *tum (tunc), num* 'nun noch, noch jetzt' (*nunc*), *dum* опир. 'dann' (ср. *etiamdum, interdum, nondum*), *quom, quondam, unquam; olim, interim*; — лит. *ō iř prazįdo nedėlės ryta*, 'und [die Rose] erblühte am Sonntag Morgen', *iř ta, nakti, atėjo trįs vāgys* 'und in dieser Nacht kamen drei Diebe', *mėnū saulūze, vėdė piřma, pavasarėli*, 'der Mond nahm die Sonne zur Frau im ersten Frühling', *vākar* 'gestern' (< *vakara*, 'den Abend'); *sziañdėn, szendėn* 'heute' (< *szia, dėna*); *szia,nakt, szė,nakt* 'diese Nacht' (< *szia, nakti*), *szimet* 'heuer' (< *sz, mėta*); — серб. *kak jedno veče kurĵak dodje* 'als einen Abend der Wolf kam', *tu noć izidje opet iz Negotina* 'in dieser Nacht ging er wieder aus N. heraus, *ončas* 'sogleich', *ovčas* 'soeben' (*čas* 'Stunde, Augenblick'); — русск. *тотчасъ, сейчасъ*. — К корню слова прибавлялось и местоимение мужского рода в винительном падеже единственного числа *сь*, которое потом окостенело, напр., церк. слав. *дьньсь*, серб. *danas*, русск. *днесъ* 'heute'; серб. *ноčas*, русск. *ночесь* 'in dieser (vergangener) Nacht'; серб. *ljetos*, русск. *летось* 'im vorigen Sommer'; серб. *zimus* 'diesen Winter' и т. п. (Дельбрюк ук. соч. I, 374, 547, 597, 599).

Если учесть, что винительный падеж выражает движение через какое-нибудь пространство, продолжительность времени, образ действия, т. е. самые различные обстоятельства, выражение которых относится к другим падежам, то допустимо, что винительный падеж был тем из падежей, в котором стояли первые дополнения сказуемого, и разнообразие его функций является еще наследием той эпохи, когда он сам выполнял задачу теперешнего локатива, аблатива, дательного и инструментального падежей. Только родительный, далее именительный и звательный падежи не были заменяемы им, так как они имеют совершенно другой характер.

Из сказанного явствует, что распределить падежи на местные и грамматические нельзя. Имея в виду развитие отдельных частей предложения, можно установить только то, что большинство падежей обозначало дополнения сказуемого (сюда относится даже и именительный падеж). Кроме них существовал еще и один адноминальный падеж: родительный, который

возник уже в то время, когда категории имен и глаголов отделились друг от друга.⁶

Лингвисты, занимающиеся индоевропейскими языками, все еще спорят о том, какой падеж возник раньше — адноминальный ли или же адвербальный. Первая возможность подтверждается фактом, что в индоевропейских языках родительный падеж часто заменяется прилагательным определением. Напр., церк. слав. *скупьнѣ львовѣ* 'львенок', русск. *львиная голова*; — серб. *voluje meso* 'гомяжье мясо'; — церк. слав. *дѣшти прудияна* 'дочь Ирода', *ученици Иованови* 'ученики Иоанна', *страхъ игемоновъ* 'страх от игумена', *зависть братьня* 'зависть брату'; — серб. *od Imbrova stracha* 'страх от Имбро', — др.-инд. *Ajōgavō rājā* 'король из рода Айогаво'; — греч. *γαῦς* 'Ἀγαμέμνονέη' 'корабль Агамемнона', *ἵπλος Νεστορέη* 'Несторов конь', *Αἰπύτιος τύμβος* 'Эпитиевый гроб'; — лат. *Philocteteus clamor* (Цицерон), *metus hostilis, amor paternus*; родительный падеж в роде *cuius, huius, eius* ничто иное как прилагательное определение.

Хотя в уральских (финно-угорских и самодских) языках и имеется аффикс родительного падежа, но вначале преобладали конструкции, в которых слово, именующее владельца без всякого аффикса, было простым определением выражения, обозначающего владение. Развивавшийся потом аффикс родительного падежа был раньше суффиксом, служившим для образования имен прилагательных.

⁶ »Wackernagel, *Mél. de Saussure* 146 ff. — *ништер Шпехт* — hat aus syntaktischen Gründen einen völlig ausgebildeten Genitivkasus für die idg. Zeit geleugnet. Er kann nur in ganz bescheidenem Umfang möglich gewesen sein. Das deckt sich mit der weiteren Tatsache, dass es eine gemeinsame Grundform für die Endung des Gen. Sing. nicht gegeben hat (vgl. WACKERNAGEL—DEBRUNNER: *Ai. Gr.* III 37 f.). Aus alledem geht hervor, dass der Gen. Sg. verhältnismässig spät geschaffen worden ist» (ук. соч. 361—362).

E. BEKE

 DIE ENTWICKLUNG DES INDOGERMANISCHEN UND FINNISCH-UGRISCHEN
 KASUSSYSTEMS

(Auszug)

Obzwar die oft umstrittene Verwandtschaftsfrage der finnisch-ugrischen und indogermanischen Sprachfamilien bisher noch unentschieden ist, kann doch ihr Vergleich sehr nützlich sein, denn es gibt Fälle, wo manche Gegebenheiten dieser oder jener Sprache durch ähnliche Erscheinungen der anderen Sprachfamilie erklärt werden können.

Die Kasuslehre des Indogermanischen hat z. B. die Frage, ob das Kasussystem, das zum Ausdruck der Umstandbestimmungen diene, ursprünglich einen durchweg lokalen Charakter hatte, noch nicht entscheiden können. Dass der Lokativ und Ablativ einen solchen Charakter hatten, unterliegt keinem Zweifel. Der Lokativ antwortete auf die Frage wo?, der Ablativ hingegen auf die Frage woher? Ob daneben auch ein Fall bestand, der auf die Frage wohin? antwortete, ist noch recht fraglich. In den ural-altäischen Sprachen lassen sich die Kasusendungen aller drei Richtungen nachweisen, und die Bestimmungen mit übertragener Bedeutung, darunter auch die Zeitbestimmungen, wurden mit Hilfe dieser Kasusendungen ausgedrückt.

Es ist vollkommen klar, dass auch das Indogermanische einen Fall haben musste, der auf die Frage wohin? Antwort gab. Dies wird auch durch die ural-altäischen Verhältnisse bekräftigt. In dieser Sprachfamilie antworten die Kasusendungen des Lativs auf die Frage wohin? und dienen gleichzeitig zum Ausdruck des Dativs, der ursprünglich lokaler Natur war. In Altindischen, Germanischen und Slawischen kann der lative Gebrauch des Dativs noch nachgewiesen werden. In anderen Sprachen gibt es Adverbien, die das gleiche beweisen, s. griech. *χαί*, lat. *hum-i* (urspr. 'zur Erde hin'), kirchenslaw. *domovi* 'nach Hause', *dolu* 'hinunter', *nizu* 'herab', *vūnu* 'hinaus'. Engl. *to* ist mit dem deutsch. *zu* identisch, fr. *à* entwickelte sich aus der lateinischen Präposition *ad*.

Unentschieden ist auch die Frage, ob die ursprüngliche lokale Bedeutung des Instrumentals noch nachgewiesen werden kann. Diese Frage kann ebenfalls durch analoge Erscheinungen der ural-altäischen Sprachen beantwortet werden. In mehreren finnisch-ugrischen Sprachen gibt es noch einen vierten Fall lokalen Charakters, den sog. Prosekativ oder Prolativ, der auszudrücken hat, dass die Handlung entlang oder durch etwas vor sich geht. In denjenigen Sprachen, die keinen solchen Kasus haben, wird in solchen Fällen der Ablativ herangezogen. Ähnlich dem Prosekativ der finnisch-ugrischen Sprachen kann der lokale Gebrauch des Instrumentals auch im Indogermanischen festgestellt werden. Zahlreiche Beispiele findet man diesbezüglich sowohl im Altindischen, Litauischen, als auch in den älteren und jüngeren slawischen und germanischen Sprachen, weiters im Griechischen und Lateinischen. Nur aus der letzteren Sprache möchten wir Beispiele anführen: *Aurcliā viā profectus est; quā portā?* Aus dieser lokalen Bedeutung entwickelte sich dann die temporale Bedeutung des Instrumentals. Einen wichtigen Beweis liefert auch die lat. Präposition *per*, deren ursprüngliche Bedeutung lokaler Natur im Litauischen noch erhalten geblieben ist.

Die Klarlegung des Wesens des Akkusativs bereitete dem Linguisten ebenfalls grosse Schwierigkeiten. In mehreren finnisch-ugrischen Sprachen hat der Akkusativ lokale und temporale Verhältnisse zu bezeichnen. In den semitischen Sprachen können alle drei Richtungen der Ortsbestimmung durch den Akkusativ zum Ausdruck gebracht werden, wobei der Akkusativ nicht nur zur Zeit- und Massbestimmung verwendet werden, sondern auch dativische Bedeutung haben kann. In den indogermanischen Sprachen fungiert der Akkusativ der Richtung als Bestimmung. Dies ist der Fall im Altindischen, in der Sprache der griechischen Poesie, sowie in solchen Adverbien wie *οἰκόν-δε*, *οἰκῶ-δε* 'nach Hause', *θῆραζε* 'hinaus', lat. *foras*, *domum*, *rus*, *Romam*, kirchenslaw. *vūnū* 'hinaus', *nizū* 'hinab', *blizū* o. *blizī* 'nahe'. Es gibt auch accusativus temporis, z. B. aind. *nāktam* 'nachts', lat. *tum* (*tunc*), *nunc* (*nunc*), *dum* (*etiamdum*, *interdum*, *nondum*), *quom*, *quondam*, *unquam*, *olim*, *interim*. Auch im Litauischen und Slawischen finden wir Beispiele solcher Art. Ausserdem kann der Akkusativ die Bewegung, die über einen Weg oder durch einer Raum führt, bezeichnen. Manchmal tritt er auch in der Funktion der Modalbestimmung auf. Wie hieraus ersichtlich, konnte der Akkusativ ursprünglich sämtliche Verhältnisse bezeichnen, die später durch verschiedene Bestimmungen ausgedrückt wurden. Diese Vielfältigkeit der Funktionen ist das Erbe jener Periode, als

die Bestimmungen noch nicht vorhanden waren und es dem Akkusativ anheimgefallen war ihre Funktionen zu erfüllen.

Die Unterscheidung von grammatischem und lokalem Kasus ist also verfehlt. Ziehen wir die Geschichte der Satzteile in Betracht, so können wir feststellen, dass die Mehrzahl der Kasus die Ergänzung des Prädikats darstellt. Ausser diesen gibt es noch einen adnominalen Kasus, den Genitiv, der erst dann erscheinen konnte, als die Trennung von Verbum und Nomen bereits abgeschlossen war.

Umstritten ist auch die Frage, ob der adnominale oder aber der adverbale Genitiv der ursprünglichere ist. Für die Priorität des adnominalen Genitivs spricht der Umstand, dass das beiwörtliche Attribut, das zur Substitution des Genitivs aus dem Hauptwort gebildet wurde, in den indogermanischen Sprachen, besonders im Altindischen, Griechischen, Lateinischen und Slawischen recht häufig vorkommt. Lateinische Genitivformen wie *cuius*, *huius*, *eius* waren ursprünglich Beiwörter in attributiver Funktion, die mit ihrem Hauptwort in Geschlecht, Zahl und Fall übereinstimmten und dazu auch entsprechende Formen (z. B. *cuius*, *cuius*, *cuius*) besaßen. In den uralischen (finnisch-ugrischen und samojedischen) Sprachen gibt es zwar eine Endung für den Genitiv, viel ursprünglicher war aber das Besitzverhältnis, wo das Wort, das den Besitzer bezeichnete, ohne jedwede Endung als Attribut des Besitzwortes erschien. Die sich später entwickelte Genitivendung war anfangs ein Suffix, mit welchem man Beiwörter bildete.

DIE HERKUNFT DER PHILISTER

Als Sargon II. im Jahre 711 die Stadt Asdod, die ihm ihren Tribut verweigerte und den von ihm eingesetzten Stadtfürsten durch einen, «der wie sie selbst war» ersetzt hatte, zur Rechenschaft ziehen wollte, nannte er die Einwohner Asdods «Hethiter».¹ Die Assyrer nennen die Völker Syriens, wenn sie sich zu Bündnissen gegen ihre Herrschaft zusammenschliessen gern in Bausch und Bogen «Hethiter», eine vereinfachende Bezeichnung, die den Tatsachen nicht allzu sehr zuwiderläuft, da die meisten der Landesfürsten, vor allem die Rädelsführer ja in der Tat Hethiter waren. Ganz anders liegen die Dinge hier. Hier wird nicht das Fürstenhaus hethitisch genannt sondern die Bevölkerung, die ihr Fürstenhaus hasst und einen aus ihrer Mitte auf den Thron setzt. Aber wie kommen die Assyrer dazu, die Philister von Asdod Hethiter zu nennen?

Gerade Sargon hatte keinen Grund, Philister und Hethiter zu verwechseln. Seine Tochter Aḥat-abiša war Königin von Tabal, das damals etwa Kappadokien entsprochen haben muss. Wenn freilich Tochter und Schwiegersohn sich auf die Dauer nicht als gefügig erwiesen und abgesetzt und gefangen genommen werden mussten, so war doch Sargon gerade deswegen mehrfach tief im Hethiterland und scheint auch sein wenig rühmliches Ende dort genommen zu haben. Und dann sollte er von der Sprache und dem Aussehen der Hethiter so wenig gewusst haben, dass er ein völlig fremdes Volk, das er doch genau so in der Nähe gesehen hatte, mit ihnen verwechselte? Schon die Staatsklugheit hätte es nicht ratsam erscheinen lassen, sich mit der Sprache und Eigenart der unterworfenen Völker nicht abzugeben, und in der Tat können wir den Assyriern eine solche Nachlässigkeit auch nirgends nachweisen. Man könnte eher das Gegenteil behaupten: dass sie nämlich ein ausgesprochen volkskundliches und ethnisches Interesse gehabt haben müssen. Sie verwechseln nie die Kimmerier, die Skythen, die Phryger, die Meder, die Perser, obwohl dies verwandte Völker sind. Wenn Sargon trotzdem die Philister Hethiter

¹ H. WINKLER: Die Keilschrifttexte Sargons. Leipzig 1889. Annalen Z. 219 (*amīlu*) *Ḥat-ti-i*, Prisma Z. 95 *Ḥa-at-ti*.

nennt, so muss ihn dazu ausser an dem Aussehen auch an der Sprache etwas bewogen haben, denn die Assyrer verzeichnen gern, wenn sie eine fremde Sprache noch nie gehört haben und fremde Worte nicht aussprechen können, ein Zeichen, dass sie sich damit beschäftigen. Aber wir wissen nichts vom Philistäischen. Wir kennen ein paar Namen und eine einzige sichere Vokabel.² Diese aber scheint in der Tat hethitisch zu sein.

Von den Israeliten erfahren wir, dass die Philister ihre Stadtfürsten *seranīm* nennen. Nach Abzug der hebräischen Pluralendung sieht es durchaus so aus, als wenn *seran-* mit dem griechischen *τέταρτος* in Zusammenhang stünde.³ Diesen hat man aber auch mit dem hethitischen *tarawanaš* in Beziehung gebracht,⁴ und dies scheint in der Tat der gemeinsame Ausgangspunkt zu sein. Den Titel *tarawanaš* tragen die Könige der Hieroglyphen-Hethiter mit einem gewissen Stolz. Er bedeutet «Richter». *tarawanada*, «durch meine Gerechtigkeit» — das heisst durch meine gute Richtertätigkeit — ist eine häufig wiederkehrende Wendung. Nannten sich die philistäischen Stadtfürsten aber «Richter», so verstehen wir auch bei den Israeliten die gleichzeitigen Richter sehr viel besser.

Ausführlich schildern uns die Israeliten die Bewaffnung der Philister. Vor allem sind es die eisernen Lanzen spitzen, die ihre Bewunderung erregen; aber auch die Schuppenpanzer und Beinschienen aus Bronze sind in damaliger Zeit keineswegs etwas Selbstverständliches. Die Israeliten verfügten über kein Eisen, da es von den Philistern eifersüchtig gehütet wurde. Nicht einmal das Schmieden und Schärfen war ihnen erlaubt. «Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden, denn die Philister fürchteten, dass sie sich Schwerter und Lanzen machen würden. Und wenn jemand Pflug, Axt, Beil oder Sense zu schärfen hatte, musste ganz Israel zu den Philistern hinabziehen» (1. Sam. 13, 19). Das Eisen konnten die Philister auf Zügen zu Wasser und zu Lande am Ende des 13. Jahrhunderts nicht aus dem nördlichen Balkan mitbringen, seien sie nun, wie man vielfach annimmt, selbst Illyrier oder durch diese in Bewegung geraten. Ihre Verbindung mit der Hallstadt-Kultur, in der das Eisen in den Jahren 900 bis 500 auftaucht, stösst daher auf chrono-

² Vgl. O. EISSFELDT: Philister und Phönizier. Alter Orient 1936. — Ders.: Philister. PWRE XIX. 1938. 2393. — A. JIRKU: Zur illyrischen Herkunft der Philister. WZKM 49 (1942) 3. — Ders.: Herkunft und Bedeutung der Philister. Rasse 9, 284. — A. GARDINER: Ancient Egyptian onomastica. 1947. I, 200. — G. BONFANTE: Who were the Philistines. AJA 1946, 251. — E. DHORME: Les premières civilisations.² 1950. Coll. Peuples et civilisations. 303. — V. GEORGIEW: Sur l'origine et la langue des Pélasges, des Philistins, des Danaëns et des Achéens. Jahrbuch f. kleinasiatische Forschung I (1950) 136. — Ders.: Le déchiffrement des inscriptions minoenne, Annuaire Univ. Sofia Fac. Hist. phil. 45 (1948/9) 4, 44. — J. BÉRARD: Philistins et préhellènes. Revue arch. 37 (1951) 129.

³ Wohl schwerlich mit *σαράνος* «Häuptling» (GEORGIEW: a. O.). An den satem-Charakter des Hieroglyphen-Hethitischen glauben heute noch die wenigsten, obwohl man mit einzelnen Übernahmen ja wird rechnen müssen. Vgl. u. a. BOSSERT: Belleten 16 (1953) 536.

⁴ BOSSERT: Jahrbuch f. kleinasiat. Forschung 2 (1951) 322.

logische Schwierigkeiten. Aber gerade das Eisen ist ein sicherer Fingerzeig. Das Land, wo noch in römischer Zeit «das Eisen wächst» — *ubi nascitur ferrum* — ist die Kommagene, also Ost-Kleinasien. Die Hethiter hatten nicht umsonst das Eisenmonopol während des ganzen 2. Jahrtausends. Sie verhielten sich den anderen Völkern gegenüber damit genau so zurückhaltend wie die Philister gegenüber den Israeliten. Man fürchtete wohl weniger die fremden Waffen als Einbusse des Geschäftes. Eisenvorkommen allein brachte nicht in den Besitz des kostbaren Metalls, wohl aber das ängstlich als Geheimnis gehütete Verfahren, das noch Homer beeindruckt, wenn er das Eisen *πολύμητος*, «mühsam» nennt (Ilias VI 48). Bis zum heutigen Tage wissen wir über die frühe Eisengewinnung nichts, sofern es sich nicht um aufgelesenes Meteor-eisen handelt. Zu den beim Ausschmelzen der Eisenerze notwendigen hohen Temperaturen gehörte nicht nur viel Holz sondern auch die ständige Zufuhr von Luft. Es wird keine bloße Ausrede gewesen sein, wenn Hattušili den Bittgesuchen um Eisen gegenüber berichtet, es wäre gerade keine günstige Zeit für die Eisenbereitung. Wahrscheinlich fehlte ihm wirklich eine wesentliche Voraussetzung für die Herstellung.⁵ Wenn nun die Philister mit einem Vorsprung von mehreren Jahrhunderten damit in Palästina erscheinen, müssen sie längere Zeit friedlich im Taurus gesessen haben. Liesse die Eisengewinnung sich ohne weiteres übernehmen, so hätten die orientalischen Völker schon längst Eisen in genügenden Mengen gehabt.

Auch die Ägypter schildern uns die Philister. Auf ihren Darstellungen sind sie genau so gekleidet wie die mit ihnen genannten Danuna. Seit der Entdeckung und Entzifferung der phönikisch-hethitischen Bilingue vom Karatepe wissen wir aber, dass die Danuna am Ende des 8. Jahrhunderts in Kilikien sassen und hethitisch sprachen. Sie können nicht mit den Seevölkern dorthin gelangt und in Kilikien hängen geblieben sein, denn wir kennen Danuna schon seit dem 14. Jahrhundert und es scheint, als ob sie schon damals in Kilikien sassen, wenn auch nicht ausschliesslich, sondern weit bis nach Syrien hinein.⁶

Wenn nun also die verwandten Danuna im 8. Jahrhundert hethitisch sprechen, die einzige uns bekannte philistäische Vokabel gleichfalls hethitisch ist⁷ und die eisernen Waffen am wahrscheinlichsten aus dem Taurus bezogen sind und von dorther ergänzt werden, so scheint Sargon doch mit einem gewissen Recht die Leute von Asdod Hethiter zu nennen. Die Israeliten nennen

⁵ So etwa der Wind. Bis in römische Zeit hinein, ja in Hochasien bis in die Neuzeit, hat man sich mit Zugluft begnügen müssen durch Anlage von Gruben an windiger Stelle und hohen Öfen.

⁶ R. D. BARNETT: Karatepe, The Key of the Hittite Hieroglyphs. Anatolian Studies 3 (1953) 87.

⁷ Namen wie *Pichol*, *Achis*, *Goljat* lassen sich aus jeder indogermanischen Sprache erklären, desgleichen *koba'* und *'argaz*. Ohne Sicherung des Gesamthintergrundes von Kultur, Religion und Überlieferung wird es immer misslich sein, von hier aus damit zu operieren.

sie, wenn sie ihre Herkunft und ihr Volkstum bezeichnen wollen, gern Kaphthoriter. Es war natürlich bestechend, Kaphthor für Kreta zu halten, und es gibt genug Hinweise darauf, dass dies mitunter schon in der Antike geschehen ist. Dennoch übertragen jüdische und christliche Bibelübersetzungen des 2. bis 5. Jahrhunderts Kaphthor beharrlich mit Kappadokien.⁸ Kappadokien entspricht Tabal, dem Land, wohin Sargon seine Tochter verheiratet hatte und dessen Einwohner solch tüchtige und begehrte Goldschmiede waren, dass Tabal im Alten Testament geradezu als Begründer der Goldschmiedekunst erscheint. In Muṣaṣir erbeutete Sargon neben urartäischen Gefäßen auch solche aus Tabal. Die schönen Kessel mit den aufgesetzten Attaschen, die von den Keftiu auf den ägyptischen Darstellungen getragen werden, passen viel besser nach Tabal als nach Kreta,⁹ denn es spricht manches dafür, dass sich die Mode der Kesselattaschen, das heisst der aufgenieteten Zierfiguren, von hier aus nach Urartu, nach Griechenland, Syrien und Etrurien verbreitet hat.¹⁰

Man hat diese Schwierigkeit zu meistern gesucht, indem man eine frühe Einwanderung von Kreta nach Kappadokien annahm, die auch ihren Niederschlag in griechischer Sage gefunden hätte.¹¹ Aber nach Meinung der Griechen ist auch einmal Mopsos, in dem man den Ahnherrn des Asitawandas von Karatepe *Mpš*, beziehungsweise Moksas, zu sehen glaubt, von Griechenland aus nach Kilikien gewandert. Sieht man aber in Moksas den Muški, den Phryger,¹² den wir doch in der Tat zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle suchen würden, so verschieben sich die Dinge. Dann haben die Griechen den Apollonpriester Mopsos aus Kilikien mitgebracht, aus der gleichen Gegend, aus der sie Typhaon mit nach Hause nahmen und die Geschichten um Kronos-Kumarbi.

Zu Beginn des 1. Jahrtausends trifft sich in der Ecke rings um den Golf von Iskenderun die ganze Welt. Die alten Grossreiche sind zerfallen oder erschöpft, neue zeichnen sich nur vorübergehend in Umrissen ab. Nichts ist bezeichnender für den damaligen Zustand als die vermittelnde Stellung der Phöniker als Dolmetscher und Unterhändler und ihre so völlig eklektische Kunst. Es scheint nun, als wolle die Sage von der Suche nach Europa eine gewisse geographische Ordnung in dieses buntgewürfelte phönikische Klientel bringen. Sie reiht Aigyp̄tos — unter Ägypten ist hier wohl das südliche Syrien zu verstehen — Phoinix und Kilix als die letztlich doch zu Hause Gebliebenen

⁸ Septuaginta, Vulgata, Peschita und Targum. Vgl. CALLING: Reallexikon f. Vorgeschichte. X. 126.

⁹ BOSSERT: Altkreta.³ 1937. 536 ff.

¹⁰ KEES (Das Alte Ägypten. Berlin 1955. 77) hält die tributbringenden Keftiu für eine stehende Formel und ihre Gefässe für syrisch oder syrische Nachahmung oder über Syrien laufenden Export. Ausschlaggebend ist aber wohl der hetlütische Typ des Greifenkopfs mit den Seitenlocken.

¹¹ WAINWRIGHT: JEA 17, 26.

¹² R. DUSSAUD: Prélydiens, Hittites et Achéens. Paris 1953.

nebeneinander und schickt Kadmos und Danaos auf die Reise.¹³ Aber wo stecken in dieser Aufzählung die doch damals meistgenannten Hethiter? Ist Danaos der Danuna? Und wer ist Kadmos? Gewiss nicht der «Östliche», denn ein Land Osten gibt es nicht und auch kein Volk dieses Namens in der kilikischen Ecke. Ist Kadmos der «Hethiter»? Das rauhe hethitische *ḫ* erscheint schon im Späthethitischen und regelmässig im Griechischen als «κ». Hattušili wird Katazili, die Hīlakku sind die späteren Kilikier.¹⁴ Kadmos bringt die phönikische Schrift nach Griechenland, was ausgezeichnet zu dem im 8. Jahrhundert phönikisch — und nicht aramäisch — schreibenden Karatepe passt. Deswegen braucht er also noch kein Phöniker gewesen zu sein. Für diesen ist in der geographischen Ordnung ja auch bereits Phoinix vorgesehen. Kilix weist auf Verhältnisse im 7. Jahrhundert hin, wo die Hīlakku allmählich in die kilikische Ebene vorgedrungen sein müssen. Auch dies sind nach Aussage ihrer Königsnamen Syennesis ohne allen Zweifel Hethiter.

Sehr aufschlussreich ist die Mutter des Kadmos. Sie heisst Telephassa. Dahinter steckt der hethitische Telipinu, der im westlichen Kleinasien zu Telephos wird, auf dem griechischen Festland aber zu Telphussa-Delphoi.¹⁵ Wie gut den Griechen dieser Kindergott bekannt ist, erweist der kleine Apollon, der der wahrsagenden Nymphe Telphussa im Ärger die Quelle mit Steinen zuwirft. Der Hymnendichter nennt ihn daher ohne alle Rücksicht auf den klassischen Apollon ganz einfach «ungezogen» (*ἀτάσθαλος*). Die nichtsnutzigen Manieren hat der Knirps, der noch auf dem Arm der Mutter den Typhon erschießt, über die Nymphe Telphussa von Telipinu bekommen. Aber wie will man die phönikische Königin Telephassa mit ihrer griechischen Namensschwester Telphussa unter einen Hut bringen, wenn nicht über ihren Sohn Kadmos, den «Hethiter», der aus dieser völkerreichen Ecke nach Theben ausgewandert ist? Die Kadmeer waren nach Aussage der Griechen Pelasger, aber die Pelasger sind nichts anderes als die Philister.¹⁶

Nun wird man freilich einwenden, dass die Leute in Asdod doch unmöglich hethitisch gesprochen haben können, vor allem, weil doch gerade die Philister sich immer als so wenig charakterfest gezeigt haben.¹⁷ Überraschender-

¹³ Sie haben nicht die gleichen Väter und nicht dieselben Schicksale. Das Wesentliche ist aber, dass die Sage sie zusammenhält als Vertreter der vom Nil bis zum Taurus ansässigen Völker.

¹⁴ Es läge nahe, dass *m* in Kadmeia, Kadmilos, Kadmos auf ein *-uman* zurückzuführen. *Šuppi-lulīia-uman* wird *Sapalulme*. Dem scheinen die Beobachtungen von GÖTZE (Language 30 [1954] 349 f.) zu widersprechen. Aus *Hatti-uman* wäre das *n* und nicht das *M* erhalten geblieben wie in *Luka-uman* *Λυκαονία* usw. Aber Kadmos kann sich erst auf dem Wege über die Kadmeia aus Kadmilos entwickelt haben. Der umgekehrte Weg ist nicht denkbar, Kadmilos entspricht einem *Hatti-uman-ili*, der «Hethitische», entsprechend *pala-uman-ili* «palaisch», «von palaischer Sprache».

¹⁵ RIEMSCHEIDER: Der Wettergott. Leipzig 1956. 134 f. u. 166.

¹⁶ V. GEORGIEV: a. O. auf Grund des Ilias-Scholions XVI 233 (Dindorf VI 176), das als Vokativ für Zeus *Πελαστικέ* angibt und der Bemerkung bei Hesych, das *Πελασγικόν* wäre *Πελαστικόν* genannt worden.

¹⁷ EISSFELDT: a. O. passim.

weise aber ärgern sich die Juden gerade über die Charakterfestigkeit der Asdoditer. Nehemia beschwert sich (13, 23), dass die Kinder aus den Mischehen mit den Asdoditerinnen nur noch zur Hälfte jüdisch sprächen, zur anderen aber «asdoditisch». Und das im 5. Jahrhundert! Man hält ein unsemitisches Asdoditisch für völlig undenkbar und meint, dann hätte man in Asdod eben nicht einmal mehr hebräisch gesprochen sondern bereits aramäisch. Aber da doch die ganze übrige Welt damals aramäisch sprach und dieses sogar Weltverkehrssprache geworden war, der sich sogar die Perser bedienten, wäre die Kennzeichnung des Aramäischen als «Asdoditisch» doch selbst in jüdischem Munde höchst eigenartig gewesen. Das weist doch auf einen sowohl vom Kanaanäischen wie vom Aramäischen verschiedenen Dialekt hin. Im 8. Jahrhundert hielt Sargon ihn für hethitisch. Mag er im 5. auch keine grosse Ähnlichkeit mehr mit den uns bekannten hethitischen Dialekten gehabt haben, so können wir jedenfalls aus diesem Tadel keine Charakterschwäche für die Asdoditer oder gar für die Philister im allgemeinen herauslesen, die doch von den Makkabäern und auch später noch *ἄλλόφυλοι*, «Ausländer» genannt wurden, wörtlich «Andersstämmige».

Als Beweis für die Charakterschwäche der Philister wird die schnelle Preisgabe ihrer Gottheiten angegeben, die sie ganz einfach gegen die bodenständigen eingetauscht hätten. Wie steht es nun aber mit der Bodenständigkeit der philistäischen Götter?

Der Hauptgott der Philister ist ersichtlich Dagan. Ist Dagan ein kanaanäischer Gott, den sie in Palästina vorgefunden haben? Man ist sich darüber im Klaren, dass Dagan kein semitischer Name ist.¹⁸ Die ägyptischen Ächtungstexte aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends, die uns eine solche Fülle semitischer Namen im südlichen Kanaan geliefert haben, enthalten keinen einzigen, der mit Dagan zusammengesetzt wäre.¹⁹ Erst in der Amarna-Zeit findet sich vereinzelt ein Dagan-takala.²⁰ Wir begegnen dem Gott in vor-philistäischer Zeit erst wieder in Ugarit, im Streukreis seines Heimatlandes. Denn Dagan ist der Gott von Terqa oder besser Terqân, einer bedeutenden Kultstadt am mittleren Euphrat, 70 Kilometer nördlich von Mari gelegen, zu dem es bis zu dessen Untergang politisch gehört. Dort ist das Verbreitungsgebiet des Dagan und dort gehört er sprachlich hin.²¹

¹⁸ H. SCHMÖKEL: Reallexikon der Assyriologie. II. 1933. 99.

¹⁹ SETHE: Die Achtung feindlicher Fürsten, Völker und Dinge auf altägypt. Tongefässcherben. Abh. d. pr. Ak. d. Wiss. Phil. hist. Kl. 1926. 5. — POSENER: Princes et pays d'Asie et de Nubie. 1940. — A. ALT: Die Hyksos in neuer Sicht. Berlin 1954. 28.

²⁰ R. DUSSAUD: Les religions des Hittites et des Hourrites. Mana II. Paris 1949. 365.

²¹ J. R. KUPPER: Un gouvernement provincial dans le royaume de Mari. Revue d'Assyriologie 41 (1947) 149. Allein im Distrikt von Terqa erscheinen 7 Ortsnamen auf «ân»: Zurbân, Hîmarân, Damiqân, Dumtân, Bît-Zarhân, Qattunân, Mišlân. Dazu etwas weiter ab das berühmte, den Hethitern besonders heilige Harrân.

Es gab ehemals drei Städte mit Namen Terqân. Sie sind schwerlich zu trennen von dem in gleicher Gegend beheimateten Personen-Namen Tiriqan. Der letzte König der Guti hiess Tiriqan. Wir finden den Namen wieder in einer Gruppe rein hethitischer, auf «an» endender Namen in Chagar Bazar aus der Zeit Šamši-Adads: Huḫan, Annan, Kanzan, Ḫalukan/i neben Ḫaliḫa, Tuzziia, Ḫalzija, um nur einige zu nennen.²² Die Endung *-an* kehrt wieder in kappadokischen und nordsyrischen Texten und ist entweder einem der hethitischen Dialekte eigen oder aus dem Chaburgebiet von ihnen mitgeschleppt.

Der Guti-König Tiriqan braucht kein Gutäer mehr gewesen zu sein. Mit den anderen Guti-Namen hat Tiriqan nicht die geringste Ähnlichkeit.²³ Nun kennen wir durch Herodot (4, 57) den skythischen Heros Targitaos. Dass er eine Art Urvater ist, deutet auf einen ehemaligen Gott hin. Aber wer sollte das anders sein als Tarhund, beziehungsweise Tarchon, Tarquinius? Der Wechsel von *a* und *i* ist im Hethitischen nicht selten²⁴ und zeigt sich auch in der Unentschiedenheit zwischen Ziparwa und Zaparwa, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Wir finden ihn wieder bei Philistern und Palästina, assyrisch Palaštu neben Pilištu, und selbst noch in römischer Zeit in dem Schwanken zwischen Tabarenern und Tibarenern, den Nachfolgern der Tabaler.

Ist aber Terqân hethitisch, so gerät Dagan in den gleichen Verdacht. Nun ist *dagan* in der Tat nicht nur ein hethitisches Wort sondern als Daganzipas eine hethitische Gottheit. Dagan heisst «Erde». Schmökel lehnt die Zurückführung auf hethitisch *dagan* aus «zeitlichen Gründen» ab.²⁵ Das ist heute gegenstandslos, da die Blütezeit des Gottes im Chaburgebiet mit der Anwesenheit der Hethiter im Kernland seiner Verehrung zusammenfällt. Philon von Byblos macht Dagan zu Siton oder Zeus arotrios. Er ist also auch hier Erdgott, nur dass dies als «nährende Erde», als Getreide- oder Pflüger-Gott aufgefasst ist. Ein männlicher Erdgott ist zumindest ungewöhnlich, aber vielleicht ist es nicht allzu kühn darauf hinzuweisen, dass unter den Göttern von Yazilikaya dicht hinter dem Wettergott ein männlicher Gott eine Ähre trägt.

Erde und Unterwelt sind in fast jeder Religion identisch. Die Hethiter bezeichnen die Unterwelt als das Gebiet der «Sonnengottheit der Erde». Aber die «Sonne» scheint hier nicht astral gemeint zu sein sondern als Titel ähnlich wie im Ägyptischen: «seine oder ihre Hoheit, die Erde». Wir glauben den Namen dieser Gottheit nicht zu kennen und halten ʾUTU *tekanaš* für eine

²² C. J. GADD: Tablets from Chagar Bazar and Tell Braq. Iraq 7 (1940) 32.

²³ G. R. MEYER: Gutium. Diss. Berlin 1951.

²⁴ J. FRIEDRICH: Hethitisches Elementarbuch. Heidelberg 1940. § 11.

²⁵ a. O. — Sumerisch hiesse *dagan* so viel wie «Allheit». Aber das ist zufälliger Gleichklang, da «Allheit» sehr schlecht zu dem Charakter der Gottheit passt.

Umschreibung. Das ist nicht sicher, wenn wir an das griechische «das des Hades» für Unterwelt denken. Die Hethiter sagen für «zugrundegehen»: «er geht den Weg Seiner Hoheit der Erdgottheit». Dagan kann hier tatsächlich Name sein, der aber der bedrohlichen Eigenschaften seines Reiches wegen ungern und wenn, dann mit Vorsichtsmassregeln gebraucht wird, das heisst ohne Gottesdeterminativ, so als sei es schlechthin die freundliche und harmlose Erde. Das legt vor allem die Bildung Daganzipas «Erdgeist» nahe. Aber auch dem Unterweltsgott verbleibt die Vorstellung der Fruchtbarkeit. In der Persephone-Geschichte hat sich die Ähre in Granatapfel-Kerne verwandelt. Wer von der Frucht der Erde isst, ist der Erde verfallen. Zu der Vokabel *dagan*, laut Philon «Pflüger» oder «Korn» passt gut der männliche, rein hethitische Personennamen aus Chagar Bazar Kanzan «Weizen». Nicht Demeter lehrt die Menschen Ackerfurchen ziehen sondern Triptolemos, auch dies eine Verballhornung aus dem Knaben und Vegetationsgott Telipinu, der in den hethitischen Texten fast stets mit der nur halb personifizierten «Ähre», Ḫalkiš, erscheint.²⁶

In einem Ritual aus Nippur erscheint Dagan als der Gott, der über alle anderen Unterweltsgötter Gewalt hat.²⁷ Man kann sich schwer vorstellen, dass dieser Unterwelts- und Erdgott Dagan aus dem hethitisch durchsetzten Chaburgebiet nicht derselbe sein sollte wie der hethitische Unterweltsgott, der «Erde» heisst. Wie sollten dann aber die Philister, die diesen Gott nach Kanaan mitbringen, keine Hethiter sein? Welches andere Volk hätte ein Interesse daran gehabt, den Lokalgott von Terqa nach dem südlichsten Syrien zu verschleppen?

Eines ist klar: nicht Charakterlosigkeit der Philister hat zu der Verehrung des Gottes Dagan geführt. Vermutlich haben sie mit den übrigen Hethitern den Weg vom Chaburgebiet zurückgelegt, wo sie haften blieben, bis im Strudel der Seevölker-Bewegung abermals Volksteile von ihnen mitgerissen wurden. Dass sie nunmehr Schiffe besitzen, ist nicht verwunderlich. Nach Ausweis der Schiffsdarstellung in Karatepe sind auch die Danuna gewandte Seefahrer.

Es bleibt aber immer noch die Frage: wo sassen sie? Es wäre doch zu erstaunlich, wenn sie schon im 2. Jahrtausend in einer Gebirgsgegend des Taurus und im Besitz der Eisenbergwerke gewesen wären und man in Hattuša, der Hauptstadt des Hethiterreiches, nicht Notiz davon genommen hätte. Undenkbar, dass sie hier als Volkstum nicht in Erscheinung treten.

Aber vielleicht treten sie wirklich in Erscheinung und keineswegs allzu bescheiden. Schon Hrozný hat darauf hingewiesen, dass die Philister nicht nur mit den Pelasgern sondern auch mit den Einwohnern des Landes Pala identisch sein könnten.²⁸ Sie erscheinen neben den Luwiern als ein Volkstum

²⁶ RIEMSCHEIDER: a. O. 140.

²⁷ RA XVI 145 ff. Vgl. SCHMÖKEL: a. O.

²⁸ Die älteste Geschichte Vorderasiens. 2 152.

für sich mit eigener Sprache oder besser eigenem Dialekt. Denn wenn wir das Palaische auch noch wenig verstehen, so ist doch klar, dass es dem Keilschrift-Hethitischen eng verwandt ist. Die Pala-Leute bewohnen eine gebirgige Gegend und ihr Land ist den hethitischen Königen so wichtig, dass sie seine Verwaltung, sofern sie darüber verfügen, gern einem Prinzen des Königshauses vorbehalten.²⁹

Oberster Gott der Pala-Leute ist Ziparwa oder Zaparwa. Damit kommen wir auf den zweiten philistäischen Gott, der uns überliefert ist, den «rätselhaften» (Dussaud) Baal-Sebub, der sich als Baal-Sebub, als «Fliegengott» genau so wenig glaubhaft aus dem Semitischen ableiten lässt wie Dagan. Ist doch der «Fliegengott» selbst so rätselhaft, dass man ihn nur als volksetymologische Deutung eines fremden Namens werten kann. Dass Sebub in Kanaan bodenständig sei und dort von den Philistern vorgefunden wäre, hat daher noch niemand behauptet. Sie haben ihn also mitgebracht. Aber woher?

Nun ist Baal Zebub nichts anderes als Zababa,³⁰ dieser wieder nichts anderes als Zaparwa. Nichts ist unsicherer als unsere Aussprache Zababa. Die Keilschrift verwendet hier wohl absichtlich nicht das übliche Zeichen für *ba* sondern eines, das meist völlig anders gelesen wird. Die Glosse «II(?)ba-ba»³¹ weist vollends darauf hin, dass es auch mit «za» nicht ganz stimmt, obwohl wir für das in Frage kommende Zeichen keinen anderen Beleg haben als «ib». Selbst in Ugarit wird *Ž-b-b* mit einem Zeichen geschrieben, das sonst nur in ausländischen Namen Verwendung findet.³² Merkwürdig, dass der Gott von Kisch sich nur so umständlich und mehrdeutig schreiben lässt, was man bei der einfachen Form Zababa doch gewiss nicht erwartet. War er also von je ein ausländischer Gott? So führt im Sargon-Epos, wo ihm ein solch breiter Raum eingeräumt ist, der Kaufmann von Puruṣḫanda den bezeichnenden Namen Nur-Daggal, das ist Nur-Dagan.³³ Im 3. Jahrtausend erfreuten sich also im gleichen Raum die beiden Götter Dagan und Zababa besonderer Verehrung.

In Chagar-Bazar, wo sich die vielen hethitischen Namen finden, wird im Orakelhaus (*bīt bari*) ein Hirsch gehalten.³⁴ Man opfert Hirsche so wenig wie man sie verspeist. Deshalb ist es auch nur einer, natürlich der Gott oder das Symbol des Gottes. In Mari finden wir den Personen-Namen *Aialu-šumu*, «mein Name ist Hirsch».^{34b} Auch dies weist auf einen Gott hin, der den Hirsch

²⁹ BOSSERT: Ein hethitisches Königssiegel, Berlin 1944. 77 ff.

³⁰ TH. H. GASTER: The Story of Aqat. Iraq 6 (1939) 140 zu V. 55. Die Gleichsetzung schon bei VIROLLEAUD.

³¹ DEIMEL: Sumerisches Lexikon. IV 1. Rom 1950. Nr. 957, 18.

³² GASTER: a. O.

³³ SCHMÖKEL: a. O.

³⁴ GADD: a. O. 32.

^{34b} CH. F. JEAN: Studia Mariana. Leiden 1950. 74.

im Namen führt. Aber wenn uns ein Gott irgend bekannt ist, so doch der Hirschgott. Die Hethiter nennen den Tempel, wo sie das AN.TAH.ŠUM-Fest, das Hirschfest, feiern,³⁵ das «Haus des Zababa» oder das «Haus des Ziparwa». Die Priester, die dort tätig sind, werden Priester des 𐎶KAL genannt. 𐎶KAL ist der Hirschgott; daran zweifelt niemand. Unbeschadet dieser umständlichen Ausdrucksweise ergibt sich also mit aller Deutlichkeit, dass Zababa mit dem Hirschgott identisch ist und desgleichen Ziparwa. Was hätten die Priester des Hirschgottes in einem fremden Tempel zu suchen? Da es in Hattuša schwerlich viele Hirschgötter gibt,³⁶ sind also auch Zababa und Ziparwa identisch, ob schon rein lautlich, werden wir bei der sonderbaren Schreibweise vorerst nicht erkennen können. Auch Zebub ist ein berühmter Orakelgott, der sogar von den Israeliten konsultiert wird. Der Hirsch war in Palästina nur vorübergehend zu halten und wurde meist durch die Gazelle ersetzt.³⁷

Die Bevölkerung von Terqa bleibt auch später noch hethitisch, so wenig von der Sprache übrig geblieben sein mag. Es ergibt sich dies deutlich aus der Kunst. Bleibt doch auch das nördlicher gelegene Guzâna (Tell Halaf) im Grunde immer hethitisch. Wahrscheinlich war gerade das so weit nach Osten vorgeschobene Guzana daran schuld, dass man die ganze hethitische Kunst hurritisch genannt hat, unbeschadet der hethitischen Inschriften in ganz Ost-Kleinasien. Dennoch bildet die kürzlich in der Nähe von Terqa gefundene Siegesstele des Tukulti-Ninurta III (888—884) eine Überraschung.³⁸ Es gibt keinen grösseren Gegensatz als den zwischen der Stele und den Reliefs Aššur-našir-pals II, die doch nur wenig später sind. Man kann die Kultstadt Terqa nicht gut als Provinz bezeichnen, so provinziell uns auch die hethitische Kunst anmuten mag. Wenn Tukulti-Ninurta einem hethitischen Künstler den Auftrag gibt, ihn zusammen mit dem Stadtgott von Terqa und nicht mit Assur abzubilden, so wird dies keine blosse Laune gewesen sein. Der Gott erscheint als der hethitische Wettergott und Drachenkämpfer im Kampf mit der Schlange. Ob man ihn Adad oder Tarḫund nennt, wird dem Künstler gleichgültig gewesen sein, auch ob die Schlange Illujankas oder, wie später in Syrien, Leviathan heisst. Sind Illujanka und Leviathan nicht dasselbe,

³⁵ RIEMSCHEIDER: Augengott und heilige Hochzeit. Leipzig 1953. 207.

³⁶ Es kommen noch andere Namen vor, Zitharijas, Ninurta, sogar die «Königin», die Mutter des Hirschgottes. Immer aber ist es doch letztlich derselbe Gott! Man wird doch nicht allen Ernstes glauben, dass all diese Götter in Hattuša eigene Tempel hatten und sämtlich als Hirschgötter galten. Der Text ist doch immer der gleiche, wenn auch gemäss den Stationen der Begehung anders zusammengestellt. Vielleicht nahm man auf die Dialekte Rücksicht, in der Hauptsache aber sind es Schreiberlaunen, die Hattuša als ein wahres Rom der Kaiserzeit erscheinen lassen. Sicher mit Unrecht.

³⁷ Man vgl. aber die eingeritzten Hirschköpfe auf den Kultbeilen in Byblos. H. DUNAND: Les fouilles de Byblos. I u. II. 1939. T. XCVII. Desgleichen Hirsche in Relief auf Gefässen T. CLXXV.

³⁸ R. J. TOURNAY et SAOUAF: Stèle de Tukulti-Ninurta II. Annales archéologiques de Syrie. II. 169. Eine bessere Abbildung bei SCHMÖKEL: Ur, Assur und Babylon. Stuttgart 1955. Taf. 83.

wenn man annimmt, dass sie beide auf einen gemeinsamen Namen zurückgehen, der uns bisher verborgen ist? Vergessen wir doch nicht, dass wenige Jahrhunderte später aus dieser Schlange Typhaon und nach der keineswegs schlechten Aussage des Nonnos aus dem Wettergott Kadmos wird, der Kadmos, der — wie wir oben sagten — in der Völkerreihe der Europasage nur ein Volk, dann aber doch nur das der Hethiter darstellen kann. Der Drachenkampf des Kadmos findet in Kilikien statt.

Noch ein dritter philistäischer Gott ist uns erhalten, wenn auch erst aus der Spätzeit, Marnas, der Gott von Gaza. Man hält den Namen für die aramäische Form des Vegetationsgottes Adonis: «mein Herr». ³⁹ Aber man fragt sich, was die Leute aus Gaza bewogen haben mag, Adonis in aramäischer Namensform zu verehren. Wo auch immer wir ihm begegnen, ist er der Gott von Gaza und mit keiner anderen Stadt oder Landschaft verknüpft. Das Aramäische ist hier genau so unverständlich wie als Erklärung der Sprache der Asdoditer. ⁴⁰

Marnas ist Regen- und Orakelgott. Im Zentrum seines Heiligtums befand sich ein ἀναφυστικὸν κιβώριον, eine «aufgeblasene», oder doch besser «entfaltete Wasserrose». Bei Porphyrius (Hor. c. 2, 7 22) steht zu lesen: *ciboria sua proprie sunt folia colocasiorum, in quorum similitudinem pocula facta eodem nomine appellantur*. Jeder Hethitologe wird sofort erkennen, dass es sich bei diesem Ciborium um ein charakteristisches hethitisches Gefäß aus Stein oder Metall handelt, das mit seinem Rillenschmuck, bei dem die Vertiefungen oben abgerundet sind, sehr wohl an eine entfaltete Wasserrose erinnert. Man erkennt diese Gefäße auf den ersten Blick auch in etruskischer und urartäischer Umgebung. Die Hieroglyphen-Hethiter sahen in den Rillen Finger, die den Gefäßkörper tragen und nannten diese Becken daher *tapissana*, «Himmelschalen», so als würde der Himmel durch die Finger und Zehen eines Atlanten getragen. ⁴¹ Daher könnte man vermuten, dass es sich bei Marnas um einen Himmelsgott handelte. Er wird stets mit Zeus gleichgesetzt ⁴² und nirgends findet sich der geringste Hinweis auf den sterbenden Vegetationsgott.

Bei der Zerstörung des Marnas-Tempels durch die Christen wurden die «heiligen Marmorplatten» in das Pflaster vor der Kirche vermauert, die anstelle des Tempels errichtet wurde. Man wollte sie durch das Betreten und

³⁹ PREISENDANZ: PWRE XXVIII. 1930. Sp. 1899. Aber das Nominativ -s?

⁴⁰ Man könnte an luvisches *masna*- «Gott» denken (H. OTTEN: Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen. Berlin 1953. 54 ff). Der urartäische König Sarduri erscheint im Hieroglyphen-Hethitischen als Sasturis (BOSSERT: Zur Geschichte von Karkamis. Studi classici e orientali. Pisa 1951. 63). Das liesse auf Keilschrift-Hethitisches und vielleicht palaisches *marna*- schliessen. Gibt es doch ein kultisches Getränk *marnuwa*-. Aber bei unseren geringen Kenntnissen des Palaischen ist es noch zu früh zu Namensgleichungen. Immerhin wird man die Vokabel im Auge behalten müssen. Dass die Hethiter den Stadtgott ganz einfach «Gott» nennen, braucht nicht von El oder Baal hergenommen zu sein. Wir finden das gleiche bei Siunasmis.

⁴¹ RIEMSCHNEIDER: Wettergott. S. 55.

⁴² Oder mit dem kretischen Asterios.

den Strassenschmutz entweihen. Aber die Heiden vermieden es, die Steine zu betreten und machten lieber einen Umweg. Eine blosse Wandverkleidung wird man kaum als heilig empfinden. Wahrscheinlich handelt es sich hier um Orthostaten-Reliefs, da auch mehrfach von den für göttlich gehaltenen Tieren und anderen «Abscheulichkeiten» die Rede ist. Vielleicht hat man alte Orthostaten, die man sich ähnlich den Reliefplatten aus Tell Halaf oder Karatepe vorstellen mag, immer wieder bei jedem Neubau des Tempels mit eingemauert. Bisher haben sich freilich so weit südlich weder hethitische Hieroglyphen noch Othostaten gefunden.⁴³ Die südlichste Grenze für das Auftreten der Hieroglyphen-Hethiter ist Hamath. Da aber die Philister sicherlich keine Hieroglyphen-Hethiter waren und sich von den übrigen «Hatti» gewiss erheblich unterschieden, würden wir ihre Erzeugnisse nicht sofort als hethitisch ansprechen müssen.

Hier erhebt sich nun die Frage, ob die «Philister-Keramik» ein sicheres Kennzeichen für die Philisterwanderung ist.⁴⁴ Spätmykenische Keramik konnten die Philister am ganzen östlichen Mittelmeer kennen lernen. Der Weg der Seevölker brandete auch über die Ostspitze von Cypern. Das lässt aber die Beweiskraft für die Herkunft aus Kreta oder Griechenland sehr ins Wanken geraten. Da sich gerade in Kilikien eine ganz ähnliche Keramik nachweisen lässt, kommt Bérard zu dem Schluss, die Philister müssten eine Zeitlang dort gesessen haben. Dass sie es wirklich getan haben, legt schon ihr Eisenmonopol nahe. Ob sie nun freilich auf dem asiatischen Festland oder auch (!) auf der Ostspitze von Cypern sitzen, bedeutet für ein seefahrendes Volk kaum einen Unterschied. Jedenfalls kann man hier von einer Wanderung nicht sprechen. Von der «Philisterkeramik» her gewinnen wir also nur eine Bestätigung, dass die Philister sich schon vor dem Ausbruch der Seevölker-Bewegung im östlichen Mittelmeer aufgehalten haben müssen. Wie diese Bewegung entstanden ist und welche Rolle die Philister dabei spielten, ist noch immer ein ungelöstes Problem.

⁴³Mit Ausnahme der Stele aus Beth-Sean, wo—ähnlich wie in Alaca—Höyük-Löwen mit Hunden gejagt werden. Die Stele ist zweifellos hethitisch. Abg. bei H. FRANKFORT: *The Art and Architecture of the Ancient Orient*, 1954, I, 147.

⁴⁴HEURTLEY: *The relationship between Philistine and Mycenaen pottery*. Quart. Dep. Palest. V, 1936. — A. FURUMARK: *Chronology of the Mycenaen pottery*. 118 ff., ders.: *Opusc. archaeol.* 6 (1950) 239 ff.

М. РИМШНЕЙДЕР

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФИЛИСТИМЛЯН

(Резюме)

Когда Саргон II говорит о наказании в 711 г. до н. э. Ашдода, города филистимлян, то называет жителей этого города «хеттитами». Эти данные из хроники Саргона не могут считаться ошибкой или употреблением имени в переносном смысле, а доказывают, что филистимляне происходили от хеттитов. Это предположение может быть подкреплено и другими доводами. То, что нам известно из языка филистимлян (одно слово и несколько имен) может быть очень хорошо объяснено по хеттитски. На хеттитов показывает и развитое искусство обработки железа у филистимлян. Другие данные за хеттитское происхождение филистимлян дает нам история религии. Имя главного бога филистимлян Даган хорошо может быть объяснено хеттским словом *dagan* 'земля', можно сравнить это имя и с именем бога хеттитов Даганципаш. Имя другого бога филистимлян Баал-Цебуб тоже хеттитского происхождения: можно связать его с богом хеттитов Цабаба. Культ третьего бога филистимлян Марнаса тоже содержит типичные хеттитские элементы, возможно, что и само имя Марнас хеттитского происхождения (ср. с лув. *masna* - 'бог'?). Против этих выводов не говорит и так называемая «филистимлянская керамика», потому что она как раз и подтверждает, что филистимляне раньше должны были жить одно время в Киликии.

A. DÁVID

UN FRAGMENT DE BRIQUE SIGILLÉE DE NABŪ-KUDURRI-UŠUR II

Le fragment de brique (sur la partie ne comportant pas de sceau, haute de 3,2 cm) est conservé au Département des Antiquités du Musées Hongrois des Beaux-Arts; N° de l'inv. 51.2.339. Sa plus grande longueur est de 7,8 cm, sa plus grande largeur de 8,1 cm environ (fig. 2).

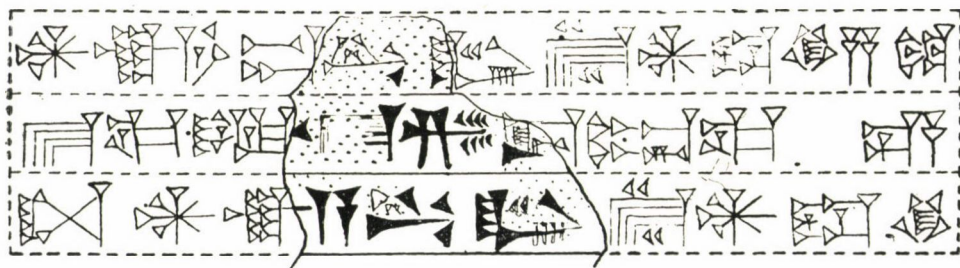


Fig. 1.

L'argile superficiellement nettoyée et cuite inégalement, porte, surtout sur le revers non aplati, les empreintes d'un brin de paille ou d'un roseau plus mince, éventuellement de fragments de feuilles. On y trouve aussi des restes de chaux, évidemment les débris des coquilles.

La couleur des surfaces de cassures permet de conclure que la brique a été sortie de la terre déjà comme fragment. La cassure sous le sceau paraît cependant plus récente et devait être causée par la séparation intentionnelle de la partie dépourvue de sceau, étant sans intérêt. D'après les quatre signes qui subsistent et qui ne donnent pas lieu à aucun malentendu, le texte schématique peut être reconstitué de façon certaine. Même le rapport entre les signes graphiques disposés en deux lignes, rend évident que le texte ne consistait qu'en trois lignes en tout.

Étant donné que les lignes de séparation sont à distance égale l'une de l'autre, la largeur intégrale du sceau a dû être de 5,26 cm environ. Malheureusement la longueur ne peut pas être établie avec une telle précision. Recon-

stituant, d'après ce qui nous est resté, les signes manquants des trois lignes, et les repartissant le plus économiquement possible, nous obtenons un minimum de 20,6 cm environ, tandis que le maximum pourrait être de 25% plus grand.

Le caractère des signes nous permet d'établir que la matrice de sceau, elle aussi a été faite, selon toute probabilité, en argile cuite.

Le texte reconstitué est le suivant (fig. 1) :

1. *[nabû-kudurri-]uṣur š[ar bābili za-nin]*
2. *[e₂-sag-ila] u e₂-zi-d[a aplu ašarēdu]*
3. *[ša nabû-]apla-uṣur šar[bābili]*

1. «Nabû-kudurri-uṣur, roi de Babel, curateur
2. de Êsagila et de Êzida, premier héritier
3. de Nabû-apla-uṣur, roi de Babel.»

Donc notre fragment — ainsi que les innombrables briques sigillées de types différentes, dispersées dans le monde entier¹ — conserve le souvenir de Nabû-kudurri-uṣur II (604—562).

Ce dernier grand souverain de Babylonie, par ses briques sigillées et ses nombreuses inscriptions, renseigne la postérité sur son énorme activité constructrice, affirmations parfaitement attestées par les résultats des fouilles. Parmi ses constructions, nous trouvons, à côté des nombreux temples, palais et des «jardins suspendus de Semiramis», aussi le «mur mède» s'étendant du Tigre à l'Euphrate, et d'Upi à Sippar, ainsi que le système de fortifications gigantesque de Babel.

Or, c'est de ce fait qu'il faut partir, à mon avis, pour apprécier toute son attitude et toutes ses manifestations. Conscient du fait qu'il vécut dans le cours d'événements d'une importance historique, ce grand constructeur s'était rendu nettement compte de quel côté le danger menaçait-il la formation politico-culturelle symbolisée, depuis Hammurapi, par le nom de Babel — formation dont il devint, avec une conviction sincère, représentant et défenseur. Cette attitude s'ensuit naturellement aussi de sa situation individuelle. Il est, avant tout, fils et successeur politique de Nabû-apla-uṣur qui s'est efforcé de défendre contre l'invasion des Mèdes autant de territoire qu'il pouvait assurer dans la situation donnée, avec un minimum de sacrifice, même au prix d'une alliance avec l'envahisseur. Il fut en outre — en tant que gage de l'alliance médo—babylonienne — gendre de Huvaxštra-Kyaxares qui incarnait

¹ Sur notre fragment le rapport entre les signes restés est le même que sur le sceau de brique autographié chez R. KOLDEWEY: *Das wiedererstehende Babylon*, Leipzig 1925, p. 79. F. Supposé cependant que l'autographie de KOLDEWEY est absolument exacte, même dans ses dimensions, les deux sceau de même type n'ont pu provenir du même cachet, car la largeur des signes, ici et là, n'est pas en proportion égale de la hauteur des interlignes.

à cette époque le «danger oriental». En cette qualité il voyait mieux derrière les coulisses du grand historique, déjà déclanché, que les princes locaux de la Syrie és de Palestine ou bien les rois de l'Égypte dont les forces en ces temps-là furent juste suffisantes pour tenir en agitation perpétuelle l'atmosphère politique internationale.



Fig. 2.

Appréciant de manière juste les proportions des forces des grandes puissances, ce n'est jamais purement pour occuper ses soldats qu'il fit la guerre. Il ne se décida à une attaque à main armée que par contrainte et exclusivement pour assurer les derrières de la Babylonie jusqu'à la Méditerranée. Il se contenta même, lors de la pacification de la Judée révolutionnée

par l'Égypte, d'écarter l'intervention à main armée égyptienne. Il ne se laissa pas entraîner à mettre le pied sur le territoire de l'Égypte en poursuivant les troupes égyptiennes refoulées. La maîtrise de la Syrie-Palestine n'était par ailleurs mal vue par les Mèdes ayant un intérêt en Asie Mineure, mais l'occupation de l'Égypte aurait pu entraîner, pour sa Babylonie — comme pour l'empire néo-assyrien au temps de Aššur-aḫḫê-iddin et de Aššur-bân-apli — des complications interminables et absolument pas souhaitables.

Le fait que dans ses inscriptions — tel dans notre sceau de brique — il s'efforçait de ramener à la vie (bien ou mal) les signes et la langue anciens babyloniens, porte à croire qu'il fut le continuateur du mouvement pour une «renaissance» babylonienne que son père — d'origine chaldaïque! — avait initié en vue de créer l'unité idéologique et psychologique de ses sujets d'origine hétérogène.

En vertu des données provenant de lui-même et se rapportant à lui, il a évidemment nombreux traits communs avec Ḫammurapi (1728—1686), le fondateur proprement dit de l'empire babylonien. Cette ressemblance — justement observée par les chercheurs modernes — était même l'objet de ses ambitions, comme c'est témoigné par toute son attitude.

Or, ce que Ḫammurapi a réussi à faire, n'a pas réussi à Nabû-kudurri-ušur. En 538 Babel fut pris par Kuraš-Kyros, son arrière-neveu par sa femme, qui transformait l'empire médo-perse en un empire perso-mède.

Malgré cela son règne n'est pas indifférent du point de vue de notre civilisation moderne. Grâce au fait qu'il a retardé la désagrégation de la civilisation mésopotamienne, les éléments essentiels de celle-là se sont unfiltrés par les voies les plus différentes, en Europe — à «l'Occident». Ainsi, en dernière analyse, c'est lui qui a encouragé l'épanouissement du monde antique et a déterminé, d'une manière décisive, l'évolution de toute la culture européenne.

А. ДАВИД

ФРАГМЕНТ КИРПИЧА НАБУКУДУРРИУСУРЫ II С НАДПИСЬЮ

(Резюме)

Фрагмент хранится в античном отделении Музея изящных искусств в Будапеште. На нем сохранились 4 знака, при помощи которых схематический текст, состоявший из 3 строк, может быть восстановлен с полной уверенностью.

W. RUBEN

DER MINISTER JĀBALI IN VĀLMĪKIS RĀMĀYAṆA
DAS PORTRÄT EINES INDISCHEN MATERIALISTEN (CĀRVĀKA), II.

Einer der berühmtesten altindischen Materialisten ist Jābālī,¹ der Minister des Königs Daśaratha von Ayodhyā im Epos Rāmāyaṇa. Er tritt nur an einer einzigen Stelle mit einer materialistischen Argumentation hervor. Um ihr aber gerecht zu werden, ist es notwendig, sie im großen Zusammenhang der kunstvoll aufgebauten Handlung des Epos zu betrachten.

Vālmiki hat das ganze II. Buch seines Epos der Tragödie des greisen Königs Daśaratha gewidmet, die sich über wenige Tage erstreckt und zu seinem Tode führt. Der Greis gerät in einen Konflikt zweier Pflichten, von denen sich die eine aus der Politik, die andere aus seinem Familienleben in Form einer Palastintrige² entwickelt. Er kann beide nicht in Übereinstimmung bringen, wird dadurch schuldig und muss dafür büßen.

Politisch handelt es sich um seine Abdankung wegen seines hohen Alters. Er selber schlägt der Volksversammlung vor, seinen Erstgeborenen, den edlen, heldischen Rāma als Nachfolger zu wählen. Dem stimmt das Volk begeistert zu, und der greise König bestimmt den folgenden Tag als Tag der Königsweihe.

Unmittelbar danach aber bestimmt ihn seine jüngste und derzeitige Lieblingsfrau Kaikeyī, Rāma zu verbannen und ihren eigenen Sohn, Bharata, weihen zu lassen. Infolge dieser Intrige im Frauenhaus verlässt der Greis, so sehr er darunter leidet, den Weg der noch an urgemeinschaftliche Zeiten erinnernden Demokratie, der Volkswahl des neuen Königs, beschreitet den Weg des Despotismus und verbannt Rāma, ohne das Volk diesmal um seine Meinung zu fragen.

Der Dichter stellt die Gewissensnot des greisen Königs, der seiner jungen Frau hörig ist, deutlich anklagend dar. Er war in den letzten Jahrhunderten v. u. Z., als im Gangestal noch Stämme (die freilich schon den Zerfall ihrer

¹ Jābālī wird erwähnt z. B. von H. v. GLASENAPP: Die Philosophie der Inder. Stuttgart 1949. 128; von L. SILBURN in L. RENOU, J. FILLIOZAT: L'Inde Classique. II. Paris 1953. § 1499; W. RUBEN: Geschichte der indischen Philosophie. Berlin 1954. 150 f.

² Darüber ausführlicher: W. RUBEN: Vier Liebestragödien des Rāmāyaṇa. ZDMG 100 (1950) 287 ff.

Gentilordnung durchmachen) neben Staaten sklavenhalterischer Despotien standen, offenbar ein Parteigänger der alten Stammesdemokratie.³ Er liess den König daher nur sehr ungern despotisch werden. Dies lag aber in der Tradition, die der Dichtung des Epos als Sage vorangegangen sein muss.⁴ Rāma musste verbannt werden, damit er seine mythologische Rolle als Töter Rāvaṇas, des Entführers von Rāmas Frau Sītā, spielen konnte. Diese Verbannung musste also sehr eingehend begründet werden. Politisch war sie falsch, denn Rāma war der berechtigte und der weitaus geeignetste Thronerbe, den das Volk mit Recht vergötterte und wählte, und zwar auf den richtigen Vorschlag des alten Königs und Vaters hin. Dessen Umfallen, das despotische Umstossen des Beschlusses der Volksversammlung brauchte daher eine zwingende Begründung, und die fand Vālmiki in der Frauenhausintrige der jungen Frau.

Kaikeyī kümmert sich nicht um den Volksbeschluss, sondern denkt nur an ihren eigenen Sohn. Sie hat eine Handhabe gegen den König: Er ist in sie verliebt. Aber dies genügt dem Dichter nicht, es würde den alten König, den Vater seines idealen Helden Rāma in allzu ungünstiges Licht rücken. Er greift daher zum Fatalismus, dieser Ausrede der Schwachen, diesem lähmenden Übel der altindischen Religionen.⁵ Er erzählt, wie Daśaratha als Jüngling auf der Jagd im Dickicht einmal einen Elefanten zu hören meinte, schoss, aber einen Jüngling traf, und daraufhin von dem Vater des Jünglings verflucht wurde, er solle ebenfalls am Leid über seinen Sohn sterben.⁶ Die Jagdleidenschaft hat dem jungen Daśaratha diesen Fluch zugezogen, der vom Dichter zur Unterstützung der Liebesleidenschaft des greisen Daśaratha für notwendig befunden wurde.

Der Fluch, das Fatum wirkt sich kompliziert aus. Einst begleitete Kaikeyī den König in den Krieg, pflegte seine Wunden und erhielt von ihm zwei Wünsche freigestellt. Das war üblich, war aber zugleich gefährlich, denn der König war jetzt gebunden, einmal etwas zu tun, was er damals noch gar nicht wusste. Viele Jahre später forderte die Königin jetzt Rāmas Verbannung und Bharatas Krönung. Daśaratha musste sein gegebenes Wort

³ In gewissem Sinne ähnelt Vālmikis Haltung damit der Buddhas, der aus dem Stamm der Śākya stammte und mit dem Stamm der Vṛji sympathisierte (Mahāparinirvāṇasūtra, ed. E. WALDSCHMIDT, II. Berlin 1951. 106 ff.).

⁴ Vgl. W. RUBEN: Ueber die ethische Idealgestalt des Rāma. *Studia Indologica* (Festschrift Kiefel). Bonn 1955. 277 ff., besonders 279 f. über Reste alter Ikṣvākuiden-Sage.

⁵ Über Fatalismus s. u. Anm. 24. — Vgl. die Verfluchung Kṛṣṇas durch Gāndhārī (W. RUBEN: Krishna. Istanbul 1943. 232 f.), die der Śakuntalā durch Durvāsas usw.

⁶ Rām. A II, 70, 53 f. — B II, 66, 54 f. — C II, 64, 53 f. (Über die nordwestliche Version A, die nordöstliche Version B und die südindische Version C vgl. W. RUBEN: Studien zur Textgeschichte des Rāmāyaṇa, Stuttgart 1936). — Anders wird in Jātaka Nr. 540 der König von Benares, der den Asketenjüngling Sāma erschossen hat, von dessen Eltern aus buddhistischer Tendenz nicht verflucht.

halten — musste aber zugleich sein dem Volk gegebenes Wort halten.⁷ Damit kam er in seinen tragischen Konflikt: Er musste zwei sich widersprechende Versprechen halten und wurde so zum Despoten, der aus unwürdiger Verliebtheit den Willen des Volkes und alle politische Vernunft missachtete.

Um den König möglichst zu entschuldigen, lässt der Dichter Kaikeyī ihn, ehe sie ihm ihre Wünsche offenbart, schwören, dass er sein ihr einstmals gegebenes Wort jetzt erfüllen wird.⁸ Er tut es, bricht aber nachher derart zusammen, dass er Rāma seine neue Entscheidung nicht mitzuteilen vermag. Kaikeyī führt deswegen selber die entscheidende Unterhaltung mit Rāma so, dass er ihr schwört, er würde alles tun, was der Vater ihm befiehlt, selbst Gift trinken oder sich in den Ozean stürzen, er würde sein Wort halten.⁹ Sie ihrerseits sagt ihm die neue Entscheidung des Vaters auch dann noch erst, nachdem sie ihn noch einmal gemahnt hat, Bedingung sei, dass er das Wort seines Vaters wahr mache.¹⁰ Rāma kann danach gar nicht anders, als sich sofort und bedingungslos zur Verbannung bereit erklären. Er war ja in seinem Idealismus so unvorsichtig wie sein Vater gewesen, etwas zu versprechen ehe er wusste, was Kaikeyī von ihm verlangen würde. Gerade in solcher Unvorsichtigkeit aber sahen die altindischen Idealisten eine Grösse: Wer solch ein Versprechen gab, war ebenso gross, dass er sich die Erfüllung jeglichen Versprechens zutraute. Und es ist verständlich, wenn die Morallehre gerade im altindischen Despotismus auf das Halten des gegebenen Wortes grösstes Gewicht legte, denn wie oft mag ein Despot sein Wort gebrochen haben!

Rāmas jüngerer Bruder, Lakṣmaṇa dagegen tadelte den Vater damals als lüstern, weibshörig, kindisch geworden, als verkehrt. Wer etwas von Politik verstünde (wörtlich: der sich des Verhaltens der [früheren] Könige erinnere)¹¹ oder das Recht und den Vorteil der Könige kenne,¹² würde der diesem königlichen Vater gehorchen?¹³ Rāma solle, ehe jemand von dem neuen Entscheid des Königs wisse, die Macht ergreifen. Er, Lakṣmaṇa, würde ihm helfen, ganz Ayodhyā notfalls mit seinen Pfeilen entvölkern und alle, die zu Bharata hielten, erschlagen.¹⁴

Rāmas edle und fromme Mutter, die greise Königin Kausalyā, schloss sich diesen Gewaltdrohungen Lakṣmaṇas an.¹⁵ Sie forderte weiter von Rāma

⁷ Vgl. S. 292 A. 3 in dem in Anm. 2 zitierten Aufsatz über C 12, 67.

⁸ A II, 13, 25cd f. — B 9, 19 — C 11, 22.

⁹ A II, 19, 31cd f. — B 15, 26cd f. — C 18, 29.
32cd f. — 28cd f. — 30.

¹⁰ A II, 19, 36cd f. — B 15, 34cd f. — C 18, 34.

¹¹ C II, 21, 7: *rājavrta* (vgl. Tilaka).

¹² A II, 21, 7 — B 18, 9.

¹³ Nur in C II, 21, 12 ist Lakṣmaṇa bereit, sogar den Vater zu töten! Vgl. Ajātaśatru von Magadha, der seinen Vater Bimbisāra tötete und von Philosophen wie Ajita usw. getröstet wurde (Dī. Nik. 2).

¹⁴ A II, 21, 3–11 — B 18, 3–5; 8–13 — C 21, 1–11.

¹⁵ A II, 21, 22ab — B 18, 24ab — C 21, 24cd.

als Sohn Gehorsam und drohte, falls er ins Dschungel in die Verbannung ginge, sich zu Tode zu fasten.¹⁶

Rāma aber beharrte darauf, das Wort seines Vaters wahr zu machen,¹⁷ und entschuldigte Kaikeyī mit dem Schicksal.¹⁸ Wer vermag gegen das Schicksal zu kämpfen?¹⁹ Lakṣmaṇa aber entgegnete ihm, nur der Schwache beuge sich dem Schicksal, nicht der Starke; dieser stelle vielmehr seine Manneskraft dem Schicksal gegenüber, und jetzt würde die Welt sehen, wie Manneskraft gegen Schicksal streite, wenn Rāma sich nur aufraffe.²⁰

Auf diesen Antifatalismus wusste Rāma nichts Neues zu antworten.²¹

Dem Dichter lag daran, in Rāmas eigener Familie, in der Gestalt seines treuen Bruders, der später mit ihm alle Unbilden der Verbannung teilen wird, dem Idealisten Rāma einen Gegner gegenüberzustellen, einen entschiedenen Antifatalisten, einen Vertreter der Realpolitik, der die richtige Politik (denn die vertritt er!) mit Gewalt durchsetzen will. Lakṣmaṇa dient dem Dichter damit als Folie für Rāma, diese Idealgestalt, die der «Gewalt» gegenüber die «Wahrheit» vertritt, ein uns ungewohntes Gegensatzpaar, das sich von den Upaniṣaden bis auf Rabindranath Tagore und Gandhi hindurch verfolgen lässt,²² im II. Buch des Rāmāyaṇa eine grosse Rolle spielt und uns allmählich klarer werden wird.

Lakṣmaṇa tritt im Epos auch später einmal²³ als beinahe «Materialist» auf und vertritt hier einen Antifatalismus, der aus Kauṭalyas Staatslehrbuch bekannt ist: Nur der Schwache entschuldigt seine Fehler mit Fatalismus!²⁴ Der Epiker Vālmiki aber war selber Fatalist und stellte Rāmas Leben als vom kosmischen Fatum bestimmt dar, Rāma also als einsichtig, als beugte er sich der Notwendigkeit des Leidens. Seiner demütigen Ruhe tritt Lakṣmaṇa als Vertreter des aktiven Handelns gegenüber. Dieser Gegensatz von Quietismus und Aktivität war bekanntlich der grundlegende Gegenstand der Diskussion der altindischen Ethiker.²⁵

Lakṣmaṇas wütender antiidealistischer Ausbruch wird aber vom Dichter nicht ausdrücklich zurückgewiesen, vielmehr tritt die edle Königin Kausalyā Lakṣmaṇa zur Seite, wenn sie auch keine ausdrückliche Billigung seiner Argumentation für Gewalt ausspricht.

¹⁶ A ebd. 27cd f. — B 29cd f. — C 27: *prāya*; dazu vgl. W. RUBEN: Der Sinn des Dramas «Das Siegel und Rākshasa». Berlin 1956, 127 A. 8.

¹⁷ B ebd. 19, 6. — C 22, 9 (fehlt in A).

¹⁸ A II, 22, 11 f. — B 19, 16 f. — C 22, 16 f.

¹⁹ A ebd. 16 — B 18 — C 21.

²⁰ A II, 23, 19cd–22 — B 20, 19cd–22 — C 23, 16–19ab mit beträchtlichen Abweichungen.

²¹ A II, 23, 47 — B 20, 47 ähnlich C 23, 41. Rāmas Antwort steht ausführlicher in A II, 24 ff. — B 21 ff., die in C keine Entsprechung haben.

²² Vgl. über den Materialisten Sandip in Tagores «Das Heim und die Welt» W. RUBEN in Festschrift Erkes. Leipzig 1956.

²³ Vgl. RUBEN (s. o. Anm. 1.) 151.

²⁴ Ebd. 148; RUBEN (s. o. Anm. 16) 75.

²⁵ RUBEN (s. o. Anm. 1) 157 A. 10.

Das Volk der Stadt sieht Rāma zum Palast fahren ; es nimmt die Entscheidung des Despoten hin, fordert nicht, gehört zu werden, droht nur, es würde mit Weib und Kind Rāma ins Dschungel folgen,²⁶ Kaikeyī möge dann die menschenleere Stadt beherrschen, die Stadt möge zum Dschungel werden.²⁷

Dies ist die altindische Drohung einer secessio plebis. Man bedenke, dass das altertümliche Königtum von Ayodhyā in der archaisierenden Schilderung des Epikers von urgemeindlichen Zuständen noch nicht sehr entfernt ist und Wanderungen in der Stammesgesellschaft noch auf späten Stufen üblich waren, von Santal und von vedischen Kleinfürsten der Brāhmaṇazeit noch bezeugt sind.²⁸

Es kommt dann aber durch eine Art List Rāmas zu keiner solchen Auflehnung des Volkes gegen den alten König Daśaratha. Die Städter begleiten nur den scheidenden Rāma²⁹ den ersten Tag, übernachten mit ihm im Freien am Ufer der Tamasā, morgens aber fährt Rāma mit Sitā und Lakṣmaṇa früh weiter, kreuzt die Tamasā, die Bürger erwachen, sehen das Aufhören der Wagenspur, meinen, Rāma sei in die Stadt zurückgekehrt, und kehren selber um.³⁰

In seinem Palast starb damals Daśaratha, zerknirscht über sein Rāma angetanes Unrecht. Bharata weigerte sich Kaikeyī, seiner eigenen Mutter gegenüber, die Königsweihe über sich ergehen zu lassen, er brach mit seinem Heer auf, um Rāma zur Heimkehr zu bewegen. Er ließ schliesslich sein Heer rasten und ging mit seinem Bruder Śatrughna, mit dem Wagenlenker Sumantra und den Ministern³¹ zu Rāmas Hütte im Dschungel. Er berichtete ihm vom Tode des Vaters und bewog ihn, den Totenritus für Daśaratha zu vollziehen. Der Brahmane Vasiṣṭha führte die Witwen Daśarathas herbei, und in grosser Versammlung bot Bharata Rāma den Thron an.

Seine Argumente waren : Kaikeyī hat gesündigt,³² Daśaratha hat greisenhaft falsch gehandelt,³³ du musst uns als Herrscher beschirmen,³⁴ ich bin weit jünger als du und unfähig, König zu sein,³⁵ die Priester mögen dich

²⁶ A II, 36, 19 — B 33, 19 — C 33, 16.

²⁷ A ebd. 23—24ab — B 23—24ab — C 21cd—22.

²⁸ Über die Santal s. W. RUBEN : Ueber die Literatur der vorarischen Stämme Indiens, Berlin 1952. 61. — Über König Śaryāta s. W. RUBEN : Beginn der Philosophie in Indien. Berlin 1955. 37 ff.; ebd. 237 über Yājñavalkya, S. 320 über Ajātaśatru.

²⁹ A II, 43, 34cd — B 39, 33ab — C 40, 27 ab
35—36ab 33cd—34 statt 27cd

³⁰ A II, 48, 31 — B 44, 30 ; in C 47, 1—19 ist dieser Irrtum nicht erwähnt, wohl aber in Indonesien (Stutterheim, s. u. Anm. 89, S. 40).

³¹ A II, 113, 1—6 — B 108, 1—6, ähneln C 99, 1—8. Ähnlich entlässt König Duṣyanta sein Heer, ehe er in Kālidāsa's Sakuntalā-Drama die Einsiedelei des Kuṇva betritt.

³² A II, 118, 2 — B 113, 2 — C 106, 8.

³³ ebd. 6 f. 6 f. 12 f.

³⁴ ebd. 11 f. 11 f. 17 f.

³⁵ ebd. 15 15 23.

gleich hier zum König weihen,³⁶ herrschen ist die erste Pflicht des Kṣatriya!³⁷ — Rāma aber blieb dabei, er werde als treuer Sohn das Wort seines Vaters wahr machen.³⁸ Er ermahnte Bharata, ein guter Sohn zu sein und die Schuld seines Vaters einzulösen,³⁹ denn ein solcher Sohn (*pu-tra*) rettet (*trā*) den Vater aus der Hölle, die *pum* heisst,⁴⁰ wie Gayā bei seinem Ahnenopfer verkündet hat.⁴¹ Er solle auch seine Mutter schützen.

Noch heute werden Ahnenopfer vorzugsweise in Gayā vollzogen, und im puranischen Preislied auf Gayā heisst es, dass die Ahnen nach Söhnen verlangen, denn ein Sohn, der nach Gayā wallfahrtet, rettet seine Ahnen vor der Hölle.⁴² Bei den Totenopfern sind die dortigen Brahmanen zu einem Gastmahl einzuladen.⁴³

An dieser Stelle ergreift der Minister Jābāli das Wort, da Bharata nur seufzend und schweigend dasteht Jābāli wird einleitend als hervorragender Brahmane⁴⁴ bezeichnet, in der bengalischen Version wird er hier «Kenner der Moral» genannt, und in beiden nordindischen Versionen heisst es, dass seine (materialistische) Rede «moralisch» war (gegenüber «amoralisch» in den südindischen Handschriften). Sehr viele indische Brahmanen, zumindest die, die diese nordindischen Rāmāyaṇahandschriften abschrieben, haben also an Jābālis Materialismus keinen besonderen moralischen Anstoss genommen. Und ein südindischer Kommentator, Govindarāja, hat «amoralisch» einschränkend mit «ohne vedische Moral» erläutert, was weitgehend richtig ist, insofern Jābāli und die altindischen Materialisten zwar ohne religiöse Moral, aber nicht ohne jegliche, insbesondere praktische Moral dachten, lehrten und handelten.

Leider sind Jābālis erste Worte unklar; anscheinend:

«Gut, Rāma, (aber)⁴⁵ du solltest nicht so zwecklos handeln wie ein gewöhnlicher Mensch, bist du doch hohen Geistes und in Not!»,⁴⁶ d. h., Gehorsam gegen den Vater ist an sich für die Massen löblich, in deinem Falle aber politisch falsch! — Danach geht Jābāli sofort als ersten Punkt auf das Problem der Treue des Sohnes gegen den verstorbenen Vater ein, wie offenbar der «hochgeistige» Rāma es in seiner Zwangslage sehen soll. Wenn

³⁶ ebd. 18 18 26.

³⁷ ebd. 23 23 19.

³⁸ A II, 120, 8 — B 115, 8 — C 107, 8.

³⁹ ebd. 10 10 10.

⁴⁰ ebd. 12 12 12.

⁴¹ ebd. 11 11 11.

⁴² Nach P. V. KANE: History of Dharmasāstra IV, Poona 1953, 654.

⁴³ Ebd. 655; über die Gayaval, die Brahmanen von Gayā, s. ebd. 644.

⁴⁴ A II, 121, 1 — B 116, 2 — C 108, 1. Govindarāja erklärt: Damit ist angedeutet, dass ihm der Materialismus nicht von Herzen kommt.

⁴⁵ «aber» ist zu ergänzen.

⁴⁶ A II, 121, 2 — B 116, 3 — C 108, 2. A stimmt mit C überein; B: zu tadeln ist die Ansicht der Armen (dass Rāma oder jeder Sohn dem Vater die Treue halten muss, ist vielleicht gemeint). In B folgen dann als Einschub die Verse 116, 4–11.

Rāma eben erklärt hatte, der treue Sohn rette den Vater aus der Hölle, so fragt der Materialist:

Was bedeutet Verwandtschaft irgend jemandes mit jemandem? Was kann einer durch jemand anders erlangen? Alleine wird ein Wesen geboren und alleine stirbt es. Wer hängt also an Wesen, die man Vater oder Mutter nennt? Wer an ihnen hängt, ist wie ein Verrückter, denn es gibt keine solchen Verbindungen. Wie ein Wanderer in einem Dorfe eine Nacht verweilt, es am Morgen verlässt und aufbricht, so sind Vater, Mutter, Heim und Gut nur eine vorübergehende Wohnstatt, an ihr hängt kein Weiser.⁴⁷

Uns mutet dies pietätlos an. Aber jeder Asket jeder indischen Glaubensrichtung musste dies gutheissen. Verliess nicht Buddha seine Eltern, sein Weib und Kind und zog in die Heimatlosigkeit? Nach der Seelenwanderungslehre erlebt jede Seele seit anfanglosen Zeiten in immer neuen Wiedergeburten ihr selbstverschuldetes Schicksal, ihren Lohn und ihre Strafe für ihre eigenen Handlungen. In einer Familie treffen die ewig einsam wandernden Seelen zufällig zeitweise zusammen, oder eher schicksalsmässig, denn es ist Schicksal des Sohnes, wen er als Vater trifft, und Schicksal des Vaters, was für einen Sohn er erhält. Aber eine Bindung zweier Seelen als verwandter gibt es auf ihrer Wanderung im allgemeinen nicht, es sei denn, dass ein Bruder- oder Liebespaar wähnt, durch viele Wiedergeburten mit einander verbunden, für einander bestimmt zu sein, wie gelegentlich betont wird.⁴⁸ Es liegt also ein Widerspruch gegen die Lehre der Wiedergeburten in der Religionslehre, dass der Sohn dem Vater aus der Hölle verhelfen kann. Diese magische Vorstellung stammt vermutlich aus ganz anderem religiösem altvedischem Denken, das nicht mit Seelenwanderung, sondern bloss mit Himmel und Hölle als Lohn oder Strafe rechnet.

Der Materialist spricht hier also keine besondere materialistische Moral aus. Er spricht im Sinne der allgemein altindischen Vorstellung des ewigen Alleinseins aller Seelen. So hat denn ein Idealist wie Pratardana schon in der Kauṣītakyupaniṣad III, 1 erklärt,⁴⁹ dass sogar Vater- und Muttermord dem Mystiker nicht als Sünde angerechnet wird. Aber auch der Materialist Ajita Kesakambala freilich hat dem Vaternörder und Despoten Ajātaśatru von Magadha zum Trost zur Zeit Buddhas⁵⁰ ähnlich skrupellos geredet. Im Despotismus waren nun einmal die Pietätsbände der Urgemeinschaft in der herrschenden Klasse zerrissen. Insofern kann man den Materialisten Jābāli an den Materialisten Ajita in der Tradition des altindischen Despotismus anschliessen. Aber Vālmiki hat in diesen ersten Sätzen Jābālis nichts besonders Verwerfliches (wenigstens nach damaligen religiösen Begriffen!) oder Mate-

⁴⁷ A ebd. 3-6 - B 12-15 - C 3-6.

⁴⁸ Vgl. die Candālabrüder in Jātaka 498.

⁴⁹ Vgl. RUBEN (s. o. A. 28 1955) 321.

⁵⁰ RUBEN (s. o. A. 1) 105.

rialistisches angedeutet, nur im Gegensatz zu seinem Ideal an Pietät, Rāma, deutete der Epiker seine Ablehnung dieses Standpunktes des Ministers an.

Jābāli fährt fort : Du darfst nicht dein väterliches Reich aufgeben und den dornenvollen Dschungelweg beschreiten. Lass dich in der reichen Stadt Ayodhyā weihen, denn die dir wie eine treue⁵¹ Gattin ergebene Stadt(göttin) erwartet dich. Königsfreuden geniessend weile in Ayodhyā wie Indra in seinem Himmel.⁵²

Jābāli spricht hier in der südlichen Version vom «väterlichen» Reich, obgleich er eben vorher die Beziehung von Sohn zu Vater als nichtig bezeichnet hatte ; er nimmt hier eben den üblichen (der Kommentator des Tilaka sagt : idealistischen) Standpunkt ein. Um diesen Widerspruch zu beseitigen, haben die beiden nördlichen Versionen den Text hier etwas geändert,⁵³ ohne dass der Grundgedanke dieses Absatzes angetastet würde : Du bist der rechtmässige König, und das besagt mythologisch-theologisch : der Gatte deiner treuen Stadt, die wie eine trauernde Gattin auf den vorübergehend in der Ferne weilenden Gatten wartet. Mit diesen Worten hat Jābāli recht, denn das Volk von Ayodhyā wünscht sich in der Tat Rāma als König zurück. Von eigentlichem Materialismus ist auch an dieser Stelle noch keine Rede.

Jābāli kommt dann auf seinen ersten Gedanken zurück :⁵⁴ Daśaratha ist niemand für dich und du bist niemand für ihn ; etwas anderes ist der König, etwas anderes bist du, deshalb tu, was ich dir sage. Der Vater ist für das Lebewesen nichts weiter als der Same ; wenn der Same (des Vaters) und das Blut (der Mutter)⁵⁵ mittels der empfängnisbereiten Mutter verbunden wird, dann ist das in dieser Welt die Geburt eines Menschen.⁵⁶

Diese Vorstellung von der Empfängnis als Vereinigung von Samen und Blut ist allgemein indisch.⁵⁷ Wenn man hier den Materialismus Jābālis angedeutet finden möchte, kann man allenfalls darauf verweisen, dass er bei der Geburt nicht auch die ewige Seele erwähnt, die sich im Augenblick der Empfängnis mit dem Samen und Blut, d. h. mit dem materiellen Leibe, verbindet.⁵⁸ Valmiki liess ihn also auch hier seinen Materialismus nicht besonders betonen, sondern sich an die übliche wissenschaftlich-medizinische Redeweise halten, die nur von Dingen wie Blut und Samen spricht, die man sehen kann, nicht von übersinnlichen Faktoren wie der Seele der Idealisten.

⁵¹ Vgl. *ekaveṇī* in Meghadūta 89.

⁵² A a. a. O. 7–9 — B 16–18 — C 7–9.

⁵³ B 16 : Du darfst nicht den staublosen, ebenen Weg verlassen ; A 7 : zwecklos das Volk aufgeben.

⁵⁴ Tilaka : Er begründet es mit der Lehre des *kṣaṇabhanga* (der buddhistischen Lehre der Momentaneität?).

⁵⁵ B 20 fügt noch «Wind» hinzu ; in A fehlt dieser medizinische Vers.

⁵⁶ A a. a. O. 10 — B 19–20 — C 10–11.

⁵⁷ Vgl. L. HILGENBERG und W. KIRFEL : *Vāgbhata's Aṣṭāṅgharidayasamhitā*. Leiden 1941, 162 ; W. KIRFEL : Ein medizinisches Kapitel des Garuḍapurāṇas. Asiatica (Festschrift Fr. Weller) Leipzig 1954, 333 ff.

⁵⁸ Vgl. Carakasamhitā IV (*śarīrasthāna*), 1.

Dieser König ist dorthin gegangen, wohin er gehen musste. Das ist der Gang der Wesen. Du duldest⁵⁹ fälschlich.⁶⁰

Damit meint Jābāli wohl, Rāma brauche seinem Vater nicht nachzutrauern, brauche sich an das Wort des Verstorbenen nicht mehr zu halten und brauche ihm keine Totenriten darzubringen (worauf er im Folgenden eingehen wird).

Ich betraure nur die, die Zielen und Moral nachjagen,⁶¹ denn die haben im Diesseits nichts als Kummer erreicht, im Tode aber nur das Ende gefunden.⁶²

Hier wird endlich der Materialismus eindeutig. Nach dem Tode ist es aus, es gibt keine Belohnung für moralisch-frommes Handeln, das auf ein Jenseits hinblickt. Mit diesem antireligiösen Materialismus ist aber zugleich die «epikuräische» Haltung des «Carpe diem» verbunden; es lohnt auch nicht, seine Kraft an irdische Heldentaten, Regierungsarbeit usw. zu verschwenden. Das kann man unter anderem als Ablehnung des Idealismus des Rāma, seines tugendhaften Strebens nach Wahrheit unter allen Umständen, auffassen.

Am achten Tage (nach dem Vollmond) ist das Manenopfer darzubringen; danach handeln die Menschen; aber sieh doch das Vergeuden der Speise! Was wird denn der Tote essen?⁶³ — Wenn hier das, was einer isst, in den Leib eines anderen gelangte, würde man doch Verreisenden ein Totenopfer darbringen, statt ihnen Wegzehrung mitzugeben.⁶⁴

Beim Ahnenkult, zu dem Rāma Bharata ermahnt hatte, war es Vorschrift, dass der Sohn geladene Brahmanen mit Speise fütterte und tat, als habe er damit die Ahnen gespeist. Dabei galt gerade das Abspeisen der Brahmanen als die Haupthandlung. Jābālis materialistischer Witz über die Fernübertragung der Speise ist noch im Viṣṇupurāṇa III, 18 und im Sarvadarśanasamgraha⁶⁵ wiederholt worden. Jābāli meint dabei nicht den von Rāma an der Mandākinī vollzogenen Ritus, denn bei dem hatte er der Sitte gemäss keinen Brahmanen essen lassen, hatte nur dem Toten selber gespendet;⁶⁶

⁵⁹ A : *anutapṃyase*; BC : *vihanyase*; Govindarāja : *pīḍyase*; Tilaka : du wirst dieses Zieles, des Königtums beraubt.

⁶⁰ A a. a. O. 11 — B 21 — C 12.

⁶¹ B : *arthadharmavidah*; C : *arthadharmaparāḥ*; Govindarāja : Lust aufgebend und nur immer Zwecken und Moral nachjagend (vgl. den *trivarga*: *kāma*, *artha*, *dharma*). Anders Tilaka : Nach Erreichen des Zieles es aufgebend und Moral nachjagend. Satya : durch Verzicht (*arthena* = *nivṛtyā*) Moral nachjagen. — A : Wer trauert um die ins Jenseits Gegangenen?

⁶² A a. a. O. 12 — B 22 — C 13.

⁶³ So A = C; aber B : Was bleibt beim Toten?

⁶⁴ A a. a. O. 13–14 — B 23–24 — C 14–15.

⁶⁵ Vgl. J. Abs : Beiträge zur Kritik heterodoxer Philosophie-Systeme in der Purāṇa-Literatur. Festschrift H. Jacobi, Bonn 1926. 386 ff., bes. 393 f.

⁶⁶ Unmittelbar nach der Verbrennung der Leiche, vgl. KANE : a. a. O. IV, 209 f.; 214. — J. JOLLY : Recht und Sitte. Strassburg 1896. § 58. — A. HILLEBRANDT : Ritual-literatur. Vedische Opfer und Zauber. Strassburg 1897. 89.

Jābāli meint das übliche 8-Tage-Fest, am achten Tage nach dem Tode,⁶⁷ das dann jährlich zu wiederholen war und das Rāma seiner Meinung nach nicht erst darbringen sollte. Er meint etwa: Du hast schon zwecklos jenes Opfer dargebracht, aber jetzt höre auf, die weiteren üblichen Riten zu vollziehen und dich um das Wort, das dein Vater der Kaikeyī gab, zu kümmern.

Diese zum Spenden verpflichtenden Bücher sind ja von schlaun Männern gemacht: Opfere! Gib! Weihe dich! Treib Askese! Verzichte!⁶⁸

In ähnlicher Weise argumentiert wieder der Materialist am Ende seines Kapitels im Sarvadaśāsanasaṃgraha, dass die vedischen Riten von Schwachen und Dummen als ihr Lebensunterhalt erfunden sind,⁶⁹ dass insbesondere die Totenriten von Brahmanen als ihr Lebensunterhalt geschaffen wurden, schon im Rgveda X, 82, 7 höhnt ein Pessimist über das «Geschwätz» der Priester.⁷⁰ Zu Rāma hat dieser Satz Jābālis an sich kaum eine Beziehung. Er ist von Vālmiki wohl als Überleitung zum Folgenden, der sich aus dem vorangegangenen Satz über den Ahnenkult leicht ergab, gemeint worden.

Daher fasse die Meinung, dass es kein Jenseits gibt, halte dich an das Sichtbare und lasse hinter dir das Übersinnliche. Folge der Meinung der Autoritäten, die alle Welt annimmt; nimm dein Königtum und lass dich von Bharata dafür günstig stimmen.⁷¹ Die Version B verdeutlicht: Fasse die Meinung, dass es keinen Jenseitigen (Daśaratha) gibt; A: folge der Meinung der Materialisten.⁷² — Jābāli meint: Erkenne deinen Vater als verschwunden, zu Nichts geworden, nicht mehr verpflichtend. Ergreife die Herrschaft, ohne Furcht vor Jenseits, vor Höllenstrafe für deinen Vater (wenn du sein Wort nicht wahrnachst).

Jābāli, der Materialist, rät also im Gegensatz zu Lakṣmaṇa nicht zur Gewalt. Er spricht auch nicht grundsätzlich gegen die «Wahrheit», gegen das Worthalten. Er geht nicht darauf ein, dass Daśaratha tragisch zwischen der Erfüllung zweier sich widersprechender Versprechen schwankte. Er übergeht die menschliche Schwäche des greisen Königs und des jugendlichen Bharata. Er handelt nur kurz von dem politisch zweckvollen Handeln ohne fromm-moralische Skrupel und wendet sich vor allem gegen Rāmas Ansicht, die er Bharata gegenüber gerade vertreten hatte, dass der gute Sohn den Vater durch Ritus aus der Hölle retten muss. Gegen dieses Gewissensbedenken des gläubigen Rāma stellt Jābāli seine materialistische Weltanschauung, leugnet das Übersinnliche, das Jenseits und die Heiligkeit der heiligen Schriften mit Argumenten, die für Materialisten als typisch galten, später wiederholt wurden

⁶⁷ KANE: a. a. O. IV, 353 ff.

⁶⁸ A a. a. O. 15 — B 25 — C 16.

⁶⁹ Der Vers wird auch von Nīlakaṇṭha zu Mahābhārata XII, 218, 25 zitiert.

⁷⁰ Vgl. RUBEN (s. o. A. 28) 1955, 22.

⁷¹ A a. a. O. 16 — B 26 — C 17
fehlt — 27 18.

⁷² A 16: *an-īstikaparām* (?).

und vermutlich nicht die persönliche Erfindung Vālmikis sind, sondern von ihm wohl schon in der Tradition der Polemik gegen Materialisten vorgefunden wurden.

Rāma, der Idealist, geht in seiner Antwort auf Jābālis Argumente leider gar nicht ein. Er nimmt sie wohl nicht sehr ernst, sagt er doch geradezu, Jābāli habe ja nur so gesprochen, um Rāma zu Gefallen zu sein,⁷³ also als Schmeichler und Hofsehranze. Er möchte, wie es Königen gebührt, der Welt als ein Muster an Tugend vorangehen, während die Welt ihren Gelüsten⁷⁴ folgt. Die Wahrheit sei das Ziel der Moral, sei die Wurzel von Allem, sei der Gott in der Welt, auf ihr fussen die Veden. Freilich stehe der Schützer seines Volkes oder seiner Sippe alleine, alleine gelange er in Hölle oder Himmel (wie Jābāli betont hatte), aber er, Rāma, würde nicht aus Verblendung, Gier oder Nichtwissen den Damm der Wahrheit sprengen. Er würde die Kshatriyamoral aufgeben, die unmoralisch sei, wenn sie auch den Anstrich von Moral trüge. Nur Kleine, Schlechte folgten ihr.⁷⁵

Rāma stellt hier dem Materialisten einen Hymnus auf die «Wahrheit» entgegen. Wahrheit ist den altindischen Idealisten nämlich nicht nur eine erkenntnistheoretische Kategorie, wie unseren Philosophen, nämlich die richtige Widerspiegelung der Wirklichkeit, sondern sie gilt ihnen ausserdem und ohne, dass man die Grenze scharf zeigte, als die Wirklichkeit selber, jenseits aller blossen Erscheinungen. Diese Wahrheit aber soll Geist, Gott, das Absolute, die einzige Wirklichkeit im natürlichen und moralischen Sinne sein, eine geradezu magisch wirkende Macht; Satya (Wahrheit oder Wahres, d. h. Wirkliches) ist ein Synonym von ṛta, und dies bedeutet seit ältesten vedischen Zeiten den kosmischen Ablauf alles Geschehens, in den sich der Mensch einzufragen hat. Des Menschen subjektive Wahrheit muss in Gedanken, Worten und Taten in Übereinstimmung oder gar Identität mit dem Wirklichen, dem kosmisch notwendigen Ablauf sein. Des Vaters gegebenes Wort ist eine Wirklichkeit (= Wahrheit) geworden, die der Sohn wahr (= wirklich) machen muss, soll nicht die Weltordnung gestört werden. Die Weltordnung ist ja bedingt durch die Taten der Menschen, durch die magisch-gesetzmässig erfolgende Belohnung oder Bestrafung für gute oder böse Taten im Verlaufe der Seelenwanderung. Sie ist gleichzeitig launisches Spiel Gottes. Die Wahrheit ist Gott, meinte auch noch Gandhi⁷⁶ und lehrte seine Anhänger, die «Wahrheit zu erfassen», d. h. sich «wahr» zu verhalten, ihr Verhalten mit jener mystischen Wahrheit in Übereinstimmung zu bringen, und das beim politischen Boykott usw., wie bei jedem Schritt des Lebens überhaupt.

⁷³ B 118, 2 — C 109, 2. Die für A anzunehmende Parallele steht vielleicht in dem im Druck ausgefallenen sarga A 122 (s. u. A. 96).

⁷⁴ *kāma*: B 9 — C 9.

⁷⁵ B 13–19 ähneln C 12–20.

⁷⁶ N. K. BOSE: Selections from Gandhi, Ahmedabad 1948, 4.

Vālmiki schildert hier also keine Diskussion des Materialisten und Idealisten, sondern stellt die Reden beider ziemlich unverbunden nebeneinander, und das so, dass der gewöhnliche Hörer als praktischer Mensch dem Materialisten weitgehend Recht geben wird, denn Rāma sollte, das möchte jeder, König werden. Aber der Fromme wird Rāmas Idealismus bewundern und zugleich empfinden, dass Rāma unbewusst als Werkzeug des Schicksals in das Dschungel gehen und Rāvaṇa erschlagen muss.

Rāma soll eben nach Vālmikis Absicht hoch über den gewöhnlichen Fürsten und Adligen (Kṣatriya) stehen. Diese folgen wie die Menschen im allgemeinen⁷⁷ den Leidenschaften Liebe, Zorn usw.⁷⁸ Schon im Atharva-Veda IV, 32 wird der Zorn des Kriegers besungen und fürchten die Friedliebenden den Zorn der Könige (VI, 40). Und im Yajurveda wird den Brahmanen der Kṣatriya als einer gegenübergestellt, der «viel Unheiliges und Unreines begeht; er isst, was keine Speise ist, er vergewaltigt den Brahmanen».⁷⁹ Im Staatslehrbuch des Kauṭalya tritt ein Bhāradvāja als Verteidiger des Zornes und der Lust der Despoten auf.⁸⁰ Im Sarvadarśanasamgraha wird gesagt,⁸¹ dass die Materialisten sich nur an die Staats- und Liebeslehre halten. Der Jaina Samedavesūri lehrte im 10. Jh. u. Z. in seinem Nītivākyāmṛta: «Der Materialismus ist das beste Mittel zur Durchführung der Geschäfte dieser Welt»,⁸² und Kauṭalya führte neben Sāmkhya und Yoga als drittes System der Philosophie den Materialismus an,⁸³ lehnte ihn also nicht von vornherein ab.

Rāma verurteilt hier dementsprechend im Grunde gar nicht den Materialismus des Jābāli an sich, sondern stellt sich nur höher als die allgemeine praktische Moral seines Standes, die eben ihrem Wesen nach nicht auf das Jenseits, sondern auf diesseitige Ziele ausgerichtet war und ihm, Vālmiki und späteren frommen Hindus als Materialismus erschien. Darin liegt aber auch eine Art ungewollte Rechtfertigung der praktischen Moral der Materialisten, die sich wie hier Jābāli mit Recht im praktischen Leben von praktischen Gesichtspunkten leiten liessen.

Vālmiki selber hat Jābāli in merkwürdiger Weise zu rechtfertigen gesucht. Als Rāma mit Jābāli gescholten hatte, trat nämlich der berühmte Brahmane Vasiṣṭha als sein Verteidiger auf und erklärte Rāma, dass auch Jābāli (also nicht nur Rāma!) den Lauf der Welt kenne; er habe so (materialistisch) gesprochen, um Rāma zur Rückkehr zu bewegen.⁸⁴ — Vasiṣṭha

⁷⁷ Mahābhārata XII, 188, 7.

⁷⁸ Ebd. 11.

⁷⁹ Mai, S. I, 8, 7 nach W. CALAND: Das Śrautasūtra des Āpastamba, Göttingen — Leipzig 1921, 195 f.

⁸⁰ Kauṭalya VIII, 3 (129).

⁸¹ Sarva — Darśana — Saṁgraha, ed. V. SH. ABHYANCAR. Poona 1924. 2.

⁸² Nach M. WINTERNITZ: Geschichte der indischen Literatur. III. Leipzig 1920. 529.

⁸³ Kauṭalya I, 2.

⁸⁴ A II, 123, 1 f. — B 119, 1 f. — C 110, 1 f.

führt dann von der Weltentstehung bis auf Rāma seinen Stammbaum auf, um damit zu schliessen, dass Rāma als berechtigter Erbe den Thron einnehmen solle, wie es in seiner Dynastie stets der Erstgeborene getan habe.⁸⁵ Er verlangt dann als Lehrer Daśarathas und seiner, Rāmas, von ihm den schuldigen Gehorsam,⁸⁶ wie er auch tun solle, was seine Verwandten, seine Mutter und sein Bruder Bharata von ihm forderten. — Rāma antwortet kurz, er beharre beim Gehorsam gegen den Vater.

Bharata greift jetzt zu dem verzweifeltsten Mittel des upaveśa: Er setzt sich zum Fasten nieder, um Rāma zum Nachgeben zu zwingen. Rāma aber verweist ihm solch Vorgehen, da dies Fasten sich für geweihte Häupter (Kṣatriya) nicht ziemt. Bharata wandte sich daraufhin an das Volk, das Volk aber beteuerte, Rāma habe recht, wenn er an seinem gegebenen Wort festhalte. Da priesen himmlische Weise, die dem Streit der Brüder zusahen, beide Brüder und ihren Vater. Damit aber Rāvaṇa getötet würde, wandten sie sich an Bharata, er solle aus Rücksicht auf den Vater Rāmas Wort annehmen, sie wünschten, dass Rāma immerdar schuldenfrei vor dem Vater dastehe. Dann verschwinden sie, und Bharata folgt ihrem Befehl. Er nimmt schliesslich Rāmas Sandalen heim, um sie auf den Thron zu stellen. Damit ist diese grosse Episode des II. Buches abgeschlossen.

Um Jābāli mit seinem materialistischen Argument gerecht zu werden, sind zumindest noch drei Fragen zu erledigen:

1. Gehört Jābāli der alten Dichtung des Vālmiki an oder ist er später eingeschoben? Der große Kenner des Rāmāyaṇa, H. Jacobi, hat erklärt: «An Rāmas bestimmte Absage⁸⁷ nach Ayodhyā zurückzukehren, und die Äusserung seines Entschlusses: *pravekṣye Daṇḍakāraṇyam aham apy avilambayan|ābhyām tu sahito vīra Vaidehyā Lakṣmaṇena ca*||⁸⁸ musste sich direkt Bharatas Drohung anschliessen, ihn durch pratyupaveśana zu zwingen. Der Eindruck dieser Drohung wird durch die jetzt dazwischen stehenden Reden, von denen die Vasiṣṭhas in 110 in diesem Zusammenhang geradezu albern ist, sehr geschwächt, da der plötzliche Entschluss Bharatas gänzlich unmotiviert erscheint.» Jacobi möchte damit vier Kapitel (in der C-Version 107—111, 11) streichen. Damit würde auch Jābālis Rede in C 108 entfallen. Dies steht freilich erstens in Widerspruch zur Überlieferung aller Handschriften aller Versionen,⁸⁹ dieser «Einschub» müsste also in einen hypothetischen Text vor Ausgestaltung des Archetypus unserer Handschriften eingefügt worden sein. Dass zweitens Vasiṣṭhas Argument der Erbfolge des ältesten Prinzen «geradezu albern»

⁸⁵ A cbl. 32 — B 33 — C 36.

⁸⁶ A 124, 4 — B 120, 4 — C 111, 4.

⁸⁷ Absage an Bharata, s. o.

⁸⁸ A II, 120, 16 — B 115, 16 — C 107, 16.

⁸⁹ Jābālis Rede fehlt in dem Auszug des Rāmāyaṇa in Mahābhārata III, 277, 3—39 und Raghuvamśa XII, 1—19, die wegen ihrer Kürze nichts beweisen; ebenso in den indonesischen Versionen (W. STUTTERHEIM: Rāma-Legenden und Rāma-Reliefs in Indonesien. München 1925. 14; 76; 156).

ist, ist nur ein subjektives Urteil, das sich bei genauerer Betrachtung des Aufbaus des II. Buches des Epos genau so wenig halten lässt wie die Behauptung, dass Bharatas Entschluss des Fastens «gänzlich unmotiviert erscheint». Jacobi suchte, unter dem Einfluss der Lachmannschen Liedertheorie ein möglichst gekürztes Rāmāyaṇa herauszuschälen und gelangte aus dieser Tendenz heraus hier zu einer voreiligen Schlussfolgerung.

2. Die zweite Frage ist die nach dem Aufbau des II. Buches, um den Platz der materialistischen Rede verständlich zu machen. Die Handlung zerfällt deutlich in zwei Teile vor und nach dem Tode Dasarathas. Vor seinem Tode handelt es sich um eine Haremsangelegenheit, nach seinem Tode um eine staatspolitische.

Zunächst führt Kaikeyi Rāma gegenüber das Wort. Rāma geht dann zu seiner Mutter, und in ihrem Gemach trägt Lakṣmaṇa erst seinen Vorschlag der Gewaltanwendung vor, danach fordert Kausalyā von Rāma Sohnesgehorsam und droht mit Fasten. Rāmas Hauptargument dagegen ist Fatalismus, das aber Lakṣmaṇa nicht gelten lässt. Danach folgt eine Reihe von Gesängen über Sītā, die Rāma begleiten will, ohne auf ihn wegen seines Worthaltens einwirken zu wollen. Danach kommt das Volk zu Wort; es droht mit Auswanderung ins Dschungel. Es findet keine Gelegenheit, auf Rāma einzureden; es murrte nur als untätiger Zuschauer. Seine Äusserung hindert daher nicht, diesen ersten Teil des II. Buches als Familienintrige anzusehen, denn die Unterredungen gehen im Frauenhause weiter, wo Rāma, Sītā und Lakṣmaṇa Abschied nehmen.

Im zweiten Teil steht sozusagen Bharata, ihr Sohn, an Kaikeyis Stelle. Er ist der zunächst Redende, wenn er auch Rāmas Verbannung durch seine Mutter wieder aufheben will. Ihn unterstützen Jābāli und Vasiṣṭha. Vasiṣṭha fordert von Rāma Schülergehorsam, wie Kausalyā im ersten Teil Sohnesgehorsam verlangt hatte. Als Rāma auch auf Vasiṣṭha nicht hört, droht Bharata mit Fasten, wie im ersten Teil Kausalyā getan hatte. Führt man diese Parallelen des zweiten zum ersten Teil weiter durch, so entspricht Jābālis Materialismus der Gewaltdrohung des Lakṣmaṇa. Vergleicht man diese beiden Einstellungen, so ist im Grunde die des Lakṣmaṇa noch weit pietätloser als die des Jābāli, zumal zur Zeit von Lakṣmaṇas Forderung der greise Daśaratha noch am Leben war. Rāmas Hauptargument ist diesmal seine Verherrlichung der «Wahrheit», gegen die Jābāli (im Gegensatz zu Lakṣmaṇas Ablehnung des Fatalismus im ersten Teil) nichts erwidert, ebenso wenig wie Vasiṣṭha. Dieser Gesichtspunkt der «Wahrheit» lag also dem Epiker noch mehr am Herzen als der des Fatalismus. Gegen die «Wahrheit» konnte und wollte sich der Idealist Vālmiki offenbar keine Entgegnung ausmalen.

Danach kommt wiederum ganz kurz wie im ersten Teil das Volk zu Worte, aber es hat jetzt eingesehen, dass Rāma im Recht ist. Es geht damit

Bharata, Jābāli und Vasiṣṭha voran, wurde vom Dichter also als besonders einsichtig hingestellt. Um die Brahmanen und Minister samt der Familie der Mütter, Frauen usw. endgültig zu überzeugen, lässt Vālmiki schliesslich noch himmlische Weise ihren Spruch tun. Die Hofgesellschaft war also nur durch diesen deus ex machina, nur durch göttliche Autorität zu überzeugen; sie steht an sich auf derselben Seite mit dem Materialisten Jābāli, auf der Seite der politischen Vernunft, die freilich nach des Dichters Absicht hinter dem übermenschlichen Idealismus seines Helden Rāma und seiner schicksalsmässigen Bestimmung, Rāvana zu erschlagen, zurückstehen muss.

Bei einer solchen Übersicht über die Handlung wird deutlich, dass der Dichter den Materialisten Jābāli an wohl überlegter Stelle eingebaut hat. Nicht in der Familienhandlung, sondern im zweiten Teil, in der Öffentlichkeit vor dem Volk und dem Hof spricht er in der zugespitzten Situation, als Rāma sogar das Wort des inzwischen verstorbenen Vaters noch wahr machen will, damit Daśaratha nicht in der Hölle leiden müsse. Da greift der Materialist ein und redet gegen den Aberglauben von Jenseits und Ritualismus. Er darf aber auf Rāma ebensowenig wirken wie der Idealist Vasiṣṭha mit seinem Hinweis auf die Legitimität. Rāma soll ja ins Dschungel ziehen und sein Schicksal erfüllen.

Bei dieser Frage nach dem Aufbau der beiden Teile ist wieder eine kleine textkritische Nebenfrage zu klären. Die obige Darstellung folgt den südindischen Versionen. In der bengalischen ist eine Abweichung. Nachdem Bharata ins Dschungel gekommen ist, ihm die Herrschaft angeboten hat, ihm vom Tode des Vaters berichtet und ihn den Totenritus hat vollziehen lassen, wird es Nacht, und die grosse Rede Bharatas samt der Jābālis und Vasiṣṭhas folgt erst am folgenden Morgen. Nach den beiden nordindischen Fassungen aber spricht Bharata ausführlich bereits am ersten Tag, das Volk bewundert Rāma,⁹⁰ Rāma antwortet ihm;⁹¹ auch Jābāli spricht, Rāma entgegnet kurz,⁹² dann fällt die Nacht hernieder,⁹³ und am folgenden Morgen spricht Bharata noch einmal. Darauf heisst es im Bengalischen: Als Rāma die Rede Jābālis und Bharatas gehört hatte, antwortete er Jābāli usw.⁹⁴ Da in dem Druck der nordwestindischen Version hier ein Gesang ausgefallen ist,⁹⁵ der Rāmas Antwort an Jābāli enthalten soll; da ein Gesang in A fehlt, der der bengalischen Schilderung der Nacht und des Morgens entspricht;⁹⁶ da in A aber auch an der Stelle der südindischen Version keine solche Schilde-

⁹⁰ B 114, 36 — C 106, 34; fehlt in A.

⁹¹ A 120 — B 115 — C 107.

⁹² B 116, 41 ff. — Fehlt in A und C.

⁹³ B 117 — C 105 — Steht vielleicht in dem im Druck fehlenden sarga A 122 (s. u. A. 96).

⁹⁴ B 118, 1.

⁹⁵ A 122 fehlt.

⁹⁶ H. WIRTZ: Die westliche Rezension des Rāmāyaṇa. Bonn 1894, 28: A 122 ähnl. C 109 und B 118; B 117 fehlt in A.

rung steht, ist die nordwestindische Version hier sicher verderbt. So ist aber auch die bengalische Version, denn es ist unpassend, dass Rāma erst am Morgen dem Jābāli antwortet, der am Abend gesprochen hat, während am Morgen Bharata sprach. Dass die nordindischen Versionen hier in Unordnung sind, wird dadurch bestätigt, dass sie in der Inhaltsangabe des Epos am Anfang des I. Buches, die in Südindien fehlt, nach dem Totenritus angeben, dass ausführlich das Einreden auf Rāma geschildert wird, darunter das der beiden : Jābāli und Vāmadeva.⁹⁷ Von Vāmadeva ist aber im II. Buch an dieser Stelle keine Rede.

3. Drittens ist Jābālis Charakter zu untersuchen. Jābāli wird zuerst bei der Schilderung des Hofes Daśarathas nur in der südindischen Version erwähnt. Da werden im Norden und Süden zwei Opferpriester (Vasiṣṭha und Vāmadeva) und acht *amātyas* (Minister) (Sumantra, Jayanta usw.) aufgeführt,⁹⁸ nur im Süden werden dann «andere», nämlich Suyajña, Jābāli, Kāśyapa, Gautama, Mārkaṇḍeya, Dirghāyus und Kātyāyana, als seine *mantrins* (Ratgeber) genannt.⁹⁹ Alle werden danach insgesamt mit einer Fülle schmückender Beiworte gepriesen, wobei von Materialismus des Jābāli keine Rede ist. Als später Rāma ein Pferdeopfer darbringen will, um einen Sohn zu bekommen, lässt er die Lehrer (*guru*) Suyajña, Vāmadeva, Jābāli und Kāśyapa und den Hofpriester Vasiṣṭha holen.¹⁰⁰

Bei Rāmas Hochzeit nennt Daśaratha als Teilnehmer : Vasiṣṭha und Vāmadeva (die beiden Priester, s. o.), Jābāli, Kāśyapa (N fügt Bhṛgu hinzu), Mārkaṇḍeya, Dirghāyus und Kātyāyana.¹⁰¹ Dies stimmt einigermassen mit der ersten Aufzählung überein.

Nur im Norden fragt Daśaratha im II. Buch in seiner Klage über seinen Wortbruch : Was werden Vasiṣṭha und Vāmadeva, Jābāli und Kāśyapa dazu sagen?¹⁰²

Nach Daśarathas Tode treten diese Männer zusammen und werden im Norden als Königsautoritäten, im Süden als Königsmacher aufgeführt : N : Vasiṣṭha, Vāmadeva, Jābāli, Kāśyapa, Mārkaṇḍeya, Gautama und Maudgalya ;¹⁰³ S : Mārkaṇḍeya, Maudgalya, Vāmadeva, Kāśyapa, Kātyāyana, Gautama, Jābāli.¹⁰⁴

Nur im Norden werden Vasiṣṭha und Jābāli als diejenigen eingeführt, die dem um Daśaratha klagenden Bharata zureden, nicht zu trauern, da die Tränen der trauernden Hinterbliebenen den Toten aus dem Himmel

⁹⁷ A I, 3, 38 — B 4, 38cd, 39ab.

⁹⁸ A I, 7, 1—3 — B 7, 1—3 — C 7, 1—4.

⁹⁹ C I, 7, 4d—5.

¹⁰⁰ A I, 9, 45 — B 11, 9 — C 8, 6 = 12, 5cd—6ab.

¹⁰¹ A I, 65, 4 — B 71, 4 — C 69, 4.

¹⁰² A II, 37, 19 — B 34, 21.

¹⁰³ A II, 73, 2 — B 69, 2.

¹⁰⁴ C II, 67, 3.

stürzen.¹⁰⁵ Gegen die übliche Totenklage wendet sich bekanntlich auch die Bhagavadgītā zu Anfang,¹⁰⁶ und wenn Jābāli hier mit Vasiṣṭha einer Meinung ist, so tritt er hier sicher nicht als Materialist auf. Immerhin ist hervorzuheben, dass diese beiden hier zusammen genannt sind, denn diese Stelle steht nicht lange vor Jābālis Rede an Rāma, die trotz ihrem Materialismus wegen ihrer guten Absicht gerade von Vasiṣṭha verteidigt wird.

Als dann Bharata mit Rāmas Sandalen heimfuhr, schritten ihm Vasiṣṭha Vāmadeva und Jābāli voran.¹⁰⁷ An all diesen Stellen gehört Jābāli zur kleinen Gruppe der Männer um König Daśaratha.

Gelegentlich fehlt er aber unter ihnen, so wenn Bharata nach Daśarathas Tode in den beiden Nordversionen Sumantra, Jaimini, Vāmadeva (B : Suvarṇa) und Jaya (B : Vijaya) zur Beratung zusammenruft.¹⁰⁸ Ferner sendet Vasiṣṭha in allen Versionen nur Jayanta, Siddhārtha, Aśoka (und Vijaya im Süden), nicht aber auch Jābāli als Boten zu Bharata.¹⁰⁹ Selbst wenn diese oder jene Stelle übersehen sein sollte, zeigt diese Zusammenstellung, dass Jābāli dem Epiker geläufig war, aber auch, dass er in der Tradition nicht als Einzelpersönlichkeit mit einer besonderen, etwa materialistischen Weltanschauung hervortrat ausser an unserer Stelle.

Dazu passt eine Bemerkung in den südindischen Versionen. Die Entgegnung Rāmas auf Jābālis Materialismus wird im Süden in einer metrischen Fassung wiederholt, die sicher später hinzugefügt worden ist. Darauf antwortet Jābāli mit Zuneigung zu Rāma ein «wahres idealistisches heilsames» Wort: Nicht rede ich die Rede der Materialisten, nicht bin ich Materialist, nicht gibt es irgend etwas nicht (d. h. es gibt doch ein Jenseits usw.). Auf die Zeit hinblickend wurde ich wiederum zum Idealisten, ich könnte zu gegebener Zeit wieder Materialist werden. Nach und nach war die Zeit gekommen, dass ich als Materialist redete, damit du heimkehrtest und uns gnädig würdest.¹¹⁰

Es wird also die Absicht des Epikers gewesen sein, dass Jābāli nicht etwa ständig materialistische Ratschläge gab; einen solchen überzeugten Cārvāka hätten weder Daśaratha noch Rāma, Vasiṣṭha oder Bharata am Hofe auf die Dauer geduldet. Nur in der besonderen Lage Rāmas und Bharatas sollte auch einmal Materialismus zu Worte kommen, um zu versuchen, Rāma von seinem idealistisch-moralischen, aber politisch falschen Wege abzubringen.

Vālmiki fürte also Jābāli an dieser einen Stelle als eine Art Versucher ein. Versucher waren auch Lakṣmaṇa usw., aber Lakṣmaṇa empfahl den Weg der Gewalt, der Usurpation des Thrones gegen den Willen des noch

¹⁰⁵ A II, 85, 20 ff. — B 81, 20 ff.

¹⁰⁶ Vgl. ähnliche Ansichten der alten Griechen und Römer, zit. im Handwörterbuch des deutschen Märchens, her. v. L. MACKENSEN. Berlin — Leipzig. I, 1930 — 31, 84.

¹⁰⁷ A II, 126, 2 — B 124, 2 — C 113, 2.

¹⁰⁸ A II, 86, 11 — B 82, 11.

¹⁰⁹ A II, 74, 5 — B 70, 5 — C 68, 5.

¹¹⁰ C II, 109, 37 — 39.

lebenden Vaters. Dies war zwar auch eine mit Rāmas Idealismus unverträgliche Moral, aber sie war heldisch und insofern eines Kṣatriya nicht restlos unwürdig. Jābāli aber lehnte nicht nur die fromme Moral, sondern mit einer ganz kurzen Andeutung (wenn die Kommentare sie richtig deuten) auch die königliche Anstrengung, das Streben nach politischem Erfolg ab, so dass nur der Weg der Lust als der begehrenswerte übrigbleibt. Damit ähnelt Jābāli sehr dem Versucher im Daśakumāracarita VIII, der einen jungen Fürsten vom Studium und vom Befolgen der Staatslehre abbringt und zu Ausschweifungen veranlasst, bis er von dem Nachbarkönig besiegt wird.¹¹¹ So wird verständlich, dass Rāma Jābāli entgegenhält, er rede nur ihm zuliebe so,¹¹² das bedeutet, er rede als Höfling, als Schmeichler, als Verführer davon, Rāma solle sein Wort nicht halten und die Herrschaft ergreifen.

Es handelt sich ja um eine wahrhaft aussergewöhnliche Lage. Sonst war es im Despotismus der altindischen Sklavenhaltergesellschaft meist so, dass Prinzen nur mit Mühe auf den Tod des Vaters warteten, weil sie es nicht abwarten konnten, selber den Thron zu besteigen, so dass das Staatslehrbuch die Frage, wie der Vater sich vor seinen Söhnen schützen kann, diskutieren musste. An diesem Hofe von Ayodhyā aber will nicht nur der erbberechtigte Älteste, Rāma, ins Dschungel ziehen, sondern auch sein Bruder Lakṣmaṇa und sein Bruder Bharata. Alle drei sind übermenschlich «edel», d. h. uneigennützig. Rāma ist dabei von Anfang an konsequent; Lakṣmaṇa bäumt sich erst mit seinem Rat zur Gewalt dagegen auf; Bharata lehnt sich erst aus Zaghaftigkeit und Bescheidenheit gegen die Intrige seiner Mutter auf. Lakṣmaṇa lässt sich schnell durch Rāmas Idealismus besiegen, Bharata aber erst durch die Worte der himmlischen Weisen. Vasiṣṭha schwankt; zunächst war er dafür, Bharata zu weihen, also Daśarathas und Rāmas Wort zu befolgen. Dann aber unterstützte er sogar Jābāli und entschuldigte seinen Materialismus, bis auch er anscheinend erst durch die himmlischen Weisen wieder umgestimmt wurde.

Jābālis Charakter tritt nicht klar genug hervor. Er wird einer der vielen durchschnittlichen Brahmanen am Hofe gewesen sein, vielleicht musste er als solcher die Staatslehre studiert haben. An der einzigen Stelle, an der er hervortritt, spricht er aber mit materialistischen Argumenten, ohne auf die Staatslehre einzugehen, ja, wenn er richtig verstanden wird, lehnte er die politische Arbeit ab und riet nur zum Genuss. Insofern wird ihn jeder politisch einsichtige Mensch verurteilen. Aber wenn er sich an die medizinischen Vorstellungen über die Geburt hielt, handelte er als guter Materialist, denn auch heute noch kann ein dialektischer Materialist gegebenenfalls nichts besseres tun. Wenn er riet, vom Aberglauben abzusehen und die Herrschaft zu ergreifen.

¹¹¹ W. RUBEN: Die Abenteuer der zehn Prinzen. Berlin 1952, 25 f.

¹¹² S. o. B 118, 2 — C 109, 2.

so empfahl er die einzige praktisch richtige Lösung des damaligen politischen Konfliktes. Aber der Dichter brauchte ihn nur als Folie (ebenso wie Lakṣmaṇa und Kausalyā, Bharata und Vasiṣṭha), damit der Idealismus des Rāma umso strahlender dastehe. In dem Masse aber, in dem Rāma dem heutigen europäischen Leser unmenschlich moralisch erscheint, eben weil auch der grösste Dichter keinen derartig idealisierten Helden menschlich-warm gestalten kann, in demselben Masse werden uns Rāmas Gegenspieler als praktisch denkende Menschen sympathischer, unter ihnen aber auch der Materialist Jābāli.

Dies wird dadurch erleichtert, dass der grosse Vālmiki diesen Materialisten Jābāli weit milder als den gewalttätigen Lakṣmaṇa hinstellte, durchaus nicht mit der Gehässigkeit, mit der sonst Materialisten in idealistischer Literatur verzerrt zu werden pflegen. Er liess ihm sogar Vasiṣṭha zur Seite treten und zeigte sich dabei als menschlich verstehend wie kaum ein anderer indischer Dichter.

В. РУБЕН

МИНИСТР ДЖАБАЛИ В «РАМАЯНЕ» ВАЛЬМИКИ

(Резюме)

Материализм в древней Индии нам известен лишь из злобной, как правило, полемики идеалистов. Тем более важно, что автор эпоса «Рамаяна» — Вальмики, самый выдающийся поэт, пожалуй, всей Индии, нарисовал в образе Джабали такого министра, который в глазах каждого читателя прав в основных пунктах своей политической аргументации. Он советует Раме сесть на престол вопреки завету покойного отца. Разбор этой части показывает, что поэт нарочно поставил материалистическую аргументацию Джабали на такое центральное место в эпосе. Большое значение имеет и тот факт, что, с одной стороны, знаменитый мифический мудрец Васиштха защищает материалистические аргументы Джабали как политически обоснованные и что, с другой стороны, поэт говорит о материализме Джабали как о явлении гораздо менее опасном, чем безответственность Лакшманы, брата идеалиста Рамы. Конечно, поэт выступает против Джабали, Васиштхи и Лакшманы за то, чтобы Рама отказался от престола. Однако, его отказ аполитичный и сверхчеловеческий, идеализированный и, таким образом, неубедительный. Отказ необходим только с точки зрения мифологии, чтобы Рама убил Равану на чужбине; такой ход событий твердо закрепился в традиции. Глубоко чувствующий поэт изобразил материализм на этом важном месте эпоса с гораздо большей симпатией, чем большинство остальных древнеиндийских идеалистов.

ACHILLEUS, DER TRAGISCHE HELD DER ILIAS

Die Ilias-Forschung der letzten zehn Jahre scheint eine merkwürdige Wandlung durchzumachen. Kaum, dass uns Homer, der Dichter der Ilias wieder zur historischen Person geworden ist, und kaum, dass man wieder anfang, an die grossartige Einheit seines dichterischen Werkes zu glauben,¹ scheint auch die eben überwundene analytische Kritik in einer neuen Form wieder zu erwachen. «Auch wir kommen dazu, ein wenig Ilias-Analyse zu treiben, freilich mit einem etwas anderen Ergebnis, als die beliebten Schichten-Analysen» — schrieb zuletzt W. Schadewaldt,² einer der Philologen, die das meiste dafür getan hatten, dass die analytische Kritik, der Ruhm des 19. und 20. Jahrhunderts, die Umkehr aus sich selbst vollziehe.³ Der alte Wunsch jedoch — dem Dichter beim Dichten und Erfinden über die Schultern blicken zu können⁴ — lässt sich nicht so leicht Schweigen gebieten. Ist einmal die Schichten-Analyse endgültig gescheitert, und musste man einsehen, dass man auf diese Weise die «Vorlagen Homers» nie kennenlernen wird,⁵ so fanden sich bald andere Möglichkeiten zum Einblick in die Erfindung der Ilias.

¹ Vgl. K. REINHARDT: Homer und die Telemachie, zu einer Ausgabe der Vossischen Übersetzung 1946, im Bande «Von Werken und Formen», Godesberg 1948 (zitiert im folgenden: VWuF) S. 37–51.

² «Einblick in die Erfindung der Ilias» in «Von Homers Welt und Werk» (zitiert im folgenden: VHWuW) 2. Aufl. Stuttgart 1951, S. 155–202.

³ Man vgl. dazu seine «Iliasstudien» (Abh. Sächs. Ak. d. Wiss. 43, Leipzig 1938) und VHWuW.

⁴ Schadewaldts Worte in der Einleitung des Aufsatzes «Einblick in die Erfindung der Ilias».

⁵ Man braucht nur den Forschungsbericht «Homer» von A. LESKY (Anzeiger für die Altertumswissenschaft, Wien 4, 1951, 65–80, 195–212; 5, 1952, 1–24; 6, 1953, 129–150 und 8, 1955, 129–155) durchzublättern, um sich davon zu überzeugen, dass diese Ansicht heute noch keineswegs die communis opinio philologorum ist. Es gibt auch heute noch Philologen, die mit Homer mehr oder weniger ähnlich umgehen, wie es seinerzeit Wilamowitz getan hatte. Z. B. die neueren Arbeiten von W. THEILER (Noch einmal die Dichter der Ilias, Thesaurismata. Festschrift für Ida Kapp, München 1954, 118–146), P. VON DER MÜHLLS (Über eine für die Iliasanalyse wichtige Stelle. Festschrift F. Dornseiff. Leipzig 1953. 372–374), G. JACHMANN (Eine Studie zum homerischen Schiffskatalog. Studi in onore di Gino Funaioli. Rom 1955. 141–156) und F. FOCKES (Zum I der Ilias, Hermes 82 [1954] 257–287) vertreten lauter analytische Ansichten. Aber diese Analyse der alten Art hat ihr ehemaliges Ansehen schon längst eingebüsst, sie steht keineswegs so wohlbegründet und auf festem Boden, wie etwa noch vor dreissig Jahren.

Einer der Bahnbrecher der sog. Neo-Analyse scheint *J. Kakridis* zu sein, der in seinen Homer-Arbeiten, statt Schichten aus dem Gedicht herauszutrennen, Quellen und Vorbilder umgrenzen wollte.⁶ Noch bedeutender aber für die Wiedererweckung der analytischen Kritik war der Versuch des schweizerischen Gelehrten H. Pestalozzi, dem es gelungen ist, die vorhomerische Existenz des für uns verlorenen kyklischen Gedichtes, der Aithiopis wahrscheinlich zu machen.⁷ Dies Ergebnis wäre an und für sich noch nicht so überraschend gewesen, denn es war ja auch sonst von vornherein wahrscheinlich, dass im Kyklos teilweise auch vorhomerisches Sagengut bearbeitet wurde. Die Entdeckung warf nicht so sehr auf Homer selbst, als eher auf den Kyklos ein neues Licht. Aber Pestalozzi wollte auch noch darüber hinaus eine «ältere Achilleis» stückweise aus den verschiedenen Teilen des Troischen Kyklos heraussuchen, um danach dies Gedicht — wie er es auch durch den Titel seiner Arbeit betonte — als eine Vorlage des Iliasdichters nachzuweisen. Dieser Versuch konnte seine Wirkung auf die Homer-Forschung nicht verfehlen.⁸ Unitarier, die sich früher für Schadewaldts Methode und Ergebnisse begeisterten, wurden nun plötzlich wieder Analytiker in dem neuen Sinne des Wortes. Das typische Beispiel ist dafür der Fall von E. Howald, der in der Einleitung seines Buches den Leser versichert, dass der ganze Spuk der Homerkritik des verflossenen Jahrhunderts seit einigen Jahren wohl endgültig verschwunden sei.⁹ Aber liest man dann etwas aufmerksamer Howalds eigene Erörterungen, so muss man sich unwillkürlich fragen: inwiefern sich eigentlich diese Neo-Analyse von der alten auflösenden Iliaserklärung unterscheidet? Es wird ja auch diesmal über verschiedene «Schichten» in der Ilias gesprochen, obwohl natürlich der Verfasser das berüchtigte Wort geflissentlich vermeidet. Aber was nützt das alles, wenn es z. B. doch behauptet wird: «die Folge der Bücher II—V sei ein geschlossener Teil der Ilias, aber die gradlinige Szenenfolge höre am Schluss des V. Buches auf; die Begegnung Hektors mit Andromache fiele aus dem Rahmen heraus, weil die ganze Abbiegung auf Hektor hin im Grunde eine *Vergewaltigung* der Fabel vom Zorn des Achilleus bedeute»? «In dieser Szene werde das Steuer zum ersten Mal herumgeworfen, jedoch nicht für lange. Später trete für weite Partien wieder die Zornesfabel in den Vordergrund»¹⁰. — Es ist einerlei, ob man das Wort «Schichten der Ilias» gebraucht oder vermeidet, der Dichter, dessen Werk man so zerlegen kann,

⁶ Vgl. jetzt seine «Homeric Researches», Lund 1949. Ähnlich eine motivgeschichtliche Untersuchung ist auch die neuere Arbeit von Kakridis: *ΗΠΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΕΑΕΝΙΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ* 13 (1954) 205—220; vgl. den Forschungsbericht von A. LESKY in dem Anzeiger für die Altertumswiss. Wien 1955 Sp. 147.

⁷ Die Achilleis als die Quelle der Ilias. Zürich 1945.

⁸ Vgl. J. A. DAVISON: Classical Review 1947, 29; J. KAKRIDIS: Homeric Researches; H. J. METTE: Der Pfeilschuss des Pandaros. Halle 1951; A. HEUBECK: Der Odyssee-Dichter und die Ilias. Erlangen 1954. S. 88 u. a. m.

⁹ Der Dichter der Ilias. Erlenbach—Zürich 1946.

¹⁰ S. 36 ff.

und der seine Vorlage so «vergewaltigt», unterscheidet sich kaum von einem «Flickpoeten» der alten Analytiker. In der Tat glaubt Howald auch feststellen zu können, dass sein Homer froh sei, die griechische Niederlage in der Ilias nicht mit eigenen Worten schildern zu müssen; auch darum greife er manchmal auf seinen Vorgänger zurück, dessen Darstellung er in solchen Fällen weitgehend übernehme¹¹.

Eine auffallende Bestätigung erhielt die Neo-Analyse zuletzt von Schadewaldt selbst. Denn er unternahm sich auf Grund von Pestalozzis Ergebnissen einen neuen Einblick in die Erfindung der Ilias zu entwerfen. Allerdings wurde dabei der Wiederherstellungsversuch einer älteren, vorhomerischen Achilleis abgelehnt¹²; als sichere Grundlage für die weitere Forschung wurde nur ein Teil von Pestalozzis Ergebnissen anerkannt. Die sog. Memnonis, ein Teil der verlorenen Aithiopis, sei in der Tat vorhomerisch. Schadewaldt stellte in seiner Arbeit auch eine vermutliche Szenenfolge dieses Gedichts zusammen. Dann wurde von Motiv zu Motiv gezeigt, wie es mit der Ilias zusammenhängt. Nicht bloss, dass einzelne Szenen und Motive in der Ilias wiederkehrten, sondern die ganze Handlung der Memnonis liefe mit der Ilias-Handlung gleich. Aber ursprünglich sei in jedem einzelnen Fall die Motivverwendung der Memnonis. Nicht der Dichter der Memnonis habe von Homer gelernt, sondern umgekehrt: der Iliasdichter soll bei seinem Werk die ältere Memnonis als Vorlage benutzt haben. «Unrichtige», entwurzelte Verwendung des Motivs¹³ sei in den meisten Fällen der Beweis dafür, dass Homer etwas von seinem Vorgänger übernommen habe, was in der Vorlage sinnvoll war, aber in die Ilias übernommen den alten Sinn einbüsste, anders gestaltet wurde, manchmal sogar einen neuen Sinn bekam. Ja, es sollte auch noch möglich sein, dass das eine oder andere Motiv aus der Ilias gar nicht zu verstehen sei, aber zur Erklärung diene in diesen Fällen die wiederhergestellte Memnonis. Kein Zweifel, in diesem Fall¹⁴ ist Schadewaldt bei der Analyse der alten Art am nächsten gekommen. Es war ja Gewohnheit der auflösenden Iliaserklärung — anstatt das Gedicht aus sich selbst sorgfältig zu interpretieren — in schweren Fällen mit irgendeiner «Vorlage» herbeizuspringen.

Damit soll natürlich der ausschlaggebende Unterschied zwischen Schadewaldts Vorgehen einerseits und der analytischen Kritik andererseits keineswegs geleugnet werden. Die Analyse hat zwar immer ihre Gefahren, aber es kommt ja schliesslich doch darauf an: *wie* man analysiert? Ob das Gedicht «glieder-

¹¹ S. 48.

¹² Vgl. dazu SCHADEWALDTs Anmerkung 2. zu S. 158 VHWuW. 2. Aufl.

¹³ SCHADEWALDT erklärt, was unter dem Terminus «*unrichtige* Verwendung eines Motivs» zu verstehen sei, in Anm. 1. zu S. 163 VHWuW 2. Aufl.

¹⁴ Es handelt sich um die Interpretation der beiden Iliasstellen: 11, 794 ff. und 22, 378 ff. bei Schadewaldt auf Seiten 167 und 169 des genannten Aufsatzes. Auf die Erklärung dieser Stellen kommen wir später noch zurück.

gemäss» zerlegt wird, so wie das Kunstwerk organisch gewachsen war, oder haut man wie ein schlechter Koch hinein?¹⁵

Wir wollen im folgenden versuchen, die wesentlichsten Ergebnisse von Schadewaldts *Einblick* von einer anderen Seite her zu bestätigen und ergänzen. Als wesentliches Ergebnis dieser Arbeit sehen wir die Feststellung an: die grosse Tat des Iliasdichters bestand in der Schöpfung eines *tragischen* Epos aus dem *heldischen*¹⁶, und er hat dies erreicht, indem er das Heldische in dem bekannten Doppelsinn des Wortes in etwas *aufhob*, das mit dem «Menschlichen» wohl am besten zu bezeichnen ist¹⁷. — Schadewaldt kam zu diesem Schluss im Grunde auf dem Wege der literarischen Analyse; er verglich sowohl die ganze wiederhergestellte Memnonis, wie auch einzelne Motive aus ihr mit dem Homerischen Epos. Dabei wurden die Ursprünge der Ilias nicht auf dem Wege gesucht, dass man das fertige Epos aus fertigen Epen zusammensetzt oder ableitet;¹⁸ die Aufmerksamkeit wurde nicht so sehr auf das Gemeinsame, als eher auf das im gleichen Rahmen Verschiedene konzentriert. — Auch wir wollen dieser Methode folgen, aber statt eines wiederhergestellten literarischen Werkes aus der vorhomerischen Zeit ziehen wir zum Vergleich die vorhomerische Sage heran. Ausserdem vergleichen wir die Ilias auch noch mit einem älteren, nicht-griechischen Epos. Die Frage jedoch, inwiefern dieses altorientalische Epos als eine «Quelle der Ilias» anzusehen sei, lassen wir auf sich beruhen. Der Vergleich selbst soll uns nur lehren, die Ilias besser zu verstehen.

DER VERLUST DES FREUNDES

Die Ilias, das Epos vom Zorn des Achill, behandelt eine Episode des Troischen Krieges. Wohl verknüpft sich diese Episode in Homers Darstellung mit Troias Schicksal, aber sie ist doch kein echter Bestandteil der Sage von Troias Untergang. Die beiden Geschichten, die eine von Paris und Helena über die Entfesselung des Krieges und über Troias Fall, und die andere, die sog. Achilleis, so wie man sie aus der Ilias kennt, liessen sich beinahe auch getrennt, für sich erzählen. Man hat auch den Unterschied der zweierlei Art von Erzählungen mit Recht hervorgehoben. «Wenn ich es wagen dürfte, mich symbolisch auszudrücken — schrieb z. B. K. Reinhardt —, würde ich die Achilleis in ihrem Verhältnis zur Geschichte von Paris und Helena bestimmen als ein Element des *Nordens*, das mit einer *südlichen* Materie sich verbunden hätte, wie sich Nordisches und Südliches vereinigt in den Grundrissen der

¹⁵ SCHADEWALDTS Gleichnis VIIWuW 2. Aufl. S. 196 nach Platon. Phaidros 285 E.

¹⁶ VIIWuW 2. Aufl. S. 185.

¹⁷ VIIWuW 2. Aufl. S. 197 ff.

¹⁸ Zu der Beurteilung dieses «Klötzchenspiels» vgl. man K. REINHARDTS «Die Abenteuer der Odyssee», VWuF S. 54.

Burgen von Mykene und Tiryns.»¹⁹ In der Tat scheint nicht nur die Homerische Gestalt des Achill einen Sagenstoff zu bilden, der in viel höherem Masse ernst, ja düster ist, als die hellere, besinnlichere Erzählung vom Parisurteil; denselben düsteren Eindruck macht auch das alles, was die Achilleis mit sich bringt. Heerkönigtum, Gefolgschaft, Waffenfreundschaft, Ehrenkränkung, Bindung zwischen Fürsten und Gefährten bis über den Tod hinaus, Vergeltung bis zur Leichenschändung, bis zur Schlachtung der Gefangenen bei der Leichenfeier — das ist die Welt der Achilleis. Man wäre geneigt diesen Sagenstoff «nordisch» zu nennen nicht allein in symbolischem Sinne des Wortes, sondern es läge nahe, auch die tatsächliche nordische Herkunft dieser Sage zu vermuten. Man hat ja den Eindruck, als ob in der Geschichte des Homerischen Achill eben die heroische Welt jener Griechenstämme zum Ausdruck käme, die einst vom Norden her eingewandert auf den südlichsten Teilen des Balkans Fuss fassten und auf ihren Beutezügen unter anderem einmal auch Troia verwüsteten. Man wird gern zugeben, dass eine solche Vermutung nicht völlig unbegründet wäre. Denn man kann sich kaum ein besseres Bild von der Lebensweise der Griechen im heroischen Zeitalter vorstellen, als wie es sich gerade in der Homerischen Geschichte des Achill vor uns entfaltet. Mag Homer nur ein verspäteter Erbe der alten epischen Überlieferung sein, so spürt man an seinem Achill doch den Hauch der wahren heldischen Zeit.

Diese Vermutung über die Herkunft der Achilleus-Sage darf uns jedoch den Blick in eine andere Richtung nicht versperren. Denn es gibt einen anderen gar nicht nordischen Sagenstoff, mit dem sich die Homerische Achilleus-Geschichte mindestens in grossen Zügen vergleichen liesse. Fassen wir nur einige wichtige Punkte der Homerischen Achilleis näher ins Auge.

Achill, der grösste Held der Griechen, der sterbliche Sohn der Göttin Thetis, hält sich von dem Kampf um Troia zurück. Tief gekränkt durch den König Agamemnon zieht er in sein Zelt zurück und schaut der Niederlage seiner Kameraden untätig zu. Vergeblich will ihn später Agamemnon, der seinen Fehler schon eingesehen hatte, versöhnen, Achill rächt sich an ihm dadurch, dass er in den Kampf nicht zurückkehrt. Endlich einmal schickt jedoch der zürnende Held, anstatt dass er selber sich in den Kampf einmischte, seinen Freund, Patroklos hinaus, um den bedrängten Griechen zu helfen. Aber Patroklos fällt im Kampf von Hektors Hand, und diese Katastrophe erschüttert den immer noch untätigen Achill. Er kümmert sich nicht mehr um seinen Zorn gegen Agamemnon, er will in den Kampf zurück um seinen getöteten Freund zu rächen, obwohl er weiss, dass ihm selbst alsbald nach dem Sieg über Hektor der Tod bestimmt ist.

Man sieht, dass der entscheidende Wendepunkt der Achilleus-Geschichte *der Verlust des Freundes* ist. Bestürzt über den Tod des Freundes ändert

¹⁹ K. REINHARDT: Das Parisurteil 1938, jetzt in VWuF S. 34 f.

sich plötzlich der Held, und er benimmt sich von da ab völlig anders als früher. So war es im grossen und ganzen auch schon in der Memnonis. Auch dort hielt sich Achill vom Kampf zurück, nicht als ob er einen Zorn gegen Agamemnon gehabt hätte — davon scheint dieses ältere Gedicht noch nichts gewusst zu haben —, sondern weil ihm seine Mutter Thetis die «Dinge mit Memnon» vorausgesagt hatte.²⁰ Der Achilleus der Memnonis hielt sich vom Kampfe oder mindestens von dem Kampf mit Memnon zurück, weil er wusste, dass auch er selber nach Memnons Tod bald sterben müsste. Aber auch in diesem Gedicht änderte sich plötzlich Achilleus mit dem Verlust seines Freundes, Antilochos. Als er den Tod des Antilochos erfuhr — der in diesem älteren Gedicht eine nur zum Teil ähnliche Rolle spielte, wie später in der Ilias Patroklos —, kümmerte sich Achilleus nicht mehr um die Warnung seiner Mutter, er zog in den Krieg, tötete Memnon, den Mörder des Antilochos, um danach bald auch selber zu fallen.

Es scheint also, dass im Kern der Achilleus-Sage irgendwie die Freundschaft des Helden mit Patroklos oder Antilochos gestanden haben muss. Man kann darüber streiten, ob die Ehrenkränkung, der Zorn des Achilleus gegen Agamemnon ein alter Bestandteil der Sage oder nur eine spätere Zutat, etwa die Erweiterung der Geschichte durch Homer selbst ist²¹, allerdings steht aber die Freundschaft des Helden mit irgendeinem Gefährten, Patroklos oder Antilochos im Mittelpunkt der erzählten Ereignisse. In beiden Formen der Geschichte — so wie sie in der Ilias und so wie sie in der Memnonis vermutlich dargestellt wurde — hat auch der Verlust des Freundes eine ähnliche Folge: der Held verändert sich plötzlich. Es gibt also ohne den Verlust des Freundes und ohne die darauffolgende plötzliche Wandlung gar keine Achilleis.

Dieselben beiden Motive — der Verlust des Freundes und die darauffolgende Wandlung — stehen jedoch nicht nur im Mittelpunkt der Achilleus-Geschichte, sondern es kommt ihnen eine ähnlich wichtige Rolle auch in dem babylonischen Gilgameš-Epos zu. Auch für Gilgameš ist der schwerste Schlag der Verlust seines Freundes, Enkidu.

Gilgameš um Enkidu, seinen Freund,
weint bitterlich und rennt über das Feld —

liest man in den Keilschrift-Texten aus der Bibliothek des Königs Assurbanipals.²² — Wir wollen mit diesem Vergleich den Unterschied zwischen Achill

²⁰ Diesen Ausdruck gebraucht der Auszug des Proklos; vgl. E. BETHE: *Homer, Dichtung und Sage*, 2. Band, Berlin 1922 und SCHADEWALDT: *VHWuW* 2. Aufl. S. 159 ff.

²¹ SCHADEWALDT: *VHWuW* 2. Aufl. S. 183.

²² Wir zitieren das Gilgameš-Epos nach H. GRESSMANN: *Altorientalische Texte zum alten Testament*, 2. Aufl. Berlin–Leipzig 1926 S. 150 ff. Um die Kontrolle zu erleichtern geben wir ausser der Seiten-Zahl auch die Tafel-Nummer an, falls das Zitat aus der Rezension der Bibliothek Assurbanipals stammt. Unser erstes Zitat findet man im genannten Werk (zitiert im folgenden: GRESSMANN) S. 168 Tafel 9.

und Gilgameš natürlich nicht verwischen. Denn der Verlust des Freundes ruft in den beiden Fällen doch nicht dieselbe Wandlung hervor. Im griechischen Achill erwacht eben in dem Augenblick, als er den Freund verliert, die *Todesbereitschaft*; er will die Rache um den getöteten Freund, obwohl er weiss, dass sie ihm das Leben kosten wird, denn er muss ja alsbald nach dem Sieg über Hektor (oder Memnon) auch selber sterben. Dagegen heisst die Wandlung, die im Falle des Gilgameš nach dem Verlust des Freundes eintritt, etwas anderes. Nicht die Todesbereitschaft, sondern gerade die *Furcht* erwacht in ihm, als er Enkidu verliert. «Werde nicht auch ich wie Enkidu sterben?» — fragt er sich. «Weh ist in mein Herz gezogen. Vor dem Tode habe ich Furcht bekommen und renne über das Feld.»²³ — Ist Achill der Held, der sich freiwillig statt des langen Lebens den ewigen Ruhm wählt²⁴, selbst wenn dieser auch mit dem frühzeitigen Tod verbunden ist, so ist der mesopotamische Gilgameš nur Held in einem anderen Sinne des Wortes; er scheint früher gar nie an den Tod gedacht zu haben. Erst mit dem Verlust des Freundes bekam er Furcht vor dem Tod, und darin besteht gerade seine Wandlung. Denn auch Gilgameš hat sich mit dem Verlust des Freundes, als er die Furcht vor dem Tod kennenlernte, geändert; er ist nicht mehr derselbe, wie früher; von nun an sucht er nur noch das Geheimnis des ewigen Lebens, darum will er zu Utnapištim gehen, zu dem Menschen der Frühzeit, der nach der Sage unsterblich geworden ist²⁵. Also sind die Wandlungen, die nach dem Verlust des Freundes eintreten, in den beiden Fällen, in dem des Achill und in dem des Gilgameš, grundverschieden. Achill verzichtet von nun an auf das lange Leben, er will nur noch die Rache um den getöteten Freund, obwohl er weiss, dass sie auch seinen eigenen Tod beschleunigt. Selbst der Gedanke, dass der frühzeitige Tod für Achill den ewigen Ruhm begründet, wird in der Homerischen Darstellung, d. h. in der Schilderung dessen, wie sich Achill für die Rache an Hektor entscheidet, völlig unterdrückt. Nicht um des Ruhmes willen entscheidet er sich für die Rache — und den Tod, sondern aus innerem

²³ GRESSMANN: S. 168 Tafel 9.

²⁴ Dass der Achilleus der Sage freie Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten hatte: entweder langes Leben ohne Ruhm, oder frühzeitiger Tod und ewiger Ruhm, wissen wir zunächst aus der Ilias selbst: 9, 410—416.

²⁵ GRESSMANN: S. 180 Tafel 11 (Utnapištim erzählt dem Gilgameš):

Es stieg Enlil in das Schiff.

Er griff meine Hand und führte mich empor,

führte mein Weib und liess sie niederknien an meiner Seite,

Berührte unsre Stirn, und, in unsre Mitte tretend segnet er uns:

«Vormals war Utnapištim ein Mensch,

Jetzt sollen Utnapištim und sein Weib uns Göttern gleich sein,

Und wohnen soll Utnapištim in der Ferne, an der Mündung der Ströme.»

Sie nahmen mich und in der Ferne, an der Mündung der Ströme

liessen sie mich wohnen.

Jetzt aber zu dir, wer von den Göttern wird dich zu sich aufnehmen.

Dass du das Leben, das du suchest, findest?

Offenbar möchte also Gilgameš ebenso unsterblich werden, wie Utnapištim es einst geworden ist.

Antrieb und Zwang²⁶. Man weiss nur aus den früheren Äusserungen des Helden, dass diese Entscheidung für den Tod auch eine Entscheidung für den ewigen Ruhm ist. — Dagegen handelt Gilgameš anders. Er rennt über das Feld zu Utnapištim, weil er das Sterben-Müssen vermeiden und das ewige Leben erhalten möchte. — Diesen wesentlichen Unterschied darf natürlich kein Vergleich ausser Acht lassen²⁷.

Aber es gibt dennoch mehrere solche Motive im Gilgameš-Epos, die dem Kenner der Ilias ins Auge fallen, und die einen Vergleich des mesopotamischen Heldenliedes mit der griechischen Achilleus-Sage geradezu herausfordern. Nehmen wir z. B. jene Schilderung, wie Gilgameš über den verlorenen Freund trauert²⁸.

«Enkidu, mein junger (?) Freund, ... [die wir erlegten]
den Panther des Feldes,
Den niemand [ka]nnte, [den Berg] bestiegen,
Den Himmelsstier packten und [erschlugen],
Humbaba bezwangen, der im [Zedern]walde wohnte.
Was ist das jetzt für ein Schlaf, der [dich] gepackt hat,
Du bist finster und hörst mich nicht.»
Aber er erhebt [seine Augen] nicht.
Er berührte sein Herz, aber es schlä[gt] nicht.
Da verhüllte er den Freund, wie eine Braut ...
Wie ein Löwe (?) brüllt er laut (?),
Wie eine Löwin, die ihrer jungen beraubt ist (?).
Er wendet sich zu seinem Freund,
Er rauft sich sein H[aar?] aus und schüttet es hin (?),
Er reisst aus und [...]
Sobald ein Schimmer vom Morgen aufleuchtete,
[...] Gilgameš [.....]

Man kann dies Fragment kaum lesen, ohne dabei an Achills Trauer um Patroklos denken zu müssen. Wie der Schmerz des Gilgameš mit dem einer Löwin verglichen wird, so gebraucht auch Homer dasselbe Gleichnis auf die Trauer des Achill um Patroklos²⁹:

²⁶ Man denke an Achills Rede zu seiner Mutter, Thetis: Ilias 18, 99 ff.

²⁷ Ob der Vergleich Gilgameš—Achilleus jemals ernstlich versucht wurde, weiss ich nicht. Allgemein bekannt ist nur die Arbeit von A. UNGNAD: Gilgamesch-Epos und Odyssee, Breslau 1923. Es ist natürlich wohl möglich, dass man gelegentlich auch schon früher im Zusammenhang mit der Ilias auf das Gilgameš-Epos hinwies. Man soll ja z. B. nur O. HAUSERS Einleitung zu einer Neuausgabe der Vossischen Übersetzung der Ilias lesen (Homer, Ilias, übersetzt von J. H. Voss, Deutsche Bibliothek in Berlin o. J.). Man findet hier unter den abstrusesten wettermythologischen Erklärungen der Iliassgestalten auch den merkwürdigen Satz über Achill: «Der ihm beigegebene treue Freund Patroklos findet sich schon in der sumerischen Gestaltung des Mythos, im Gilgamesch-Epos.» Man könnte solche beiläufige Bemerkungen über dieselbe Frage, welche zum Teil auch sehr zutreffend sein können, wahrscheinlich noch haufenweise in der älteren Literatur entdecken. Aber hat man jemals den Vergleich Gilgameš—Achilleus auch *ernster* genommen, als z. B. die Wettermythologie?

²⁸ GRESSMANN: S. 167 Tafel 8.

²⁹ Aus Sparsamkeitsgründen vermeiden wir im folgenden möglichst die Iliasstellen einfach griechisch abdrucken zu lassen, da es uns meistens doch nur darauf ankommt, den Leser an den blossen *Inhalt* der betreffenden Zitate zu erinnern. Benutzt wird dabei die Vossische Übersetzung, obwohl sie selbstverständlich für den vorliegenden Zweck nur als *Notbehelf* in Betracht kommt. Von den Varianten des Vossischen Textes wurde jeweils die am leichtesten verständliche (meistens nach O. HAUSERS Ausgabe) gewählt.

gleich wie ein bärtiger Löwe,
 dem die Jungen geraubt ein hirschverfolgender Jäger
 aus verwachsenem Gehölz; da kommt er zurück und betrübt sich,
 eilt dann von Tal zu Tal, der Spur nachrennend des Mannes,
 ob er ihn wo ausforsche; denn bitterer Zorn durchdrang ihn:
 Also jammerte er und rief zu den Myrmidonen . . .

(Ilias 18, 318—323)

Und wie Gilgameš in seiner Trauer der Heldentaten gedenkt, die er einst mit Enkidu zusammen vollbrachte, so heisst es auch in der Ilias über Achill:

Weinte des lieben Freundes gedenkend; der alle bezwinget,
 nicht umfing ihn der Schlaf; er wälzte sich hierhin und dorthin
 Sehndend dacht er Patroklos' erhabener Tugend und Stärke,
und wie viel er vollendet mit ihm, und wie manches erduldet
während er Schlachten der Männer und schreckliche Wogen durchzogen:
 Dessen gedacht' er im Geist und reiche Tränen vergoss er.

(24, 4—9)

Ja, der aufmerksame Leser muss bei den letzten Worten des vorigen Fragments geradezu stocken: «Sobald ein Schimmer vom Morgen aufleuchtete, . . . Gilgameš . . .» — Wie mag nur wohl die Fortsetzung dieses Textes gewesen sein? Denn auch unser letztes Ilias-Zitat setzt sich mit dem *Aufleuchten des Morgens* fort:

Jetzt erschien ihm
 Eos im rötlichen Glanze, das Meer und die Ufer bestrahlend.
 Schnell, nachdem er ins Joch die hurtigen Rosse gespannt,
 band er Hektor zum Schleifen hinten fest an den Sessel . . .

(24, 12—15)

Man darf natürlich aus dem eben angestellten Vergleich gar keine weitgehenden Schlüsse ziehen. Es handelt sich ja in beiden Fällen um die Schilderung einer Trauer aus der heldischen Zeit, und eben deswegen kann es auch nicht wundernehmen, dass beide Male dieselben Motive wiederkehren. Man wird sich natürlich hüten, auf Grund blosser Reminiszenzen irgendeinen Zusammenhang zwischen zwei literarischen Werken, der Ilias einerseits und dem Gilgameš-Epos andererseits, konstruieren zu wollen. Die bisher genannten Ähnlichkeiten genügen vorläufig kaum noch dazu, um eine Verwandtschaft der beiden Sagen, der griechischen und der mesopotamischen zu vermuten.

Ist man jedoch einmal auf den Gedanken des Vergleichs gekommen, so findet man bald auch solche Ähnlichkeiten zwischen dem Gilgameš-Epos und der Achilleus-Sage, die sich nicht mehr so leicht abfertigen lassen, wie die vorigen Reminiszenzen.

Man liest z. B. die Klage des Gilgameš:³⁰

»Enkidu, den ich sehr liebe, der mit mir alle Fährnisse durchwanderte,
 Er ist gelangt zum Geschick der Menschheit.
 Sechs Tage und Nächte habe ich über ihn geweint,
 Bis dass Würmer in seine Nase drangen, liess ich ihn nicht begraben.

³⁰ GRESSMANN: S. 171 Tafel 10.

Der Leser der Ilias erinnert sich bei diesen Worten daran, dass auch Achill seinen toten Freund eine Zeitlang nicht bestatten liess. Die Leichenfeier wurde mit der Begründung aufgeschoben, dass zuerst die Rache vollzogen, und der Mörder Hektor vor den getöteten Freund hingeschleppt werden soll :

«Doch nun ich, Patroklos, nach dir in die Erde versinke,
 feier' ich dir nicht eher das Grabfest, bis ich dir Hektors
 Waffen gebracht und das Haupt des hochgemuten Mörders!»

(Ilias 18, 333–335)

Wohl wird der Aufschub der Leichenfeier im Falle des Patroklos mit der Komposition der Ilias selbst begründet : Achill hat die Absicht die Leichenfeier erst nach vollzogener Rache zu begehen, während das Gilgames-Epos gar nichts von einer solchen Begründung weiss. Gilgames liess den toten Enkidu nur darum nicht begraben — «bis dass Würmer in seine Nase drangen» —, weil er sechs Tage und Nächte über ihn weinte. Man hat also zunächst den Eindruck, als ob die Ähnlichkeit des Vorgehens auch in diesem Fall nur ein Zufall wäre. Aber man wird doch etwas vorsichtiger urteilen, wenn man daran denkt, in welcher Form dasselbe abstossende Motiv in der Ilias wiederkehrt, welches auch im Gilgames-Epos den trauernden Helden endlich doch dazu bewog, seinen toten Freund zu beerdigen. Auch Achill hat Angst um den toten Patroklos, wie er zu seiner Mutter sagt, ehe er in den Kampf gegen Hektor zöge :

Aber ich Sorge
 sehr, dass mir indes in Menoitios' tapferen Sprössling
 Fliegen sich nisten und in den erzgeschlagenen Wunden
 ihm Gewürm ausbrüten und gar entstellen den Leichnam
 (denn sein Geist ist entflohn!), und am ganzen Leib er verwese.

(Ilias 19, 23–27)

Die Göttin selbst muss ihren Sohn beruhigen :

«lass nicht dieses dein Herz bekümmern!
 Jenem versuch ich selber hinwegzuscheuchen die Fliegen,
 deren Geschlecht raubgierig erschlagene Männer verzehret.
 Wenn er sogar daläge bis ganz zur Vollendung des Jahres,
 dennoch soll ihm der Leib unversehrt sein, oder noch schöner.»

.....
 Drauf dem Patroklos goss sie Ambrosiasaft in die Nase
 und rotfunkelnden Nektar, den Leib unversehrt zu erhalten.

(19, 29–33 und 38–39)

Man spürt an dieser Schilderung den Geist des Verschönerers, mag er Homer selbst oder nur einer von seinen vielen Vorgängern gewesen sein. Allerdings darf in seiner Welt das Abstossende nicht mehr mit jenem urwüchsigen Naturalismus zur Geltung kommen, wie in der altorientalischen Geschichte. Das entsetzliche Verwesen des geliebten Freundes wird nur in der Angst des Helden angedeutet, und die Göttin muss einschreiten, um das Schöne selbst im Grässlichen zu wahren, denn sonst wäre die nackte Wirklichkeit

an sich nicht zu ertragen. — Kein Zweifel, in diesem Fall ist die Homerische Schilderung keineswegs die ursprüngliche. Mag der Grund, der den Helden bewog, um die Leichenfeier aufzuschieben, ursprünglich die verzweifelte Trauer selbst, oder die Absicht gewesen sein, erst nach vollzogener Rache den Toten auf den Scheiterhaufen zu legen, so wurde doch aller Wahrscheinlichkeit nach die Folge dieser Verzögerung in der alten Geschichte noch mit derselben Unmittelbarkeit zum Ausdruck gebracht, wie im Gilgameš-Epos. Bei Homer findet man nur die abgeschwächte Form desselben Motivs.

Man kennt jedoch auch eine andere solche, ja sogar noch bedeutendere «Homerische Abschwächung» eines uralten Motivs, und dazu noch eben aus der Patroklos-Geschichte. Wir meinen nämlich Achills letzte «Begegnung» mit Patroklos. Aber wir wollen diesmal zunächst die ältere Form desselben Motivs ins Auge fassen, so wie wir es aus dem Gilgameš-Epos kennen.

Es ist Gilgameš nicht gelungen, den toten Freund, Enkidu, aus der Unterwelt wieder heraufzuholen. Statt dessen haben ihm die Götter jedoch erlaubt, dass ihn der Totengeist Enkidus für eine kurze Frist besuche. Wie es im Text wörtlich heisst³¹:

Der gewaltige Held Nergal³² [...]
 Öffnete alsbald ein Loch in der Erde,
 Den Totengeist Enkidus liess er wie einen Windhauch
 aus der Erde herausfahren.
 Sie umarmten sich [... ..]
 Sie berieten sich, erzählten s[ich(?)].

Auch die Ilias kennt diese Begegnung des Überlebenden mit seinem verstorbenen Freund, doch nur in der Form des *Traumes*. Die Rückkehr des Hingeschiedenen wird nicht als wache und nüchterne Wirklichkeit, sondern nur als Traum des Überlebenden dargestellt:

Peleus' Sohn am Gestade des weitaufrauschenden Meeres
 legt' sich, seufzend vor Gram, inmitten der Myrmidonen,
 dort, wo rein der Strand von der steigenden Welle gespült war:
 Als ihn der Schlummer umfing, die Sorgen lösend des Herzens,
 sänftlich umfliessend ihn, denn es starren die reizenden Glieder
 ihm, da er Hektor verfolgt' um Ilios' windige Höhen.
 Da kam zu ihm die Seele des jammervollen Patroklos,
 ähnlich an Gröss' und Gestalt und lieblichen Augen ihm selber
 auch an Stimm, und wie jener den Leib mit Gewanden umhüllet:
 ihm zum Haupt nun trat er und sprach anredend die Worte...

(23, 59–68)

Aber möge diese Begegnung nach der Darstellung des Iliasdichters nur ein Traum sein, so bleibt dennoch der Traum selbst der Wirklichkeit so nahe. Wie Enkidus Totengeist «dem Windhauch ähnlich» aus der Erde herauffährt, so verschwindet auch die Seele des Patroklos wie ein Rauch

³¹ GRESSMANN: S. 185 Tafel 12.

³² Der Gott der Unterwelt.

in der Erde in dem Augenblick, als Achilles den Freund *umarmen* will (vgl. 23, 100 ff.). — Auch in diesem Fall kann man mit Sicherheit vermuten, dass die ursprüngliche Form des Motivs im Gilgameš-Epos und nicht bei Homer vorliegt. Denn selbst das Gespräch des Verstorbenen mit seinem überlebenden Freund hat in den beiden Gedichten eine auffallende Ähnlichkeit. Die Seele des Patroklos ermahnt den Freund, den Leichnam zu verbrennen, damit sie «hinüberkomme», denn

«Fern mich scheuchen die Seelen hinweg, die Schatten der Toten,
und nicht über den Strom vergönnen sie, mich zu gesellen,
sondern ich irr' unstät um Aides' mächtige Tore.»

(23, 72–74)

Diese Bitte des Toten passt sehr gut in die Komposition der Ilias. Denn Achill hat bisher die Leichenfeier verzögert. Völlig anders steht es im Gilgameš-Epos. Enkidu ist schon längst beerdigt. Auch tritt sein Totengeist nicht mit einer Bitte an den Überlebenden heran. Gilgameš ist es, auf dessen Wunsch die Götter diesen Besuch vom Jenseits her gewährt hatten. Und doch spricht am Schlusse des mesopotamischen Gedichtes der Totengeist zu seinem Freund über diejenigen die «nicht bestattet worden sind». Wie es in der Wechselrede der beiden Gefährten heisst³³:

«Dessen Leichnam aufs Feld geworfen ist,
Sahst du ihn?» — «Ich sah ihn.
Sein Totengeist ruht in der Erde nicht.»
«Wessen Totengeist keinen Pfleger hat,
Sahst du ihn?» — «Ich sah ihn.
Im Topf zurückgelassenes, Speisbissen,
Die auf die Strasse geworfen sind, isst er.»

Selbstverständlich hat dieses Gespräch am Ende des Gilgameš-Epos einen völlig anderen Sinn, als die letzten Worte des Patroklos an Achill in der Ilias. Die Ähnlichkeit, möge sie auch noch so überraschend sein, bleibt dennoch nur eine äusserliche. Denn der Kerngedanke der *Homerischen* Achilleusgeschichte ist nicht derselbe, wie derjenige der Gilgameš-Sage. Das Problem, welches im Mittelpunkt der mesopotamischen Erzählung steht heisst: Tod und ewiges Leben. Wie benimmt sich der grösste Held, wenn er im Verlust seines geliebten Freundes die Furcht vor dem Tod kennenlernt? — Er wird wohl zunächst nach dem Geheimnis des ewiges Lebens trachten. Aber wenn er sich dann mit dem Unabänderlichen schliesslich doch abfinden muss, so wird er sich wohl fragen: was kommt nach dem Tode? Was ist das Schicksal derjenigen, die dahingeschieden sind? Wie ergeht es denen, die verschiedenen Todes gestorben sind? Was geschieht mit denjenigen, die man beerdigt, und die man nicht bestattet? — Auf diese letzten Fragen erhält Gilgameš eine Antwort von dem zurückkehrenden Totengeist des verstorbenen Freundes.

*

³³ GRESSMANN: S. 185–186 Tafel 12. — Die Wechselrede beginnt mit der Frage des Gilgameš, worauf dann der Totengeist Enkidu antwortet.

Versuchte man also auf Grund des bisher angestellten Vergleiches irgendeinen Schluss zu ziehen, so müsste man sich einstweilen noch mit einem ziemlich vagen und unbestimmten Ergebnis begnügen. Es besteht zweifellos eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden Sagen. Man hat es in beiden Fällen mit einer heroischen Geschichte zu tun, in welcher der Verlust des Freundes das entscheidende Ereignis ist. Die dadurch hervorgerufene Wirkung scheint jedoch in den beiden Fällen nicht mehr dieselbe zu sein. Auch über die verwandten Motive, die in der Tat manchmal überraschend ähnlich sind, lässt sich noch kaum etwas näheres sagen; sie könnten zum Teil beinahe bloss Zufälligkeiten, und zum Teil lediglich äusserliche Ähnlichkeiten sein. Will man über die blossen Vermutungen hinauskommen, so muss man im folgenden einige Züge der Gilgameš-Sage näher ins Auge fassen.

DIE TRAGIK DES GILGAMEŠ

Man kennt die ausführlichste Form des Gilgameš-Epos aus der Rezension der Bibliothek Assurbanipals aus dem 7. Jahrhundert. Die jüngste Form dieser mesopotamischen Dichtung ist also wohl noch jünger als unsere Ilias. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass die Tafeln Assurbanipals auf ältere Originale babylonischer Herkunft zurückgehen. Ja, der Stoff des Gedichtes geht zweifellos weit hinauf in die alte sumerische Zeit. Das Gedicht selbst lässt sich in der Tat als *Epos* bezeichnen.

Möge nämlich der fragmentarische Text manchmal zwar einen beinahe «primitiven» Eindruck auf den heutigen Leser machen, so werden wir doch an manchen Stellen auf Eigenschaften aufmerksam, die uns sonst aus dem griechischen Epos wohlbekannt sind. Wie die Handlung bei Homer eine doppelte ist — der Handlung der menschlichen Welt läuft nämlich eine andere, diejenige der Götterwelt parallel —, so scheint es im grossen und ganzen auch im Gilgameš-Epos zu sein. Auch die Darstellung wird in derselben Szenentechnik gehalten, die auch Homer durchaus befolgt. Und wie bei Homer, nehmen auch hier Gespräche in der Erzählung weiten Raum ein. Ja, auch noch solche epische Bezeichnungen wie z. B. «Uruk, die Stadt der weiten Strassen»³⁴, erinnern nur allzu sehr an die³⁵: *Ἡρώων πόλις εὐρυάγνια*. Man könnte sogar versuchen in manchen Teilen der orientalischen Darstellung die Urform solcher Schilderungen zu entdecken, die später in der griechischen Epik weiterentwickelt und auf eine höhere Stufe gehoben wiederkehren. Es ist z. B. bekannt, wie bei Homer die Waffenbereitung des Hephaistos

³⁴ Meistens heisst diese Stadt im Text: «das *unfriedete* Uruk». Man findet jedoch in der altbabylonischen Rezension die andere Bezeichnung, «Uruk, die Stadt der weiten Strassen», z. B. GRESSMANN: S. 186 Zeile 28, 187 Zeile 55 u. a. m.

³⁵ Ilias 2, 29.

(Ilias 18) beinahe zu einem Stück selbständiger Dichtung innerhalb des Epos entwickelt wurde. Die Waffenbereitung und die Schilderung der Waffen wurde jedoch nicht erst *nach* Homer zu einem immer wiederkehrenden Motiv der epischen Darstellung. Schon in der vor kurzem wiederhergestellten Memnonis nahm die Schilderung jener herrlichen Waffenrüstung, die Hephaistos für Memnon gefertigt hatte, einen wichtigen Platz ein³⁶. Aber findet man nicht eben die Urform dieser späteren Schilderungen in jenem Abschnitt des Gilgameš-Epos, der berichtet, wie Gilgameš vor einer Heldentat zu seinem Freund, Enkidu spricht?

«[Ich will ge]hen, mein Freund, den Waffenkünstlern Auftrag geben
 [Beile] sollen sie giessen vor uns.»
 Sie gingen (?), gaben den Waffenkünstlern Auftrag (?).
 Da sitzen die Meister, einen Zeitpunkt bestimmend,
 Grosse Beile gossen sie, Äxte gossen sie von je 3 Talenten.
 Grosse Dolche gossen sie, je 2 Talente waren die Schneiden
 Der Handgriff (?) je 30 Minen
 der Dolch je 30 Minen Goldes.
 Giš und [Enki]du hatten je 10 Talente niedergelegt.³⁷

Wir wollen jedoch statt der allgemeinen Züge der epischen Darstellung die Gestalt des Helden Gilgameš näher ins Auge fassen, über seine Schicksale berichtet ja das ganze Werk. Wer ist nun Gilgameš? — Der grösste unübertreffliche Held, wie es im Text heisst: «zwei Drittel von ihm ist Gott, ein Drittel Mensch». ³⁸ Wohl ist diese merkwürdige Umschreibung dessen, dass das Wesen des Gilgameš mehr als zur Hälfte göttlich ist, beachtenswert. Denn offenbar lag es denen, die sich so ausdrückten, nicht einfach an der mythischen Abstammung ihres Helden. In diesem Fall hätten sie sich wohl anders ausgedrückt. Überlegt man sich nämlich die Abstammung, so kommt man nie zu dieser auffallenden Proportion: «zwei Drittel — ein Drittel». Man kann zur Hälfte in die eine, und zur Hälfte in die andere Gattung gehören; oder ist die Verteilung noch günstiger, so fällt auf die schlimmere Gattung nur ein *Viertel* oder nur ein *Achtel*. Aber keine mögliche Abstammungskombination führt jemals auf das Ergebnis «zwei Drittel — ein Drittel». — In der Tat hat diese Umschreibung kaum etwas mit der mythischen Genealogie zu tun; sie will etwas anderes zum Ausdruck bringen. Wohl ist Gilgameš, der grösste Held, seinem Wesen nach übermenschlich, «zwei Drittel von ihm ist Gott», aber auf der anderen Seite ist er doch nur ein Mensch, «ein Drittel von ihm ist Mensch». Dieses menschliche Drittel im Gilgameš kommt zur Geltung, als er nach dem Verlust seines Freundes die Furcht vor dem Tod kennenlernt. Er fühlt plötzlich, dass auch er wird einmal sterben müssen, weil auch er mindestens zu *einem Drittel* Mensch ist.

³⁶ Vgl. W. SCHADEWALDT: VHWuW 2. Aufl. S. 159.

³⁷ GRESSMANN: (altbabylonische Rezension B) S. 191.

³⁸ GRESSMANN: S. 151 Tafel 1, Zeile 51.

Aber was nützt es dann zu zwei Drittel Gott zu sein, wenn man doch genug von einem Menschen in sich hat, um den Tod erleiden zu müssen? — Diese Frage gehört als Problem zum innersten Kern der Gilgames-Geschichte. Ein Versuch von Antwort darauf ist das Gedicht selbst, und man wird sehen, dass auch das Kernproblem der *alten* Achilleus-Sage ein ähnliches war. Auch über den griechischen Helden berichtet die Sage, dass ihn seine Mutter, Thetis unsterblich machen wollte; deswegen tauchte sie ihn des Nachts in Feuer, und salbte sie ihn bei Tag mit Ambrosia.³⁹ Aber der Versuch hat fehlgeschlagen, Thetis konnte ihren Sohn nicht unsterblich machen. Die Sterblichkeit ist auch im Falle des Achill die *Schwäche* des unübertrefflichen Helden. Dass es sich in der Tat um eine Schwäche handelt, geht besonders klar und eindeutig aus jener Version der Sage hervor, nach welcher die Göttin Thetis den Knaben in das Wasser der Styx getaucht hätte, um ihn unverwundbar zu machen; die eine Ferse wurde dabei jedoch nicht benetzt, und gerade dort traf ihn später der todbringende Pfeil⁴⁰. Die verwundbare Ferse ist schuld daran, dass Achill sterben muss, ebenso wie im Falle des Gilgames sein menschliches Drittel die Todesangst begründet.

Was die Abstammung des mesopotamischen Helden betrifft, so fällt zunächst auf, dass sein Vater völlig im Hintergrund bleibt, man hört so gut wie gar nichts von ihm. Umso öfters wird seine göttliche Mutter, Ninsun erwähnt, «die jegliches weiss». Gilgames erzählt häufig seine Träume der Mutter, die sie ihm deutet, und die Zukunft voraussagt. — Auch diese Züge erinnern uns an den griechischen Achill, dessen Vater, Peleus, beinahe nur da ist, um das Patronymikon «Sohn des Peleus» zu begründen. Sonst spielt der Vater in der Achilleus-Geschichte kaum eine bedeutende Rolle. Auch der vertraute Verkehr des Helden mit seiner Mutter, der Göttin Thetis, hat sein Urbild in der mesopotamischen Geschichte. Wie Gilgames die Zukunft aus den Weissagungen seiner Mutter, so kennt auch Achill sowohl sein eigenes Schicksal wie auch dasjenige des Patroklos⁴¹ im voraus aus den Weissagungen der Thetis.

³⁹ Apollodoros III 13, 6; Apollonios Rhodios IV 869.

⁴⁰ Stat. Ach. I 269 f. und dazu Lactantii comment. in Achilleida (Jahnke S. 497); Serv. Verg. Aen. VI 57 und Qu. Smyrnacus III 62. — ESCHER-WÜRGEL, der Verfasser des Achilleus-Aufsatzes in der RE hebt hervor, dass dieser mythische Zug erst in der «jüngsten Überlieferung» berichtet werde; Homer kenne die Unverwundbarkeit noch nicht. — Nun kann das alles zwar stimmen, aber man wird daraus doch nicht den Schluss ziehen, dass Achills Unverwundbarkeit, bzw. die Verwundbarkeit seiner Ferse erst die Erfindung der nachhomerischen Zeit sei. Auch darum nicht, weil man das Alter dieses mythischen Zuges schon wegen der bildlichen Darstellungen ziemlich hoch hinaufrücken muss. Auch eine chalkidische Amphora des 6. Jahrhunderts (RUMPF: Taf. 12) stellt schon den toten Achill mit dem Pfeil in seiner Ferse dar. Aber auch davon unabhängig scheint das Motiv eher *vor-* als nachhomerisch zu sein. Die Tatsache, dass es dennoch erst in unserer jüngsten Überlieferung berichtet wird, kann auch blosser Zufall sein.

⁴¹ Man vgl. dazu Ilias 18, 9 ff. — Es ist interessant, dass nach dem mesopotamischen Text die Göttin Ninsun selbst die Freundschaft des Gilgames mit Enkidu dem Sohn im voraus verkündet, ehe der Held seinen späteren Freund überhaupt noch kennengelernt hätte. Ja, man fragt sich, ob nicht auch der Tod des Enkidu vorausgesagt werde, wenn es heisst:

Aber noch interessanter ist unter diesem Gesichtspunkt die erste Szene, die Einleitung des Gilgameš-Epos. Der Anfang dieser Szene schildert die unüberwindliche Macht des Gilgameš. Es scheint, dass auch die Götter selbst sich darüber erschrecken, und dem Schöpfer Vorwürfe machen, dass er eine solche Macht zustande kommen liess:⁴²

Die Götter des Himmels [riefen(?)] den Herrn des [umfriedeten] Uruk.
«Du hast erschaffen einen gewaltigen Wildstier [.....]
Er hat nicht seinesgleichen [.....]»

Und nun beschliesst der Rat der Götter, dass auch ein Zweiter, ein Ebenbild des Gilgameš erschafft werden muss, nur so kann die Ruhe, das Gleichgewicht wiederhergestellt werden:

«Du, Aruru,⁴³ schufst [Gilgameš],
Jetzt erschaffe ein Ebenbild (?) von ihm!
Seinem eigenen Wesen (?) gle[iche]
Sie mögen miteinander wetteifern, und Uruk möge zu Ruhe kommen(?)».

Diese Szene leitet die Schöpfung Enkidus ein. Der spätere Freund von Gilgameš ist sein *Ebenbild*, das *gleiche Wesen*, wie er selbst. Die Götter wollen zwar, dass diese beiden mächtigen Wesen ihre Kräfte im Kampf gegen einander verzehren, und dass auf diese Weise die Ruhe gesichert sei, aber nach einem vergeblichen Versuch über einander zu siegen, schliessen die beiden ewige Freundschaft miteinander. Kein Zweifel, die Gilgameš-Enkidu-Freundschaft ist das Urbild der Freundschaft Achills mit Patroklos⁴⁴. Die Achilleus-Geschichte ist nicht erst in der Homerischen Darstellung zu einer Freundschaftsgeschichte geworden. Sie war es schon in der Form, in welcher man sie im Gilgameš-Epos kennenlernt.

Doch interessant ist die Eingangsszene des Gilgameš-Epos auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt. Die Götter erschrecken über die

[Ninsu]n, die jegliches weiss, sagt zu ihrem Sohne:
«[Gilgameš], wenn du einen Menschen sahst,
[Ich aber] ihn dir gleichstellte,
[So bedeutet das (?)] einen Mächtigen, einen Genossen,
der den Freund rettet».

Es fragt sich nämlich, wieso eigentlich Enkidu seinen Freund *rettet*? Ob nicht durch seinen eigenen Tod? — Man vgl. dazu unsere Erklärung der Patroklos-Geschichte.

⁴² GRESSMANN: S. 151 Tafel I, Zeile 69 ff.

⁴³ Aruru heisst die Muttergöttin, die Schöpferin der Menschen.

⁴⁴ Wenn SCHADEWALDT (VH WuW 2. Aufl. S. 180, Kapitel «Patroklos») schreibt: «Freundschaft, wie Liebe, besteht in einer Art Austausch des eigenen Selbst: man 'tauscht' die Herzen. So strahlt jene Ausschlösslichkeit, mit der *erst bei Homer* Patroklos der Freund des Achilleus ist, auf Achill zurück, und *um der Tiefe willen, mit der diese Freundschaft den Achill erfüllt, hat Homer Patroklos zu jenem Nur-Freund gemacht*. Die Gestalt des Homerischen Achilleus *gewann damit dem Achilleus der Vorlage gegenüber eine neue Erstreckung in die Tiefe*» usw. — so kann das zwar teilweise in der Tat auf Homer stimmen, aber die Konstruktion — Homers Vergleich mit seiner nur in grossen Umrissen wiederhergestellten «Vorlage» — bleibt dennoch gewagt. War es wirklich Homer, der die Gestalt «Nur-Freund» erfunden hatte? — Auch Enkidu ist schon im Gilgameš-Epos Nur-Freund, wie Patroklos in der Ilias.

masslose Kraft und Mächtigkeit des Gilgameš und beraten sich, wie diese Kraft gebändigt werden könnte. — Auch dieses Motiv hat mindestens seine Spuren in der Achilleus-Sage hinterlassen. Es wurde nämlich erzählt, dass ursprünglich nicht Peleus, sondern Zeus selbst hätte die Meergöttin Thetis freien wollen, aber der höchste Gott änderte seine Absicht, zurückgeschreckt durch eine Wahrsagung. Es wurde nämlich geweissagt, dass der Sohn der Thetis mächtiger werden sollte, als sein eigener Vater, und damit nicht über den Stärksten ein noch Stärkerer komme, hätte Zeus die Thetis dem Peleus zur Frau gegeben⁴⁵. Zum Heile der Welt stellte also Zeus selber schon im voraus Schranken vor die Stärke des erst später zur Welt kommenden Achilleus. — Diese Erzählung scheint wieder eine abgeschwächte Form der mesopotamischen Geschichte zu sein.

Man kann also die Gilgameš-Geschichte als eine der Achilleus-Sage irgendwie verwandte Erzählung auffassen. Ja, man hat manchmal den Eindruck, dass einige Motive der Gilgameš-Erzählung in abgeschwächter Form auch in der griechischen Achilleus-Sage wiederkehren. Es wäre natürlich verkehrt, auf Grund dieser Beobachtungen auch einen historischen Zusammenhang zwischen den beiden Geschichten konstruieren zu wollen, etwa zu behaupten: die Griechen hätten die alte Gilgameš-Sage in der Form der Achilleus-Geschichte sich zu eigen gemacht. Ein solcher Schluss wäre heute, wo wir noch sehr wenig von den ältesten orientalisches-griechischen Beziehungen wissen, voreilig.⁴⁶ Wir haben auch den Vergleich *nicht* mit einer solchen Absicht versucht. Wir wollten nur auf Grund rein formaler und inhaltlicher Kriterien zwei literarische Werke, bzw. zwei Sagen nebeneinanderstellen, in der Hoffnung, dass der Vergleich unserem Homer-Verständnis zugute kommen könnte. Ausserdem war für uns der Vergleich nicht allein darum aufschlussreich, weil gemeinsame Motive in beiden Geschichten vorkamen; noch lehrreicher war jener Unterschied, der auf Schritt und Tritt ins Auge fiel. Der Sinn der Gilgameš-Geschichte ist ja weit entfernt davon derselbe zu sein, wie derjenige der Achilleus-Sage. Die *Tragik* des Gilgameš — wenn man hier diesen Ausdruck überhaupt gebrauchen darf — besteht lediglich darin, dass nur zwei Drittel von ihm Gott, ein Drittel aber Mensch ist. Wohl ist er unüberwindlich und über alle Massen mächtig — über seine Helden-

⁴⁵ Pindar erzählt in Isthmien 8: als Zeus und Poseidon um die Thetis stritten, prophezeite Themis, Thetis werde einen Sohn gebären, der stärker sein werde als sein Vater. Bekanntlich überträgt Aischylos dies Zukunftswissen von der Themis auf Prometheus. — Zum weiteren Schicksal dieses Motivs vgl. man K. REINHARDT: *Tod und Held in Goethes Achilleis* (VWuF S. 333 f.) und ders., *Aischylos als Regisseur und Theologe*, Bern 1949 S. 38.

⁴⁶ Dieser Schluss wäre gewiss voreilig, und wir enthalten uns auch dessen trotz jener nur *scheinbaren* Schwankungen in der Ausdrucksweise, die der Leser wohl schon gemerkt hatte. Aber wird man auch in der Zukunft immer so vorsichtig sein müssen? Man kennt ja Bruchstücke des Gilgameš-Epos auch in *hettitischer* Sprache! Und wie die Historiker die Vermittler-Rolle der Hethiter zur Zeit beurteilen, dazu s. H. BENGTSON: *Griech. Gesch.* München 1950, S. 31.

taten erschrecken auch die Götter selbst —, aber er muss dennoch sterben, weil er nur ein Mensch ist. Und auf den Gedanken des Todes bricht der grösste Held kläglich zusammen. Was nützt alle Macht und Herrlichkeit, wenn man einmal dennoch sterben muss? Der Verlust des geliebten Freundes, Enkidu, muss eben diese Frage in ihm erwecken. Gilgameš hat also, ehe er Enkidu verloren hätte, nie an den Tod gedacht. Erst mit dem Verlust des Freundes hat er die Furcht vor dem Tod kennengelernt, erst dadurch ist für ihn der Tod unmittelbare Realität geworden.

Wir müssen mit Nachdruck betonen: es geht aus der ganzen Handlung des Gilgameš-Epos eindeutig hervor, dass nach der ursprünglichen Auffassung dieses Gedichtes der Held vor dem Verlust seines Freundes nie ernstlich an den Tod dachte. Es ist ihm scheinbar früher nie eingefallen, dass einmal auch er selber sterben könnte. Wäre nämlich Gilgameš der Mann, der seine Heldentaten in bewusster *Todesverachtung* vollbringt, so könnte man seine erschütterte Frage über der Leiche des Freundes gar nicht verstehen: «Werde nicht auch ich wie Enkidu sterben? Werde ich, wie er, mich niederlegen müssen, und nicht aufstehen in alle Ewigkeit?»

Es scheint jedoch, dass der ursprüngliche Kerngedanke der Geschichte mit der Zeit ein wenig verblasste. In einer altbabylonischen Version der Sage spricht nämlich der Held zu seinem Freund Enkidu, ehe er seine grösste Heldentat vollbrachte, folgendermassen

«Wenn ich falle, werde ich fürwahr meinen Namen berühmt machen!
Giš (wird man sagen) ist bei dem gewaltigen Huwawa gefallen!»

Diese Worte⁴⁷ passen gar nicht zu dem Helden, der später auf den Gedanken, dass er einmal ebenso sterben müsste, wie sein Freund, verzweifelt, und der die grössten Mühen (vergeblich!) auf sich nimmt, um das Geheimnis des ewigen Lebens zu erwerben. Im Gegenteil, diese stolzen Worte, dieses Überlegen dessen, wie die Leute später den Heldentod beurteilen mögen, weisen in eine andere Richtung! Wäre der Held Gilgameš von Anfang an eine Sagengestalt gewesen, die den eigenen Tod im voraus so einschätzen kann, so hätten wir überhaupt kein Gilgameš-Epos. Denn ein solcher wird niemals in Todesangst über das Feld rennen, wie Gilgameš es tut.

Wollen wir überhaupt eine Erklärung dafür finden, wie es möglich ist, dass Gilgameš in einem altbabylonischen Fragment so ruhig und überlegen von der Möglichkeit des eigenen Todes sprechen kann, obwohl der wesentlichste Kern der ganzen Dichtung dennoch darin besteht, wie kläglich derselbe Held nach dem Verlust seines Freundes und auf den Gedanken des Todes zusammenbricht, so müssen wir unumgänglich zwei Entwicklungsphasen dieser orientalischen Sage unterscheiden. Nach der ersten, der ursprünglichen Auffassung konnte gar keine Rede von Todesverachtung sein. Der über-

⁴⁷ GRESSMANN: S. 191, Das Gilgamešepos in altbabylonischer Rezension B.

menschliche Held wusste noch gar nichts vom Tode, er vollbrachte seine Heldentaten unbekümmert und leichten Sinnes bis zu jenem erschütternden Erlebnis. Er war Held ohne Todesverachtung, weil er einfach nie an den Tod dachte.

In einer späteren Zeit jedoch, als eben die bewusste Todesverachtung zum Ideal der heroischen Lebensweise erhoben wurde, musste sich auch der Held der alten Sage in diesem Sinne verändern. In dieser neuen Entwicklungsphase sprach schon der Held ruhig und überlegen vom Tode⁴⁸ — ungeachtet dessen, dass er im späteren Verlauf der epischen Darstellung über den Tod des Freundes so erschüttert werden musste, als ob er früher noch gar nie an den Tod gedacht hätte. — Durch diese neue Entwicklung wurde natürlich der Sinn der ganzen alten Sage aufs Schwerste bedroht. Denn Todesverachtung und jene «Tragik», die sich darin ausdrückt, dass auch der grösste Held mindestens «bis zu *einem* Drittel» Mensch ist, und dass er sich über der Leiche des Freundes auf seine Sterblichkeit besinnt, — diese beiden Dinge vertragen sich kaum miteinander. Tröstet man sich nämlich mit dem Ruhm nach dem Tode über den Tod hinweg — wie es Gilgameš in unserem letzten Zitat tut —, so verliert dadurch die Tragik des Sterben-Müssens ihren schweren Ernst. Ja, man wird in diesem Fall den Tod und das Sterben-Müssen überhaupt nicht mehr als «Tragik» empfinden. Im Gegenteil, man wird bald seligpreisen diejenigen, die den Heldentod sterben, weil mindestens diese Art des Todes als die Quelle des ewigen Ruhmes geschätzt wird. In dieser Zeit verliert natürlich bald auch die Gilgameš-Geschichte ihren alten Sinn. Denn was hätte man noch — in der Zeit der heroischen Todesverachtung! — an der Tragik eines solchen Helden, der die Unsterblichkeit, das Geheimnis des ewigen Lebens *vergeblich* sucht? Die heldenhafte Todesverachtung begründet sich ja gerade mit dem festen Glauben daran, dass der «ewige Ruhm», den man um den Heldentod erkaufte, für den Menschen die Unsterblichkeit, das ewige Leben selbst bedeutet. In einer solchen Zeit glaubt man das Geheimnis der Unsterblichkeit, welches Gilgameš vergeblich suchte, gefunden zu haben.

Es scheint also, dass unser letztes Zitat aus der altbabylonischen Version des Gilgameš-Epos eben jene Entwicklungsphase der orientalischen Sage beleuchtet, in welcher die alte Geschichte in eine neue Form hinüberzugehen begann.

⁴⁸ Es ist interessant, wie die ganze vorhin zitierte *altbabylonische* Rezension dem ursprünglichen Sinn der Gilgameš-Geschichte widerspricht. Denn in dieser Rezension ist ja Gilgameš der Held, der sich völlig darüber im klaren ist, wie alles Menschliche eitel und vergänglich ist. Wie er es vor Enkidu entwickelt: «Wer, mein Freund, ist in den Himmel hinaufgestiegen, wohnt als Gott ewig bei Šamaš?» (D. h., da die Lebenszeit kurz ist, und niemand darauf rechnen kann, Gott zu werden, muss man die Zeit ausnutzen, um sich *Ruhm* zu verschaffen — nach der Erklärung von Gressmann.) «Der Menschheit Tage sind gezählt, was sie auch tun, ist Wind! Du jetzt fürchtest den Tod, unkräftig geworden ist deine Heldenkraft. Ich will dir vorangehen, dein Mund rufe! Tritt her, fürchte dich nicht! Wenn ich falle, werde ich fürwahr meinen Namen berühmt machen!» usw.

DIE VERWUNDBARE FERSE

Versucht man nun aus dem Vergleich mit dem Gilgameš-Epos irgendeinen Nutzen für das Homerverständnis zu ziehen, so muss man vor allem die vorhomerische Sage und die Homerische Achilleis scharf unterscheiden. Es ist ja von vornherein zu erwarten, dass wenn die Verwandtschaft der beiden Sagen, der Gilgameš- und der Achilleus-Geschichte wirklich besteht, dann muss auch die vorhomerische Achilleis dem Gilgameš-Epos näher sein, als die Homerische. Die Homerische Darstellung wird kaum in irgendeinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gilgameš-Epos stehen. Die Frage ist nur: wie könnte man sich ein auch nur einigermaßen zuverlässiges Bild von der vorhomerischen Achilleus-Sage entwerfen? Homer ist ja unsere älteste griechische Quelle, und man hat immer den Eindruck, dass der Versuch «Homers Vorlage» wiederzugewinnen, notwendigerweise zu einer mehr oder weniger willkürlichen Konstruktion führen muss. Ist es denn überhaupt möglich über Homer hinaus eine ältere, griechische Vorlage mit Bestimmtheit greifbar zu machen? — Wir glauben, ja! Man muss nur unsere nachhomerische Überlieferung mit Homer selbst vergleichen, und oft hat man «Homers Vorlage» schon in der Hand.

Es wird z. B. in unserer nachhomerischen Überlieferung der Achilleus-Sage oft erwähnt, dass der Erzieher des jungen Helden der Kentaur Cheiron gewesen sei.⁴⁹ Die Ilias scheint jedoch kaum etwas davon zu wissen. Cheiron wird in der Ilias im Zusammenhang mit Achill nur dreimal genannt. Zweimal hören wir von jenem riesigen Speer, den Cheiron einst dem Vater des Achill geschenkt hätte,⁵⁰ und einmal heisst es, dass Cheiron es gewesen sei, der dem Achilleus die Arzneikunde beigebracht hatte.⁵¹ Aber das ist alles, sonst ist Cheiron kein Erzieher des Helden. Diese Rolle übernimmt bei Homer der alte Phoinix. Sind aber deswegen die Erzählungen, die berichten, wie der Kentaur auf dem Berge Pelion den jungen Helden erzogen hatte, wirklich *nachhomerisch*⁵², sind sie nicht eher solche Bestandteile der alten Sage, die Homer bewusst verschwiegen und unterdrückt hatte? Wir glauben, dass man diese Frage mit grosser Wahrscheinlichkeit beantworten kann. In der Tat ist Cheiron als Erzieher des jungen Achill ein solcher Zug der Sage, den Homer kaum benutzen könnte, da er nicht zu seinem Helden passt. Aber

⁴⁹ Paus. III 18, 12; Schol. Ilias 9, 486; Pind. Nem. III 43.

⁵⁰ Ilias 16, 143; 19, 390.

⁵¹ Ilias 11, 832.

⁵² Zu Ilias 9, 486 bemerkt der Scholiast: οὐκ οἶδεν ὁ ποιητὴς παρὰ Χείρωνι αὐτὸν τραφέντα, ἀλλ' οἱ νεώτεροι. Das mag zwar als eine blosse literaturgeschichtliche Angabe richtig sein, aber schon an sich ist es unwahrscheinlich, dass die Erziehung des Helden durch Cheiron auch im Entwicklungsgang der Sage selbst ein später erfundener Zug sei. Denn das würde ja heissen, dass die Geschichte ursprünglich unter rein menschlichen Verhältnissen dargestellt gewesen sei, und dass man erst später auch Fabelzüge hineingedichtet hätte.

gibt es denn nicht Spuren in der Ilias selbst, die verraten, dass Homer stellenweise eben den «Cheiron-Zug» der alten Achilleis humanisierte? — Es werden ja in der nachhomerisch überlieferten Geschichte auch solche Einzelheiten über die Kindheit des Achilleus erwähnt, die der Aufmerksamkeit des Ilias-Lesers keineswegs entgehen können. Es heisst z. B., dass die Nahrung des Jungen bei dem Kentauren Eingeweide von Löwen und Ebern und Mark von Bären gewesen seien.⁵³ Man vergleiche mit diesem Bericht, wie Homer seinen Helden durch Phoinix erziehen liess. Der alte Lehrer erzählt selber darüber in einem Rückblick des 9. Gesanges:

«Dich auch macht' ich zu dem, du göttergleicher Achilleus,
was du bist, im Herzen dich liebend; auch wolltest du nimmer
weder zum Gastmahl gehn mit andern, noch essen zu Hause,
wenn ich nicht vorher auf meine Knie dich setzte,
dir vorschneidend, dich sättigte und den Becher dir darbot.
Oftmals hast du mit Wein das Kleid mir benetzt am Busen,
ihn aussprudelnd wieder in unbehilflicher Kindheit.
Also habe ich viel mich gemüht und viel so erduktet,
deinethalb, bedenkend, wie eigne Kinder die Götter
mir versagt, und wählte, du göttergleicher Achilleus,
dich zum Sohn, mich einst vor traurigem Schicksal zu schirmen.»

(9, 485—495)

Man braucht wirklich nur diese beiden Berichte über die Kindheit und Erziehung des Achill — jenen der nachhomerisch überlieferten Sage und diesen anderen bei Homer — miteinander zu vergleichen, um zu sehen, wie sehr Schadevaldt mit der Behauptung Recht hatte: Homer habe das Heldische in das «Menschliche» aufgehoben. Der Achill der Sage war gewiss ein Held, aber auch in einem *unmenschlichen* Sinne des Wortes.⁵⁴ Er verbrachte seine Kindheit nicht unter Menschen, sondern in den Wäldern des Berges Pelion. Sein Lehrer war das Halbtier Cheiron, und er ernährte das Kind, den späteren schrecklichen Recken, mit einer Nahrung, die zu seinem entsetzlichen Wesen passte. Aber Homer streift diese wilden Züge von seinem Helden bewusst ab. Statt Cheiron wird der Erzieher des Jungen der alte Phoinix, und statt der Schilderung der wilden Ernährung bekommt man ein rührend-menschliches Bild von der unbeholfenen Kindheit des grössten Helden, ein Bild dessen Stimmung auch noch dadurch gesteigert wird, dass es in der späten Erinnerung des alt gewordenen Lehrers gespiegelt wird.

Liest man die Worte der Ilias aufmerksam genug, so entdeckt man auf Schritt und Tritt, wie Homer die unmenschlichen Züge der alten Sage in das Menschliche oder mindestens in das Erträgliche aufhebt. Nehmen wir z. B.

⁵³ Apollodoros III 13, 6; Stat. Ach. II 384 ff.

⁵⁴ Auch W. SCHADEWALDT schreibt (VIHwW 2. Aufl. 350 f.): «Wohl ist die Wildheit des Achilleus nichts frei Erfundenes, und Spuren mögen noch die Züge eines älteren Reckenbildes hinter der Gestalt Homers ahnen lassen.» Vgl. dazu auch seinen Hinweis auf die Dissertation von H. DIETERICH: Vom Wesen und Wandel des Homerischen Helden. Leipzig 1941.

jene grausame Szene der Ilias, als Achilleus Hektor, den Mörder seines Freundes Patroklos tötet. Der tödlich verwundete Feind bittet ihn jetzt um die letzte Gnade: Achill möchte seinen Leichnam nicht vor die Hunde werfen, er sollte lieber das Lösegeld für ihn empfangen und die Leiche in die Stadt zurückschicken, damit sie nach Sitte auf den Scheiterhaufen gelegt werden könne. Aber Achill schlägt in seiner Rachewut auch diese billige Bitte ab:

«Nicht beschwör' mich, Hund, bei meinen Knien und den Eltern,
Dass doch Zorn und Wut mich erbitterte, roh zu verschlingen
dein zerschnittenes Fleisch, für das Unheil, das du mir brachtest!
So sei fern, der die Hunde von deinem Haupt dir verscheuche.
Wenn sie auch zehnmal soviel und zwanzigfältige Sühnung
hergebracht darwögen, und mehreres noch mir verhiessen!
Ja, wenn dich selber mit Gold auch aufzuwägen geböte
Priamos, Dardanos' Sohn, auch so nicht bettet die Mutter
dich auf das Leichenbett, und beklagt dich, den sie geboren
sondern Hunde und Vögel sollen dich gänzlich zerreißen!»

(22, 345—354)

Nun wird man kaum leugnen können, dass diese Szene in ihrer Grausamkeit erschütternd ist. Aber wie hat Homer sie dennoch gemässigt! Erstens dadurch, dass Achill in seiner Rachewut doch nicht versäumt an das «Unheil» zu erinnern, das für ihn Hektor gestiftet hatte. Hektor war ja der Mörder des geliebten Freundes, Patroklos. Man soll also fühlen, dass hinter der unbittlichen Grausamkeit dem Feind gegenüber die verzweifelte Trauer um den Freund steht. Zweitens deutet aber diese Szene auch voraus, auf das versöhnliche Ende der Ilias. «Nicht beschwöre mich, Hund, bei meinen Knien und den *Eltern!*» — antwortet jetzt Achilleus dem Sterbenden. Aber wie anders wird es im 24. Gesang, als ihm Priamos die Knie umschlingt und sagt:

«Deines Vaters gedenk, o göttergleicher Achilleus,
Sein, der bejahrt ist wie ich, an der traurigen Schwelle des Alters!»

(24, 486—487)

Dieselbe Geste und beinahe dieselben Worte, die jetzt ihr Ziel verfehlten, werden dann ins Herz treffen:

Sprachs, und erregte in jenem schmerzlichen Gram um den Vater;
sanft bei der Hand ihn fassend drängt' er den Alten zurücke.
Beide nun eingedenk: der Greis des tapferen Hektors,
weinete laut, vor den Füßen des Pelionien sich windend;
aber Achilleus weint' um den Vater jetzo, und wieder
um den Freund; es scholl von Jammertönen die Wohnung.

(24, 507—512)

Die beiden Szenen, Achilleus, als er die Bitte des sterbenden Hektor grausam abschlägt, und die andere später, sein gerührtes Weinen während der alte Priamos vor ihm kniet, gehören zusammen. Eben durch diese abichtlich betonte Zusammengehörigkeit — dass man nämlich beide Male versucht ihn an seine *Eltern* zu erinnern! — bekommt auch seine Grausamkeit einen *menschlichen* Hintergrund.

Wir glauben jedoch, dass die «Homerische Abschwächung» der ursprünglichen Grausamkeit der Sagengestalt auch noch weit darüber hinausgeht. Man beachte nämlich die Worte:

«Dass doch Zorn und Wut mich erbitterte, roh zu verschlingen
dein zerschnittenes Fleisch . . .»

(22, 346—347)

Es kann natürlich gar kein Zweifel darüber bestehen, was diese Worte bei Homer heissen. Sie sind Ausdruck der aller-masslosesten Übertreibung. So etwas kann man nur in wahnsinniger Wut *sagen*. Ebenso schildert auch der Gott Zeus den erbitterten Hass der Göttin Hera gegen die Stadt Troia mit einer ähnlichen Übertreibung.⁵⁵ Man wird diese Ausdrücke natürlich nicht missverstehen. Homers Götter und Menschen sind ja keine Kannibalen. Aber waren dieselben Helden auch in der alten Sage schon ebenso menschlich? Waren die wütenden Worte des Achill auch ursprünglich *nur* eine Übertreibung? Wir wissen ja, wie sich nach der Sage Tydeus, der Vater des Homerischen Diomedes an seinem getöteten Feind rächte: er schlürfte das Gehirn aus seinem abgeschlagenen Kopf.⁵⁶ Und warum wäre der Zögling des Kentauren in seiner Wut zurückhaltender gewesen?

Homer vermenschlicht also die allzu wilden Züge der alten Sage. Sein Held ist ein Mensch und auch die grossen Taten dieses Helden werden in einer rein menschlichen Umgebung vollbracht. Achilleus kämpft ja nicht gegen Fabelwesen und Ungeheuer des Märchens, sondern gegen die Troer. Auch das ist schon ein grosser Unterschied gegen den orientalischen Helden Gilgameš, der mit seinem Freund den Himmelsstier bezwingt, das Ungetüm des Zedernwaldes, Humbaba tötet, und mit Skorpionenmenschen zu verhandeln hat. Gewiss bleibt Achill auch in der Ilias noch der «Städte-Zerstörer», der schon «zwölf bevölkerte Städte mit Schiffen verwüstete, und elf andere zu Fuss umher in der scholligen Troia»,⁵⁷ aber die Märchenzüge der Achilleischen Taten werden beinahe völlig unterdrückt. Kaum einmal hört man in der Ilias etwas über diesen Helden, was eher an das Märchen als an die nüchterne Realität erinnert. Als nämlich einmal Achill unbewaffnet bei dem Graben des griechischen Lagers erscheint, zur Hilfe seiner Kameraden, die den Leichnam des Patroklos vor den Troern retten möchten, erdröhnt sein Schlacht-

⁵⁵ «Grausame, was hat Priamos doch und Priamos' Söhne
dir so Böses getan, dass sonder Rast du begehrst
Ilios auszutilgen, die Stadt voll prangender Häuser?
*Könntest du doch, einziehend durch Tor und türmende Mauern,
roh ihn verschlingen Priamos selbst und Priamos' Söhne,
samt den Troern umher; dann würde dein Zorn dir gesättigt!*»

(4, 31—36)

⁵⁶ Apollodoros III 6, 8.

⁵⁷ Ilias 9, 328—329.

geschrei, und dann wird die Wirkung dieses entsetzlichen Rufes schon in den Farben des Märchens geschildert :

Dreimal schrie vom Graben mit Macht der edle Achilleus ;
dreimal zerstob der Troer Gewirr und der Bundesgenossen.
Dort nun starben, vertilgt durch eigene Wagen und Lanzen,
zwölf der tapfersten Helden im Volk.

(18, 228 – 231)

Der dreimal wiederholte Schlachtruf von ihm genügt, um zwölf Helden des feindlichen Heeres das Leben zu nehmen. Das ist beinahe der einzige Märchenzug der Achilleus-Gestalt, den auch die Homerische Darstellung noch ertragen kann.

Aber wie könnte man in diesem Fall Homers Achilleus mit Gilgameš überhaupt vergleichen? Wir haben ja schon im voraus betont, dass die Tragik des Homerischen Achill nicht dieselbe ist, wie diejenige des Gilgameš. In welchem Sinne ist denn der Homerische Achilleus eine tragische Gestalt? — Es lohnt sich, ehe wir selber versuchten, diese Frage zu beantworten, in einem kurzen Überblick zusammenzufassen, wie zuletzt Schadewaldt dies selbe Problem behandelte.⁵⁸

Er kam nämlich, indem er die Ilias mit der Memnonis verglich, zu dem bemerkenswerten Schlusse, dass Achilleus eigentlich infolge jener «*Zorn-Geschichte*» zu einer tragischen Gestalt wurde, die Homer entweder selbständig erfand oder dazu anderweitig angeregt war. Ohne diese Zorn-Geschichte könnte Achilleus in der Ilias gar nicht tragisch handeln. Denn der Freund, Antilochos, wurde in der alten Memnonis dem Achill genommen, weil er — Antilochos — sich in der Schlacht für seinen gefährdeten Vater, Nestor, opferte. Der Geschehenszusammenhang verlief also unabhängig vom Tun und Lassen des Achilleus, und er traf ihn unerwartet von aussen her als ein anderweitig herbedingtes Schicksal. «Homer hat es dagegen so gemacht, dass die Ereigniskette, welche schliesslich zum Tod des Patroklos hinführt, von Achilleus selber herkommt und also *hier der Freund letztlich dem Freunde selbst zum Opfer fällt.*» Die Memnonis soll nämlich einen Achilleus-Zorn nur in der Form des «*Rache-Zorns*» gekannt haben. Dieser Rachezorn trieb den Helden gegen Memnon, den Mörder des Antilochos, liess ihn nach dessen Fall unter den Troern morden und riss ihn zum Angriff gegen Troia fort, wo er dann fiel. Auch bei Homer beherrscht noch ein ähnlicher Rachezorn das letzte Iliasdrittel. Aber bedeutender ist bei Homer der andere, der «*Zorn der verletzten Ehre*». Erregt durch jene Ehrenkränkung, die Agamemnon dem Achilleus antut, führt dieser Zorn zur Kampfabgabe des Achilleus sowie zur Bitte an den höchsten Gott, dass er dem Achilleus die Genugtuung gewähre, dass die Achaier schwer geschlagen werden (Buch 1). Dann wirkt er in der Weise

⁵⁸ Vgl. zum folgenden SCHADEWALDT : VHWuW 2. Aufl. S. 181 ff.

fort, dass Achilleus im gleichen Schritt, wie draussen die Not der Achaier wächst, den Zorn zwar nicht so bald fahren lässt, doch stufenweise nachgibt. Zum Schluss schickt er Patroklos, als dieser weinend in ihn dringt, an seiner Stelle hinaus, um dem bedrängten Heere Luft zu schaffen (Buch 16). Der Tod des Patroklos ist also die nicht vorausgesehene Frucht des Handelns des Achilleus selbst. Der Zorn des Achilleus schafft die Verhältnisse, unter denen Patroklos zu Grunde geht, einmal allgemein: der Zorn ruft die Not des Heers herauf, dann im besonderen: er bewirkt, dass Achilleus, wenn er in der grössten Not nachgibt, tragisch genug, es doch nur halb tun kann, weil er des Zorns auch jetzt nicht völlig Herr wird. «Man sieht, was durch diese Zurückführung des Freundestods auf den Zorn erreicht ist» — setzt Schadewaldt seine Erörterungen fort. «Nicht nur, dass der Schmerz des Achilleus um den Freund nun *mehr* als ein Schmerz um den Freund ist, weil sich in ihn der Wurm des Vorwurfs mischt — er verwünscht Streit und Zorn und klagt, dass 'er den Freund vernichtet' habe.⁵⁹ Jener Achilleus, der in der Memnonis, den sicheren Tod vor Augen, zur Rache auszog, weil der Freund ihm infolge der Sohnestreue getötet wurde, handelte gross im Sinn des heldischen Ehrenkodex. Der neue Achilleus Homers, der das gleiche tut, weil ihm der Freund im Verfolg des eigenen Zürnens den Tod erleiden musste, handelt *tragisch*.» — Dann wird es noch betont, dass der Zorn «der gegebene *Vektor des Tragischen*» sei. Unter Zorn wird natürlich auch diesmal nicht die Rachewut verstanden, die blind, dumpf und taub ist, sondern «jener hell brennende Zorn der verletzten Ehre, der mit dem Hochsinn einer grossen Seele gepaart, als grosser Trieb der Leidenschaft nur zu leicht dem Zuviel anheimfällt». — Soweit Schadewaldt.

Man wird im folgenden sehen, dass diese Interpretation im Grunde richtig ist. Schadewaldt hat zwar seine Erkenntnis nicht ganz und gar ausgebeutet — ja man hat beinahe den Eindruck, als ob er sich auch nicht völlig im klaren darüber gewesen wäre, wie weitgehend er eigentlich Recht hatte —, aber was den Homerischen Achilleus betrifft, war er ohne Zweifel auf der richtigen Spur. — Wir wollen jedoch zunächst die folgenden zwei Fragen genauer prüfen: Ob jene Tragik der Homerischen Achilleus-Gestalt, die Schadewaldt in dem bekannten Sinne schilderte, doch nicht irgendwie durch die vorhomerische Sage selbst vorbereitet war? Und was eigentlich diese Tragik mit der völlig anders gemeinten «Tragik» des Gilgamesch zu tun hat?

Wie schon oben gesagt, ist die «Tragik» des Gilgamesch die Sterblichkeit selbst, sein «menschliches Drittel». (Der Verlust des Freundes kann also in diesem Fall nur in dem Sinne «tragisch» genannt werden, dass sich der Held eben infolge dieses Ereignisses auf das Sterben-Müssen besinnen muss.) An

⁵⁹ Vgl. Ilias 18, 107; 82.

diese Art «Tragik» in primitiv-einfachem Sinne des Wortes erinnert in der Achilleus-Sage die «verwundbare Ferse». Aber die Homerische Achilleus-Geschichte scheint dieses Motiv gar nicht zu kennen. Der Achilleus der Ilias ist durch und durch Mensch, und als solcher selbstverständlich verwundbar.⁶⁰ Wäre nämlich Achilleus *unverwundbar*, so könnte er auch kein Held im Homerischen Sinne des Wortes sein. Denn derjenige, der unverwundbar ist, kann auch sein Leben nicht aufs Spiel setzen, und für Homer gibt es kein Heldentum ohne Gefahr. Die «Tragik» des Gilgameš fällt also für Homer von selbst weg, da sein Held ein Mensch ist, der seine Sterblichkeit natürlich nie vergisst.

Aber man kann dennoch selbst in der Homerischen Achilleus-Gestalt mindestens die Spuren auch jener primitiven «Tragik» — allerdings in einer weiterentwickelten Form — wiederentdecken, die einst der Kerngedanke des Gilgameš-Epos war. Denn es heisst in der Ilias über Achilleus, dass er eine *freie Wahl* hatte; er habe für sich entweder den ewigen Ruhm und kurze Lebensdauer, oder das lange Leben ohne Ruhm wählen können.⁶¹ Die Möglichkeit einer solchen Wahl ist natürlich schon an sich «tragisch», denn man kann in diesem Fall nicht ohne einen schmerzlichen Verzicht wählen. Wie man sich auch entscheidet, gerät man in Konflikt mit sich selbst, denn von Natur aus bejaht der Mensch sowohl das Leben, wie auch den Ruhm. Eine solche Wahl kann also nur das Ergebnis einer «tragischen» Selbstüberwindung sein.

Interessant ist für uns dieser «tragische Zug» der Achilleus-Sage unter zwei Gesichtspunkten. Erstens darum, weil man daran sieht, wie sich mit der Zeit die «Tragik» der Gilgameš-Geschichte weiterentwickelte. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass die Gilgameš-Geschichte ihren alten Sinn in derjenigen Zeit langsam verlieren musste, als die bewusste Todesverachtung zum Ideal der heroischen Lebensweise erhoben wurde. Man konnte in dieser Zeit kaum mehr Interesse an einem Helden haben, der das ewige Leben *vergeblich* suchte. Nun sieht man jetzt an dem Beispiel des Achilleus, wie in dieser Zeit die alte «Tragik» einen neuen Sinn bekam. «Tragisch» wurde diesmal statt des Sterben-Müssens — schon in einem höheren Sinne des Wortes «tragisch» — die freie Wahl zwischen dem ewigen Ruhm auf Kosten des frühen Todes einerseits, und dem langen Leben ohne Ruhm andererseits.

Zweitens versteht man aber aus der «freien Wahl» des Achilleus auch das noch, warum diese Sagengestalt zu einem Ideal des heroischen Zeitalters werden konnte. Die Helden der heroischen Zeit setzten ja in ihren ewigen Kämpfen immer wieder das Leben aufs Spiel, und sie konnten sich über den frühen Tod nur mit dem «ewigen Ruhm» hinwegtrösten. Deswegen wurde ihr Ideal der Held, der sich «tragisch» für den ewigen Ruhm entschied.

⁶⁰ Vgl. Ilias 21, 166 f.

⁶¹ Ilias 9, 410 ff.

Man sieht also, dass die Gestalt des Achilleus in gewissem Sinne schon in der vorhomerischen Sage *tragisch* war. Aber man kann auch noch darüber hinaus nachweisen, dass selbst jene Tragik des Homerischen Achilleus, die Schadewaldt im grossen und ganzen treffend schilderte, in der anders gemeinten «Tragik» der Sagengestalt wurzelt. Man muss nur das Sagenmotiv der «verwundbaren Ferse» genauer ins Auge fassen.

Der Achilleus der Sage war an seinem Körper unverwundbar, weil seine Mutter Thetis ihn in das Wasser der Styx getaucht hatte. Aber er besass dennoch eine verwundbare Stelle, nämlich die Ferse, wo ihn das Wasser der Styx nicht benetzt hatte. Und gerade dort, an der Ferse traf ihn später der todbringende Pfeil. Die verwundbare Ferse ist also schuld an dem Untergang des grössten, unbesiegbaren Helden. — Homer scheint weder von der Unverwundbarkeit noch von einer solchen heiklen Stelle am Körper seines Helden etwas zu wissen. Aber besitzt nicht auch der Homerische Achilleus eine ähnliche «verwundbare Stelle» wenn nicht an seinem Körper, so vielleicht in seinem innersten Wesen? — In einem bedeutenden Augenblick, als nämlich die Gesandtschaft des Königs Agamemnon den Zürnenden zu versöhnen versucht, redet zu ihm Odysseus folgendermassen:

«Ach mein Freund, wie sehr ermahnte dich Peleus, der Vater
jenes Tags, da aus Phthia zu Atreus' Sohn er dich sandte:
'Lieber Sohn, es werden dir Kraft Athenaia und Here
geben, wenn's ihnen gefällt, *nur bändige du in dem Busen
dein stolzmutiges Herz, denn freundlicher Sinn ist besser.
Meide den bösen Zank, den verderblichen, dass dich noch höher
ehre das Volk der Argeier, die Jünglinge so wie Greise.*'
Also mahnte der Greis; du vergasest es.»

(9, 252—259)

Warum liess wohl Homer den alten Peleus in dem Augenblick des Abschieds gerade *diese* Mahnung an seinen Sohn richten? Wollte er dadurch nicht eben den Gedanken zum Ausdruck bringen: auch der Vater wusste schon, wo die *Schwäche*, die «verwundbare Stelle» des unübertrefflichen Helden steckt? Nicht seine Stärke und nicht sein Mut war die grösste Sorge des Vaters, sondern sein *unbändiges Wesen*, wodurch alles aufs Spiel gesetzt werden konnte. — Ja gewiss, Homer muss das Sagenmotiv der «verwundbaren Ferse» gekannt haben, er hat ja eben dieses Motiv auf eine unvergleichlich höhere Stufe gehoben und dadurch die erste, im wahrsten Sinne des Wortes *tragische Gestalt* der europäischen Dichtung erschafft.⁶² Im alten Sagenmotiv steckte nur die ironische Frage: was nützt die Unverwundbarkeit des ganzen Körpers, wenn *eine* Stelle dennoch verwundbar ist?^{62a} Das Unheil wird eben

⁶² Ich möchte an dieser Stelle mit besonderem Nachdruck auf K. REINHARDTS Aufsatz, «Tod und Held in Goethes Achilleis» VWuF S. 311 ff. und besonders S. 331—332 hinweisen.

^{62a} Was nützt es zu zwei Drittel Gott zu sein, wenn man «zu einem Drittel» doch nur Mensch ist? — konnten wir dieselbe Frage in der Interpretation der Gilgameš-Geschichte stellen.

diese schwache Stelle einmal doch auffinden. In der neuen, Homerischen Formulierung desselben Motivs steckt die andere, noch ironischere Frage: was nützt auch der grösste Heldenmut und Stärke gepaart mit einer solchen Schwäche? Achilleus ist ja der grösste Hört der Griechen im Kampfe,⁶³ und doch heisst es über seinen Zorn, dass er «viel tapfere Seelen der Heldenöhne zum Äis sendete, aber sie selbst zum Raub darstellte den Hunden und dem Gefögél umher».⁶⁴ Die neue, die Homerische «Schwäche» des Helden ist nicht mehr nur für ihn selbst eine Gefahr, wie die «verwundbare Ferse» in der alten Sage, sondern diese andere «Schwäche» wird selbst auf die Umgebung des Helden beinahe zu einer Katastrophe. Das alte, unterdrückte Motiv wird bei Homer in seiner neuen Form noch weitaus bedeutender als es früher war, es wird zu einem wahren *tragischen Motiv*, welches den Helden in einen erschütternden Konflikt mit sich selbst führt. Gewiss hat Schadewaldt Recht, wenn er betont, dass der Zorn des Achilleus — der Ausdruck seines unbändigen Wesens — der «Vektor des Tragischen» sei, aber der durch ihn hervorgerufene tragische Konflikt wird in der Ilias eigentlich noch viel ausführlicher und tiefgreifender geschildert, als man es sich auf Grund von Schadewaldts Interpretation denken würde. Versuchen wir im folgenden eben diesen tragischen Konflikt des Homerischen Achilleus näher zu besehen.

DER TRAGISCHE KONFLIKT

Homers Achilleus ist nicht nur deswegen Ideal des heroischen Adels, weil er sich für den ewigen Ruhm selbst auf Kosten des frühen Todes entschied, auch in seinem bedingungslosen Ehrgefühl ist er das Muster seines Adels. Selbstverständlich hatte dieser Achilleus Recht — nach dem Fühlen des Dichters und seiner zeitgenössischen Hörerschaft —, als er sich im 1. Gesang der Ilias über jene Ehrenkränkung, die ihm der König Agamemnon antat, tief empörte. Agamemnon verletzte grob den Ehrenkodex dieser Gesellschaft, als er dem Achilleus drohte, das einmal schon ihm zugeteilte Beutestück wieder zurückzunehmen. Damit setzte er sich darüber, was recht und billig ist, willkürlich hinweg. Aber möge die Empörung des Achilleus auch noch so sehr berechtigt sein, so führt dennoch sein massloser Zorn auch zu einem Konflikt mit sich selbst. Es ist einfach erstaunlich, wie meisterhaft Homer die Entfaltung dieses inneren Konfliktes darstellte. Denn es handelt sich ja gar nicht darum, als ob der Konflikt während des lange-anhaltenden und hartnäckigen Zürnens allmählich in Achilleus entstünde. Nein, im Gegenteil, der innere Zwiespalt des Helden ist in seiner vollen Kraft schon im 1. Gesang der Ilias da! Man höre nur, wie er in seiner Wut dem Agamemnon droht:

⁶³ Vgl. Ilias 1, 283: ὁς μέγα πάντων ἔρως Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο.

⁶⁴ Ilias 1, 3 ff.

«Wahrlich, vermisst wird Achilleus hinfort von den Söhnen Achaias allzumal; dann suchst du umsonst, wie sehr du dich härmest, Rettung, wenn sie in Scharen, vom münnermordenden Hektor niedergestürzt, hinsterven; und tief in der Seele zernagt dich zürnender Gram, dass der Danaer besten nichts du gehret!»
(Ilias, 1, 240–244)⁶⁵

Er rechnet also auf die Niederlage seiner Kampfgenossen, auf den Massentod der Kameraden, um seine verletzte Ehre an Agamemnon rächen zu können. Derselbe Wunsch von ihm wird auch in seinem Gespräch mit Thetis ebenso rücksichtslos wiederholt.⁶⁶ Aber ist es noch derselbe Achilleus, den Nestor rühmt, dass er «der grosse Hort der Griechen im Kampfe sei»?⁶⁷ Ist er auch noch in dieser Haltung *das Ideal des heroischen Menschen*? Am Anfang desselben 1. Gesanges hat er noch nicht zusehen können, wie die Pest im griechischen Lager tobte. Er liess die Volksversammlung zusammenrufen,⁶⁸ damit man versuche das Unheil irgendwie abzuwehren. Und die Pest war doch nicht seine Schuld, der König Agamemnon hat sie leichtsinnig heraufbeschworen. Aber Achilleus konnte dennoch nicht gleichgültig bleiben, er fühlte sich so sehr mit den Kameraden und mit der gemeinsamen Sache einig, dass er aus eigener Initiative zu handeln begann. Und jetzt, im Zwist mit Agamemnon wünscht er dennoch, dass dieselben Kameraden massenhaft von Hektors Hand sterben möchten. — Kein Zweifel, dieser Achilleus hat sein Wesen *verleugnet*, er ist schon das Gegenteil dessen geworden, was er vor dem Zorne war.

Aber noch weiter vertieft sich derselbe Konflikt des Achilleus im 9. Gesang der Ilias, als die Gesandtschaft des Königs Agamemnon ihn aufsucht um das Versöhnen des Zürnenden zu versuchen.⁶⁹ Agamemnon hat schon

⁶⁵ Die Vossische Übersetzung ist nicht ausdrucksvoll genug. Zum Vergleich stehe hier auch das Original:

ἢ ποτ' Ἀχιλλῆος ποθὴ ἴξεται νῆας Ἀχαιῶν
σάμπαντας· τότε δ' οὐ τι δυνήσεται ἀχνύμενός περ
χρυσισμεῖν, εὖτ' ἂν πολλοὶ ὕψ' Ἐκτορος ἀνδροφόνοιο
θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ' ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις
χρῶμενος, ὃ τ' ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισας

(1, 240–244)

⁶⁶ Vgl. Ilias 1, 407 ff.

⁶⁷ Ilias 1, 283 f.

⁶⁸ Vgl. Ilias 1, 54 ff.

⁶⁹ SCHADEWALDT schreibt in diesem Zusammenhang, dass der Zorn des Achilleus «stufenweise nachgab». «Er will zunächst warten, bis Hektor an seinem eigenen Schiff steht (Buch 9), und schickt dann, als die Not am grössten ist, und auch Patroklos weinend in ihn dringt, an seiner Stelle den Freund hinaus, um dem bedrängten Heere Luft zu schaffen (Buch 16).» — Diese Interpretation will mir doch nicht einleuchten! Wieweit hat eigentlich der Zorn des Achilleus «nachgegeben»? Ist der Held dadurch *beinahe* schon wieder dasselbe geworden, was er vor dem Zorne war, oder hat sich sein Konflikt inzwischen nur noch *vertieft*? — Ich bin nämlich des letzteren überzeugt. Von einem «Nachgeben» des Zornes kann weder im 9. Gesang, noch sonst irgendwo in der Ilias — *vor* der Patroklos-Katastrophe die Rede sein. Und auch dann *gibt* der Zorn nicht *nach*, sondern er *schlägt um*. Ich glaube überhaupt nicht, dass die wahren tragischen Leidenschaften *nachgeben* können, sie *schlagen* eher *um*. Und das hat wohl auch Homer gewusst, allerdings spricht seine Achilleus-Gestalt eindeutig dafür.

seinen Fehler eingesehen, und er möchte jetzt die Kränkung wieder gutmachen, er lässt dem Helden reiche Geschenke versprechen, zehn- und zwanzigfache Genugtuung dafür, was er von ihm leiden musste. Aber Achilleus lässt sich nicht besänftigen, weder durch die schmeichelnden Worte und verlockenden Vorschläge noch durch die bedrohliche Lage seiner Kameraden. Es ist beachtenswert, mit welcher Begründung er die Bitte der Gesandten abschlägt :

«weil mir nimmer ein Dank ward,
dass ich unverdrossen mit feindlichen Männern gekämpft!
Gleich ist des Säumigen Los, und sein, der mit Eifer gestritten ;
gleicher Ehre genießt der Feig' und der tapfere Krieger ;
gleich auch stirbt der Träge dahin, und wer vieles getan hat.
Nichts ja frommt es mir selbst, da ich Sorg' und Kummer erduldet,
stets die Seele dem Tod entgegentragend im Streite.»

(9, 316 – 322)

Er, der wie kein anderer um seiner verletzten Ehre willen grollen kann, er behauptet nun : «*gleicher Ehre genießt der Feig' und der tapfere Krieger, gleich auch stirbt der Träge dahin und wer vieles getan hat...*» Ist es noch derselbe Achilleus, der nach der alten Sage sich freiwillig für den frühen Tod entschied — um des ewigen Ruhmes willen? Braucht man denn noch zu betonen, dass die Gedanken, die er jetzt entwickelt, gar nichts mehr mit der heroischen Denkweise zu tun haben? — In der Tat hat Achilleus, der so redet, wie es im letzten Zitat hiess, das Ideal des heroischen Adels, sein eigenes Wesen schon *verleugnet*. Er kann in dieser Form auch nicht mehr das nachahmenswerte Vorbild jener kämpferischen Adelsklasse sein, die sonst ihre besten Eigenschaften gerade in ihm verkörpert sieht. Wie weitgehend der zürnende Achilleus seine eigenen Ideale Lügen straft, geht besonders klar aus jener auffallenden Erörterung hervor, die er über den *Wert des Lebens* vor den erstaunten Gesandten vom Stapel lässt :

«Nichts gilt vor dem Leben mir gleich an Wert, und wären's
Ilios' Schätze, der reichbevölkerten Stadt, die sie einstmals,
sagt man, im Frieden besass, eh' die Söhne Achaias gekommen ;
wären es jene selbst, die die steinerne Schwelle des Schützen
Phoibos Apollon einschliesst dort im felsigen Python.
Leicht erbeutet man doch gemästete Schafe und Rinder,
und gewinnt Tripode und blonde Häupter von Rosse ;
aber des Menschen Geist kehrt niemals, weder erbeutet,
noch erlangt, einmal der Gehege der Zähne entflohen.»

(9, 401 – 409)

Man traut seinen Ohren nicht! Das soll die Art des grössten Helden sein, dieses nüchtern-behutsame Abwägen der Einmaligkeit des menschlichen Lebens, welches für ihn jetzt scheinbar als der höchste Wert zu schätzen ist! Was haben denn diese Gedanken mit der *bewussten Todesverachtung* noch zu tun? Oder sollten wirklich die Homerischen Helden das Leben in dieser Weise hochhalten? Man vergleiche nur mit Achills Erörterung im letzten Zitat jene Worte, die im 12. Gesang der Ilias Sarpedon zu Glaukos sagt :

«Trautester, könnten wir, wenn diesem Kampf wir entflöhen,
immerdar fortblühen, unsterblich und unalternd:
weder ich selbst dann stellte mich unter die vordersten Kämpfer,
noch ermuntert' ich dich zur männerehrenden Feldschlacht.
Aber da tausendfach uns die Keren des Todes umringen,
denen der Sterblichen keiner entflieht, die keiner vermeidet,
lass uns anderen Siegesruhm bringen, oder uns selber!»

(12, 322—328)

Ja gewiss, das ist die echte heroische Denkweise über Leben und Tod, und nicht die Worte des an sich irre gewordenen Achilleus. Derjenige, der das nackte Leben in vollem Ernst so hoch hält, wie er es eben tat, wird sich auch kaum für den ewigen Ruhm entscheiden können — selbst auf Kosten des frühen Todes. — Man wende gegen diese Interpretation nicht ein, dass Achilleus in seinen letzten anstössigen Worten eigentlich *nur* die angebotenen Geschenke des Agamemnon verschmähe, aber dasselbe noch nicht heissen sollte, dass er auch sein wahres Wesen schmähhch verrate. Dass es sich wirklich eben darum handelt: Achilleus ist — mindestens in seinen Worten — des heroischen Wesens selbst *abtrünnig* geworden, geht besonders klar und eindeutig aus jenen Worten hervor, in denen er den Gesandten mitteilt: er würde nicht weiter mit ihnen kämpfen, sondern statt dessen «morgen» heimkehren, weil wie er sagt:

«Meine göttliche Mutter, die silberfüssige Thetis,
sagt', mich führe zum Tod ein zwiefach endendes Schicksal:
wenn ich allhier verharrend die Stadt der Troer umkämpfe,
hin sei die Heimkehr dann, doch blühe mir ewiger Nachruhm.
Aber kehre ich heim zum lieben Lande der Väter,
dann sei verwelkt mein Ruhm, doch weithin reiche des Lebens
Dauer, und nicht frühzeitig ans Ziel des Todes gelang ich.»

(9, 410—415)

Hier in dieser gespannten Situation, als man den Helden eben bittet, nicht weiter zu grollen, sondern statt dessen den bedrängten Kampfgenossen zu helfen, gerade hier, baut der Dichter das alte Motiv der «freien Wahl» in sein Werk hinein. Aber nicht darum, um zu zeigen, dass der Held ohne Schwanken und eindeutig sich für den Ruhm entschied! Nein, im Gegenteil, dieser Achilleus spricht davon, dass er lieber das lange Leben statt des Ruhmes wählen möchte. Homer hat den tragischen Zwiespalt des Helden so weit gesteigert, dass sein Achilleus in dieser Situation schon beinahe das Gegenteil dessen ist, wofür man ihn nach der Sage hielt.

Natürlich wird Achilleus später nicht in demselben Sinne handeln, in welchem er jetzt die Bitte der Gesandten abschlägt. Gewiss, wird er sich im späteren Verlauf der Ereignisse dennoch zu denselben Idealen bekennen, die er jetzt in Worten schmähhch verrät. Und man hat selbstverständlich Recht, wenn man betont, dass jene anstössigen Worte des Helden, die wir oben anführten, nicht völlig ernst zu nehmen sind, sie sind nicht die *wahre* Überzeugung des Achilleus. In der Tat, drückten *nur* diese Worte das wahre Wesen

des Achilleus aus, so wäre er weder ein Held der heroischen Sage, und noch weniger eine tragische Gestalt.

Auch hat Homer keineswegs versäumt zu betonen, dass sein zwiespältig gewordener Achilleus im 9. Gesang der *Ilias unentschlossen schwankt*. Einmal sagt er, dass er nicht weiter unter Troia bleiben will, sondern am nächsten Tage nach Hause fährt;⁷⁰ dasselbe rät er auch den anderen, auch sie sollten Agamemnon im Stich lassen und nach Hause gehen, denn die Belagerung der Stadt habe ja keinen Sinn mehr. Das andere Mal lässt er die Entscheidung darüber, ob er wirklich nach Hause geht, oder auch weiterhin unter Troia bleibt, noch im Schweben.⁷¹ Das dritte Mal spricht er drohend davon, dass er noch einmal kämpfen werde, aber nicht um Agamemnon und sein Volk, sondern um sich selbst und die Myrmidonen zu schützen.

«Denn nicht eher gedenk ich des Kampfs und der Männerermordung,
ehe des waltenden Priamos' Sohn, der göttliche Hektor,
schon die Gezelt und Schiffe der Myrmidonen erreicht hat,
Argos' Volk himmordend, und Glut in den Schiffen entflammt.
Doch wird, hoff' ich, bei meinem Gezelt und dunklen Schiffe
Hektor, wie eifrig er ist, sich wohl enthalten des Kampfes.»

(9, 650 – 655)

Man würde jedoch Homer arg missverstehen, wenn man dächte, dass das Schwanken seines Achilleus im 9. Gesang der *Ilias nur* den Zorn betrifft. Als ob es sich immer noch einzig und allein um den Zorn handelte! Aber der Achilleus des 9. Gesanges ist ja in seinem Zorn hartnäckig entschlossen. Mit keinem Wort verrät er, dass er überhaupt daran dächte, den Bedrängten zu helfen und seinen Zorn jemals fahren zu lassen. Wenn man hier von einem «Nachgeben» des Zornes redet, so deutet man etwas in die *Ilias* hinein, wovon gar nichts im Text steht. Das Schwanken und die Unentschlossenheit betrifft schon viel mehr als den Zorn selbst. Der tragische Zwiespalt ist so weit gediehen, dass der Held sich schon darüber zu entscheiden hat, ob er sich überhaupt noch zu seinen alten Idealen bekennt. Ist es nämlich wirklich so, dass «gleich auch stirbt der Träge dahin, und wer vieles getan hat» (9, 320), ist das nackte, tatenlose Leben der allerhöchste Wert,⁷² und fährt er wirklich am nächsten Tage nach Hause, so hat er sich *gegen* das heroische Ideal entschieden. Sein Schwanken betrifft also schon gerade das, was für den heroischen Menschen das allerwesentlichste ist.

Aber derselbe tragische Zwiespalt drückt sich nicht nur in den Worten sondern auch im Handeln des Helden aus. Um das klar zu verstehen, müssen wir einen sehr wesentlichen Zug der Homerischen Achilleus eingehender interpretieren.

*

⁷⁰ Vgl. *Ilias* 9, 428 – 429.

⁷¹ Vgl. *Ilias* 9, 618 – 619.

⁷² Vgl. *Ilias* 9, 401 – 409.

Im 11. Gesang der Ilias erblickt der immer noch untätige Achill vom Hinterverdeck seines Schiffes den alten Nestor, als er sich auf seinem Wagen mit dem verwundeten Machaon aus dem Kampfe zurückzieht. Aber er soll dessen nicht sicher sein, ob es wirklich Machaon neben Nestor auf dem Wagen war, er habe ihn nicht richtig sehen können. Darum schickt er jetzt seinen Freund Patroklos hinaus, er soll es von Nestor erfahren, wer der Verwundete war.⁷³ — Es lohnt sich nun die Frage zu stellen: warum eigentlich der Dichter diese Machaon-Episode erfand? Ist es denn wirklich so, dass er dadurch die «wiedererwachende Teilnahme des Achill an dem Schicksal seines Volkes»⁷⁴ schildern wollte? — Im Text scheint allerdings kein Wort darauf hinzudeuten. Man hat eher den Eindruck, dass Achilleus *jubelt*; er ist voll von erwartungsvoller Freude:

«Edler Menoitide, meiner Seele Geliebter,
bald wohl nahen, vermut' ich, zu meinen Knien die Achaier,
mich zu bitten, denn Not umdränget sie, nicht zu ertragen!»

(11, 608–610)

Ich vermag in diesen Worten gar keine «wiedererwachende Teilnahme» des Achilleus zu empfinden. Aber es wäre auch verkehrt, irgendeine besondere Bedeutung der Machaon-Episode beimessen zu wollen. Es ist ja auffallend, dass Patroklos zwar den Auftrag seines Freundes erfüllt, er geht zu Nestor und erfährt von ihm, dass der Verwundete in der Tat Machaon war, Achilleus hat also richtig vermutet. Aber dann hören wir kein Wort mehr davon, dass Patroklos, als er zurückkehrte, die Erfüllung des Auftrages seinem Freund gemeldet hätte. Als er im 16. Gesang Achill wieder trifft, sagt er kein Wort von Machaon, und auch Achill fragt ihn darüber nicht mehr, obwohl er ihn doch hinausgeschickt hatte, um Nachricht zu holen. — Hat also der Dichter inzwischen Machaon *vergessen*? Oder was noch schlimmer ist: setzt etwa ein anderer Dichter das Werk seines Vorgängers stümperhaft fort? — Solche Fragen zu stellen, hiesse: die wohlüberlegte Absicht des Dichters zu verkennen. Machaon und das Hinausschicken des Patroklos war ja für ihn nur ein *Anlass*. Er musste Patroklos und Nestor irgendwie zusammenbringen, damit der letztere dem Freund des Achilleus einen Rat geben könne, denn dieser Rat des Nestor ist in seiner Komposition für die ganze weitere Handlung entscheidend: er wird zu der Katastrophe, zu Patroklos Tod führen. Der Dichter versäumt es auch nicht, darauf schon im voraus hinzuweisen. Als er berichtet, dass Achilleus Patroklos ruft, und dass dieser auf den Ruf kommt, bemerkt er sogleich: *«dies war des Wehes Beginn ihm!»*⁷⁵ Mit dem

⁷³ Vgl. Ilias 11, 599 ff.

⁷⁴ Meistens wird die Stelle in den Schulkomentaren in diesem Sinne interpretiert. Z. B. J. U. FAESI—F. R. FRANKE: Homers Iliade, 6. Aufl. Berlin 1879. Einleitung S. 21. — Übernimmt man diese aus der Luft gegriffene Interpretation, so wird man wirklich bald glauben können, dass Achills Zorn in der Tat «stufenweise nachgab».

⁷⁵ Ilias 11, 604.

Hinausschicken des Freundes beginnt die Patroklos-Handlung. Er hat also die «Verwundung des Machaon» und den «Auftrag des Achilleus» nur erfunden, um diese Handlung einzuführen. — Und warum kam er im 16. Gesang, als die Freunde sich wieder trafen, auf den ursprünglichen *Anlass*, auf Machaon nicht wieder zurück? — Weil er kein Pedant war, um sich im Nebensächlichen zu verlieren!

Patroklos kam also zu Nestor, und dieser benutzte die Gelegenheit um wieder einen Versuch anzustellen; vielleicht könnte man es durch die Vermittlung des Patroklos doch erreichen, dass Achilleus in den Kampf zurückkehre. — Selbstverständlich musste dieser erneute Versuch nach der Komposition der Ilias von dem weisen Nestor ausgehen. Kein anderer war so sehr zum Rat-Erteilen berufen, wie er. Er war es auch, der schon im 9. Gesang dem König Agamemnon riet, den Grollenden zu versöhnen, und als der erste Versuch scheiterte, hielt man es für Nestors Missgriff.⁷⁶ Aber Nestor verlangt diesmal nicht nur eine Vermittlung des Patroklos, er hat ausserdem auch noch einen auffallenden Vorschlag, um die Hilfe des Achilleus beinahe zu erzwingen; er sagt nämlich:

«Aber wofern im Herzen ein Götterspruch ihn erschrecket,
und ihm Worte von Zeus die göttliche Mutter gemeldet,
send' er zum wenigsten dich, und der Myrmidonen Geschwader
folge zugleich, ob du etwa ein Licht der Danaer werdest.
Und er gebe dir auch die schönen Waffen zum Kampfe,
ob dich für ihn ansehend, vielleicht vom Kampfe die Troer
abstehn, und sich erholen die kriegerischen Männer Achaias
ihrer Angst; wie kurz auch sei, die Erholung vom Kriege.»

(11, 794 — 801)

Schadewaldt versuchte zuletzt diese Stelle folgendermassen zu erklären: «Wie aus der Luft gegriffen vermutet Nestor im elften Buch der Ilias, Achilleus halte sich vom Kampfe zurück, weil er eine ihm durch seine Mutter überbrachte Weisung des Zeus zu scheuen habe. — Nicht aus der Luft gegriffen. In der Gestalt dieser Vermutung Nestors lebt in der Ilias wahrscheinlich jene mütterliche Warnung der Memnonis fort, die den Achilleus sich dort wirklich im Kampfe zurückhalten liess. Der Dichter brauchte in jener Rede Nestors vorübergehend ein Motiv, das die Behinderung Achills als unausweichlich erscheinen liess.»⁷⁷ — Aber wäre Homer ein Dichter, der die «Motive» seiner Vorlage mit einer solchen Leichtigkeit «vorübergehend» ausleiht, so verdiente er in der Tat mit Recht den Namen des «Flickpoeten». Warum sollte Nestors Vermutung in der Ilias «aus der Luft gegriffen» sein? Etwa nur um nachweisen zu können, dass auch noch dieses Motiv mit der verlorenen Mem-

⁷⁶ Vgl. Ilias 9, 696 ff. Diomedes' Worte sind natürlich nicht so sehr an Agamemnon, als eher an *Nestor* gerichtet. Denn Nestor war es, der ihn zuletzt — zwar taktvoll genug, aber doch — zum Schweigen brachte; vgl. 9, 53 ff. Als nun am Ende des 9. Gesanges Nestors Vorschlag dennoch nicht gelungen ist, geniesst Diomedes seinen Triumph.

⁷⁷ VHWuW 2. Aufl. S. 167.

nonis gemeinsam sei? Ist überhaupt Nestors Vermutung *nur* eine «Vermutung»? Hat nicht früher, im 9. Gesang Achilleus selber etwas gesagt, worauf jetzt Nestors Worte *zurückweisen*? Damals erklärte er ja offen vor den Gesandten:

«Meine göttliche Mutter, die silberfüssige Thetis,
sagt', mich führe zum Tod ein zwiefach endendes Schicksal:
wenn ich allhier verharrend die Stadt der Troer umkämpfe:
hin sei die Heimkehr dann, doch blühe mir ewiger Nachruhm.
Aber kehre ich heim, zum lieben Lande der Väter,
dann sei verwelkt mein Ruhm, doch weithin reiche des Lebens
Dauer, und nicht frühzeitig ans Ziel des Todes gelang ich.»

(9, 410–415)

Damals begründete er eben mit dem Hinweis auf die Mutterworte, auf die Möglichkeit der «freien Wahl» seinen Entschluss, nicht mehr gegen Troia zu kämpfen, sondern bald nach Hause zu kehren. Wenn nun Nestor vermutet, dass Achilleus nicht *nur* wegen seines Zornes dem Kampfe fernbleibt, sondern auch wegen eines Götterspruchs Angst hat, so steht das alles im besten Einklang damit, was früher Achilleus selber gesagt hatte. Um so interessanter ist es, wie nun Achilleus antwortet, als Patroklos vor ihm Nestors Vorschlag wörtlich wiederholt⁷⁸:

«Wehe mir, zeusentsprossner Patrokleus, welcherlei Rede!
Weder ein Schicksalspruch bekümmert mich, den ich wüsste,
noch hat Worte von Zeus mir die göttliche Mutter gemeldet.»

(16, 49–51)

Die zurückgehaltene Erschütterung des am Schwanken ertappten Helden könnte kaum eindrucksvoller als durch dies Aufseufzen und schnelles Leugnen geschildert werden. — Homer ist natürlich kein Regisseur, der die Rolle für den Schauspieler ausführlich erklärt; er gibt auch keine danebenstehenden Hinweise, wie man die Worte seiner Personen zu verstehen habe. Aber der unvoreingenommene und aufmerksame Leser wird dennoch wahrnehmen, dass etwas an jener langen und umständlichen Rede des Achilleus, die gleich auf die zitierten Worte folgt, doch nicht stimmt:

«Aber bitterer Schmerz hat Seele und Geist mir durchdrungen,
wenn den Gleichen an Stand ein Mann zu berauben gedenket,
und sein Geschenk zu entziehen, da nur an Gewalt er vorangeht!
Das ist mir bitterer Schmerz; denn ich trug unendlichen Kummer!
Jene, die mir auskoren zum Ehrengeschenk die Achaier,
und mit der Lanze ich gewann, die türmende Feste zerstörend,

⁷⁸ Patroklos sagt beinahe wörtlich dasselbe zu Achilleus, was vorhin Nestor zu ihm, Patroklos gesagt hatte:

«Aber wofern im Herzen ein Götterspruch dich erschrecket,
und dir Worte von Zeus die göttliche Mutter gemeldet,
sende zum wenigsten mich, und der Myrmidonen Geschwader
folge zugleich, ob ich etwa ein Licht der Danaer werde.
Gib mir auch um die Schultern die Rüstungen, welche du trägest;
ob, für dich mich nehmend, vielleicht vom Kampfe die Troer
abstehn, und sich erholen die kriegerischen Männer Achais
ihrer Angst; wie kurz auch sei die Erholung vom Kriege.»

(16, 36–43)

sie nun rafft aus den Händen der Völkerfürst Agamemnon,
 Atreus' Sohn, als wär' ich ein ungeachteter Fremdling!
*Aber vergangen sei das vergangene! Nimmer ja war auch
 sonder Rast zu zürnen mein Vorsatz;* denn ich beschloss zwar
 eher nicht den Groll zu besänftigen, aber sobald nun
 meinen Schiffen genah das Feldgeschrei und Getümmel.»

(16, 52 – 63)

Wozu diese langen Erklärungen über den Zorn, Schmerz und Kummer, und über die unerträgliche Ehrenkränkung des Agamemnon, wenn er dazwischen bemerkt, dass *nicht sein Vorsatz sei, sonder Rast zu zürnen*? Und auf der anderen Seite: wenn er den Zorn doch fahren lassen will — wie er selber sagt —, warum geht er dann auf den Vorschlag des Patroklos doch ein? Warum schickt er ihn an seiner Stelle hinaus, und warum kehrt er auch selber nicht in den Kampf zurück? — Man wird durch diese Fragen zum Schlusse gedrängt, dass Nestors Vermutung doch nicht aus der Luft gegriffen war. Als Achilleus im 9. Gesang unentschlossen schwankte und über den Wert des Lebens sprach, verriet er, dass es *nicht mehr allein der Zorn ist*, der ihn vom Kampfe zurückhält. Sein innerer Zwiespalt, hervorgerufen durch den Zorn, war schon so weit, dass er mindestens in Worten das heroische Ideal verleugnete. Er berief sich auf den durch Thetis vermittelten «Götterspruch» über den ewigen Ruhm oder langes Leben, und begründete *auch* mit diesem seine Absicht nicht weiter zu kämpfen. Selbstverständlich mussten seine Worte in den Gesandten den Eindruck erwecken, dass er *nicht allein* wegen des Zornes so abweisend ist. Er habe auch um sein Leben Angst, der «Götterspruch» schrecke ihn ab. Sie mussten also neben dem Zorn auch ein «zweites Hindernis» entdecken. Auch der alte Nestor versucht, als er Patroklos beredet, diese *beiden* Hindernisse aus dem Wege zu schaffen. Patroklos möge seinen Freund überreden, dass er den Zorn endlich fahren lasse; wenn aber der «Götterspruch» das Hindernis ist, dann möge Achilleus an seiner Stelle mindestens den Freund hinausschicken. Nestors Rat knüpft sich also unmittelbar an den Faden des 9. Gesanges an. Achilleus ist selber schuld daran, wenn Nestor *vermuten* kann, dass er um sein Leben Angst habe. Und es ist wieder bezeichnend, dass Achilleus im 17. Gesang, als Patroklos ihn zu überreden versucht,⁷⁹ mit seinem ersten Wort jene «Vermutung» leugnet. Nein, nicht der «Götterspruch», sondern der Zorn! — Warum leugnet er so eifrig und nachdrücklich, was er früher doch selber sagte? Ist es nicht so, dass er eigentlich erst jetzt den wahren Sinn seiner eigenen Worte versteht, jetzt, wo nicht er selber sie sagt, sondern aus dem Munde des Patroklos sie vernimmt? Als er im 9. Gesang über den Wert des Lebens sprach und die Weissagung der Thetis erwähnte, klangen ja seine eigenen Worte noch völlig anders. Jetzt versteht er, wie die Kameraden jene Worte sich auslegen mussten: er hat scheinbar

⁷⁹ Ilias 17, 20 – 48.

Angst um sein Leben! Und könnte so etwas Achill, der grösste Held, das Ideal des heroischen Wesens — selbst in seinem inneren Zwiespalt — offen zugeben?⁸⁰ Nein, er muss es verzweifelt leugnen und lieber den Zorn vorhalten, obwohl er in seiner Verlegenheit dennoch verrät: es sei «nicht sein Vorsatz, sonder Rast zu zürnen». Aber durch das blossе Leugnen wird der Zwiespalt nicht überwunden. Er geht auf den Vorschlag dennoch ein und statt sich selber zu rüsten, schickt er den Freund in den Kampf. Wir müssen uns bei dieser Handlungsweise noch ein wenig aufhalten, weil ihr Sinn gar nicht so klar zutage liegt. Was heisst denn eigentlich Nestors Vorschlag?

Nestor erwägt zwei Möglichkeiten: entweder ist es der Zorn, der den Achilleus vom Kampfe immer noch zurückhält, oder der «Götterspruch».⁸¹ Im ersten Fall soll ihn sein Freund, Patroklos besänftigen. Im zweiten Fall, d. h. also wenn Achilleus eigentlich nicht mehr grollt, sondern wegen dem «Götterspruch» nicht in den Kampf zurückkehren möchte, soll ihn sein Freund, Patroklos ersetzen. Natürlich hat dieser zweite Vorschlag nur dann einen Sinn, wenn Achilleus nicht mehr grollt, schon gern helfen möchte, aber es nicht zu tun wagt, da er *Angst um sein Leben* hat. Wenn nämlich Achilleus immer noch zürnt, dann wird er sich auch durch seinen Freund nicht vertreten lassen. Nestor geht also darauf ein, dass Achilleus, wenn er Angst hat, sein Leben hüte, verlangt in diesem Fall nur einen Vertreter des Achilleus im Interesse des bedrängten Heeres.

Ehe wir weiter prüfen, was dieses «Sich-Vertreten-Lassen» für Achilleus selbst bedeutet, müssen wir an dieser Stelle noch eine andere Betrachtung einschalten. Schadewaldt hat in seiner Arbeit den grossen Unterschied der Ilias und der alten Memnonis hervorgehoben. Denn in der Memnonis wurde der Freund Antilochos dem Achill genommen, weil Antilochos sich in der Schlacht für den gefährdeten Vater, Nestor, opferte. Der Geschehenszusammenhang verlief also unabhängig vom Tun und Lassen des Achilleus. Dagegen habe es Homer so gemacht, dass die Ereigniskette, welche schliesslich zum Tode des Patroklos hinführt, vom Achilleus herkommt. Denn in der Ilias schickt Achilleus selber den Freund in den Kampf, und Patroklos kämpft an Achills Stelle, als er von Hektors Hand fällt. — Dieser Vergleich mit der Memnonis ist sehr ansprechend. Und man hat in der Tat den Eindruck, dass Homer manches neue erfinden musste, um die Ereigniskette so führen zu können. In seiner «Vorlage», der Memnonis war ja der Freund, Antilochos, gar nicht der *Vertreter* des Achilleus, wie es in der Ilias später Patroklos wurde. Folglich konnte dort auch nicht von einem solchen *Rat* die Rede sein, wie

⁸⁰ SCHADEWALDTS Worte (VHWuW 2. Aufl. S. 410) — «Die Selbstverständlichkeit, mit der Nestor dem Achilleus Rücksicht auf eine Prophezeiung zutraut, liefert übrigens den Beweis dafür, dass nach den Anschauungen des Epos sogar völlige Kampfhaltung aus solcher Rücksicht dem heldischen Verhalten nicht zuwiderlief» — sowie sein Hinweis auf KRAUS: Wiener Stud. 1948, 18. haben mich nicht überzeugt.

⁸¹ Vgl. Ilias II, 656 — 803.

derjenige Nestors in der Ilias ist. Diese Dinge sind von der Memnonis her gesehen — gesetzt natürlich, dass wir die Szenenfolge der Memnonis *richtig und lückenlos* wiederhergestellt hatten! — Homers eigene Erfindungen in der Ilias. — Aber man wird seiner Sache doch nicht so sicher, wenn man auch noch das Gilgameš-Epos zum Vergleich heranzieht. Nestors Rat, dass Achilleus, wenn er Angst um sein Leben hat, seinen Freund an seiner Stelle hinausschicken möge, scheint in dieser altorientalischen Sage — allerdings in einer anderen Form — schon vorgebildet zu sein. Wir lesen ja :⁸²

[Die Ältesten von Uruk segnen ihn, geben Rat auf die Reise dem Gilgameš :]
 «Vertraue nicht, Gilgameš, auf die Menge deiner Kräfte!
 Deine . . . mögen sich sättigen, deinen Schlag führe sicher!
Wer vorangeht, rettet den Gefährten,
 Wer den Weg kennt, hat stets den Freund geschützt.
Es gehe Enkidu vor dir her,
 Er kennt den Weg zum Zedernwald.
 Er versteht sich auf die Schlacht, er ist unterwiesen im Kampfe.
Enkidu möge den Freund retten, den Gefährten schützen.»

Wohl vertritt im Gilgameš-Epos Enkidu seinen Freund nirgends so, wie in der Ilias Patroklos nach Nestors Rat Achilleus vertreten soll ; aber ist es doch nicht auffallend, worauf Nestor rechnet? Achilleus möge seine Waffen dem Patroklos geben, und wenn dieser in der Rüstung seines Freundes erscheint, würden die Troer wohl denken, dass Achilleus selber in den Kampf zurückgekehrt sei. Patroklos soll also nach Nestors Rat eine Art «Ebenbild des Achilleus» darstellen. Die Freundschaft der beiden Gefährten — wie Schade-waldt sagte : *eine Art Austausch des eigenen Selbst* — soll auch im Herleihen der Waffen zum Ausdruck kommen, und dazu noch mit der Absicht, dass der Feind den *wahren* Achilleus in seinem *Ebenbild* vermute! — Aber schon im Gilgameš-Epos hiess es, dass der Freund Enkidu das «*Ebenbild*» des Gilgameš, das «*gleiche Wesen*» wie er selbst sei. — Man hat also beinahe den Eindruck, als hätte Homer lauter uralte Motive mit neuem Sinn erfüllt.

Aber wir wollen jetzt zu der Frage zurückkehren : was heisst eigentlich Nestors Vorschlag von Achilleus her gesehen? Schickt denn Achilleus den Freund an seiner Stelle in den Kampf wirklich deswegen, weil er Angst um das eigene Leben hat und sich hüten möchte? — Wenn man diese Frage eindeutig in demselben Sinne beantworten könnte, wie sich die Dinge von Nestor her gesehen verhalten, so wäre die Handlungsweise des Achilleus ohne Zweifel ein *Verrat an dem Freund*. Denn es hiesse ja, dass Achilleus um sich zu schonen, lieber den Freund der Gefahr aussetzt. Homer hat jedoch *absichtlich* vermieden, dass Achills «Verrat an dem Freund» so eindeutig zutage trete. Es gibt nämlich auf Grund des Textes selbst gar keine eindeutige Erklärung dafür, warum eigentlich Achilleus Nestors Rat befolgt. Tut er es

⁸² GRESSMANN : S. 157 Tafel 3. A.

deswegen, weil er für sich selbst Angst hat? — Aber er leugnet es ja! Er behauptet gar nichts von einem Götterspruch zu wissen, als hätte er völlig vergessen, was er im 9. Gesang doch selber sagte. — Oder hält ihn immer noch der Zorn zurück, deswegen schickt er an seiner Stelle nur den Freund? — Aber Nestor hat ja seinen Vorschlag gar nicht für einen solchen Fall ausgedacht, und auch Achilleus selber redet so, als wäre sein Zorn schon im Verschwinden.* Der Text ist absichtlich so gehalten, dass darüber *nur vage Vermutungen* möglich seien, warum eigentlich Achilleus die Bitte des Patroklos, d. h. Nestors Vorschlag so willig erfüllt.

«Der Verrat am Freunde» lässt sich von dieser Seite her *nicht* eindeutig nachweisen. Offenbar hat Homer seinen Helden nicht in ein allzu schiefes Licht stellen wollen. Aber er hat dennoch nicht versäumt mit anderen Mitteln eindeutig zum Ausdruck zu bringen, dass es sich im Grunde doch um einen *leisen* «Verrat am Freunde» handelt. Denn mit welchem Zweck schickt ja Achilleus den Patroklos in den Kampf hinaus?

Nestor verlangte die Rückkehr des Achilleus in den Kampf, damit dieser den bedrängten Griechen *Hilfe leiste*. Auch sein Vorschlag lief auf dasselbe hinaus; wenn Patroklos in der Rüstung des Achilleus erschiene, würden vielleicht die überraschten Troer mit dem Kampf — mindestens für eine Zeitlang — aufhören. Auch das wäre schon für die Griechen eine Erleichterung. Ähnlich dachte auch Patroklos; er bat weinend Achilleus um an seiner Stelle *helfen* zu dürfen. Aber hat auch Achilleus den Freund mit *derselben Absicht* in den Kampf geschickt? Wollte er dadurch wirklich die Lage seiner bedrängten Kampfgenossen erleichtern? Allerdings sagt er zu seinem Freund:

«jetzt, Patroklos, das Weh von den Schiffen zu wehren,
stürz in die Troer mit Macht, dass jene nicht in die Schiffe
flammendes Feuer werfen und rauben die liebe Heimkehr.»

(16, 80–82)

Ebenso wiederholt er es später noch einmal:

«Zeusentsprossner Patroklos, erhebe dich, Rossefährer!
Denn ich seh' in den Schiffen die Macht des feindlichen Feuers;
dass sie die Schiffe nicht nehmen, und kein Entfliehen vergönnt wird.
Hüll' in die Waffen dich schnell, und ich selbst versammle die Völker!»

(16, 126–129)

Man könnte also auf Grund dieser Worte leicht den Eindruck haben, dass Achilleus den bedrängten Griechen wirklich *helfen möchte*, darum schicke er Patroklos hinaus. Aber liest man den Text etwas aufmerksamer, so geht daraus ohne jeden Zweifel hervor, dass für Achilleus das Helfen-Wollen in

* Aber hat der Zorn des Achilleus wirklich *nachgegeben*, wie man es etwa auf Grund der Verse 16, 60–61 vermuten könnte? Aber wie soll man in diesem Fall die Verse 16, 97–100 verstehen? Vgl. dazu auch unten die Anm. 83.

diesem Fall eigentlich *nebensächlich* ist. Es kommt ihm nicht darauf an. Er hat etwas anderes vor, als er Patroklos hinauschiekt; das Helfen-Wollen kommt dabei kaum zu Worte. Nur Nestor und Patroklos dachten an das Hilfeleisten, der Held, Achilleus dachte sich dabei etwas anderes. Denn er sagt ja zu dem Freund, als er ihn hinauschiekt :

«Aber vernimm, wie dir das Ziel meiner Rede gebietet,
dass du mir hochherrlichen Ruhm und Ehre gewinnest
vor dem Volk der Achaier, und sie das rosige Mägdlein
wieder zurück mir geben und köstliche Gaben hinzutun . . .»

(16, 83 – 86)

Er schickt also den Freund in den Kampf, damit dieser für ihn «Ruhm und Ehre gewinne». Der um seiner verletzten Ehre willen Grollende kümmert sich eigentlich sehr wenig um die bedrängten Kameraden.⁸³ Seine eigene Person ist für ihn schon so sehr im Vordergrund, dass er dabei alles andere vergisst. An sich selbst denkt er auch dann, als er die schwere Lage der Griechen schildert :

«Eingezwängt, nur wenig des schmalen Raums noch behaupten
Argos' Söhne, und Troias gesamtes Volk auf sie eindringt
trotziglich ; denn nicht schaun sie von meinem Helme die Stirne
nah herstrahlen voll Glanz ! Bald hätten sie fliehend die Graben
angefüllt mit Toten, wenn mir Agamemnon, der Herrscher
Billigkeit hätte gewährt ; nun kämpfen sie rings um das Lager.»

(16, 68 – 73)

Seine eigene Person steht für ihn im Vordergrund selbst dann, wo er scheinbar für Patroklos betet :

⁸³ Wie wenig es dem Achilleus auf die Hilfeleistung ankommt, verraten auch die Verse 97 – 100 :

«Wenn doch, o Vater Zeus, Athenaia und Phoibos Apollon,
auch kein einziger Troer sich rettete aller, die da sind,
auch der Danaer keiner ; und wir nur entflohn der Vertilgung ;
dass wir allein abrissen die heiligen Zinnen von Troia!»

Die Stelle wird im Schulkommentar von FAESI – FRANKE (6. Aufl.) folgendermassen erklärt : «Diese vier in Form und Inhalt gleich wunderlichen Verse, die schon von Zenodotos und Aristarch verworfen werden, sollten wohl den noch immer unbesiegten und unbefriedigten Ehrgeiz des Achilleus anschaulich machen, vermöge dessen er, um den Ruhm des eroberten Troia nur mit Patroklos teilen zu müssen, selbst allen Argeiern den Tod wünscht, ganz anders als unten 246 – 248. Auffällig ist auch die Anrufung desselben Apollon, vor dem als Feind er soeben Patroklos gewarnt hat.» – Demgegenüber möchte ich folgendes bemerken :

1. Dass die Verse 246 – 248 mit dem vorigen Zitat im Widerspruch stünden, ist nur ein Missverständnis. Achilleus wünscht ja in unserem Zitat den Tod der Argeier, d. h. des Volkes von Agamemnon, dagegen wünscht er in den Versen 246 – 248 die Unversehrtheit seiner eigenen Leute, der Myrmidonen.

2. Die Anrufung des Apollon (mit Zeus und Athene zusammen) ist eine oft wiederkehrende epische Formel. Auffällig wird diese Anrufung, nachdem Achilleus den Patroklos vor Apollon soeben gewarnt hatte, nur für Pedanten, die leicht vergessen, dass selbst der einfache Seufzer ständige epische Formel hat.

3. Auch die Autoritäten, Zenodotos und Aristarch, überzeugen mich nicht ; ich finde, dass die athetierten Verse ausgezeichnet in die Situation hineinpassen.

«Weitschauender Zeus, o verleih ihm Siegsruhm!
Fülle sein Herz im Busen mit Mut, damit auch Hektor
lernen mög', *ob mein Waffengenoss für sich allein auch
kämpfen kann, oder dann nur seine unmahbaren Hände
wüten, wann auch ich mitzieh' ins Getümmel des Arcs!*»

(16, 241—245)

Wie sehr die Handlungsweise des Achilleus eigentlich ein «Verrat am Freunde» ist, geht besonders aus den Worten hervor, mit denen er Patroklos warnt: er solle sich nicht allzuweit im Kampfe wagen:

«Wenn du sie triebst von den Schiffen, *kehre zurück!* Auch wenn dir
Ruhm zu gewinnen verleiht der donnernde Gatte der Here;
doch nicht ohne mich selbst verlange dein Herz zu bekämpfen
Troias streitbare Söhne: *es kürzte das mir die Ehre!*»

(16, 87—90)

In seinem masslosen Ehrgeiz ist er selbst auf Patroklos eifersüchtig. Er soll zwar in seinen Waffen und an seiner Stelle kämpfen, für ihn Ehre und Ruhm gewinnen, aber ausserdem müsste er sich auch noch hüten, nicht durch allzu grosse Heldentaten den Ruhm dessen zu schmälern, den er übergangsweise vertritt. Ist das nicht schon ein «Verrat am Freunde», selbst wenn es auch nicht klar ist, ob Achilleus wirklich Angst für sein eigenes Leben hat?

Gewiss hat Schadewaldt Recht, wenn er betont, dass der Tod des Patroklos die *nicht vorausgesehene* Frucht des Handelns von Achilleus ist.⁸⁴ Natürlich hat der Held damit nicht gerechnet, dass er den Freund in den Tod schickt. Er warnte ihn sogar, begrenzte seinen Auftrag und betete für Patroklos zu Zeus. Aber wenn man sich fragt, ob denn Achilleus wirklich im Sinne der heroischen Denkweise handelte, als er an seiner Statt und in seiner eigenen Rüstung den Freund in den Kampf schickte, so muss man diese Frage eindeutig *verneinen*. Nein, es war alles andere eher als heroisch! Denn erstens war für ihn das Schicksal derjenigen, die von ihm die Hilfe erwarteten, im Grunde gleichgültig. Ja, er hat denselben auch im Augenblicke des Helfens noch eher den Tod als die Rettung gewünscht! Er wollte auch mit dem Hinausschicken des Freundes nur für sich selbst Ruhm und Ehre gewinnen. Zweitens: er liess an seiner Statt doch einen anderen, den Freund handeln. Selbst sein Interesse am Schicksal des an seiner Stelle hinausgeschickten Freundes war bei dem Hinausschicken seinem Ehrgeiz untergeordnet. Ja, er war sogar schon im voraus auf den hinausgeschickten Freund eifersüchtig, hauptsächlich deswegen begrenzte er für ihn den Auftrag. — Suchte man selbst nach dem mildesten Ausdruck, welcher die Handlungsweise des Achilleus kennzeichnen könnte, so müsste man sagen: er hat des Freundes, während er ihn in den Kampf schickte, *vergessen*.⁸⁵

⁸⁴ VIIWuW 2. Aufl. S. 182.

⁸⁵ Wir wollen auf dieses *Vergessen* schon an dieser Stelle mit Nachdruck aufmerksam machen. Bald werden wir sehen, wie dasselbe Motiv auch später zurückkehrt.

Also derselbe Achilleus, der im 9. Gesang unentschlossen schwankte und das heroische Ideal verleugnete, handelte damals, als er Patroklos hinaus-schickte, ebenso zwiespältig, wie er früher geredet hatte. Dieser Zwiespalt, die Folge seines unbändigen Wesens, des masslosen Zornes, war seine tragische Schuld, die den Tod des Patroklos, den Verlust des Freundes nach sich ziehen musste. Man kann also die Patroklos-Katastrophe als eine Art «Strafe» für Achilleus auffassen. Es scheint, dass der Verlust des Freundes schon im Gilgameš-Epos irgendwie als die Bestrafung des Gilgameš geschildert wurde. Allerdings liest man in dem einen hettitischen Fragment dieses Werkes,⁸⁶ dass sich die Götter folgendermassen über die beiden Helden beraten :

Da sprach Anu gegen Enlil :
 «Weil diese⁸⁷ den Himmelsstier getötet, den Huwawa
 erschlagen haben, die Berge, die bei der Zeder . . .»
 sprach Anu : «dieser Dinge wegen sollen sie sterben!»
 Enlil sprach : «*Enkidu soll sterben !*
Gišgimmas soll nicht sterben !»

Ja, man hat den Eindruck, als wäre für Gilgameš die grössere Strafe, dass er *nur* den Freund verliert, und nicht auch er mit ihm zusammen stirbt, ebenso wie es auch bei Achill der Fall ist.

Aber wie weit entfernt ist Homer dennoch von jener alten Geschichte, die wir im Gilgameš-Epos kennenlernten! Nicht nur darum, weil bei ihm der Verlust des Freundes den Schlussstein einer wirklich tragischen Ereigniskette bildet, sondern auch noch darum, weil auch Sinn und Folge desselben Verlustes gerade in das Entgegengesetzte umschlugen. Gilgameš besann sich erst beim Verlust des Freundes mit Entsetzen auf den Tod. Sollte er einmal ebenso sterben, wie sein Freund, Enkidu? — Dagegen erwacht im Achill bei Homer eben in dem Augenblick des tragischen Ereignisses jene Todesbereitschaft, die im Verlaufe des zwiespältigen Schwankens schon nahe daran war, sich in eine «Angst um das Leben» zu verwandeln.

DIE KATHARSIS

Schadewaldt versuchte den Sinn der Achilleischen Tragik in den folgenden Worten zusammenzufassen : «Die Gestalt des Achilleus wurde durch Homer aus dem Glanz der Heldengrösse in jenes Zwielficht hineingerückt, das das Zwielficht des Menschlichen ist. Man hat von allem nur den Anfang, doch nicht das Ende in der Hand. Man folgt einem leidenschaftlich reinen Drange, doch Leidenschaft beirrt. Man verstrickt sich selber ins Verhängnis.»⁸⁸

⁸⁶ GRESSMANN : S. 197.

⁸⁷ «Diese» d. h. Gilgameš und Enkidu.

⁸⁸ VIHWuW 2. Aufl. S. 183.

— Denkt man an unsere vorigen Erörterungen, so versteht man erst recht, wie treffend im Grunde diese Interpretation ist. Ihr Mangel besteht vielleicht nur darin, dass sie nicht genügend auch das Homerische Finale der Tragik beachtet. Wohl bemerkt nämlich Schadewaldt einmal nebenbei, dass sich in den Schmerz des Achilleus der Wurm des Vorwurfs mische, dass er Streit und Zorn verwünschte, und klagte, dass dieser den Freund vernichtet habe.⁸⁹ Aber eigentlich handelt es sich um viel mehr, als diese Worte ahnen lassen. Der Verlust des Freundes ist für Achilleus der Augenblick seiner *tragischen Erhellung*. Es öffnen sich ihm plötzlich die Augen, er erkennt sich und stürzt vom Gipfel seines Wahns in den tiefsten Abgrund. Der Ablauf des verspäteten Sich-Besinnens wird ähnlich geschildert, wie in den Tragödien des 5. Jahrhunderts. Nicht nur dass er Streit und Zorn verwünscht — er, der hartnäckig Grollende! —, sondern er sieht auch ein, dass er selber die Schuld an allem trage.

«Stürbe ich doch sogleich, da nicht mir gönnte das Schicksal
meinen erschlagenen Freund zu schützen! Fern von der Heimat
sank er, und mangelte meiner, des Fluchs Abwehrer zu werden.
Nun, da ich nicht heimkehre zum lieben Lande der Väter,
ward ich weder Patroklos ein Retter, noch auch den andern
Freunden im Volk, die so viele dem göttlichen Hektor erlagen,
sondern ich sitz' an den Schiffen, umsonst die Erde belastend,
solch ein Mann, wie keiner der erzumschirmten Achaier,
in der Schlacht . . .» (18, 98—106)

Derjenige, der in seinem Zwiespalt schon nahe daran war, das lange Leben statt des ewigen Ruhmes für sich zu wählen, — da nun das Leben der kostbarste, nie-wieder-erlangende Schatz ist⁹⁰ — möchte jetzt sogleich hinsterben. Aber nicht einmal mehr um des Ruhmes willen, sondern nur um den getöteten Freund zu rächen! Und auch seine Trauer gilt jetzt nicht allein dem Patroklos, sondern allen denjenigen, die während seines langen Zürnens von Hektor ermordet wurden. Die alle waren Opfer seines ehrgeizigen Zornes, ebenso wie auch Patroklos. Im 9. Gesang verkündete er noch die billige, unheroische Weisheit: *«gleicher Ehre genießt der Feig' und der tapfere Krieger, gleich auch stirbt der Träge dahin, und wer vieles getan hat.»*⁹¹ Jetzt muss er sehen, wie erniedrigend diese Weisheit für ihn wurde: *«ich sitze an den Schiffen, umsonst die Erde belastend!»* In diesem tragischen Sich-Besinnen, wo eigentlich nichts mehr gut zu machen ist, verwünscht er auch seine frühere Handlungsweise:

«Möchte der Zank aus Göttern und sterblichen Menschen vertilgt sein,
und der Zorn, der selbst auch den Weiseren pflegt zu erbittern:
der, weit süßer zuerst denn sanfteingleitender Honig,
bald in der Männer Brust aufwächst wie dampfendes Feuer!
So nun erzürnete mich der Herrscher des Volks, Agamemnon.»
(18, 107—111)

⁸⁹ Ebd. mit Hinweis auf Ilias 18, 107; 82.

⁹⁰ Vgl. Ilias 9, 406—409.

⁹¹ Ilias 9, 319—320.

Liest man diese Worte aufmerksam genug, und überlegt man sich das alles, was ihnen voraufging, so entdeckt man in der Homerischen Achilleis beinahe schon die erste Vorläuferin der Sophokleischen *Erkenntnistragödien*.⁹²

Aber Homer hat sich eigentlich auch damit nicht begnügt, dass er die tragische Erleuchtung seines Helden schilderte. Er hat auch noch die *Verwandlung* des Achilleus nach der Katastrophe in ergreifenden Bildern dargestellt. Diese Wandlung drückt sich nicht nur darin aus, dass Achilleus jetzt den Zorn gegen Agamemnon fahren lässt, in den Kampf zurückkehrt, und den Tod des Patroklos rächen will, obwohl er weiss, dass nach Hektors Tod bald auch er selber sterben muss. Die Wandlung, die wir meinen, geht auch noch darüber weit hinaus. Man versteht es aus den folgenden Einzelinterpretationen.

*

Als Achilleus den Hektor getötet hatte, wollte er sogleich einen Anschlag auf Troia versuchen ; wie er zu den Kameraden sagte :

«Freunde, Helden des Danaerstammes, o Genossen des Ares,
jetzo, da diesen Mann mir die Götter verliehn zu bezähmen,
der viel Böses getan, weit mehr denn die anderen alle ;
auf, nun lasst uns die Stadt mit den Waffen rings versuchen,
bis wir ein wenig erkannt den Sinn, den die Troer bewahren :
ob sie vielleicht uns räumen die Burg, weil dieser dahinsank,
oder zu stehn sich erkühnen, wiewohl nun Hektor geschieden.»

(22, 378 – 384)

So redet der Held, doch da kommt ihm der Gedanke an den noch unbestattet liegenden Patroklos dazwischen : «...aber was redet mein Herz mir da für Dinge». Er wirft das Steuer herum und befiehlt die Rückkehr ins Lager, womit der für den Rest der Ilias entscheidende Kurs auf die Bestattung des Patroklos, die Leichenspiele und die schliessliche Versöhnung eingeschlagen ist.

Diese Ilias-Szene hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Szene der verlorenen Memnonis. Wie nämlich Proklos berichtet, schritt Achilleus in der Memnonis nach seinem Sieg über Memnon alsbald zum Angriff gegen Troia fort. Eben diese Ähnlichkeit veranlasste Schadewaldt zu der folgenden Erklärung :⁹³

«Die auflösende Iliaserklärung hat dort, wo Achilleus sich selbst unterbricht und abbiegt, die Fuge zwischen zwei *Schichten* angesetzt : von hier ab dichte ein anderer Dichter weiter.⁹⁴ Vortrefflich. Nur kein 'Anderer' dichtet

⁹² Vgl. dazu K. REINHARDTS Buch «Sophokles», Frankfurt a. M. 1933. Übrigens vermutet auch Reinhardt schon die Verwandtschaft der späteren tragischen Weltanschauung mit den Ansichten des Epos. In seiner Antigone-Interpretation erinnerte er z. B. im Zusammenhang mit jenem Spiel, welches die Götter mit den Menschen treiben, an das 2. Buch der Ilias, an die *πείρα* des Agamemnon.

⁹³ VHWuW 2. Aufl. S. 169.

⁹⁴ SCHADEWALDT verweist hier auf E. SCHWARTZ : Entstehung der Ilias 1918, S. 27 f. hin.

weiter, sondern Homer verlässt an dieser Stelle den Weg der Memnonis, den er bisher verfolgte. Damit aber jener Angriff gegen Troia als etwas Bevorstehendes sichtbar blieb, behielt er das, was in der Memnonis tatsächlich eintrat, in Gestalt einer Absicht des Achilleus auch weiter bei. Spiegelung von etwas Faktischem ins Seelische.»

Nun lässt sich diese Interpretation, als blosser Vermutung, kaum beanstanden. Es ist in der Tat möglich, dass Schadewaldt vollkommen Recht hat. Und doch veranschaulicht dieser Fall auch die allgemeine Gefahr der Motiv-Vergleichung, dass man nämlich über der Motiv-Gleichheit die sorgfältige Interpretation des Textes selbst vergisst. Denn ist es wirklich so, dass man die fragliche Ilias-Szene *nur* der Tatsache zu verdanken habe, dass Homer bis zu diesem Punkt den Weg der Memnonis verfolgt hätte? Und hat der Dichter in der Tat das, was in der Memnonis tatsächlich eintrat, in Gestalt einer Absicht des Achilleus *nur* darum beibehalten, damit der Angriff gegen Troia als etwas Bevorstehendes sichtbar bliebe? — Interpretiert man den Text sorgfältiger, so wird man diese Fragen *verneinen* müssen. Denn prüfen wir nur: was mag der Sinn der zuletzt zitierten Achilleus-Worte sein? Warum liess wohl der Dichter seinen Helden zuerst zum Angriff gegen Troia mahnen, und dann wieder von diesem Vorschlag gleich auch abbiegen? — Gesetzt nämlich, dass Schadewaldt *Recht hat*, es fragt sich immer noch, ob sich auch der volle Sinn der behandelten Ilias-Stelle wirklich darin erschöpft, was er namhaft machte? — Wir wollen also zunächst zu den Achilleus-Worten folgendes bemerken.

Der Vorschlag des Achilleus ist der *schärfste Kontrast* zu der Handlungsweise der Griechen. Als er nämlich Hektor erlegte

rings die anderen Männer Achajias
liefen herzu und bestaunten den Wuchs und die herrliche Bildung
Hektors; und her trat keiner, *ohne ihn noch zu verwunden*.
Also redete mancher zu seinem Nachbar gewendet:
«Wunder fürwahr! Viel sanfter ist Hektor anzufühlen
jetzt, als da die Schiffe in lodernder Glut er verbrannte!»
Also redete mancher und nahte sich, *ihn zu verwunden*.

(22, 369—375)

Kein Zweifel, Homer kennt wohl das nur allzu-menschliche Gefühl des Triumphes, und er schreckt nicht davor zurück, seine dummen, abstossenden und widerwärtigen Äusserungen zu schildern. So brechen in dem Augenblick des Sieges, als der grosse Feind erlegt ist, die lange unterdrückten Gefühle derjenigen hervor, die bisher dem Feind gegenüber immer ihre Schwäche und Kleinheit fühlen mussten. Aber was tut in diesem Augenblick Achilleus, der eben noch die Bitte des sterbenden Hektor so grausam abschlug? Auch *er* triumphiert etwa, wie die anderen? — Nein, gar nicht! Statt der Worte des Triumphes hört man jetzt seinen Vorschlag: auf, zum Angriff gegen Troia! Und wie bescheiden gedenkt er dabei des eigenen Sieges:

«Jetzo, da diesen Mann mir die Götter verliehn zu bezähmen . . .» Kein Zweifel, das ist wieder derselbe zielbewusste Achilleus, der vor dem Zorne im 1. Gesang die gemeinsame Sache so sehr am Herzen trug.⁹⁵ — Es ist natürlich wohl möglich, dass diese Ilias-Szene auch eine Reminiszenz an Homers Vorlage, an die Memnonis darstellt. Aber mit der «Absicht des Achilleus» schildert der Dichter auch das Wesen seines Helden. Dasselbe gilt in noch höherem Masse auf das Abbiegen des Helden von seinem Vorschlag. Denn hören wir nur, mit welchen Worten Achilleus plötzlich abbiegt!

«Aber warum bewegte das Herz mir solche Gedanken?
Liegt doch tot bei den Schiffen und ohne Bestattung und Klage
unser Freund Patroklos, *den nie ich werde vergessen,*
weil ich mit Lebenden geh', und Kraft in den Knien sich regt!
*Wenn man auch der Toten vergisst in Aïdes Wohnung,*⁹⁶
dennoch werde ich auch dort des trauesten Freundes gedenken!»
(22, 385 – 390)

Achilleus lässt also seinen ersten Vorschlag fallen, da er den toten Freund *nicht vergessen will*. Ja, solange er lebt, wird er Patroklos nie vergessen, und selbst im Tode, wo man gewöhnlich alles vergisst, er wird sich auch dann noch an Patroklos erinnern! — Aber wozu diese langen Verse über «Vergessen» und «Sich-Erinnern»? Fühlt er nicht so, dass sein erster Vorschlag, der geplante Angriff gegen Troia eigentlich ein «Vergessen des toten Freundes» ist? Heisst das plötzliche *Abbiegen* nicht so viel, dass er sich jetzt verzweifelt an Patroklos erinnern will? Und warum ist für ihn das «Vergessen» und das «Sich-Erinnern» ein so ernstes Problem? Nicht etwa darum, weil er den Freund einmal schon tragisch *vergessen* hatte, als er ihn nämlich in den Tod schickte? — Oben, als wir nach einem milderem Ausdruck suchten, der den «Verrat am Freunde» ersetzen könnte, haben wir das Wort «vergessen» benutzt. Aber ist dies Wort wirklich mehr, als die Umschreibung des modernen Homer-Erklärers? Wollte in der Tat auch Homer selber sagen, dass Achilleus seinen Freund *vergessen* hatte, als er ihn in den Kampf schickte? — Ja, gewiss, auch Homer hat wörtlich dasselbe gemeint. Wir haben auch einen greifbaren Beweis dafür, den wir gleich nachholen.

Am Anfang des 18. Gesanges ist Patroklos schon gefallen, aber Achilleus weiss noch nichts bestimmtes, er hat nur eine böse Vorahnung, und dann sagt er :

⁹⁵ Vgl. Ilias 1, 54 ff.

⁹⁶ Im Original heissen die Verse 22, 389 f.: *εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ' εἰν Αἰδαο, αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κείθι φίλον μεμνήσομ' ἑταίρου*. Ich glaube kaum, dass Vossens Übersetzung diesmal das Richtige trifft, und möchte eher der anderen Erklärung folgen, wie es z. B. im Schulkommentar von FAESI – FRANKE (1877) heisst : «*Steigerung* des in τοῦ δ' οὐκ ἐπιλήσομαι ὅφρ' ἂν ἔρωγε ζωοῖσιν μετέω κτε enthaltenen Gedankens : Ja, wenn ein Vergessen der Toten im Hades stattfindet, wenn nach dem eigenen Tod sonst der bloss als Schatten noch fortlebende Mensch der ihm bereits vorangegangenen Lieben gewöhnlich vergisst, *so werde ich auch dort noch des Patroklos gedenken.*» Für diese Erklärung des Textes spricht auch die Gesamtinterpretation. Vgl. oben die Gedankenführung dieser Arbeit.

«Wehe mir doch! Was fliehen die hauptumloekten Achaier
wieder mit Angst zu den Schiffen, dahergeseucht im Gefilde?
Wenn nur nicht die Götter das Jammergeschick mir vollenden
wie vordem mir die Mutter verkündiget, als sie mir sagte,
dass noch, weil ich lebte, der tapferste Myrmidone
unter der Troer Hand das Licht der Sonne verliesse!
Wahrlich, gewiss schon starb Menoitios' tapferer Sprössling!»

(18, 6—12)

Achilleus hat also aus der Weissagung seiner Mutter im voraus gewusst, dass Patroklos vor ihm unter Troia sterben würde! Wie ist es möglich, dass er dieser Weissagung erst jetzt gedenkt? Wie hat er nicht daran gedacht, als er Patroklos in den Kampf schickte? Ja, er hat eben des Freundes vergessen!

Also sind für Homer der Vorschlag des Achilleus, gleich nach Hektors Fall Troia zu erstürmen, und dann wieder das plötzliche Abbiegen von demselben Vorschlag, so wesentliche Mittel um den Seelenzustand seines Helden zu schildern, dass dabei die Frage des Homer-Erklärers, ob man es hier doch nicht mit einem etwas veränderten Motiv «aus Homers Vorlage» zu tun hat, ihre Bedeutung so gut wie völlig verliert.

Übrigens war das Motiv «*Vergessen* oder *Sich-Erinnern* an den Freund» für Homer so wichtig, dass er in der Ilias noch *zweimal* auf dasselbe zurückkam.

Kaum hat sich der Held an einem neuen «Vergessen des Freundes» ertappt, als er nämlich nach Hektors Tode den Anschlag auf Troia plante, und kaum änderte er plötzlich seine Absicht mit dem Versprechen, dass er Patroklos nie vergessen würde, nein, selbst im Tode nicht! — und bald vergisst er ihn wieder einmal! Noch an demselben Tage, als der ermüdete Held am Ufer des Meeres einschläft, erscheint ihm im Traum die Seele des toten Patroklos. Und die ersten Worte des zurückkehrenden Freundes sind schon wieder «Vergessen» und «Sich-Erinnern».

«Schläfst du, und hast du meiner vergessen, o Achilleus?
Nicht des Lebenden *vergassest du*, aber des Toten!»

(23, 69—70)

Was heisst eigentlich dieser Vorwurf des zurückkehrenden Patroklos? Hat ihn Achilleus wirklich wieder *vergessen*? Und wie soll man seine Behauptung verstehen, dass Achilleus nie so getan hätte, solange er am Leben war, erst jetzt kümmerte er sich so wenig um ihn, nachdem er gestorben ist? Wir wissen es ja eben umgekehrt! Seitdem Patroklos tot ist, denkt Achilleus nur an ihn, oder er will ihn mindestens nie vergessen. Und während Patroklos lebte, konnte ihn der Freund doch so sehr vergessen, dass er auch eben deswegen sterben musste.

Die Seelenschilderung von Homer ist vielleicht in keiner anderen Szene so erschütternd tief, wie in dieser. Man weiss ja, dass nach der alten Sage, wie man sie aus dem Gilgamesch-Epos kennt, die Begegnung des Überlebenden mit seinem verstorbenen Freund kein Traum war, sondern wache und nächter-

ne Wirklichkeit.⁹⁷ Dadurch, dass Homer daraus einen blossen Traum machte, ist es auch möglich geworden, dass diese «Begegnung» nur den Seelenzustand des Träumenden spiegeln könne. Achilleus ist sich dessen natürlich bewusst, dass er den Freund schmäählich vergessen hatte, als er ihn in den Tod schickte. Er projiziert also denselben Vorwurf, den er sich dafür macht, in den Traum als einen Vorwurf des Verstorbenen. Dabei ist jedoch sein sehnlichster Wunsch: hätte er nur damals nie den Freund vergessen, solange dieser lebte. Deswegen wird der Vorwurf des Verstorbenen im Traum so formuliert, als hätte ihn Achilleus eigentlich *nie vergessen*, solange er am Leben war, erst seitdem er gestorben, sei auch der Freund ihm gegenüber so nachlässig geworden.

Aber nicht nur die ersten Worte, auch der ganze Traum spiegelt nur den Seelenzustand des Träumenden. Die zurückkehrende Seele des Toten sagt kein Wort, welches nicht Achilleus selber denken würde.⁹⁸ Wohl tritt die Erscheinung mit der Bitte an den Überlebenden, den Leichnam zu verbrennen, weil der Tote solange nicht «hinüber» könnte. Aber ist diese Bitte von ihm nicht die Sorge des am Leben Gebliebenen, der alles «nachholen» möchte, was er zu seiner Zeit versäumt hatte? Der Wunsch, sich zu verabschieden, die Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Kindheit, und selbst der Auftrag des Toten, dass auch die Gebeine des bald nach ihm Sterbenden in dasselbe Gefäß beigesetzt werden sollen, in welches man die seinigen legen würde — denkt das alles nicht Achilleus selber? — Aber möge Homer den ganzen Traum mit unübertrefflicher Kunst so vollkommen gemacht haben, dass selbst unter modern-psychologischem Gesichtspunkt gar nichts daran auszusetzen sei, so hat er der ganzen Schilderung die Krone doch erst dadurch aufgesetzt, dass er auch nicht versäumte zu sagen, wie der Träumende selbst seinen Traum sich auslegt:

«Götter, so gibt's fürwahr auch noch in Aïdes Wohnung
Seele und Schattengebild . . .»

ruft der plötzlich erwachende Achilleus,

»Diese Nacht ja stand des jammervollen Patroklos
Seele mir selbst am Lager, die klagende, herzensbetrübte,
und gebot mir manches, und glich zum Erstaunen ihm selber!«

(23, 193 – 197)

⁹⁷ Auf eine ähnliche Stufe des Sagenmotivs kehrt die Odyssee in der Elpenor-Geschichte wieder zurück. Darüber und auch über die Patroklos-Szene s. K. REINHARDT: Die Abenteuer der Odyssee. VWuF S. 132 ff.

⁹⁸ Wohl wird diese Interpretation den einfachen Ilias-Leser zunächst überraschen, vielleicht auch manche Kenner des Altertums erstaunen. Man wird sich fragen: ist es denn möglich? Wird dabei nicht etwas in Homer hineininterpretiert? Denn eine solche *bewusste* Kenntnis der menschlichen Seele überrascht uns auch noch bei Shakespeare, und jene Gedankenführung, die wir in der Erklärung Homer zutrauen, macht auf uns einen so «modernen» Eindruck, dass kein neuzeitlicher Schriftsteller es moderner machen könnte. Man kann natürlich misstrauisch sein und den ganzen Versuch mit Kopfschütteln beiseite legen. Es fragt sich nur: ob sich diese Erklärung widerlegen liesse? Ob sie doch nicht aus dem antiken Text selbst folgt?

Das letzte Mal kommt das Motiv des «Vergessens» im 24. Gesang der Ilias in einer etwas abgeschwächten Gestalt vor. Achilleus hat schon Hektors Leichnam gegen das Lösegeld dem alten Priamos zurückgegeben; er selber hat die Leiche mit seinen Freunden auf den Wagen des Königs gelegt, als er plötzlich wieder an Patroklos denken musste:

Da nun klagt' er und rief den teuern Genossen mit Namen:
«Zürne mir nicht, Patroklos, noch eifere, hörst du etwa
auch in Aïdes Nacht, dass ich Hektors Leiche zurückgab
seinem Vater...»

(24, 591—594)

Es ist rührend, wie sein «Gewissen» wieder erwacht, nachdem er Priamos in versöhnlicher Stimmung empfangen, mit ihm zusammen geweint, und seinen Wunsch erfüllt hatte. Die Rachewut ist schon längst gestillt, und nur noch der Schmerz nach dem verlorenen Freund ist in ihm geblieben. Aber plötzlich fällt es ihm ein: wird doch Patroklos diese Versöhnung nicht übelnehmen? Hektor war ja sein Mörder, und der Freund gibt jetzt die Leiche des Feindes dem Vater zurück. Darum seufzt er und bittet den Verstorbenen: «Zürne mir nicht, Patroklos...» — Aber möge der Seufzer in seiner naiven Angst auch noch so rührend sein, so fügt Homer dennoch mit leiser Ironie noch etwas hinzu, womit nämlich Achilleus die Auslieferung der Leiche vor Patroklos begründet:

«denn nicht unwürdige Lösung mir bracht er.
Dir auch weih' ich davon zum Geschenk gebührendes Anteil».

(24, 594—595)

Und das lässt Homer seinen Achilleus sagen, nachdem jene erschütternd-menschliche Szene eben vorhin so ausführlich geschildert wurde, wie Achill und Priamos zusammen weinten, sich in ihrem gemeinsamen und doch so entgegengesetzten Schmerz gefunden hatten!⁹⁹ Hat Achill wirklich *nur* wegen der Lösung Hektors Leiche dem alten Priamos ausgeliefert, und *nur* um aus dem Geschenk auch dem verstorbenen Freund sein gebührendes Anteil weihen zu können? — Kein Leser der Ilias, der auch nur den leisesten Sinn für Seelenschilderung hat, wird das glauben können! Aber warum beruft er sich dann doch auf die empfangene Lösung? Sollte dadurch seine naive Freude am erworbenen Geschenk selbst in seinem tiefsten Schmerz geschildert werden? Aber Achilleus ist ja, seitdem er Patroklos verloren hatte, dem «Geschenk» gegenüber beinahe gleichgültig geworden.

«Atreus' Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon,
ob die Geschenke zu reichen dir gut deucht, wie es geziemet,
ob zu behalten, du magst!»

(19, 146—148)

— sagt er bei der Versöhnung. — Nein, es hat einen anderen Grund, warum

⁹⁹ Vgl. Ilias 24, 507—551.

er das Lösegeld in seinem Seufzer zu Patroklos dennoch erwähnt. Er möchte auch sich selber einreden, dass es keine Rührung, keine verständnisvolle Menschlichkeit war, dass er den Mörder seines Freundes dem Vater zurückgab. Nein, er habe nur einen vorteilhaften *Handel* gemacht, und auch der Tote werde davon sein Anteil bekommen.

*

Achilleus hat sich jedoch nach der Katastrophe nicht nur in seiner Beziehung zu Patroklos geändert. Auch seine ganze menschliche Haltung ist anders geworden. Es gibt in der Ilias mehrere Szenen, die der Dichter hauptsächlich wohl darum eingefügt hatte, weil er eben diese veränderte Haltung schildern wollte. Man findet im 23. Gesang nicht weniger als *vier* solche Szenen.

Während der Leichenspiele zu Ehren des Patroklos entsteht ein Wortwechsel unter den Zuschauern. Aias und Idomeneus sind schon nahe daran, sich darüber zu überwerfen, wessen Wagen eigentlich vorne sei, als Achilleus dazwischentritt :

Und noch hätten fortan die Zankenden beide geeifert,
wenn nicht Achilleus selbst sich hub, um also zu sprechen :
«Nicht mehr jetzt miteinander der heftigen Worte gewechselt,
Aias und Idomeneus, du ; denn wenig geziemt's euch !
Selbst ja tadeltet ihr's, wenn ein anderer solches begönne.
Aber sitzt ihr ruhig im Kreise und schaut nach den Rossen
forschend hinauf : bald werden gereizt von Siegesbegierde
jene von selbst ankommen ; dann mögt ihr jeder erkennen,
welches Gespann der Argeier voranläuft, welches dahinten.»

(23, 490 — 497)

Wohl könnte man in diesem Vorfall nur eine ziemlich unbedeutende epische Szene erblicken, wenn es nicht eben Achilleus, der grosse Grollende wäre, der diesmal den Zwist beschwichtigt.

Aber nicht nur andere mahnt er an die Eintracht, auch er selber ist schon geduldiger und sich beherrschender geworden. Als z. B. Antilochos ihm Vorwürfe macht, weil er meint, Achilleus würde die Preise ungerecht verteilen, auch dann empört er sich nicht, obwohl der andere beinahe drohend zu ihm spricht :

«Heftig werd' ich dir zürnen, Achilleus, wo du vollendest
dieses Wort ! Denn mir entwenden willst du den Kampfpreis!»

(23, 543 — 544)

Aber Achilleus vernimmt lächelnd den Vorwurf, und geht willig auf den Wunsch des anderen ein, er verschmäht nicht auch ein Opfer dafür zu holen.

Derjenige, der in seinem Zwiespalt nur an seine verletzte Ehre, an sich selbst denken konnte, und dabei alles andere vergass, ist jetzt allen anderen gegenüber so weitgehend aufmerksam, wie kein Zweiter. Er vergisst z. B.

bei dem Austeilen der Preise auch den alten Nestor nicht, der an den Wettspielen zwar nicht mehr teilnehmen kann, aber unter den Zuschauern doch anwesend ist; er nimmt eine Schale und schenkt sie dem Alten zum Andenken (vgl. 23, 616—624).

Ebenso taktvoll aufmerksam benimmt er sich jetzt selbst dem König Agamemnon gegenüber, der im 1. Gesang seinen tragischen Zorn erregte. Am Ende der Leichenspiele sollte nämlich noch der Speerwurf versucht werden. Achilleus legt zwei Kampfpreise in die Mitte: einen *Speer* und ein *Becken*. Der Sieger würde also den Speer, und der andere das Becken erhalten. Zuerst meldet sich zum Wettspiel Agamemnon, und als zweiter Meriones, ein sonst wenig hervortretender Held des griechischen Lagers. Aber zu welchem Ergebnis könnte ein solches Wettspiel führen? Gesetzt, dass Agamemnon Sieger bleibt, wäre der Sieg für ihn in diesem letzten Spiel der grossartige Ruhm, der den Mächtigsten des Heeres ziert? Und was noch schlimmer ist: was sagte man denn dazu, wenn er zufällig selbst in diesem Spiel unten bleiben sollte? — Es ist ja klar, dass man aus dieser heiklen Lage irgendwie einen Ausweg finden muss. Achilleus wendet sich also plötzlich mit einer klugen und diplomatischen Rede an Agamemnon:

«Atrous' Sohn, wir wissen, wie weit du allen vorangehst,
auch wie weit du an Kraft und Speerwurf alle besiegest.» (23, 890—891)

Nach einem solchen Lob kann er schon die Bitte an Agamemnon richten, den ersten Preis diesmal doch von selbst an Meriones abzutreten, ohne das Wettspiel zu versuchen. Dabei wird die Bitte so formuliert, dass er mit keinem Wort verrät, warum er eigentlich den Versuch unterlassen möchte:

«Darum kehre du selbst mit diesem Preis zu den Schiffen,
aber den Speer lass uns dem Helden Meriones reichen.
Wenn es dir im Herzen gefällt; ich wenigstens rat es.» (23, 892—894)

Und Agamemnon ist klug genug, um auf diesen Wunsch wortlos einzugehen, nur manche Schulkommentaren finden Achilleus Vorschlag «wunderlich und ganz unmotiviert».¹⁰⁰

*

Reinhardt hat schon früher mit Recht darauf hingewiesen,¹⁰¹ dass Achilleus allein von allen alten Helden, *nicht nur Homers, sondern des ganzen Altertums*, das Gewaltig-Gegensätzliche, als Erbteil seiner halbgöttlichen Abstammung an sich hat, das fast schon eine Vorwegnahme, ein Urbild aller späteren Erscheinungsformen des Genialisch-Jugendlich-Dämonischen in ihm

¹⁰⁰ FAESI—FRANKE: Homers Iliade 4. Bd. 5. Aufl. 1877 S. 186.

¹⁰¹ S. den Aufsatz «Tod und Held in Goethes Achilleus» in VWuF.

zu sehen erlaubt. Man denke nur an seine Zartheit in der Furchtbarkeit, die Unerbittlichkeit neben der Rührbarkeit — kein anderer bricht wie er in Tränen aus —, die Grausamkeit im mitfühlenden Herzen, die Unmenschlichkeit neben der Menschlichkeit, Groll und zugleich Ergebung in sein Schicksal. Und von allen diesen Gegensätzen beherrscht ihn einer jeweils mit einer Macht, die mit anderem Mass zu messen ist, als alles um ihn her — in keinem anderen sind die Umschwünge so jäh. — Wir sind mit dieser Schilderung einverstanden, aber wir möchten dennoch betonen, dass Homer in seiner unübertrefflichen Darstellung auch selbst den Helden wissen liess — mindestens *nach* der Patroklos-Katastrophe! —, wie er der ihm angeborenen Gefahr immer wieder ausgesetzt ist. Denn das ist ja gerade der grosse Unterschied zwischen dem Achilleus *vor* und *nach* der Katastrophe. Der Achilleus des 9. Gesanges hat die Worte seines Vaters Peleus vergessen;¹⁰² er scheint nichts davon zu wissen, welche Gefahr seine «schwache Stelle» auch für ihn selbst ist. Dagegen ist sich *der andere Achilleus* nach dem Verlust des Freundes seiner Schwäche völlig bewusst. Man bedenke nur, wie er gleich nach der gerührten Szene, als er mit Priamos zusammen geweint hatte, schon wieder nahe daran ist, sich nicht beherrschen zu können, als nämlich der Greis nicht wortlos auf seinen Vorschlag eingeht, und die Auslieferung der Leiche beschleunigen möchte.

Finster schaut und begann der füsseschnelle Achilleus:
«Quäl mich jetzo nicht mehr, o Greis! Ich gedenke ja selber,
Hektor dir zu erlassen . . .

Drum lass ab, noch mehr mein bekümmertes Herz zu erregen;
denn sonst könnte ich, o Greis, auch dein nicht schonen im Zelte,
wie demütig du flehst, und Zeus Gebote verletzen.»

(24. 559—560; 568—570)

Die letzten Worte sind nicht nur Drohung dem Alten gegenüber, sondern es drückt sich in ihnen auch seine Angst aus: wie wäre es, wenn er sich wieder nicht beherrschen könnte! Darum lässt er auch nicht zu, dass Priamos Hektors Leiche zu früh erblicke. Er würde ja daran sofort die Spuren der entsetzlichen Leichenschändung entdecken, und derselbe, der dem Sterbenden gegenüber unerbittlich grausam war, möchte sich jetzt dem Vater gegenüber anders benehmen:

Jener berief die Mägde und hiess sie waschen und salben
Hektors Leib, *doch entfernt und ungesehen von dem Vater*,
dass nicht tobte der Zorn in Priamos' trauernder Seele,
schaut er den Sohn, und eifernd Achilleus' Herz er erregte,
dass ihn selbst er erschlüg', und Zeus' Gebote verletzte.

(24. 582—586)

Kein Zweifel, dieser Achilleus, der die Gefahr so weit voraussieht und ihr vorzubeugen versucht, der *kennt sich schon*. Die Homerische Achilleus

¹⁰² Vgl. Ilias 9, 254—259.

ist auch in diesem Sinne die Darstellung der Tragik des «Erkenne dich selbst!». Das Gewaltig-Gegensätzliche im Wesen des Helden wird nicht nur dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er dem sterbenden Hektor erbarmungslos antwortet :

«dass doch Zorn und Wut mich erbitterte, roh zu verschlingen
dein zerschnittenes Fleisch . . .»

und dass er an den Vater desselben Hektor zum Abschiedsgeschenk die Frage richtet :

«Wieviel Tage gedenkst du den edelen Sohn zu bestatten?
Dass ich indes, selbst ruhend, das Volk des Streites enthalte.»
(24, 657 – 658)

Das Gegensätzliche an ihm wird auch noch dadurch gesteigert, dass auch der Held sich seiner jähren Umschwünge — mindestens am Ende der Darstellung seines Schicksals — bewusst wird.

*

Es wurde im vorigen eine Homer-Interpretation versucht, die wohl auch heute noch manche Kenner des Altertums befremden mag. Es ist ja noch nicht lange her, dass man gewohnt war, in Homer den «Flickpoeten» zu sehen. Und selbst in den bescheidenen Ansprüchen mancher Unitarier von heute spukt noch der Gedanke, dass Homer eigentlich doch nur zeitlich der erste greifbare Vertreter der europäischen Literatur sei. Man dünkt sich häufig, als ob es genüge, um Homers Welt verstehen zu können, nur das Gemüt des unverdorbenen und begabten Kindes in uns wieder zu beleben. Gewiss, wir sind der Meinung, auch das könnte unserem Homerverständnis zuträglich werden. Aber wir möchten dennoch betonen : wir vermögen nur in einem solchen Iliasdichter, der seine Achilleis in der dargestellten Weise aufgebaut hatte, den Erwecker unseres europäischen Geistes zu verehren.¹⁰³

А. САБО

ТРАГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ИЛИАДЫ, АХИЛЛЕС

(Резюме)

В введении своей статьи автор вкратце рассматривает новейшее, так наз. неоаналитическое течение в исследованиях Илиады. Хотя анализ Гомеровских текстов и принадлежит к характерным методам прошлого столетия, он все же не вышел еще из моды (см. примечание № 5 к статье). К ликвидации этого метода сделал, в свое время, решительные шаги именно Шадевальдт, который под знаменем нового анализа теперь стремится присоединиться к лагерю своих бывших противников. Автор статьи конкретным примером — трудами Говальда — иллюстрирует, что неоанализ несколько не лучше

¹⁰³ Vgl. dazu REINHARDTS zusammenfassende Worte in seinem «Parisurteil» VWuF. S. 34 ff.

анализа, практиковавшегося в прошлом столетии. Несмотря на то, что автор принципиально отклоняет неоанализ, все же признается, что Шадевальдт именно в той статье, в которой положено начало новому методу, правильно называет Илиаду трагической эпопеей. Шадевальдту не удалось подтвердить правильность этого установления при помощи нового анализа, но оно является все-таки правильным. Главная задача настоящей статьи состоит в приведении других доказательств для подтверждения мнения, по которому Илиада представляет собой действительно трагическую эпопею.

Потеря друга. Этот эпизод стоит в центре Ахиллесовой истории Илиады. Поведение сердитого Ахиллеса изменяется, когда он теряет своего друга, Патрокля. Подобную роль играет этот же мотив и в месопотамской эпопее «Гильгамеш». Герой этой эпопеи тоже изменяет свое поведение с потерей своего друга, Энкиду. Однако, потеря Энкиду наводит на Гильгамеша страх смерти, а Ахиллес, наоборот, сам решает умереть в тот момент, когда узнает о смерти Патрокля. Помимо этого, есть и другие черты между обоими эпопеями, которые сравниваются автором. Сравнения подтверждают, что речь идет о мотивах, которые по существу идентичны. Единственная разница между ними состоит в том, что они появляются в Илиаде в смягченном виде. Из этого можно заключить, что история Гильгамеша ничто иное, как более древняя разновидность Ахиллесового эпизода.

Трагедия Гильгамеша. Гильгамеш в некотором смысле слова тоже трагический герой, а его трагедия является менее сложной, нежели трагедия Ахиллеса. Его трагедия состоит только в сознании, что даже и самому большому герою придется умереть, ибо он — будучи человеком — не в состоянии победить смерть. Как в месопотамской поэме говорится: «Хотя Гильгамеш до двух третей и бог, одна треть его все же человек.» Этот мотив встречается и в догомеровской истории Ахиллеса под видом Ахиллесовой пяты. Непобедимый и неуязвимый герой имеет слабый пункт на теле, т. е. пятю, который приведет его к гибели.

Ахиллесова пятя. Этот мифический мотив, повидимому, неизвестен Гомеру. Из этого некоторые исследователи уже в древние века заключили, что он возник только позднее, в послегомеровское время. Автор опровергает это предположение, так как поэт Илиады перенес мотив Ахиллесовой пяты только в более высокую сферу, представляя нам своего героя как несдержанного, вспыльчивого человека, падающего жертвой этой слабости. Поэт Илиады ясно выражает, что его герой имеет Ахиллесову пятю не на теле, а в характере. В экскурсии автор показывает, как переносит Гомер и другие мифические моменты древнего Ахиллесового эпизода в более высокую сферу.

Трагический конфликт. Трагедия возможна только там, где герой впадает в разлад с самим собой. Эпопея «Гильгамеш» не знает еще этого рода столкновения, в отличие от Гомера, у которого оно появляется в полном развитии. Гнев заставляет Ахиллеса отказаться от своих идеалов (см. песню IX) и в ослеплении эгоизма по неосторожности отправляет на тот свет своего друга, Патрокля. Это является трагической виной Ахиллеса, за которой следует самокритика как трагическое наказание.

В этой главе подробно рассматриваются интерпретации Шадевальдта, которые оказываются неточными, иногда даже ошибочными.

Катарсис. Ахиллесова трагедия Гомера знает уже значение катарсиса. Установление этого факта является важнейшим литературно-историческим результатом статьи автора. Литературоведы считали Аристотеля IV века самым древним источником по вопросу о катарсисе. Интерпретируя некоторые места Илиады, автор указывает на то, что фигура Ахиллеса уже в VIII веке до н. э. набросана так, что Аристотель и без знания трагедии V века мог бы создать свою теорию о катарсисе.

В конце концов автор констатирует, что Гомер создал первый шедевр европейской литературы именно тем, что он оказался писателем трагического мировоззрения.

Á. SZABÓ

WIE IST DIE MATHEMATIK ZU EINER DEDUKTIVEN WISSENSCHAFT GEWORDEN?

Wir vertreten in dieser Arbeit die folgenden drei Thesen : 1. die griechische Mathematik ist als deduktive Wissenschaft spätestens in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts unter dem Einfluss der eleatischen Philosophie entstanden, 2. die Eleaten waren es, die schon *vor* dieser entscheidenden Wandlung zum ersten Male in der Geschichte des europäischen Denkens die grundlegenden Prinzipien der Logik klar formulierten, und 3. die deduktive Mathematik ist solange überhaupt nicht möglich, bis der Mathematiker die Begründung seiner Sätze nicht auf eine schon vorhandene und bewusst angewandte Logik bauen kann. — Um diese Auffassung begründen zu können, gliedert sich die vorliegende Untersuchung in *vier* Kapitel. *Im ersten Kapitel* wollen wir die wichtigsten jener Fragen der griechischen Mathematik-Geschichte mindestens kurz erwähnen, die eben dadurch gestellt worden sind, dass man die Mathematik der vorgriechischen Völker des alten Orients besser kennengelernt hatte ; *im zweiten* besprechen wir die neueren Erklärungsversuche über das Zustandekommen der griechischen Mathematik ; *im dritten* fassen wir jene wichtigsten antiken Angaben und daran anknüpfenden modernen Erklärungen zusammen, auf die sich unsere eigene Theorie baut, und schliesslich *im vierten* entwickeln und begründen wir dieselbe Theorie über das Entstehen der griechischen exakten Wissenschaft in einer ausführlicheren Behandlung des mathematischen indirekten Beweisverfahrens.

I

Im Laufe der letzten Jahrzehnte beschäftigten sich mehrere bedeutende wissenschaftsgeschichtliche Arbeiten mit den mathematischen Kenntnissen der alten vorgriechischen Völker von Aegypten und Babylon.¹ Als Ergebnis der Forschungen auf diesem Gebiete darf nicht allein die Tatsache gelten, dass man die Mathematik der vorgriechischen Kulturen besser kennen-

¹ Man findet die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungen zusammengefasst in den ersten drei Kapiteln des Werkes B. L. v. D. WAERDEN: *Science awakening*. Groningen 1954.

gelernt hatte, sondern auch der Zustand selbst, dass sich auch unser Bild vom Griechentum und von den Anfängen der Wissenschaft im Lichte unserer neuen Kenntnisse weitgehend veränderte. Solange man nichts von der ägyptischen und babylonischen Mathematik wusste, konnten die Griechen mit mehr oder weniger Recht als die allerersten Schöpfer und Begründer dieser Wissenschaft gelten. Aber es veränderte sich plötzlich die Lage, als es sich herausstellte, dass manche wichtigen mathematischen Erkenntnisse, die in der griechischen Überlieferung auf das 6. oder 5. Jahrhundert v. u. Z. datiert werden, in den vorgriechischen Kulturen schon Jahrhunderte früher bekannt waren. Das Leben des Pythagoras wird z. B. nach der griechischen Überlieferung auf das 6. Jahrhundert v. u. Z. gesetzt, und dementsprechend könnte aus demselben Jahrhundert der sog. Satz des Pythagoras stammen, der von den Späteren ihm zugeschrieben wird. Manche Forscher haben jedoch früher die traditionelle Zuschreibung dieses Lehrsatzes an Pythagoras in Zweifel gezogen, weil man sich nicht hat erklären können, wie die Erkenntnis dieses Satzes in einem so frühen Stadium der Wissenschaft möglich gewesen wäre.² Aber diese Skepsis der antiken Überlieferung gegenüber bekam einen völlig neuen Sinn, als es sich herausstellte, dass die praktische Anwendung des pythagoreischen Lehrsatzes den Babyloniern schon im 2. Jahrtausend v. u. Z. bekannt war.³ Man musste ähnlicherweise zur Kenntnis nehmen, dass auch der grösste Teil jenes mathematischen Wissens, welches durch Euklid in systematischer Ordnung behandelt wird, mindestens als eine Summe von empirischen Kenntnissen schon lange vor den Griechen in der babylonischen Kultur geschlossen vorlag.⁴

Dadurch, dass man die Vorgeschichte der griechischen Wissenschaft kennenlernte, schienen auch die Griechen selbst jenen alten Ruhm, den sie früher in der Geschichte der Wissenschaft genossen, beinahe zu verlieren. Wie O. Neugebauer, der hervorragende Kenner der älteren Mathematik-Geschichte schreibt: seitdem wir nicht nur jene zweieinhalb tausend Jahre Geschichte kennen, die seit dem klassischen Zeitalter verfloss, sondern seitdem wir auch jene anderen zweieinhalb tausend Jahre mehr oder weniger überblicken können, die dem griechischen Altertum vorausgingen, ist es nicht mehr möglich, in den Griechen die allerersten Schöpfer und Begründer

² Vgl. B. L. v. D. WAERDEN: Die Arithmetik der Pythagoreer I. Math. Ann. 120 (1947/49) 127–153; besonders auf S. 132.

³ Vgl. O. NEUGEBAUER: Vorlesungen über die Geschichte der antiken math. Wissenschaften. Berlin 1934. S. 168 und K. REIDEMEISTER: Das exakte Denken der Griechen. Hamburg 1949. S. 51.

⁴ Vgl. O. NEUGEBAUER: Studien zur Geschichte der antiken Algebra III (Quellen und Studien zur Gesch. der Math. Abt. B. Bd. 3 [1936] 245–259): «sowohl im Bereich der elementaren Geometrie, wie im Bereich der elementaren Proportionenlehre, wie schliesslich im Bereich der Gleichungslehre liegt in der babylonischen Mathematik das gesamte *inhaltliche* Material geschlossen vor, auf dem die griechische Mathematik aufbaut. Der Anschluss ist in allen Punkten lückenlos herzustellen.»

der Wissenschaft zu erblicken.⁵ Wie wir heute sehen, stehen die Griechen nicht mehr am allerersten Anfang der Geschichte der Wissenschaft, sondern irgendwo in ihrer Mitte.⁶ Ja, Neugebauer hat gerade in Hinsicht auf die babylonische Mathematik sogar die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt recht und billig wäre, die Errungenschaften der griechischen Mathematik unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaftsgeschichte eindeutig und *nur* bejahend zu bewerten? — Denn die Griechen haben ja schliesslich, anstatt dessen, dass sie das babylonische Positionssystem der Zahlen in ein bewusstes Positionssystem der Basis 10 oder 12 verwandelt hätten, die positionelle Bezeichnung in Zahlbuchstaben modifiziert, — was selbstverständlich ein folgenschwerer Rückschritt war.⁷ Ebenso wurde in der griechischen Mathematik «die Einsicht in das Wesen der Irrationalzahlen erkaufte mit dem abrupten Abbrechen eines bereits zu einem algebraischen Formalismus gelangten

⁵ O. NEUGEBAUER: o. c. S. 259.

⁶ B. L. V. D. WAERDEN: Math. Ann. 120 (1947/49) S. 132.

⁷ A. FRENKIAN: Études de mathématiques suméro-akkadiennes, égyptiennes et grecques (in der «Revue de l'Université de Bucarest» 1953, 9–20) schreibt (im französischen Auszug seiner rumänisch verfassten Arbeit): «Rien n'indique que les mathématiciens grecs aient connu le système de notation de position relative des peuples de la Mésopotamie. Le système grec de notation des nombres est des plus défectueux, *incapable d'aider le calcul* (von mir herausgehoben — A. SZABÓ) inférieur même à celui des Égyptiens, qui avait un signe particulier pour chaque ordre d'unités décimales, qu'ils répétaient autant de fois qu'il était nécessaire pour écrire un nombre donné. Donc, ou bien les Grecs n'ont pas connu le système de notation des Babyloniens, ou bien *l'esprit de leur mathématique étant orienté dans une autre direction, ils n'ont pas adopté ce système, si toutefois ils l'ont connu* (von mir herausgehoben — A. SZABÓ). — Im weiteren versucht dann A. FRENKIAN noch zu erklären, warum eigentlich die Griechen nicht ein besseres Bezeichnungssystem für die Zahlen entwickelt hatten, und er kommt zu der folgenden, bemerkenswerten Vermutung: «Les Hellènes avaient deux sciences qui s'occupaient des nombres: *l'arithmétique* qui était la science théorique des nombres, très étudiée et honorée, et la *logistique* qui était lié à la pratique et qu'on avait abandonné à des spécialistes considérés comme des artisans, appelés, avec un certain mépris, du nom de *banau-soi*. C'est ainsi que la science théorique qui est l'arithmétique a fait chez eux de grands progrès, sans faire profiter la logistique de ces progrès. Celle-ci a continué de travailler avec les anciennes méthodes venues de l'Égypte: à savoir, la multiplication par duplications successives dont parle un scholie au dialogue Charmide de Platon et le calcul fractionnaire seulement avec des fractions ayant l'unité au numérateur, méthode qui fut employé jusqu'aux temps des Byzantins. — Les mathématiques suméro-akkadiennes ont été beaucoup plus liées à la pratique, comme on le voit par les problèmes qu'elles ont à résoudre dans les textes qui nous sont parvenus. Ensuite, la base de 60 pour le système de numération était très grande et c'est pourquoi les tenants de la civilisation mésopotamienne ont eu recours à la notation de position relative, etc.» — Diese Vermutung passt ausgezeichnet zu jener Auffassung, die wir in dieser Arbeit vertreten: nicht nur die grossartigen Errungenschaften der griechischen Mathematik, sondern auch ihre relativen *Rückstände* stellen nur die Folge derselben grundlegenden Tendenz der antiken klassischen Wissenschaft dar. — Man muss zu der im ganzen wohl richtigen Theorie von A. FRENKIAN nur die folgende Korrektur hinzufügen: es ist irreführend einfach nur eine «*theoretische* Arithmetik» der Griechen mit einer «*praktischen* Logistik» zu konfrontieren. Denn Platon stellt z. B. im Staat und im Philebos der «*praktischen*» Arithmetik und der «*praktischen*» Logistik die entsprechenden «*theoretischen*» Disziplinen entgegen. Es können also beide Namen — Arithmetik und Logistik — sowohl theoretische, wie auch banaische, praktische Kenntnisse bezeichnen. Man vgl. zu dieser Frage die gründliche Arbeit von J. KLEIN: Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I u. II, Quellen und Studien z. Gesch. d. Math. Abt. B. Bd. 3 (1936) S. 18 ff. und 122 ff.

Systems, das sich in allen Punkten direkt in die Algebra der Renaissance hätte fortentwickeln können; ohne die tiefsten mathematischen Leistungen der Griechen wären vielleicht 2000 Jahre zu 'gewinnen' gewesen.»⁸

Selbstverständlich ist sich auch Neugebauer dessen wohl bewusst, dass die mathematischen Leistungen der Griechen historisch keineswegs bloss als ein «Rückschritt» im wahrsten Sinne des Wortes angesehen werden können. Er beruft sich ja auf die genannten Fälle, nur um zu illustrieren, wie die Bewertung historischer Prozesse nach dem Prinzip der einfachen Linearität fehlschlagen muss. Die babylonische Mathematik besass in der Tat auch solche Ansätze, die durch die späteren Griechen *nicht* ausgenutzt wurden; ja, es wurde sogar durch die Tatsache, dass die Griechen die Entwicklung der Mathematik in eine bestimmte Richtung lenkten, eine ziemlich lange Zeit hindurch — eigentlich bis zur Zeit der europäischen Renaissance — verhindert, dass die entwicklungsfähigen Ansätze der älteren babylonischen Algebra zur Entfaltung kämen.⁹

Wir beurteilen also die Griechen, seitdem wir die vorgriechische Wissenschaft einigermassen besser kennen, schon völlig anders als früher. Ja, wir stellen uns seit derselben Zeit auch die Anfänge der Mathematik schon anders vor, als etwa noch vor achtzig Jahren. Man dachte früher z. B., dass die Anfänge der Mathematik «geometrischen» Charakter haben müssten, da ja die Geometrie «weniger abstrakt» und «viel anschaulicher» als die Algebra sei. Man merkte es kaum, dass diese Anschauung in letzter Linie nur ein Effekt der ungeheueren Wirkung der Sprechweise von Euklids Elementen und der anschliessenden Form der griechischen Mathematik ist, die auch unsere ganze Erziehung entscheidend beeinflusst hat. Man dachte, dass die älteste mathematische Disziplin die Geometrie sei, eigentlich nur deswegen, weil bei den Griechen, dem damals so gut wie einzig bekannten Kulturvolk des Altertums, die Mathematik beinahe völlig in der Geometrie aufging. Und man vergass im Banne dieser Betrachtungsart, dass die tatsächliche Entwicklung dem Postulat von der geschichtlichen Priorität des Geometrischen auf Schritt und Tritt widerspricht. Die grossen Fortschritte der Geometrie sind in allen Phasen immer unlösbar mit der Entwicklung anderer Diszi-

⁸ Sieh Anmerkung 5.

⁹ Es ist übrigens interessant, wie dieselbe griechische Entwicklung durch v. D. WAERDEN beurteilt wird. Er schreibt nämlich über die logischen Konsequenzen, die sich aus der Entdeckung der Irrationalität ergeben (dass nämlich Strecken nicht universell durch Zahlen darstellbar sind und daher auch nicht ohne weiteres wie Zahlen behandelt werden dürfen), und vergleicht die Leistung der Griechen auf diesem Gebiete mit der Stellungnahme der Vertreter der europäischen Wissenschaft folgendermassen: «die meisten Vertreter der abendländischen Wissenschaft haben die Darstellbarkeit von geometrischen Grössen durch Zahlen nie bezweifelt, obwohl sie mit der Existenz von irrationalen Verhältnissen bekannt waren, und obwohl man vor Dedekind und Cantor nicht über den exakten modernen Begriff der reellen Zahl verfügte. *Die griechische Kultur ist meines Wissens die einzige, die diese logische Konsequenz wirklich vollzogen hat*» (von mir herausgehoben — A. SZABÓ).

plinen verknüpft¹⁰, so dass das Geometrische an sich immer erst nachträglich wieder aus dieser Verknüpfung gelöst werden musste. Wie uns die neueren Forschungen gelehrt haben, ist diese Beobachtung auch auf die Anfänge der Wissenschaft zutreffend. Für die Frühgeschichte der Mathematik ist eine «reine» («synthetische») Geometrie viel zu schwierig. Das primäre Hilfsmittel ist hier die Verknüpfung mit dem Bereich der (rationalen) Zahlen, und ein wesentlicher Fortschritt der Geometrie ist erst möglich, wenn die ungeometrischen Hilfsmittel weit genug entwickelt sind. Darum ist in jenen 2000 Jahren der Entwicklung, die dem griechischen Zeitalter vorangehen, alles 'geometrische' nur ein *sekundäres* Objekt zunächst der Rechentechnik mit den rationalen Zahlen in beiden vorgriechischen Kulturen, dann der Algebra in Babylonien.¹¹ Die Geometrie wird erst viel später, nur bei den Griechen in den Vordergrund des mathematischen Interesses gerückt.

Durch diese Entdeckung wurde auch das Verständnis einer solchen Erscheinung innerhalb der griechischen Mathematik selbst erleichtert, die man zwar auch früher schon bemerkt hatte, aber kaum erklären konnte. Es fiel nämlich schon H. G. Zeuthen auf,¹² dass es sich besonders im II. und im VI. Buch der Euklidischen Elemente vorwiegend um algebraische Probleme in geometrischer Form handelt. Aber man konnte früher kaum befriedigend erklären: was eigentlich die Griechen veranlasst haben mag, um die Algebra zu geometrisieren? Man konnte sich früher in diesem Zusammenhang höchstens auf die grössere «Anschaulichkeit» der Geometrie berufen. Dagegen kann man heute die Antwort auf die Frage nach der geschichtlichen Ursache der gesamten «geometrischen Algebra» vollständig geben: «sie liegt einerseits in der aus der Entdeckung der irrationalen Grössen folgenden Forderung der Griechen, der Mathematik ihre Allgemeingültigkeit zu sichern durch Übergang vom Bereich der rationalen Zahlen zum Bereich der allgemeinen Grössenverhältnisse, andererseits in der daraus resultierenden Notwendigkeit, *auch die Ergebnisse der vorgriechischen 'algebraischen' Algebra in eine 'geometrische' Algebra zu übersetzen*».¹³ In dieser Beleuchtung wurde es auf einmal auch klar, warum am Anfang des 4. Jahrhunderts *Archytas* die Arithmetik — d. h. also die Algebra der Griechen — der Geometrie noch vorziehen konnte;¹⁴ er hat nämlich die logischen Konsequenzen aus der

¹⁰ O. NEUGEBAUER o. c. S. 246 verweist in diesem Zusammenhang auf die folgenden historischen Verknüpfungen: analytische Geometrie und elementare Algebra, Differentialgeometrie und Analysis, Topologie und Riemannsche Flächen + abstrakte Algebra.

¹¹ O. NEUGEBAUER: o. c. S. 247.

¹² An diese frühere Erkenntnis von H. G. ZEUTHEN (Die Mathematik im Altertum und Mittelalter) erinnern O. NEUGEBAUER o. c. 249 und B. L. v. D. WAERDEN: Math. Ann. 117 (1940) S. 158.

¹³ O. NEUGEBAUER: o. c. S. 250.

¹⁴ Archytas B 4 (DIELS): «Und die Logistik hat, wie es scheint, in Bezug auf Wissenschaft vor den anderen Künsten einen recht beträchtlichen Vorrang; besonders auch vor der Geometrie, da sie deutlicher als diese behandeln kann was sie will . . . und wo die Geometrie versagt, bringt die Logistik Beweise zustande . . .» Von «Logistik»

Erkenntnis der Irrationalität noch nicht so weitgehend zur Geltung gebracht, wie bald nach ihm Theaitetos und Platon es taten.¹⁵ Mit anderen Worten heisst es auch so viel, dass wir heute schon genau jene Zeitspanne kennen, zu welcher bei den Griechen die ältere Arithmetik durch die Geometrie verdrängt wurde;¹⁶ es ist auch bekannt, dass jenes Interesse, mit welchem man sich jetzt erneut der Geometrie zuwandte, im Grunde durch eine logische Erkenntnis, nämlich durch die Entdeckung der irrationalen Zahlenverhältnisse erweckt wurde.¹⁷ — Es musste also jene ältere Auffassung, welche die «Anschaulichkeit» der griechischen Geometrie betonte, überprüft werden; ja, es fragte sich sogar, angesichts der neuen historischen Perspektive, die sich erschloss: ob überhaupt das wesentlichste Merkmal der griechischen Mathematik ihre Anschaulichkeit sei?¹⁸ Man musste auf einmal jenem Platon Recht geben, der über die griechische Mathematik schon in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts betonte, dass die Anschaulichkeit der Geometrie keineswegs eine *konkrete* Anschaulichkeit sei; denn sie *erinnere* nur an etwas, was anders als auf gedanklichem Wege gar nicht zugänglich wäre.¹⁹

redet Archytas in einem Arithmetik und Logistik umspannenden Sinne; vgl. J. KLEIN: Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra, Quellen und Studien z. Gesch. d. Math. Abt. B. Bd. 3 (1936) S. 32 A. 1. Verstünde Archytas unter «Logistik» nicht die theoretische Mathematik, so könnte er gar nicht behaupten, dass die Logistik «Beweise zustande bringe»; nicht die banausische Techne, sondern Platons *theoretische* Logistik und *theoretische* Arithmetik zusammen, also ein Zweig der «Mathemata», stellen eine beweisende (apodeiktische), deduktive Wissenschaft dar. — Es ist übrigens interessant, dass der wahre Sinn dieses Archytas-Fragmentes solange überhaupt kaum erklärt werden konnte, bis die zitierten Worte durch O. NEUGEBAUER (o. c. S. 245 ff.) nicht in die richtige historische Beleuchtung gestellt worden sind; NEUGEBAUER schreibt nämlich darüber: «Die Prägnanz dieses Ausspruchs ist umso interessanter, als er ja nur um wenige Jahre älter ist, als die Geometrisierung der griechischen Mathematik, die wir als ihre *klassische* Form anzusehen gewöhnt sind.» H. DIELS bemerkte noch zu den Worten des Archytas: «*Sinn und Herstellung des Fragments unsicher*...» — Richtig behandelt wird dagegen das Archytas-Fragment — auch von O. NEUGEBAUER unabhängig — bei A. M. FRENKIAN: Le postulat chez Euclide et chez les modernes. Paris 1940. S. 20, 1.

¹⁵ B. L. V. D. WAERDEN (Zenon und die Grundlagenkrise der griech. Mathematik, Math. Ann. 117 [1940] 141 ff.) schreibt im Zusammenhang mit den vorigen Archytas-Worten: «Wenige Jahrzehnte später hat sich das Blatt bereits gewendet: Theaitetos entwickelt seine Klassifikation der irrationalen Strecken, und bei Platon ist das Verhältnis zwischen Logistik und Geometrie vollständig umgekehrt. Die bisherige Logistik ist als Wissenschaft verpönt, die geometrischen Schlüsse sind die wahren Vorbilder exakter Beweisführung. Bei Euklid ist die Algebra vollends aus dem Bereich der offiziellen Geometrie verbannt und darf nur in geometrischem Gewande, als Flächenrechnung oder geometrische Algebra ihr Dasein fristen.» (Zum Terminus «Logistik» dieses Zitates vgl. man oben auch die Anm. 7 und 14!)

¹⁶ Sieh die beiden vorigen Anmerkungen!

¹⁷ Vgl. B. L. V. D. WAERDEN: Science awakening, Groningen 1954. S. 126: «It is therefore *logical necessity*, not the mere delight in the visible, which compelled the Pythagoreans to transmute their algebra into a geometric form.»

¹⁸ K. REIDEMEISTER: Das exakte Denken der Griechen. Hamburg 1949. S. 51: «Es ist ein weitverbreitetes Vorurteil, das wesentliche Merkmal der griechischen Mathematik sei ihre Anschaulichkeit... Richtig ist es vielmehr, dass sich in der pythagoreischen Mathematik die Umwendung vom Anschaulichen zum Begrifflichen vollzieht.»

¹⁹ Vgl. Platon, Staat VII 526 und 527. Wenn die Mathematiker über Zahlen sprechen, so verstehen sie unter Zahlen etwas, was nur gedacht werden kann; ähnlich verhält es sich auch in der Geometrie; wenn man nämlich etwas in dieser Wissenschaft

Man ersieht also aus den angeführten Beispielen, dass die gründlichere Erforschung der vorgriechischen Mathematik in der Tat auch unsere Kenntnisse über die Griechen veränderte und vertiefte. Heute können zwar die alten Griechen nicht mehr in demselben Sinne für die ersten Schöpfer und Begründer der mathematischen Wissenschaft gelten, wie man es früher von ihnen dachte, aber umso konkreter kann man heute die historische Bedeutung dessen unterstreichen, was sie in der Tat in der Mathematik geleistet hatten. Es hat sich z. B. eindeutig herausgestellt, dass in der vorgriechischen Mathematik solche Begriffe, wie *Satz*, *Beweis*, *Definition*, *Postulat* und *Axiom* noch gar nicht existierten.²⁰ Diese ältere Mathematik war eigentlich nur eine Summe von empirischen Kenntnissen; man stellte nur Regeln zusammen, wie man gewisse Aufgaben mathematischen Inhalts lösen kann, aber nie wurden Sätze in allgemeingültiger Form aufgestellt, und noch weniger wurde es versucht, irgendeinen Beweis für die Sätze zu liefern, man illustrierte höchstens in einer zahlenmässig ausgerechneten Probe die Anwendung der Regel. Zu einer deduktiven Wissenschaft wurde die Mathematik erst bei den Griechen. Diese Umwandlung der Summe von empirischen Kenntnissen in eine exakte Wissenschaft ist natürlich ein Schritt von riesiger Bedeutung für die ganze weitere Entwicklung. Man versteht also das Interesse, mit welchem man sich der Frage zuwendet: *wie*, *wann* und *warum* bei den Griechen die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft geworden ist? — Wir wollen zunächst im zweiten Kapitel dieser Arbeit drei interessante Erklärungsversuche auf die letztthin genannten Fragen besprechen.

II

Man vergleicht das Entstehen der deduktiven Mathematik oft mit der Entfaltung der Lehre über die Logik. Unter anderen scheint auch K. v. Fritz dieser Ansicht zu sein, der zuletzt in einer Arbeit²¹ mit Recht den Gedanken vertrat, dass die griechische Mathematik wohl nur infolge ihrer definitorenisch-axiomatischen Grundlegung zu einer deduktiven Wissenschaft werden konnte. K. v. Fritz antwortet zwar nicht unmittelbar auf die Frage, wie, unter welchen

veranschaulichen will, so handelt es sich auch hier gar nicht um konkrete Dinge, sondern man will die Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was anders als auf gedanklichem Wege gar nicht zugänglich ist.

²⁰ O. BECKER: Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung. Freiburg/München 1954. S. 22: «Nicht einmal die Formulierung allgemeiner Sätze ist für Babylonien gesichert. (Dagegen kommen solche in der traditionellen Form des dogmatischen Kurzsatzes [sutra] in der altindischen Sakralgeometrie vor.) Von Beweisen ist in den erhaltenen altorientalischen Dokumenten erst recht nichts zu finden; höchstens kommen zahlenmässig ausgerechnete Proben vor.»

²¹ K. v. FRITZ: Die *APXAI* in der griechischen Mathematik, Archiv für Begriffsgeschichte. Bd. I. Bonn 1955. 13–103.

Umständen, und wann eigentlich die definitorisch-axiomatische Grundlegung der griechischen Mathematik erfolgte, aber es lohnt sich dennoch seine Gedankengänge — hie und da auch weiter ergänzt — zu überblicken, denn es gibt darunter auch solche Gesichtspunkte, die unser Problem näher beleuchten können.

Euklid behandelt in seinem klassischen Werk, den «Elementen», die rund um 300 v. u. Z. entstanden, in einer Sondergruppe, gleich am Anfang seiner Erörterungen zusammengestellt, die Definitionen, Postulate und Axiome; erst nach dem Vorausschicken dieser «Prinzipien» geht er auf die Behandlung bzw. auf den Beweis der einzelnen Lehrsätze, der sog. Theoreme hinüber. Man findet bei Euklid selbst gar keine Erklärung dafür, was eigentlich der Sinn dieser Einteilung sei. Nur der Kommentator des 5. Jahrhunderts n. Zw., Proklos erklärt es in den folgenden Worten:

«Da wir behaupten, dass diese Wissenschaft, die Geometrie, auf Voraussetzungen beruhe und von bestimmten Prinzipien aus die abgeleiteten Folgerungen beweise — denn nur eine ist voraussetzungslos, die anderen aber empfangen ihre Prinzipien von dieser —, so muss unbedingt der Verfasser eines geometrischen Elementarbuches gesondert die Prinzipien der Wissenschaft lehren und gesondert die Folgerungen aus den Prinzipien; von den Prinzipien braucht er nicht Rechenschaft zu geben, wohl aber von den Folgerungen hieraus. Denn keine Wissenschaft beweist ihre eigenen Prinzipien und stellt sie zur Diskussion, sondern hält sie für an sich gewiss; sie sind ihr klarer als die Ableitungen; erstere erkennt sie in deren eigenem Licht, die Ableitungen aber durch die Prinzipien... Wenn aber jemand die Prinzipien und die Ableitungen hiervon in denselben Topf wirft, so richtet er nur Verwirrung an im ganzen Wissensbereich und vermengt, was miteinander nichts zu tun hat. Denn das Prinzip und das davon Abgeleitete sind von Haus aus voneinander gesondert.»²²

Es wird bei Proklos an anderen Stellen auch genau erklärt, was der Unterschied zwischen Definitionen, Postulaten und Axiomen sei; diese drei Dinge werden bei ihm «Prinzipien», d. h. griechisch: *ἀρχαί* genannt. Besonders wichtig ist für uns jetzt in diesem Zusammenhang, dass nach der Erklärung des Kommentators der Beweis oder die geometrische Begründung im Falle der Prinzipien nicht nötig, ja nicht einmal auch möglich sei;²³ die

²² Procli Diadochi in primum Euclidis Elementorum librum commentarii ed. G. FRIEDLEIN, Lipsiae 1873. S. 75.

²³ Proclus (ed. G. FRIEDLEIN) S. 178: «Gemeinsam ist nun den Axiomen und Postulaten, dass sie keiner Begründung und keiner geometrischen Beweise bedürfen, sondern dass sie als bekannt angenommen werden und Prinzipien sind für die Folgenden. (Sie unterscheiden sich aber voneinander ebenso, wie die Lehrsätze von den Aufgaben verschieden sind.)» — Ähnlich heisst es an einer anderen Stelle (S. 76): «Wenn der Hörer das Verständnis einer Behauptung als von sich aus einleuchtend nicht schon in sich hat, die Behauptung aber gleichwohl aufgestellt wird und er die Annahme zugibt, dann handelt es sich um eine *Definition*.» Vgl. auch noch S. 183.

Prinzipien werden als bekannt und als keines Beweises bedürftig vorausgesetzt, und sie gelten als *Gründe* für alle Theoreme, die aus ihnen folgen und gerade deswegen *nach* ihnen behandelt werden.

Man versteht in der Tat aus der Erklärung des Proklos sehr gut die Komposition des Euklidischen Werkes. Die Definitionen, Postulate und Axiome werden bei Euklid offenbar wirklich deswegen gleich am Anfang des ersten Buches²⁴ vor der Behandlung der einzelnen Lehrsätze aufgezählt, weil diese Dinge jene «Prinzipien» sind, aus welchen die Theoreme abgeleitet werden können. Dabei ist es jetzt einerlei, ob die einzelnen Definitionen, Postulate und Axiome *alle* in der Tat von Euklid selber stammen, oder ob er einige von diesen schon fertig übernahm, oder auch: ob nicht andere erst nachträglich in sein Werk hineingefügt worden seien.²⁵ Der Aufbau des ganzen Euklidischen Werkes ist selber der Beweis dafür, dass in der Tat schon der Verfasser dieser grossartigen Zusammenfassung jene Einteilung des gesamten mathematischen Wissens — in nicht-bewiesene Prinzipien einerseits und in abgeleitete Lehrsätze andererseits —, von welcher Proklos redet, gekannt haben muss. Das heisst aber mit anderen Worten auch so viel, dass Euklid um 300 v. u. Z. schon sehr genau wusste: worin überhaupt der mathematische Beweis besteht, und wie weit er geführt werden kann.

Aristoteles war es, der schon eine Generation früher, als Euklid lebte, im 4. Jahrhundert in einem seiner logischen Werke, den *Analytica posteriora* die Methoden der sog. beweisenden (apodeiktischen) Wissenschaften einer eingehenden Behandlung unterzog. Die diesbezüglichen Erörterungen des Aristoteles lassen sich im grossen und ganzen damit vereinigen, was Proklos, der Kommentator des Euklidischen Werkes über den mathematischen Beweis entwickelt, obwohl man oft den Eindruck hat, dass Euklid und die antiken Mathematiker nicht über alle Punkte derselben Meinung waren, wie Aristoteles; ja, selbst die Terminologie des Aristoteles ist nicht immer dieselbe, wie diejenige der Mathematiker.²⁶ Wir können uns jedoch diesmal damit begnügen, dass auch Aristoteles die Methoden der beweisenden (apodeiktischen) Wissenschaft an der Mathematik illustriert, und dass auch er über die Prinzipien ebenso denkt, wie Euklid bzw. Proklos; wie er schreibt:

²⁴ Postulate und Axiome werden bei Euklid nur am Anfang des ersten Buches aufgezählt, dagegen findet man Definitionen — vom VIII., IX., XII. und XIII. Buch abgesehen — am Anfang jedes einzelnen Buches. — Da die Axiome und Postulate allgemeingültiger als die Definitionen sind, wird man diese wohl verhältnismässig später gefunden haben als die Definitionen. Die Definitionen sind wohl die am frühesten erkannten mathematischen Prinzipien

²⁵ Über den verschiedenartigen Ursprung der Euklidischen Definitionen, Postulate und Axiome sich: P. TANNERY: *Sur l'authenticité des axiomes d'Euclide* (Mém. scient. II. 1912, 48–63) und A. M. FRENKIAN: *Le postulat chez Euclide et chez les modernes*. Paris 1940. 11–24.

²⁶ Treffend bemerkt in diesem Zusammenhang K. v. FRITZ: o. c. S. 103: «Die mathematische Entwicklung ist weitgehend an Aristoteles vorbeigegangen.»

«Mit dem Namen des Prinzips bezeichne ich in jeder Gattung dasjenige, worüber es sich nicht beweisen lässt, dass es *existiert*, bzw. dass es *gültig ist*.»²⁷ Kein Zweifel, in demselben Sinne werden die Definitionen, Postulate und Axiome auch durch Euklid und Proklos als «Prinzipien» angesehen.

Aber derselben Meinung war in Bezug auf die mathematischen Prinzipien — oder mindestens in Bezug auf die Definitionen — auch schon Platon um eine Generation früher als Aristoteles, in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Wie der Sokrates des Platonischen Dialoges über den «Staat» entwickelt: «Du weisst doch wohl, dass die Geometriker, die Arithmetiker und die übrigen, die sich mit ähnlichen Wissenschaften beschäftigen, allen ihren Untersuchungen *bestimmte Voraussetzungen* zu Grunde legen, wie z. B. die Begriffe 'Gerades' und 'Ungerades', die geometrischen Figuren, die drei Arten von Winkeln und manches ähnliche. Sie nehmen solche Begriffe einfach an, als ob sie sich über diese Dinge schon im klaren wären, und *halten es nicht für nötig, sich und anderen Rechenschaft über etwas zu geben, was einem jeden doch klar sei*. Von dieser Grundlage aus gehen sie dann vorwärts und finden schliesslich in Übereinstimmung mit ihr das, was Gegenstand ihrer Untersuchung war» (VI 510 C—D). «Die Seele ist bei ihren Betrachtungen auf Voraussetzungen angewiesen und geht nicht bis auf den Grund, da sie *über die Voraussetzungen hinaus rückwärts nicht gehen könnte*» (VI 511 A).

Überlegt man sich diese Platon-Zitate, so muss man daraus schliessen, dass die Griechen lange vor Euklid, zu Platons Zeit allerdings, schon sehr wesentliche Dinge über die Art und Weise des mathematischen Beweisverfahrens wissen mussten. Sie wussten nämlich, dass der mathematische Beweis kein unendlicher Prozess sein kann; es gibt in ihm keinen *regressus ad infinitum*. Mit anderen Worten: sie wussten schon, dass die Mathematik auf solche Voraussetzungen gebaut ist, die man nicht weiter beweisen kann. Dieses Wissen ist zu der definitorisch-axiomatischen Grundlegung der Mathematik unerlässlich nötig, und es war zu Platons Zeit allerdings schon vorhanden.

Fragen wir vorläufig noch nicht, auf welchem Wege wohl die Griechen zu der Überzeugung kamen, dass die beweisende (apodeiktische) Wissenschaft auf unbewiesene Voraussetzungen gebaut werden muss. Statt dieser jetzt noch rätselhaften Frage, versuchen wir diesmal eine andere, etwas leichtere zu beantworten: was mag denn überhaupt die Griechen veranlasst haben, eine definitorisch-axiomatische Grundlegung für die Mathematik zu erschaffen? — Diese Frage liesse sich — mindestens provisorisch — etwa folgendermassen beantworten: sie mussten einmal wohl auf den Gedanken kommen, dass es möglich wäre, alle jene Feststellungen — oder sagen wir: Sätze mathematischen Inhalts — zusammenzustellen, die man überhaupt nicht beweisen konnte, die aber auch in sich als evident empfunden wurden,

²⁷ Aristoteles, *Analytica Posteriora* I 10.

und auf die man dann im weiteren ihr ganzes mathematisches Wissen aufbauen konnte. (Möge diese Vermutung auch noch so vage und unbestimmt sein, so vermag sie uns dennoch — mindestens als Arbeitshypothese — weiterzuhelfen.)

Das Zustandekommen einer solchen definitorisch-axiomatischen Grundlegung wurde durch K. v. Fritz mit der Entfaltung der Aristotelischen Logik verglichen. Die Aristotelische Logik soll nämlich — wie er schreibt — aus der Dialektik hervorgegangen sein. (Unter «Dialektik» versteht er die Platonische *διαλεκτική τέχνη*.) Es ist in der dialektischen Auseinandersetzung die Aufgabe des einen Dialogpartners den anderen dazu zu bringen, einen von ihm gewählten Satz zuzugeben. Zu diesem Zweck muss er solche Prämissen finden, die der Partner für richtig hält und daher zugeben wird, und aus denen sich der Endsatz, den der Partner nicht für richtig hält und nicht zugeben will, mit logischer Notwendigkeit ableiten lässt.

Kein Zweifel, dieses Schema lässt sich in der Tat sehr leicht auf die Euklidische Mathematik anwenden. Man kann fast über jeden beliebigen «komplizierten» Euklidischen Satz feststellen, dass er im Beweis auf «einfachere» Sätze zurückgeführt wird; die «einfachen» werden dagegen unmittelbar aus Definitionen, Postulaten oder Axiomen abgeleitet.²⁸ Die Mathematik heisst ja gerade deswegen «*deduktive* Wissenschaft», weil sie alle ihre Behauptungen (Sätze) aus solchen Prämissen *ableitet*, bzw. die Behauptungen auf allgemein zugegebene Prämissen *zurückführt*.

Lehrreich ist, das Zustandekommen der definitorisch-axiomatischen Grundlegung mit der Entfaltung der Aristotelischen Logik zu vergleichen, auch schon deswegen, weil es uns auf einen sehr wesentlichen Umstand aufmerksam macht. In der dialektischen Auseinandersetzung ist nämlich der Ausgangspunkt desjenigen, der etwas beweisen will, der Endsatz selbst, und er sucht erst *nachträglich* jene Prämissen zu seiner Behauptung, die auch sein Gegner für richtig hält und zugibt; aber es ist gar nicht unbedingt nötig, dass man zu jenem Endsatz, den man beweisen will, in der Tat auf Grund der Kenntnis jener Prämissen gelangt sei, die man im Beweis benutzt. Im Gegenteil, es ist sehr wohl möglich, dass die Teilnehmer der dialektischen Auseinandersetzung die logischen Prämissen irgendeiner wahr empfundenen oder plausiblen Behauptung erst dann erkannten, als der eine von ihnen versuchte den anderen dazu zu bringen, den von ihm gewählten Satz zuzugeben. — Es ist ja klar, dass derselbe Fall auch für einen grossen Teil der mathe-

²⁸ Es ist bezeichnend für den naiven Empirismus der Griechen, dass sie den Unterschied zwischen «einfacheren» und «komplizierteren» Sätzen für *objektive* Tatsache hielten. Sie sind scheinbar nicht dahintergekommen, wie subjektiver Art jede solche Unterscheidung ist. Allerdings erörtert Aristoteles langwierig, welcher Art jene Prämissen sein müssten, auf die sich die deduktive Wissenschaft bauen kann; vgl. K. v. Fritz: o. c. S. 23: «Das als Prinzip angenommene muss in sich *einsichtiger* (?), *einfacher* (?) und abstrakter sein als das, was daraus abgeleitet wird.»

mathematischen Sätze Euklids gültig ist. In manchen Fällen war der Inhalt dieser Sätze bei den Völkern des alten Orients aus der Praxis schon längst bekannt, als später die Griechen versuchten, jene «einfacheren» Sätze zu finden, aus welchen sich die «komplizierten» ableiten lassen. Denn «nach Euklid dargestellt erscheint zwar die Mathematik als eine systematische deduktive Wissenschaft, aber die Mathematik im Entstehen erscheint als eine experimentelle (induktive) Wissenschaft».²⁹

Nachdem im Sinne der versuchten Erklärung die Griechen im Laufe der definitorisch-axiomatischen Grundlegung der Mathematik erst *nachträglich* jene Prämissen suchten, die zum Beweis ihrer Sätze nötig waren, wird es auch verständlich, dass es ihnen kaum gleich am Anfang gelingen konnte, die Frage zu klären: welche sind denn die «einfachsten» Behauptungen mathematischen Inhalts, welche dürfen als allgemein zugegebene Prämissen, als keines Beweises bedürftige Axiome, Postulate oder Definitionen gelten? — Es ist wahrscheinlich, dass alles, was bei Euklid unter den «Prinzipien» zusammengefasst wird, das Ergebnis einer längeren Entwicklung darstellt. Denn im Sinne des obigen Schemas mussten ja die Mathematiker anfangs nur bestrebt gewesen sein, die «komplizierteren» Behauptungen auf «einfachere», auf solche Sätze zurückzuführen, die auch der Gegner für richtig hielt. Soll das wirklich der Weg der Entwicklung gewesen sein, so ist es kaum denkbar, dass man gleich am Anfang, sozusagen mit einem Schlage die «aller-einfachsten» Prämissen, die Axiome, Postulate und Definitionen gefunden hätte. Bezeichnend dafür, wie lange Zeit hindurch derartige Versuche angestellt wurden, ist die Erzählung von Proklos, der berichtet,³⁰ dass auch noch in der Zeit nach Euklid Apollonios von Perge versucht hätte, das erste Euklidische Axiom zu beweisen: «was demselben gleich ist, ist untereinander gleich».³¹ Proklos behauptet, dass dieser Versuch von Apollonios deswegen fehlschlagen musste, weil er mit «weniger evidenten» Prämissen begründen wollte, was «evidenter» ist, als seine eigenen angeblichen Prämissen.³²

Wie man sieht, stellt also die versuchte Erklärung — d. h. der Vergleich der definitorisch-axiomatischen Grundlegung der griechischen Mathematik mit der Entfaltung der Aristotelischen Logik — eine Theorie dar, die zwar teilweise *richtig* jene Umstände beleuchtet, unter welchen die griechische

²⁹ G. PÓLYA: Schule des Denkens, Vom Lösen mathematischer Probleme. Bern 1949. S. 9.

³⁰ Proclus (ed. G. FRIEDLEIN) 183.

³¹ Nach der Übersetzung von O. BECKER: Grundlagen der Mathematik. Freiburg/München 1954. S. 90. Dasselbe in der Übersetzung von P. TANNERY (s. oben Anm. 25): *Les choses égales à une même sont aussi égales entre elles.*

³² Bemerken wir im Zusammenhang mit diesem Versuch von Apollonios: nach unseren heutigen Kenntnissen wäre die Annahme *nicht* wahrscheinlich, dass Apollonios «bewusst axiomatisiert hätte» — in dem Sinne nämlich, dass er erkannt hätte: Euklids Axiome können in der Tat in einem nicht-euklidischen Axiomen-System als abgeleitete Sätze auftreten.

Wissenschaft zustande kam, aber der Verfasser — K. v. Fritz — versäumt dennoch — wohl auch infolge der anders orientierten Zielsetzung seiner Untersuchung —, die Frage klar und prägnant aufzuwerfen: *wann, wie und warum* jene entscheidende Wandlung eintrat, die zur Geburt der deduktiven Wissenschaft führte. Er antwortet auf diese Frage nur nebenbei mit den folgenden drei Behauptungen, — die zwar im Grunde wieder richtig sind, aber in ihren Konturen doch etwas verschwommen bleiben:

1. Er stellt fest, dass man die ersten Schritte zur definitorisch-axiomatischen Grundlegung wohl schon in der Zeit *vor* Aristoteles wird getan haben müssen, denn sonst könnte sich Aristoteles nicht eben auf die Mathematik in jenen Erörterungen berufen, in denen er die Methoden der beweisenden (apodeiktischen) Wissenschaft bespricht.³³

2. Er verweist auch wiederholt darauf hin, dass die ältere griechische Mathematik — besonders diejenige des Thales — allem Anschein nach noch in höherem Masse empirischen Charakters sein musste, und die unmittelbare Evidenz der Anschaulichkeit erstrebte; später — zur Zeit Euklids — wurden der empirische Zug und das Erstreben der Anschaulichkeit in der griechischen Mathematik in den Hintergrund gedrückt; die Mathematik dieses späteren Zeitalters war schon abstrakter.³⁴

3. Einmal stellt K. v. Fritz auch die Tatsache fest, dass jene griechische Mathematik, die von den Pythagoreern des 5. Jahrhunderts ausgegangen war, schon einen anderen Charakter hatte, als die Geometrie des Thales im 6. Jahrhundert: sie begnügte sich nämlich nicht mehr mit der Evidenz der Anschaulichkeit.³⁵

Ein anderer Mangel dieser Theorie besteht darin, dass sie die folgenden Fragen so gut wie völlig offenlässt: Ob und inwiefern das Zustandekommen der deduktiven Mathematik mit der Entfaltung der Lehre über die Logik zusammenhing? Verliefen die beiden Erscheinungen — die Entwicklung der Logik und diejenige der Mathematik — nur parallel nebeneinander, sich nur stellenweise gegenseitig beeinflussend, oder musste die eine der anderen unbedingt vorangehen? Und welcher gehört dann die Priorität? — Auch wir lassen diese Fragen vorläufig auf sich bestehen, und wir wenden uns statt dessen jener anderen Theorie zu, die sich nicht mehr damit begnügt, das Entstehen der deduktiven Mathematik mit der Entfaltung der Logik zu

³³ K. v. FRITZ: o. c. S. 43: «Es ist deutlich zu sehen, dass Aristoteles nicht in der Weise hätte mit konkreten Beispielen aus der Mathematik operieren können, wenn Ansätze zu einer definitorisch-axiomatischen Grundlegung der Mathematik ... nicht schon vor ihm vorhanden gewesen wären.»

³⁴ Auf die Erörterungen des Verfassers, die die Geometrie des Thales betreffen, kommen wir noch im III. Kapitel dieser Arbeit zurück.

³⁵ K. v. FRITZ: o. c. S. 79. — Der Gedanke, dass mit den Pythagoreern des 5. Jahrhunderts eine neue Epoche in der Geschichte der griechischen Mathematik beginnt, stammt eigentlich von K. REIDEMEISTER. Sieh darüber das III. und IV. Kapitel dieser Arbeit.

vergleichen, sondern auch die Antwort auf die Frage versucht: wodurch eigentlich dieser merkwürdige Entwicklungsprozess veranlasst wurde?

Die ungarischen Verfasser Gy. Alexits und I. Fenyő behandelten zuletzt in einer populärwissenschaftlich orientierten Arbeit die Fragen der Mathematik und des dialektischen Materialismus.³⁶ Es wird sich trotz des ungebundenen Charakters dieser Schrift dennoch lohnen, einige Ausführungen der Verfasser näher zu besehen, da sie unter anderem auch eine sehr interessante und originelle Vermutung darüber aufstellen, wie die deduktive Mathematik bei den Griechen entstand. Sie schreiben nämlich an einer Stelle ihrer Untersuchung:

«Die wissenschaftliche Mathematik beginnt eigentlich mit dem Entdecken der Notwendigkeit des strengen Beweises (Pythagoras). Das Entdecken der Notwendigkeit des Beweises erklärt sich seinerseits aus den gesellschaftlichen (sozialen) Umständen. Seine Anfänge sind unmittelbar in der gleichzeitigen Philosophie zu suchen. Die Diskussionsart der Sophisten, die jeden Widerspruch ans Licht zu bringen vermochte, erweckte in den griechischen Forschern den Wunsch nach der logischen Beweisführung. Geht man weiter, so wird man feststellen müssen, dass der hohe Entwicklungsstand der Philosophie, und vor allem ihre Verbreitung in weiten Kreisen, nur die Folge der politischen, also der gesellschaftlichen Diskussionen, Polemiken war. Die Auswirkung dieser Diskussionen kam in der Mathematik epochemachend dadurch zur Geltung, dass man die Notwendigkeit des strengen Beweises entdeckte. Den mathematischen Kenntnissen der übrigen Völker des Altertums fehlte eben dieser entscheidend wichtige Zug, darum lassen sich auch diese Kenntnisse mit der echten Wissenschaft der Griechen nicht vergleichen.»³⁷

Ehe wir versuchten zu der Betrachtungsart dieses Zitates Stellung zu nehmen, müssen wir noch auf einen anderen Gedanken aufmerksam machen, der die Denkweise der Verfasser weitgehend beeinflusste. Sie wollten nämlich auch im Falle der Griechen die Gültigkeit jener These nachweisen, dass die Entwicklung der Mathematik im allgemeinen mit der Entwicklung der gesamten Produktion Schritt hält, und dass ihre Probleme im Laufe der Geschichte oft einfach aus den Bedürfnissen der Produktion erwachsen.³⁸ — Möge aber dieser Gedanke im grossen und ganzen zwar richtig sein, so lässt er sich dennoch nicht verallgemeinern. Im Falle der griechischen Mathematik lässt sich nämlich für die Zeit von Pythagoras bis einschliesslich Euklid kaum irgendeine nähere Verbindung zwischen den Problemen der deduktiven Wissenschaft einerseits und denen der Produktion andererseits nachweisen. Es wäre auch verkehrt zu vergessen, dass die griechischen Mathematiker in den

³⁶ GY. ALEXITS—I. FENYŐ: Matematika és dialektikus materializmus (= Mathematik und dialektischer Materialismus), Budapest 1948.

³⁷ Ebd. S. 39.

³⁸ Dasselbst S. 36—37.

meisten Fällen gar nichts davon hören wollten, dass ihre Wissenschaft überhaupt etwas mit der täglichen Praxis zu tun hätte. Sie erblickten in ihrem Wissen keineswegs das Ergebnis irgendwelcher praktischen Tätigkeit, und noch weniger ein Werkzeug der Produktion ;³⁹ im Gegenteil, die Mathematik stellte für sie sozusagen das völlige Sich-Abwenden von der Praxis, die reine Betrachtung, die blosse Gedankentätigkeit dar. — Ohne Rücksicht darauf, ob sie damit auch Recht hatten, darf man diese Ansichten der antiken Mathematiker nicht ausser Acht lassen, denn sonst wird es kaum möglich, jene Umstände zu begreifen, unter denen die deduktive Wissenschaft entstand.

Der Gedanke also, dass die Entwicklung der griechischen Mathematik mit der Entwicklung der Produktion Schritt hielte, lässt sich für die Zeit von Pythagoras bis Euklid kaum rechtfertigen. Noch weniger überzeugt die Gedankenführung des vorigen Zitates, nämlich die versuchte Antwort auf die Frage: wie die Mathematik bei den Griechen zu einer deduktiven Wissenschaft wurde. Die Verfasser möchten nämlich auch in dieser entscheidenden Wandlung den *indirekten Einfluss* der gleichzeitigen Produktion nachweisen, und sie denken folgendermassen:

Die Entwicklung der antiken Produktionsweise ermöglichte zu einer bestimmten Zeit die *Demokratie* der griechischen Sklavenhalter. In der Demokratie herrscht jedoch die *Freiheit der Diskussion*, und im Laufe der Diskussionen bringen die *Sophisten* als geschickte Wortstreitführer die *Widersprüche* der verschiedenen Meinungen ans Licht; dadurch erwacht mit der Zeit der *Wunsch nach der logischen Beweisführung*, und diesen Wunsch erfüllt auch der griechische Mathematiker als er Beweise für seine Behauptungen (Sätze) liefert.

Besieht man die einzelnen Verknüpfungen dieser Gedankenkette genauer, so entdeckt man gleich den chronologischen Fehler der Konstruktion. Man soll nach der dargestellten Denkweise infolge der Tätigkeit der Sophisten auf die Widersprüche der verschiedenen Meinungen aufmerksam geworden sein, und dies soll den Wunsch nach der logischen Beweisführung erweckt haben. Die chronologische Reihenfolge der ineinander knüpfenden Gedankenmotive verläuft also: *entwickelte Produktionsweise — Demokratie — Diskussionsfreiheit — Sophisten — Entdeckung der verwirrenden Widersprüche — Wunsch nach logischer Beweisführung*, und schliesslich: *die Logik selbst*. Ist man einmal auf dieser Bahn bei der Logik angelangt, so ist es schon leicht zu behaupten, dass dieselbe Logik auch in der mathematischen Beweisführung zur Geltung käme. — Aber der auffallende chronologische Fehler dieser

³⁹ Sokrates betont z. B. im Platonischen Dialog über den «Staat», dass ein sehr kurzes Stück Geometrie und ein sehr kleiner Bruchteil Arithmetik vollständig dazu genüge, um die Bedürfnisse des praktischen Lebens zu befriedigen (VII 526 D); der wesentlichere Teil dieser Disziplinen befriedigt nämlich nicht praktische, sondern Bedürfnisse anderer Art.

Konstruktion besteht darin, dass man gewöhnlich die Anfänge der deduktiven Mathematik auf das 6. Jahrhundert setzt; Pythagoras, auf den sich auch die Verfasser der behandelten Schrift berufen, lebte ja in diesem Jahrhundert. Es muss also — im Sinne der obigen Konstruktion — zur Zeit des Pythagoras irgendeine Lehre über die Logik schon vorhanden gewesen sein. Es fällt aber die Tätigkeit der Sophisten, die nach dem vorigen Schema die Entfaltung der Logik überhaupt hätte vorbereiten müssen, erst auf das 5. Jahrhundert. — Die dargestellte Konstruktion wäre also nur in dem Falle brauchbar, wenn es erst gelingen sollte nachzuweisen, dass die Logik als Wissenschaft ihren Ursprung in der Tat in den Diskussionen des täglichen Lebens hat,⁴⁰ und wenn es schon bewiesen wäre, dass es eine Logik wirklich auch schon *vor* jener Zeit gab, in welcher sich die ersten Anfänge der deduktiven Wissenschaften melden.

Aber gesetzt, dass der chronologische Fehler sich irgendwie korrigieren liesse, auch so könnte noch die Konstruktion kaum bestehen. Denn fassen wir nur das vorige Zitat genauer ins Auge. — Die Verfasser sprechen von der «Notwendigkeit des strengen mathematischen Beweises», aber sie versäumen, die historische Frage zu klären: worin eigentlich im griechischen Altertum diese «Notwendigkeit» bestanden haben mag? Statt diese Frage zu stellen, erscheint bei ihnen ihre eigene völlig moderne Auffassung von der «Notwendigkeit des mathematischen Beweises» in einer solchen Form, als ob sie in der Tat wirklich eine «Erkenntnis der alten Griechen» gewesen wäre. Es ist nämlich interessant, wie sie die angeblich *griechische* Entdeckung dieser Notwendigkeit illustrieren. — Nachdem sie jene alte Approximationsformel der ägyptischen Geometrie erwähnt hatten, dass man die Fläche eines gleichschenkligen Dreiecks bekommt, wenn man die Basis mit der Hälfte der Seite (!) multipliziert,⁴¹ setzen sie fort:

⁴⁰ Der Gedanke, dass die Logik aus den Diskussionen des täglichen Lebens hervorgegangen sei, taucht in der Form einer Vermutung bei O. GIGON auf; er schreibt nämlich im Parmenides-Kapitel seines Buches «Der Ursprung der griechischen Philosophie», Basel 1945, S. 251: «Das Verfahren des Parmenides, durch Elimination der Möglichkeiten zum Wahren zu gelangen, setzt voraus, dass Parmenides eine bestimmte formale Methode des Beweisens schon kennt, ehe er sich daran macht, nun das Sein zu beweisen. Die Frage stellt sich dann nach dem Ursprung dieser Methode. Er wird schwerlich in der ionischen Kosmologie oder in der pythagoreischen Verkündigung zu suchen sein. Mit allen Vorbehalten sei bemerkt, dass *eine solche Technik des Beweises am leichtesten in der Welt der politischen und juristischen Argumentation, in der sogenannten Gerichtsrhetorik sich bilden konnte.* Die konkrete Frage des Advokaten nach einem ungeklärten Tatbestand oder einer ungewissen Täterschaft konnte ohne Zweifel am ehesten zu solchen Beweismethoden führen, wie sie hier Parmenides an einem ganz anderen Objekt übt. Was wir wissen, ist, dass Sizilien zur Zeit des Parmenides die Gerichtsrhetorik geschaffen haben soll. Was uns fehlt, sind die äusseren Beweisstücke, die von der sizilischen Rhetorik zum «Wege der Forschung» des Parmenides hinüberführen. So muss dies lediglich eine nur zögernd angedeutete Hypothese bleiben.»

⁴¹ Zu dieser Approximationsformel vgl. man übrigens O. NEUGEBAUER: Vorlesungen über die Geschichte der antiken math. Wissenschaften Bd. 1. Berlin 1934 S. 123: «Eine Anzahl von Feldern (scil.: in Aegypten) sind dreieckig. Die Angabe der Grösse erfolgt dann etwa nach dem folgenden Schema: Die westliche Seite ist a , die

«Diese Approximation genügte den alten Aegyptern, weil in diesem Lande der Nil meistens solche Gebiete überschwemmte, die in *langgezogene* gleichschenklige Dreiecke aufgeteilt waren, und die Flächen solcher Dreiecke in der Tat auf Grund der gegebenen Formel — für die Genauigkeit der damaligen Messungen! — richtig, d. h. der Erfahrung entsprechend berechnet werden konnten. *Die Griechen wollten jedoch dieselbe Formel für die Lösung architektonischer Aufgaben anwenden, wo sie schon versagte.*»⁴²

Wir haben den letzten Satz des Zitates hervorgehoben, weil er in der Tat eine überraschend geistreiche Vermutung ist, die sich aber, leider, kaum mit irgendwelchen Quellenangaben belegen lässt. Haben denn die Griechen wirklich jemals versucht die erwähnte Approximationsformel der Aegypter in der Architektur zu benutzen? Und warum sind eigentlich die Aegypter selber nicht auf die glorreiche Idee gekommen, die oft benutzte Formel für die Lösung ihrer *eigenen* architektonischen Aufgaben zu verwenden? Auch sie kannten ja nicht nur die Feldmessung, sondern auch die Architektur! — Aber man würde das alles noch irgendwie in Kauf nehmen können, wenn die Verfasser ihre kühne Kombination nicht weiterführten:

«Nachdem die eben erwähnte Approximationsformel versagte, und ähnlicherweise auch andere bloss empirisch aufgestellte Sätze, mussten die griechischen Mathematiker zu der Überzeugung gelangen, dass die abstrakte Verallgemeinerung der blossen Erfahrung in sich noch keine hinreichende Sicherheit und Genauigkeit zu gewähren vermag; infolgedessen entdeckten sie die Notwendigkeit des mathematischen Beweises, und damit begründeten sie die mathematische Wissenschaft im heutigen Sinne des Wortes.»⁴³

Kein Zweifel, diese Denkweise projiziert die völlig moderne Auffassung von der Notwendigkeit des mathematischen Beweises in das griechische Altertum zurück. Man kann nämlich in der Wirklichkeit gar keinen Beweis dafür angeben, dass die Begründung der deduktiven Wissenschaft in der Tat mit dem Zweck erfolgt wäre, um im Interesse der täglichen Praxis eine grössere Sicherheit und Genauigkeit zu gewinnen, als welche die blossen Erfahrung zu bieten vermag. Im Gegenteil, wie man später sehen wird: die Griechen wandten sich von der Praxis und damit zum Teil auch von der Erfahrung selbst ab, als sie die theoretische Wissenschaft begründeten.

östliche b , die südliche c , die nördliche 'nichts'. Die Fläche ist dann wieder aus $\frac{a+b}{2} \cdot \frac{c}{2}$ zu erhalten. Hier hat man es also immer mit Näherungsrechnungen zu tun, die sich auf ganz bestimmte Felder beziehen und mit einer für praktische Zwecke ausreichenden Genauigkeit die Flächen angeben.»

⁴² Gy. ALEXITS und I. FENYŐ: o. c. S. 37—38.

⁴³ Dasselbst S. 39. — Ich war bestrebt die ungarischen Zitate möglichst genau zu übersetzen; es muss jedoch bemerkt werden, dass die Übersetzung der letzten Stelle nur *dem Inhalt nach* treu ist. Um eine für unsere gegenwärtigen Zwecke völlig nebensächliche Polemik zu vermeiden, habe ich offensichtliche Fehler und Missverständnisse des Textes in der Übersetzung beseitigt.

Vorläufig wollen wir uns jedoch bloss mit der Feststellung begnügen, dass die griechischen Mathematiker — besonders im ersten Jahrhundert der deduktiven Wissenschaft — bestrebt waren, auch sehr viele solche Sätze zu beweisen, deren Wahrheit sie aus der Praxis schon längst gekannt hatten. Diese Sätze sind dadurch, dass man sie bewiesen hatte, für die Praxis um gar nichts wertvoller geworden, als früher die blossen empirischen Kenntnisse waren. Man zog aus dem deduktiven Beweis im Altertum gar keinen unmittelbaren praktischen Nutzen. Ja, es scheint sogar, dass die antiken Mathematiker die praktische Brauchbarkeit des deduktiven Beweises nicht einmal geahnt hatten! Nach einer verbreiteten Anekdote liess z. B. Euklid — als ihn einmal ein Schüler fragte, was für einen Nutzen er aus dem Erlernen der mathematischen Ableitungen ziehen könnte — seinen Sklaven kommen: er sollte dem Fragenden einen Obolus schenken, da der betreffende scheinbar unbedingt einen Nutzen davon ziehen müsste, was er erlernt.⁴⁴ — Diese alte Anekdote wäre kaum möglich gewesen, wenn die griechischen Mathematiker überhaupt eine Ahnung davon gehabt hätten, wie die exakten mathematischen Beweise in der Praxis unmittelbar brauchbar sind. — Es ist also irreführend zu behaupten, dass die Griechen die Notwendigkeit des strengen mathematischen Beweises entdeckt hätten. Denn es stimmt zwar, dass die griechischen Mathematiker ausserordentlich strenge Beweise erstrebten, aber auf die Frage, wozu eigentlich diese Beweise nötig sind, hätten sie selbst überhaupt nicht antworten können.

Eine andere Schwäche der durch Alexits und Fenyó versuchten Erklärung besteht darin, dass sie den Ursprung des mathematischen Beweisverfahrens aus den Formen des alltäglichen Beweisverfahrens ableiten möchte. Im Sinne ihrer Auffassung wären die Menschen zuerst im Laufe der Diskussionen des alltäglichen Lebens auf die verwirrenden Widersprüche der Meinungen aufmerksam geworden, infolgedessen wäre der Wunsch nach der logischen Beweisführung erwacht, und später hätten auch die Mathematiker diesen Wunsch auf ihrem eigenen Gebiete zu erfüllen versucht. Das mathematische Beweisverfahren wäre also nur eine weiterentwickelte Form des alltäglichen Beweises. — Aber lässt sich in der Tat der Ursprung des exakten mathematischen Beweises aus solchen Formen des Beweisens ableiten, die *in ihrer Qualität* vom mathematischen Beweis grundverschieden sind? Denn die Methoden des Beweisens im alltäglichen Leben besitzen nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit mit dem mathematischen Beweis. Der nicht-mathematische Beweis kann meistens nur bestrebt sein, die *Wahrscheinlichkeit* irgend-einer Behauptung nahezulegen; als Kriterium der Wahrheit gelten aber in diesen Fällen immer: die *Praxis*, die *Erfahrung* bezw. die *Tatsachen* selbst. Dagegen mussten die griechischen Mathematiker des Altertums sehr oft

⁴⁴ Vgl. G. SARTON: *Ancient Science and Modern Civilization*, London 1954 p. 20.

eben solche *Tatsachen* in allgemeingültiger Form beweisen, die man aus der Praxis schon seit Jahrhunderten sehr gut gekannt hatte, und deren Wahrheit man nie bezweifelte. Denn die Mathematik ist ja eben dadurch zu einer Wissenschaft geworden, dass sie sich — abgesehen von den Prinzipien — mit der bloss empirischen Erfahrung der Tatsachen nicht begnügte, sondern erkannte, dass meistens die alleroffenbarsten Tatsachen selbst des Beweises bedürftig sind. — Suchen wir also den Ursprung des mathematischen Beweises in solchen Formen des alltäglichen Beweisverfahrens, die in ihren Ansprüchen viel bescheidener als der mathematische Beweis sind, so müssten wir noch erklären können: wieso und warum eigentlich bei den Griechen der mathematische Beweis so ausserordentlich streng und anspruchsvoll geworden ist, — weit über die Möglichkeiten jener Beweisformen hinaus, die im alltäglichen Leben jemals üblich waren? — Die Theorie von Alexits und Fenyő gibt auf diese besonders wichtige Frage gar keine Antwort.

Man findet den dritten Erklärungsversuch über das Entstehen der griechischen exakten Wissenschaft, den wir hier noch erwähnen müssen, bei B. L. v. d. Waerden.⁴⁵ Er verweist nämlich darauf hin, dass die Griechen viele mathematische Kenntnisse empirischen Ursprungs von den Ägyptern und Babyloniern fertig übernahmen, aber die verschiedenen praktischen Regeln altorientalischer Herkunft nicht immer untereinander im Einklang waren. Die Babylonier berechneten z. B. den Kreisinhalt nach der Formel $3r^2$, dagegen die Ägypter nach der anderen: $(\frac{8}{9} \cdot 2r)^2$. Nun mussten die Griechen, als sie die abweichenden, bloss empirischen und nur für bestimmte praktische Zwecke brauchbaren Regeln kennenlernten, für sich entscheiden, welche von diesen die bessere sei, und wie könnte man den Kreisinhalt noch genauer berechnen. So wären sie langsam auf den Gedanken der exakten Ableitung gekommen.

Diese Theorie ist zweifellos bescheidener als die beiden früheren. Sie sucht den Ursprung der exakten Mathematik nicht irgendwo in der Nähe der Logik, oder auf einem Wege, der der Entfaltung der Logik parallel läuft; auch das mathematische Beweisverfahren will sie nicht auf solche Formen des Beweisens zurückführen, die im alltäglichen Leben üblich waren, sie möchte statt dessen das Streben nach Exaktheit einfach aus solchen Überlegungen ableiten, die rein mathematischer Art sind. — Es ist in der Tat sehr wohl möglich, dass zu der Entfaltung der exakten Wissenschaft — beson-

⁴⁵ B. L. v. D. WAERDEN: *Science awakening*, Groningen 1954, S. 89; vgl. damit O. BECKERS Kritik über die holländische Ausgabe desselben Buches (1950) in *Gnomon* 23 (1951) 297 ff.: «Interessanter als alle Einzelheiten ist die Gesamtauffassung des Verf. von der frühgriechischen Mathematik. Die entscheidende Wendung sieht er mit Recht in dem Auftreten von Theoremen mit Beweisen. Das Motiv liegt nach ihm in der Übernahme einer nicht immer einheitlichen orientalischen Tradition (wie z. B. die verschiedene Bestimmung des Kreisinhalts durch Ägypter und Babylonier) und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit einer kritischen Entscheidung zwischen ihnen.»

ders am Anfang, im Falle des Thales — auch solche Reflexionen beitrugen. Es ist jedoch ein Mangel dieser an sich wohl treffenden Vermutung, dass sie jene auffallende und bemerkenswerte Erscheinung völlig ausser Acht lässt, welche sonst in einem anderen Zusammenhang auch v. d. Waerden selbst mit Recht betonte, dass nämlich die griechischen Mathematiker schon sehr früh bestrebt waren, um möglichst alles, selbst die alleroffenbarsten Tatsachen peinlich exakt zu beweisen. Stellt man die zur Zeit bekannten ältesten mathematischen Beweise der Griechen zusammen, so bekommt man gar nicht den Eindruck, als ob die griechischen Mathematiker die exakte Wissenschaft mit dem Zweck zustande gebracht hätten, um solche früher «strittige Fragen» entscheiden zu können, wie z. B. die Berechnung des Kreisinhalts. Im Gegenteil, die ältesten mathematischen Ableitungen beweisen sozusagen lauter unbestreitbare, beinahe triviale Tatsachen, die aus der empirischen Praxis auch früher schon längst und ebenso tadellos bekannt sein mussten. — Nun was mag aber die ältesten Mathematiker veranlasst haben, um möglichst alles, auch offenbare und wohlbekannte Tatsachen beweisen zu wollen? — B. L. v. d. Waerdens eben erwähnte Theorie antwortet auf diese Frage nicht.

Man sieht also: die hier zusammengestellten drei verschiedenen Erklärungsversuche liefern zwar sehr gute und brauchbare Gesichtspunkte für die weitere Forschung, aber sie lösen das Problem nicht. Die Frage bleibt auch weiterhin offen: wie ist die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft geworden?

Nachdem die Wissenschaftsgeschichte das Entstehen der griechischen exakten Mathematik bisher nicht beruhigend erklären konnte, wollen wir im nächsten Kapitel mindestens skizzenhaft zusammenfassen, was man über diese Frage auf Grund unserer heutigen Kenntnisse behaupten kann. Zuerst überblicken wir die diesbezüglichen wichtigsten Angaben der antiken Überlieferung (*Punkt A*), dann ergänzen wir diese Angaben mit einigen Feststellungen der gegenwärtigen Forschung (*Punkt B*).

III

A) Die dreizehn Bücher der Euklidischen Elemente, die rund um 300 v. u. Z. entstanden, stellen die älteste klassisch gewordene Zusammenfassung der antiken Mathematik dar. Euklids Darstellung der Mathematik ist — trotz jener teilweise unbedingt berechtigten Einwände, die seitdem im Laufe der Jahrhunderte gegen sie vielfach erhoben wurden — bis auf den heutigen Tag sozusagen mustergültig geblieben.⁴⁶ Man kann also mit

⁴⁶ Man vgl. dazu die Worte von G. PÓLYA: o. e. in den Kapiteln «Durchführen eines Planes» (S. 96 ff.) und «Warum Beweise?» (S. 225 ff.).

Recht behaupten, dass der exakte mathematische Beweis der Griechen zur Zeit Euklids seine höchste Entwicklungsstufe eigentlich schon erreicht hatte. Die Ausbildung und Entfaltung der deduktiven Wissenschaft muss also auf die Zeit *vor* Euklid fallen. Was weiss die antike Überlieferung über dieses Zeitalter vor Euklid?

Der Verfasser der ältesten griechischen Mathematik-Geschichte war Eudemos von Rhodos, ein Schüler von Aristoteles nicht lange vor Euklid, im 4. Jahrhundert. Man findet einen kurzen Auszug seines verlorenen Werkes im Kommentar von Proklos (5. Jahrhundert n. Zw.) zum ersten Buch der Euklidischen Elemente. Das ist das berühmte «Mathematiker-Verzeichnis» von Proklos. Die wichtigsten Feststellungen dieses Verzeichnisses, die uns interessieren, sind die folgenden.

Der älteste Vertreter der griechischen Mathematik, bzw. der Geometrie, Thales im 6. Jahrhundert, soll sein Wissen in Aegypten gesammelt und von dorthier diese Disziplin zu den Griechen gebracht haben. Nach dem Text soll er manches selber erfunden, und in manchem seinen Nachfolgern den Weg zu den Prinzipien gezeigt haben, dadurch, dass er einige Fragen allgemeiner, einige aber handgreiflicher (in sinnlich wahrnehmbarer Form) auffasste (*τοῖς μὲν καθολικώτερον ἐπιβάλλων, τοῖς δὲ αἰσθητικώτερον*).⁴⁷

Die nächste, für uns wichtige Feststellung des Verzeichnisses betrifft jenen Pythagoras, der ebenso im 6. Jahrhundert lebte. Es wird behauptet, dass Pythagoras die Beschäftigung mit der Geometrie — nach dem Wortlaut des Textes: diese «Philosophie» — verändert hätte, indem er ihr eine solche Form gab, die es ermöglichte dass sie von nun an zu einem Bestandteil der Erziehung des freien Menschen werden konnte. — Mit solchen Ausdrücken wird in unserer Quelle die Behauptung umschrieben, dass die Geometrie, bzw. die Mathematik des Pythagoras nicht mehr eine praktische, sondern schon eine theoretische Wissenschaft war. Nach antiker Auffassung steht nämlich die praktische Tätigkeit unter der Würde des freien Menschen; der Freie darf sich nur mit untätiger Betrachtung, d. h. griechisch: mit *Theorie* beschäftigen. — Man bekommt eine Ahnung davon, wie wesentlich diese Behauptung des Mathematiker-Verzeichnisses ist, erst dann, wenn man daran denkt, dass der mathematische «Satz» griechisch in der Tat *Theorema* heisst. Auch diese Benennung zeigt, dass es sich in der griechischen Mathematik nicht um die Praxis, sondern um die Theorie um ihrer selbst willen handelte. — Pythagoras soll nach dem Wortlaut des Proklos die entscheidende Wandlung dadurch in die Mathematik gebracht haben, dass er die Prinzipien der Geometrie untersuchte, und ihre Sätze vom konkreten Stoff unabhängig (*ἀύλως*) auf rein intellektuellem Wege (*νοεῶς*) erforschte.

⁴⁷ Proclus (ed. G. FRIEDLEIN) 65. — Den ganzen Text des Mathematiker-Verzeichnisses übersetzt und zum Teil kommentiert B. L. V. D. WAERDEN: *Science awakening*. S. 90 ff.

— Er, Pythagoras soll auch die Theorie der Irrationalen (oder eher: die Theorie der Proportionen?) gefunden⁴⁸ und die kosmischen (= regelmässigen) Körper konstruiert haben.

Dann wird im Verzeichnis von Proklos unter anderem noch erzählt, dass schon lange vor Euklid auch andere Männer solche systematische Werke der Mathematik, also «Elemente» geschrieben hätten, wie später Euklid. Der erste Systematiker der Mathematik war Hippokrates von Chios im 5. Jahrhundert, dann Leon in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, und Theudios von Magnesia in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts.

Nun wollen wir jetzt sehen, inwiefern die antike Überlieferung in den genannten Punkten durch die heutige Mathematik-Geschichte ergänzt oder modifiziert werden kann.

B) Was Thales betrifft, scheint die moderne historische Forschung die Behauptungen des alten Mathematiker-Verzeichnisses nur zu bestätigen. Man darf vielleicht aus dem Bericht über Thales schliessen, dass sich auch die griechische Überlieferung des orientalischen Ursprungs der empirischen mathematischen Kenntnisse bewusst war; sie spricht ja deswegen von der Reise des Thales in Aegypten, und dass er von dorthier diese Disziplin zu den Griechen gebracht hätte.⁴⁹ — Es geht zwar aus unserem Text nicht eindeutig hervor, inwiefern eigentlich schon die Geometrie des Thales als exakte Wissenschaft anzusehen sei, aber selbst über diesen Punkt lässt uns der eben zusammengefasste kurze Bericht vielleicht nicht völlig im Stiche. Es heisst nämlich, dass Thales seinen Nachfolgern den Weg zu den Prinzipien gezeigt habe; als wollte der antike Verfasser des Berichtes mit diesen Worten eben den Gedanken zum Ausdruck bringen, dass Thales selber zwar die Prinzipien der Mathematik noch nicht gefunden hätte — seine Geometrie wäre

⁴⁸ Nach der Lectio von G. FRIEDLEIN handelt es sich hier um die Theorie der *Irrationalen*; anders gelesen sollte nur von der Theorie der *Proportionen* die Rede sein.

⁴⁹ Es ist interessant, dass die antike Überlieferung, wenn sie über die altorientalische Herkunft der rein praktischen, empirischen mathematischen Kenntnisse berichtet, immer nur von Aegypten und nie von Babylon redet, obwohl die Griechen offenbar manches auch von den alten Babyloniern gelernt haben müssen. Vgl. O. BECKER (Grundlagen der Math. S. 22): «Die Griechen übernahmen weithin altorientalisches, besonders wohl *babylonisches* Material, obwohl die griechische Tradition immer nur *von Aegypten* als dem Ursprungslande der Geometrie spricht.» — Was mag wohl der Grund dieser einseitigen, sozusagen schief gewordenen Tradition sein? — Wir glauben, dass man diese Frage mindestens mit einiger Wahrscheinlichkeit beantworten kann. Auch die griechische Tradition scheint nämlich davon zu wissen, wie die Algebra auf dem Ausstrahlungsgebiet der babylonischen Kultur hochentwickelt war. Proklos sagt z. B., dass bei den Phöniziern die Kenntnis der Zahlen weit entwickelt war, eben infolge des Handels und der vielen praktischen Beschäftigung mit der Rechentechnik (FRIEDLEIN p. 65). — In der Zeit jedoch, als Eudemos im 4. Jahrhundert die erste Mathematik-Geschichte verfasste, war die griechische Mathematik schon völlig *geometrisiert*. Deswegen konnten die Griechen ihre alten Lehrmeister auf dem Gebiete der Geometrie mit einigem Recht allerdings eher in den Aegyptern als in den Babyloniern vermuten. Denn wir haben ja schon gesehen, dass die Ägypter in der Tat den Kreisinhalt z. B. genauer berechnen konnten, als die Babylonier. Man konnte also in der Zeit der geometrisierten griechischen Mathematik gewissermassen schon eine nähere Verwandtschaft mit der ägyptischen Geometrie als mit der babylonischen Algebra fühlen.

also noch keine im späteren Sinne des Wortes «definitivisch-axiomatisch begründete Wissenschaft» gewesen —, aber er hätte dennoch die erste Anleitung zu einer solchen Grundlegung erteilt. Und das alles soll dadurch geschehen sein, dass Thales einige Fragen *allgemeiner*, einige jedoch handgreiflicher auffasste. — Man hat beinahe den Eindruck, als liesse sich selbst noch diese Behauptung der Überlieferung mit bekannten historischen Tatsachen belegen. Es ist ja bekannt, dass den Begriff des geometrischen «Winkels» in der Tat Thales, oder mindestens das Zeitalter des Thales einführt; und das war gewiss eine bedeutende wissenschaftliche *Verallgemeinerung*.⁵⁰ Das Streben nach Allgemeingültigkeit muss also schon in der Wissenschaft des Thales zur Geltung gekommen sein. — Dabei betont unser Text auch die andere Seite: Thales soll andere Fragen *in handgreiflicher Form* behandelt haben. — Es ist kein Zufall, dass dieser Zug der thaletischen Wissenschaft in der Überlieferung betont wird. Kaum um einige Zeilen weiter lesen wir in demselben Bericht über Pythagoras gerade das Gegenteil dessen; Pythagoras soll die Sätze der Mathematik schon unabhängig vom konkreten Stoff (*ἀύλωος*), auf rein intellektuellem Wege (*νοεργῶς*) erforscht haben. Diese letztere Behauptung kontrastiert also die Wissenschaft des Pythagoras mit derjenigen des Thales. — Was soll aber heissen, dass Thales einige Fragen der Geometrie «in handgreiflicher Form» behandelte? — Auch diese Frage lässt sich beantworten, wenn wir zunächst die andere genauer prüfen: ob Thales seine Sätze «beweisen» konnte, und in welcher Form? — Die antike Überlieferung berichtet in der Tat von den «Beweisen» des Thales,⁵¹ aber sie gibt, leider, nicht genau an, worin eigentlich der Beweis bestand. Die moderne Interpretation kann zu der Klärung dieses Problems in zwei Punkten beitragen; erstens kann sie nämlich daran erinnern, dass das griechische Wort für «beweisen», der Terminus der mathematischen Fachsprache, *ἀποδεικνύναι* nach seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich nur «zeigen» hiess; zweitens kann aber die moderne Wissenschaftsgeschichte auch an eine Beobachtung erinnern, die ermöglicht das Beweisverfahren des Thales mit grosser Wahrscheinlichkeit zu rekonstruieren.⁵² — Euklid stellt nämlich am Anfang seines ersten Buches das sog. Axiom der Kongruenz, das *ἐφαρμόζουσιν*-Axiom auf: «Dinge, die sich decken (= die aufeinander passen), sind gleich».⁵³ Das Wort *ἐφαρ-*

⁵⁰ Vgl. O. BECKER: *Gnomon*. 23 (1951) S. 298: «Im übrigen ist gerade die Einführung des Winkelbegriffs (statt des *σῆτ*) eine wesentliche neue Errungenschaft der frühgriechischen Geometer (Scheitelwinkel, Basiswinkel, Winkel im Halbkreis), die von weittragenden Folgen war (Winkelsumme im Dreieck, woraus vielerlei abgeleitet werden konnte).»

⁵¹ Sieh Proclus (ed. FRIEDLEIN) 157.

⁵² Ich fasse im folgenden die Beobachtungen von K. v. FRITZ (s. oben die Anm. 21) — teilweise auch über seine Feststellungen hinausgehend — zusammen.

⁵³ Eucl. I *Kōwai ēnnoiai* 7: *τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ' ἀλλήλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν*. «quae inter se congruunt, aequalia sunt» (I. L. HEIBERGS Übersetzung). «Was sich deckt, ist gleich» (A. BECKER). «Les choses qui coïncident l'une avec l'autre sont égales entre elles» (P. TANNERY).

$\mu\acute{o}\zeta\epsilon\iota\nu$ («auf einander passen») kommt jedoch später bei Euklid nirgends in einem Lehrsatz, nur in diesem Axiom und in den Beweisen einiger Lehrsätze vor. Es ist also auffallend, dass ein Axiom zwar so allgemein formuliert und dann doch eigentlich nur für zwei Sätze gebraucht werde, obwohl sich — wie man bemerkte — manche Unstimmigkeiten in den Gleichheitsdefinitionen bei Euklid leicht hätten vermeiden lassen, wenn von der Deckungsmethode ein etwas reichlicher Gebrauch gemacht worden wäre.⁵⁴ Euklid ist also offensichtlich bestrebt, das Anwenden des genannten Axioms möglichst zu vermeiden. Wir wissen jedoch aus dem Text von Proklos, dass man früher die empirische Methode des Aufeinanderpassens, die $\acute{\epsilon}\rho\alpha\gamma\mu\acute{o}\zeta\epsilon\iota\nu$ -Methode auch in solchen Beweisen benutzte, die bei Euklid gar nicht mehr vorkommen. «Diese Methode muss also einmal in viel weiterem Umfang angewendet worden sein, als dies bei Euklid der Fall ist. Sie scheint auf den ersten Anfang der griechischen Mathematik zurückzugehen, und es ist dann nicht leicht, es als einen reinen Zufall zu betrachten, dass von den fünf Sätzen, die dem Thales in der antiken Überlieferung zugeschrieben werden, vier sich direkt und der fünfte indirekt mit der Deckungsmethode beweisen lassen.»⁵⁵ Geht man noch weiter, so findet man, dass bei Proklos in der Tat ein Beweis mit der empirischen Deckungsmethode auch für einen solchen Satz genannt wird, von dem es früher hiess, dass er schon durch Thales auf irgendeine Weise «bewiesen» worden sei.⁵⁶ Man kann also auf Grund dieser Beobachtungen annehmen, dass das Beweisverfahren des Thales wohl eben in der Anwendung jener empirischen Deckungsmethode bestand, welche man früher zwar reichlich verwandte, später jedoch möglichst auszuschalten versuchte.⁵⁷ Thales hat also seine Sätze wohl dadurch bewiesen, dass er die von ihm behandelten geometrischen Figuren «auf einander passte», und die Wahrheit seiner Behauptungen auf diese Weise *veranschaulichte*, «zeigte». Im ursprünglichen Sinne des Wortes $\alpha\pi\omicron\delta\epsilon\iota\kappa\nu\acute{o}\nu\alpha\iota$ war es wirklich ein «Beweis» — allerdings noch von einer völlig anschaulichen, empirischen Art. — Es ist wohl möglich, die Worte von Proklos, dass nämlich Thales manches in der Geometrie noch «in handgreiflicher Form» behandelte, in diesem Sinne zu verstehen,

⁵⁴ K. v. FRITZ : o. c. S. 77.

⁵⁵ K. v. FRITZ : ebd.

⁵⁶ Proclus (ed. FRIEDLEIN) p. 157. — Es handelt sich hier um den «Satz», der besagt, dass «der Durchmesser den Kreis halbiert». Euklid hat diesen «Satz» in die 17. Definition seines ersten Buches aufgenommen; dadurch wurde jedoch seine Definition überbestimmt, vgl. K. v. FRITZ : o. c.

⁵⁷ K. v. FRITZ : o. c. S. 94 : «Dass im Anfang die *anschauliche* Evidenz eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt hat, zeigt die in einem frühen Stadium reichliche Verwendung der Deckungsmethode, während umgekehrt die fortschreitende, wenn auch bis auf Euklid nicht vollständige Ausschaltung dieser Methode und das sichtliche Bestreben Euklids, den letzten Überbleibseln der Methode, die er nicht vermeiden kann, ein axiomatisches Fundament zu geben und sie auch sonst ihres empirischen Charakters so sehr als möglich zu entkleiden, REIDEMEISTER Recht geben : das Charakteristische der griechischen Mathematik ist, dass sich in ihr die Umwendung vom Anschaulichen zum Begrifflichen vollzieht.»

d. h. also, dass für Thales die Evidenz noch die empirische, anschauliche Evidenz war. Zu seiner Zeit erfolgte also noch nicht jene grundsätzliche Wandlung in der griechischen Wissenschaft, die im Mathematiker-Verzeichnis von Proklos der Tätigkeit des Pythagoras zugeschrieben wird.

Was Pythagoras anbelangt, ist die heutige Wissenschaft den Behauptungen des Mathematiker-Verzeichnisses gegenüber sehr skeptisch. Unsere ältesten Quellen über Pythagoras scheinen nämlich noch gar nichts davon zu wissen, dass er ein grosser Mathematiker und Philosoph gewesen wäre.⁵⁸ Versucht man die ersten Anfänge der späteren Pythagoras-Legende wiederherzustellen, so stösst man schliesslich auf eine Bewegung, eine Art «pythagoreischer Romantik», die gegen Ende des 5. und am Anfang des 4. Jahrhunderts in den aristokratischen und zugleich spekulativ und religiös ergriffenen Kreisen Unteritaliens und Siziliens sich ausgebreitet hatte.⁵⁹ Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der «Philosoph und Mathematiker Pythagoras» erst die Schöpfung dieser Zeit und dieser Kreise. Es kann auch kein Zufall sein, dass Platon und Aristoteles meistens nur die Pythagoreer erwähnen, aber so gut wie niemals von Pythagoras selbst reden. Die moderne Forschung hat auch über jene mathematischen Entdeckungen, die in der späteren Überlieferung dem Pythagoras zugeschrieben werden, feststellen können, dass diese zum Teil aus viel älteren Zeiten stammen, zum Teil aber erst späteren Ursprungs als das 6. Jahrhundert v. u. Z. sind.⁶⁰ — Nach all dem wird es wohl niemanden mehr wundernehmen, dass man den Bericht des Mathematiker-Verzeichnisses über Pythagoras sehr skeptisch auffasste; man erklärte auch ihn für einen Teil der Pythagoras-Legende. — Es empfiehlt sich jedoch in dieser Beziehung einige Vorsicht. Denn man darf doch nicht vergessen, dass auch sehr zuverlässige antike Quellen hie und da über die arithmetischen Studien der Pythagoreer des 5. Jahrhunderts berichten. Aristoteles behauptet sogar, dass es die Pythagoreer waren, die sich als erste mit *μαθήματα* befassten.⁶¹ Ebenso war auch nach Platon⁶² die grösste und erste von den Wissenschaften der Pythagoreer die Lehre von den Zahlen. Und die moderne Forschung hat in der Tat vermocht — wie man es bald sehen wird —, mindestens einen Teil der pythagoreischen Wissenschaft des 5. Jahrhunderts wiederherzustellen. Vergleicht man aber die zurückeroberte pythagoreische Mathe-

⁵⁸ K. REINHARDT: *Parmenides und die Geschichte der griech. Philosophie*, Bonn 1916 S. 233 f. — In demselben Sinne spricht über Pythagoras auch E. FRANK: *Plato und die sogenannten Pythagoreer*, Halle/Saale 1923, S. 67 und dazu besonders die Anm. 166 auf S. 356.

⁵⁹ K. REINHARDT: o. c. S. 232.

⁶⁰ Vgl. K. REIDEMEISTER: *Das exakte Denken der Griechen*, Hamburg 1949, S. 20 und 51–52; E. SACHS: *Die fünf platonischen Körper*, Berlin 1917.

⁶¹ Aristoteles, *Met.* 5, 985 b 23–24. — Die Pythagoreer verstanden unter «*Mathema*» ein geordnetes System mit Beweisen; zur Deutung des Wortes vgl. K. REIDEMEISTER: o. c. S. 52: *μάθημα* «eine Zusammenstellung mathematischer Sätze und *Beweise*».

⁶² Platon, *Epinomis* 990 C.

matik damit, was im Verzeichnis von Proklos über Pythagoras selbst berichtet wird, so muss man erstaunt feststellen, dass die Behauptungen der antiken Quelle über Pythagoras, wenn auch nicht auf diese halb-legendenhafte Gestalt, so doch mindestens auf die Wissenschaft der Pythagoreer zuzutreffen scheinen. Diese Mathematik ist in der Tat schon auf Prinzipien gebaut, und sie erforscht ihre Sätze wirklich «vom konkreten Stoff unabhängig und auf rein intellektuellem Wege». Deswegen kam auch K. Reidemeister zu dem Schlusse, dass die Begründer der exakten Wissenschaft eigentlich die Pythagoreer des 5. Jahrhunderts gewesen seien.⁶³ Man hat also beinahe den Eindruck, als hätte das Verzeichnis von Proklos diese Feststellung nur zurückprojiziert auf jenen legendenhaften Pythagoras, den die Sekte der Pythagoreer zu ihrem Namensgeber wählte. — Damit ist natürlich das Entstehen der exakten Wissenschaft noch gar nicht erklärt, aber man weiss mindestens von einer merkwürdigen Übereinstimmung zwischen der antiken Überlieferung und der modernen Forschung: die Tradition schreibt die Begründung der exakten Wissenschaft dem Pythagoras zu, während die moderne Rekonstruktion die erste Vertreterin der deduktiven Mathematik in der Arithmetik der Pythagoreer erblickt.

Aus dem kurzen Bericht des Proklos über die ältesten Systematiker der deduktiven Wissenschaft interessiert uns am meisten der Name des Hippokrates. Der grösste und berühmteste Geometriker des 5. Jahrhunderts, Hippokrates, von der Insel Chios gebürtig, hat sich nach der Tradition längere Zeit (etwa von 450—430) in Athen aufgehalten. Er soll seinen Lebensunterhalt hier durch «Unterricht in Geometrie» verdient haben.⁶⁴ Nach Proklos war Hippokrates der erste, der «Elemente» zusammengestellt hatte. Die heutige Forschung bezweifelt die Glaubwürdigkeit dieses Berichts überhaupt nicht. Denn wir können uns ja ein sehr zuverlässiges Bild vom mathematischen Wissen des Hippokrates verschaffen. Es ist nämlich der wörtliche Bericht des Eudemos von Rhodos über die sog. «Quadratur der Mönchchen» (*μηνίσκοι*, lunulae) des Hippokrates glücklicherweise erhalten geblieben,⁶⁵ und auf Grund dieser kostbaren «Inkunabel» der voreuklidischen Geometrie erscheint uns die Wissenschaft des Hippokrates in einem solchen Licht, dass man es für möglich hält: Hippokrates hat allerdings schon versuchen können die mathematischen Kenntnisse seiner Zeit in eine streng aufgebaute logische Ordnung zusammenzufassen. — Dabei wird die Angabe des Proklos über diese erste systematische Darstellung der griechischen

⁶³ K. REIDEMEISTER: o. c. S. 52. — Wir wollen uns mit dieser Feststellung von K. REIDEMEISTER im letzten Kapitel der vorliegenden Arbeit ausführlicher beschäftigen.

⁶⁴ Zur allgemeinen Orientierung sowohl über Hippokrates, wie auch über die Frühgeschichte der griechischen Wissenschaft vgl. man das sehr unterhaltende Büchlein von G. HAUSER: Die Geometrie der Griechen von Thales bis Euklid. Luzern 1955.

⁶⁵ Man findet diesen Bericht des Eudemos bei Simplicios, dem Aristoteles-Kommentator des 6. Jahrhunderts n. Zw.; vgl. dazu O. BECKER: Grundlagen der Mathematik, S. 29 ff.

Mathematik schon im 5. Jahrhundert v. u. Z. merkwürdigerweise auch von einer anderen Seite her, durch die moderne Forschung sozusagen bestätigt. Die neueste Forschung ist nämlich völlig unabhängig von diesem Bericht über die «Elemente des Hippokrates» zur Vermutung gekommen, dass es schon im 5. Jahrhundert, also in der Zeit vor 400, auch einen schriftlich fixierten Lehrgang der Zahlentheorie geben musste, welcher später ohne erhebliche Änderungen, evtl. nur verkürzt in das VII. Buch der Euklidischen Elemente übernommen wurde.⁶⁶ Die Elemente des Hippokrates und dieser vermutete «Lehrgang der Zahlentheorie» müssen aller Wahrscheinlichkeit nach mathematische Werke derselben Art gewesen sein. — Lehrreich ist für uns der Bericht des Proklos über Hippokrates darum, weil man auf Grund dessen eine sehr wichtige Vermutung aufstellen kann. Hat Hippokrates in der Mitte oder in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts schon versuchen können, das mathematische Wissen seiner Zeit in systematischer Ordnung zusammenzufassen, so müssen die Anfänge der deduktiven Wissenschaft allerdings auf die Zeit *vor* Hippokrates fallen.

Die allzu knappen Angaben des Mathematiker-Verzeichnisses lassen sich einigermaßen damit ergänzen, was die moderne historische Forschung aus der voreuklidischen Mathematik der Griechen rekonstruieren konnte. Am wichtigsten sind für uns in diesem Zusammenhang zwei Arbeiten; die eine von O. Becker aus dem Jahre 1936, und die andere von B. L. v. d. Waerden aus 1947/49.

O. Becker hat nämlich aus dem IX. Buch der Euklidischen Elemente die sog. altpythagoreische Lehre vom Geraden und Ungeraden aussondern können.⁶⁷ Es ist ihm nachzuweisen gelungen, dass die letzten sechzehn Sätze dieses Buches bei Euklid eigentlich nur einen Anhang darstellen, den entweder der Verfasser der Elemente selbst, oder mindestens einer seiner ältesten Herausgeber noch im Altertum der Aufbewahrung am Ende der Rolle aus Pietätsgründen für würdig befand. Mit diesen sechzehn Sätzen hängt bei Euklid am Ende des X. Buches der 27. Appendix (ed. Heiberg) zusammen. Diese insgesamt 17 Sätze bilden die sozusagen vollständige Lehre vom Geraden und Ungeraden, deren Entstehungszeit durch O. Becker auf die Mitte oder auf die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts gesetzt wird. Die Datierung ist zwar nur vermutlich, aber diese Sätze stellen allerdings das älteste zur Zeit bekannte griechische «Mathema» dar.

Ähnlicherweise konnte B. L. v. d. Waerden feststellen, dass die ersten 36 Sätze des VII. Euklidischen Buches noch aus der Zeit vor 400 stammen.⁶⁸

⁶⁶ Vgl. B. L. v. D. WAERDEN: Math. Ann. 120 (1947/49) 145–146.

⁶⁷ O. BECKER: Die Lehre vom Geraden und Ungeraden im neunten Buch der Euklidischen Elemente, Quellen und Studien zur Gesch. der Math., Abt. B. Bd. 3 (1936) 533–553.

⁶⁸ B. L. v. D. WAERDEN: Die Arithmetik der Pythagoreer I., Math. Ann. 120 (1947/49) 127–153.

Bei Boetius (5. Jahrhundert n. Zw.) ist nämlich ein mathematischer Beweis des Archytas (430—360) erhalten geblieben.⁶⁹ In seinem peinlich exakten Beweis setzt nun Archytas die Kenntnis solcher mathematischer Sätze voraus, die man im VII. und VIII. Buch bei Euklid wiederfindet. Wir müssen also annehmen, dass die durch Archytas als bekannt vorausgesetzten mathematischen Sätze zu seiner Zeit in der Tat schon in irgendeinem mathematischen Handbuch schriftlich fixiert waren. Prüft man aber die logische Aufeinanderfolge sämtlicher Sätze, die nach dem Zeugnis des erhaltenen Archytas-Beweises diesem alten Mathematiker schon als schriftlich fertig vorliegenden Gedankengut bekannt sein mussten, so bekommt man ein geschlossenes Ganzes, nämlich die ersten 36 Sätze des VII. Euklidischen Buches. Dieses kompakte Ganze ist nach v. d. Waerden ein pythagoreischer Lehrgang der Zahlentheorie aus dem 5. Jahrhundert, oder mindestens ein Teil von einem solchen Lehrgang.

Überblickt man nun diese Ergebnisse der modernen Forschung und jene alte Überlieferung, die wir eben besprochen hatten, so lassen sich die wichtigsten Angaben, die uns interessieren, in den folgenden fünf Punkten zusammenfassen :

1. Der erste griechische Mathematiker des 6. Jahrhunderts, Thales hat in seinen «Beweisen» nur noch die Evidenz der Anschaulichkeit erstrebt. Seine Wissenschaft war noch vorwiegend empirischer Art.

2. Entweder in der Mitte oder noch in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts entstand die pythagoreische Lehre vom Geraden und Ungeraden (Eucl. IX 21—36 und X App. 27), das älteste zur Zeit bekannte deduktive Lehrstück der Griechen.

3. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts war Hippokrates von Chios, der Verfasser der Mönchen-Quadratur, in Athen tätig ; er war der erste, der schon Elemente zusammengestellt hatte.⁷⁰

4. Man hat noch im 5. Jahrhundert jenen Lehrgang der pythagoreischen Zahlentheorie zusammengestellt und schriftlich fixiert, der für uns bei Euklid in den Sätzen 1—36 des VII. Buches erhalten blieb.

5. Zwischen 430 und 360 v. u. Z. lebte Archytas, der noch jene alte Auffassung vertrat, nach welcher die Arithmetik der Geometrie vorzuziehen sei. In der Zeit nach ihm erfolgte die Geometrisierung der griechischen Arithmetik.

Dies sind die wichtigsten Angaben, die man bei der Beantwortung der Frage, wie die deduktive Mathematik entstand, berücksichtigen muss.

Was die Beweise, die Deduktionsart dieser alten (in den Punkten 2, 3, 4 und 5 zusammengefassten) griechischen Mathematik betrifft, kann man

⁶⁹ Boetius, *De inst. mus.* III 11 (ed. G. FRIEDLEIN) 1867. 285.

⁷⁰ Die mathematischen Sätze, die Hippokrates von Chios schon kennen musste, werden bei G. HAUSER : o. c. 105 ff, zusammengestellt.

folgendes feststellen. Bereits sehr früh waren in der pythagoreischen Mathematik die Ansprüche an die Strenge der Beweise sehr hoch. Das sehen wir etwa an der Lehre vom Geraden und Ungeraden im IX. Buch der Elemente. Sätze, wie Eucl. IX 21—29, sind jedem Rechner selbstverständlich, werden aber ausdrücklich formuliert und bewiesen. Andere Sätze, wie IX 30—32 sind sofort auch in sich einleuchtend, werden aber dennoch peinlich exakt aus noch einfacheren Tatsachen abgeleitet. — In dem Hippokrates-Fragment über die Quadratur der Mönchehen werden Ungleichungen, die man ohne weiteres aus einer Figur hätte entnehmen können, auf das sorgfältigste bewiesen. (Man begnügt sich also nicht mehr mit der bloss anschaulichen Evidenz !) — Dasselbe gilt für sämtliche Sätze und Beweise des VII. Buches bei Euklid. — Bei Archytas wird die genaue Ausführung aller einzelnen Beweisschritte sogar bis zur Pedanterie übertrieben.⁷¹

Man sieht also, dass es so gut wie unmöglich ist, irgendeinen Übergang zu beobachten zwischen dem Beweisverfahren des Thales und jenem anderen, welches die Pythagoreer vertreten. Es kann auch gar nicht davon die Rede sein, dass der strenge deduktive Beweis der Mathematik irgendwie langsam und tastend sich ausgebildet hätte. Die neue Art der Beweisführung ist in ihrer vollen Strenge auf einmal plötzlich da bei den Pythagoreern, ohne dass man es sich vorläufig erklären könnte, wie sie eigentlich zustande kam. Wir müssen eben einfach feststellen, dass in der verhältnismässig kurzen Zeitspanne zwischen Thales und den Pythagoreern die deduktive Wissenschaft irgendwie zur Welt gekommen ist. — Es bliebe nur noch zu erklären, wie und warum eigentlich diese plötzliche und überraschende Wandlung eintrat?

IV

Die bisherigen Betrachtungen haben die Vermutung nahegelegt, dass die deduktive Mathematik eigentlich die Schöpfung der Pythagoreer gewesen sei. Denn sie haben jene ältesten mathematischen Sätze und Beweise zusammengestellt, auf Grund welcher man schon auf das Vorhandensein einer deduktiven Wissenschaft schliessen kann. Aber darüber haben wir noch gar nichts sagen können: was eigentlich die Pythagoreer zu diesem bedeutenden Schritt veranlasst haben mag? Wie kamen sie überhaupt auf den Gedanken, dass eine Behauptung mathematischen Inhalts sich auch in solcher Form beweisen lässt, nicht nur in der Art, wie es zu seiner Zeit Thales noch getan hatte? Und wie ist es möglich, dass sie zu einer so frühen Zeit schon so strenge Beweise lieferten, dass man sie auch später noch kaum über-

⁷¹ Die Charakterisierung dieser Sätze sich bei v. d. WAERDEN: Math. Ann. 120 139—140, bzw. bei G. HAUSER: o. c. S. 107 (über Hippokrates).

treffen konnte? Denn bemerken wir sogleich, dass das allererstaunlichste an der Wissenschaft der Pythagoreer gerade die Strenge ihrer Beweise ist.⁷²

Die frühere Forschung scheint nur die Tatsache selbst festgelegt zu haben — nämlich in der Behauptung, dass die wissenschaftliche Mathematik der Griechen mit den Pythagoreern beginnt —, aber sie hat eine Antwort auf die vorhin genannten Fragen noch überhaupt nicht versucht. K. Reidemeister vertrat z. B. den eben erwähnten Gedanken, dass also die Pythagoreer die Begründer der wissenschaftlichen Mathematik sind, mit den folgenden Worten:

«Die Pythagoreer entdeckten die Möglichkeit, mathematische Tatbestände auf Hypothesen zurückzuführen, aus denen diese Tatbestände durch *Denken* gefolgert werden können. Damit entdeckten sie aber zugleich einen Weg, der aus dem Anschaulichen heraus zu geometrischen Tatsachen führt, die *nur* dem Denken zugänglich sind.»⁷³

Überlegt man sich diese Worte, so wird man in der Tat kaum etwas an ihnen auszusetzen haben, denn sie beschreiben ja tadellos die Leistung der Pythagoreer. Sie haben wirklich die mathematischen Tatbestände (die auch sinnlich wahrnehmbar sind!) auf Hypothesen (also auf rein gedankliche Elemente) zurückgeführt. Kein Wunder, dass dieselben mathematischen Tatbestände aus den Hypothesen durch Denken gefolgert werden konnten. Der Weg führte nicht nur aus dem Anschaulichen, sinnlich Wahrnehmbaren heraus zu dem rein Gedanklichen, sondern auch umgekehrt, vom Gedanklichen zurück zu dem sinnlich Wahrnehmbaren. Das überraschende war eher, dass man von den Hypothesen auch zu solchen anderen Tatsachen gelangen konnte, die nicht mehr anschaulich, *nur* dem Denken zugänglich sind. K. Reidemeister versäumt es auch nicht diese Errungenschaft der Pythagoreer an einem Beispiel zu illustrieren. Wie er schreibt: «Die pythagoreische Lehre vom Geraden und Ungeraden gipfelt nämlich in dem Nachweis, dass die Diagonale d eines Quadrates und die Quadratseite s desselben nicht mit derselben Einheitsstrecke e gemessen werden können. (Das heisst in der Sprache der Mathematik: die *Inkommensurabilität*

⁷² Die logische Strenge der pythagoreischen Mathematik überrascht selbst die besten Kenner dieses Zeitalters. O. BECKER bemerkt z. B. in seiner Kritik über v. D. WAERDENS Buch (*Science awakening*) zu jener Vermutung, dass Euklids VII. Buch noch aus der Zeit vor 400 stammt: «die vollendete Form von 7 könnte durch eine spätere Überarbeitung, etwa durch die Mathematiker der Akademie zustande gekommen sein». — Man versteht, wodurch dieser leichte Zweifel des Kritikers ausgelöst wurde. Die Komposition des VII. Euklidischen Buches ist nämlich so geschlossen kompakt, dass selbst BECKER sich fragen musste: ob man doch so etwas schon im 5. Jahrhundert zustande bringen konnte? — Aber kaum ist der Zweifel aufgetaucht, so musste er schon vor dem stärkeren Argument weichen: «Indessen macht der Verfasser (d. h. v. D. WAERDEN) dagegen das gewichtige Argument geltend, dass bei einer streng logischen Untersuchung, wie sie die Begründung der Zahlentheorie in 7 darstellt, eine Unterscheidung von Inhalt und Form untunlich ist.» — O. BECKERS Worte findet man in *Gnomon* 23 1951 S. 299.

⁷³ K. REIDEMEISTER: o. c. S. 52.

der Quadratdiagonale zur Seite.) Das lässt sich nicht veranschaulichen (man kann die Inkommensurabilität wirklich nicht mehr sinnlich wahrnehmen) — wie sich etwa der Satz des Pythagoras veranschaulichen lässt —, nur denken und erschliessen.»⁷⁴ — Natürlich kann man mit diesen Feststellungen einverstanden sein, es fragt sich nur, ob wir daraus auch verstehen, wieso eigentlich die Pythagoreer auf den rätselhaften Einfall kamen, die sinnlich wahrnehmbaren mathematischen Tatbestände auf Hypothesen zurückzuführen? Was wollten sie überhaupt mit ihren Hypothesen erreichen? Denn es ist ja kaum denkbar, dass sie im voraus geahnt hätten: auf dem Wege der Hypothesen werden sie einmal auch so etwas entdecken, was man gar nicht mehr veranschaulichen, nur denken und erschliessen kann, wie z. B. die eben erwähnte Inkommensurabilität. — Mit einem Wort: die vorigen Zitate von Reidemeister beschreiben zwar die Tatsachen genau, und sie erklären, was eigentlich in der pythagoreischen Mathematik vor sich ging, aber sie geben dennoch keine *historische* Erklärung dafür. Man versteht aus ihnen nicht wie das alles stattfinden konnte.

Will man das Entstehen der deduktiven Wissenschaft historisch erklären, so muss man vor allem die Methoden des Beweisens im Falle jener Sätze genauer untersuchen, die nach unserem heutigen Wissen aus der ältesten Zeit der deduktiven Mathematik stammen. O. Becker, der die Lehre vom Geraden und Ungeraden in ihrer ursprünglichen Form wiederherstellte, hat selber gezeigt, wie man eine solche Untersuchung anstellen kann, und sein Beispiel überzeugt auch davon, dass eine solche Prüfung manches Licht auf diese frühe Epoche der Wissenschaft werfen kann. Er konnte z. B. den archaischen Charakter jener Züge nachweisen, die für die altpythagoreische Lehre kennzeichnend sind. Ähnlich wollen wir jetzt das allgemeine Beweisverfahren der ältesten mathematischen Sätze untersuchen.

Vor allem interessiert uns die Frage, ob man jene Erklärung bestätigen könnte, die K. v. Fritz versuchte (vgl. das II. Kapitel dieser Arbeit), als er die Entfaltung des mathematischen Beweisverfahrens mit derjenigen der Logik verglich? Wie steht es im Falle der ältesten mathematischen Sätze? Ist es wirklich so, dass schon im 5. Jahrhundert die komplizierten Sätze im Beweis auf einfachere Prämissen zurückgeführt wurden? Nehmen wir z. B. einen Satz aus der Lehre vom Geraden und Ungeraden.

Der Satz Eucl. IX 22 besagt: *Setzt man beliebigviele ungerade Zahlen zusammen und ist ihre Anzahl gerade, so muss die Summe gerade sein.* — Dieser Satz wird in seinem Beweis in der Tat auf den noch einfacheren IX 21. zurückgeführt: *Setzt man beliebigviele gerade Zahlen zusammen, so ist die Summe gerade.* Der Gedankengang des Beweises für den Satz IX 22. ist der folgende: Nachdem wir beliebigviele ungerade Zahlen zu addieren haben,

⁷⁴ Ebd. — Das Zitat ist mit meinen eigenen Worten (in Klammern) ergänzt.

deren Anzahl jedoch gerade ist, können wir zuerst aus jeder ungeraden Zahl die Einheit subtrahieren. Dadurch werden die gegebenen ungeraden Zahlen zu geraden Zahlen, da im Sinne der 7. Definition des VII. Buches *die ungerade Zahl sich eben um die Einheit von einer geraden Zahl unterscheidet*. Die subtrahierten Einheiten zusammen bilden auch eine gerade Zahl, da ja ursprünglich ungerade Zahlen *in gerader Anzahl* gegeben waren. Wir haben also eigentlich nur gerade Zahlen zu addieren, für welche der Satz IX 21. gültig ist. — Der Beweis besteht also in diesem Fall tatsächlich daraus, dass der «kompliziertere» Satz (IX 22.) auf die einfachere Prämisse (Satz IX 21.) zurückgeführt wird. Ähnlich wird auch der Satz IX 21. in seinem Beweis auf die noch einfachere Definition der geraden Zahl (VII Def. 6), als auf seine Prämisse zurückgeführt.

Man wäre also geneigt, auf Grund solcher direkter Beweise, die in der Tat auch schon in der ältesten Zeit benutzt wurden, jene Theorie restlos zu bejahen, welche den Ursprung der mathematischen Deduktion eben in dieser Art von Beweis erblickt. — Man wird jedoch diese Frage etwas vorsichtiger behandeln wollen, wenn man daran denkt, dass neben dem direkten Beweis schon in der ältesten Zeit häufig auch eine völlig andere Art des Beweisverfahrens benutzt wurde. Es lohnt sich vor allem eine kurze Statistik der pythagoreischen Beweise zu überblicken.

Die Lehre vom Geraden und Ungeraden besteht insgesamt aus 17 Sätzen. Von diesen Sätzen sind die Beweise einiger nicht in ihrer ursprünglichen Form überliefert. Euklid hat nämlich die alten Beweise hie und da überarbeitet, weil er dadurch die ganze Lehre mindestens äusserlich enger in das Gefüge seines Werkes hineinbauen wollte. O. Becker hat allerdings gezeigt, dass man selbst in diesen Fällen die alte Form des Beweises ziemlich leicht wiederherstellen kann. — Nun ist es aber interessant, dass von diesen 17 Sätzen 5 mit indirekter Methode bewiesen werden; in einem 6. Fall ist der Beweis nicht nur indirekt, sondern darüber hinausgehend: eine *deductio ad absurdum*. Zieht man auch die Rekonstruktionen von Becker in Betracht, so steigt die Anzahl der indirekten Beweise noch höher, nämlich auf 8. Beinahe zur Hälfte werden also die Sätze über das Gerade und Ungerade indirekt bewiesen. Diese verhältnismässig häufige Anwendung des indirekten Beweises fällt selbstverständlich auf. Man fragt sich unwillkürlich, ob dem indirekten Beweis nicht eine ganz besondere Bedeutung zukäme, nachdem er ja doch so oft benutzt wurde?

Man wird in dieser Vermutung noch weiter bestärkt, wenn man den Beweis jenes Archytas-Satzes prüft, welcher für v. d. Waerden die Gelegenheit bot, um die pythagoreische Herkunft des VII. Euklidischen Buches nachzuweisen. Sowohl der Satz des Archytas, wie auch die meisten jener Sätze, die zu seinem Stammbaum gehören, werden indirekt bewiesen. Von den ersten 36 Sätzen des VII. Euklidischen Buches sind die Beweise in 15

Fällen indirekt. Ja, es gibt auch solche Sätze in diesem VII. Buch, die heute zwar auf den ersten Blick so aussehen, als hätten sie einen direkten Beweis, aber prüft man sie genauer, so stellt es sich bald heraus, dass der Gedankengang ihres Beweises eigentlich indirekt war, und nur später oberflächlich auf einen direkten Beweis umgeändert wurde. So z. B. der Satz Eucl. VII 19., der heute zwar einen direkten Beweis besitzt, aber man sieht an diesem Beweis, dass sein Gedankengang ursprünglich indirekt war.

Wie könnte man nun diese häufige Verwendung des indirekten Beweises erklären? Denn es ist offenbar, dass jene Vermutung, die K. v. Fritz für die Entfaltung des direkten Beweises versuchte, in diesem Falle versagt. Es handelt sich ja bei der Anwendung des indirekten Beweises gar nicht darum, dass man eine «einfachere» Prämisse für den «komplizierteren» Satz sucht. Der indirekte Beweis ist die Frucht einer völlig anderen logischen Überlegung. — Es wird sich vor allem lohnen, die Frage zu stellen, wie etwa heutzutage ein Mathematiker den indirekten Beweis unter dem Gesichtspunkt der Heuristik beurteilt?⁷⁵ — B. L. v. d. Waerden erteilt einmal den folgenden heuristischen Rat:⁷⁶

«Wird nicht eine Konstruktion, sondern ein Beweis verlangt, so sucht man oft mit Vorteil einen *indirekten Beweis*. Man nimmt an, die Behauptung sei falsch, man zieht auch noch das Gegebene heran, und man schliesst so lange weiter, bis man auf einen Widerspruch kommt. Oft gelingt es nachher, den Beweis direkt zu führen, aber zu finden ist der indirekte Beweis manchmal leichter, weil man dabei mehr voraussetzen kann, nämlich das Gegebene und die Falschheit des Behaupteten. Von beiden Seiten aus schliessend, hat man eine Chance, sich in der Mitte zu treffen.»

Interessant sind diese Worte des modernen Mathematikers für uns nicht nur deswegen, weil sie den psychologischen Vorgang des mathematischen Entdeckens einigermaßen beleuchten, sondern auch darum, weil sie eine völlig neue Perspektive vor der historischen Frage eröffnen: wie man einst wohl auf den Gedanken des deduktiven Beweises kam. Der Mathematiker behauptet, dass wenn man einen Beweis liefern will, oft der Versuch eines indirekten Beweises vorteilhaft sei. Wohl gelingt es nachher, denselben Beweis auch direkt zu führen, aber zu finden ist der indirekte Beweis

⁷⁵ Wir verzichten also einstweilen darauf, die Frage des indirekten Beweises auch über den Bereich der blossen mathematischen Heuristik hinausgehend ausführlicher zu erörtern. Bekanntlich ist die Schule des mathematischen Intuitionismus bestrebt, die Verwendung dieser Beweisform einzuschränken. Wir sind zwar der Meinung, dass es wirklich nützlich wäre, die Gesichtspunkte des Intuitionismus auch in der Erforschung der griechischen Mathematik-Geschichte zu berücksichtigen, wie es z. B. O. BECKER in seinen Eudoxos-Studien getan hatte. Eine noch eingehendere Untersuchung könnte wohl nachweisen, dass das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten anders im 5. und anders im 4. Jahrhundert verwandt wurde. Aber wir wollten mit dieser Frage das Problem vorläufig nicht weiter komplizieren.

⁷⁶ «Einfall und Überlegung in der Mathematik», Elemente der Mathematik, Bd. VIII. Basel 1953, S. 123.

manchmal doch leichter. Es stehen uns ja im Falle eines solchen Beweisverfahrens mehr Möglichkeiten zur Verfügung. — Liest man diese Worte aufmerksam genug, und vergleicht man sie mit der Tatsache, dass nach unserer Statistik der indirekte Beweis in der Wissenschaft der Pythagoreer, also schon in der ältesten Zeit der deduktiven Mathematik, so oft verwandt wurde, so muss man sich unwillkürlich fragen: *ob der indirekte Beweis nicht von Anfang an eines der allerwesentlichsten Werkzeuge der deduktiven Mathematik war?* — Um diese Frage beantworten zu können, prüfen wir genauer einige Fälle des indirekten Beweisverfahrens an Beispielen der ältesten griechischen Mathematik.⁷⁷

Den ältesten bekannten indirekten Beweis liefert Euklid in der Lehre vom Geraden und Ungeraden für den Satz IX 30. *Eine ungerade Zahl muss, wenn sie eine gerade Zahl misst, auch deren Hälfte messen.* Dieser Satz wird in seinem Beweis auf den vorangehenden IX 29. zurückgeführt, aber *nicht* direkt, sondern durch einen indirekten Schluss. (Der vorangehende Satz IX 29. besagt, dass *«das Produkt zweier ungerader Zahlen ungerade ist»*.) Zu dem Beweis unseres Satzes (IX 30.) muss man vor allem nachweisen, dass der Quotient einer geraden und einer anderen ungeraden Zahl *nur* gerade sein kann. Ist nämlich dieser Nachweis erbracht, so folgt daraus schon selbstverständlich der Satz selbst: *Eine ungerade Zahl muss, wenn sie eine gerade Zahl misst, auch deren Hälfte messen.* — Nun besteht der indirekte Beweis dessen, dass der Quotient einer geraden und einer anderen ungeraden Zahl *nur* gerade sein kann, aus dem folgenden Gedankengang:

Bekannt sind im Sinne des Satzes selbst: der Dividend (eine gerade Zahl) und der Teiler (eine ungerade Zahl). Ob der Quotient wirklich eine gerade Zahl ist, wissen wir noch nicht, wir wollen es erst beweisen. Ehe wir noch den Beweis versuchten, erinnern wir uns daran, dass das Produkt des Teilers und des Quotienten selbstverständlich den Dividenten ergibt. In unserem Fall ergibt also das Produkt des Teilers (einer ungeraden Zahl) mit dem Quotienten (einer anderen Zahl, von der wir noch nicht wissen, ob sie wirklich gerade ist) den Dividenten, der doch eine gerade Zahl ist. Wie könnte man nun beweisen, dass der Quotient in der Tat eine gerade Zahl ist? — Nehmen wir das *Gegenteil* dessen an, was wir beweisen wollen: sei der Quotient eine «ungerade» Zahl; und nun prüfen wir, was aus dieser Annahme folgt. Ist der Quotient ebenso eine «ungerade» Zahl, wie der Teiler, so muss auch das Produkt der beiden eine «ungerade» Zahl sein, da ja im Sinne des vorangehenden Satzes (IX 29.): *das Produkt zweier ungerader Zahlen ungerade ist.* In unserem Fall ist jedoch das Produkt des Teilers und des Quotienten (der

⁷⁷ Zum folgenden vgl. man auch meine frühere Arbeit «Elcatica» in Acta Antiqua III 67–103. Die Ergebnisse meiner früheren Untersuchungen (Acta Ant. Hung. I [1950] 377–410, II 17–62 und 243–289) werden selbstverständlich auch in der vorliegenden Arbeit immer benutzt, auch wenn ich nicht jedesmal auf sie ausdrücklich hinweise.

Dividend) im Sinne des geprüften Satzes selbst: *eine gerade Zahl*. Wir sind also bei einem *Widerspruch* angelangt, zum Zeichen dessen, dass unsere Denkweise falsch war. Es ist also *nicht möglich*, dass der Quotient in dem gegebenen Fall «ungerade Zahl» sei, sie muss gerade sein. Und damit ist der gewünschte Beweis erbracht.

Wir haben den Beweis, den wir prüfen wollen, nicht wörtlich zitiert, statt dessen nur den Euklidischen Gedankengang *haargenau* — dabei selbstverständlich auch mit Interpretation ergänzt! — wiedergegeben, weil eigentlich nur auf diese Weise die Kontrolle der einzelnen Gedankenschritte möglich wird. Nun wollen wir jetzt sehen, was sich von dem erbrachten indirekten Beweis feststellen lässt.

Man sieht vor allem, dass das indirekte Verfahren daraus besteht, dass man eigentlich *nicht* den fraglichen Satz selbst *beweist*, sondern statt dessen das Gegenteil des Satzes *widerlegt*. Wir wollten ja nachweisen, dass die geprüfte Zahl (der Quotient) eine gerade ist, aber statt des direkten Beweises dieser Behauptung haben wir die gegenteilige Behauptung — «die geprüfte Zahl wäre ungerade» — widerlegt. Diese Form des Beweisens hat überhaupt deswegen den Namen «indirekt» bekommen, weil sie eigentlich kein Beweis, sondern eine Widerlegung ist. Nicht der geprüfte Satz wird bewiesen, sondern sein Gegenteil widerlegt. Man wird also eine Behauptung durch indirekten Schluss so beweisen können, dass man zuerst das Gegenteil der Behauptung aufstellt, und dann zeigt man, dass diese gegenteilige Behauptung falsch ist.

Schon auf Grund dieser völlig einfachen Feststellung über die Tatsache selbst, worin eigentlich das indirekte Beweisverfahren besteht, lassen sich sehr wesentliche Vermutungen auch darüber aufstellen: was alles eigentlich zur Handhabung des indirekten Beweises unerlässlich notwendig ist? Um einen indirekten Beweis führen zu können, muss man vor allem davon überzeugt sein, dass eine Behauptung entweder *wahr* oder *nicht wahr* ist; ausser diesen beiden Möglichkeiten gibt es eine dritte überhaupt nicht. (Entweder ist ein Ding *A*, oder *Non-A*; *tertium non datur*.) Ja, man muss diese grundlegende Erkenntnis jeder Logik sich schon so felsenfest angeeignet haben, dass man auch davon überzeugt sei, dass der Beweis irgendeiner Behauptung (*A*) der Widerlegung ihres Gegenteils (*Non-A*) äquivalent ist. Solange man das alles nicht genau und unerschütterlich fest weiss, wird man unter keinen Umständen auf den Gedanken kommen, einen solchen indirekten Beweis, wie der vorige ist, zu führen.

Betrachtet man jedoch den eben dargestellten indirekten Beweis genauer, so entdeckt man bald, dass sich auch noch ein anderer sehr wesentlicher Zug an diesem logischen Verfahren beobachten lässt. Es ist nämlich auffallend, wie man eigentlich die Falschheit einer Behauptung im Laufe des Beweisvorganges entdeckt. — Wir haben die Behauptung aufgestellt,

dass der Quotient — nicht wie es richtig: *gerade*, sondern wie es eigentlich falsch ist, dass er nämlich — eine «ungerade» Zahl wäre. Als wir diese Behauptung aufstellten, konnten wir natürlich im voraus noch nicht wissen, dass sie sich als falsch erweisen wird; das hat sich erst später herausgestellt. Denn wir haben aus unserer (falschen) Behauptung Schlüsse gezogen. Wir dachten nämlich: wenn der Quotient eine «ungerade Zahl» ist, dann muss — im Sinne unserer früheren und schon gesicherten Kenntnis, nämlich im Sinne des vorangehenden Satzes (IX 29.) — auch der Dividend eine «ungerade Zahl» sein. Damit sind wir aber bei einem *Widerspruch* angelangt — denn wir wissen ja, dass der Dividend im gegebenen Falle nicht eine «ungerade», sondern eine gerade Zahl ist —, und der *Widerspruch* war das Zeichen dessen, dass unsere Denkweise falsch war. — Ehe wir noch weitergingen, müssen wir genau verstehen, was es eigentlich heisst, dass wir im Laufe der Gedankenführung *bei einem Widerspruch angelangt sind*? Worin bestand denn der «Widerspruch»? — Diese auf den ersten Blick keineswegs völlig durchsichtige Redeweise heisst diesmal nur folgendes: Wir sind im Laufe unserer Gedanken zu der Behauptung gekommen: «*Der Dividend ist eine ungerade Zahl.*» Am Anfang jedoch, als wir den Satz hörten, den wir zu beweisen hatten, hiess es: «*Der Dividend ist eine gerade Zahl.*» Die beiden Behauptungen — «er ist ungerade Zahl» und «er ist eine gerade Zahl» — widersprechen sich. Die beiden Sätze können natürlich nicht auf einmal (gleichzeitig) wahr sein, denn entweder ist ein Ding *A*, oder *Non-A*, *tertium non datur*, und ausserdem kann von zwei solchen gegenteiligen Behauptungen immer nur die eine *wahr* sein, die andere ist notwendigerweise *nicht wahr*. — Die Redeweise also, dass wir «bei einem Widerspruch angelangt sind», heisst eigentlich so viel, dass wir zu einer Behauptung gekommen sind, welche einer anderen, schon früher als wahr erkannten Behauptung widerspricht. Die beiden Behauptungen können nicht vereinigt werden, weil ihre Vereinigung einen *inneren Widerspruch* des Gedankens («dieselbe Zahl ist gerade *und* ungerade») erzeugte. Darum ist das Auftauchen des *Widerspruches* ein Zeichen dafür, dass die Gedankenführung irgendwo falsch war.

Sehr bezeichnend ist also für den behandelten indirekten Beweis auch die Auffassung, dass der «innere Widerspruch» des Gedankens ein Zeichen für seine Falschheit ist. Der Gedanke, der sich selbst widerspricht, kann nicht wahr sein. Daraus folgt natürlich auch soviel: wahr ist nur der Gedanke, der sich selbst nicht widerspricht, also: *der widerspruchsfreie Gedanke*. Die Widerspruchsfreiheit als einziges logisches Kriterium⁷⁸ für die Wahrheit

⁷⁸ Im täglichen Leben ist man gewohnt eine Behauptung für wahr zu halten, wenn sie mit der praktischen Erfahrung übereinstimmt. Dagegen gibt es ein *logisches Kriterium* für die Wahrheit einer Behauptung *ausser der Widerspruchsfreiheit* eigentlich kaum. Man muss jede Behauptung — natürlich einzig und allein von dem Gesichtspunkte der Logik aus betrachtet — solange für wahr halten, bis es nicht gelingt, irgendeinen Widerspruch in ihr nachzuweisen. Man kann den Widerspruch in einer Behauptung, wie

irgendwelcher Behauptung muss selbstverständlich demjenigen, der einen indirekten Beweis verfasst, bekannt sein. Um diese These genauer zu illustrieren, wollen wir — ehe wir noch weitergehen und die Konsequenzen aus den Feststellungen über den indirekten Beweis im allgemeinen zögen — mindestens noch an einem Beispiel aus der ältesten griechischen Mathematik das indirekte Beweisverfahren ausführlicher untersuchen.

Der Satz Eucl. VII 31., dessen pythagoreischer Ursprung aus dem 5. Jahrhundert durch v. d. Waerden nachgewiesen wurde, besagt: *Jede zusammengesetzte Zahl wird von irgendeiner Primzahl gemessen.* Zu dem Euklidischen Beweis dieses Satzes muss man die folgenden Definitionen des VII. Buches kennen:

Def. 2: *Zahl ist die (endliche) Menge von Einheiten.*

Def. 11: *Primzahl ist die nur die Einheit zum Teiler hat.*

Def. 13: *Zusammengesetzte Zahl (= Nicht-Primzahl) ist diejenige, die irgendeine andere Zahl zum Teiler hat.*

Der Beweis des Satzes (VII 31.) lautet bei Euklid folgendermassen. — Sei a eine beliebige zusammengesetzte Zahl. Wir wollen beweisen, dass diese zusammengesetzte Zahl irgendeinen Primzahl-Teiler besitzt. Nachdem a eine zusammengesetzte Zahl ist, muss sie eine andere Zahl, b zum Teiler haben (Def. 13). Diese Zahl b kann nur Primzahl oder Nicht-Primzahl (= zusammengesetzte Zahl) sein; eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Ist b eine Primzahl, so ist der Satz (VII 31.) bewiesen; ist jedoch b eine zusammengesetzte Zahl, so muss sie einen Teiler c besitzen (Def. 13), der selbstverständlich auch ein Teiler von a ist. Nun kann aber c wieder entweder eine Primzahl oder eine zusammengesetzte Zahl sein. Im ersten Fall ist der Satz bewiesen, denn wir haben eine Primzahl c , die Teiler von b und dadurch auch derjenige von a ist. Ist aber c eine zusammengesetzte Zahl (= Nicht-Primzahl), so prüft man weiter ihren Teiler d usw. — Der Beweis betont, dass man auf diese Weise schliesslich einen Primzahl-Teiler der zusammengesetzten Zahl a finden wird. Sollte man nämlich nie den gesuchten Primzahl-Teiler finden, und wären die Teiler von a lauter zusammengesetzte Zahlen, so hiesse es, dass die Zahl a unendlich viele immer kleiner werdende Teiler besitzt, was jedoch im Bereiche der Zahlen unmöglich ist.

Überblickt man die eben dargestellte Gedankenkette des Beweisvorganges, so muss man zugeben, dass die einzelnen Glieder der Behauptung

bekannt, dadurch nachweisen, dass man Schlüsse (Konsequenzen) aus der Behauptung zieht, und dass man das Verhältnis dieser Konsequenzen zu anderen, schon für wahr geltenden Sätzen prüft. Gerät man auf diese Weise in Widerspruch mit einem schon wahr anerkannten Satz, so kann die anfangs aufgestellte Behauptung nicht mehr als wahr gelten, denn man hat ihren widerspruchsvollen Charakter erkannt. (Allerdings müsste man einmal noch nachweisen können, dass es auch beim *richtigen* Schlüsse-Ziehen aus irgendeiner Behauptung auf das *Vermeiden des Widerspruches* ankommt!)

immer durch das Motiv der «Widerspruchsfreiheit» aneinander gereiht werden. Die Zahl b muss z. B. deswegen entweder Primzahl oder Nicht-Primzahl (= zusammengesetzte Zahl) sein, weil der dritte Fall («sie ist Primzahl und Nicht-Primzahl») innerer Widerspruch des Gedankens wäre, also unmöglich ist. Sollte der erste Fall zutreffen — « b ist Primzahl» —, so braucht man nicht weiterzugehen, da die Aufgabe gelöst ist; im zweiten Fall jedoch — « b ist Nicht-Primzahl» — kann das *dreiteilige Kettenglied des Gedankens* auch für ihren Teiler wiederholt werden: *Primzahl — Nicht-Primzahl — dritter Fall unmöglich*; erster Fall — gelöst; zweiter Fall — man wiederholt von vorne den Gedanken. — Dass aber wirklich die indirekt nachgewiesene Widerspruchsfreiheit des Gedankens sozusagen die Grundlage des ganzen Beweises ist, ersieht man besonders aus dem letzten Schritt. Die Behauptung «A», die man diesmal indirekt begründet, heisst: «*das dargestellte Vorgehen des Suchens ist ein endlicher Prozess, man findet am Schluss die gesuchte Primzahl*». Der indirekte Beweis dieser Behauptung besteht darin, dass man ihr Gegenteil, «Non-A» aufstellt, um es zu widerlegen: «*das dargestellte Vorgehen des Suchens ist ein unendlicher Prozess, man findet die gesuchte Primzahl nie*». Um die Falschheit dieser letzteren Behauptung nachweisen zu können, zieht man aus ihr solange Schlüsse, bis der innere Widerspruch des Gedankens offenbar wird. — Hört der Prozess des Suchens «nie» auf, dann heisst es soviel, dass wir immer nur solche Teiler der Zahl a finden, die auch selber zusammengesetzte Zahlen sind. Jene Zahlen aber, die sich im Laufe des Suchens als Teiler von a erweisen, sind nicht nur alle kleiner als a , sondern sie werden ausserdem mit dem Vorwärtsgen des Prozesses immer auch noch kleiner. Hört also der Prozess nie auf, so besitzt die Zahl a unendlich viele immer kleiner werdende Teiler, die auch selber alle zusammengesetzte Zahlen sind. Aber diese letztere Behauptung lässt sich ja nicht vereinigen mit der Definition 2: *Zahl ist die (endliche) Menge von Einheiten*, sie kann also nicht aus unendlich vielen zusammengesetzten Zahlen bestehen. Wir sind also auf den gesuchten «Widerspruch» gestossen, zum Zeichen dessen, dass die Behauptung «Non-A» nicht wahr sein kann, ihr Gegenteil, die Behauptung «A» ist wahr.

Lehrreich ist der letzte indirekte Beweis auch darum, weil er zufälligerweise auch noch das Problem beleuchten kann: wie man wohl überhaupt auf den Gedanken der mathematischen *Definition* kam. Prüft man nämlich den Satz Eucl. VII 31. und seinen eben behandelten Beweis genauer, so entdeckt man gleich einen merkwürdigen historischen Zusammenhang. Dieser Beweis betont ja, dass keine auch noch so grosse zusammengesetzte Zahl *unendlich viele immer kleiner werdende Teiler haben kann*. Aber wer hat im 5. Jahrhundert v. u. Z. das «Gegenteil dieser Behauptung» aufgestellt, oder mindestens etwas, was so aussieht, als wäre es das «Gegenteil dieser Behauptung»? — Bekanntlich war es der Eleate Zenon, der behauptete,

dass jede Strecke AB *die unendlich vielen immer kleiner werdenden Teiler* $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \dots$ besitzt.⁷⁹ Der Verfasser unseres Beweises will Zenons Behauptung auch gar nicht widerlegen; er betont nur, dass der ähnliche Prozess «im Bereiche der Zahlen» unmöglich ist, weil er im Widerspruch mit der Definition der Zahl stünde. Man hat also — mindestens in diesem Fall — die mathematische Definition so formuliert, dass sie die Grundlage für die Widerspruchsfreiheit jener Behauptungen (Sätze) sei, die man auf sie baute.

Schliessen wir diese kurze Betrachtung über das Motiv der Widerspruchsfreiheit mit einer Vermutung über das indirekte Beweisverfahren, die prinzipiell wichtig sein kann. Ist nämlich die Widerspruchsfreiheit das einzige logische Kriterium für die Wahrheit einer Behauptung, so muss der indirekte Beweis überhaupt sozusagen *die primäre logische Beweisart* sein. Ihm gegenüber kann der direkte Beweis nur *sekundärer logischer Art* sein. Allerdings müssen wir noch zum Verständnis dieser prinzipiell wichtigen Vermutung erklären, was wir eigentlich in dieser Beziehung unter «primär» und «sekundär» verstehen. Fangen wir mit dem leichteren Terminus «sekundär» an. Wie soll man die Behauptung verstehen, dass der direkte Beweis «sekundärer logischer Art» ist? — Die Wahrheit einer Behauptung kann auf dem Wege der Logik mit direkter Methode nur so gezeigt werden, dass man jene Behauptung, deren Wahrheit nachzuweisen ist, mit einer anderen solchen Behauptung verknüpft, deren Wahrheit ihrerseits schon von früher her erkannt ist. Die Behauptung also, die zu beweisen war, wird darum als wahr erscheinen, weil man erkennt, dass sie irgendwie aus einer anderen schon früher als wahr anerkannten Behauptung folgt. Wohl können also auch durch den direkten Beweis die wahren Behauptungen in eine sozusagen unendliche Kette der «Wahrheiten» hineingefügt werden. Aber mit direkter Methode können wir nie eine solche letzte Behauptung finden, deren Wahrheit oder Unwahrheit wir bloss mit logischen Mitteln feststellen könnten. Deswegen sagen wir, dass der direkte Beweis «sekundärer logischer Art» ist. — Dagegen ist der indirekte Beweis «primärer logischer Art». Denn es gibt in der Tat mindestens *eine* solche Behauptung, deren Unwahrheit man bloss mit logischen Mitteln erkennen kann. Die Behauptung nämlich, die sich selbst widerspricht, kann, ohne Rücksicht auf ihren konkreten Inhalt, unmöglich wahr sein. Der indirekte Beweis baut eben immer auf diese *primäre logische Erkenntnis*. Man zieht solange immer wieder Schlüsse aus der geprüften Behauptung, d. h. man überlegt sich alle Konsequenzen des aufgestellten Satzes, bis man bei dem offenbaren Selbstwiderspruch des Gedankens anlangt. Nur so kann ein indirekter Beweis gelingen. — Ist aber der indirekte Beweis dem direkten gegenüber *logisch primär*, so muss diese Art des Beweisverfahrens auch historisch ursprünglicher sein, als der direkte Beweis. In der Tat beginnt

⁷⁹ Vgl. Aristoteles phys. Z 9. 239 b 9 ff. und 2.233 a 21.

die historische Entfaltung der Logik — wie wir bald daran erinnern müssen — mit dem Erscheinen des indirekten Beweises.

Nun kommen wir aber zu den Schlüssen zurück, die sich aus der Betrachtung des indirekten Beweisverfahrens für die Geschichte der griechischen Mathematik ergeben. Das Vorhandensein, ja das häufige Verwenden dieser Art des Beweises in der pythagoreischen Mathematik des 5. Jahrhunderts zeigt, dass zu dieser Zeit den griechischen Mathematikern eine hochentwickelte Logik schon sehr gut bekannt sein musste. Ohne eine schon vorhandene und bewusst angewandte Logik ist ja die deduktive Mathematik gar nicht möglich, denn die mathematische Deduktion ist im Grunde überhaupt nichts anderes, als die bewusste Anwendung der Logik auf Behauptungen mathematischen Inhalts. Es fragt sich nur: woher eigentlich diese Logik kommt? Haben die Mathematiker sie fertig von anderen übernommen, oder haben sie sie etwa selber ausgebildet, indem sie sich mit ihrem eigenen Forschungsobjekt beschäftigten? — Wir wollen zunächst beide Möglichkeiten offen ins Auge fassen ohne dass wir uns dabei schon im voraus auf bekannte historische Tatsachen beriefen.

Gesetzt, dass die Pythagoreer diese Logik selber gefunden hätten, indem sie sich mit jenen empirischen Kenntnissen mathematischen Inhalts intensiv beschäftigten, welche sie fertig vorgefunden hatten, so fragt es sich: was hat sie denn zu dieser über ein solches Objekt bis dahin allerdings völlig unversuchten Gedankentätigkeit veranlasst? Dass sie damit irgendwelche praktische Zwecke gehabt hätten, ist nach all dem, was wir oben entwickelten, völlig unwahrscheinlich. Es bleibt also die andere Möglichkeit: sie müssen diese Beschäftigung aus rein intellektuellem Interesse betrieben haben. Es interessierte sie also nicht so sehr das tatsächliche Material ihrer Forschung — die früheren empirischen Kenntnisse mathematischen Inhalts —, als eher das Gedankliche, welches sie an diesem Material erprobten, also die Logik. Aber wie soll dann die Logik doch aus den empirischen Kenntnissen der früheren Mathematik erwachsen sein? — Auf diese Frage gibt es gar keine Antwort. Sollen also die pythagoreischen Mathematiker selber die Logik erfunden haben, so bleibt es unerklärt, wie sie es eigentlich fertig brachten.

Wenden wir uns nun jetzt der anderen Möglichkeit zu, dass nämlich die Pythagoreer die Logik nicht gefunden, sondern übernommen, und ursprünglich sie nur auf ihr spezielles Gebiet, nämlich auf die empirischen Kenntnisse der früheren Mathematik angewandt hätten, so eröffnen sich gleich wahre historische Perspektiven vor uns. Wir können uns nämlich sofort auf jene Eleaten berufen, die am Ende des 6. und am Anfang des 5. Jahrhunderts gerade in Süditalien sehr nahe bei der Heimat der Pythagoreer tätig waren. — Wir brauchen uns wohl nicht zu wiederholen und noch einmal umständlich zeigen, wie die Eleaten die Logik entdeckt hatten.⁸⁰ Statt dessen wird

⁸⁰ Vgl. Acta Ant. Hung. 2 (1953) 17–62 und 243–289.

es vielleicht genügen, nur kurz anzuzeigen, wie in der Tat alle für die pythagoreische Mathematik kennzeichnenden Züge schon früher in der Logik der Eleaten vorhanden waren.

Fangen wir damit an, dass das älteste Beispiel eines griechischen indirekten Beweisverfahrens eben aus dem Lehrgedicht des Parmenides bekannt ist.⁸¹ Parmenides verwendet ja dasselbe Schema, welches wir oben in der Behandlung des indirekten Beweises für den Satz Eucl. VII 31. ausführlicher entwickelten. Nur besitzt bei Parmenides «das dreiteilige Kettenglied des Gedankens» noch die einfachere Form : 1. «das Seiende ist», 2. «das Seiende ist nicht» und 3. «das Seiende ist und ist auch nicht» (*tertium exclusum*). Er, Parmenides war es ja, der zum ersten Male in der Geschichte des europäischen Denkens die These vertrat, dass das einzige Kriterium für die Wahrheit die Widerspruchsfreiheit ist. Wie könnte aber die Widerspruchsfreiheit, dieses Negativum nachgewiesen werden? — Am leichtestens durch die Widerlegung der gegenteiligen Behauptung, durch das Herausstellen ihres inneren Widerspruches. Deswegen hat Parmenides nie etwas «bewiesen», nur das Gegenteil seiner Behauptung widerlegt. Das ist die Art der Eleaten : durch Nachweis des inneren Widerspruches die gegenteilige Behauptung zu widerlegen.

Leitet man die von den Pythagoreern angewandte Logik von den Eleaten her ab, so wird auch jene grundsätzliche Wandlung auf einmal verständlich, die plötzlich in der Mathematik eintrat. — Wir haben schon betont, dass die Pythagoreer sich nicht mehr mit der empirischen, anschaulichen Evidenz begnügten. Sie wollten auch die alleroffenbarsten Tatsachen der täglichen Erfahrung «deduktiv» beweisen, ja sie standen beinahe feindlich der Praxis gegenüber. Man kann das alles gar nicht verstehen und erklären, wenn man die Logik einfach aus der Beschäftigung mit den praktischen mathematischen Kenntnissen ableiten will. Ja das ist beinahe sinnwidrig : warum sollte man auf einmal gar nichts mehr von der praktischen Erfahrung hören, gerade im Fall solcher Kenntnisse, die aus der praktischen Erfahrung stammten und für den praktischen Gebrauch bestimmt waren? — Aber es wird alles sofort klar und verständlich, wenn man bedenkt, dass diese Wandlung in der Mathematik eigentlich nur *eine Erbschaft der Eleaten-Logik* war. Die Eleaten haben nämlich jede sinnliche Erfahrung verworfen, weil sie auf rein spekulativem Wege den «inneren Widerspruch» in den sinnlichen Erfahrungen entdeckten. Denn unsere Sinnesorgane täuschen uns ja vor, als wären die widerspruchsvollen Erscheinungen, wie «Entstehen», «Vergehen», «Sich-Verändern», «Sich-Bewegen» usw. alle wahr. Aber wie könnte etwas wahr sein, was sich selbst widerspricht? Nach Parmenides steckt nämlich in allen diesen Dingen der Widerspruch des Seins und Nicht-Seins. Deswegen ver-

⁸¹ Vgl. A. GIGON : Der Ursprung der griechischen Philosophie. Basel 1945. S. 251 : «die These wird (bei Parmenides) durch Widerlegung des Gegenteils bewiesen».

kündet er das neue Erkenntnis-Programm : «Lass dich nicht durch die vielerfahrene Gewohnheit auf diesen Weg zwingen, deinen Blick den ziellosen, dein Gehör das brausende und deine Zunge walten zu lassen ; nein, *mit dem Verstande* bringe die vielumstrittene Prüfung, die ich dir riet, zur Entscheidung!» — Die pythagoreischen Mathematiker des 5. Jahrhunderts haben sich eben an dieses Programm gehalten, deswegen verachteten sie das bloss Anschauliche, und deswegen erstrebten sie rein gedankliche Beweise. Die Widerspruchsfreiheit des Gedankens ist also eigentlich infolge des eleatischen Erkenntnis-Programms zum einzigen Kriterium der mathematischen Wahrheit geworden.

*

Die Mathematik war in der vorgriechischen Zeit lediglich eine Sammlung von erfahrungsmässigen, praktischen Kenntnissen. Dadurch, dass die ersten Pythagoreer am Ende des 6. oder spätestens in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts versuchten, die logische Methode der Eleaten auf diese bis dahin nur empirischen Kenntnisse zu verwenden, ist eine überraschende Entwicklung ermöglicht worden. Die Mathematik ist dasselbe geworden, was wir heute unter diesem Namen verstehen : eine deduktive Wissenschaft. Aber auch umgekehrt : auch die Logik hat dadurch jenes Gebiet gefunden, welches ihr am entsprechendsten war. Von nun an förderte nicht nur die Logik die deduktive Wissenschaft, sondern auch die Mathematik trug ihrerseits zu der weiteren Entfaltung der Logik bei. (Darum steht in mancher Hinsicht die Logik der späteren Mathematiker auf einer höheren Stufe, wie z. B. diejenige des Aristoteles.)

Es wäre jedoch verkehrt zu glauben, dass die Anwendung der Logik auf die mathematischen Kenntnisse schon in der ältesten Zeit der Entwicklung die Wissenschaft nur in positiver Richtung beeinflusste. Zum Teil war diese Wirkung in der alten Zeit auch von negativer Art. Es ist z. B. bekannt, wie weit entwickelt in den vorgriechischen Kulturen das Rechnen mit den Brüchen war. Die deduktive Mathematik der Griechen konnte jedoch mit den Brüchen nichts anfangen ; sie musste sie eben im Interesse der logischen «Widerspruchsfreiheit der Mathematik» beiseiteschieben. Wie der Platonische Sokrates es einmal erklärt : «Du weisst doch, dass die Mathematiker lachen würden, wenn man versuchte die Einheit zu zerlegen, und sie liessen es nicht gelten. Wolltest du nämlich die Einheit zerlegen, so würden sie sie statt dessen vervielfältigen. *Denn sie wollten es ja vermeiden, dass die Einheit jemals etwas anderes als sie selbst sei.* Wenn sie dann jemand fragte : Ihr Wunderlichen, von was für Zahlen sprecht ihr eigentlich ? Wo ist denn eine Einheit, wie ihr sie fordert, nämlich etwas in sich völlig Gleiches, Unterschiedsloses, keine Teile Enthaltendes ? Was würden sie darauf wohl antworten ? —

Dass sie lediglich von *gedachten* Zahlen sprechen, die man nur erschliessen und nicht sinnlich wahrnehmen kann.»⁸²

Kein Wunder, dass auf diese Weise das praktische Rechnen mit Brüchen sich nicht weiterentwickeln konnte; es blieb auch noch in byzantinischer Zeit dasselbe, was es im alten Aegypten war.⁸³

A. САБО

КАКИМ ОБРАЗОМ СТАЛА МАТЕМАТИКА ДЕДУКТИВНОЙ НАУКОЙ?

(Резюме)

Статья имеет целью доказать следующие три тезиса: 1. греческая математика — как дедуктивная дисциплина — возникла не позднее первой половины V столетия до н. э. под влиянием элеатской философии; 2. перед тем это были элеаты, которые в истории европейской философии впервые сформулировали вернейшие основные принципы логики (этот пункт обработан в статье не слишком подробно, так как автор опубликовал уже несколько этюдов об этом вопросе в *Acta Antiqua*); 3. дедуктивная математика невозможна, пока математик не может опираться на какую-нибудь логику, употребляемую им вполне сознательно.

В соответствии с этим статья распределена на четыре главы.

В первой главе автор указывает на изменение, происшедшее во взглядах, относящихся к возникновению и оценке греческой математики. В последнее время углубились наши знания относительно математики древнего Египта и Вавилонии. О многих тезисах, приписанных недавно еще грекам, оказалось, что они были известны и ранее. Греков нельзя считать основателями математики в старинном смысле слова. Одновременно с этим выяснилось и то, что названные народы древнего Востока хотя и опередили греков во многих отношениях и сделали даже почин в области математики, которые стали плодотворными только начиная с эпохи Возрождения, все же не сыграли никакой роли в возникновении дедуктивной математики. Понятия о доказательстве, тезисе, дефиниции, аксиоме и постулате, без которых дедуктивная математика немислима, были созданы греками.

Во второй главе автор приводит мнения, опубликованные в последнее время в связи с возникновением греческой философии. Особенное внимание уделяется трем мнениям.

1. Дефиниционно-аксиоматическая основа греческой математики недавно была сравнена К. Фрицом с корнями логики Аристотеля. Мнение Фрица довольно правдоподобно, но проблема является слишком упрощенной. Точка зрения автора, равно как и его наблюдения правильны, но созданная с их помощью теория, имеющая расплывчатые контуры, слишком неуверенна; да и сама проблема не поставлена с необходимой ясностью.

2. Другое мнение — теория двух венгерских математиков, Д. Алексича и И. Феньё представляет собой очень остроумную комбинацию. Названные ученые стремились применить исторический материализм к возникновению математики и логики. Однако, данные, служившие основой для этой теории, — к сожалению — довольно шатки. Не соответствует фактам и предположение авторов, по которому дедуктивная математика у греков была создана потребностями практики. Несмотря на то, что автор статьи несогласен с мнением Алексича и Феньё, он все же пользуется выводами, почерпнутыми из изложения названных авторов.

3. Третье мнение было высказано швейцарским математиком Б. Л. в. д. Варденом. По смыслу этой теории греки дошли до создания дедуктивной математики, когда, ознакомившись с различными математическими взглядами египтян и вавилонян, им нужно было решить, который лучше из них. Хотя эта теория и пригодна к объяснению некоторых подробностей, но для решения всей проблемы недостаточна.

⁸² Platon, Staat VII 525 D—526 A.

⁸³ Vgl. dazu A. FRENKIAN'S Worte (zitiert oben in Anmerkung 7). Es ist übrigens bekannt, dass die Griechen unter anderem auch darum die Lehre von den Proportionen so weit entwickelten, weil sie auf diesem Wege die Brüche aus der Mathematik eliminieren konnten.

В третьей главе составлены, сгруппированы и проанализированы старые и новые научно-исторические данные, на которые опирается мнение самого автора.

В четвертой главе имеется статистика о способах доказательства, употребляемых в самых древних тезисах греческой математики. Из этой статистики явствует, что в начальном периоде истории дедуктивной математики греки очень часто прибегали к непосредственным доказательствам — факт, который, кажется, ускользнул от внимания исследователей. Учитывая один из практических советов современной математической эвристики, относящийся к непосредственному доказательству (см. Waerden, *Einfall und Überlegung in der Mathematik. Elemente der Mathematik VIII* [1953] 123), автор статьи выдвигает вопрос, не является ли непосредственное доказательство самым древним способом доказательства в области дедуктивной математики? Сперва автор считает с этой возможностью только в виде трудовой гипотезы, а затем это предположение принимает вид утверждения. — Наконец, автор рассматривает вопрос о происхождении непосредственного доказательства. По мнению автора оно было внесено в греческую математику извне. Математика стала дедуктивной дисциплиной именно потому, что пифагорейцы, следовавшие по следам элеатов в некоторых отношениях, применили этот вид доказательства к бывшим дотоле только эмпирическими и практическими установлениями математики.

ДЬ. НАДОР

ФАТАЛИЗМ И ВЕРОВАНИЕ В ЧУДЕСА В МИРОВОЗЗРЕНИИ ЭЛЛИНИЗМА

Мировоззрение эллинизма было довольно шатко и насыщено стремлениями к крайностям. Верования различного происхождения уживались одно возле другого. Они иногда дополняли друг друга, но противоречия, скрывавшиеся в них, никогда не становились проблемами для человека тогдашней эпохи. Кризис рабовладельческого строя, распад рамок полисного общества, гибель древних государств и образование новых сделали жизнеощущение неуверенным. Вера в богов древних религий пошатнулась, в греческий мир проникли восточные религии, которые затем просочились и в римскую империю. Особую популярность приобрели божественные персонификации двух обобщенных понятий, т. е. Судьба (*Εἰμαρμένη, Fatum*) и Счастье (*Τύχη, Fortuna*). Они символизировали беззащитность человеческой жизни, ее подчиненность сверхъестественным силам. Вера в Судьбу переплеталась с астрологией халдейского происхождения, которая наложила свой отпечаток и на мировоззрение эллинизма.¹ Все более и более возрастало число храмов, построенных в честь другого вновь явленного божества эпохи, Счастья, от произвола которого — по понятию человека эпохи — зависели не только расцвет и упадок государств, но и все перипетии жизни индивидов. Древние божества Судьбы и Счастья, имевшие присущие им личные черты, оттеснились безличным божеством, олицетворяющим Счастье.² Плиний хорошо охарактеризовал общий религиозный дух эллинизма. Повсюду и ежечасно — говорил он — слышен голос, призывающий Счастье, каждый человек упоминает только о нем, делая ему упреки и привлекая его к ответственности. Думают только о нем, восхваляя или осуждая его. Поносят или чествуют его. Оно считается изменчивым божеством, которое, по мнению многих, слепо. Оно не устойчиво, превратно, изменчиво, ненадежно, и благодетельствует недостойных. Ему приписываются все протори и поступления. При расчете с умершими оно выполняет обе эти

¹ А. Б. Р а н о в и ч : Эллинизм и его историческая роль. М. Л. 1950, глава VII.

² Р. WENDLAND : Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Tübingen 1907, 60.

стороны. Мы настолько подвержены прихотям Судьбы, что сама Судьба кажется для нас богом (*ut sors ipsa pro deo sit*).³

В эпоху эллинизма и царствования римских императоров людские массы стремились искать защиты от непредвиденных поворотов Судьбы не только в мистериях и религиях, но и в философии. Наибольшее количество приверженцев имела стоическая философия.

1. ПОПУЛЯРНАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ: СТОИЦИЗМ

1. Фатализм у стоиков. Стоики являются последователями Гераклита. Они заимствовали у него его физику, динамические взгляды на природу и вместе с тем и понятие о *λόγος*. Это понятие обозначало у Гераклита законность мира. Когда Гераклит отождествляет понятие о Судьбе (*Εἰμαρμένη*) с понятием о *λόγος*, то он хочет избавиться от верования в Судьбу, заменяя ненаучное представление научным понятием. Насколько стоики следуют учению Гераклита, настолько же они провозглашают и объективную законность мира. Судьба означает для них детерминизм, а *λόγος* служит для познания мира при помощи логики.

Однако, гераклитовская традиция у них не могла проявиться с достаточной ясностью. Она затемнялась другой тенденцией, которая искажала категории Гераклита, приспособляя их к идеологическим требованиям эллинизма. При этом очень важную роль сыграло понятие о Судьбе (*Εἰμαρμένη*, *Fatum*), связанное с культом звезд.

Гераклит преобразовал мифическое представление о Судьбе по образцу закона природы (*λόγος*), а его ученики следовали не только научно-философским учениям, но стремились угождать и религиозным верованиям и суевериям, в которых мифическое представление *Εἰμαρμένη* возродилось под влиянием звездного культа. Таким образом категории закона природы и детерминизма у них неоднократно принимают вид фатализма.⁴ Из этого же источника, из модных принципов эллинизма проистекает и замена каузального отношения какой-то мелочной, суеверной телеологией.⁵

Между этими противоположными полюсами, между учением Гераклита и суеверным представлением эпохи продвигалось мышление стоиков. Этим объясняются противоречия в их философских взглядах, от которых они не старались освободиться. Для иллюстрации этого возьмем два отдельных компонента их философии по вопросу о детерминизме.

³ Plinius: *Naturalis historia* II, 22.

⁴ Интересно проанализированы различия между Гераклитом и стоиками в труде Е. Врэнтера (*Chrisippe et l'ancien stoicisme*. Paris 1951, 176 сл.)

⁵ Ср. Гегель: *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie*. Ed. Michelet, Berlin 1833. 443.

Сперва можно было бы предполагать, что фатализм стоиков должен быть приписан факту, что они не сумели «выявить» древнее представление о Судьбе, превращая его в полноценное научное понятие. Но это вряд ли приемлемо, так как это удалось еще Гераклиту, кроме того удалось и стоикам, когда они придерживались строго научного мышления. Вот некоторые примеры для того, как объясняли Судьбу некоторые древние приверженцы стоицизма. По мнению Хрисиппа (III век до н. э.) «Судьба ничто иное как действующий в мире λόγος»⁶ а «λόγος является законом мира, в соответствии с которым создавалось, создается и будет создаваться все» (λόγος, καθ' ὃν τὰ μὲν γεγονότα γέγονε, τὰ δὲ γινόμενα γίνεταί, τὰ δὲ γενησόμενα γενήσεται).⁷

Стоики ссылались на Судьбу для того, чтобы подчеркнуть необходимость связей между вещами (εἰμαρμένης ἀνάγκη).⁸ Цицерон считал стоическое понятие о Судьбе философской категорией, выражающей необходимую связь между вещами. «Я называю Судьбой то, что греки обозначали словом εἰμαρμένη, значит и ряд и порядок причин, когда одна из причин, присоединяясь к другой, что-то создает. Она искони и вечно существующая истина. Если это так, то до сих пор не произошло ничего, что не повторится в будущем. Подобным же образом ничего не будет в будущем, зачатки которого не имеются в природе. Из этого следует, что Судьба отнюдь не то, что принято называть по смыслу суеверий, а вечная причина вещей, которая объясняет происшествия прошлого, настоящего и будущего»⁹ (= «*fatum autem id appello, quod Graeci εἰμαρμένην, id est ordinem seriemque causarum, cum causa causae nexa rem ex se gignat. Ea est ex omni aeternitate fluens veritas sempiterna. Quod cum ita sit, nihil est factum, quod non futurum fuerit; eodemque modo nihil est futurum cuius non causas id ipsum efficientes natura contineat. Ex quo intelligitur, ut fatum sit non id, quod superstitiose, sed id, quod physice dicitur, causa aeterna rerum, cur et ea, quae praeterierunt, facta sint, et quae instant fiant, et quae sequuntur, futura sint*»).¹⁰

Помимо этого, концепция гераклитского происхождения λόγος была пригодна и для выражения возможности интерпретации мира: «мир в общем и целом имеет логический характер» (λογικὸς ὅρα ἐστὶν ὁ κόσμος).¹¹

⁶ «Εἰμαρμένη ἐστὶν ὁ τοῦ κόσμου λόγος» (ARNIM: Stoicorum veterum Fragmenta II 265.)

⁷ А р н и м: ук. соч.

⁸ Там же стр. 267.

⁹ Cicero: De divinatione I, 55, 125.

¹⁰ Требуется заметить, что Цицерон был сторонником фатализма, несмотря на то, что он протестовал против обвинения, будто он применял понятие о Судьбе по смыслу суеверий. Хотя его определение, данное о детерминизме, и имеет до некоторой степени научной характер, в нем все же проявляются крайне фаталистические черты этого понятия. Этому обстоятельству должно быть приписано, что Цицерон параллельно с выступлением против суеверий подчеркивает возможность предсказаний.

¹¹ Sextus Empiricus adv. Math. IX, 101—103 (см. Гегель ук. соч. 441).

Ни развитие науки, ни внутренняя логика решения научных проблем не сбили стоиков с правильного пути, отмеченного Гераклитом в отношении детерминизма и понятия *λόγος*, а те вненаучные тенденции, которые и в области философии стремились найти религиозные представления: Зевса, Судьбу, Провидение. С этой точки зрения весьма поучительным является колебание смысла *Εἰμαρμένη* между научным, религиозным и суеверным пониманием этого понятия: «если назовешь ее судьбой, то не ошибешься... Если говоришь о ней, как о провидении, то говоришь правильно... Если наимауешь ее природой, то это не грех... Если назовешь ее миром, то не впадешь в заблуждение».¹²

Таким образом, под влиянием религиозных запросов, астрологического фатализма и веры в провидение, первоначальный детерминизм во многих отношениях подвергся деформации.

Идея необходимого и закономерного сцепления причин была вытеснена фаталистическим пониманием механической и автоматической связи явлений, которое уживалось с верованием в предсказания. «Если б не по воле *Εἰμαρμένη* происходили события, то никто не считал бы правильным предсказания пророков».¹³

Закономерность, замечаемая в явлениях мира, была использована стоиками не для установления настоящих законов мира. Они отождествляли ее с некоторыми представлениями суеверий и народных верований. Так, например, создатель стоической школы, Зенон возобновил старинное представление о периодическом возвращении миров, подчеркивая, что все, происходящие события в мире до мельчайших подробностей повторятся когда-нибудь. «Вследствие периодического сгорания мира вновь появятся те же самые люди при тех же самых условиях: Анит и Мелит в роли обвинителей, Бузирис для того, чтобы уничтожить иностранцев, Геракл же, чтобы выполнить свои задачи».¹⁴

Не подлежит сомнению, что некоторые фаталистические черты скрываются и в механическом детерминизме и этому виду детерминизма всегда грозит опасность впадения в фатализм. Однако, детерминистское мировоззрение в течение своего исторического развития не пало жертвой этой опасности: его спасли помощь, оказанная со стороны научной практики, и научные стремления его проповедников. В противоположность этому, стоики не имели непосредственных связей с наукой, вследствие чего их кокетничание с астрологией бросили их в объятия фатализма.

Кроме фатализма были и другие навязчивые идеи, которые налагали

¹² Seneca: *Questionum naturalium libri VII*. «*Vis illum fatum vocare, non errabis . . . Vis illum providentiam vocare? recte dices . . . vis illum naturam vocare? non peccabis . . . vis illum vocare mundum? non falleris*» (II 45).

¹³ Eusebius: *Praeparatio evangelica* 4, 3.

¹⁴ Plutarchos: *St. rep.* 33.

оковы на мышление стоиков. Таковыми являлись идея провидения, равно как и самое примитивное понимание теологии, по смыслу которого растения созданы ради животных, животные — ради людей, люди же ради богов.¹⁵ Вместе с тем рассказы стоиков о пророчествах и духах подкрепили мышление, основанное на суевериях. Причина заблуждений стоиков — по мнению Маркса — возникла отчасти потому, что их философия не опиралась на достижения естествознания, отчасти же потому, что они стремились подтверждать традиционные представления и верования греков. «Это духовидение стоиков — пишут Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» — вытекает, с одной стороны, из невозможности провести динамический взгляд на природу при отсутствии материала, доставляемого эмпирическим естествознанием, а с другой стороны, из их стремления спекулятивно истолковывать и уподоблять мыслящему духу древнегреческий мир и даже религию».¹⁶

2. Закон природы, естественное право и мораль. Несмотря на уступки, сделанные в пользу суеверий и религиозных верований, стоики — как уже сказано — сохранили и учения Гераклита, в первую очередь его изложения, относящиеся к понятию о *λόγος*. Под этим они подразумевали закономерность, господствующую в природе, «в соответствии с которой создавалось, создается и будет создаваться все» (Хрисипп).

В отношении вопроса о законах природы, конечно, также заметны некоторые колебания и неясности в философии стоиков. Однако, сущность этого вопроса у них сохранена правильно, так как гераклитовское понятие о *λόγος* не допускает никакого смешивания с понятиями о естественном праве и естественной морали.

Стоики отождествляли выражения *λόγος* и *νόμος*: *λόγος* — это истинный закон природы,¹⁷ а *νόμος* — *λόγος* природы.¹⁸ Таким образом, они поспособствовали возникновению и распространению нового философского термина (*νόμος φύσεως* или *νόμος φυσικός*, *lex naturae*). Сам термин создан не ими, он более древнего происхождения. Он впервые встречается в гиппократических сочинениях (где, напр., речь идет «о законе капельно-жидких тел»),¹⁹ но это безусловно те, которые способствовали распространению выражения *νόμος*, перенеся его из сферы права в естествознание.

Но *νόμος* у стоиков не является строго определенным и однозначным понятием. Это выражение означает иногда объективный закон природы, а иногда и естественную мораль или естественное право. Стоики были шагом

¹⁵ Для документации см. E. Zeller: Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Leipzig 1865, III (Abb. 1) H 1, 158.

¹⁶ Маркс — Энгельс: Немецкая идеология. Соч. III 2. Москва 1955, 125.

¹⁷ «διὰ τὸ λόγον . . . ὅς ἐστι φύσει νόμος»: Арним: ук. соч. II 169 (отрывок № 528).

¹⁸ «λόγος δέ ἐστιν φύσεως»: Арним: ук. соч. III 79 (отрывок № 323).

¹⁹ Ср. E. Laroche: Histoire de la racine «nem» en Grec Ancien. Paris 1949, 194.

назад по отношению к Гераклиту, который резко и ясно разграничил понятие об объективном законе природы (*λόγος* — по названию Гераклита) от понятия естественного права.²⁰

3. В о п р о с о м е т а ф о р е «з а к о н». До метафоры «закон» стоики доводились своим мнением, по которому мир представляет собой «хорошо организованный полис».²¹

Общественные и политические волнения эпохи эллинизма растерзывали мелкие самостоятельные, демократические города-государства, равно как и общество, обитавшее в них. Стоики выражали настроение эпохи, когда с некоторой тоской вспоминали общество городов-государств, идеализируя отношения, господствовавшие в нем.²² Вселенная, по их мнению, ничто иное как большой полис, управляемый единым законом,²³ где *λόγος* регулирует взаимоотношение богов и людей.²⁴

Закон, обеспечивающий порядок вселенной, берет свое начало не из воли какой-то внешней власти, а является имманентным законом природы.²⁵ По мнению некоторых стоиков *νόμος* — сам бог.²⁶ Другие отождествляли его с отцом людей и богов, Зевсом или Судьбой. «Стоики утверждают, что мир управляется разумом и законом, сам же бог является законом для самого себя».²⁷

Значит, стоикам было ясно, что говорить о законе природы можно только метафорически, так как природа (или бог) — в отличие от сферы права — владеет автономией: она сама создает законы для самой себя и ее законы вытекают из собственной натуры. Закон природы ничто иное как внутренний порядок (*ordo*), пронизывающий вещи,²⁸ т. е. *λόγος* — по терминологии Гераклита.

Слабость стоической философии состоит в том, что понятия закона природы и естественной морали у них перемешиваются между собой. Стоики интересовались, в первую очередь, этическими вопросами. Рассуждая о природе и ее законах, перед ними витали прежде всего вопросы естественной нравственности. Так как у них отсутствовали физические исследования, их естествоведческие взгляды легко переносились путем спекуляции с во-

²⁰ См. Этюд автора: *Herakleitos logos fogalmának filozófiai jelentősége* (= Философское значение понятия Гераклита *ὁ λόγος*): *Antik tanulmányok* (1955).

²¹ ВРЕНТЕР: ук. соч. 210.

²² А р н и м: ук. соч. III 79 (отрывок № 323).

²³ Там же II 169 (отрывок № 528).

²⁴ *lex = naturae vis* (см. А р н и м: ук. соч. III 78, отрывок № 315).

²⁵ Ср. Целлер: ук. соч. 127.

²⁶ Ср. знаменитый гимн Клеанта.

²⁷ А р н и м: ук. соч. II 322.

²⁸ *«factum est connexio rerum per aeternitatem se invicem tenens, quae suo ordine et lege variatur* (А р н и м: ук. соч. III 266).

просов о физических законах, которые весьма мало интересовали стоиков,²⁹ на общие проблемы этики.³⁰

Неправильность мнения стоиков по вопросу о законах природы объясняется тем, что они оторвались от фактического обследования природы. Когда стоик Посейдоний, производивший различные исследования во многих областях науки, в связи с конкретной естествоведческой (геологической) проблемой заметил, что он все еще не открыл закон³¹ данного явления, то он придал понятию закона чисто физический смысл.

Вопреки неясному и неопределенному характеру стоической концепции, относящейся к закону (*νόμος*, *lex*) природы, в ней все же скрывались и оплодотворяющие элементы: несмотря на побочное значение нравственного характера, через это понятие проявилась и идея настоящей закономерности явлений природы, итак стоики — хотя и невольно — поспособствовали популяризации и унаследованию одной важной научной категории. Из метафоры закона ученые позднее почерпнули «обязательный» и «необходимый» характер законов природы, причем нельзя забывать о том, что даже и Декарт упомянул о божьем законодательстве в связи с законами природы.

4. Принцип каузальности у стоиков. В древние века Аристотелем было сказано самое важное слово по вопросу о каузальности. Однако, его мнение не оказалось плодотворным, так как он больше придавал важности финальной причине, нежели начальной, вследствие чего он приблизил научное и философическое мышление к телеологии. Мнение стоиков в этом вопросе прогрессивно: существует одна только истинная причина, — творческая причина. Другие виды причины, различаемые Аристотелем, являются не настоящими причинами, а лишь средствами или же представляют собой только часть настоящей творческой причины.³² Все, что случается и существует, берет свое начало из одной причины.³³

С отклонением теории Аристотеля об иерархии причин и создав теорию единой причины, стоики продвинули вперед разработку категории каузальности. Одновременно с этим они странно представляли себе отношение причины и следствия, будучи убеждены, что причина — материальная субстанция, в противоположность следствию, которое представляет собой процесс,

²⁹ Некоторые стоики прямо выступили против достижений прогрессивных исследований. Когда Аристарх в III веке до н. э. создал свою гениальную гелиоцентрическую теорию, то стоик Клеант обвинил его в безбожничестве «так как он сдвинул со своего места святой очаг вселенной, утверждая, что небо не движется, земля же вращается не только в косой сфере эклиптики, но и вокруг своей оси» (см. Fr. Boll: *Kleine Schriften zur Sternkunde des Altertums*. Leipzig 1950, 262).

³⁰ Понятия о законе природы и морали перемешиваются еще у Клеанта. Его знаменитый гимн, обращенный к Зевсу, восхваляет *νόμος*, господствующий в физическом мире, а вместе с тем и вечный *νόμος* нравственности.

³¹ См. К. REINHARDT: *Posidonios*. München 1921, 246.

³² См. Целлер: *ук. соч.* 121.

³³ См. Seneca Ep. 65, 4: ... unam esse causam, id quod facit.

чего-то бесплотного, сущность которого может быть всецело выражена одним словом.³⁴ Таковое понимание каузальности, рассматривающее в причине и следствии неоднородные моменты единого процесса, а элементы, между которыми можно заметить иерархию, означает явный упадок в истории развития понятия о каузальности.³⁵ Мысль о том, что причина — материальная субстанция, вовсе не новость, а поздний вывод древнего воззрения, представляющего себе процессы и отношения только под видом материальной субстанции.³⁶

Стоики установили новые дистинкции в понятии о каузальности, различая два вида в числе причин: 1. основные и непосредственные (*c. perfectae et principales*), 2. побочные и косвенные причины (*c. adjuvantes et proximae*). Это различие возникло в области медицины, где уже во время раннего стоицизма широко распространилось мнение, по которому требуется различать между случайными, вызывающими заболевание организма причинами, с одной стороны, и настоящими причинами, скрывающимися в организме или в его восприимчивости к воздействию наружных фактов — с другой.³⁷ Однако стоики, не занимаясь специальными науками, не уделили внимания и медицине. Поэтому они только поверхностно знали каузальность, разработанную в медицине, и при распространении исказили ее, заполняя старую формулу хотя и новым, но антинаучным содержанием. Хрисипп утверждал, что детерминизм имеет силу только по отношению к побочным причинам, а связь основных определяется другими факторами, а именно человеческим желанием и волей. Таким логическим ухищрением стоики хотели отметить место свободной воли в проповедуемом ими фаталистическом мире.

Итак стоя колебалась между суеверным верованием в судьбу и фальшивым идеалистическим представлением о свободной воле.

«Среди причин — сказал Хрисипп — имеются основные, безусловные и побочные, косвенные причины. Поэтому если мы утверждаем, что судьба определяет все при помощи предшествовавших причин (*omnia fato fieri causis antecedentibus*), то надо думать не о безусловных, основных причинах, а о побочных, косвенных... Если эти последние не находятся в нашей власти, то из этого отнюдь не следует еще, что и инстинкт тоже не в нашей власти. Последнее заключение имело бы силу только в том случае, если бы все случалось вследствие безусловных, основных причин, а так как они не подпадают под нашу власть, мы не можем властвовать над своими инстинктами. Это умозаключение является правильным, но не для тех, которые счи-

³⁴ «Причина — это «почему». Значит, причина представляет собой что-то чувствующее, в частности материальное» (Хрисипп).

³⁵ ВРЭНИЕР : ук. соч. 131 сл.

³⁶ E. CASSIRER : Philosophie der symbolischen Formen II. Das mythische Denken. Berlin 1925, 72.

³⁷ M. POHLLENZ : Grundfragen der stoischen Philosophie. Göttingen 1940, 104 сл.

тают предшествующие причины безусловными и основными, а только для тех, которые приписывают необходимость судьбе. Необходимо знать различия и разницы между причинами.»³⁸

При механизме каузально действующих отношений стоики предполагали — по меньшей мере в области человеческой активности — каузально действующий ряд причин. Этим они изувечили круг действия детерминизма, отрешившись от мысли об универсальной силе каузальности.

Взгляды стоиков — хотя и не были свободны от некоторых противоречий по вопросу о законе природы — все же играли большую роль в распространении этого понятия.³⁹ Они подчеркнули его необходимость, а само выражение («lex») через работы Кеплера, Декарта и Спинозы приобрело общее признание в научной литературе.

Несмотря на то, что стоики выходили из «светского» понимания Судьбы, они никогда не покидали области мифов и религиозных представлений. Наоборот, они своей философией стремились подтвердить — часто даже вынужденными аллегориями — суеверные представления религий народных верований. Поэтому научные взгляды должны были защищены от них другим значительным течением позднего периода древневековой философии, эпикуреизмом.

III. ВЫСТУПЛЕНИЕ ЭПИКУРА И ЕГО ШКОЛЫ ПРОТИВ ФАТАЛИЗМА

1. О влиянии Эпикура. Немного философских школ приобрело столь ценные заслуги распространением научного, каузального мышления как Эпикур (341—270 г. до н. э.) и его ученики. Эпикуреизм держался удивительно долго. Им велась победоносная война сперва в эллинистическом мире, а затем в Риме со стоиками и платонистами, опровергая религиозные и суеверные учения этих школ. После распространения христианства ему пришлось отстаивать учение науки и рационализма против новой всемирной религии, «поэтому слывет он (Эпикур) среди всех отцов церкви, равно как и у писателей от Плутарха до Лютера за безбожного философа... и когда Климент Александрийский подчеркнул, что св. Павел выступил против философии, то следует подразумевать только лишь философию эпикурейцев»⁴⁰ Эпикуреизм как самостоятельное течение имело

³⁸ Cicero: De fato 41 сл.

³⁹ Грант стремился доказать, что стоики не пользовались еще выражением «закон природы» (*νόμος φύσεως*, *lex naturae*). Филон Александрийский был первым, который употреблял его для обозначения физического закона (см. R. Grant: *Miracle and natural law in Greco-Roman and Early Christian Thought*. Amsterdam 1952, 21 сл.). С этим мнением мы несогласны, так как стоики часто пользовались выражениями *ἐιμαρμένη* и *λόγος*, обозначая ими закон природы. Вместе с тем они говорили и о законе, как это видно из приведенных выше цитат.

⁴⁰ Маркс Энгельс: ук. соч. 128.

очень долголетнее существование в истории философии, он существовал еще и в IV веке н. э.⁴¹

Влияние эпикуреизма не прекратилось даже в средневековье. В Италии в XII столетие возникает довольно значительное антирелигиозное движение с именем Эпикура на своем знамени. Вольнодумцы и материалисты средневековья причислялись в большинстве случаев к числу эпикурейцев, особенно их противниками.⁴²

Начиная с эпохи Возрождения, материализм эпикурейцев оказал — в первую очередь при посредничестве Лукреция — сильное влияние на научное и прогрессивное философское мышление (Галилей, Ньютон),⁴³ не говоря о плодотворном воздействии светской морали эпикуреизма на этические представления Возрождения и раннего периода античности (Монтень, Рабле, Джордано Бруно, Авинни, Спиноза). О научных возможностях, скрывавшихся в эпикуреизме, свидетельствует факт, что в XVII веке современник и друг Декарта, Гассенди взялся за оживление учения Эпикура.

Знаменитый римский писатель и поэтический проповедник эпикуреизма, Лукреций и «Вольтер древнего века», Лукиан даже по истечении нескольких столетий с восторгом говорили об Эпикуре, который освободил человечество от кандалов религии и суеверий. Действительно, Эпикур является истинным радикальным просветителем древних веков (Маркс), который с необычной в греческой философии резкостью подчеркнул непримиримый антагонизм, существовавший между наукой и религией (или что однозначно с этим: между наукой и суеверием).⁴⁴

2. Естественное объяснение мира. Эпикур и его школа боролись не только против суеверий, веры в звезды, демонологии, против религиозного мира богов народной веры, но и против теологического воззрения и мировоззрения, проповедуемыми стоической философией. Вере в Провидение и ненаучным представлениям о целесообразном устройстве мира они решительно противопоставляли точку зрения детерминизма, ту самую точку зрения, которая принадлежит к самым лучшим традициям греческой материалистической философии.

«При появлении живых существ не присутствовало никакое разумное Провидение. Глаза возникли не для того, чтобы видеть, уши — не для того, чтобы слышать, язык не для речи, ноги не для ходьбы, так как все эти органы появились тогда, когда не было ни слуха, ни речи, ни зрения. Поэтому эти органы появились не для их употребления, а употребление их было следствием их появления. Не для живых существ идет дождь, растут фрукты,

⁴¹ JOYAU : *Epicure*. Paris 1910, 2.

⁴² Относительно влияния эпикуреизма см. J. M. GUYAU : *La morale d'Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines*. Paris 1904, 189 сл.

⁴³ Ср. В а в и л о в : *Физика Лукреция*. Изд. АН СССР, 1947.

⁴⁴ К. МАРК : *Differenz der demokratischen und epikureischen Naturphilosophie* (MEGA I 1); GUYAU : *ук. соч.* 57 сл.

покрываются зеленью деревья : все это ни в какой степени не доказывает существование Провидения ; все это происходит само по себе по естественной необходимости. Все это не является делом Провидения : существуют ведь семена, перелетающие через пустые пространства и от которых без всякой цели при их столкновении все происходит и растет.»⁴⁵

Допущение таких причин — вместе с верой в Провидение и в чудеса — является суеверием, кореняющимся в людском невежестве. Эпикур видел особую роль науки в том, что она путем раскрытия настоящих причин освобождает людей от невежества, от страха и тем самым от ошибочных мнений и от суеверий.

«Если мы будем решительно стремиться познать те явления, которые вызывают в нас замешательство и страх, тогда сможем вскрыть настоящие причины, их вызывающие (*ἐξαιτιολογήσομεν ὁρθῶς*). и освободим самих себя ; потому что мы узнаем причины появления метеоров и причины всего другого — неожиданного и постоянного, — вызывающего в других людях бесконечный ужас.»⁴⁶

Таким образом, Эпикур искал естественного объяснения всем природным явлениям, какими бы они не были непривычными, неожиданными, даже «чудесными», заняв принципиальную позицию, что все другие попытки объяснения явлений должны быть исключены из области науки. Это естественное материалистическое мировоззрение Эпикура, проявлявшееся в нем и в его учениках с пафосом просвещения и борьбы, действительно выделялось в античном мире, полном суеверий и страхов, и влияние его может быть сравнимо с просветительным влиянием естественных наук нового века. Гегель правильно обращает наше внимание на такое сравнение : «Философия Эпикура в своем кругу оказала такое же влияние, каково в современном мире было влияние раскрытия законов природы, так как философия Эпикура была направлена против допущения произвольных причин. Чем лучше в новом веке люди узнавали законы природы, тем скорее исчезали суеверия, вера в чудесное, астрология и т. д., рассеиваясь как туман в свете познания законов природы. Для Эпикура характерны те стремления, которые он выразил во время борьбы против бессмысленных суеверий астрологии...»⁴⁷

Мысль о необходимости искать естественные объяснения для всех природных явлений была высказана Эпикуром не только абстрактно; он выработал несколько общих принципов для подкрепления естественных объяснений. Самый важный из этих принципов — принцип сохранения, предвестник принципа сохранения материи : «ничто не может возникнуть из ничего, ничто не может исчезнуть полностью, природа вселенной всегда

⁴⁵ Lactantius: Div. inst. III 17, 16.

⁴⁶ Diog. Laert. X 82.

⁴⁷ HEGEL: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. II 497.

остается той же»⁴⁸ (*nihil de nihilo gigni, nihil ad nihilum interire, eandem semper universi naturam esse*). Этот принцип содержит в себе не только принцип вечности материи, но и ту мысль, что вселенная *всегда одинакова*, другими словами, что она подчиняется вечным и неизменным законам. Таким образом, приведенный принцип Эпикура содержит в себе принципы казуальности и детерминизма.⁴⁹ Лукреций подробно анализирует мысль Эпикура, что у природы есть вечные и неизменные законы, что природу, «натуру вещей» (*naturam rerum*) не может изменить никакая сила.⁵⁰

3. Эпикур и естествознание. Какую роль сыграла деятельность Эпикура с точки зрения практики естествознания, раскрытия действительных законов природы? Этот вопрос не должен быть сужен и ограничен исследованием того, сколько действительных открытий до сегодняшнего дня сделали Эпикур и его школа в области естествознания. Эпикура в первую очередь занимали принципиальные вопросы мировоззренческого и исследовательского характера в области естественных наук; можно предположить, что значение и влияние Эпикура надо искать не в его частных исследованиях, а в общих методических установках. Именно в этом видел значение Эпикура и Гегель, который совсем не восторгается материализмом Эпикура (наоборот, старается преуменьшить значение этого материализма), но все же считает важным новый эмпирический метод, введенный Эпикуром в области естествоиспытания. Гегель сравнивает априористически направленный естествоиспытательный метод Аристотеля с наблюдениями Эпикура и с его методом, основанным на опыте, и подчеркивает, что последний, исходящий из опыта, направленный к установлению общих законов, стал господствующим методом в современном естествознании. Ленин отмечает это прекрасное изложение Гегеля:

«Об этом методе (о методах философии Эпикура) надо сказать, что в нем есть и такая сторона, благодаря которой они становятся интересными. Аристотель и более ранние мыслители в натурфилософии исходили априори из общей идеи и из нее выводили понятие, это одна сторона. Другая сторона требует, чтобы опыт был возведен на высоту обобщения, чтобы были открыты законы. Например, рассуждения Аристотеля априори прекрасны, но недостаточны, так как в них отсутствует связь с опытом, с наблюдением, отсутствует взаимозависимость. Возвращаться к общему, исходя из частного является признанием законов, природных сил и т. д. Поэтому мы можем сказать, что Эпикур открыл эмпирическое естествознание, эмпирическую

⁴⁸ Письма Эпикура к Геродоту: „οὐδὲν γίγεται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος“.

⁴⁹ Так рассуждает и К. Банли в знаменитых комментариях к Лукрецию (Оксфорд, 1947/II 624).

⁵⁰ Lucretius: De rerum nat. II: 297 сл.

психологию. Целям, рассудочным понятиям стоиков противопоставлен опыт, чувственные восприятия...»

Гегель действительно правильно видит, что априористической спекулятивной натурфилософии уже в древние века противостояло другое течение, возникшее в естествоиспытании и исходящее из опыта. Это последнее течение было представлено уже Демокритом и развито далее в направлении естествознания школой Аристотеля (Стратон и др.), а также Эпикуром. Эти течения оказали значительное позитивное влияние на развитие естественных наук в древней Греции и Риме. (Сам Эпикур, например, оказал положительное влияние на римскую медицину.)⁵¹ Однако, Эпикур не произвел и не мог произвести решительного поворота в сторону установления эмпирии и действительных законов природы. В своих естествоиспытательских исследованиях Эпикур исходит из данных непосредственных наблюдений, обрабатывает их теоретически и спекулятивно и старается установить законы. Произведение опытов играет у него совершенно подчиненную роль, и он не знает возможности применения математики в физике.⁵² Не случайно по отдельным вопросам Эпикур по отношению к Демокриту, к «физику» попадает в один лагерь с Аристотелем.⁵³ Сравнительно со спекулятивным естествознанием в истории науки и научных методов только тогда мог произойти решительный поворот, когда Галилей (чему способствовало влияние и атомистической философии), углубляя принцип опыта, ввел в физику исследование, как основной метод, и выразил законы природы на языке математики.

Гегель устанавливает, что Эпикур — как и современное естествознание — делает выводы на основании аналогии. (Например, в том, что свет является колебанием эфира). Ленин с полным правом оспаривает это утверждение Гегеля и в заметке на полях показывает, к каким колоссальным результатам привели современные методы в естествознании, о которых Гегель отзывается так пренебрежительно.⁵⁴ Здесь мы не имеем возможности говорить о том, какую плодотворную роль в современных естественных науках сыграло мышление, исходящее из аналогий и аналогичных умозаключений. Укажем только на то, что у Эпикура, который по существу еще далек был от экспериментального метода и по сути дела ссылался на данные непосредственных наблюдений, большую роль играло дерзкое мышление и мышление по аналогии. Именно с помощью смелых аналогий мог прийти Эпикур или Лукреций к отдельным научным интуициям, далеко опережающим их эпоху. (Вавилов указывает на то, что Лукреций тысячи лет тому назад уже

⁵¹ Гегель: ук. соч. II 496—497.

⁵² То, что устанавливает по этому вопросу Вавилов в отношении физики Лукреция, относится и к физике Эпикура. (См. Вавилов: Физика Лукреция.)

⁵³ См. Лурье: Демокрит, Эпикур и Лукреций (В издании Академии Наук СССР, Лукреций. т. II, стр. 132).

⁵⁴ Ленин: Философские тетради.

догадывался о многих законах природы, например, о том, что в безвоздушном пространстве тела падают с одинаковой скоростью.)⁵⁵

4. **Детерминизм против фатализма.** Есть в философии Эпикура особая черта, отличающая ее от более старых форм атомизма, а из более близких от философий Демокрита : энергичная борьба Эпикура против фатализма, за обеспечение свободы человека. Эту черту в философии Эпикура, ее корни в натурфилософии Эпикура и позитивное значение этой концепции впервые открыл молодой Маркс, изложив ее в докторской диссертации. Эта диссертация,⁵⁶ хотя Маркс в то время был еще гегельянцем, помогает понять и оценить значение глубоких мыслей, заключенных в натурфилософии Эпикура.

Вера в Судьбу с самого начала тяжелым грузом давила на мышление греков. Старая греческая натурфилософия боролась с этим таким образом, что постаралась устранить мифическое содержание из понятия *εἰμαρμένη* и отождествить его с понятием *λογος*, с понятием закона природы (Гераклит). Детерминистское представление мира Демокрита базируется на таких чисто научных категориях, что заранее исключает всякие мифологические понятия, среди них и понятие Судьбы. Одновременно механический материализм и механический детерминизм Демокрита исключил из природы вещей всякую свободу, *все* неожиданное, заключая таким образом в себе по крайней мере возможность фаталистического истолкования.

В эпоху эллинизма вопрос фатализма стал тяжелой мировоззренческой проблемой для прогрессивно мыслящих людей, когда вера в Судьбу получила новую поддержку от культа звезд, когда культ богов *Судьбы* и *Счастья* распространился по всему эллинистическому, а затем и по римскому миру. Модная философия века, стоицизм признала и оправдала представления народной веры, веру в Судьбу и в Счастье (случайность),⁵⁷ даже сделала попытку объяснить необъяснимое, т. е. как уживаются вместе эти две «божественных» власти : «Судьба определяет рождение и смерть, все же, что случается между этими крайними точками — случайность»⁵⁸ — гласит одна из стоических формул.

Стоя показала на практике, куда ведет фатализм : к вере в Провидение и в пророчества и к отрицанию моральной ответственности человека. Эпикур и эпикурейцы, выступая против фатализма стоиков и против представления *Εἰμαρμένη* = народной веры, действовали в интересах просвещенного мышления и здоровых моральных понятий. Вот как обосновал Великий, философ эпикуреец, противифаталистскую позицию своей школы : «Если существует бог, управляющий миром, направляющий ход звезд и вереницы веков, за-

⁵⁵ В а в и л о в : Физика Лукреция.

⁵⁶ К. МАРКС : Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie.

⁵⁷ «*fortuna omnipotens et ineluctabile fatum.*» (ARNIM : II 281, 927).

⁵⁸ «*nasci et mori fatis, media omnia fortuna.*» (ARNIM : II 281, 972.)

ботающийся о порядке вещей и о планомерных изменениях, наблюдающий за землей и морями, охраняющий жизнь и интересы людей, — каким грустным и прискорбным образом помешал тогда этот бог ходу мира... Таким образом (т. е. стоики) поставили над нашими головами вечного Господа, которого мы должны бояться днем и ночью. Потому что, как мы можем не бояться бога, который все видит вперед, который обо всем думает, который все замечает, который следит за тем, чтобы все ему поклонялись, ревностный и деятельный бог. Отсюда ваша фаталистическая Необходимость, которую вы называете *εἰμαρμένη*. О том, что следует, вы тоже утверждаете, что оно было создано в порядке вечной справедливости и вследствие сцепления целого ряда причин: какое значение можно придать философии, которая по примеру старых женщин думает, что все случается по воле Судьбы? Наконец, здесь ваш *μαντική*, который латины называют *vaticinatio* (предсказание). Если бы мы верили в это, как вы этого желаете, то мы стали бы такими суеверными, что стали бы поклоняться *haruspices*, *augures*, предсказателям и всяким оракулам и пророкам. Мы — которых Эпикур избавил от всех этих ужасов и освободил от них —, совершенно не боимся богов». ⁵⁹

Значение философии Эпикура не только в том, что она выступила против опасных навязчивых идей этой эпохи, против веры в Судьбу и связанного с этой верой фатализма. В эпоху эллинизма были такие течения, которые боролись против веры в Судьбу на почве религиозного, магического, мистического мировоззрения: магические и мистические течения заявляли, что знают способ, как может человек освободиться от гнета и влияния Судьбы. ⁶⁰ В противоположность этому Эпикур и его школа нападают на веру в Судьбу и на фатализм с позиций детерминизма. Они считают свободу человека не чудом, не даром какого то таинственного искупления: свобода — говорят они — таится в природе, в природе вещей. Свобода не против законов природы, она сама закон природы.

Натурфилософским обоснованием этой мысли послужило то видоизменение, которое произвел Эпикур в демокритовском атомизме: наука об «отклонении» атомов (*παρέγκλισις, clinamen*). Над этим учением уже с древних веков много насмехались, возражали ему, считали его неправильным. Цицерон, например, говорил, что «младенческое» учение представляет собой отрыв от категорий законов природы, и что его никаким образом нельзя обосновать теоретически. ⁶¹ Однако Цицерон был предубежден против эпикурейства, придерживался стои и религиозных философий и не мог помириться с мыслью, что возможность свободы действий человека можно защищать и с позиций детерминизма.

⁵⁹ Cicero: De nat. deor. I 20.

⁶⁰ GUNDEL: PWRE s. v. «*Εἰμαρμένη*».

⁶¹ Банли: ук. соч. I 287 и II 839.

Для Демокрита самым важным, оттесняющим все остальное на задний план делом была защита принципа каузальности и детерминизма. Нечаянность и свободная воля были для него только религиозными антинаучными представлениями, поэтому он резко отвергал эти представления. Нельзя оспаривать справедливость позиции Демокрита: только гораздо позже в новый век наука пришла к тому, что пробует дать научное объяснение случайности и свободы человека.

Значение позиции Эпикура в том, что, опережая в этом вопросе общее развитие науки, он пытается на основании детерминистского мировоззрения толковать случайность и свободу человека в духе материализма.⁶²

Разделение детерминизма и фатализма в эту эпоху может считаться действительно замечательным достижением человеческого ума. Не надо забывать, что модная философия этой эпохи стоя стремилась именно к тому, чтобы установить как можно более тесную связь между этими двумя мировоззрениями, и иметь возможность выступать со своими претензиями соответственно то с теорией фатализма, то с теорией детерминизма, создавая себе таким образом популярность. И еще не надо забывать, что принципиальное разграничение между детерминизмом и фатализмом даже позже могло быть произведено только ценою больших трудностей: а) детерминизм как *механический* детерминизм до конца 18 века действительно содержал, по крайней мере в потенциальном состоянии, черты фатализма и б) идеализм и религия боролись с принципом детерминизма таким образом, что пытались выставить детерминизм принципиально неправильным, неприемлимым учением о фатуме, смешивали две концепции.

Отвергая точку зрения фатализма, Эпикур прежде всего постарался дать философское оправдание возможности свободы человека. Свободу человека, свободу воли признавали и религии, но считали это чудом, милостью божей, или исходили из спиритуальной природы человека, не подчиняющегося закономерностям материального мира. В первую очередь с помощью теории об отклонении атомов Эпикур пытается оправдать возможность свободной человеческой деятельности внутренней структурой материальной природы; провозглашая одновременно детерминизм и принцип свободы действий человека. (Значение теории Эпикура, конечно, не в правильности теории отклонения атомов, как физической теории. Только с точки зрения физики эта теория, конечно, не выдерживает критики. Уже молодой Маркс правильно предупреждал, что Эпикур бесконечно равнодушен к объяснениям физических явлений. Значение и ценность теории Эпикура заключаются исключительно в его философских концепциях.) В этом Эпикур может считаться предтечей Спинозы, нашедшего возможность

⁶² Г о м п е р ц правильно пишет, что Эпикур был врагом только фаталистов, признавая детерминизм (Neue Bruchstücke Epicurs. Wien 1876).

этической деятельности, ее реальную основу в особенностях природы человека: «стремление нашей лучшей части гармонирует со строением всей природы». ⁶³

Покончив с фатализмом, Эпикур исключил из научных категорий и случайность. Эпикур считал случайность капризным явлением эпохи, случайным он называл то, на что нельзя было рассчитывать, чему нет причины. ⁶⁴ Точка зрения стоиков по этому вопросу была до крайности шаткой. Некоторые из них восприняли народную веру в Тихе, другие учили, что в действительности нет случайности, что случайность — понятие, коренящееся в особенностях человека. ⁶⁵ Понятия Эпикура в корне отличаются от стоиков: он отвергает народную веру в Тихе, ⁶⁶ но одновременно признает, что в объективной действительности *имеются* случайные явления, однако случайное — и в этом заключается сила представлений Эпикура — не является беспричинным. Случайное создают скрывающиеся за ним причины. ⁶⁷ Мысль Эпикура, что случайное нельзя исключить из круга научных категорий, что случайное обладает определенными причинами — чрезвычайно важна и является идеей, обещающей большое будущее. Механический материализм, включая сюда и материализм 18 века, не был в состоянии объяснить случайность как научное понятие, случайность понималась как субъективная категория, происходящая из человеческих особенностей. Только диалектический материализм вскрыл действительную сущность категории случайности, показал, что научный детерминизм не только не отвергает, но прямо требует признания случайности рядом с необходимостью: необходимость проявляется через случайность. ⁶⁸ Современная математика (исчисление вероятностей) и современное естествознание признают понятие случайности и требуют признания объективной случайности. Таким образом, в этом вопросе — смелым броском мысли — Эпикур предугадывал сегодняшнюю точку зрения.

⁶³ Спинноза: Этика. IV 32.

⁶⁴ См. Р а н о в и ч: Эллинизм и его историческая роль. 301 сл.

⁶⁵ По Хризиппу: «Случайное существует только для человеческого мышления». (ARNIM: II 280 сл.)

⁶⁶ «Умный не считает случайность богом, как это кажется толпе» (Письмо Эпикура к Менонкею).

⁶⁷ См. GUYAU: ук. соч. 95.

⁶⁸ См. ENGELS: Dialektik der Natur. (Dietz Verlag, Berlin 1952). 231 сл.

LE FATALISME ET LA CROYANCE AUX MIRACLES DANS LA PHILOSOPHIE HELLÉNISTIQUE

C'est à travers l'examen des deux écoles qui furent populaires à l'époque hellénistique — le stoïcisme et l'épicurisme — que la présente étude montre la manière dont l'homme d'alors concevait les miracles et les lois naturelles, et expose les controverses philosophiques soulevées par ces problèmes. Elle analyse la question de savoir pourquoi, sur un point essentiel de la philosophie naturelle, les stoïciens s'écartèrent de la tradition léguée par Héraclite, et pour quelle raison ils choisirent d'adopter et de défendre la téléologie. En raison d'une lourde concession faite à l'esprit superstitieux du temps, la conception de la nature, admise par les stoïciens, fut défigurée par des considérations d'ordre éthique et téléologique. Chez les stoïciens, les notions de loi naturelle et de morale naturelle sont amenées à se confondre. Néanmoins, la diffusion et l'implantation de l'expression «loi naturelle» (*νόμος φύσεως*) est due pour une large part à leurs activités. De la métaphore de loi, les penseurs des époques ultérieures (Descartes, par exemple) conclurent au caractère «obligatoire» et impénétrable des lois naturelles.

Ce furent les épicuriens qui critiquèrent le plus âprement le fatalisme des stoïciens, et leur croyance aux miracles. À ce point de vue, la signification de la philosophie d'Épicure réside en ceci qu'elle combattit le fatalisme sur la base des principes du déterminisme. C'est la nécessité de lutter contre le fatalisme qui amena Épicure à modifier sur un point essentiel l'image physique du monde, conçue par Démocrite (doctrine de la déclinaison des atomes). Devançant en cette matière le progrès général de la science, Épicure tenta de donner, sur la base de la conception déterministe, une interprétation de principe, formulée dans un esprit matérialiste, du hasard et de la liberté humaine. Selon lui, le hasard ne peut point être exclu de la sphère des catégories scientifiques et représente une idée qui, quoique régie par des causes déterminées, porte en elle la promesse d'un très vaste avenir. Faisant un saut audacieux, la pensée d'Épicure entrevit sur ce point la position actuelle.

A. FÖRSTER

PROLEGOMENA METRICA

(DIE RHYTHMISCHEN GRUNDLAGEN DES ANTIKEN VERSES)

I

Die Forschung auf dem Gebiete der antiken Metrik steht einem Problem gegenüber, das bei Untersuchungen von Versen in modernen Sprachen nicht in Frage kommt: der antike Vers und sein Rhythmus tritt uns nicht als lebendige Wirklichkeit entgegen; es fehlt uns die Möglichkeit unsere Beobachtungen an den rhythmischen Vorgängen selbst anzustellen, wie sie im Vortrage des Dichters, des Rhapsoden, oder auch im Gefühle des verständigen Zeitgenossen zum Ausdruck kamen. Es besteht deshalb für uns die Gefahr einer falschen Anwendung der *ars nesciendi*, indem wir aus der Not eine Tugend machen, unbestreitbare Gegebenheiten in Zweifel ziehen, um dadurch im besten Falle zu einem Agnostizismus zu gelangen und gerade in jenen Punkten, die von grundlegender Wichtigkeit für die richtige Erkenntnis des Wesens des antiken Verses sind, in die Irre zu gehn. Dadurch würde die Metrik endgültig zu einer «Wissenschaft vom Nicht-Wissenswerten» herabsinken und sich auf die Rolle eines Herbariums überlieferter Kunstausdrücke beschränken müssen. Zwar stehen uns bedeutsame Reste einer tiefschürfenden antiken Rhythmustheorie zur Verfügung, deren Verständnis und Auswertung aber durch ihren fragmentarischen Charakter erschwert wird und die von empirisch gegebenen Tatsachen ausgehen konnte, wo wir den Tatbestand erst hypothetisch aufbauen müssen, und die darum zur Lösung der aufgeworfenen Frage naturgemäss nur einen indirekten Beitrag liefern kann. Wir müssen deshalb die metrisch-rhythmischen Grundtatsachen und Grundbegriffe einer erneuten Prüfung unterziehen, um so die sicheren Grundlagen einer antiken Metrik zu legen, die als Wissenschaft wird auftreten können.

Unseren Ausgangspunkt bildet die fundamentale Tatsache, dass der Vers, der gesprochene sowohl wie der gesungene, eine der mannigfaltigen Erscheinungsformen des Rhythmus ist. Eine Betrachtungsweise, die diese Tatsache ausser acht lässt und den Vers als ein Gebilde *sui generis* isoliert betrachtet, wird nie zur Erkenntnis seines innersten Wesens vordringen

können. Offenbar war dies auch schon der Standpunkt des Aristoxenos, der im ersten, leider ganz verlorenen, Buche seiner *Ῥυθμικὰ στοιχεῖα* auch die ausserhalb der musischen Künste fallenden Formen des Rhythmus einer Untersuchung unterzogen hat. «Dass es mehrere natürliche Arten des Rhythmus gibt und welcher Beschaffenheit eine jede ist und aus welchen Gründen sie denselben Namen bekommen haben und was das Substrat einer jeden ist, dies ist im Vorhergehenden ausgeführt. . .» sagt er am Anfang des zweiten Buches.¹

Dies steht in vollem Einklang mit seiner Definition des Rhythmus, den er, im Sinne des Aristoteles Form und Materie sondernd, als Form des zeitlichen Geschehens auffasst. In der Tat: Rhythmus ist das Gesetz des Weltgeschehens, das im Makrokosmos wie im Mikrokosmos, in mechanisch-physikalischen und physiologischen Vorgängen gleichermassen als ordnendes Prinzip wirksam ist. Als solches wirkt es aber auch auf dem Gebiete der Technik und Kunst: überall wo eine bunte Menge gleichartiger, aber an Intensität und Zeitdauer verschiedener Elemente geregelt und zu einer Einheit zusammengefasst wird. Ihre Einheit muss in beiden Beziehungen, der Intensität sowohl wie der Zeitdauer, zum Ausdruck kommen. Momente gesteigerter Intensität, die sich in gleichen Zeitabschnitten wiederholen: darin besteht letzten Endes das Wesen eines jeden Rhythmus. Rhythmus ist also ein dynamischer Vorgang, in seiner einfachsten Form einer Wellenbewegung vergleichbar, bei der durch höhere Intensität hervorgehobene Elemente («Wellenberge») mit Gliedern geringerer Stärke abwechseln; der Stärkegrad dieser «Wellentäler» kann sogar bis auf Null herabsinken: in diesem Falle haben wir es mit einer (organisch eingegliederten) Pause zu tun. Dies ist der Fall z. B. beim Pulsschlage, einer der einfachsten Erscheinungsformen des Rhythmus, der hier ausschliesslich in den sich in gleichen Zeitintervallen wiederholenden »Taktschlägen« zum Ausdruck kommt. Im Verse nennen wir diesen durch Steigerung der Lautstärke einzelner Silben in Erscheinung tretenden, die rhythmische Gliederung bewirkenden Nachdruck den *Ictus*. Diesen dürfen und müssen wir auch für den antiken (griechischen und lateinischen) Vers in Anspruch nehmen, da wir es hier ja mit einer allgemeinen rhythmischen, also auch auf das ganze Gebiet der Metrik gültigen Erscheinung zu tun haben, die von der lautlichen Struktur der den Rhythmus tragenden Sprache, des Rhythmizomenon, unabhängig ist. Dies hatte schon G. Hermann richtig gefühlt,² der auch den Terminus (*Ictus*) in Umlauf gebracht hat. Denselben Standpunkt vertritt auch sein Zeitgenosse und oftmaliger

¹ p. 266 Mor (409, 3 MARQUARD) ὅτι μὲν τοῦ ῥυθμοῦ πλείους εἰσὶ φύσεις καὶ ποῖα τις αὐτῶν ἐκάστη καὶ διὰ τίνος αἰτίας τῆς αὐτῆς ἔτιχον προσηγορίας καὶ τί αὐτῶν ἐκάστη ὑπόκειται, ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένον.

² *Elementa doctrinae metricae* p. 9. *Epitome doctrinae metricae* p. 6.

Gegner, A. Boeckh,³ und diese Ansicht blieb auch in den bekanntesten Bearbeitungen der Metrik im XIX. Jahrhundert die herrschende.⁴

Allerdings gab es auch dissonierende Stimmen. In scharfem Gegensatz zur allgemein herrschenden Anschauung hat Fr. Nietzsche in seinen Anfang der siebziger Jahre an der Baseler Universität gehaltenen Vorlesungen eine neue Auffassung vom Rhythmus des griechisch-römischen Verses vorgebracht. Sie wird durch die Leugnung eines dynamischen Ictus und die Annahme eines rein zeitmessenden Versbaues gekennzeichnet. Beste Zusammenfassung seiner oft rhapsodischen, unausgeglichenen, stellenweise verworrenen Ausführungen findet man *Philologica* II. 336 f. «Damals (1871) fühlte ich mich als den abseits gestellten Metriker unter allen Philologen; denn ich demonstrierte meinen Schülern die ganze Entwicklung der Metrik von Bentley bis Westphal als Geschichte eines Grundirrtums. ... Was ich behauptete war... dass ein Grieche beim Vortrage eines homerischen Verses gar keine anderen Accente als die Wortaccente angewendet habe, dass der rhythmische Reiz exakt in den Zeitquantitäten und deren Verhältnissen gelegen habe, und nicht wie beim deutschen Hexameter im Hopsasa des Ictus... Es ist uns kaum möglich, eine rein quantitirende Rhythmik nachzufühlen, so sehr sind wir an die Affectrhythmik des Stark und Schwach, des crescendo und diminuendo gewöhnt. Von Bentley aber, ... ebenso von den deutschen Dichtern, welche antike Metra nachzubilden glaubten, ist ganz unschuldig unsere Art rhythmischer Sinn als einzige und 'ewige' Art, als Rhythmik an sich angesetzt worden ... p. 337. Zur Auseinanderhaltung der antiken Rhythmik (*Zeit-Rhythmik*) von der barbarischen (*Affect-Rhythmik*). 1. Dass es ausser dem Wortaccent noch einen anderen Accent gegeben habe, dafür fehlt bei den Rhythmikern (z. B. Aristoxenos) jedes Zeugnis, jede Definition, selbst ein dazu gehöriges Wort. ... 6. Endlich die Hauptsache. Die beiden Arten der Rhythmik sind conträr in der ursprünglichen Absicht und Herkunft. Unsere barbarische (oder germanische) Rhythmik versteht unter Rhythmus die Aufeinanderfolge von gleichstarken Affectsteigerungen, getrennt durch Senkungen ... Unser Rhythmus ist ein Ausdrucksmittel des Affects: der antike Rhythmus, der Zeitrhythmus, hat umgekehrt die Aufgabe den Affect zu beherrschen und bis zu einem gewissen Grade zu eliminieren. ... Rhythmus im antiken Verstande ist, moralisch und ästhetisch, der Zügel, der der Leidenschaft angelegt wird. In summa: unsere Art Rhythmik gehört in die Pathologie, die antike zum Ethos.»

³ De metris Pindari p. 12. «Sic igitur in humana voce altera temporis particula maiore pronunciat intensione, spiritu ex pulmonibus per arteriam vehementius emisso.»

⁴ z. B. W. CHRIST: Metrik der Griechen und Römer.² p. 3., R. WESTPHAL: Griechische Rhythmik (Theorie der Musischen Künste der Hellenen I) p. 42.

Nietzsches Ausführungen konnten vor ihrer Veröffentlichung unter seinen gesammelten Schriften, die erst nach Jahrzehnten (1912) erfolgte, naturgemäss nur geringen Widerhall erwecken, obwohl ähnliche Gedanken gelegentlich zum Ausdruck kamen. So ist z. B. G. Schultz, wie es scheint ohne Kenntnis von Nietzsches Theorie, zu einem ganz ähnlichen Resultat gelangt.⁵ Sein Ausgangspunkt ist von zweifelhafter Sicherheit. Grammatiker der Kaiserzeit berichten neben der allgemein üblichen, auch uns geläufigen Messung des Pentameters über eine andere, fratzenhaft verzerrte, die offenbar zur Erklärung des Namens erfunden wurde. Schultz gibt der Sache den Anschein, als ob diese Messung die ursprüngliche und von alters her gebräuchliche wäre, und versucht von diesem archimedischen Punkte aus die ganze moderne Theorie des antiken Versbaues, insofern sie auf dem Intensitätsrhythmus aufgebaut ist, aus den Angeln zu heben. Wir werden auf einzelne Punkte seiner Beweisführung noch zurückkommen. Wilamowitz⁶ fand sie zwar «energisch und eindrucksvoll», machte aber eine Einwendung, die allein genügend wäre sie zum Falle zu bringen: im Trimeter hört man nicht nur die sechs Hebungen, sondern auch die drei Metra, dazu mussten diese durch die Stimme fühlbar gemacht werden.

In neuerer Zeit wurde ein ähnlicher Standpunkt am klarsten und wirkungsvollsten von P. Maas vertreten.⁷ Als Teil eines vielbenützten Handbuches konnten seine Ausführungen ihren Eindruck auf weite Leserkreise nicht verfehlen. Maas übernimmt Nietzsches Grundgedanken eines undynamischen, also in seinem ganzen Verlaufe ohne Intensitätsunterschiede dahinströmenden Rhythmus. «Dabei war es nötig» — so führt er aus — «nicht nur die Ausdrücke Hebung und Senkung, sondern auch die entsprechenden Begriffe fernzuhalten . . .», muss aber notgedrungen das Geständnis machen: «Wir können sinnlich weder ausdrücken, noch empfinden, wie die griechischen Verse geklungen haben . . .» Dadurch ist aber jede Möglichkeit der wissenschaftlichen Betrachtung ihres Rhythmus von vornherein ausgeschlossen, weil das zu beobachtende Objekt in nichts zerfließt, und der entseelte Leib des Verses im besten Falle anatomisch, nicht aber biologisch untersucht werden kann. Maas nennt seine Betrachtungsweise «eine möglichst vorurteilsfreie Beschreibung der wichtigsten Erscheinungen». Aber durch Übernahme der «von des Gedankens Blässe angekränkelten» These Nietzsches vom undynamischen Charakter des griechischen Versrhythmus hat er ein verhängnisvolles Vorurteil an die Spitze seiner Ausführungen gestellt. Er verfährt von seinem Standpunkte aus ganz folgerichtig, wenn er erklärt, dass wir den Rhythmus unserer (germanischen) Sprache und Metrik in alle historische Rhythmik hineintragen, wird aber letzten Endes zu der geradezu ungeheuerlichen Konsequenz

⁵ Hermes 35 (1900) p. 308–325. Beiträge zur Theorie der antiken Metrik.

⁶ Griechische Verskunst p. 89.

⁷ GERCKE—NORDEN: Einleitung in die Altertumswissenschaft I 7. p. 2.

gezwungen, dass auch in unserer modernen Musik, die zwar auf das Quantitätsprinzip aufgebaut ist, damit aber den dynamischen Taktictus verbindet, dieser letztere aus dem Charakter des germanischen Sprachakzentes herzuleiten sei!

Immerhin haben die klaren und scheinbar vorsichtig formulierten Ausführungen von Maas die öffentliche Meinung, nicht nur in Deutschland, nachdrücklich beeinflusst. So spricht z. B. A.- C. Juret⁸ die Lehren von Nietzsche und Maas gläubig nach, wenn er behauptet (p. 6): «Aucune indication des anciens, aucun fait de métrique ancienne n'autorisent à croire que l'émission vocale ou le son tiré de l'instrument ait subi un accroissement d'intensité pendant le frappé . . . l'*ictus* d'intensité, qui joue un si grand rôle dans le rythme de la plupart des versifications modernes et de notre musique instrumentale, influencée par les habitudes germaniques, est étranger au chant comme à la métrique des Grecs et des Latins. Pour lire les vers anciens, grecs et latins, il faut donc et il suffit d'observer la quantité et l'accentuation des mots.» Auch das sehr sorgfältig gearbeitete Buch von W. J. W. Koster⁹ wiederholt in dieser Beziehung nur die Ansichten von Maas. Wir hören in neuerer Zeit oft von Zeitrhythmus, von «reinem Dauerrhythmus»,¹⁰ und einzelne Forscher fassen die heutige communis opinio in den Satz zusammen: «Unter den Philologen wie unter den Linguisten dringt allmählig die Meinung durch, dass der griechische Vers keinen dynamischen Iktus kannte.»¹¹ Diese Ansicht vertritt auch der hervorragende Sprachforscher A. Meillet,¹² der überhaupt geneigt ist den Versrhythmus als eine Funktion des Rhythmizomenon, der Sprache, zu betrachten, eine Auffassung, die mit der von uns eingangs vorgetragenen in diametralem Gegensatz steht.

Es dürfte nunmehr an der Zeit sein, eine eingehendere, systematische Darstellung der Natur des antiken Versrhythmus zu versuchen.

II

«Im Anfang war der Rhythmus.» Dieser oft zitierte Ausspruch Hans v. Bülow's ist auch eine unbestrittene Erkenntnis der griechischen Theorie. Nicht nur die Rhythmiker um Aristoxenos verkündeten sie, sondern auch die Grammatiker konnten sich vor ihr nicht verschliessen. «Vater und Ursprung der Metra ist der Rhythmus, denn er durchdringt als der allgemeinere nicht nur die Metra, sondern auch einige andere Vorgänge. Denn er wird auch

⁸ Principes de métrique grecque et latine. Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. 1929. Paris, Les Belles Lettres.

⁹ Traité de métrique grecque. Leyde. 1936. p. 24.

¹⁰ DE GROOT: Der Rhythmus p. 20, zitiert bei KOSTER p. 25.

¹¹ WIFSTRAND: Von Kallinachos zu Nonnos p. 26, zitiert b. KOSTER a. O.

¹² Les origines indo-européennes des mètres grecs. Paris, 1923. p. 10.

von den Hämmern in den Schmieden^{12a} verwirklicht und den Hufen der Pferde, dem Klatschen der Hände und dem Schlagen der Laute, und in einigen anderen Erscheinungen.»¹³ Als solche werden noch angeführt: Bewegungen der Finger (wohl beim Taktschlagen), Stellungen der Körperglieder (in der Orchestik), Schwingungen der Saiten, Flügelschläge der Vögel.¹⁴ Das wichtigste Beispiel ist wohl das des Pulsschlages.¹⁵ Aus alldem geht klar hervor: 1. dass die Alten unter Rhythmus denselben dynamischen Vorgang verstanden, wie wir; 2. dass das Metrum, d. h. der Vers, den übrigen Formen des Rhythmus wesensgleich ist, also seine Natur wie bei jenen letzten Endes durch periodische, sich in gleichen Zeiträumen wiederholende Elemente gesteigerter Intensität gekennzeichnet wird.

Ein seit Nietzsche oft vorgebrachtes Argument gegen die Annahme eines auf Intensitätsunterschieden beruhenden Rhythmus des griechischen Verses, bzw. den dynamischen Charakter seines Ictus ist, dass die antike Theorie ihn nicht zu kennen scheint. Dass dies nicht im vollem Umfang zutrifft, ist schon aus dem oben Ausgeführten ersichtlich. Doch fehlt es auch nicht an direkten Hinweisen; so lesen wir z. B. Aristides Quint. p. 97 M: «Unter den Rhythmen sind die ruhigeren, die von dem schweren Taktteil ausgehend die Beruhigung des Gemütes einleiten, die aber vom leichten Taktteil kommend *der Stimme den Nachdruck verleihen*, sind die erregten.»^{15a} Tatsache ist allerdings, dass die Intensitätssteigerung der rhythmisch betonten Silben nicht unter den überlieferten Lehrsätzen der antiken Metrik genannt wird. Dies ist aber nicht zu verwundern, denn es handelte sich ja einfach um eine empirisch gegebene, selbstverständliche Tatsache, die zu beweisen oder auch nur hervorzuheben kein besonderer Grund vorlag. Erst die Superklugheit der modernen Forschung hat hier ein «Problem» gewittert, und uns mit der Konzeption des undynamischen Versrhythmus beschenkt, der aber unweiger-

^{12a} Gemeint ist offenbar der sog. Wechsellrhythmus, der uns z. B. auch aus dem Gepolter der beim Dreschen im Takte herabsausenden Dreschflügel bekannt ist. Vgl. K. BÜCHER: Arbeit und Rhythmus⁶ p. 25 ff.

¹³ Longin. Prol. in Hephaest. Ench. 81, 10 Consbr. μέτρον δὲ πατὴρ ὕθμος καὶ θεός· ἀπὸ ὕθμοῦ γὰρ ἔσχε τὴν ἀρχήν. Choerobosc. Comm. 177, 12 Consbr. πατὴρ δὲ καὶ γένεσις τῶν μέτρων ἐστὶν ὁ ὕθμος· οὐκ αἶμα γὰρ καθολικώτερος ὢν οὐ μόνον ἐν τοῖς μέτροις, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις τισὶν· ἔστι γὰρ ὁ ὕθμος ἐκτελούμενος καὶ ἀπὸ τῶν ἐν χαλκείοις σφυγῶν καὶ ἀπὸ ἵππων ποδῶν καὶ κρότον χειρῶν καὶ λύρας καὶ ἐτέρων τινῶν.

¹⁴ Longin. Prol. 83, 3 ὁ δὲ ὕθμος γίνεται μὲν καὶ ἐν συλλαβαῖς, γίνεται δὲ καὶ χωρὶς συλλαβῆς· καὶ γὰρ ἐν κρότῳ. ὅταν μὲν γὰρ τοὺς χαλκείας ἴδωμεν τὰς σφύρας καταφέροντας, αἶμα τινὰ καὶ ὕθμον ἀκούομεν καὶ ἵππων δὲ πορεία ὕθμος ἐνομίσθη καὶ κίνησις δακτύλων καὶ μελῶν σχήματα καὶ χορδῶν κινήματα καὶ τῶν ὀρνίθων τὰ πτερυνγίσματα.

¹⁵ Aristid. Quint. De Mus. p. 31 Meibom ἀπας μὲν οὖν ὕθμος τρισὶ τοῦτοις αἰσθητηρίοις νοεῖται· ὄφει, ὡς ἐν ὀρχήσει, ἀκοῇ, ὡς ἐν μέλει, ἀφῇ, ὡς οἱ τῶν ἀσθητηρίων σφυγμοί. Der berühmte Arzt Herophilus (III. Jahrh. vor Chr.) nahm in seiner Lehre vom Pulse auf rhythmische Theorien des Aristoxenos Bezug. Vgl. Pauly—Wissowa—Kroll VIII 1107, 63. s. v. Herophilus.

^{15a} Arist. Quint. I. c. τῶν δὲ ὕθμῶν ἡσυχαιότεροι μὲν οἱ ἀπὸ θέσεων προκαταστέλλοντες τὴν διάνοιαν οἱ δὲ ἀπὸ ἄρσεων τῇ φωνῇ τὴν κρούσιν ἐπιφέροντες, τεταραγμένοι. Hier findet sich auch der griechische Terminus (κρούσις) in der Bedeutung von «Ictus».

lich eine Verschiedenheit der psycho-physischen Vorbedingungen der Rhythmusempfindung zur Voraussetzung haben müsste, was offenbar ausgeschlossen erscheint. Nietzsche sowohl wie Maas müssen gestehn, dass wir uns ihren «reinen Zeitrhythmus» sinnlich nicht vorstellen können; es ist dies durchaus nicht verwunderlich, da ein undynamischer Rhythmus hölzernes Eisen ist.

Ein weiterer Einwand Nietzsches sei hier noch erledigt. «Man warf, in Athen sowohl wie in Rom, den Rednern, selbst den berühmtesten, vor Verse unversehens gesprochen zu haben. . . Der Vorwurf ist nach unserer üblichen Art griechische und lateinische Verse zu sprechen einfach unbegreiflich (— erst der rhythmische Ictus macht bei uns aus einer Abfolge von Silben einen Vers: aber gerade das ganz gewöhnliche Sprechen enthielt, nach antikem Urteil, sehr leicht vollkommene Verse —).» Hören wir demgegenüber das Urteil der antiken Theorie selbst: «Oftmals finden sich in der Prosa Verse und bleiben infolge des Tonfalles der Prosa unerkant. . .»¹⁶ Hier wird deutlich zwischen dem Rhythmus des Verses und dem Tonfall der Prosa unterschieden, während nach Nietzsches oben ausgeführtem Standpunkte das blosse Nacheinander bestimmter Silbenquantitäten schon an und für sich den Vers ausmachen würde. Dem ist eben nicht so: es muss der dynamische Ictus hinzutreten, um aus einer bestimmten Silbenfolge einen Vers zu machen. Der Grund, warum die antike Theorie unversehens eingedrungene «Verse» verpönte, war offenbar der, dass sie den Redner leicht zu skandierendem Vortrag der betreffenden Worte verlocken konnten und dadurch der natürliche Tonfall der Prosarede gestört worden wäre.

Diese Hinweise dürften genügen um zu zeigen, dass die eigentlich selbstverständliche Annahme eines dynamischen Rhythmus im antiken Verse weder mit den Tatsachen, noch mit dem Standpunkte der alten Metriker in Widerspruch steht. Ein anderes wichtiges Moment, das in der oben von uns gegebenen Definition des Rhythmus eine Rolle spielt, ist die periodische Wiederkehr, die in gleichen Zeitabschnitten sich wiederholende Hervorhebung des rhythmisch bedeutsamen Elementes, des Trägers des Ictus: mit anderen Worten, die Taktgleichheit. Ein Begriff, der bei «vorurteilsfreien» Metrikern meist heftigen Widerwillen auszulösen pflegt. Man redet gerne vom «Zurechtstutzen der griechischen Verse für unser Gehör», u. dgl.¹⁷ Auch G. Hermann

¹⁶ Longin. Prol. in Hephaest. Ench. 82, 7 διὰ τοῦτο πολλὰ τῶν μέτρων συμβέβηκεν ἀποκρίπτεσθαι σιωπώμενα ἐν τῇ κατὰ πεζὸν ῥήσει. Choirob. Comm. 178, 11 Consbr. ὅθεν πολλάκις ἐν πεζῇ φράσει εὐρίσκονται μέτρα, καὶ διὰ τὸν ὁυθμὸν τῆς πεζῆς φράσεως λανθάνουσιν.

¹⁷ SCHULTZ: a. O. p. 324. Für die in diesem Punkte gelegentlich auch auf höchster Ebene auftretende Unklarheit will ich einen Fall nicht unerwähnt lassen. Wilamowitz leugnete einmal im Kolleg die Taktgleichheit als wesentliches Element des Rhythmus mit der Begründung, das Hinken sei ja auch ein Rhythmus. Dabei war aber übersehen, dass beim Hinken je ein kurzer und ein langer Schritt zusammen einen Takt ausmachen, der sich gleich bleibt. Dagegen sind das unsichere Getrippel des gehen lernenden Kindes oder das Umhertorkeln des Betrunknen unrhythmische Bewegungen, da ihnen der feste Takt abgeht.

sprach in seinem Handbuch d. Metrik (1799) der griechischen Musik den Rhythmus des Taktes ab, der die moderne Musik beherrscht. Doch in seinem 1816 erschienenen Hauptwerke, den *Elementa doctrinae metricae*, hat er diesen Standpunkt überwunden und führt den in gleichen Zeiträumen sich wiederholenden Pendelschlag als einfachstes Beispiel des Rhythmus an.¹⁸ Das entspricht genau der antiken Auffassung, die den Pulsschlag als solches ansieht.

Dieser ohne zeitliche Begrenzung gewissermassen in horizontaler Richtung verlaufende Vorgang bildet die Grundlage jeder Erscheinungsform des Rhythmus, die wir in gewissem Sinne als seine *erste Dimension* bezeichnen können.

III

Das Phänomen des Rhythmus bietet der Forschung einen zweifachen Aspekt dar: einmal erscheint es als ein objektives, von unserer subjektiven Vorstellung unabhängig erfolgendes Geschehen, so z. B. in gewissen Naturvorgängen; ein andermal ist es ein subjektiver, psychologischer Prozess, der gelegentlich sein Abbild nach aussen projiziert, so in den Schöpfungen der Kunst. Doch neben diesem Höchstmasse von Aktivität kann die Beteiligung des subjektiven Faktors auch in anderer, gemässigter Form ihre Wirkung äussern; so ist es längst bekannt und durch methodische Beobachtung bewiesen, dass eine Reihe vollkommen gleicher, sich periodisch wiederholender Schalleindrücke in unserem Bewusstsein durch rhythmische Akzente differenziert auftritt: man glaubt Gruppen von 2—4—8 oder 3—6—12 Schlägen unterscheiden zu können.¹⁹ Zu dem von mir oben als erste Dimension des Rhythmus bezeichneten Vorgang, in dem die Hebungen durch die in gleichen Zeitabständen sich wiederholenden Schläge, die Senkungen aber durch die dazwischen eingegliederten «leeren Zeiten» dargestellt waren, tritt ein neues Moment in Form einer Differenzierung der Hebungen unter sich hinzu, indem die 1., 3., 5. usw. gegenüber der 2., 4., 6. usw. stärker betont erscheinen und somit eine zweite, der «ersten Dimension» übergelagerte rhythmische Schicht (rhythmische Welle) bilden, die ich *die zweite Dimension des Rhythmus* nennen möchte, weil sie sich über die erste, horizontal fortschreitende gewissermassen in vertikaler Richtung aufbaut. Diese zusammenfassende, gruppenbildende Funktion des Rhythmus ist die Grundlage zur Bildung organischer Einheiten, geschlossener Formen in der Musik sowohl wie in der Poesie. Sie ist wie gesagt in erster Linie eine subjektive, psychische

¹⁸ E. D. M. p. 6 «*Isque omnium maxime simplex est numerus et omnis numeri quasi fundamentum, qui aequalibus temporibus decurrit, ut is est, quem perpendiculi motus in horologiis facit.*»

¹⁹ E. MEUMANN: Untersuchungen zur Psychologie und Aesthetik des Rhythmus. Philosophische Studien hrsg. von W. WUNDT. X. Bd. 2. u. 3. Heft. p. 301 ff.

Tätigkeit, die natürlicher-, aber nicht notwendigerweise im Rhythmisizomenon objektive Realität bekommen kann.

Der Rhythmus erfordert die stetige Wiederholung gewisser Grundelemente. Die kürzeste denkbare rhythmische Reihe besteht also aus einer Folge von zwei Hebungen und zwei Senkungen. Wenden wir diese Erkenntnis auf den «zweidimensionalen» Rhythmus an, so ergibt sich die Folgerung, dass hier die kürzeste, seine Natur zum Ausdruck bringende Reihe vier Hebungen, zwei erster und zwei zweiter Ordnung, umfassen muss. Im ersten Falle entsteht in der Versbildung die Dipodie, im zweiten die Verbindung zweier Dipodien: der Vierheber. Es ist sicher kein Zufall, dass die Vertreter grundverschiedener metrischer Richtungen und versgeschichtlicher Auffassungen in ihren Vorstellungen von der Grundform des griechischen Verses einander so nahe kommen. Die Sprache der Tatsachen konnte eben nicht überhört werden. Allerdings war es ein Irrtum, wenn H. Usener²⁰ die Übereinstimmung im Bau gewisser einfacher metrischer Formen im Bereiche der europäischen Völker historisch, durch die Annahme eines indogermanischen «Urverses» zu erklären suchte; die Verbreitung dieser Urform, des Vierhebers, geht weit über die Grenzen des Indogermanentums hinaus, ja es handelt sich hier, wie wir soeben dargelegt haben, gar nicht um ein im engeren Sinne metrisches, sprachlich mitbedingtes Gebilde, sondern um eine rhythmische Erscheinung, die auf jedem Gebiete des Rhythmus wirksam werden kann. Useners Behandlung der Frage ist im Übrigen durchaus grosszügig, von richtigem rhythmischem Gefühl getragen, so dass seine Darlegungen auch bei Ablehnung seiner Derivationstheorie ihren Wert behalten. Sehr zu Unrecht wurde ihm «grösste Missachtung der zeitlichen Unterschiede», Heranziehung «deutscher Kinderlieder der Gegenwart als Beweismaterial» zum Vorwurf gemacht.²¹ In der beanstandeten Anführung von Analogien dieser Art kam eben der Wahrheitskern seiner Hypothese, die enge Verwandtschaft primärer metrischer Gebilde verschiedener Zeiten und Völker und die Identität ihres Rhythmus klar zum Ausdruck.

Über den Bau dieses Vierhebers sind sich Usener und sein Widersacher Wilamowitz im grossen und ganzen einig.²² Vier lange Silben bilden sein «Knochengerüst»; da in der Senkung meist je eine Silbe steht, tritt er uns in der Form eines Achtsilblers (einfache Wellenbewegung) entgegen, die Senkungen können aber auch aus je zwei Silben bestehn, wodurch der Vers zum Zwölfsilbler anwachsen kann. Andererseits können Senkungen unterdrückt, aufgesogen d. h. in die vorausgehende lange Hebungssilbe eingeschmolzen werden, wodurch etwas wie ein «rhythmischer Circumflex» entsteht. Der Gang des Verses kann sowohl steigend (mit der Senkung beginnend),

²⁰ Altgriechischer Versbau. Bonn 1887.

²¹ Von U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Griechische Verskunst p. 84.

²² USENER: a. O. Kap. V., WILAMOWITZ a. O. p. 89 ff.

als auch fallend (mit der Hebung beginnend) sein, und stumpf (mit der Hebung) oder klingend (mit der Senkung) endigen. Eine seiner Formen ist von besonderer Wichtigkeit für die Versgeschichte: der Paroimiakos (Sprichwortvers),²³ der durch Unterdrückung der auf die dritte Hebung folgenden Senkung und durch stumpfen Ausgang mit der vierten Hebung gekennzeichnet ist. Die auf diese Weise den Versschluss bildenden zwei langen Silben geben dem Metrum ein besonderes, gewichtiges Gepräge.²⁴ Dieses Versmass sowohl wie die durch seine Wiederholung entstehende Langzeile kommt in den meisten indogermanischen Sprachen, und nicht nur in diesen, vor.²⁵ Es ist die wichtigste und am meisten verbreitete epische Versform, und es war darum ein durchaus natürlicher Gedanke Useners, auch den Ursprung des griechischen Hexameters auf eine solche Langzeile zurückzuführen. Man kann allerdings nicht behaupten, dass ihm dieser Brückenschlag restlos gelungen wäre. Die Kluft zwischen dem primitiven Vierheber und der ausgebildeten Kunstform des Hexameters ist eben zu breit und der Nebel, der die Urzeit der griechischen Versgeschichte umlagert, zu dicht, um eine ins einzelne gehende Lösung der Frage zu gestatten.

IV

Es dürfte auffallen, dass wir bei Erörterung der rhythmischen Grundlagen des antiken Verses die Rolle der Silbenquantität bisher kaum berührt haben. Nimmt man doch allgemein an, dass die Natur des antiken, besonders des griechischen Verses der Hauptsache nach in dem geregelten Wechsel langer und kurzer Silben zum Ausdruck kommt. Um nun Geltung und Wirkungsbereich des Quantitätsprinzips richtig einschätzen zu können, wird es nötig sein die Frage in weiterem Rahmen zu behandeln.

Wir haben oben ausgeführt, dass ein rhythmischer Vorgang im allgemeinen durch zwei Merkmale gekennzeichnet wird: durch die Intensitäts-

²³ USENER: p. 44 ff., 87 f. Die Deutung des griechischen Terminus als «Sprichwortvers», die schon Hephaestion (26, 17 Consbr.) gibt, dürfte nicht zu bezweifeln sein. Rossbachs Erklärung (Theorie der musischen Künste III 2, p. 132) die *παροιμιακός* mit *προσοδιακός* gleichsetzt, «so dass der Name soviel heisst als Weg- oder Marschrhythmus» (von *οἶμος* = *ὁδός* abgeleitet), ist nicht durchgedrungen.

²⁴ Der Name «paroimiakos» wird meist auf die anapaestische Form des Verses beschränkt; da aber die Senkungen in diesem Stadium der Versgeschichte keine entscheidende Rolle spielen, so ist es gerechtfertigt den Terminus in weiterem Sinne zu gebrauchen. Das Charakteristische ist, wie gesagt, die Unterdrückung der Senkung nach der dritten Hebung, der «schwere Schluss». USENER war auf dem Wege dies zu erkennen: er redet wiederholt vom grösseren Nachdruck, der in diesen Fällen auf die dritte Hebung fällt.

²⁵ Der Vierheber als Achtsilbler sowohl wie auch in seiner paroimiakosartigen sechssilbigen Gestalt, ferner die Verdoppelung des letzteren als (epische) Langzeile sind wohlbekannte Formen auch im nicht-indogermanischen Versbau. Über die weite Verbreitung dieser metrischen Gebilde z. B. in der ungarischen Volks- und Kunstdichtung habe ich in der Zeitschrift *Irodalomtörténet* 1951, p. 439–452 (in ungarischer Sprache) gehandelt.

steigerung einzelner seiner Momente gegenüber den anderen, und durch Wiederholung dieser Erscheinung in gleichen Zeitabständen. Die Materie, an der dies zum Ausdruck kommt, ist mannigfaltig; sie ist aber nur Trägerin, nicht Erzeugerin des Rhythmus. Dieser tritt, als formgebendes Prinzip, gewissermassen von aussen an sie heran. Die Bildungsfähigkeit dieser Materie ist verschieden; im höchsten Grade besitzt sie der musikalische Ton, der in betreff Dauer und Intensität, bei den hier in Frage kommenden Punkten, beliebig gestaltet werden kann. Ein nicht ganz so bildungsfähiges Rhythmizomenon ist die Sprache, es sei denn, dass sie, im Gesange, zu Musik wird. Die Sprache ist eben eine in ihren prosodischen Eigentümlichkeiten schon geformte Materie, die durch den Rhythmus in gewissem Sinne neugestaltet wird. Im Verse treffen also zwei formgebende Prinzipien auf einander, das phonetische der Sprache und das musikalisch-dynamische des Rhythmus. Um einen Konflikt der beiden zu vermeiden bzw. sie in eine höhere Einheit zu verschmelzen, dazu boten sich mehrere Möglichkeiten, die dann die Grundlage für die Scheidung scheinbar prinzipiell verschiedener Arten der Versbildung abgaben.

Die erste dieser Möglichkeiten ist die völlige Unterordnung der sprachlichen Materie unter die Führerschaft des Rhythmus, die Ignorierung der prosodischen Eigenschaften der Sprache bei der Bildung des Verses. Dieser Fall tritt uns in der sog. «silbenzählenden» Metrik entgegen. Die Bezeichnung ist unglücklich und irreführend. Besser würden wir von einer *indifferenten* oder *neutralen* Versbildung reden, da der Rhythmus gegenüber den phonetischen Gegebenheiten des Rhythmizomenon gleichgültig bleibt. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Art der Metrik auf indogermanischem Gebiet in Sprachen mit musikalischem Wortakzent auftritt, der hier mit dem auf Steigerung der Lautintensität beruhenden Versictus nicht kollidieren kann. Im einzelnen begegnen wir auch hier den oben beschriebenen einfachen Formen, so dem Vierheber und dessen Zusammensetzungen, als Erscheinungen der ersten und zweiten Dimension des Rhythmus, z. B. im iranischen Avesta und in den indischen Veda-Hymnen.²⁶ Diese letzteren zeigen in einleuchtender Weise den Übergang vom indifferenten zum quantifizierenden Prinzip der Versbildung, indem in der letzten Dipodie des offenbar steigenden Achthebers die Silbenquantitäten dem jambischen Gange entsprechend gewählt werden; meist ist auch der Schluss des ersten Halbverses von analoger Bildung. In diesem Falle gestaltet sich das rhythmische Bild der Zeile:

. ˘ . ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘ | . ˘ . ˘ ˘ ˘ — ˘ ˘ ˘

²⁶ Bahnbrechend waren seinerzeit die Ausführungen WESTPHALS in Kuhns Zschr. f. vergl. Sprachforschung 9 (1860) p. 437–458, s. auch seine Allgemeine Theorie d. griech. Metrik (Theorie d. musischen Künste d. Hellenen III 1) p. 38–50, ferner seine Allgemeine Metrik d. indogermanischen Völker 1892 p. 40–55. Vgl. auch FR. ALLEN: Kuhns Zschr. f. vergl. Sprachforschung 1879 p. 556 ff. und H. USENER: Altgriechischer Versbau p. 56–62.

Die Wirkung des im Verse auftretenden Quantitätsprinzips äussert sich in erster Linie in der Wahl langer Silben als Träger des Versictus. Zeitdauer und Intensität sind eigentlich disparate Begriffe, dennoch kann zwischen beiden ein gewisser funktioneller Zusammenhang bestehn. Lange Silben geben eine festere Grundlage für den Ictus, während kurze sich leicht verflüchtigen; darum streben die ersteren von Natur aus in die Hebung, die letzteren in die Senkung. Andererseits, wie Musiktheoretiker festgestellt haben,²⁷ bewirkt die Intensitätssteigerung eine gewisse, kaum merkbare, Längung des betreffenden Tones, und umgekehrt kann eine minimale Verlängerung den Eindruck einer dynamischen Steigerung hervorrufen bzw. ersetzen.

Aber auch die Bedeutung der kurzen Silben kann bei dieser Art der Versbildung nicht vernachlässigt werden. Das Verhältnis ihrer Zeitdauer zu jener der langen Silben wird im allgemeinen mit 1 : 2 bestimmt, doch kommt das vollkommen nur im gesungenen Verse zur Geltung. Ausserdem ist zu betonen, dass «Kürze» und «Länge» relative Begriffe sind, die erst im lebendigen Flusse des Rhythmus infolge Stellung und Verwendung der Silben im Verse ihren wahren Inhalt bekommen. Es wäre eine vollkommene Verkennung der Sachlage zu behaupten, eine gewisse Ordnung der Silbenquantitäten «erzeuge» den Rhythmus; im Gegenteil, es ist der Rhythmus, «der Vater des Metrums», der zur Ausgestaltung seines Wesens die Quantitäten auswählt und verwendet. Ich nenne diese seine Funktion, um bei dem Bilde zu bleiben, die *dritte Dimension* des Rhythmus. In ihr vollzieht sich die innere Gliederung des Taktes bzw. Kolons. Der nach dem Quantitätsprinzip gegliederte Takt ist der Versfuss; als solcher eine Abstraktion, die nur in der Wiederholung, im Ganzen des Verses Sinn und Wirklichkeit bekommt. Während nun im indifferenten Versbau die Möglichkeit der Gliederung im Taktinneren auf ein Minimum beschränkt ist und der monotone Wellenschlag des Rhythmus, das Nacheinander einsilbiger Hebungen und Senkungen meist nur durch bisweilige Unterdrückung einer Senkung variiert wird, steht der quantitierenden Metrik eine fast unerschöpfliche Fülle von Motiven zur Gestaltung des Taktes zur Verfügung. Sprachen, die zwischen langen und kurzen Silben genau unterscheiden, wie vor allem die griechische, und die das so beschaffene Sprachmaterial in bunter Mannigfaltigkeit dem Verse als Rhythmizomenon darbieten können, eignen sich allein zur quantitierenden Versbildung.

Ein anderes phonetisches Element, das bei Gestaltung des Verses zur Mitwirkung herbeigezogen werden kann, ist der Wortakzent; allerdings nur in Sprachen mit expiratorischem, in gesteigerter Lautstärke sich äu-

²⁷ Vgl. MEUMANN : a. O. p. 299. Auf dieser Beobachtung beruht H. RIEMANN'S Unterscheidung eines agogischen Akzentes (Musiklexikon p. 13, Katechismus d. Musik p. 33.)

sserndem Akzente, in denen also Wortakzent und Versictus ihrer lautlichen Beschaffenheit nach gleichartig sind, und wo, wie z. B. auch im Neuhochdeutschen, die unbetonten Silben zum grossen Teil aus silbisch gebrauchten Nasalen und Liquiden, Murmellauten und dgl. bestehen und darum zur Hervorhebung durch den Ictus wenig geeignet sind. Trotzdem ist ihre gelegentliche Verwendung als Ictusträger nicht zu vermeiden, ohne dass dadurch der Rhythmus Störung erleiden würde, was wiederum den Beweis liefert, dass es nicht die prosodischen Eigentümlichkeiten des Rhythmizomenon sind, die den Rhythmus erzeugen.

Wir müssen ausdrücklich betonen, dass die hier unterschiedenen Prinzipien der Versbildung, das indifferente, quantitierende und akzentuierende Prinzip, nicht die Trennung der Metrik in verschiedene, einander wesensfremde Arten bedeuten. Das zeigt sich vor allem darin, dass in ein und derselben metrischen Periode, in derselben Verszeile verschiedene der angeführten Prinzipien nebeneinander wirken können; wir sahen es an dem Beispiel des indischen Verses, wo quantitierende Versbildung in engstem Zusammenhange mit indifferenter vorkommt, aus dieser gewissermassen herauswächst. Ferner ist es bekannt, dass die quantitierende aeolische Metrik am Versanfang oft «silbenzählende» Bildungen erlaubt; dass trotz vielfachem Widerspruch die Behauptung betreffend die Beachtung des Wortakzentes an manchen Stellen des nach griechischem Muster quantitierend gebauten lateinischen Verses immer wieder verfochten wird; dass im akzentuierenden deutschen Vers sehr oft unbetonte Silben den Ictus tragen, also stellenweise das indifferente Prinzip zur Geltung kommt usw.

V

Welche Feststellungen ergeben sich aus dem bisher gesagten, die uns zu richtiger Beurteilung einfacher metrischer Gebilde von Nutzen sein können? Hauptsächlich die Folgenden:

1. Der Vers ist eine Erscheinungsform des Rhythmus, als ein solcher ein dynamischer Vorgang, dessen Wesen im periodischen Wechsel von Sprachelementen (Silben) gesteigerter Intensität mit solchen geringerer Stärke besteht.
2. Die immanenten Gesetze des rhythmischen Vorganges (seiner ersten und zweiten Dimension) haben also auch im Verse ihre Geltung; sie kommen am klarsten in den einfachen Gebilden des Volksliedes zum Ausdruck, wo der Rhythmus gewissermassen sich selbst überlassen ist, und sind nicht auf einzelne Völker oder Völkerfamilien beschränkt (internationale Verbreitung primärer Versformen z. B. des Vierhebers und seiner Spielarten).
3. Die innere Gestaltung des Taktes bzw. der Periode (dritte Dimension des Rhythmus) erfolgt durch die Zahl und die nach prosodischen Gesichts-

punkten (Quantität, Wortakzent) getroffene Auswahl der Sprachelemente (Silben).

4. Die unterschiedenen Typen der Versbildung (indifferente, quantifizierende, akzentuierende Technik der Versifikation) treten naturgemäss erst in der dritten Dimension des Rhythmus klar hervor, und bedeuten nicht von Natur aus grundverschiedene Kategorien des Versrhythmus, der in letzter Instanz nicht aus langen und kurzen, sprachlich akzentuierten und unbetonten Silben, sondern aus dynamisch hervorgehobenen (ictustragenden) und schwächeren (ictuslosen) metrischen Elementen zusammengesetzt ist.

Die Beachtung obiger Sätze kann uns bei der Lösung schwieriger metrischer Probleme wertvolle Dienste leisten. Ein solches wollen wir in folgendem ins Auge fassen.

VI

Die Frage nach dem Wesen des *versus Saturnius* scheint trotz hervorragender Leistungen führender Philologen nicht in einer alle befriedigenden Form beantwortet worden zu sein. Der Grund hierfür scheint mir zum grössten Teile in der unrichtigen Fragestellung selbst zu liegen, die sich in die Alternative «quantifizierend oder akzentuierend?» zuspitzt.^{27a} Im folgenden wollen wir einen Beitrag zur richtigeren Formulierung des Problems und Gewinnung festeren Bodens zu seiner Lösung liefern.

Zunächst möchten wir einen Blick auf Urteile aus dem Altertum werfen, insofern diese uns zur Feststellung der rhythmischen Tatsachen von Nutzen sein können. Bekannt sind die Äusserung Vergils über die «ungekämmten» Verse der Alten und die des Horaz über den «struppigen» Saturnier.²⁸ Die erstere wird von Servius auf diesen Vers bezogen²⁹ und er trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er behauptet, dieser wäre «allein dem Rhythmus nach gebildet»; allerdings war es ein Missgriff, wenn neuere Erklärer darin ein

^{27a} Nach Abschluss meines Manuskriptes wurde ich auf den Aufsatz FR. NOVOTNYS : De Versu Saturnio (Studia Antiqua. Pragae. 1955, 110–113) aufmerksam gemacht, einen originellen Versuch beide Prinzipien zu verbinden. — An dieser Stelle will ich bemerken, dass mich die Zeitumstände daran verhindert haben die neuere und neueste Literatur, etwa seit dem zweiten Weltkriege, in vollem Umfange zu berücksichtigen. Bei meinem von dem herkömmlichen Betrieb der Metrik prinzipiell abweichenden Standpunkte und dem vorwiegend deduktiven Charakter meiner Beweisführung dürfte dieser Mangel weniger ins Gewicht fallen [Korrekturnote].

²⁸ Schon Ennius kennzeichnet den Saturnier als altväterische Versform Ann. 214 V. «*Versibus quos olim Fauni vatesque canebant.*»

²⁹ Verg. Georg. II 385

*Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni
versibus incomptis ludunt*

dazu bemerkt Servius : *id est carminibus saturnio metro compositis, quod ad rhythmum solum vulgares componere consueverunt.*

Zeugnis für den akzentuierenden Charakter dieses Metrums erblicken wollten. Horaz³⁰ hinwiederum stellt mit Genugtuung fest, dass feinere Kunst das «arge Gift» des Saturniers vertrieben habe, obwohl die «bäuerische» Art zu dichten noch in seinen Tagen ihre Spuren hinterlassen hatte.

Die Dichter des Augusteischen Zeitalters erblickten also im Saturnier einen von ihrer Kunstrichtung grundverschiedenen Verstypus, der im Gegensatz zu ihrer, griechischen Vorbildern nachstrebenden Poesie die rauhen Töne der Volksdichtung laut werden liess. Eigehender befasste sich mit diesem Metrum *Caesius Bassus*, ein Dichter und Metriker der Neronischen Zeit, dessen Ausführungen eine sorgfältige Prüfung verdienen. Metrische Theorien der Alten sind zwar für uns nicht verbindlich, können aber unter Umständen wertvolle Anzeichen zur richtigen Erfassung des zu Grunde liegenden Rhythmus der behandelten Versformen liefern. So auch im vorliegenden Falle. «Die Römer — sagt C. B.³¹ — betrachteten den Vers als italisches Eigengut, sind aber damit im Irrtum. Denn er wurde von den Griechen verschiedentlich und auf vielfache Weise behandelt, nicht nur von den Komikern, sondern auch von den Tragikern ... Unsere Vorfahren aber, um es offen herauszusagen, verwendeten ihn ohne ein Gesetz vor Augen zu halten und ohne ihn als ein einheitliches Geschlecht zu behandeln, so dass die Verse unter sich übereinstimmten: nicht nur dass sie äusserst harte bauten, sondern sie streuten auch bald kürzere, bald längere ein, so dass ich kaum einen Vers

³⁰ Epist. II 1, 156 ff.:

*Graecia capta ferum victorem cepit et artis
intulit agresti Latio: sic horridus ille
defluxit numerus Saturnius, et grave virus
munditiae pepulere; sed in longum tamen aevum
manserunt hodieque manent vestigia ruris.*

³¹ Gramm. Lat. ed. Keil VI p. 265,8 sqq. De saturnio versu dicendum est, quem nostri existimaverunt proprium esse Italiae regionis, sed falluntur. a Graecis enim varie et multis modis tractatus est, non solum a comicis, sed etiam a tragicis. nostri autem antiqui, ut vere dicam quod apparet, usi sunt eo non observata lege nec uno genere custodito, ut inter se consentiant versus, sed praeterquam quod durissimos fecerunt, etiam alios breviores, alios longiores inseruerunt, ut vix invenerim apud Naevium, quos pro exemplo ponerem. apud Euripidem et Callimachum et quosdam antiquae comediae scriptores tale inveni genus (folgt a) apud Archilochum tale (b) et tertium genus, (c). apud nostros autem in tabulis antiquis, quas triumphaturi duces in Capitolio figebant victoriaeque suae titulum saturniis versibus prosequebantur, talia repperi exempla: ex Regilli tabula (d), qui est subsimilis ei quem paulo ante posui (c), in Acilii Glabronis tabula (e). apud Naevium poetas hos repperi idoneos (f) et alio loco (g). sed ex omnibus istis, qui sunt asperrimi et ad demonstrandum minime accomodati, optimus est quem Metelli proposuerunt de Naevio aliquotiens ab eo versu lacessiti, (h). hic enim saturnius constat ex hipponactei quadrati iambici posteriore commate et phallico metro. hipponactei quadrati exemplum

quid immerentibus noces, quid invides amicis?

nam «malum dabunt Metelli» simile est illi, «quid invides amicis» cui detracta syllaba prima facit phallicon metrum, «invides amicis». ex quibus compositus est hic saturnius, ut sit par huic,

quid invides amicis, invides amicis,

hoc modo

malum dabunt Metelli Naevio poetae.

bei Naevius finden konnte, den ich als Beispiel hätte verwenden können. Bei Euripides und Kallimachos und einigen Dichtern der alten Komödie fand ich eine derartige Form :

turdis edacibus dolos comparas amice a

und bei Archilochos eine solche :

quem non rationis egentem vicit Archimedes b

und eine dritte Form :

consulto producit eum quo sit impudentior c

In unserem Schrifttum aber fand ich in alten Tafeln, die zum Triumph bereite Heerführer auf dem Kapitol aufzuhängen pflegten und in denen sie den Rechtstitel ihres Sieges in saturnischen Versen darlegten, derartige Beispiele :

(aus der Tafel des Regillus)

duello magno dirimendo regibus subigendis d

der dem kurz vorher erwähnten sehr ähnlich ist : *consulto producit eum quo sit impudentior*

(in der Tafel des Acilius Glabrio)

fundit fugat prosternit maximas legiones e

Bei dem Dichter Naevius fand ich folgende Verse geeignet :

ferunt pulchras creterras, aureas lepistas f

und an anderer Stelle

novem Iovis concordēs filiae sorores g

Aber unter allen jenen höchst rauhen und zur Darstellung sehr wenig geeigneten ist der beste, den die Meteller über Naevius zum besten gaben, der sie einigemal in Versen angegriffen hatte :

malum dabunt Metelli Naevio poetae h

Dieser Saturnier nämlich besteht aus dem zweiten Komma des hippo-nacteum quadratum iambicum und dem phallischen Metrum.»

Die vorliegenden Ausführungen verfolgten also den Zweck, die Identität der verschiedenen Formen des Saturniers mit griechischen Versgebilden zu beweisen. Im allgemeinen nimmt man an, dass Caesius zunächst die in Frage kommenden griechischen Metra in Gestalt von einigen zu diesem Zwecke improvisierten lateinischen Versen aufzählt, dann die Beispiele der Saturnier folgen lässt. Da aber keiner der letzteren mit den vorhergehenden Musterversen übereinstimmt, so muss die Stelle anders zu erklären sein. Die einzige Möglichkeit einer befriedigenden Interpretation des ganzen Zusammenhanges scheint mir folgende zu sein :

Die von Caesius aufgezählten Versformen (*a, b, c*) sind keine fingierten Beispiele, sondern überlieferte Saturnier, die aus der von ihm benutzten (Varronischen?) Materialsammlung stammen und von ihm, seinem Standpunkte gemäss, mit griechischen Versmassen identifiziert wurden. So erkannte er in *a* das Euripideion tessareskaidekasyllabon,³² in *b* ein Archilocheion,³³ in *c* das Eupolideion epichoriambikon;³⁴ also die Formen :

[illegible]

Dazu kommen aus den Triumphaltafeln die Formen :

$$\begin{array}{cccccccccccc} - & \nearrow & - & \searrow & \cup & \cup & \nearrow & \searrow & \nearrow & \cup & \searrow & \cup & \cup & \nearrow & \searrow & d \\ - & \nearrow & \cup & \searrow & - & \nearrow & \searrow & \nearrow & \cup & \searrow & \cup & \cup & \nearrow & \searrow & e \end{array}$$

Bei Naeuius fand er zwei Zeilen als «geeignet», d. h. mit dem gleich anzu-
führenden Musterverse vergleichbar, von dem sie sich nur durch einzelne
«unreine» Senkungen unterscheiden (*f, q*)

$$v \stackrel{\sim}{\sim} v \stackrel{\sim}{\sim} v \stackrel{\sim}{\sim} \stackrel{\sim}{\sim} \stackrel{\sim}{\sim} v \stackrel{\sim}{\sim} v \stackrel{\sim}{\sim} \stackrel{\sim}{\sim} \quad h$$

Diese mehr zufällige Zusammenstellung von Spielarten der Versform bietet zunächst den Beweis, dass der Saturnier wirklich eine Langzeile von acht Hebungen (Zusammensetzung von zwei Vierhebern) war. Es wurde gelegentlich übersehen, dass die Senkung nach der dritten Hebung meist unterdrückt wird und die letzte Silbe eines jeden Halbverses als Hebung betrachtet werden kann. Die vier Hebungen kommen also in jedem Halbverse vor,³⁵ und zwar in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle mit unterdrückter Senkung nach der dritten Hebung, wie eine genaue Prüfung des überlieferten Materials es bestätigen wird. Diese Feststellung stimmt genau mit dem in Kap. III über die Natur des Vierhebers erschlossenem überein

³² Hephaest. 53, 6 Conshr. τὸ καλούμενον Εὐριπίδειον τεσσαρεσκαίδεκασύλλαβον, οἷον παρὰ μὲν αὐτῷ Εὐριπίδῃ (fr. 929) „Ἐφ'ος ἡνίχ' ἱππότης ἐξέλαμψεν ἀστήρ", παρὰ δὲ Καλλιμάχῳ (116) „ἔνεοτ' Ἀπόλλων τῷ χορῷ· τῆς λύρης ἀκούω καὶ τῶν Ἑρώτων ἡσθόμην· ἔστυ ἀφροδίτη."

³³ Hephæst. 47, 9 (Arch. 79) Ἑρασμονίδη Χαρίλαε, χρῆμά τοι γελοῖον.

³⁴ Pherphæst. 58, 1 εὐφρόνας ἡμᾶς ἀπέπεμπ' οἴκαδ' ἄλλον ἄλλοσε (fr. com. ad. 53).

³⁵ Bewusst geeignet wurde dies von L. HAVET in seinem umfangreichen, seinerzeit als grundlegend geltenden Werke *De saturnio Latinorum versu*. Paris, 1880. p. IX «Hexameter saturnius, non trimeter aut tetrameter»; p. II «Saturnius cum in singulis hemistichiis ternas arses habeat hexameter est non trimeter, sexiesque debet feriri. Quare eo usi sunt Livius Andronicus et Naevius cum versus Graecorum heroes aut latine verterent aut imitarentur.» Hierüber hat der von ihm (p. 156) getadelte K. BARTSCH (Der Saturnische Vers und die altddeutsche Langzeile p. 35) richtiger geurteilt.

und dürfte als sicherer Ausgangspunkt bei dem Aufbau einer Morphologie dieses Versmasses zu betrachten sein, deren Grundlinien ich im Folgenden zu entwerfen versuche.³⁶

VII

1. Der Saturnier ist eine aus zwei «Kurzversen» (Vierhebern) zusammengesetzte Langzeile. Der erste Halbvers hat meist steigenden (mit der Senkung beginnenden) Gang, der zweite meist fallenden. Beide Vershälften endigen «stumpf», mit der Hebung.

2. Der Vers zeigt deutlich die Tendenz in beiden seinen Hälften die auf die dritte Hebung folgende Senkung zu unterdrücken. Die auf diese Weise aufeinander stossenden zwei Hebungen (lange Silben) geben beiden Halbversen ein charakteristisches, dem Bau des Paroimiakos entsprechendes Gepräge (Prägnanz).

3. Die dritte, die nachfolgende Senkung absorbierende, «prägnante» Hebung muss notwendigerweise eine natur- oder positionslange Silbe sein, da sie den Zeitraum eines ganzen Taktes einnimmt.³⁷

4. Neben derartigen «prägnant» gebildeten (Halb)versen gibt es auch in geringer Zahl solche, in denen die Senkung an der kritischen Stelle freiliegt (nicht unterdrückt ist). Von den 140, unseren Betrachtungen zu Grunde liegenden ersten Halbversen (*A*) finden sich 26 mit freiliegender Senkung (18,6%); von dieser Zahl sind jedoch die 9 Fälle wo *i* oder *u* consonantisch gebraucht werden können³⁸ und dadurch, oder durch Synkopierung eines Vokales, die freiliegende Senkung verschwinden kann, abzurechnen. Es verbleiben also 17 Beispiele dieser Gattung (12,1%). In der zweiten Vershälfte überwiegt die prägnante Form noch mehr; in 132 Versen gibt es nur 15

³⁶ Das im «Anhang» zusammengestellte Material enthält nur vollständige Verse (Halbverse), die zweifellos hierher gehören und deren Textgestalt als gesichert gelten kann. Es sind insgesamt 140 erste (*A*) und 132 zweite (*B*) Vershälften herangezogen worden.

³⁷ Scheinbare Ausnahmen: *B* 50 *fortissimos viros* *B* 76,2 *fuise virum*; doch ist die ursprüngliche Länge des *i* lautgeschichtlich gesichert, und so konnte diese altertümliche Form neben der gewöhnlichen mit kurzem *i* aus verstechnischen Gründen wohl angewendet werden. 77,3 *fuit* ist *u* natürlich lang. *B* 45 *Proserpina puer* ist das *u* konsonantisch zu sprechen («pver»), vgl. darüber Lachmann im Lucrez-Kommentar zu II 991 p. 129. *B* 56 *ilico sedent* die einzige wirkliche Ausnahme ist wohl korrupt und in *sedentes* oder ähnlich zu bessern. In den ungeschlachten Saturniern der Dedicationsinschrift der faliskischen Köche kommt *B* 80,2 der metrische Fehler *festosque dies* vor, wenn nicht etwa *festosque dies* mit freiliegender Senkung bzw. *festosque djes* zu betonen ist.

³⁸ Vgl. LACHMANN: a. O. — Es sind dies folgende Stellen: *A* 9 *deveniens* 12 *adveniet* 32,2 *penatium* 50,2 *populo* 69 *Saturnium* 78,6 *gremiu* 79,1 *sapientia* 80,3 *arguticis* 82,4 *Hercolei*. Unzweifelhaft dagegen freiliegende Senkung in *A* 23 *cumque eo* 28 *purpurea* 32,3 *aurea* 40,3 *Purpureus* 45 *Cereris* 48,2 *exerciti* 50,1 *deserant* 53 *proicerent* 54 *victoribus* 59 *simul ac* 71 *edacibus dolos* 73 *producit eum* 76,1 *plorume* 2 *optumo* 5 *Corsica* 6 *Tempestatebus* 80,4 *saisume*.

Fälle mit freiliegender Senkung (11,3%) von denen 10 in Abzug gebracht werden können, bleiben 5 sichere Beispiele (3,7%).³⁹

5. Der steigende Gang des ersten Halbverses steht ausser Zweifel. Das älteste Beispiel dieses Metrums ist wohl der bekannte Anfang des Liedes der Arvalbrüder: *Enos Lases iuvate!* Sichere Fälle mit der Hebung beginnender, also fallend gebauter Versanfänge gibt es nur wenig.⁴⁰ Andererseits kommen in der zweiten, in der Regel fallend gebildeten Vershälfte einige zweifellos steigende Bildungen vor.⁴¹

6. «Die Wirkung des im Verse auftretenden Quantitätsprinzips äussert sich in erster Linie in der Wahl langer Silben als Träger des Versictus.» Von dieser oben (Kap. IV) gemachten Feststellung haben wir bei der weiteren Untersuchung unseres Materials auszugehen. In Frage kommen hier die beiden ersten Hebungen eines jeden Halbverses, da die dritte infolge ihrer «Prägnanz», die vierte als Endsilbe (*syllaba anceps*) unter einen anderen Gesichtspunkt fallen. Es sind also die Quantitäten von 280 Hebungssilben in 140 ersten Halbversen (*A*) und von 264 solchen in 132 zweiten Halbversen (*B*) zu untersuchen. Das Resultat ist: von den 280 Hebungen in *A* sind 56, also rund 20%, durch eine Kürze gebildet, von den 264 in *B* 42, also rund 16%. Dies ist mehr, als was mit der orthodoxen Auffassung vom Wesen des quantitierenden Verses in Einklang zu bringen ist, und man war deshalb gezwungen die Verwendbarkeit kurzer Endsilben als Hebungen im Saturnier als eine Besonderheit dieses Versmasses anzunehmen. Von prinzipiellen Schwierigkeiten abgesehen hilft diese Regel nicht in Fällen, wo die auf die Hebung fallende Kürze keine Endsilbe ist. Die Erscheinung hat symptomatische Bedeutung und weist auf eine tiefer liegende Ursache hin. Es ist eine natürliche, ja sogar notwendige Annahme, dass der Saturnier im Anfangsstadium seiner Entwicklung ein kunstloses, «indifferentes» Gebilde war, das erst allmählich in der Richtung der Verwirklichung des Quantitätsprinzips Fortschritte machte ohne das rhythmische Ideal, wie es sich im Musterverse des Caesius spiegelt, zu erreichen bzw. es in der Praxis als allgemeingültige Norm durchführen zu können. Es ist also erklärlich, dass man die Quantität als Grundlage des Verses in Zweifel zu ziehen begann und der Scylla des akzentuierenden Versbaues zum Opfer fiel. Gegen die Annahme eines solchen auf den Wortakzent aufgebauten bodenständigen altlateinischen metrischen

³⁹ Diese sind: B 46 *arquitencens* 76,6 *meretod* 78,6 *recipit* 80,2 *dies(?)* 82,4 *mereto*. Dagegen können als prägnante Bildungen aufgefasst werden: B 24 *dubio* 25 *docuit* 45 *Proserpina puer* 48,1 *Valerius* 52 *auspicium* 64 *iudicium* 73 *impudentior* 78,2 *brevia* 78,3 *ingenium* 81,3 *voverat*.

⁴⁰ Solche sind wohl: A 10 *tumque remos iussit* 22 *namque nullum prius* 22,2 *quamde mare saevom* 56 *septimum decimum annum* 76,3 *Luciom Scipione(?)* 80,3 *quei soueis argutieis*.

⁴¹ B 17 *cor frigit prae pavore* 24 *flexu nodorum dubio* 48,2 *in expeditionem* 49,2 *rem hostium concinnat* 76,1 *cosentiont Romane* 80 *convivia loidosque* 83,4 *loquier lingua latina*.

Prinzips bestehen die Einwände, die Leo in seiner berühmten Abhandlung⁴² dagegen erhob, zu Recht. Zudem ist die rhythmische Form des Verses, wie sie bei O. Keller und anderen Verfechtern dieser Richtung erscheint, gekünstelt und nicht überzeugend. Die Überwindung der Schwierigkeiten scheint mir nur unter Beiseitstellung hergebrachter metrischer Auffassungen möglich. Die quantifizierende Versform ist keine metrische Kategorie, die wir fertig und abgeschlossen aus den Händen des Demiurgen empfangen haben; zwischen der primitiven Art der Versbildung, die Hebungen und Senkungen auf die Silben ihren prosodischen Eigenschaften gegenüber gleichgültig bleibend verteilt (indifferent, sog. silbenzählender Versbau) liegt ein weiterer Weg technischer Entwicklung bis zur Erreichung der Vollkommenheit in der Anwendung des Quantitätsprinzips. Der Saturnier stellt in seiner uns überlieferten Form schon eine ziemlich hohe Stufe dieser Entwicklung dar. Die Hebungen sind in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle durch lange Silben gebildet, doch reichte das technische Geschick nicht immer zur Erfüllung dieser Forderung, was das Auftreten von Kürzen an solchen Stellen erklärt. Es sind dies gewissermassen Rudimente einer überwundenen Stufe der Vers-technik. Etwas ähnliches sind wohl die vielen Fälle klaffender, zweisilbig behandelter Hiats neben solchen mit durchgeführter Elision.

VIII

Zum Abschluss wollen wir noch einmal auf unser Hauptproblem, die Frage von der Möglichkeit eines undynamischen, «reinen» Zeitrhythmus zurückgreifen und die Beweggründe, die zur Annahme eines solchen den Anstoss gegeben haben dürften, einer erneuten Prüfung unterziehen.

Nietzsche und seine Nachfolger gehen offenbar von dem augenfälligen Gegensatz aus, der zwischen dem die Silbenquantitäten zu Grunde legenden antiken Verse und seiner Nachbildung im Deutschen vorhanden ist. Eine mechanische Übertragung des Quantitätsprinzips auf das Rhythmizomenon des deutschen Verses wäre aussichtslos und müsste schon an dem hochgradigen Mangel an natürlichen Kürzen im Deutschen scheitern. Darum hat man zu dem Ausweg gegriffen den Wortton tragende Silben als Hebungen, unbetonte dagegen oder als solche behandelte als Senkungen zu gebrauchen. Dadurch wurde unter Preisgabe der Quantität wenigstens der dynamische Charakter der Versform des Originalen in die Nachbildung hinübergerettet, so z. B. der quantifizierende Daktylus (eine den Ictus tragende Länge und zwei Kürzen) durch den akzentuierenden (eine den Wortakzent tragende Silbe und zwei unbetonte) ersetzt. Den Hebungssilben fällt in letzterem Falle eine

⁴² F. LEO : Der Saturnische Vers (Götting. Abh.) Berlin 1905, p. 3 ff.

doppelte Funktion zu : sie sind als Glieder des sprachlichen Rhythmizomenons Träger des expiratorisch-energischen Wortakzentes, und als Momente des Rhythmus Träger des gleichfalls auf Intensitätssteigerung beruhenden Versictus. Die Vernachlässigung dieser Distinktion führt zu verhängnisvollen Folgen. Im quantifizierenden Versbau spielt der Wortakzent keine organische Rolle ; wenn man aber daraus den Schluss zog, dass damit auch der dynamische Ictus aus dem Verse verschwinden müsse, so war dies ein arger Missgriff. Der auf diese Weise entmannte, «undynamische» Vers ist ein blutleeres Hirngespinnst, eine *contradictio in adiecto*, mit dessen Begriff auch seine Erfinder eingestandenermaßen keine Anschauung verbinden können. Darüber können uns nicht einmal die blendenden Antithesen Nietzsches vom pathologischen, barbarischen Affektrhythmus und dem ethisch-moralisch-aesthetischen Zeitrhythmus hinwegtäuschen ; rhetorischer Wörterprunk an Stelle schlichter Sachlichkeit.

Der Begriff des undynamischen, reinen Zeitrhythmus ist offenbar unter Vermischung der Begriffe von Wort- und Versakzent als negatives Gegenbild zum akzentuierenden germanischen Vers zustande gekommen. Gerade diese Konzeption des Rhythmus ist also — so eigentümlich dies auch manchem klingen mag — «*influencée par les habitudes germaniques*» entstanden. Ohne den von Nietzsche so verächtlich behandelten «Hopsasa des Ictus» gibt es eben keinen Vers und keinen Rhythmus ; die ihn aus dem germanischen Wortakzent ableiten, müssten dieses Prinzip folgerichtig auf alle Erscheinungsformen des Rhythmus anwenden, z. B. den Pulsschlag, diesen «Hopsasa» des Herzens.

ANHANG

(Zusammenstellung der überlieferten Saturnier)

Aus der Odyssee-Übersetzung des Livius Andronicus :

- (1) virum mihi Camenà insecè versutum
- (2) patèr nostèr, Satùrni filiè . . .
- (3) meà puèr, quid vèrbi èx tuo òre fùgit?
- (4) neque enim tè oblitus sum laèrtie nòstèr
- (5) argènteò polúbriò aùreò eclútrò
- (6) tuqué mihi narrátò omnià disértim
- (7) quae háec daps èst, qui fèstus dies? . . .
- (8) matrém <proci> procitum plúrimi venérunt
- (9) aut in Pýlùm devéniens aut ibi omméntans
- (10) túmque rēmos iússit réligàre strúppis
- (11) ibidemquè vir súmmus ádprimus Patróclius
- (12) quandó diès advénièt quém profàta Mòrtàst
- (13) atqué escàs habémus méntionem . . .
- (14) partím errànt nequínont Graéciam redirè
- (15) sanctá puèr Satùrni filià reginà
- (16) apúd nymphàm Atlántis filiàm Calypsónèm
- (17) igitúr demùm Ulíxi cor fríxit prae pavóre

- (18) celsósque ocris arváquē pútria èt mare mágnūm
 (19) utrūm genuà amplóctēns virginē orarēt
 (20) ibí manēns sedetò dónicūm vidēbis
 me cārpentò vehéntē dómum veníssē
 (21) simul ác dacrimàs de órē noégeo detērsit
 (22) námque nūllum peiūs máceràt homónēm
 quámde màre saévōm vís et cūi sunt mágnāe
 tóppēr confringēt importūnae úndāe
 (23) venít Mercūrius cūmque eò filiūs Latónās
 (24) noxábant mūlta intēr sē flexú nodōrum dúbio
 (25) nam dívinā Monétās filiā dócuít
 (26) toppér facit homónēs út priūs fuérunt
 (27) toppér citi ad aedis vénimūs Círcāe
 simúl duonā eórūm pórtant ad návīs
 multa áliā in ísdēm inserinúntūr
 (28) vestís pullā purpúreā ámpla...
 (29) inquē manūm surémít hástam...
 (30) vinūmque quòd libábant ánculábátūr

Aus dem Bellum Punicum des Naevius :

- (31) novém Iovis concórdēs filiāe sorórēs
 (32) postquám avēm aspéxit ín templò Anchísā
 sacra ín mensā penátium órдинē ponúntūr
 immolábat aúreā victimā púlerām
 (33) ámborū uxórēs
 noctú Troiād exhibant cápitibūs opértis
 flentēs ambāe abeúntēs lácrimis cum múltis
 (34) eorūm sectām secúntūr mūlti mortálēs
 multi álii e Tróíā strénui víri
 ubí forās cum aúro íllic exhibant
 (35) ferúnt pulchrās cretérās aúreās lepístās
 (36) ... pulchrāque ex aúro véstemquē citrósām
 (37) senéx fretūs pietáti déum ádlocútus
 summí deūm régis frátre[m] [Neptunum] règnatórēm
 marum...
 (38) patrém suóm supréum óptumūm appellát
 (39) summé deūm regnátōr quíanam gēnus <od>ísti?
 (40) incránt signā expressā quómodò Titánēs
 bicórpōrēs Gigántēs mágniquē Atlántēs
 Runcús atquē Purpúreūs filii Terrās
 (41) eí venít ín méntēm hóminūm fortunās
 (42) iamque eíus méntēm fortunā fécerát quiétēm
 silvícolāe homónēs bélliquē inértēs
 (43) blande ét doctē percóntāt Aéneā quo pácto
 Troiám urbē liquíssēt
 (44) manúsque súsum ad cáelūm sústulit suās rēx
 Amúlius dívisquē grátulábátūr
 (45) primá incédit Céreris Prósērpínā puēr
 (46) deíndé pollēns sagittis inclutūs arquítēns
 sanctús Iovē prognátus Pýthiūs Apóllō
 (47) scopás atquē verbénās ságminā sumpsērunt
 (48) Mániūs Valériūs
 consúl partēm exércití ín expeditiónē
 ducít...
 (49) transít Melitām Románus ínsulām intégrām
 urít populátur vástāt rem hóstiūm concínnāt
 (50) sín illōs déserant fórtíssimos vírōs
 magnúm stuprūm pópulō fieri per géntēs
 (51) seséque eí perírē mávolúnt ibídem
 quam cūm stuprō redírē ád suōs poplárēs

- (52) virum praetor advenit auspicat auspicium
prosperum ...
(53) simul atrocia proicerent exta ministratores
(54) eam carnem victoribus danunt ...
(55) vicissatim volvi victoriam ...
(56) septimum decimum annum ilico sedent<es>
(57) censet eo venturum obviam Poenum
(58) superbitur contemptum conterit legiones
(59) convenit regnum simul ac locos ut haberent
(60) id quoque paciscunt ...
reconciliant captivos plurimos ...
Sicilienses paciscit obsides ut reddant
(61) toppe saevi capesset flammam Volcani
(62) magnam domum decorumque ditum vexarant
(63) onerariae onustae stabant in flustris
(64) plerique omnes subiguntur sub unum iudicium
(65) ... quod bruti nec satis sardare
queunt ...
(66) famis acer augescit hostibus ...
(67) simul alius aliunde ruminant inter se
(68) magnae metus tumultus pectora possidit
(69) quoniam Saturnium populum pepulisti?

Die von Caesius Bassus angeführten Saturnier :

- (70) malum dabunt Metelli Naevio poetae
(71) turdis edacibus dolos comparas amico
(72) quem non rationis egentem vicit Archimedes
(73) consulto producit eum quo sit impudentior
(74) duello magno dirimendo regibus subigendis
(75) fundit fugat prosternit maximas legiones

Inschriftlich überlieferte Saturnier :

Elogia Scipionum :

I

- (76) hunc oino plorume cosentiunt R[omane
duonoro optumo fuisse viro
Lucio Scipione filio Barbato
consol censor aedilis hic fuit apud vos
hec cepit Corsica Aleriaque urbe
dedet Tempestatebus aide mereto[d

II

- (77) Corneliu Luciu Scipio Barbatus
Gnaivod patre prognatus fortis vir sapiensque
quouis forma virtutei parisuma fuit
consol censor aedilis quei fuit apud vos
Taurasia Cisauna Samnio cepit
subigit omne Loucanam opsidesque abducit

III

- (78) quei ápile insigne Diál[is fl]áminis gesistei
 mors pérfe[cit] tua ut éssènt ómnià brévià
 honós famà virtúsquè glória àtque ingéniùm
 quibus sei in longà lieu[i]sèt tibe útier vità
 facilé facteis superásès glóriàm maiórùm
 quaré lubèns te in grémiu Scépiò récipit
 terrá Publi prognátum Públiò Cornéli

IV

- (79) magná sàpiéntià múltasquè virtútès
 aetáte quòm párvà pósidèt hoc sáxsùm
 quoei vità defécit nón honòs honóre
 is híc sitùs quei núnquàm victus èst virtútei
 annós gnatùs vigínti ís [div]eis m[an]dátus
 ne quairatis honóre quei minùs sit mactùs⁴³

Inschrift der faliskischen Köche :

- (80) gonlégium quòd est acíptum aetatei agé[n]d ai
 opíparum ad veitam quolúndàm féstòsquè diès
 quei soueis a[rg]útieis ópidquè Volgáni
 gondécorànt saísunè comvívià loidósquè
 quoei húc dedérunt ímperatòribus súmmes
 utei sesèd lubéntès béne iouènt optántis

Triumphaltafel des L. Mummius :

- (81) duct(u) aúspicio ímperióquè eíus Achala cáptà
 Corinto delèto Rómam rédieit triúmphan
 ob hásce rès bene géstàs quód in bello vóveràt
 hanc aédèm et signù Hérculis Victóris
 ímperator dedicat

Die sog. Dedicatio Sorana der Vertuleii :

- (82) quod ré suà d[if]eídèns áspèr àfleíctà
 paréns timèns heic vóvit vóto hòc solútò
 [de]cumá factà poloùctà leíbèreis lubétès
 donú danùnt Hércolei máxsumè méretò
 semól te orànt se vóti crébrò condémnès

Das literarisch überlieferte Grabepigramm des Naevius :

- (83) immórtalès mortálès sí forèt fas flérè
 flerént divaè Caménaè Naéviùm poétàm
 itáque pòstquamst Órchi tráditùs thesaúró
 oblíti sùnt Római loquíér linguà latinà

⁴³ Ich konnte nicht umhin die glänzende Konjektur Lachmanns («mactus») an Stelle des offenbar aus der vorhergehenden Zeile eingedrungenen «mandatus» in den Text zu setzen.

А. ФЕРСТЕР

О РИТМИЧЕСКИХ ОСНОВАХ АНТИЧНОГО СТИХОСЛОЖЕНИЯ

(Резюме)

У нас нет возможности сделать непосредственные наблюдения над тем, как звучали античные стихи; таким образом, нам приходится другим путем приступить к изучению их ритма. Мы можем исходить при этом из некоторых основных фактов, проявляющихся во всех формах ритма, и представляющих, следовательно, органические свойства, в том числе и стихов. Уже в древности стремились ученые установить такие общие закономерности в области теории ритма.

Ритм является законом всех мировых процессов, действующим как в макрокосме, так и в микрокосме, в физических и физиологических явлениях, а также в области техники или искусства, — везде, где надо связать в единое целое последовательные элементы, однородные, но разные по интенсивности и длительности. Ритм — это последовательность повторяющихся через равные промежутки времени элементов, выделяемых большей интенсивностью. Самые простые формы его — волнение водяных поверхностей, движение маятника, биение пульса и т. п. Из этого следует динамический характер всякого стихосложения, в том числе и античного.

Так представляла себе это до сих пор и современная метрическая наука (Г. Германн, А. Бек), но в последнее время стал распространяться в немецкой науке новый взгляд. В «Руководстве» Герке и Нордена, пользующемся широкой популярностью, П. Маас ссылается на малоизвестное особое мнение Фридриха Ницше, сделавшего попытку поставить на место динамического ритма «чисто временной ритм». По мнению Мааса, надо бросить не только выражения, но и понятия *Hebung* и *Senkung*. Как в этом случае звучали античные стихи, по его собственному признанию ни он, ни Ницше не могут представить себе. По словам Мааса, мы внесли динамический элемент в теорию не только античного стихосложения, но и всей современной музыки, заимствуя его от грамматического ударения германских языков. К сожалению, такой взгляд приобрел популярность и вне сферы немецкой науки.

Для решения вопроса нужен подробный анализ характера самого ритма. Еще в древности исследователи не только ритма в узком смысле слова, но и исследователи метрики поставили стих в одном ряду с другими ритмическими процессами, динамический характер которых не допускает сомнений. Уже одним этим фактом опровергается тезис Ницше и Мааса, что в античной теории ритма не говорится о динамическом характере стихов. Как во всех процессах ритмического характера, и в стихосложении *первая «дименсия»* ритма состоит из повторения через равные промежутки времени элементов, выделяемых большей интенсивностью.

Однако, ритм не только расчленяет, но и соединяет. Наблюдением доказывалось, что над первой дименсией сильные части составляют новую волновую линию, разделяя тем самым стих на группы с 2, 4, 8 членами. Это *вторая «дименсия»* ритма. На этом основывается стих с четырьмя сильными и его варианты, распространенные в поэзии самых различных древних и современных народов. Узенер ошибается, возводя этот стих к некоему индоевропейскому прастиху. Распространенность такого стиха объясняется не наследственностью, а характером самого ритма (см. статью автора в *Indogermantöténet*, 1951, стр. 439 и сл.).

Под *третьей «дименсией»* ритма автор понимает внутреннее построение тактов (стоп). Из характера этого следует, что в этой сфере выступает в стихосложении роль метрики или, с другой стороны, грамматического ударения, и по мере выступления этих факторов мы говорим о нейтральном (силабическом), метрическом и тоническом стихосложении.

С помощью этих тезисов нам будет легко решить некоторые сложные вопросы метрики, как, например, известный вопрос о ритме *versus Saturnius*'а. В связи с этим мы устанавливаем:

1. *V. Saturnius* является длинным стихом (*Langzeile*), составленным из двух коротких с четырьмя сильными. Первая половина стихотворной строки носит, как правило, восходящий, вторая половина — нисходящий характер. Обе половины оканчиваются на метрически ударяемый слог (*ictus*).

2. В обеих половинах стиха явствует тенденция подавления ритмически безударного элемента после третьего сильного или ассимиляции его с предыдущим. Так получается вариант стиха с четырьмя сильными, вроде паремиака, примеры которого хорошо известны у индоевропейских и других народов.

3. Таким образом, на месте третьего сильного, как важного своей выразительностью ритмического элемента, находится всегда долгий слог.

4. Наблюдается вообще тенденция помещения долгого слога на сильное место, что свидетельствует о присутствии метрического принципа; но с этой стороны, стихосложение еще не усовершенствовалось, так что *versus Saturnius* в дошедшей до нас форме представляет собой как бы переходный этап между первоначальным «нейтральным» и совершенным метрическим стихосложением.

В конце работы автор попытался показать психические мотивы, приведшие к несостоятельной гипотезе о чисто временном ритме. Это простое отрицание роли ударения в ритме стиха, отрицание стихотворного ударения (*ictus*'a) вместе с грамматическим вследствие ошибочного отождествления обонх. Таким образом, в действительности именно эта концепция и создалась «*influencée par les habitudes germaniques*» (под влиянием германских обычаев).

ПИРАТСТВО ОКОЛО СИЦИЛИИ
ВО ВРЕМЯ ПРОПРЕТОРСТВА ВЕРРЕСА*

1. Пиратство играло важную роль в эпоху римских гражданских войн, т. е. в эпоху перехода республики в военную диктатуру. Распространение пиратства, являясь чертой, характерной для кризиса господства сената, для внутренних противоречий римского рабовладельческого строя, способствовало в то же время преобразованию римского общества. Пиратство в больших масштабах начинается в середине II в. в Киликии и достигает своего наивысшего развития, верха своей опасной и вредной деятельности в 70-е гг. I в. — так считали и современники, и более поздние историки античности.¹ С таким организованным и распространенным пиратством мы не встречаемся ни в какие другие периоды древней истории. В то время пиратские организации держали в своих руках, можно сказать, все Средиземное море.²

К этому времени произошли большие изменения в характере и тенденциях деятельности пиратов. Сначала пираты были полезны Риму тем, что доставляли рабочую силу — рабов крупным землевладельцам Италии и Сицилии. Этим главным образом и объясняется тот факт, что Рим не обращал достаточного внимания на морской контроль, господствующий класс крупных землевладельцев терпел разбои пиратов несомненно из-за дешевого ввоза рабов. В конце II в. пираты еще продолжали играть роль поставщиков рабов, но их деятельность мешала мореплаванию и морской торговле, торговым связям с Малой Азией, оживившимся в связи с римскими завоеваниями. Поэтому отношение Рима к пиратам изменилось, и в 102 г. Рим объявил на них поход, вслед за чем были приняты и другие меры для истребления пиратов и обеспечения мореплавания. Эти первые меры свидетельствуют прежде всего о влиянии всадничества, все более заинтересованного

* Настоящая работа написана на основании одной части моей кандидатской диссертации. См. роль пиратства в эпоху римских гражданских войн. Тезисы кандидатской диссертации, 1955 г., стр. 1—18.

¹ См. Sallustius, Hist. (M.) II. 47, 7. Strabon XIV. p. 684. Appianus b. c. II. 1.

² Cicero, De lege Manilia 31. Velleius II. 43, 4. Florus I. 40, 7. Plutarchos, Pomp. 25. Caes. 1. Appian. Mithr. 91. 93. b. c. II. 1, 2. Dio Cassius 36, 20, 4. Eutropius VI. 4, 1. Orosius VI. 1, 4. Cp. Varro, Sat. (Bücheler) 86.

в морской торговле. Неслучайно, поэтому, что такие меры были впервые приняты во время господства Мария, ибо одной из главных опор для него и являлось всадничество. После того, как было покончено с массовым снабжением людьми рынков рабов, похищение людей начинает производиться с другой целью, в первую очередь с целью получения за них выкупа. Пираты стали предпочитать охоту за римскими гражданами и за богатыми жителями восточных провинций.

Пиратство становится особенно опасным начиная со времени первой войны против Митридата, и опасность эта достигает своей наивысшей точки во время третьей войны. Решающую роль в этом сыграл вызванный войнами беспорядок и вместе с тем связи, установившиеся между пиратами и Митридатом. В связи с этим пиратство по сравнению с предыдущими эпохами приобретает новую характерную черту: пираты принимают участие в военных действиях, действуют совместно с противниками Рима, участвуют в установлении связей между ними. Деятельность их особенно резко направлена против Рима.³ Пиратские суда регулярно появляются в западной части Средиземного моря у побережья Испании и Северной Африки. Борющийся против реакционного правления Суллы Серторий, предводитель марийцев, эмигрировавших в Испанию, ловко использовал поддержку пиратов в военных действиях, в контроле побережий, для обеспечения пополнений, в качестве дипломатических курьеров. Во время третьей войны Митридата (74—64 гг. до н. э.) можно наблюдать еще большее взаимодействие между пиратами и понтийским царем. Понятно, что Рим все большее внимание обращает на истребление пиратов. Но исаурийский поход Сервилия Ватия (78—74 гг. до н. э.) одерживает лишь частичный и временный успех. Следующий за этим поход Марка Антония (74—71 гг. до н. э.), начатый им по поручению (*imperium*), распространявшемуся на все Средиземное море, закончился полным поражением: римский флот был почти уничтожен у острова Крит.

Не удивительно поэтому, что морское владычество пиратов, неслыханные опасности, с которыми было сопряжено плавание по морю, совершенно парализовали мореплавание. Смерть или плен у пиратов угрожали всем, кто рисковал в эти годы пуститься в море, если же кто хотел избежать столкновения с пиратами — постоянной угрозы в хорошую для плавания погоду, тому не оставалось ничего другого, как доверить свою жизнь разъяренной стихии зимой.⁴ Пираты препятствовали возможности сношения с дальними

³ Основной причиной такой тенденции является состав рядов пиратов. В пиратские организации, состоявшие первоначально из киликских и критских разбойников, начинают проникать новые элементы: беглые рабы, беглые солдаты, политические беженцы, жертвы войн, ободранные до нитки люди из римских провинций и т. д. На этом вопросе мы не можем в дальнейшем остановиться более подробно.

⁴ Sall. H. (M.) II. 47, 7. Cicero, De lege Manil. 31. Однако и такое решение вопроса не всегда являлось защитой от пиратов, см. Dio 36, 21, 2.

провинциями, совершенно прекратилась перевозка как частных, так и государственных грузов (Цицерон, *De lege Manil.* 32. 53.). Военно-морской флот римлян не только не был в состоянии защищать далекие провинции и союзников, но даже сам Рим показал свою несостоятельность против пиратов: перевозка морем войск, направлявшихся на восточный театр военных действий, осуществлялась только зимой (Цицерон, там же 32). Пиратские нападения угрожали не только побережью Италии, пираты в погоне за наживой, терроризируя население, вторгались и во внутренние области (Дио Кассий 36, 22, 1). Они там настолько утвердились, что проводили некоторое время на суше, отводили похищенных ими людей на рынки, сами приходили за выкупами к их родственникам (Дио 36, 22, 2). Опасности подвергались не только берега Италии,⁵ движение не было безопасным даже по Аппиевской дороге: многие частные лица попали в плен к пиратам, среди них и дочь первого предводителя анти-пиратского похода Марка Антония, римские и иностранные послы, римские магистраты.⁶ Пираты нападали на значительные прибрежные города и порты и выжигали их; так случилось, например, с Каетой и Остией: пираты разбили находившийся там римский флот и продвинулись до самого устья Тибра. (Веллей II. 31, 2. Дио там же) Особенно чувствительным для Рима оказалось то, что пираты сделали опасной доставку продовольствия, в первую очередь хлеба, в снабжении продовольствием не раз наблюдались перебои, а так как большая часть городов снабжалась привозным хлебом, то, несмотря на повторные экстраординарные закупки, осуществленные в 70-х гг., города скоро оказались перед серьезной угрозой голода.⁷ В довершение беды, из-за нарушения движения товаров местами земля осталась необработанной (Аппиан, *Митридат.* 93), население некоторых земледельческих районов, в частности население островов, приморских городов бежало в страхе перед пиратами, уходя от пиратских набегов в другие места. Некоторые из таких местностей пираты заняли силой (Цицерон, *De lege Manil.* 32).

2. В связи с вышесказанным значение Сицилии в эти годы еще более увеличивали некоторые другие обстоятельства: с одной стороны то, что Сицилия лежит недалеко от Италии, с другой стороны, что она находится на морском пути из восточной в западную часть Средиземного моря; кроме того, в конце семидесятых годов роль Сицилии в снабжении Рима хлебом еще возросла.⁸ Надо учитывать еще то, что из-за восстания рабов под пред-

⁵ Cic. *De lege Manil.* 32., 53., 55. Plutarchos, *Pomp.* 24. Appian. *Mithr.* 93.

⁶ Cic. *In Verrem* I. 6., III. 99. *De lege Manil.* 31—33. Ps.-Ascon. 125. p. (Orelli). Florus I. 40, 6.

⁷ Sall. I. e. Cic. *op. c.* 33., 53. Livius *per.* 99. Plut. *Pomp.* 25, 27. Appian. *Mithr.* 91., 93. Dio 36, 23, 1. Zonar. X. 3. Римский флот не был боеспособен: *ita classe quae commeatus tuebatur minore quam antea navigamus.* (Sall. I. e.) Cp. Cic. *In Verr.* V. 59. *in tanta inopia navium.*

⁸ Сицильская декума могла удовлетворить годовую потребность более чем ста тысяч человек. См. S. FLORIDA: Il commercio granario dell'Italia nell'Impero Romano, 1940, 14.

водительством Спартака большая часть земли в Италии осталась необработанной или урожай подвергался постоянной опасности, в то время как присутствие пиратов свело до минимума привоз зерна из восточных провинций. Нельзя забывать и того, что большое количество рабов, находившихся на острове, делало его благоприятной почвой для восстаний, что подтверждают два больших восстания рабов, бывших уже до этого в Сицилии. Перейдем таким образом к рассмотрению пиратства около Сицилии, рассмотрим присутствие пиратов, значение их деятельности, их связь с восстанием рабов под предводительством Спартака, мероприятия римлян, направленные против пиратства.

В конце 70-х гг., во время наместничества Верреса (73—71 гг. до н. э.) пиратские набеги вокруг Сицилии приняли угрожающие размеры и причиняли большие трудности. В речах Цицерона против Верреса, послуживших главным источником для настоящей работы, мы часто встречаемся с указаниями на большое количество пиратов, на усиление их деятельности, угрозу для всей провинции, подстерегание пиратами кораблей, их внезапные набеги, на ужасы, опасность, убытки, причиняемые пиратами.⁹ Создалась целая система сигналов о приближении пиратских судов,¹⁰ что также указывает на постоянную опасность, на постоянную угрозу населению.

Главной опорной точкой пиратов, гаванью для пиратского флота в зимнее время был остров Мальта, находящийся недалеко от Сицилии, что в большой мере помогало деятельности пиратов вокруг Сицилии и делало более трудной защиту острова, следовательно, и задачу наместника.¹¹ Кроме баз на суше, укреплений, крепостей в горах, тайных убежищ и складов¹² у пиратов в разных приморских местах были гавани, сигнальные станции (Плутарх, Помп. 24), хорошо спрятанные заливы, дозорные вышки на вершинах гор; пиратами были заняты целые острова и города.¹³ Эти места пираты использовали частично как рынки, частично как опорные пункты для кораблей,

⁹ IV. 103. *hac praedonum multitudine*; V. 62. *in tanto praedonum impetu tantoque periculo provinciae*; V. 80. *in tanto praedonum metu et periculo*; V. 137. *in metu periculoque provinciae*; V. 157. *ex praedonum insidiis*; IV. 94. *repentino praedonum impetu*; V. 59. *in . . . tanto(que) calamitate provinciae*. — В дальнейшем ссылки без имени автора и названия произведения будут указывать на соответствующее место речи против Верреса на втором процессе.

¹⁰ V. 93. *erat semper consuetudo, praedonum adventum significabat ignis e specula sublatum aut tumulto*. Подобные методы были в обычае во многих средиземноморских провинциях и в позднейшие века, см. Н. А. ОМЕРОН: *Piracy in the ancient world*, Liverpool—London 1924, p. 42—43.

¹¹ IV. 46, 103—47 §. *Insula est Melita . . . ubi piratae fere quotannis hiemare solent*.

¹² Florus I. 40, 11. Appian. Mithr. 95, 96. Cic. p. Flacc. 29. *urbes, portus, receptacula*.

¹³ Cic. op. c. 30. . . . *unde proficiscantur . . . quo revertantur . . . sinus, promuntoria, littora, insulas, urbes maritimas*. Florus I. 40, 11. *per omnis aequoris portus, sinus, latebras, recessus, promuntoria, freta, paene insulas quidquid piratarum fuit*. См. также Plut. Pomp. 24., 28. Appian. Mithr. 92. Dio 36, 21, 3.

для снабжения продуктами и отдыха, для получения нужных сведений, для убежищ на зимнее время.¹⁴ Такие опорные пункты имели для пиратов тем большую важность, что античное мореходство было очень несовершенным, часто случались аварии, а с экономической точки зрения: небольшие суда не могли вместить достаточного провианта для длинных плаваний, на них даже не было достаточного места, чтобы люди могли соответствующим образом отдыхать, перевозка на большие расстояния множества награбленных вещей также представляла большие трудности.¹⁵ Для того, чтобы достаточно ясно показать насколько была развита сеть таких опорных пунктов, достаточно сослаться на Плутарха (Помп. 24), который приводит круглым счетом, что число занятых пиратами городов и островов равнялось 400. Такие важные для мореплавания места были заняты пиратами или насильно или с согласия населения, в последнем случае, т. е. когда население согласно было принять пиратов, пираты обращались с населением милостиво, даже давали ему некоторые материальные преимущества.¹⁶ Сам Цицерон упоминает о том, что, например, пираты пощадили на Мальте храм Юноны (IV. 103 и следующие), хотя мы знаем, что ограбление храмов и святилищ было самым прибыльным делом для пиратов.¹⁷

Самые угрожаемые острова, о которых к тому же римские правители несколько не заботились, как, например, находящиеся близко к Сицилии Липарские острова, откупались от пиратов ежегодной данью.¹⁸ Только так спаслись они от насилия и избежали участи многих, которым приходилось в эти времена уходить с насиженных мест (Цицерон, *De lege Manil.* 32).

Характерным примером пиратских грабежей является полный награбленного корабль, захваченный флотом береговой охраны Верреса (V. 63). Поразительно разнообразие награбленного: вместе с утварью из драгоценных металлов пираты похищали и людей, за которых надеялись получить хороший выкуп. Прошло то время, когда люди представляли собой товар массового потребления, когда главной ролью пиратов была поставка рабов. Вместе с продажей отдельных людей мы встречаемся и с такими случаями, когда на первый план выступает возможность получения выкупа, когда, например, в плен попадает богатый торговец (V. 72); был отпущен за выкуп даже капитан одного из судов береговой охраны, взятый в плен пиратами (V. 90).

Захват вышеупомянутого пиратского судна, хотя очевидно и не был единственным в своем роде случаем, все же является одной из редких удач

¹⁴ См. Dio 36, 21, 3. Cic. IV. 23.

¹⁵ См. MILTNER: Seekrieg. RE. Suppl. V. 899.

¹⁶ IV. 21. ... *ut praedones solent, qui... aliquos sibi instituunt amicos, quibus non modo parcant, verum etiam praeda quos augeant, et eos maxime, qui habent oppidum opportuno loco, quo saepe adeundum sit navibus.*

¹⁷ Appian. Mithr. 63. Plut. Pomp. 24. Strabon VII. p. 374. Pausan. I. 8, 2.

¹⁸ III. 57. *tot annos agellos suos a piratis redimere solebant.*

судов береговой охраны. В то время не могла быть осуществлена достаточная защита ни берегов Сицилии, ни берегов других провинций;¹⁹ военные походы на пиратов, уже упомянутые выше, как более ранние, так и позднейшие, не принесли желанных результатов. Характерным является поражение и уничтожение части флота береговой защиты, о чем рассказывает очень подробно Цицерон.²⁰ На шесть кораблей под командой Клеомена из Сиракуз, находящихся у Пахинума, внезапно наткнулись корабли пиратского предводителя Гераклеона. Внезапное нападение обратило сицилийские суда в поспешное бегство по направлению к Гелору, преследующие их пираты захватили еще два корабля. Остальным кораблям с командирским во главе удалось достичь Гелорского берега, команда кораблей убежала на берег, а пираты сожгли брошенные суда. На другой день Гераклеон направился к Сиракузам, четыре его лодки беспрепятственно вошли в порт и так же спокойно удалились.²¹

3. Значение присутствия и деятельности пиратов около Сицилии и опасность этого присутствия особенно возросли во время восстания рабов под предводительством Спартака в Италии. Присутствие пиратов давало восставшим возможность перебраться на остров.

Нам известно и, очевидно, это было известно и в Риме, что Спартак намеревался перебросить часть своих войск в Сицилию, чтобы они там укрепились и раздули огонь восстания.²² Плутарх утверждает, что одной искры было достаточно, чтобы на острове опять вспыхнуло восстание. Характерно, что Спартак считал для этой цели достаточным перебросить в Сицилию 2000 человек. Лазутчики восставших рабов уже находились в Сицилии; Цицерон подробно описывает казнь одного из лазутчиков Спартака мнимого римского гражданина.²³ Хотя тенденция Цицерона совершенно иная, все же он рассказывает, что восстание в Италии пробудило в массах сицилийских рабов чувство нетерпеливого ожидания.²⁴ Возможность распространения восстания была очень реальной, уже первые два восстания рабов в Сицилии получили отклик не только в Италии, но даже и в Греции. Интересно, что Цицерон отрицает это. (V. 6). Если при разделении сил стоящих у власти угнетателей, при временном ослаблении этой власти восстание

¹⁹ Ср. Cic. de lege Manil. 32.

²⁰ Особенно V. 86—95. Ср. III. 186. Act. I. 5. §.

²¹ Насколько предание огню сиракузских земель, о чем Цицерон упоминает только в III. 186, относится к тому же времени, и в каком порядке происходили события — установить с уверенностью нельзя; можно предположить, что это произошло после того, как пираты покинули порт, в противном случае Цицерон, рассказывая по порядку, и здесь упоминал бы об этом. То же подтверждает и их быстрое появление.

²² Flor. II. 8, 13. Plut. Crass. 10, 5—7. См. также Cic. V. 5. Appian. b. c. I. 551.

²³ V. 158—164., 166. IV. 24. — А. В. Мишулин в книге «Спартак» (Москва 1950) обращает внимание на то, что упомянутый Гавий прибыл из находящейся в руках рабов Консы в Сицилию и после освобождения стремился вернуться туда же. 115 стр.

²⁴ V. 14. *cum servitiorum animos in Sicilia suspensos propter bellum Italiae fugitivorum videret.*

рабов вспыхнуло в одном месте, то одна заразительность такого примера была уже опасной, тем более велика была опасность непосредственного распространения восстания. Естественно, что Цицерон как обвинитель старается умалить заслугу Верреса, что касается поддержания спокойствия в Сицилии. Он утверждает (V. 72), что восстания рабов вообще не было, не было и опасности этого восстания, но Веррес ничего не сделал, чтобы избежать восстания. Цицерон даже утверждает, что на острове восстания вообще не могло быть (V. 8, 42), так как за последние тридцать лет не было даже волнений (V. 7). Совершенно очевидно, что это не так, так же как значительно позже, уже во-время второго триумvirата были тоже волнения. Возможно, что известия о восстании, о волнениях рабов не поступили в сенат (V. 9). Но это может быть объяснено и тем, что Веррес выступал всегда своевременно, во-время узнавал даже о самом маленьком волнении, на это указывают и приведенные Цицероном примеры. Известно и то, что известие о восстании Спартака было послано в Рим только тогда, когда местные силы не могли справиться с восставшими, вначале же этому восстанию не придавали большого значения. Сам Цицерон позже, в связи с событием меньшего значения ссылается на то, что у Спартака вначале было мало людей.²⁵

Из вышесказанного видно, что расчеты Спартака на возможность восстания в Сицилии были вполне обоснованы. Спартак два раза делал попытки перебраться на остров. В первый раз он договорился с пиратами о перевозе на остров части его людей. Этот план провалился, потому что пираты не сдержали взятых на себя обязательств. После этого восставшие рабы решили перебраться на остров своими силами. Эта вторая попытка тоже не имела успеха, плоты их были разбиты морем в проливе.²⁶ Первую попытку перебраться на остров Цицерон вообще замалчивает, провал второй попытки он приписывает Крассу (V. 5), который отрезал войска Спартака, находившиеся на Брутском полуострове, со стороны суши. Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться, что такое утверждение Цицерона является абсурдом.

Таким образом, в изложении Цицерона Веррес не принимал никакого участия ни в охране берегов, ни в провале попыток высадки в Сицилии, ни в предотвращении распространения итальянского восстания рабов (V. 5). Почему же тогда Цицерон вынужден вообще заниматься этим вопросом? — Об этом он сам говорит в начале пятой речи фиктивного второго процесса, а именно, что защитник Верреса, ссылаясь на сумбурность этих времен, подчеркивает храброе и бдительное поведение Верреса в деле охраны Си-

²⁵ ad Att. V. 2, 8. *Cum Spartaco minus multi primo fuerunt.*

²⁶ Florus I. c. Plut. I. c. Sallust. Hist. (M.) IV. 30. 31.

ции от беглых рабов и от опасности восстания.²⁷ Очевидно, общественное мнение занималось этим вопросом, и Цицерон считал важным сделать невозможным использование этого аргумента после суда. Примечательно, что в речи, действительно произнесенной на суде при первом процессе, Цицерон не захотел дать Гортензию возможность использовать этот аргумент. Когда в первой речи (I. акц. 13—14) Цицерон подытоживал материал обвинения, гораздо подробнее разобранный им во второй речи, то тщательно обходил все, что касалось этого вопроса, хотя в остальном первое суммарное изложение содержит все те вопросы, которыми он подробно занимался впоследствии. Несомненно, одним из главных аргументов защиты были заслуги Верреса в защите Сицилии; этот аргумент защита хотела использовать в качестве лазейки для Верреса.²⁸ Поэтому Цицерон ловко обошел возможность дискуссии по этому вопросу, поэтому позже, иронически симулируя беспокойство, он пишет: есть опасность, что благодаря выдающейся военной доблести Верреса все его преступления останутся без наказания, повторится случай Манья Аквилы (V. 3—4), с которого сняли обвинение в многочисленных грабежах, несмотря на многие свидетельские показания против него, только потому, что во время второго восстания в Сицилии он успешно сражался против рабов (Флакк. 98).

Против аргумента защиты о провале распространения восстания Цицерон утверждает, что у рабов не было судов (V. § 3), соглашение же рабов с пиратами он обходит молчанием. По его мнению, так как у рабов не было судов, то Сицилия была для них таким же недоступным местом, как любая другая далекая точка на океане. Такая аргументация, даже не принимая во внимание ораторских преувеличений, все же несостоятельна. Можно сослаться хотя бы на то, что в начале первой пунской войны Аппий Клавдий переправился в Сицилию также на бревенчатых плотках.²⁹ При более благоприятных условиях это могли бы сделать и предательски обманутые пиратами рабы. Но не только плохая погода мешала спартаковским войскам перебраться в Сицилию. По этому вопросу мы становимся на точку зрения Саллустия против Цицерона и сейчас же видим, какие вопросы должен был

²⁷ V. 1. *Ita enim causa constituitur, provinciam Siciliam virtute istius et vigilantia singulari dubiis formidolosisque temporibus a fugitivis atque a belli periculis tutam esse servatam.* — IV, 54. . . *praetor, qui sua vigilantia pacem in Sicilia dicit fuisse.* — Подобные высказывания содержала и записанная Цицероном только частично сиракузская *laudatio*: «*quod vigilanter provinciam administrasset*», «*quod praedones procul ab insula Sicilia prohibuisset*» IV. 144. cf. II. 13., 45. IV. 15., 140., 141. — V. 5. *an bello fugitivorum Siciliam virtute tua liberatam? obstitisti videlicet ne ex Italia transire in Siciliam fugitivorum copiae possent.*

²⁸ V. 2. *ad omnis impetus quasi murus quidam boni nomen imperatoris opponitur.*

²⁹ Diodoros, V. 23, 3. Zonar. VIII. 9. cf. Dio fg. 43, 11. Polyb. I. 15, 1. Впрочем, подобная попытка была сделана и позже, в 42 г. Тогда К. Сальвидиен Руфий попытался переплыть через морской пролив на плотках, сделанных из кожаных бурдюков. (Dio 48, 18, 2. 19, 1.).

обойти оратор, замолчав их: Саллустий утверждал, что Веррес укрепил ближайшие к Италии берега Сицилии: *C. Verres litora Italia propinqua firmavit*.³⁰ Поэтому кажется бесспорным, что в случае второй попытки переправиться в Сицилию Веррес также сыграл роль, создав препятствия на пути распространения восстания рабов на Сицилию.

Вернемся теперь к провалу первого плана Спартака. Почему пираты обманули рабов? почему не исполнили своего обещания? Этим вопросом в последнее время занимались М. Олливиэ и М. Брион. Олливиэ предполагает две причины: или пираты не захотели помогать рабам из-за береговой охраны, созданной Верресом, или римляне возможно подкупили их.³¹ М. Брион заходит в своих предположениях еще дальше. По его мнению здесь речь шла о взаимном соглашении: пираты согласились не помогать рабам, взамен чего Веррес отпустил взятого им в плен пиратского вождя.³² Ни Олливиэ, ни Брион не приводят в подтверждение своих предположений никаких ссылок на источники, никаких фактических аргументов. Однако, эта предпосылка, хотя и удивляет, но все же не лишена оснований. Мы уже упоминали о том, что П. Тадий и П. Цезетий захватили пиратский корабль. Вместе с кораблем попал в плен и один из пиратских вождей. Это случилось в 72 г. В том же году Спартак с его войском был оттеснен в южную Италию, значит, именно в то время было возможно как соглашение с пиратами, так и его провал.³³ Цицерон считает, что пираты смотрели на Верреса как на сообщника.³⁴ Почему? Об этом Цицерон не говорит. Единственной причиной, как это можно предположить на основании его речи, может быть освобождение им этого пирата. А почему он освободил его? Цицерон не смеет утверж-

³⁰ Hist. (M.) IV. 32. Относятся ли цитируемые утверждения из сиракузской *laudatio* ко всем случаям или только к данному конкретному случаю, мы не можем этого решить. Однако, таким образом становится понятным то рвение, с каким Цицерон старается сделать *laudatio* смешной. Для укрепления берегов служил защитный флот; стража, поставленная в гаванях, проверяла все прибывающие корабли (V. 145., 72., 154.). Но Гавия схватили тогда, когда он хотел сесть на корабль. Возможно, что была создана и конная береговая стража, как это сделал позже Помпей. (Cic. p. Flacc. 30., 33.)

³¹ Spartacus. Der grosse Sklavenaufstand. Berlin 1949, 146.

³² La revolte des gladiateurs. Paris 1952, 169.

³³ Относящиеся сюда предположения Ратке (De Romanorum bellis servilibus, Berlin 1904, 87. p. n. 1.) не могут быть использованы из-за трудностей установления порядка во времени и тождественности. Ратке предполагает следующий порядок событий: пираты заехали на Липарские острова за обычной данью, договорились с Спартаком, появились в Сиракузах, потом, очевидно, отправились зимовать на Мальту. Однако мы знаем, что в Сиракузах был никто иной как Клеомен, и хотя можно предположить, что и он зимовал на Мальте, что он взимал дань с жителей Липарских островов, ведь и в 70-х гг. он находился у берегов Сицилии, но предположение, что именно он договаривался со Спартаком, ни на чем не основано. Также нет никаких опорных точек для установления личности, тождественности пиратских вождей, того из них, кто договаривался с Спартаком, и того, которого Веррес выпустил из плена. Но это и не является решающим вопросом. Пираты были солидарны между собой, помогали друг другу, даже если друг друга не знали, враг или друг одной из пиратских организаций считался врагом или другом и других пиратов. (См. Dio 36, 22, 4—5.) Поэтому возможно, что здесь речь шла о более широком сотрудничестве со стороны пиратов.

³⁴ V. 106. *cum ipse praedonum socius putaretur*. Cf. Sall. Hist. (M.) IV. 53.

дать, что Веррес сделал это из-за денег, значит имелась безусловно другая причина. Самым очевидным предположением и единственным приемлимым на основании Цицерона является действительно предположение, выдвинутое М. Брионом, который сопоставил освобождение вождя пиратов с их изменой принятому решению. Веррес мог узнать о соглашении рабов с пиратами и был склонен в интересах провала этого соглашения дать возможность бежать своему пленнику. С точки зрения рабовладельческого государства Веррес выбрал меньшее зло: не подверг наказанию плененного пиратского вождя, чтобы таким образом предотвратить переправу восставших рабов в Сицилию и дальнейшее распространение восстания. Пираты, учтя, что плата за перевоз, во всяком случае большая часть этой платы, была ими уже получена, были готовы отказаться от нелегкой задачи переправы рабов на укрепленный береговой охраной Верреса берег.³⁵

4. На основании вышесказанного уже видно, что картина деятельности пиратов у берегов Сицилии, которую мы можем себе представить на основании речей Цицерона против Верреса, только в общих чертах отражает тогдашнее положение. Цицерон, выступая против Верреса, умышленно преуменьшил опасность пиратства, а всю деятельность пиратов показал в уменьшенном виде. Как обвинитель он не был заинтересован в том, чтобы показать трудности стоящей перед Верресом задачи, какими они были на самом деле, и еще менее факты, отражающие распоряжения Верреса и достигнутые ими результаты. Поэтому Цицерон умалчивает, обходит все то, что могло бы показать в настоящем свете деятельность противной стороны против пиратов, а следовательно и размеры деятельности пиратов у берегов Сицилии. Характерно, что упоминая о Марке Антонии, Цицерон ничего не говорит о том, что последний во время похода против пиратов находился некоторое время в Сицилии. Трудность восстановления картины настоящего положения увеличивается еще и тем, что за исключением двух-трех случаев у нас нет возможности сравнить утверждения Цицерона с другими данными, проверить правильность нарисованной им картины, сравнив ее с конкретным материалом, полученным из других источников. Часто мы можем представить себе приемлемую картину только путем распутывания противоречий, обмолвок, непоследовательностей, встречающихся в речах самого Цицерона. Так мы узнаем о мероприятиях Верреса, направленных против пиратов, лишь постольку, поскольку эти мероприятия в какой-либо мере могут быть поставлены в вину Верресу. Но сообщая подтверждающие обвинение обстоятельства или данные, подтверждающие эти обстоятельства,

³⁵ Цицерон не говорит ясно об этом случае, очевидно, что и защита не делала этого. Конечно, это не было большой честью для Рима и даже впоследствии неудобно было настаивать на этом вопросе. Во всяком случае, туманность и противоречия, наблюдающиеся у Цицерона по этому вопросу, подтверждают приемлемость предложенного объяснения.

Цицерон должен говорить и о таких вещах, которые сами по себе, в очищенном от ораторской шелухи виде, показывают, что Веррес осуществил важные мероприятия и достиг относительно немаловажных успехов. Таким образом, кроме всего прочего, мы узнаем, что Веррес взял в свои руки организацию и руководство флотом береговой обороны.³⁶ Его квестор, П. Цезетий и легат П. Тадий, возглавлявшие флотилию из десяти судов, захватили пиратское судно, груженное награбленным добром, вместе с капитаном этого судна. Цицерон говорит об этом только потому, что Веррес предположительно секвестровал груз, что противоречило римским законам, предписывавшим возвращение отобранного у пиратов добра законным владельцам. О пленении других пиратских вождей Цицерон прямо нигде не говорит, хотя известно, что в плену у Верреса было несколько таких вождей.³⁷ Цицерон очевидно потому не сообщает, когда и при каких обстоятельствах попали эти вожди в руки Верреса, что в связи с этими случаями он ничего не может поставить в вину Верресу, а случаи сами по себе выставили бы Верреса в положительном свете. Мы узнаем, что у наместника были пленники только благодаря тому обстоятельству, что он не казнил их,³⁸ как это надо было бы ожидать, так как это было его обязанностью,³⁹ а предположительно (*«coniectura est»*) — Цицерон не смеет этого решительно утверждать! — освободил их за выкуп, а вместо них казнил других людей.⁴⁰ Однако, в то же время оказывается, что Веррес казнил много пиратов, а других держал на каменоломнях (V. 69). В связи с плененным пиратским судном Цицерон также не имеет достаточно обоснованных аргументов для утверждения, что Веррес действительно выпустил на свободу несколько пиратов. Те сицилийцы, от которых Цицерон получил сведения, сами не знали точно, сколько пиратов попало в плен, только по количеству скамеек для гребцов можно было сделать вывод, сколько на судне было пиратов (V. 71). Такое число первоначально могло быть и правильным, но нельзя себе представить, чтобы среди пиратов не было потерь, ведь они знали, какая участь их ожидает, и поэтому, очевидно, сражались до последней возможности, чтобы избежать плена.

³⁶ V. 63—64.

³⁷ I. 9., 12. V. 73. Cp. A. TARTARA : Sulle Verrine di Cicerone, Stud. Ital. 5 (1897) 50—51.

³⁸ V. 29., 76., 136.

³⁹ V. 64., 67., 68., 71., 75. Appian. Mithr. 117. Plut. Pomp. 28. Caes. 2. Dio 36, 18, 2. Dig. 48, 7. 1. 2. Curtius IV. 5, 19. Arrian. III. 2. Polyacn. V. 44, 3. Вообще принятыми наказаниями для преступников и рабов были распятие на кресте и обезглавливание секирой. (См. I. G. XII. 3. 171.) Общественное мнение требовало наказания пойманных пиратов; это подтверждает и случай с Помпеем, которого очень упрекали за то, что после похода на пиратов он помиловал всех своих пленных.

⁴⁰ V. 63—69., 72., 73., 75., 79., 136. или 78. — В конце концов все же недостаточно ясно, что же в самом деле случилось. Согласно V. § 30 Цицерон тоже склонен к тому, что Веррес не отпустил их.

Упомянем еще только одно из многочисленных преувеличений и искажений, направленных против Верреса. В связи с поражением Клеомена Цицерон говорит о неомрачимой морской славе римлян до пропреторства Верреса.⁴¹ Не говоря уже о более ранних поражениях римского флота, достаточно указать на многочисленные поражения во время войн с Митридатом или на поражение Марка Антония, которое тот потерпел как раз во время битвы с пиратами, чтобы ораторские преувеличения Цицерона стали очевидными. В данном случае утверждения Цицерона опровергаются не только фактами, но и самими словами оратора. Достаточно вспомнить его речь в защиту законопроекта Манилия (31—33), в которой Цицерон нарисовал грустную картину тех же лет, противоречащую его же утверждениям и более правильно показывающую тогдашнее положение, или его вопрос, сам по себе очень острый: в каких провинциях вы обеспечили безопасность от пиратства в эти годы? (*Quam provinciam tenuistis a praedonibus liberam per hosce annos?*)

Во избежание недоразумений: мы совсем не собираемся оправдывать Верреса от всех возведенных на него обвинений! Веррес действительно в течение многих лет грабил Сицилию, так поступали и другие римские наместники; самое большее, что Веррес был более ловким, более жадным, а беспокойные времена давали ему еще более возможностей для грабежа.⁴² В записках Цицерона преступления Верреса как частного человека подчеркнуты и приукрашены, а его заслуги перед государством старательно завуалированы. Хотя можно смело сказать, что Веррес как наместник заботился об интересах римского государства, он энергично и беспощадно управлял и доверенной ему провинцией. Если бы это было не так, то вряд ли продлили бы его полномочия два раза.⁴³ Через деятельность Верреса в какой-то мере можно наблюдать всю систему римских наместников и — как море в капле — внутреннее разложение республиканского строя, управляемого сенатом: во время грозящих со многих сторон государству опасностей, во время разложения сил в провинциях допускаются такие попустительства, которые граничат с изменой государственным интересам.

⁴¹ *populi Romani invicta ante te gloria illa navalis.*

⁴² Однако, грабеж римскими наместниками провинций был обычным явлением, об этом достаточно пишет и сам Цицерон, напр., I. 44. II. 158. De lege Manil. 65—68. p. Flacc. 18. 19. p. Balb. 9. ad Quint. fr. I. 1, 2, 8. etc.

⁴³ Что касается отдельных частей речи Цицерона, то было уже высказано много критических замечаний по их поводу, и в связи с этим возникла необходимость выяснения образа Верреса, восстановления более правдоподобной и беспристрастной картины его наместничества. Достаточно сослаться на следующие труды: CAVALLARI—ПОЛМ—ЛУПУС, D. Stadt Syrakus im Altertum (1877) S. 245. ПОЛМ: Gesch. Siziliens, III. (1898), 136. СИАСЕРИ: Cicerone e i suoi tempi I.² (1939), 81. Тем более удивительно, что даже в самое последнее время можно встретиться с изображением Верреса очень наивным, основанном целиком на высказываниях Цицерона. Так, например: N. MARINONE: Cicerone. Il processo di Verre (1949), 61.

Так, например, возникали компромиссы с пиратами, и это не исключительно, даже не в первую очередь вина Верреса.⁴⁴

E. MARÓTI

DAS PIRATENUNWESEN UM SIZILIEN ZUR ZEIT DES PROPRÄTORS C. VERRERES

(Zusammenfassung)

Im Mittelländischen Meer erreichte das Piratenunwesen seine weiteste Verbreitung und den Höhepunkt grösster Gefährdung zur Zeit der römischen Bürgerkriege. Früher, um die Mitte des II. Jahrhunderts, lag die Bedeutung der Piraten, vom römischen Standpunkt aus betrachtet, hauptsächlich in der Versorgung des italischen und sizilischen Grossgrundbesitzes mit billigen Arbeitssklaven. Um die Jahrhundertwende mussten die ausgedehnten Handelsbeziehungen Roms jedoch zu Zusammenstössen mit den Piraten führen, was schliesslich einen regelrechten Feldzug gegen diese zur Folge hatte. Die Wirrnisse der ersten Jahrzehnte des I. Jahrhunderts begünstigten ein Erstarken der Piraten, die im Bündnis mit einigen Rom feindlich gesinnten Mächten ihr Betätigungsfeld immer weiter ausdehnten. In den siebziger Jahren richteten sie ihre Angriffe schon gegen die italischen Küstengebiete, die Häufigkeit ihrer Raubzüge nahm zu und die Lebensmittelfuhr Roms sah sich durch ihre Streifzüge ernstlich gefährdet.

Zugleich gewannen ihre plötzlichen Überfälle auch in unmittelbarer Nähe Siziliens, besonders zur Zeit des italischen Spartacus-Aufstandes wesentlich an Bedeutung. Cicero erwähnt des öfteren die Schäden, die die Piraten der Insel zufügten. Die Organisierung eines besonderen Wachtdienstes, dessen Aufgabe es war, das Herannahen der Piraten zu melden, beweist hinlänglich die ständige Gefahr und die Furcht, in der die Bevölkerung schwebte. Doch weder diese Vorkehrungen, noch auch die Küstenflotte konnten die von Malta und anderen Stützpunkten ausgehenden Raubzüge der Piraten verhindern. Mancherorts wurde die Schonung durch eine den Piraten jährlich entrichtete Steuer erkaufte, anderswo duldete man einfach ihre Anwesenheit und es gab Gegenden, in denen die ständige Bedrohung zur Auswanderung der Einwohnerschaft führte. Die römische Regierung war nirgends imstande, die Sicherheit der Bevölkerung erfolgreich zu schützen. Der Feldzug, den Marc Anton im Besitze ausserordentlicher Vollmachten (*imperium*) gegen die Piraten unternahm, endete mit vollkommenem Misserfolg. Der Menschenraub war an der Tagesordnung, für die Freilassung der aus den Küstengebieten Italiens und Siziliens verschleppten Gefangenen wurden hohe Lösegelder erpresst.

Verres, der Statthalter Siziliens, befand sich in einer äusserst schwierigen Lage. Dort, wo sich die vorangehenden beiden grossen Sklavenaufstände abgespielt hatten, war es durchaus nicht leicht, zur Zeit des Feldzuges gegen Spartacus die Ruhe aufrechtzuerhalten. Dass auch Spartacus die in Sizilien herrschende Lage kannte, beweisen seine sizilischen Landungspläne. Besonders kritisch wurde die Lage jedoch, als die aufständischen Sklaven mit den Piraten bezüglich des Transportes ihrer Einheiten ein Übereinkommen schlossen. Die Piraten liessen jedoch Spartacus im Stich. Die Gründe, die sie

⁴⁴ Несомненно, что в более ранние времена Рим терпел хозяйничанье пиратов, в первую очередь, в интересах дешевого ввоза рабов. То обстоятельство, что в интересах обеспечения рабочей силой прибегали и к таким средствам, показывает внутреннее противоречие способа производства, основанного на рабстве, ибо пираты, с другой стороны, причиняли вред торговле, мешали деятельности государственного аппарата, разоряли большие территории в провинциях, а со временем, когда их силы возросли, стали причинять вред и в самой Италии, поставили под угрозу снабжение продовольствием. Таким образом, мы в праве считать пиратство органической частью рабовладельческого общественного строя. (См. С. И. Ковалев: «История Рима», 1948, стр. 320.) Усиление пиратских организаций в период, которым мы занимаемся в настоящей работе, стало возможным благодаря обострению внутренних противоречий римского государства, разделению его сил. Нельзя считать случайным, что поход Помпея на пиратов, имеющий решающее значение, начался после поражения Сертория и Спартака, когда были освобождены значительные военные силы Рима. С другой стороны, возможности похода, осуществлению предприятия честолюбивого Помпея помогли поддержка плебса и всадников, терпение которых истощилось торговыми убытками и застоём всей деловой жизни.

dazu veranlassten, lassen sich schwerlich einwandfrei feststellen, wenn auch ihre Ermittlung für die richtige Beurteilung der Tätigkeit Verres' und der Lage des römischen Reiches von ausschlaggebender Bedeutung wäre. Wir können uns die Tatsache dieses Vertragsbruches nur damit erklären, dass die Piraten für die Freilassung eines ihrer Führer, der bei einer früheren Flottenaktion Verres in die Hände gefallen war, von dem ohnedies mit vielen Schwierigkeiten verbundenen Unternehmen Abstand nahmen. Der zweite Landungsversuch, den Spartacus unternahm, wurde durch das Walten der Naturkräfte in der Meerenge zum Scheitern gebracht, doch wissen wir, dass auch der Statthalter die Italien gegenüberliegenden Küstenstriche befestigt und zur Verteidigung vorbereitet hatte.

Das Übergreifen des Sklavenaufstandes auf Sizilien vereitelt zu haben, war einer der grössten Erfolge Verres', wenn auch nicht der einzige. Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch Verres seine Macht in vielen Fällen missbrauchte, dass er sich in Sizilien zahlreicher Gewalttätigkeiten und Räubereien schuldig machte, wie das bei römischen Statthaltern allgemein üblich war, ja vielleicht übertraf er darin in Anbetracht der verworrenen und unruhigen Lage sogar das durchschnittliche Mass, doch suchte er in der Ausübung seines Amtes die Interessen des römischen Reiches zu wahren und ihnen Geltung zu verschaffen, was ihm auch bis zu einem gewissen Grade gelang. Deshalb muss die feindliche Einstellung Ciceros in dessen gegen ihn gerichteten Schriften als durchaus einseitig betrachtet werden. Als Ankläger verschwieg er nicht nur die Verdienste seines Gegners, sondern auch die Schwierigkeiten seiner Lage und wie er es nicht verschmähte, Verres durch Übertreibungen und Verdrehung der Tatsachen in den Augen seiner Zeitgenossen herabzusetzen, so vermied er es auch nach Möglichkeit, die Piratengefahr zu erwähnen, die der Statthalter bekämpfen sollte. Über Verres' Verfügungen erfahren wir bei Cicero immer nur dann, wenn sich diese auf irgendeine Weise gegen ihn auswerten lassen und zur Vergegenwärtigung der Geschehnisse können wir aus Ciceros Angaben meist bloss Entgleisungen, widerspruchsvolle Äusserungen und andere mittelbare Berichte heranziehen. Alles, was wir auf diese Weise erfahren, ist nicht nur für Verres, sondern gleicherweise für das ganze römische Statthaltertum bezeichnend. Das lässige, lange Zeit hindurch zu Kompromissen neigende Vorgehen der leitenden Kreise Roms gegen die Piraten ist ein kennzeichnender Beweis für die inneren Gegensätze einer auf das Sklaventum aufgebauten Gesellschaftsordnung und des Zerfalles des ganzen, vom Senat geleiteten republikanischen Regierungssystems, Symptome, die in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre v. u. Z. besonders augenfällig in Erscheinung traten.

I. BORZSÁK

OTIUM CATULLIANUM

MANIBUS J. BALOGH

*Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit*

*dulce ridentem, misero quod omnis
eripit sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
〈vocis in ore〉,*

*lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suo
tintinant aures, gemina teguntur
lumina nocte.*

*Otium, Catulle, tibi molestum est,
otio exsultas nimiumque gestis:
otium et reges prius et beatas
perdidit urbes.*

Catulls Sappho-Übersetzung (c. 51) war immer ein sehr umstrittenes Stück seines dichterischen Werkes. Ihre ersten zwölf Verse folgen mehr oder weniger treu den ersten sechzehn Versen des in *Περὶ ὕψους* 12, 2 zitierten Sappho-Gedichtes; nachdem aber auch die letzte Zeile des verstümmelten Sappho-Zitates (17 : ἀλλὰ πᾶν τολματόν ἐπεὶ κεν ἦ τά) Anlass zu den verschiedenartigsten Erklärungen bot, kann von einer einheitlichen Stellungnahme auch in Bezug auf jene letzte Strophe gar nicht die Rede sein, mit welcher Catull seine Übersetzung ergänzte.

Wie problematisch die Deutung des ganzen Gedichtes ist, geht schon aus den Textausgaben hervor. Man findet z. B. im Apparat von R. Ellis (Bibl. Ox.): «Vv. 13–15., qui sine spatio secuntur v. 12. in codicibus, nullo modo possunt cum eo cohaerere.

Itaque indicavi lacunam.» — Der lateinische Text der Ausgabe von G. Lafaye (Coll. G. Budé, 1932) scheint von einer Lücke nichts zu wissen; der Herausgeber macht nur in seiner 3. Anmerkung zu der französischen Übersetzung darauf aufmerksam, dass einige die letzte Strophe vom ganzen Gedicht getrennt hätten, indem sie ihr eine Sondernummer (51 b) gaben. G. Lafaye ist mit diesem Verfahren nicht einverstanden; *à tort, je crois* — sagt er darauf; und doch muss auch er selber mindestens mit einem Gedankenstrich in der Übersetzung die Sonderstellung der fraglichen Strophe bezeichnen. — Man findet ähnlicherweise einen Gedankenstrich nach Vers 12. auch in der letzten Teubner-Ausgabe von M. Schuster (1954).¹

Wir wollen nicht die vollständige Fachliteratur von F. G. Welcker, oder gar von I. I. Scaliger ab bis zum heutigen Tage aufzählen. Auch von den neuesten Arbeiten beschäftigen wir uns hauptsächlich nur mit der Abhandlung von Fr. Tietze.² Tietze, der Mitarbeiter des Thesaurus linguae latinae, kam im Laufe einer umsichtigen und sehr gründlichen sprachlichen Interpretation des Gedichtes zu wichtigen Ergebnissen: er konnte im wesentlichen die untrennbare Zusammengehörigkeit der «beiden Teile» des Gedichtes nachweisen.³ Ihm gegenüber wäre E. Bickel wieder geneigt, obwohl er den Wert der Untersuchungen von Tietze anerkennt, die Einheit des Gedichtes aufzugeben;⁴ er erwägt verschiedenartige Erklärungsmöglichkeiten, und lässt im Grunde die Frage offen, indem er den Standpunkt des *ἐνέχων* einnimmt.⁵

Kein Zweifel, Tietze und Bickel haben die weitere Forschung gefördert, aber es ist ihnen dennoch nicht gelungen, trotz ihrer beachtenswerten Erudition, die Probleme des Gedichtes zu lösen; das war wohl auch eine Folge ihrer einseitigen philologisch-ästhetisierenden Einstellung. Von einem endgültigen Abschluss kann in dieser Beziehung noch nicht die Rede sein. Was die vergleichende philologische Deutung der ersten drei Strophen (Verse 1–12) anbelangt, kann man nur höchste Anerkennung den beiden verdienstvollen Forschern zollen: die feinen, über das bloße Registrieren der sprachlichen Tatsachen weit hinausgehenden Beobachtungen von Tietze sind durch Bickel in mehrerer Hinsicht (*gemina nocte, sonitu suopte, identidem* usw.) ergänzt worden, obwohl seine zurückhaltende Stellungnahme gegen das wichtigste Ergebnis von Tietze — nämlich gegen den Nachweis der organischen Einheit des Gedichtes — unserer Meinung nach einen Rückfall bedeutet. Es untersteht wohl keinem Zweifel, dass man nach den Versen 11–12. — um es in der Sprache der Tonkunst auszudrücken — ein Ruhehaltezeichen schreiben müsste, aber «man geht — wie es Büchner bemerkte — nach der Fermate weiter». Also die Frage besteht eigentlich darin, wie die «Otium-Strophe» an das Vorangehende anzuknüpfen sei; was hat sie in sich selbst und in ihrem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden zu sagen, und schliesslich: was besagt das ganze Gedicht über den Dichter selbst und über sein Zeitalter?

Wir wollen mit den Tatsachen beginnen. Es wird wohl niemand leugnen, dass die drei ersten Strophen eine beinahe in allem treue, nur etwas abgekürzte Übersetzung von einem solchen Gedicht der lesbischen Dichterin darstellen, welches auch von dieser Übersetzung abgesehen nicht umsonst so berühmt geworden ist. Die Übersetzung mag durch mancherlei Gründe veranlasst sein. Man wird das divinatorische Erraten dieser Gründe in der

¹ S. auch die Kommentare zur Stelle. — Hier verweisen wir auch auf die verwandte Abhandlung von J. BALOGH: «Ein *carmen famosum* von Catull (c. XI.)» in EPhK 51 (1927) S. 1 ff. (ung.), bzw. auf die deutsche Variante derselben Arbeit in Philologus 39 (1929) S. 103 ff.: «Catulls Scheltelied auf Lesbia».

² «Catulls 51. Gedicht», RhM 88 (1939) S. 346–367. — Siehe auch noch die Literatur bei H. FUCHS: «Rückschau und Ausblick im Arbeitsbereich der lat. Philologie», Mus. Helv. 4 (1947) S. 181, Anm. 91.

³ Vgl. mit K. BÜCHNERS Besprechung: «Lat. Literatur und Sprache in der Forschung seit 1937», Bern 1951, S. 34. (Wiss. Forschungsberichte, 6.)

⁴ «Catulls Werbegedicht an Clodia und Sappho», RhM 89 (1940) S. 194–215.

⁵ Er fasst seine Ergebnisse selber zusammen in der Anmerkung der Seite 216; siehe dazu auch BÜCHNERS Kritik a. a. O., S. 34, Anm. 2.

Art von Wilamowitz⁶ für überflüssig halten. Soviel wird man aber allerdings als gesichert annehmen dürfen, dass Catull mit der Übersetzung etwas zu sagen hatte, und dass er zum Ausdruck seiner Gedanken nicht ohne Absicht die «Sapphische» Form gewählt hatte.⁷ Das Darstellen des überhandnehmenden, ja schon überschwenglichen Gefühls bleibt einstweilen noch unpersönlich, aber schon die Tatsache selbst, dass dies die Worte der *lesbischen* Sappho sind, mag ein Hinweis auf die Person von *Lesbia* sein; und schliesslich die Selbstanrede in der letzten Strophe lässt keinen Zweifel mehr darüber, wie weit Catull selbst persönlich durch das alles berührt sei. Man wird in diesem Gedicht, ungeachtet der verschiedenartigsten Deutungsmöglichkeiten, doch wohl ein Geständnis erblicken, allerdings ein Geständnis in der Art von Catull, welches gar nicht so einfach und ohne Überraschungen bleibt, wie man es zuerst wohl dächte,⁸ sondern welches — was seine Komposition betrifft — derselben Art ist, wie sein späteres Pendant, die ebenso in sapphischem Mass abgefasste Abschiedsbotschaft, das *carmen famosum* (c. 11), welches mit der Anrede von Furius und Aurelius beginnt. Auch in diesem anderen Gedicht verrät — nach der Deutung von J. Balogh (siehe daselbst auch Ed. Nordens Paraphrase, S. 73) — erst der 16. Vers (*non bona dicta*), was eigentlich der Dichter zu sagen hat, und eben darauf wäre der Leser nach dem irreführend anspruchslosen, bescheidenen, ja beinahe liebkosenden Vers 15. (*pauca nuntiate meae puellae*) am wenigsten vorbereitet. Sollte es ein blosser Zufall sein, dass im ganzen dichterischen Werk von Catull allein und ausschliesslich jene beiden Gedichte — 11. und 51. — in sapphischer Form abgefasst sind, die sozusagen die Einrahmung für jenen *Lesbia*-Zyklus bilden, welcher aus dem grössten Erlebnis des Dichters entsprossen war?

Wahrscheinlich muss durch den Abschluss des Sappho-Gedichtes selbst die Angeredete überrascht gewesen sein, und die Deutung des Catull'schen *otium* war nicht nur den Philologen der Neuzeit ein Anlass zum Kopfzerbrechen. Man liest unter den Anekdoten der Saturnalia des Macrobius, dass einmal — als anlässlich eines Gelage-Scherzes ein jeder anwesender das *moles-tum otium* anders erklären wollte — der Mimendichter Publilius Syrus es auf das Podagra bezog. (II 7, 6: *Ioculari deinde super cena exorta quaestione, quodnam esset molestum otium, aliud alio opinante, ille «Podagrici*

⁶ «Sappho und Simonides». Berlin 1913, S. 75 und S. 58, Anm. 2.

⁷ S. TIETZE: S. 346 f.; BÜCHNER: S. 34.

⁸ BÜCHNER: S. 34 Anm. 2: «Clodia hätte sich wohl schön bedankt für eine pointelose Übersetzung, wie es sie sonst in Catulls Werk nicht gibt.» — Catull bereitet immer sehr gern geistreiche Überraschungen für seine Leser vor. Wir erwähnen hier nur zwei Beispiele dafür. Im 13. Gedicht (*Cenabis bene . . .*) verrät erst der 4. Vers, dass Fabullus nur in dem Falle beim Essen satt wird, wenn er die *cena* mitbringt, weil Catulls Beutel voll — von Spinnen ist. — Weniger harmlos ist die Überraschung im Gedicht 58.: man findet nach der mehrfach betonten Anrede von *Lesbia* (*Lesbia nostra, Lesbia illa, illa Lesbia, quam Catullus unam plus, quam se atque suos amavit omnes*) nicht die erwarteten Liebesworte, sondern die abstossende und widerwärtige Wirklichkeit.

pedes» dixit.) Was mag wohl Catulls Absicht gewesen sein, am Ende des Sapphischen Geständnisses das *otium* zu erwähnen, ja es zu betonen?

Die Tatsache nämlich, dass die letzte Strophe dasselbe Wort mit dreifacher Anapher auf den Anfang der Verse setzt, betont die Rolle und die Wichtigkeit des *otium* sowohl im Gedicht selbst, wie auch im persönlichen Schicksal des Dichters. Diese Tatsache wird in der sonst mustergültigen Interpretation von Tietze nur nebenbei und erst nachträglich erwähnt.⁹ Er erklärt die Verbindung von *otium* und Liebe für einen literarischen Topos,¹⁰ und erörtert ausführlich das Verhältnis von *otium* zu *negotium*, sowie die Bewertung von *otium* in der Zeit der Republik. Das *otium*, selbst wenn es auch an und für sich noch kein Negativum ist, wird dem Römer nur soweit zum Teil, als ihm die staatsbürgerliche Tätigkeit und die Erfüllung seiner Pflichten noch freie Zeit übriglassen.¹¹ Das *otium* geniessen darf eigentlich nur derjenige, der sein ganzes Leben im Dienst für die Gemeinschaft verbrachte, wie z. B. Scipio Africanus. *Otium* ist die Sphäre des Privatlebens gegen das *negotium* des öffentlichen Lebens.¹² In der Tat hat das Wort *otium* im Rom der republikanischen Zeit nur in dem Falle einen verhältnismässig positiven Beiklang, wenn es nicht die tatenlos verbrachte Zeit, sondern die Ruhe, den Frieden des staatlichen Lebens bezeichnet, wie die bei Cicero oft erwähnte *concordia* (in ihrer vollständigeren Form eigentlich die *concordia ordinum*, d. h. die sehnlichst erwünschte innenpolitische Ungestörtheit des aristokratischen römischen Staates). Es hängt auch mit dem Ideenkreis der *pax* zusammen (zuerst nebeneinander die beiden bei Plaut. Amph. 208): jeder römische Bürger ist zu *negotium*, d. h. zur Entfaltung seiner Kräfte und Fähigkeiten im Interesse der Gemeinschaft verpflichtet, um den zur Erhaltung des Staates nötigen inneren Frieden zu sichern.

Man ersieht aus all dem, dass die Frage des *otium* bzw. diejenige des *negotium* einen organischen Teil des politischen Denkens am Ende der Republik

⁹ A. a. O., S. 367.

¹⁰ Unter den angeführten Komödie-Stellen besonders wichtig ist: Ter., Heaut. 109–112:

*Nulla adeo ex re istuc fit, nisi nimio ex otio.
Ego istuc aetatis non amoris operam dabam,
sed in Asiam abii propter pauperiem atque ibi
simul rem et belli gloriam armis repperi.*

Vgl. noch Plaut., Truc. 130 ff. und von den späteren Ovid., Rem. 136 ff., oder Tac., Ann. XIV 20 (*otia et turpes amores*).

¹¹ Vgl. Cicero, De off. I 4, 13; III 1, 1–2; und eine sehr lehrreiche Stelle: Plin., Ep. III 1, 12.

¹² Vgl. TIETZE: S. 353; Cic., Ad Att. I 17, 5: . . . *me ambitio quaedam ad honorum studium, te autem alia m i n i m e r e p r e h e n d e n d a r a t i o a d h o n e s t u m o t i u m d u x i t*. — Häufiger ist jedoch die Verurteilung des *otium*, z. B. Plaut., Most. 137 ff. über die Folgen der *ignavia* und *amor*: *Venit ignavia . . . , haec verecundiam mihi et virtutis modum deturbavit . . . Amor advenit in cor meum . . . , nunc simul res, fides, fama, virtus decusque deseruerunt*.

bildete.¹³ Cicero richtet noch einen scharfen Ausfall gegen die erste *κρίσις* *δόξα* von Epikur (De nat. deor. I 30, 85): *quod beatum et immortale est, id nec habet nec exhibet cuiquam negotium*. Es ist ein Zeichen der veränderten Zeiten, dass kaum einige Jahrzehnte später für Horaz schon beneidenswert ist, *qui procul negotiis* . . . Es ist auch sehr interessant, dass derselbe Horaz in einer seiner Oden (2, 16) mit offenbarem Hinweis auf die Catull'sche «Otium-Strophe»¹⁴ in dreifacher Wiederholung betont, wie wünschenswert (!) das *otium* wäre:

O t i u m divos rogat in patenti
premsus in Aegaeo, . . .
o t i u m bello furiosa Thrace,
o t i u m Medi pharetra decori,
 Grosche, non gemmis neque purpura ve-
 nale nec auro.

Catull hat selbstverständlich nicht vor der philosophischen Ungestört-heit, vor Epikurs Ataraxie eine Angst; für ihn ist *otium* noch etwas völlig anderes: nicht Tatenlosigkeit im allgemeinen, sondern ein Faktor, der sich sowohl in der Geschichte, wie auch im Leben der Einzelnen zu erkennen gibt, und welcher jetzt auch seine Existenz bedroht.

Man liest oft von der verhängnisvollen Wirkung des *otium* auch in jenen geschichtsphilosophischen Betrachtungen der Römer, die sich auf die Gedanken des Panaitios und Poseidonios bauen. So erörtert z. B. Sallust, welche gefährlichen Folgen die *desidia*, *lubido* und *superbia* (Catil. 2, 5; 53, 5: *luxus atque desidia*) hatten, die die Stelle der früheren *labor*, *continentia* und *aequitas* einnahmen; aber dieselbe Theorie erklingt auch noch in den Schriften des Tacitus als Erklärung für den offensichtlichen Verfall, so z. B. in Agricola (11, 4): *mox segnitia cum otio intravit, amissa virtute pariter ac libertate*.¹⁵

¹³ TIETZE: S. 334. Vgl. O. SEEL: Sallust. 1930. S. 35; A. ROSTAGNI: Storia della lett. lat.¹³ 1946. S. 144.

¹⁴ Horaz erwähnt nie einen römischen Dichter als seinen Vorfahren, weil er sich selbst für den italischen Begründer der äolischen Lyrik hält. (Deswegen haben auch seine Kritiker zu den *carmina non prius audita* bemerkt, dass Laevius doch schon vor Horaz lyrische Gedichte verfasst hätte.) Dass aber Horaz Catull dennoch gut gekannt und geschätzt haben muss, ersieht man aus jenen Catull-Zitaten und Anspielungen, die bei ihm oft erscheinen, und die nach antiker Sitte als Komplimente seinerseits Catull gegenüber zu bewerten sind; so z. B. in der Lalage-Ode (I 22, 23–24): *dulce ridentem Lalagen amabo, dulce loquentem*, oder Sat. II 5, 39: *persta atque obdura* (wie bei Catull 8, 11 und 19).

¹⁵ Die Frage, was der Begriff *otium* für Sallust (aber auch für Tacitus!) heisst, verdiente eine Untersuchung für sich. Hier verweisen wir nur auf die Stellen, die am bezeichnendsten sind: Catilina 4, 1 (*igitur ubi . . . mihi reliquam aetatem a re publica procul habendam decrevi, non fuit consilium socordia atque desidia bonum otium conterere*); 10, 2 (*otium, divitiarum, optanda alias, oneri miseriaeque fuere*); Iugurtha 4, 3–4 (*decrevi procul a re publica aetatem agere . . . maiusque commodum ex otio meo, quam ex aliorum negotiis rei publicae venturum*); unter den Fragmenten der Historiae in der Rede des Lepidus (c. 9: *illa quies et otium cum libertate, quae multi probi potius quam laborem cum honoribus capessebant, nulla sunt*; c. 25: *otium cum servitio*); in der Rede des Macer (c. 13: *otium pro servitio*) usw.

Aber so erklärt letzten Endes auch Horaz (Epist. II 1, 93—117) den merkwürdigen Vorgang, dass Griechenland und das «alte» Rom im Laufe der Zeiten so gut wie völlig ausgetauscht worden sind. Griechenland fing nach dem Abschluss der Kriege an zu spielen, und es geriet eben infolge seiner *günstigen* Verhältnisse auf böse Wege: *positis nugari Graecia bellis coepit et in vitium fortuna labier aequa*; das war die Folge des «guten Friedens und der günstigen Winde»: *hoc paces habuere bonae ventique secundi* (102). Ebenso hörte auch in Rom der traditionelle Tateneifer (*negotium*) auf, und jetzt tut ein jeder — nur schreiben (117): *scribimus indocti doctique poemata passim*. Das Wort *nugari*, welches der Dichter auf Griechenland anwendet, bezieht sich in diesem Fall auch auf die Römer; die vormals ernsten Römer — die *severi* — erblicken jetzt ihre Lebensaufgabe in einer solchen Tätigkeit, deren Bewertung auch schon in der Gattungsbestimmung der Catull'schen *nugae* zum Ausdruck kommt.

Gewiss will Catull keine Geschichtsphilosophie in eine Strophe hineinpressen, aber allerdings bewertet er das *otium* auch in Bezug auf seine eigene Lage in demselben Sinne, wie es die allgemeine römische Denkweise — sozusagen die «öffentliche Meinung» — am Ende der Republik tut. Er vertieft sich nicht in die Feinheiten der stoischen *πάθη*-Theorie, aber der Ausdruck «*exsultas nimiumque gestis*» zeigt dennoch, dass der Dichter das *otium*, und mit ihm zusammen auch die *voluptas* (*libido*) unter dem römischen Aspekt der *continentia* (*temperantia, moderatio, gravitas*) beurteilt. Ja, er übt eigentlich Selbstkritik und stellt fest, dass er — ohne eine grundsätzliche Umkehr — an sich selbst irre werden und in Zwiespalt mit jener Gesellschaft geraten muss, die Normen von welcher er von sich abschüttelte.¹⁶

Das Leben von Catull fällt auf die Zeit der letzten Kämpfe der ausgehenden Republik; es wurde in dieser vorletzten Periode der Kampf zwischen den verschiedenen Parteien, Gruppen und Interessen beinahe ununterbrochen geführt, aber nicht im Interesse irgendeines Vorwärtstommens oder für eine fortschrittliche Idee, sondern nur um im Rahmen des Sklavenhalterstaates, der schon auseinanderzufallen drohte, dieselben alten Schichten wie früher die Herrschaft beibehielten. Der verwilderte Kampf wurde immer mehr und mehr schonungsloser, und eben deswegen gab es auch immer mehr solche, die mit keiner Gruppe mehr halten wollten, sondern sich von der bis dahin gebieterisch vorgeschriebenen Tätigkeit des öffentlichen Lebens zurückzogen. Das traditionelle *negotium* hat seinen alten Sinn verloren, und es konnte in den Meisten nur noch Widerwillen erwecken. Als sich die Bande der Gemeinschaft lockerten, versuchte man individuelle Auswege und Lösungen. Darum fanden die so viel schönes verheissenden orientalischen Kulte immer mehr

¹⁶ Vielleicht wollte auch BÜCHNER etwas ähnliches sagen, a. a. O., S. 34: «Catull misst sich an den Normen des römischen Wesens und ist uneins mit sich selbst und mit dem Lebensgesetz, das für ihn Gültigkeit hat.»

Bekenner, darum widmeten sich so viele der Beschäftigung mit der Philosophie (hauptsächlich mit dem Epikureismus), und darum kehrten auch die Dichter der Sache der Gemeinschaft (*res publica*) den Rücken, um ihren individuellen Gefühlen eine Stimme zu verleihen.

Catulls ganze Dichtung wird nur in diesem historischen Zusammenhang verständlich. Aber seine Lage und die Tragik seines Lebens kommt vielleicht gerade in dem behandelten Sappho-Gedicht am prägnantesten zum Ausdruck. Denn der Dichter verweist in den Worten dieses Geständnisses, die scheinbar von jemand anders geliehen sind, auf sein eigenes Unglück: gegen die beneidenswerte Person des sapphischen Makarismos (*ἴσος θέουσι*) erklärt er sich selbst für arm und unglücklich, *miser* — wie es auch später noch so oft geschieht.¹⁷ Das Erlebnis «Lesbia» wühlt ihn völlig auf. Die oft interpretierte Enallage «*gemina teguntur lumina nocte*», die uns schon an Vergil erinnert, bringt mit kunstvoller Absichtlichkeit den Stellenwechsel von *lumen* und *nox*, von Licht und tiefer Dunkelheit, die Veränderung der ganzen Welt zum Ausdruck. Aber als der Dichter aus dieser «doppelten Nacht» erwacht, — man beachte, wie rechtzeitig die Fermate einsetzt! — wird es ihm plötzlich klar, dass sein überwältigendes Gefühl einen völligen Wandel auch in seiner Beziehung zur Gemeinschaft hervorruft: seine Welt, die auch schon früher statt *res publica*, *gens* und *negotium* nur noch der enge Freundeskreis war, wird sich immer mehr und mehr auf die einzige Lesbia beschränken, und das ist doch eben jenes *otium*, welches nicht nur arme Einzelne, sondern auch «Könige und reiche Städte» schon so oft zugrunde richtete (*otium et reges prius et beatas perdidit urbes*).¹⁸

Für einen gesunden Menschen ist das *otium* lästig, wie die Krankheit (*molestum est*); der Scherz von Publilius Syrus bringt die bannende, bestrickende, ja lähmende Natur des *otium* besser als alles andere zum Ausdruck; es wirkt ja wie das Podagra, und man wird in seiner Tatenlosigkeit zur Exaltation, zu übertriebenen Wünschen verführt (*otio exsultas nimiumque gestis*).¹⁹ Er fühlt schon im voraus, dass seine Leidenschaft zu Lesbia eigentlich eine Krankheit, ein Zehrfieber ist. Auf dieselbe Weise wird er später zu den Göttern

¹⁷ Gegen BICKEL: a. a. O., S. 199 und 213.

¹⁸ Die Kommentare berufen sich meistens an dieser Stelle auf die mythischen Gestalten Sardanapal oder Paris, und auf Kroisos bzw. auf Troia und Sybaris. Mit ebensoviel Recht könnte man auch die Erörterungen von Sallust am Anfang des Catilina (2, 2–5) anführen. Schliesslich ist ja die Rede doch von Rom, bzw. vom persönlichen Schicksal des römischen Dichters, Catull.

¹⁹ TRETZE erklärt die Stelle auf Grund der Angaben des Thesaurus linguae Latinae folgendermassen: «ein übermässiges Aussersichsein in der Leidenschaft» (S. 356). Bei Cicero werden die Worte *exsultare* und *gestire* häufig als Fachausdrücke benutzt, so z. B. Tusc. III 11, 24; IV 31, 66 u. a. m. Am lehrreichsten ist jedoch unter unserem Gesichtspunkt die Stelle Tusc. V 6, 16: *Quid vero? Illum, quem libidinibus inflammatum et furem videmus, omnia rabide adpetentem cum inexplebili cupiditate, quoque affluentius voluptates undique hauriat, eo gravius ardentiusque sitientem, nonne recte miserrimum dixeris? Quid? Elatus ille levitate inanique laetitia exsultans et temere gestiens nonne tanto miserius, quanto sibi videtur beatior?*

um Genesung beten, und um «die hässliche Krankheit endlich ablegen zu können» (*ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum*, vgl. mit Vers 13: *difficile est longum subito deponere amorem*).²⁰ Die Wendung, die das ganze Gedicht abschliesst: *perdidit urbes*, weist wieder über den theoretischen Sinn des *otium* weit hinaus, sie bezieht sich auf die persönliche Lage des Dichters: zugrunderichtend ist dies *otium* und diese Liebe, wie sie bei ihm auch sonst unglücklich und «verloren» heisst: *in misero hoc nostro, hoc perditio amore* (94, 2). Man glaubt schon im voraus den späteren, enttäuschten Catull zu hören (c. 8):

*Miser Catulle, desinas ineptire,
et quod vides perisse, perditum ducas . . .*

Ein ungewöhnliches Geständnis, ein überraschendes und unglückverheissendes Gedicht ist Catulls Sappho-Übersetzung, mit der *Otium*-Strophe ergänzt. Der Dichter fühlt, ahnt, ja er weiss schon im voraus sein späteres Schicksal, und er verdichtet jetzt in ein einziges Gedicht sein Glück und Unglück, die Widersprüche in ihm selbst und um sich herum, die Problematik seiner Liebes-Lyrik, ja seines ganzen Daseins. Denn man findet in diesem einzigen Gedicht ebenso alles zusammen — die Unersättlichkeit der tausend und abertausend Küsse (*exsultas nimiumque gestis*), das *γλυκύπικρον* des Beisammenseins²¹ und das Verwünschen seiner Liebe —, wie auch umgekehrt in der Abschiedsbotschaft alles — die grössten Flüche und das unvergessliche Blumengleichnis der entzweigebrochenen Liebe und des sinnlos gewordenen Lebens — vereint sind. In der *Otium*-Strophe spukt schon die unnachahmliche Gegensätzlichkeit des *odi et amo*; er hasst Lesbia, denn er muss seiner persönlichen Tragik tatenlos zusehen, und er kann sich von seiner

²⁰ Das Gedicht 76. fördert auch sonst das Verständnis des 51. und überhaupt dasjenige der Catull'schen Problematik. Catull möchte auf speziell römische Belange (*pietas, fides, foedus*) gestützt seine erschütterte Existenz wieder gesichert sehen. Alles ist schon sowieso verloren, wozu noch sich zu quälen (Vv. 9–10):

*omniaque ingratae perierunt credita menti,
quare cur te iam amplius excrucies?*

Er muss seine Seele stärken, er muss von *dort* zurückkehren (11: *atque istinc teque reducis*). Schwer ist die Aufgabe, aber er muss mit ihr dennoch fertig werden (das wird unter anderem auch in Vers 15. geschildert: *hoc est tibi pervincendum*). Der Dichter, der sich *pius* nennt (vgl. 16, 5), bittet die Götter, sie möchten ihn vom Verderbnis retten, welches ihn so überrascht hat, wie man die Symptome der «Krankheit» im Sappho-Gedicht kennenlernt (76, 19–22):

*me miserum aspiciate et, si vitam puriter egi,
eripite hanc pestem perniciemque mihi,
quae mihi subrepens imos ut torpor in artus
expulit ex omni pectore laetities.*

Die klassische, «wissenschaftliche» Schilderung der Symptome von Sappho und Catull (der Sympathie-Theorie von Epikur entsprechend) s. bei Lucr. 3, 152 ff.

²¹ *Dulcis amarities*: 68, 18; vgl. Lucr., 4, 1133 ff.

Liebe nicht trennen. Der von *virtus* strotzende Mann, der es auch zweihundert Flegeln zeigen könnte (37, 8), sinkt statt des *negotium* in das *otium* herab, er handelt nicht mehr, er erduldet nur noch, was mit ihm geschieht, und dabei leidet er die Qualen des Gekreuzigt-Werdens: *et excrucior* . . .²²

И. БОРЖАК

OTIUM CATULLIANUM

(Резюме)

Анализ стихотворения 51 Катуллы (перевода из Саффо) показывает, что оно является все-таки единым целым (вместе с последней строкой: *otium* и т. д.) и во многих отношениях соответствует стихотворению 11 (также саффикескому). В связи с последней строкой мы ссылаемся на исторические условия, в которых Катулл *«visse, scrisse, amò»*: поэт отстраняется от *otium*'а, от деятельности в *res publica*, потому что никакого смысла не видит в этом. Все-таки традиционная римская общность держит его во всех отношениях, и он чувствует, что опасно будет ему погрузиться в *otium*. Он чувствует противоречия своего положения, болезненность своего состояния, но и мимोगраф Публилий Сир шутливо сравнил обременительное *«molestum otium»* Катуллы с подагрой; любовь к Лесбии такая же мучительная болезнь. *Otium* – разрушительная сила, погубившая уже ряд стран (*perdidit urbes*). Такой же губительной (*perditus*) является и любовь Катуллы, как ни было ему трудно признаться в этом (*perditum ducere*).

Все чувства, все проблемы любовной лирики Катуллы собраны в этом стихотворении. В последней строке читатель чувствует мучительное противоречие *«odi et amo»*: ясно сознавая трагедию своей любви, он ненавидит Лесбию, но у него нехватает сил бросить ее; человек полный *virtus*'ом обречен на пассивность *otium*'а вместо того, чтобы действовать (*faciam—fieri*) и терпит все муки вознесения на крест (*excrucior*).

²² Interessant ist unter dem Gesichtspunkt der Deutung des *otium* (und ebenso unter dem der Komposition des Catull'schen Libellus) auch das der Sappho-Übersetzung vorangehende Gedicht (50). Es ist nur ein Scherz der guten Freunde, die *otiosi* sind, aber man findet in ihm Ausdrücke die an das Erlebnis «Lesbia» erinnern (9: *me miserum*, 10: *nec somnus tegeret quiete ocellos*, 13: *ut tecum loquerer simulque ut essem*), und am Schluss mit der dreifachen Wiederholung des *cave*. Noch eine lehrreiche Parallele zur Problematik *otium* — *negotium*: während der agonale Mensch der griechischen Frühzeit *κλέος* als höchstes Ziel erachtet, blicken z. B. die Kyniker. Repräsentanten der sich zersetzenden Polisgesellschaft mit souveräner Verachtung auf den Ruhm und streben nach *ἀδοξία* (Diog. Laert. VI 11; 72; 83; 93; vgl. Arrian., Diss. Epict. I 24).

A. MÓCSY

DIE ENTWICKLUNG DER SKLAVENWIRTSCHAFT IN PANNONIEN ZUR ZEIT DES PRINZIPATES

Es bedarf noch vieler Einzelarbeiten und weiteren Materialsammelns, um ein übersichtliches Bild der gesellschaftlichen Struktur Pannoniens geben zu können. Um jedoch in der Untersuchung der sich ergebenden Fragen weiterzukommen, müssen wir vor allem unter Zugrundelegung vielseitigen, umfassenden Unterlagsmaterials zu einer folgerichtigen Auswertung schreiten, da sich mangels einer solchen die Fachliteratur der letzten Jahre, sobald sie sich Fragen gesellschaftlichen Charakters gegenüber sah, lediglich auf allgemeine Problemstellung und Behauptungen spekulativer Art beschränken konnte. Im folgenden wollen wir den erstmaligen Versuch einer sich von selbst bietenden Materialzusammenfassung und deren Auswertung unternehmen.

Die während der vergangenen Jahre in der sowjetischen Literatur über das Ende des Sklaventums geführte Debatte¹ erwies unter anderem, dass sich auf Grund der bekannten Rechtsquellen und einiger unmittelbarer Autorenangaben konkrete, auf das ganze Reichsgebiet anwendbare Folgerungen schwerlich ziehen lassen. Zwischen den allgemeinen, auf prinzipielle Fragen bezüglichen Gesichtspunkten und den lokalen Gegebenheiten der einzelnen Provinzen wird der mit den örtlichen Verhältnissen besser vertraute regionale Forscher stets Widersprüche entdecken. Zur objektiven Entscheidung solcher strittiger Fragen prinzipieller Bedeutung erscheint daher das gesonderte Studium der in den einzelnen Provinzen vor sich gehenden örtlichen Entwicklung unter Heranziehung eines möglichst ergiebigen Quellenmaterials geradezu unerlässlich.

Im nachfolgenden haben wir die Inschriftennachweise der pannonischen Sklavenwirtschaft in Gruppen geordnet, die sich aus der Übersicht des Gesamtmaterials folgerichtig ergaben. Unter Berücksichtigung dessen, inwiefern und im welchem Umfange eine Sklavenwirtschaft bestand, wurde zwischen Sklaven und Freigelassenen keine Unterscheidung vorgenommen. Bei der Gruppierung gingen wir von der Person des jeweiligen Sklavenhalters bzw.

¹ Е. М. Штаерман: ВДИ 1953, 2, 51 ff. А. П. Каждан: ВДИ 1953, 3, 77 ff. С. И. Корсунский: ВДИ 1954, 2, 47 ff. С. И. Ковалев: ВДИ 1954, 3, 33 ff. usw.

Patrons aus, weil bei Beurteilung der wirtschaftlichen Seite des Sklaventums diese Art der Unterscheidung massgebend zu sein scheint. Die Sklavenwirtschaft der Zivilbevölkerung und der Militärpersonen haben wir gesondert besprochen und innerhalb dieser beiden Hauptgruppen haben wir nach Möglichkeit auch die zeitliche Folge berücksichtigt. Bei den Sklaven beschäftigten Zivilpersonen mussten wir das auf Pannonia Superior bezügliche Nachweismaterial vollkommen von dem Pannonia Inferior betreffenden scheiden, da die Entwicklung in diesen beiden Provinzen stark voneinander abweicht. Bevor wir uns dem wesentlichen Teil des Nachweismaterials zuwenden, wollen wir jedoch erst zwei Gruppen besprechen, die in gewisser Hinsicht eine Sonderstellung einnehmen.

1. *Die Sklaven der Finanzverwaltung.* Bei Untersuchung der Provinzialverhältnisse kann der Bestand an Sklaven und Freigelassenen, über den die Zollbehörden (*publicum portorium Illyrici*) und die Finanzverwaltung verfügten, unberücksichtigt bleiben. Als Angestellte eines grossen kaiserlichen (vormals Privat-)Unternehmens nahmen diese eine Sonderstellung ein und hatten laut Zeugnis der Inschriften keinerlei Beziehungen zur Bevölkerung der Provinzen. Innerhalb der provinziellen Gesellschaftsordnung sind sie jedenfalls als zum Reichsverwaltungsapparat gehörig in die oberen Gesellschaftsklassen einzureihen. Die Vorzugsstellung und das Ansehen, das die kaiserlichen Sklaven genossen, bezeugt auch der Umstand, dass sie in zahlreichen Fällen Bürgerrecht besitzende Freigedorene zur Frau nahmen.² Deshalb übergehen wir bei Besprechung der pannonischen Sklavenwirtschaft die auf diese kaiserlichen Sklaven bezüglichen Inschriftennachweise.³

2. *Im Handel beschäftigte Freigelassene.* Auch einen Teil der Freigelassenen müssen wir als gesonderte Gruppe besprechen, da auch diese eine eigenartige Stellung einnahmen. Man weiss im Westen Pannoniens, aus den an der Bernsteinstrasse gelegenen Städten und einigen zu deren Umgebung zählenden Fundorten von Freigelassenen, deren Namen mit Bestimmtheit darauf schliessen lässt, dass ihre im übrigen ungenannten Patrone fremden Ursprungs waren. Nachdem hiervon ziemlich zahlreiche Inschriften Zeugnis ablegen, liegt die Vermutung nahe, dass diese ausnahmslos bereits als Freigelassene nach Pannonien gelangten, während ihre Patrone in anderen Provinzen verblieben. Auch überrascht es uns kaum, dass viele von ihnen auf engere Beziehungen zu Aquileia deuten. Besonders häufig sind solche Freigelassene in Emona anzutreffen, wo wir unter ihnen auch einigen sexviri Augustales begegnen.

Nauportus: CIL III 3776. *P. Petronius P. l. Amphio, C. Fabius C. l. Corbo, magistri vici.* — CIL III 3777. *M. Fulginas M. l. Philogenes, Q. Annaius Q. l. Torravius, magistri vici.*

² W. L. WESTERMAN: PW-RE Suppl. VI (1935) 1040.

³ Das Inschriftenmaterial des Portorium wurde zusammengestellt von Á. DOBÓ: *Publicum Portorium Illyrici*, Diss. Pann. II, 16 (1940).

Emona: CIL III 3857. *L. Cantius L. l. Probatu*s, *Cantia L. l. Cirrata*. (Ihr Sohn *L. Cantius Proculus* gehört zur *tribus Velina*, Tribus von Aquileia: W. KUBITSCHKE: Imp. Rom. tributim discr. 106.) — V. HOFFILLER — B. SARIA: Antike Inschr. aus Jugoslawien. 1938. 176. (in folgendem mit HS bezeichnet): *T. Caesernius Assupae l. Diphilus sexvir Aquileiae* und dessen Freigelassener, *T. Caesernius Dignus*. — CIL III 3850. *T. Caesernius T. l. Ianuarius, sexvir* (Aquileiae? vgl. mit dem vorigen). — CIL III 3869. *T. Refidius T. l. Venustus*. — CIL III 3875. *L. Valerius L. l. Hilarus*. — CIL III 3836.a — b. *T. Vellius Onesimus sexvir Aug. Emonae* und seine beiden Freigelassenen, *Eutyclus* und *Perigenes*. (Auf dem Bruchteil b) der Inschrift ist der Name Aquileia zu finden. Mit Rücksicht auf den griechischen Beinamen Onesimus und auf sein Amt als *sexvir* dürfte es sich bei diesem ebenfalls um einen Freigelassenen handeln.)

Poctovio: HS 398. *C. Iulius C. l. Nikander*. — CIL III 13 414 = HS 410. *Vicarius P. Musculei l., Musculeia P. l. Sura*.

Hegykö: CIL III 4250. *T. Canius T. l. Cinnamus negotiator* und seine Söhne. (Seine Mitfreigelassene dürfte die *Kania T. l. Urbana* aus Scarbantia gewesen sein. Arch. Ért. 1911. 275.)

Neckenmarkt (Nyék): CIL III 4255. *Culcia C. l. Iucunda*.

Scarbantia: *A. Dobó*: Inser. ad res Pann. pert. 220 (Aquileia). *L. Atilius L. l. Saturninus domo Fl. Scarbantia, interfectus a latronibus*.

Carnuntum: CIL III 4518. *C. Pitius C. l. Hilarus*. (Wahrscheinlich Mitfreigelassener des auf einem Grabstein unbekannten [Ebreichsdorfer]⁴ Fundortes verzeichneten *C. Pitius C. l. Iucundus*: CIL III 4602.) — CIL III 4522. *L. Valerius L. l. Vegetus, L. Valerius L. l. Florus*. — RLiÖ. XVI. 40, 38. *Cornelia Attici lib. Candida, domo Aqi(lei)a*.

In diese Gruppe sind aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch einige andere weibliche Freigelassene zu zählen:

Poetovio, CIL III 10 881. *Tullia Tauri l. Fidelis*.

Carnuntum, CIL III 4503. *Caesilia L. l. Primigenia*. (Ihr Nomen lässt auf aquileiischen Ursprung schließen). — CIL III 4520. *Quinctia P. l. Marita*. Deren Freigelassener *Adauctus*. — CIL III 11 277. *Petronia L. l. Melphomene*. — RLiÖ XVIII. 49, 13 ... *lia Q. l. ... cunda*.

Es dürfte sich hier darum handeln, dass Aquileienser Kaufmannsfamilien ihre Freigelassenen als Handelsbeauftragte nach solchen in den Handelsbereich der Stadt fallenden Orten entsandten, die von geschäftlichem Standpunkt von Bedeutung waren, wie es dafür aus Noricum und Dalmatien bereits recht frühzeitige Beispiele gibt. Ausser den Handelsbeauftragten kennen wir in Dalmatien auch zahlreiche Sklaven und Freigelassene, die mit der Verwaltung der dalmatinischen Güter in Aquileia ansässiger Familien betraut waren.⁵ Dagegen scheint die Entsendung von Freigelassenen nach Pannonien ausschliesslich geschäftlicher Art gewesen zu sein, was teils aus unmittelbaren Angaben (*T. Canius negotiator*), teils auch aus der Tatsache hervorgeht, dass es sich immer nur um Freigelassene handelt und deren Mehrzahl in den Städten konzentriert ist. Einen interessanten Aufschluss über die Tätigkeit der Freigelassenen bietet die Grabinschrift des *L. Atilius Saturninus*. Dieser Kaufmann aus Scarbantia wurde unterwegs nach Aquileia ermordet, wahrscheinlich in der Gegend der Iulischen Alpen, die schon in früheren⁶ und auch

⁴ Bezüglich der Ebreichsdorfer Inschriften siehe W. KUBITSCHKE: JbAk 6 (1912) 103 ff.

⁵ D. RENDIĆ — MIOČEVIĆ: Studi Aquileiesi (1953) 80 ff.

⁶ Strabo, IV, 6, 6.

noch in späteren⁷ Zeiten wegen des dort herrschenden Räuberunwesens als gefährlich galt. Atilius kam somit auf einer seiner üblichen Geschäftsreisen zwischen Emona und Aquileia ums Leben.

Bezeichnend für die gesellschaftliche Lage dieser im Handel beschäftigten Freigelassenen ist die Aufnahme der *Kania T. l. Urbana* in die Familie der freigeborenen, städtische Ämter bekleidenden Familie der Sextilier.

Der Ausbau dieses durch Freigelassene versehenen Handelsvertreter-Netzes seitens der Aquileienser Kaufleute reicht noch in die Zeit vor der Besitznahme Pannoniens zurück. Die Inschriften der Magister des vicus von Nauportus stammen noch aus der Zeit der Republik.⁸ Neben den bekannten Beispielen aus Dalmatien und Noricum geht jedoch in Pannonien bloss der Ursprung der Freigelassenen von Nauportus auf so frühe Zeiten zurück. Es ist auch kaum wahrscheinlich, dass dieses westpannonische Netz bereits im I. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bestanden hätte, da dies in den unruhigen Zeiten der Bojer- und Dakerbewegungen schwerlich vorstellbar wäre. Im mehr oder weniger abhängigen Königreich Noricum und in den befriedeten dalmatinischen Küstengebieten finden wir indes schon Spuren dieses Handelsnetzes aus den ersten fünf Jahrzehnten nach der Gründung Aquileias.⁹

3. *Die Sklavenwirtschaft der Urbevölkerung von Pannonia Superior.* Die diesbezüglichen Inschriftennachweise stammen aus dem I. und II. Jahrhundert, reichen jedoch nicht über die Mitte des II. Jahrhunderts hinaus. Sie lassen sich dem Gebiet nach in zwei Gruppen teilen, deren eine in die Umgebung von Emona fällt, während die andere beim Leithagebirge und in der Gegend des Neusiedler Sees zu suchen ist, d. h. also dort, wo ein Teil des Bojerstammes beheimatet war. Ausser diesen beiden Gruppen zeugen nur spärliche, vereinzelte Inschriften von Freigelassenen im Dienste der Eingeborenen.

Kamnik: CIL III 10 749. *Ursio Terti l.*

Studenec: CIL III 10 746. *Saturna Neuntii lib.*

Žaljna: CIL III 13 403. *Melesme lib.* (Zusammen mit peregrinisches Recht genießenden Eingeborenen genannt.)

Emona: CIL III 3863. *C. Iulius C. l. Quadratus.* (Seine Frau und Kinder sind Eingeborene mit peregrinischem Recht.)

Siscia: CIL III 10 867. *C. Iulius Adietumarus Maximi l.* (dessen Frau nebst den am Grabstein verzeichneten übrigen Personen Eingeborene sind).

Jannersdorf (Gyanafalva): CIL III 10 895. *Uppu,* Freigelassene des *Quartus Adnamati fil.*

Scarbantia: CIL III 4259. Zwei Sklaven des *Flavius Vitalis: Gaius, Verna.*

Katzelsdorf: CIL III 11 301. (4551, JÖAI 26 [1930] Bbl. 208, Fb. Öst. II, 247. FIEBIGER-SCHMIDT : Nr. 334) *Cassus Musae servus.* Seine Frau *Strubilo Scalleonis lib.* (Der Name *Strubilo* ist germanisch.)

⁷ E. PAIS : Suppl. CIL V 1110.

⁸ TH. MOMMSEN : ad CIL III 3777.

⁹ E. SWOBODA : Carnuntum. 1953. 21 f., 186 f. — C. DAICOVICIU : Eph. Dacor. 5 (1932) 60 f., 119.

Lichtenwört: Laur. Aqu. I, 147. *Tudrus Ariomani lib.* (Aus dem freien Germanien stammender Sklave eines boischen Eingeborenen, vgl. R. EGGER: Laur. Aqu. a. a. O.)

Au am Leithaberg: RLiÖ XVIII. 117, 35 und JÖAI 17 (1914) Bbl. 230. 236. Freigelassener des *T. Flavius Cobromarus*: *T. Flavius Uxavillus*, seine Sklaven: *Amuca*, *Artem(idorus? -isia? -as?)* — JÖAI a. a. O. 227. [*A*]masisi[*a* . . .]ari l[*b*(erta)]. — a. a. O. 223 *Vas(so?) Vaicac l.* — a. a. O. 240. . . . *lavia Tevegeti lib. Pri(ma)*. — a. a. O. 225. *Severa Magni anc(illa)*.

Mannersdorf: RLiÖ XVIII, 119, 36. Des *T. Flavius Biturix* Sklavin: *Matugenta Aprilis f. vernacula*. (Die bei Sklaven ungewöhnliche Filiation wird durch Matugentas Eigenschaft als *vernacula* gerechtfertigt.)

Bruck a. d. Leitha: CIL III 14 359²³. *Belatusa Cauti lib. Boius*. (Trotz des Namens Boius handelt es sich um eine Frau, denn es heisst: *hic sita est.*) — CIL III 14 359¹⁷. *Bussuro At . . . vae lib.* — CIL III 14 359²¹. *Bitua und Masarius*, Sklaven der *Aiuca Combrissae fil.* — CIL III 14 359²⁵. . . . *ula Amullu . . . [ver]nac(u)lus*. — CIL III 4537. und RLiÖ XVIII, 127, 42. Der *Flavii Victor et Victorinus* Sklave: *Mogetius servus saltuarius* und ihre Freigelassene: *Flavia Calendina*. (Die auf den Grabsteinen erwähnten Verwandten tragen Eingeborenennamen.)

Neusiedl a/See: CIL III 14 355¹⁷. *Afri?omanus*, Sklave des *T. F(lavius) Samio*. *Potzneusiedl—Gattendorf:* CIL III 4537 a—b. *P. Aelius Fuscus* und (*Aelia?*) *Restituta*, Freigelassene des *Messinus*. (Auch *Messinus* ist Eingeborener, vgl. HOLDER: Alteclt. Sprachschatz, II. 575 und CIL III 11 299.)

Oroszvár (Karlbürg): CIL III 13 446. *Ursic/us Ma/ximi l.*

Die in der Gegend von Emona Beheimateten gehören zur ansehnlichen Gruppe der über peregrinisches Recht verfügenden Eingeborenen (Igg, Studenec, Pristava, Sonnegg). Bei diesen muss die Beschäftigung von Sklaven nur von sehr untergeordneter Bedeutung gewesen sein, denn in dem auf die Eingeborenen bezüglichen beispiellos reichhaltigen Inschriftenmaterial begegnen wir insgesamt bloss drei Freigelassenen mit peregrinischem Recht und einem mit römischem Bürgerrecht. Eine so geringfügige Sklavenwirtschaft kann man sich bloss im Zusammenhang mit der Sklavenwirtschaft der Stadtbevölkerung von Emona vorstellen, und es dürfen hieraus keine weitgehenden Schlüsse auf die Gesellschaftsordnung der Eingeborenen gezogen werden.

Ganz anders stehen die Dinge bei den Bojern. Hier kamen von vielen Fundorten zahlreiche Grabsteine Freigelassener und Sklaven zum Vorschein. Ein Teil der Sklavenhalter hat noch peregrinisches Recht, es finden sich unter ihnen jedoch schon viele, die von den Flavieren Bürgerrechte erhalten hatten. Solche sind die Flavien *Vitalis*, *Cobromarus*, *Biturix*, *Samio*, *Victor*, *Victorinus* und allenfalls [*F?*]*lavia Tevegeti l. Prima*. Von Hadrian hat *P. Aelius Messinus* das Bürgerrecht erlangt. Für die Vermögenslage der Stammesaristokratie¹⁰ ist die in Pannonien ohnegleichen dastehende Häufigkeit der auf Sklaven und Freigelassene bezüglichen Grabinschriften bezeichnend. In etlichen Fällen finden sich in einer Hand auch mehrere Freigelassene und Sklaven. Wie es durch das Beispiel des *Mogetius servus saltuarius* erwiesen scheint, verfügte diese Stammesaristokratie über ausgedehnten Grundbesitz. Einen weiteren Hinweis auf den landwirtschaftlichen Charakter der Sklavenwirtschaft schliesst auch die Verteilung der Inschriften auf mehrere Fundorte in sich.

¹⁰ Siehe z. B. T. *Flavius Cobromarus*, der vielleicht Nachkomme des von boischen Münzen bekannten *Cobrovomarus* ist?

Es fragt sich, ob diese, im Vergleich zu den in Pannonien herrschenden Verhältnissen äusserst stark entwickelte Sklavenwirtschaft die frühere Gesellschaftsordnung des Stammes der Bojer widerspiegelt oder ob sie sich erst nach der römischen Besetzung ausgebildet hat, nicht zuletzt als Folge der sich auf die Stammesaristokratie stützenden römischen Provinzialpolitik. Aus den Namen der Sklaven lässt sich nämlich darauf schliessen, dass diese zum Teil auf den Sklavenmärkten des Reiches oder im Wege des ebenfalls in römischen Händen befindlichen Grenzhandels erworben wurden. Unter ihnen treffen wir auch mehrere aus den Donaugebieten stammende Sklaven des *Barbaricum*, die vermutlich in Carnuntum von Soldaten auf den Markt gebracht wurden, so wie die germanischen Sklaven (*Tudrus*, *Strubilo*). Der überwiegende Teil der Namen weicht jedoch von der üblichen Namengebung der pannonischen Urbevölkerung so wenig ab, dass wir, falls die Inschriften nicht ausdrücklich den Vermerk »servus« oder »libertus« enthielten, zur Annahme neigen könnten, es handle sich um einfache Filiationen. Dabei muss auch noch bedacht werden, dass die innere Fügung der Stämme trotz der Sklavenwirtschaft zu jener Zeit noch äusserst fest ist und der befreite Sklave in den Stammesverband aufgenommen wird, wie dies bei *Belatusa* der Fall ist. Für den Bestand der Stammesverbände spricht auch der Umstand, dass die von den Flavieren Bürgerrechte erlangten Sklavenhalter eingeborene Beinamen (*cognomina*) führen, ja dass die Eingeborenenpolitik der römischen Verwaltung auch nach der Verleihung der Bürgerrechte durch die Flavii, noch während der Regierungszeit Nervas auf der Stammesorganisation beruht. Darauf lässt auch das von Nerva verliehene Bürgerrecht des *Caupianus princeps civitatis Boiorum* schliessen.¹¹

Wenn man die übrigen, auf die gesellschaftliche Einrichtung der Bojer bezüglichen Angaben in Betracht zieht, wie beispielsweise die starke Ausbildung der zentralen Stammesgewalt¹², kann festgestellt werden, dass bei den Bojern schon vor der römischen Besetzung eine verhältnismässig hoch entwickelte, auf Sklavenarbeit beruhende Landwirtschaft und bedeutende Grundbesitzanhäufungen bestanden.

4. Die Sklavenwirtschaft der Urbevölkerung in Pannonia Inferior.

Aquincum: Bpest. Rég. XII, 275. *Tranco Iorae lib.* (Zeitalter Domitians). CIL III 10 546. *Fabricia Velocis lib.* — CIL III 3450. (Bpest. Rég. XIII, 350) *Victor Ressati l.* — CIL III 13 379. *Scorilo Ressati l. domo Dacus.* (Seine Frau und Kinder sind Eravisker Eingeborene.)

Intercisa: Intercisa I. (Arch. Hung. XXXIII.) 1954, Nr. 53. *Batalus, Osa, Louco*, Freigelassene des *Demiuncus Couci f.* — a. W. Nr. 66. *Catulus lib.* — a. W. Nr. 369. *Atta Vervici l.*

¹¹ B. SARIA: Burgenl. Heimatbl. 13 (1951) 4. — E. SWOBODA: a. W. 184. — Vgl. im Gegensatz dazu die Lage in Aquincum, wo (ein Vierteljahrhundert später) nicht mehr die *civitas*, sondern die städtische Organisation die Grundlage der Eingeborenenpolitik bildete. A. MÓCSY: Arch. Ért. 78 (1951) 107 f.

¹² Darauf weisen die Namen der Stammeshäupter auf boischen Münzen hin, im Gegensatz zur Aufschrift RAVIS auf den Eravisker-Münzen.

Die Inschriften erwähnen nur Freigelassene und konzentrieren sich, im Gegensatz zu den der Bojer, nur an zwei Orten, in Aquincum und Intercisa. Der Grabstein des *Demiuncus* in Intercisa gehört zu jenen, deren Ursprung aus Aquincum feststeht.¹³ Vermutlich sind auch die Grabsteine der *Atta* und des *Catulus* aus Aquincum nach Intercisa gelangt. Über die Sklavenwirtschaft der Eingeborenen in Pannonia Inferior finden wir nur aus Aquincum stammende Spuren. Auf den zahlreichen am Donauknie und im Komitat Fejér gefundenen Grabsteinen der Eingeborenen begegnen wir nirgends Freigelassenen oder Sklaven. Diese Konzentration um Aquincum steht in scharfem Gegensatz zu den verstreut vorgefundenen Inschriften der von den Bojern beschäftigten Freigelassenen und Sklaven und weist darauf hin, dass diese Sklavenwirtschaft von der der Bojer in ihren Grundzügen abwich. Bei den Eraviskern wissen wir nur von Freigelassenen, doch besass mancher Eingeborene deren mehrere, beispielsweise *Ressatus* zwei, *Demiuncus* drei. Wozu die Eingeborenen ihre Freigelassenen benützten, darauf lässt sich aus dem Töpfergewerbe des *Ressatus* schliessen. Andernteils muss der Handels- und Gewerbecharakter der La Tène-zeitlichen Siedlung in Tabán (südlich des Legionslagers von Aquincum) in Betracht gezogen werden.¹⁴ Unter den Eingeborenen hielten nur diejenigen Sklaven, die aus irgendeinem Grunde aus der Stammesgemeinschaft bereits ausgeschieden, dieser entwachsen waren, wie die Handwerker und Kaufleute, die sich in Aquincum niedergelassen hatten.

5. *Weitere Nachweise der Sklavenwirtschaft in Pannonia Superior.* Abgesehen von der Sklavenwirtschaft der Bojer und der Eingeborenen von Emona deutet nichts darauf hin, dass von Eingeborenen, die peregrinisches Recht oder römisches Bürgerrecht genossen, Sklaven gehalten worden wären. Die Führerschicht der Städte setzte sich in dieser Provinz aus Siedlern fremden Ursprungs zusammen, somit können wir auch keine nennenswerte Sklavenbeschäftigung seitens der Eingeborenen erwarten. Auf die Sklavenwirtschaft dieser eingewanderten Bevölkerungsschicht hinweisende Inschriften stehen uns aus dem I. und II. Jahrhundert in grosser Anzahl zur Verfügung.

Emona: CIL III 10 776. *A. Lelius D. l. Rufus, Ti. Manlius q(uondam?) P. l. Seveo.* — CIL III 10 777. *Varia . . l. Primogenia.* — HS 179. *L. Metellus Cle(mens) II. vir.* Sein Freigelassener: *Eutyches.* — IIS 201. *Vitalis, Primigenius, Fidelis, Expeditus liberti.* (Vermutlich das Inschriftenbruchstück der Begräbnisstätte einer grösseren Sklavenfamilie.) — IIS 159. Zwei Sklaven des *C. Decius Aritus: Laetus und Doryphorus.* — CIL III 10 775. *Flavos*, Sklave des *L. Aemilius Berullus.* — CIL III 6475. *Urbana und Atimetus*, Sklaven des *Iulius Salvius.* — IIS 168. Bleierne tabella defixionis mit den Namen zahlreicher Sklaven: *Proculus, Virotouta, Constans*, Sklaven des *Firminus Optatus* und *Publius Porcius Munitus*, der als *servus publicus* freigelassen wurde (vgl. O. Cuntz, JAK VII, 205 ff.). Es scheint jedoch wenig wahrscheinlich, dass es sich hier um einen aus dem

¹³ G. ERDÉLYI: Intercisa I. (1954) 151, 79.

¹⁴ Zuletzt A. RADNÓTI: Budapest Múemlékei I (1955) 20 ff. mit Literaturnachweis.

Ostfeldzug des Porcius Cato mitgebrachten Sklaven handelt, da die Geschichte Emonas eine so frühe Datierung (56 v. u. Z.) nicht zulässt.

Stična: CIL III 3898. *Vaeturia Sp. l. Fausta, Habens, Peregrina*.

Vel. Malence: CIL III 10 810. *Sex. Iulius Sex. lib. Hyppa* ... (Seine Frau: *Iulia Avita* ist wahrscheinlich auch zugleich seine Mitfreigelassene.)

Čatež: CIL III 14 354²² *Medus, C. Trotedi negotiator[is servus]*.

Poctovio: CIL III 4080. *Septimia G. l. Festa*. (Nachdem ihr Sohn *G. Septimius G. f. Severus* ist, dürfte ihr Mann *G. Septimius* entweder ihr Patron oder Mitfreigelassener gewesen sein.) — CIL III 4071. Ungenannte Freigelassene des *C. Caesius C. f. Ingenius*. — IIS 411. *M. Titius Zosimus*, seine Frau *Titia Syra* (sind auf Grund der griechischen cognomina und des gleichen nomen gleichzeitig Freigelassene). IIS 399. Bruchstück eines Sklavengrabsteines, den *Lupianus actor »ex praecepto domini«* stellte.

Nedelja (Gross-Sonntag): CIL III 4107. *Ceius Maximus Aug. col.* und mehrere verstümmelte Namen. Nur soviel steht fest, dass sich unter diesen mehrere Freigelassene befinden.

Rotenturm (Vasvörösvár): CIL III 13 426. *Mercusenius Mesia l.* (Freigelassene von Istriern, vgl. A. DEGRASSI: Studi Aquileiesi [1953], 55.)

Unterpetersdorf: CIL III 4251. *P. Domatius P. f. Tergitio negotiator*, seine Frau und Freigelassene: *Domatia P. l. Vimpia*.

Scarbantia: Arch. Ért. 1911, 275. *Kania T. l. Urbana*. CIL III 4234. Freigelassener des *G. Pomponius Severus*: *G. P. Philinus*. — CIL III 14 355¹⁵. *Hilarus, natione Dalmata* und *Sassa, natione Dacia*, Sklaven des *T. Sempronius*. — CIL III 4257. *C. Farrax Ascanius*, Freigelassener des *C. Farrax Iucundus*. Sklave desselben: *Dasius*: CIL III 10 947. (Der Fundort dieses Grabsteines ist Hédervár, doch wurde er dorthin bestimmt von anderswo, wahrscheinlich aus Scarbantia verschleppt.) — CIL III 10 948. Amme und Freigelassene des *Ti. Iulius Princeps*: *Iulia Ti. l. Donata*.

Kisdőspuszta (Pápa): CIL III 6480 (= 10 954, Arch. Ért. 1928, 207). *L. Petronius L. l. Licco*¹⁵ und dessen Freigelassener *L. Petronius L. l. Cata-* oder *Catomocus*. (Nachdem *Liccos* Frau peregrina war, sind die übrigen Mitglieder der Familie Eingeborene mit peregrinischem Recht.)

Kékkút: CIL III 10 901. Freigelassener der *C. Ingenua C. f.*: *P. C. Adiutor*. (Der nomen C[...] kann nicht auf Claudius ergänzt werden, denn der praenomen P. wäre bei diesem nomen ungewöhnlich. Am ehesten kann man an irgendeinen anderen nomen italischen Ursprungs denken wie beispielsweise C[anius].)

Carnuntum: CIL III 4499. Des *L. Betulo Amandus*, domo Trever Freigelassener: *Betulo Creticus*. — CIL III 4501. *C. Valerius Sarnus* und dessen Frau *Valeria Dionysia, domo Sarmizegethusa*. (Wegen des gleichen nomen und des griechischen cognomen waren diese entweder gleichzeitig Freigelassene, oder war die Frau die Freigelassene ihres Mannes. — CIL III 11 238. *Apollonius Mithridatis lib.* — RLiÖ XVI, 40, 39. *Eucratus medicus*, Sklave des *C. Iulius Euthemus medicus*. — RLiÖ XVI, 41, 40. *M'. Flavius M'. f. Vel. Marcellus* und sein Freigelassener: *M'. Flavius Favor* (Velina: Tribus Aquileia). — CIL III 14 359⁴. *Vibius Cn. lib. Logus, nat. Ermundurur*. — CIL III 11 265. *Fabius Q. l. Chrysanthus*. — CIL III 11 281. *Vibia C. l. Citheris*. — JÖAI 37 (1948) Bbl. 255, 8. *Iuma*, Freigelassene des *F. Iucentius M. f.* — RLiÖ XVI, 43, 43. *Peregrinus, sutor caligarius, natione Dacus*, Sklave des *Q. Asinius*. — RLiÖ XVIII, 66, 23. Sklave des *P. Vedius P. f. Fab. Germanus*: *Florus*. (Am Grabstein befindet sich ein griechischer Grabvers. Demnach ist die *Fabia tribus* eher die tribus einer östlichen Stadt, vgl. KUBITSCHKE: a. W. 270.) — RLiÖ XVIII 99, 28. *Primigenia, C. Petroni ancilla*. — CIL III 4500. *M. Naevius Primigenius domo Naristus, Naevia coniunx*. (Der Zuname *Primigenius* weist auf einen Freigelassenen hin, worauf auch das gleiche nomen und die germanische Abstammung deutet.) — CIL III 4426 (= 11 089). Des *C. Vettius Sabinianus leg. Aug. pr. pr.* Freigelassener: *Nymphicus* (um das Jahr 167 u. Z.).

Brigetio: CIL II 11 056. Des *Q. Pompeius Fortunatus* Frau: *Pompeia Secunda*. (Zufolge des gleichen¹ nomen seine Freigelassene.) — CIL III 11 057. *T. Soranius T. f. Felix*, domo *Archelaide*. Seine Frau führt dasselbe nomen: *Sorania Agathe*.

Esztergom: CIL III 10 597. *Fusca (Tusca?) Barcatis lib.* (Nach ALFÖLDIS Ansicht ist die »dunkelhäutige« (Fusca), folglich afrikanische Freigelassene eines Barcas punischer Abstammung. (Bpest. Tört. I., 349.) Den Genitiv *Barcatis* müssen wir hingegen viel eher mit den semitischen Namen *Bargat-* oder *Bargad-* in Verbindung bringen (WUTHNOW :

¹⁵ Identisch mit einem auf einer Freigelassenen-Liste in Aquileia verzeichneten *L. Petronius Licco* (CIL V 8973), weshalb er eher zu den im Handel tätigen Freigelassenen gereiht werden müsste?

Semitische Menschnamen 33), denn der Genitiv des punischen Namens *Barcae* wäre *Barcae*. Vgl. dazu *Bargathes Regebali f. domo Ituraeus*, CIL III 4371 und CIL XII 4886, 4895.)

Der grössere Teil der hier aufgezählten Inschriften stammt noch aus dem I. Jahrhundert. Die nomina weisen zumeist auf Personen italischen Ursprungs hin, doch vom Ausgang des I. Jahrhunderts an finden wir unter ihnen auch solche westlicher (*Betulo*) und östlicher Abstammung (*Apollonius*, *Iulius Euthemus*, *Soranius Felix*, *Vedius Germanus*, *Fusca*). Die meisten Sklaven stammen jedoch, im Gegensatz zu den Sklaven der Bojer, aus dem Reich, worauf die griechischen und lateinischen Namen schliessen lassen. Höchstwahrscheinlich wurden diese Sklaven von einem der grossen Sklavenmärkte des Reiches durch Vermittlung Aquileias erworben. Den restlichen Teil stellen germanische (Hermundur und Narista) und dakische Sklaven (*Peregrinus*, *Sassa*) aus dem Barbaricum, die, wie wir schon bei den in Händen der Bojer befindlichen germanischen Sklaven bemerkten, über Carnuntum zu ihren Besitzern gelangten. Eingeborene Sklaven tauchen hier kaum auf, der einzige ist vielleicht *Petronius Licco*, der jedoch einen so allgemein gebräuchlichen illyrischen Namen trägt, dass dieser ebensogut auf dalmatischen Ursprung hinweisen könnte. Dasselbe ist auch bei *Dasius* der Fall.¹⁶ (Vgl. *Hilarus, natione Dalmata*.)

Was den wirtschaftlichen Charakter der in Pannonia Superior während des I. und II. Jahrhunderts bestandenen Sklavenwirtschaft betrifft, kann das gesamte Quellenmaterial nicht einheitlich beurteilt werden. Im Falle des *Medus* und vor allem der in Carnuntum Versammelten handelt es sich um Sklaven oder Freigelassene von Kaufleuten, die von diesen auch selbst im Handel beschäftigt wurden. Wir wissen, dass in Carnuntum, zumindest bis zur Entwicklung des Munizipiums, keine Grundbesitzerklasse bestanden hat, da sich die Stadt auf dem territorium legionis befand.¹⁷ *Betulo* aus Trier, *M. Flavius* aus Aquileia, der aus dem Osten stammende *Vedius* mögen solche Kaufleute gewesen sein, doch gewinnen wir mittelbar auch aus anderen Inschriften Freigelassener den Eindruck, dass sie Handelsbeauftragte ihres Patrons waren. *Vibius Logus* starb im Alter von 19 Jahren, *Fabius Chrysanthus* sechzehnjährig, die waren also nach den geltenden Gesetzen noch zu jung, um vollberechtigte, bei ihrer Freilassung mit Bürgerrechten bedachte Freigelassene zu werden. In so jugendlichem Lebensalter wurde die *iusta manumissio* unter anderem nur in solchen Fällen gestattet, in denen der Eigentümer Handelsbeauftragter bedurfte.¹⁸ Offensichtlich traf dies auch bei diesen jugendlichen Freigelassenen zu.

¹⁶ *Licco*: H. KRAHE : Lexikon altillyrischer Personennamen. 1929. 67. — *Dasius*: ebenda 37 f.

¹⁷ A. Mócsy : Acta Arch. Hung. 3 (1953) 187 f.

¹⁸ Gaius I, 18–19.

Ein anderer Teil der Sklaven betrieb irgendein Gewerbe, das seinem Herrn Nutzen einbrachte. *Eucratus* war Arzt, *Peregrinus* Schuhmacher. Auch diese sammelten sich in Carnuntum, was für die Handel und Gewerbe treibende frühe Bevölkerung der Canabae charakteristisch ist.¹⁹ Die Beurteilung der Sklaven und Freigelassenen der an der Bernsteinstrasse gelegenen Städte fällt schon schwerer. Die den *Laren* Altäre errichtenden *Laletus* und *Doryphorus* waren Haussklaven, dem Namen nach ebenso auch *Urbana*, alle drei in *Emona*. Die Bestimmung der übrigen scheint jedoch auf den ersten Blick ziemlich schwierig. Offenbar können wir aus Inschriften bloss eine gewisse höhere Klasse von Sklaven kennenlernen, doch müssten bei einer weiter verbreiteten Sklavenwirtschaft auch in Pannonien die zur Bezeichnung von Grabstätten ganzer Sklavenfamilien dienenden listenartigen Grabsteine vorgefunden werden, die jedoch, wie schon Štaerman erwähnt,²⁰ hier fehlen. Insgesamt können wir bloss zwei daran gemahnende Inschriftennachweise anführen: der eine ist ein Grabsteinbruchstück aus *Emona* mit den Namen mehrerer Freigelassener, der andere ein Grabstein aus *Poetovio*, den der Sklavenverwalter (*actor*)²¹ im Auftrag seines Herrn stellte. Diese zwei Funde zeugen offensichtlich von dem Vorhandensein grösserer Sklavenfamilien, doch kann deren wirtschaftlicher Beschäftigungscharakter nicht festgestellt werden. Wie wir sehen werden, müssen in *Pannonia Superior* in frühen Zeiten auch in der Landwirtschaft zahlreiche Sklaven beschäftigt gewesen sein, was auch durch die Entwicklung der Sklavenwirtschaft vom Ausgang des II. Jahrhunderts an bzw. durch das Auftreten des Kolonats bezeugt wird. Darauf weist auch die Art der Sklavenhaltung der Veteranen hin.

Im III. Jahrhundert sind uns nur noch sehr wenig Sklaven und Freigelassene in *Pannonia Superior* bekannt. Es sind das die folgenden:

Krško: CIL III 14 354²¹. *Theopompus servus*.

Topusko: HS 517. *Euhelpistus Hispani servus*.

Siscia: CIL III 3973. *M. Mulvius Narcissus*, seine Frau und Mitfreigelassene *Mulvia Rufina*. Deren Sohn, *Narcissianus*, Augustalis der *col. Sept. Sisc.* — CIL III 11 378 — 11 385. Auf Ziegel eingravierte Namen, mit Angaben der täglichen Arbeitsleistung in der Ziegelei: *Artemas*, *Candidus*, *Eulymenus*, *Felicio*, *Fortis*, *Fortunatus*, *Iustinus*, *Severus*. Wahrscheinlich allesamt Sklaven.

Varasd.-Toplice. CIL III 4120. Des *L. Fabius Cilo leg. Aug. pr. pr.* (201 u. Z.) Freigelassener: *Menander*.

Savaria. CIL III 4152. *Daphnus col. Sav. vil. Kal. Septimiani*. — CIL III 4169. *Ti. Claudius Togor(um?) lib. Eutyclus, Aug(ustalis)*. (Die mutmassliche Lesart der Inschrift gab uns Holder, II, 1870.) — CIL III 4206. *P. Postumius Romulus lib.*

Carnuntum. CIL III. 4423. *Iulia Aristiana*, Freigelassene des *C. Iulius Super proc. Augg. prov. Siciliae*. — CIL III 4504—4505. *Antonius M. lib.* . . . — CIL III 4510. Freigelassener unbekannten Namens des *Claudius Iucundus*. — CIL III 4414. *Adlectus servus T. C. V.* — CIL III 14 091. *Primigenius Pell. Arti (servus?)* — RLÖ XVI, 124, 57. *Rpailli (?)*, *Adiecte*, *Masvete*, *Agili*, *Sollemni* (charakteristische Sklavennamen im Dativ).

¹⁹ A. Mócsy: a. a. O. 182.

²⁰ E. M. Штaерман: ВДН 1951, 2, 97 f.

²¹ Vgl. Cod. Just. XI, 37.

Es sind dies zum Teil Freigelassene hochgestellter Reichsbeamten (Statthalter, Prokuratoren). Wenn wir von diesen absehen, bleiben uns kaum ein—zwei Inschriftennachweise, die in Betracht gezogen werden könnten. In Pannonia Superior müssen daher in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts grundlegende Änderungen vor sich gegangen sein, auf die wir zwar etliche Hinweise erhalten können, deren Verlauf jedoch vorläufig noch nicht klar umrissen werden kann.

Seit langem ist die aus dem Jahre 188 stammende, fünf Spalten enthaltende Liste aus Savaria bekannt,²² die im Auftrag (*iussi*) der in der Liste Aufgezählten von *Rubrius Euporio* und *Memmius Emeritus* »*Numinibus*« zusammengestellt wurde. Von den in der Liste enthaltenen 88 Personen sind 77 solche, die über drei Namen und über römisches Bürgerrecht verfügen (das praenomen fehlt), während die verbleibenden 11 peregrinisches Recht haben oder Sklaven sind. Es sind dies folgende :

- Curia I. *Paeon. Caes. mag.*
Symphorus Terrasia(ni servus?)
- Curia II. *Valentinus col.*
Secundinus col.
- Curia III. *Eutyches Apulei.*
Valentinus Caes.
- Curia IV. *Rufinus Flavian.*
Dionysius Vimior
- Curia V. *Sele(u)cus colonor(um servus)*
Colonius Valerianus.
Colon. Vindicianu(s) im.

Von den römischen Bürgern stellte schon Mommsen fest, dass diese »plerique curialium liberti sunt«.²³ Dass es sich hier nicht um den ordo von Savaria handelt, dass die Liste nicht das *album ordinis* darstellt, geht unzweifelhaft daraus hervor, dass darin auch Sklaven und Personen mit peregrinischem Recht Aufnahme fanden. Die Entscheidung darüber, welche Körperschaft es war, die die Inschrift anfertigen liess, würde ein gesondertes Studium beanspruchen,²⁴ vorläufig begnügen wir uns mit einigen Folgerungen, die sich aus ihr für die Sozialgeschichte ergeben.

Wenn wir die Gentilizien der auf der Liste verzeichneten Bürger der Reihe nach betrachten, fällt es in erster Linie auf, dass das Gentilizium der meisten italischer Herkunft ist, gleich dem schon früher aus Savaria oder einem anderen an der Bernsteinstrasse gelegenen Stadtgebiet bekannten.²⁵

²² CIL III 4150.

²³ ad CIL III 4150. Die cognomina weisen tatsächlich darauf hin: *Decibalus*, *Apollonius*, *Pegasus*, *Epitynchanus*, *Sozomenus* etc.

²⁴ Vgl. mit dem Rescriptum von Solva (205 u. Z.), wo ebenfalls Bürger mit peregrinisches Recht besitzenden Personen gleichzeitig genannt werden. RICCOBONO: *Fontes iuris antejust.* I². 444—445, 87.

²⁵ Besonders die selteneren Nomina: *Atilius*, *Caesius*, *Kanius*, *Farrax*, *Marcus* usw., von denen mehrere auch persönlich von den aus früheren Inschriften bekannten Familien abgeleitet werden können.

Die vermögende Klasse der Stadtbevölkerung wurde folglich auch im Jahre 188 noch grösstenteils von den Nachkommen italischer Einwanderer gebildet. Diese Schicht war demnach auch noch Ende des II. Jahrhunderts vorhanden, wenn auch die Zahl ihrer Sklaven und Freigelassenen abgenommen hatte.

Die bedeutungsvollste Lehre, die sich aus der Liste ergibt, ist das Auftreten der *Kolonen*. Unseres Wissens liegt hier das früheste Zeichen des Kolonats in Pannonien vor. Die Deutung der in besagter Liste enthaltenen diesbezüglichen Angaben hängt von der Auslegung der in der II. Kurienspalte befindlichen Bezeichnung »col.« ab, die den Namen *Valentinus* und *Secundinus* folgt. Diese Abkürzung kann entweder *col(onus)* bedeuten oder ist analog dem in der V. Kurienspalte angeführten *Sele(u)cus colonor(um servus)*.²⁶ Beide Namen sind lang genug, um eine derartige Abkürzung des Wortes *colonorum* durch Platzmangel begründen zu können. Es ist also durchaus nicht gewiss, ob *Valentinus* und *Secundinus* Kolonen waren, sie konnten ebensogut auch Sklaven von Kolonen gewesen sein wie *Seleucus*. Problematisch bleibt auch die Deutung der Bezeichnung *Colonijs*, denn diese steht anscheinend ohne Analogien. *Mommsen* zufolge bedeutet sie Freigelassene der Kolonen,²⁷ welche Erklärung analog dem seitens der freigelassenen Verwaltungssklaven gebrauchten Namen *Publicius* angemessen erscheint, der aus der Bezeichnung (*servus*) *publicus* durch Anhängen des üblichen Ableitungssuffixes -ius entstand.²⁸ In Savaria bedurfte es der Bezeichnung *Colonijs*, da dort Sklaven öfters gemeinsames Eigentum mehrerer Kolonen bildeten wie beispielsweise *Seleucus*. Somit konnten sie nach ihrer Freilassung nicht den Namen ihres Patrons annehmen, sondern gebrauchten den nach dem Vorbild *publicus* > *Publicius* gebildeten Namen *Colonijs*. Es lässt sich hieraus ferner auch darauf schliessen, dass die Kolonen so kleine Bodenstreifen bebauten, zu deren Bewirtschaftung mehreren Kolonen ein gemeinsamer Sklave genügte.

Um auf die obenerwähnte Alternative zurückzukehren, der zufolge die Abkürzung col. sowohl auf *col(onus)* als auch auf *col(onorum servus)* ergänzt werden kann, muss darauf hingewiesen werden, dass sich aus jeder der beiden Lösungen ein anderer Schluss ziehen lässt. Wenn *Valentinus* und *Secundinus* Kolonen waren, dann scheint die Aufstellung der Liste (im Jahre 188) in die Zeit der Entwicklung des Kolonats zu fallen, als der Grossteil der halbfreien oder unfreien Bevölkerung noch von Sklaven und Freigelassenen gebildet wurde, sind doch die Sklaven auf der genannten Liste den mit col(. . .) bezeichneten Personen gegenüber in der Mehrzahl.

²⁶ MOMMSEN: »*colonorum servi tres*« (ad CIL III 4150), somit hat auch er an eine solche Lösung gedacht. I. PAULOVICS (Lapidarium Savariense. 1943. 34) sieht in ihnen Kolonen.

²⁷ a. a. O. Vgl. CIL III p. 2606 und L. HALKIN: Ant. Cl. 4 (1955) 129 f.

²⁸ W. SCHULZE: Zur Gesch. lateinischer Eigennamen. 1904. 414, 1. und z. B. JbAk 1 (1907) 124a: Q. Publicius Tergest. 1.

Wir selbst halten die Lösung *col(onorum servus)* für richtiger. An und für sich ist es wenig wahrscheinlich, dass auf Inschriften neben dem Namen die Unterscheidungsbezeichnung »*colonus*« angeführt worden wäre, besonders nicht im II. Jahrhundert. Andernteils scheint *Colonus* das Nomen darzustellen, d. h. die Freigelassenen der Kolonen besaßen Bürgerrechte. Demzufolge mussten auch ihre Patrone römische Bürger sein. *Valentinus* und *Secundinus* waren jedoch keine Bürger, können demnach bloss Sklaven gewesen sein. Auf der besagten Liste sind daher die Kolonen nicht eigens bezeichnet, doch können wir unter den römischen Bürgern der Liste auch Kolonen vermuten, wenn es allenfalls auch nicht alle waren. Wie wir jedoch sahen, waren die in der Liste aufgezählten römischen Bürger Freigelassene der Savarischen Einwohner italischen Ursprungs. Wenn sie zugleich auch Kolonen waren, bedeutet das soviel, dass die städtischen Grundbesitzer ihre Güter mit ihren eigenen freigelassenen Sklaven besiedelten.

Weitergehende Schlüsse können auf diesen Vorgang aus der Savarischen Liste nicht gezogen werden. Soviel scheint jedenfalls festzustehen, dass der Rückgang der Sklavenwirtschaft in Pannonia Superior mit der Entwicklung des Kolonats in Zusammenhang steht. Auf Grund des vorhergesagten kann nunmehr mit grösster Wahrscheinlichkeit behauptet werden, dass die Sklaven der Stadtbevölkerung in Pannonia Superior vorwiegend in der Landwirtschaft beschäftigt waren.

6. *Die Sklavenwirtschaft in Pannonia Inferior.* Aus den ersten zwei Jahrhunderten können wir nur wenig Inschriften anführen.

Aquinum: CIL III 3607 (= 10 387). *A. Vettius A. l. Crescens*, seine Frau und Freigelassene *Vettia A. l. Nome*. Auf demselben Grabstein noch *L. Vipstanus L. l. Senecio*. — CIL III 14 352². *L. Marcius Felix*, seine Frau und Mitfreigelassene *Marcia (mulieris) lib. Aethale*. — CIL III 14 352³. *Ociusus Candidus*, Freigelassener des *L. Ociusus Domitianus*. (Des letzteren Frau und Freigelassene, mithin die Mutter des *Candidus* dürfte *Ocusi Filu[mene?]* gewesen sein.) — CIL III 10 551. *C. Iulius Euritus, domo Alexandria* und dessen Brüder und Mitfreigelassene: *Iulii Crispinus, Lynx*. — Germania 16 (1932), 290. *Luopintania L. . . lib. Serg. Aquinco* (ein Mitglied der Kölner Kaufmannskolonie). — CIL III 10 558. *C. Vadi(us) Locomo lib.* — Bpest. Rég. XV, 458 (457,7) . . . *mus servus*. (Vielleicht schon aus dem III. Jahrhundert.)

Mursa: CIL III 15 146. *C. Iulius Successus* und dessen Mitfreigelassene *Iulia C. l. Prinilla*.

Alle diese sind fremden Ursprungs. *Vettius, Marcius, Iulius Euritus* sind unter diejenigen kaufmännisch tätigen Freigelassenen einzureihen, die von ihrem Patron aus anderen Provinzen als Handelsbeauftragte nach Pannonien entsendet wurden. Neben den wahrscheinlich italischen *Marcus, Vettius* und *Ociusus* finden wir den aus dem Osten stammenden *Iulius Euritus* und aus der Rheingegend Luepintania. Dieses buntzusammengewürfelte Bild weist auf das Zuströmen von Kaufleuten hin. In Pannonia Inferior hielten demnach sowohl die Eingeborenen als auch die Fremden im I. und II. Jahrhundert nur wenig Sklaven und beschäftigten diese im Handel und Gewerbe.

Nach den Marcus-Kriegen wächst die Zahl der Sklaven und Freigelassenen sprunghaft an.

Brigetio: CIL III 11 054. *Elvia Successa*, Freigelassene und Frau des *Elvius Vitalis*. (Wahrscheinlich eine thrakische Familie.) — CIL III 11 055. *Mataconius Augendus*, Freigelassener des *Mataconius Tasgilla*. (Westlicher, germanischer Abstammung.) — CIL III 10 994. *Claudia Maura liberta*. (Auf demselben Grabstein noch mehrere *Claudii*, vermutlich ebenfalls Freigelassene.) — CIL III 14 069. *Philumena, G. Spuri Onesimi (serva)*.

Aquincum: CIL III 3416 (= 10 379) *Ti. Haterius Callinicus*. (Wahrscheinlich Freigelassener des Statthalters *Haterius Saturninus*.) — CIL III 10 534. Des *T. Flavius Crispinus dec. mun. Brig. eq. publ.* Freigelassener: *T. Fl. Eutyches*. — CIL III 14 344 — 14 347. *G. Iulius Primus, G. Iulius Ingenius scriba col. Aqu.*, Freigelassene des *C. Iulius Victorinus dec. col. Aqu.* — Arch. Ért. 1937, 94. *T. Flavius Felicio, Aug. col. Aqu.*, dessen Frau und Mitfreigelassene *Flavia Secundina*. — CIL III 13 367 (= 3533). *Aurelii Augendus et Amandus*, Freigelassene des *M. Aur. . . . Aug. col. Aqu.* — CIL III 3583. Des *C. Iulius Filetus* Frau *Iulia Euthenia* (die zufolge des gleichlautenden Namens vermutlich die Freigelassene ihres Mannes ist, Afrikaner). — CIL III 10 545. *Euhelpistus libertus*. — V. KUZINSZKY: Aquincum. Ausgrabungen und Funde (1934) 66, 282. Des *Sex. Pompeius Carpus medicus domo Antiochia* Freigelassener: *Pompeius Marcellus*. CIL III 3482. *Pannonius*, Freigelassener des *Sex. Iuventius . . .* — CIL III 6463 (= 10 391). *Alfius Vitalis*. — CIL III 10 468 (= 3483). *Victo(r) Val. Vitalis (servus)*. — Bpest Rég. XII, 125, 45. *Polyidus Aur. Aniceti (servus)*. — CIL III 13 381. *Secu . . . et Primitiva liberti*. — CIL III 10 559. . . . *er Cornelius . . . lib.* — Bpest Rég. IX, 43, 6. . . . *Victorinus T. . . Grati lib.* — CIL III 10 554, 10 566. Freigelassene unbekannten Namens auf Inschriftenbruchstücken.

Intercisa: Intercisa I. Nr. 69. *Ulpia Tertia liberta*. — Nr. 124. *Thalassius, Encolpio*. (Wahrscheinlich Freigelassene des *M. Marius Marinus dec. mun. Volg.*) — Nr. 371. *Chrysimus sir(vus)*. (*sic*). — Nr. 399. *Eutices ser(vus)*.

Mursa: CIL III 15 141. (*T. Hortensius*) *Asclepiades*, Freigelassener des *T. Hort. Frequens dec. col. Murs. equo publ.* — Vjesn. horv. 6 (1902) 101. *Flavius Philippus*, Freigelassener des *T. Fl. Martinus dec. col. Murs.* (Letztere zwei Inschriften stammen gegebenenfalls noch aus der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts.)

Banoštor: Arch. Ért. 1902. 350. *M. Cacc(i)lius Hyman lib.*

Auch hier herrschen die aus der Fremde stammenden Sklavenhalter vor. Ihr Grossteil ist östlichen Ursprungs, doch sind unter ihnen auch solche, die aus Afrika und solche, die aus dem Westen stammen. Auch in den Stadtmagistraten sind die aus der Fremde gekommenen stark vertreten, so dass ihnen gegenüber die ortsansässige Aristokratie gänzlich in den Hintergrund tritt. Ferner müssen diese fremden Sklavenhalter anscheinend auch über ein beträchtliches Vermögen verfügt haben, da unter ihnen mehrere im Ritterstand sind. Bei Beurteilung der Art und Weise der Sklavenwirtschaft müssen wir jedoch die Sklaven und Freigelassenen der Soldaten, vor allem auch der Veteranen berücksichtigen, denn erst deren Anwachsen rückt das Wesen der von den Zivilpersonen betriebenen Sklavenwirtschaft ins rechte Licht.

7. Die Sklavenwirtschaft der Veteranen

I. Jahrhundert :

Emona. CIL III 3845. *L. Oclatius Tarquiniensis vet. leg. XV Apoll.* — *L. Oclatia Expectata liberta*.

Poetovio. CIL III 10 878. *C. Cassius C. f. Celer Cremona, vet. leg. VIII Aug.* — *Tuce (= Tyche) liberta*. — HS 379. *A. Postumius Seneca Parma, vet. leg. XI (Claud)*. — *Postumia Iucunda et Primigenius liberti*.

Ondód. Ann. Sav. III, 98–99, 7–8. *Sex. Uttiedius (Utidius, Utiedius) C. f. Cl. Celer vet. leg. XV Apoll.* — Dessen Freigelassene: *Carnuntina, Valens, Provincia, Repen-*

tina). — Ann. Sav. III, 98, 5. *L. Naevius Ter. f. Rufus Mediolano, vet. leg. XV Apoll. deduct. col. Cl. Savariam*; seine Frau *Naevia . . . lla*; sein Freigelassener *L. Naevius Silvanus*.

Scarbantia: Arch. Ért. 1911, 366. *C. Cotonius C. f. Pol. Campanus vet. leg. XV Apoll.* — *Cotonia Prima liberta et coniunx.* — CIL III 4245. *P. Pompeius P. f. Volt. Colonus Viana, vet. leg. IIII Fl.* — *Pompeia Fusca lib.*

Walbersdorf (Borbolya): Arch. Ért. 1901, 67–69. *Iulia Petroni lib. Urbana.* (*C. Petronius C. f. domo Mopsisto miss. ala Gemelliana und Iulius Rufus vet. ala Scub.*) *Dacipora Calacti lib.*

Carnuntum. RLiÖ XVI, 20, 17. *L. Armentiacus L. f. Cla. Verona, vet. leg. XV Apoll.* — *Apta liberta et coniunx.* — CIL III 11 229. *C. Pedusius M. f. Ani. Cremona, vet. leg. XV. Apoll.* — *Amanda liberta.* — RLiÖ XVII, 82. *M. Geminius M. f. Cla. vet. leg. XV Apoll.* — *M. Geminius Aria libertus.*

II. Jahrhundert :

Savaria. CIL III 4191. *L. Valerius L. f. Censorinus vet. leg. I adi. dec. col. Cl. Sav. ex bf. cos.* Den Grabstein errichtete der Veteran seiner Familie und *lib(ertis) lib(ertabus-que)*.

Carnuntum. CIL III 11 209. *M. Antonius Pap. Cele(r) Ticino, vet. leg. XIII Gem.* — Seine Freigelassenen : *Au . . . cus, Citus.* — CIL III 11 222. *C. Iulius Valens vet. leg. I adi.* — Dessen Frau und vielleicht auch Freigelassene : *Iulia Iulia.*

Brigetio: CIL III 11 030. Des *M. Munatius Placidus Iconio vet. leg. I adi.* Freigelassener : *Abascantus domo Moesicus.* (Die Lesart der Inschrift ist hier ungewiss, möglich, dass es sich um noch einen Freigelassenen namens Tertius handelt.)

Környe: Laur. Aqu. II, 87. . . . *leg. XIII Gem. Marcianus servus.*

Aquincum: CIL III 10 511. *Ti. Claudius Dasius vet. leg. II adi.* Seine Frau und vielleicht auch Freigelassene : *Claudia Irene.*

Unbekannter Fundort: CIL III 3680. *M. Granius Datus vet. leg. II adi. domo Africa Sufella.* — Seine Freigelassenen : *Gratii Felix, Martinus.*

III. Jahrhundert :

Carnuntum: CIL III 4458. *M. Aurelius Aficus domo Nicapolis vet. leg. XIII Gem., Liberta : Aurelia Septumina.*

Arrabona: CIL III 4370. *Aur. Marcus vet. al. I Ulp. Cont., Liberta : Aurelia Veneria.* — CIL III 4369. *Aur. Doriso vet. ex stat. praef. al. Cont.* Seine Frau (und Freigelassene?) *Aur. Noeren.* (Thraker).

Brigetio: CIL III 4318. *Aur. Heuticinus vet. ex bf.* — Liberta : *Aurelia Victorida, Alumnus : Hermetio.* — CIL III 4297. *M. Aurelius Teren(tius?) vet. leg. I adi., Libertus : Aur. Demophilus.* — CIL III 11 027 (= 4322). *M. Iulius Proculus vet. leg. I ad.* — Seine Freigelassenen : *Iulius Primio, Aug. mun. Brig. und Iulius Eutyches.*

Aquincum: Bpest. Rég. XIV, 561 und CIL III 11 076 (Brigetio). *P. Aelius Domitius vet. leg. II. adi. domo Erapuli cives Surus.* — Dessen Freigelassene : *P. Aelius Respectianus, Aelias (sic) Fortunata et Ingenua.* — CIL III 10 560. *Aur. Sa . . . , vet., libertus.*

Das erste, was uns hier auffällt, ist das Wechseln der Fundorte in den verschiedenen Jahrhunderten. Während des I. Jahrhunderts begegnen wir diesen Inschriften nur in Pannonia Superior, was ohne weiteres verständlich ist, da die Legionen damals nur hier Lager besaßen. Soldaten der Hilfstruppen hielten hingegen laut der uns bisher zur Verfügung stehenden Angaben keine Sklaven. Während jedoch auf die spätere Zeit bezügliche Inschriften-nachweise Sklaven haltender Veteranen nur bei den Lagerplätzen zutage gefördert wurden, begegnen wir aus dem I. Jahrhundert solchen Inschriften auch auf Gebieten bürgerlicher Siedlungen (in Emona, Ondód, Scarbantia, Walbersdorf). Bei diesen müssen wir an die *missio agraria* denken. Im II. und

III. Jahrhundert hielten jedoch offenbar nur solche Veteranen Sklaven und Freigelassene, die sich um die Lagerplätze scharten, d. h. also die, welche im Rahmen der *missio nummaria* verabschiedet wurden.²⁹

Der Betrag der *honesta missio* reichte zum Ankauf mehrerer Sklaven, es nimmt demnach keineswegs Wunder, dass manche Veteranen auch über 5—6 Freigelassene verfügten. Diese müssen wir uns im Falle einer *missio nummaria* als Handels- oder Gewerbesklaven vorstellen, die durch ihre Beschäftigungsart ihrem Herrn Gewinn einbrachten. Wie gewinnbringend dies und wie bedeutend die in den Händen der Veteranen vereinigte Handels- und Gewerbebetätigung war, geht daraus hervor, dass mehrere Freigelassene der Veteranen Augustales wurden.

Bei Verabschiedung mit der *missio agraria* beschäftigten die Veteranen ihre Sklaven bei der Bebauung der ihnen zugewiesenen Felder, doch kann diese landwirtschaftliche Beschäftigungsart nur im I. Jahrhundert nachgewiesen werden, einesteils deshalb, weil nur im I. Jahrhundert grössere Mengen von Veteranen angesiedelt wurden, andernteils weil im II. und III. Jahrhundert der überwiegende Teil der Legionäre aus den Reihen der eingeborenen Kleinbauern ausgehoben wurde, die nach ihrer Verabschiedung in ihre Heimatdörfer zurückkehrten, wo zur Bewirtschaftung der Kleinbauerngüter kaum jemals Sklaven herangezogen wurden. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass auch späterhin nur Veteranen fremden Ursprungs Sklaven hielten.

Der Rückgang der Sklavenwirtschaft in Pannonia Superior kann auch bei den Veteranen beobachtet werden. Die Zusammenstellung der Inschriften beweist deutlich, dass es im III. Jahrhundert nur noch fast ausschliesslich in Pannonia Inferior Veteranen gab, die sich Sklaven hielten.

Wie wir sahen, stand in Pannonia Superior die Sklavenwirtschaft der Veteranen im I. Jahrhundert mit der Landzuteilung an die Veteranen und deren Ansiedlung im Zusammenhang. Solche Veteranen fanden dann auch in die leitende Schicht der Stadtbevölkerung Aufnahme, wie beispielsweise *Valerius Censorinus* in Savaria. Vermutlich geht die scheinbar in bürgerlichen Händen befindliche Sklavenwirtschaft in Pannonia Superior zum Teil ebenfalls auf die Ansiedlung von Veteranen zurück, weshalb wir auf den anscheinend landwirtschaftlichen Charakter der Sklavenwirtschaft des I. und II. Jahrhunderts in Pannonia Superior hinwiesen. Die den Veteranen zugewiesenen Grundstücke dürften ebenso gross gewesen sein wie die durchschnittlichen Dekurionen-Güter. Bei der Bevölkerungsentwicklung der an der Bernsteinstrasse gelegenen Städte kam jedoch bekanntlich den Veteranen eine bedeutende, wenn nicht gar entscheidende Rolle zu.³⁰

8. *Die Sklavenwirtschaft der Soldaten.* Das auf die Sklavenwirtschaft

²⁹ Auf dem *territorium legionis* kann keine *missio agraria* stattgefunden haben.

³⁰ In unserem in Vorbereitung befindlichen Werk (Geschichte der Bevölkerung Pannoniens) werden wir näher darauf eingehen.

der Offiziere bezüglich der Inschriftenmaterial verteilt sich sowohl in zeitlicher wie in örtlicher Hinsicht gleichmässig und steht offenbar in keinem Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung des Sklaventums in Pannonien.

I. Jahrhundert :

Siscia: CIL III 10 854. *M. Mucius Hegetor med. coh. XXXII. vol.* — Seine Frau *Mucia Corinthilla*.

Scarbantia: CIL III 10 946. *L. Attienus Rufus (centurio).* — *Atebla lib., Scarbantilla serva.*

Schattendorf: CIL III 4246. *C. Statius Verus (centurio) leg. XIII Gem.* — *C. Statius C. l. Gratus.*

Carnuntum: RLiÖ XVI. 14, 10. *T. Alfius Macrinus (centurio) leg. X. Gem.* — *Diadumenus servus.*

Teutoburgium: CIL III 3271. *Ti. Claudius Britti f. Valerius dec. alae II Arav. domo Hisp.* — Seine Frau, vielleicht auch Freigelassene: *Claudia Ianuaria.*

II. Jahrhundert :

Poetovio: IIS 374. *L. Fannius L. f. Cl. Quadratus opt. leg. I. ad. miss. numm.* Seine Freigelassenen: *Urba . . ., Iust . . ., Primitius.*

Brigetio: CIL III 4320. *C. Iulius C. f. Fab. A(t)tianus stip. 40.* (Auf Grund der hohen Stipendienzahle müssen wir an einen centurio denken.) Sein Freigelassener: *C. Iulius Crescens.*

Aquincum: CIL III 3550. *Iulius Crescens centurio leg. X. Gem.* Seine Frau: *Iulia Iulia*; sein Freigelassener: *Iulius Athenius.* — CIL III 10 716. *Greca (sic) ancilla Lupi optionis leg. II.* — CIL III 10 526. *Thl . . . us lib.* — Bpest. Rég. XV, 462. *Iulia Lac(ini) lib.* — *Cl. Dubitatus hastatus coh. VII.*

Vinkovce: CIL III 13 360. *M. Herennius Tro. Valens Salona centurio.* Dessen Freigelassener: *Herennius Helius.*

III. Jahrhundert :

Carnuntum: CIL III 14 356^{sb}. *Ansius Proculus p(r)imus p(ilus).* *Ansius Archelaus lib.* — CIL III 14 356^{sa}. *Britticus Crescens (primus pilus?).* *Dionysius actor.* — CIL III 4445. *Agathodorus actor.*

Aquincum: CIL III 3478. *Cornelius Paullus p. p. leg. II. ad.* — *Cornelius Abascantus lib.* (Bezüglich der Freigelassenen der primi pili siehe: A. Mócsy: Acta Arch. Hung. 3 [1953] 189 f.) — CIL III 3561. *Pompulenus Iunius centurio leg. II ad. Pompulenus Adauctus lib.*

Unbekannter Fundort. CIL III 10 610. *G. Valerius Maximus centurio leg. II Parth. VI Ferr. XIII Gem.* — *Valerius Euteles libertus.*

In regionaler und zeitlicher Hinsicht können die auf die Sklavenhaltung der gemeinen Soldaten bezüglichen Nachweise gleicherweise eingeteilt werden wie die der Veteranen. Im I. Jahrhundert begegnen wir ihnen in Pannonia Superior, während sich im III. Jahrhundert das Übergewicht nach Pannonia Inferior verschiebt. Somit kann also auch die Sklavenvirtschaft der Soldaten als Folge der allgemeinen Entwicklung betrachtet werden.

I. Jahrhundert :

Carnuntum: CIL III 13 480. Des *P. Afranius Maior, mil. leg. XV Apoll.* Freigelassene: *Afrania Hilara.* — CIL III 4456. *L. Aurelius Celer Ara, mil. leg. XV Apoll.* Seinen Grabstein errichteten ihm *«liberti eius».* — RLiÖ XII 316. *C. Atius C. f. Vot.*

Exoratus mil. leg. XV Apoll. — Sucesus lib. — CIL III 13 483. *C. Iulius C. f. Corne. Thessal. mil. leg. XV Apoll. — Bassus lib. —* RLiÖ XVI, 33, 29. *C. Iulius C. f. Cl. Doles Apris mil. leg. XV Apoll. — Iulia Fortunata liberta. —* RLiÖ XVIII, 43, 8. *C. Licinnius C. f. Rufus Savaria mil. leg. XV Apoll. — Spatale lib. —* CIL III 11 215. Vermutlich war der Freigelassene eines Legionärs: *L. Cliternius L. l. veterinarius leg.* (dessen Freigelassener: Cliternius Pacatus). Das Nomen kommt in Cremona vor (SCHULZE: Zur. Gesch. lat. Eigennamen, 232.) und in der legio XV. Apollinaris dienten mehrere aus Cremona stammende Soldaten.

Bruck a. d. Leitha: CIL III 14 359¹⁴. Am Grabstein des *Aulius L. f. Tro. mil. leg. XV. Apoll.: Fidelis, C. Auli servus.*

II. Jahrhundert :

Carnuntum: CIL III 11 221. *S. Gellius Urbicus mil. leg. I. ad. nat. Cilix.* Seine Freigelassene: *Gellia . . . nica.*

Aquincum: CIL III 10 512. *C. Iulius M. (f.) Menilaeus mil. leg. I. ad. — Iulius Ampliatus lib.*

III. Jahrhundert :

Tuskevár: CIL III 10 955. *G. Iulius Constans bf. cos.,* seine Frau *Iulia Severa.* (Auf Grund des gleichlautenden Nomen scheint die Frau seine Freigelassene zu sein.)

Carnuntum: CIL III 11 182. *C. Servil. Potent . . . leg. X. Gem. Verus servus.*

Brigetio: CIL III 11 028. *Iulius Serenus mil. leg. I ad. — Iulia Rufina.*

Aquincum: CIL III 14 348. *M. Aurelius Vibianus mil. leg. II ad. — Aurclius Bavla libertus.* (Germanisch, Fiebiger—Schmidt, 302.) — CIL III 10 510. *Ti. Claudius Constans mil. leg. II ad.,* dessen Frau und Freigelassene *Claudia Firma.* Freigelassener beider *Claudius Tacitus,* zugleich Bruder des *Claudius Firminus,* Sohnes des *Constans.* Das ist nur so möglich, dass Tacitus zugleich mit seiner Mutter freigelassen wurde, während Firminus bereits frei geboren wurde. Vgl. J. SZILÁGYI: Bpest. Tört. I, 511. — KUZSINSZKY a. W. 201, 344. *Iulius Tertius str. cos. — Furnia vernacula. —* CIL III 10 501. *T. Aelius Iustus hydraularius leg. II. ad. Seine Frau: Aelia Sabina. —* CIL III 14 347³. *P. Aelius Valerius spec. leg. II. ad.* Dessen Frau und Freigelassene: *Aelia Alexandria. —* CIL III 3553. *Iulius Tatulon mil. leg. II. ad. bf. trib. — Iulia Probilla liberta. —* Arch. Ért. 1928, 214. *Aelius Sabinianus bf. cos. leg. II. ad. — Aelius Donatus libertus. —* CIL III 3534. *Aur. Antoninus sig. leg. II ad.* Sein Freigelassener: *Aurelius . . .*

Intercisa: Intercisa I, Nr. 16. Des *Aurelius Monimus bf. trib. coh. mil. Hem.* Freigelassener *C. Bassus.*

Vor allem muss es auffallen, dass sich ein aktiver Soldat aus seinem Sold einen Sklaven kaufen konnte, da der Jahressold im I. Jahrhundert 270—300 Denare, der Kaufpreis eines Sklaven jedoch im Durchschnitt 300—600 Denare betrug. Im II. und III. Jahrhundert steht ein jährlicher Sold von 300—500 Denaren einem durchschnittlichen Sklavenkaufpreis von 175—700 Denaren gegenüber.³¹ Diese Gegenüberstellung bietet die Erklärung dafür, dass wir auf Grabinschriften zahlreichen minderjährigen Sklaven begegnen, die sich die Soldaten wegen ihres geringeren Kaufpreises leichter erwerben konnten. Vermutlich schafften sich die Soldaten meist ganz junge Sklaven an, um sie dann selbst aufzuziehen, und es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass wir Alunnen,³² d. h. also ausgesetzte und von anderen als Sklaven aufgezogene Kinder in Pannonien ausschliesslich im Besitze von Soldaten

³¹ W. L. WESTERMAN: a. a. O. 1011. — E. M. Штaepман: ВДИ 1951, 2, 98.

³² MAU: PW—RE I, 1706. — M. BANG: Röm. Mitt. 27 (1912) 202 f.

antreffen. Die diesbezüglichen Nachweise stammen alle aus dem III. Jahrhundert.

Terbina: CIL III 3913. (aus dem Jahr 204 u. Z.) . . . *coh. IIII Aqu. — Gaianus alumnus*.

Carnuntum: CIL III 4459. *Aurelius Valentinus mil. leg. XIIII Gem. — Aurelii Micunes, Valentia alumni*.

Brigetio: CIL III 4318. *Aurelius Heuticinus vet. bf. leg. — Hermetio alumnus*. — CIL III 11 034. *T. Statilius Solo p. p. leg. I. ad. — Epaphroditus alumnus*.

Aquincum: CIL III 6462 (= 10 390) [. . . *Ursinus alumnus*. Am verstümmelten Grabstein sind Soldaten verzeichnet.

Eine andere Art der Sklavenbeschaffung bestand für die Soldaten in der Erwerbung von Kriegsgefangenen, doch ist es immerhin interessant, dass uns aus früheren Zeiten mehr Fälle von versklavten Kriegsgefangenen bekannt sind als aus späteren Zeiten. Später wissen wir nur vom germanischen Freigelassenen Bavila, der aus dem Barbaricum stammt. Das mag teilweise wohl darin seine Begründung finden, dass die Regierung wegen des im Reiche herrschenden Sklavenmangels die Kriegsgefangenen in späteren Zeiten für sich beanspruchte. Auch ist es möglich, dass auf Grund der mit den Barbaren getroffenen Vereinbarungen später die Kriegsgefangenen nicht mehr als Sklaven verkauft werden konnten, sondern gegen die in den Händen der Barbaren befindlichen römischen Kriegsgefangenen ausgetauscht werden mussten. Vermutlich befasste sich in der Nähe der Lagerplätze auch der Schwarzhandel mit der Verwertung der Kriegsgefangenen, weshalb diese zumeist nicht in den Händen der Soldaten verblieben, sondern möglichst rasch nach den Sklavenmärkten ins Reichsinnere weiterbefördert wurden.

Wozu hielten sich die Soldaten Sklaven? Von den 23 aus dem I. Jahrhundert stammenden Inschriften, die von im Besitze von Soldaten befindlichen Sklaven und Freigelassenen Zeugnis ablegen, beziehen sich 16 auf Sklavinnen und weibliche Freigelassene. Dies ist besonders bezeichnend für die Veteranen. Bei einem Teil dieser Inschriften begegnen wir der Bezeichnung *liberta et coniunx*, was den Sachverhalt klärt. Dieser Umstand muss besonders hervorgehoben werden, denn zur gleichen Zeit pflegten sich die Soldaten der Hilfstuppen aus der Gegend der Lagerplätze eingeborene, über peregrinisches Recht verfügende Frauen zu nehmen. Bei den Legionären finden wir keine Spur dieser Sitte. Legionärsfrauen sind zumeist Freigelassene ihrer Ehemänner oder in selteneren Fällen Frauen mit römischem Bürgerrecht, die nicht aus der Provinz des Standortes stammen. Das hatte offenbar seine gesellschaftlichen und rechtlichen Gründe. Der über Bürgerrechte verfügende Legionär erhielt bei seiner Verabschiedung kein *ius connubii*, d. h. die aus seiner Ehe mit einer über peregrinisches Recht verfügenden Frau stammenden Kinder konnten keine römischen Bürger werden,³³ während die ihm von einer Sklavin

³³ . . . *ex iis, inter quos non est connubium, qui nascitur, iure gentium matris conditionem accedit*. Gaius, I, 78.

geborenen Kinder im Falle einer *iusta manumissio* es werden konnten, nachdem die *manumissio* der freigelassenen Ehefrau die Rechte ihres Ehemannes und Patrons verlieh. Entscheidend war auch der Umstand, dass die Legionäre im I. Jahrhundert inmitten der ortsansässigen Bevölkerung der Provinz noch ziemlich isoliert dastanden. Von den in Stammesverbänden lebenden Eingeborenen trennten sie tiefgreifende Unterschiede gesellschaftlicher, rechtlicher und kultureller Natur und in der Umgebung der Lagerplätze konnten sie schwerlich Frauen finden, die ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprachen.

Ferner können wir beobachten, dass während im I. Jahrhundert zwei Drittel der im Dienste der Soldaten stehenden Freigelassenen noch weiblichen Geschlechtes waren, sich dieses Verhältnis im II. Jahrhundert ausgleicht und schliesslich im III. Jahrhundert die Männer das Übergewicht bekommen. Zweierlei Umstände dürften für diese Verschiebung der Verhältnisse entscheidend gewesen sein, einerseits die Romanisierung der Provinzbevölkerung und die Besserung ihrer Rechtslage, andererseits das Übergehen auf die örtliche Soldatenaushebung. Von dieser Zeit an nehmen sich die Soldaten ihre Frauen aus den Reihen der einheimischen, mit Bürgerrechten versehenen Bevölkerung. Freilich blieb die Sitte des Sklavenkonkubinats auch noch weiterhin bestehen, jedoch in weit geringerem Mass als zuvor.

Wir zitierten bereits eine Stelle aus Gaius,³⁴ in der er der Reihe nach die Fälle anführt, in denen Sklaven unter 30 Jahren mit Vollberechtigung freigelassen werden konnten. Diese in Punkte gefassten Bedingungen sind es wert, hier aufgezählt zu werden: 1. wenn der betreffende Sklave der Sohn, Bruder, Erzieher oder Alumne seines Herrn war, 2. wenn er aus seinem Sklaven einen Prokurator machen wollte, 3. wenn er seine Sklavin ehelichen wollte. Damit ist eine ausreichende Erklärung für die vielen unter 30 Jahren Freigelassenen der Soldaten gegeben. Die Schaffung von Prokuratoren kann im Gegensatz zur bürgerlichen Sklavenwirtschaft keine grosse Rolle gespielt haben, von um so grösserer Bedeutung war jedoch die Befreiung der Familienangehörigen der Soldaten aus der Sklaverei (wie dies beispielsweise bei der Familie des *Cl. Constans* in Aquincum der Fall war).

Ihre männlichen Sklaven verwendeten die Soldaten zum Erwerb eines Nebenverdienstes als Handwerker oder vermieteten sie als Arbeitskräfte. Das dürfte jedoch von untergeordneter Bedeutung gewesen sein, da den Soldaten Privatgeschäfte verboten waren. Es steht zwar fest, dass die Verhältniszahl der männlichen Sklaven gerade im III. Jahrhundert zunimmt, doch eben zur selben Zeit lässt sich eine gewisse Lockerung dieses Verbotes feststellen.³⁵

Im III. Jahrhundert begegnen wir fast nur noch in Pannonia Inferior Soldaten als Sklavenhaltern, und auch diese sind ausnahmslos fremder Abstam-

³⁴ I, 19.

³⁵ A. Mócsy: a. a. O. 192.

mung. Die zahlreichen einheimischen Legionäre halten weder in den Lagerplätzen noch auch in anderen Siedlungsgebieten der Provinz Sklaven. Es lässt sich hierbei ein Vergleich mit der Sklavenwirtschaft der Veteranen und Zivilpersonen in Pannonia Inferior anstellen. Hier kann, im Gegensatz zur Lage in Pannonia Superior, weder die Sklavenwirtschaft der Veteranen noch die der Soldaten mit der Bestellung der Felder in Zusammenhang gebracht werden, was übrigens mit dem kleinbäuerlichen Charakter der Bevölkerung von Pannonia Inferior in Einklang steht.

9. *Sklaven pannonischen Ursprungs.* Wie M. Bang ausführt,³⁶ brauchte das Reich nicht nur Sklaven, sondern auch Soldaten. Die Donauprovinzen stellten jedoch bekanntermassen recht gutes Soldatenmaterial. Und deshalb wissen wir nur von sehr wenigen pannonischen Sklaven, deren Namen wie folgt:

Mainz: CIL XIII 7247. *Capito Arri lib. argentarius natione Pannonius* (I. Jh.)
 Arezzo: Meisterstempel auf einem Sigillata-Gefäss: *Breucus lib. Noni.* (I. Jh.)
 CIL XIII 5378.
 Athen: Ath. Mitt. 25 (1900) 302. *Áάφρος Παννόνιος.*

Diese Sklaven stammen alle aus dem I. Jahrhundert, waren demnach höchstwahrscheinlich bei der Eroberung der Provinz versklavt worden, denn das war unseres Wissens die einzige Gelegenheit, bei der pannonische Eingeborene als Sklaven verschleppt wurden. Darüber schreibt Cassius Dio: Nach der Niederlage mussten die Pannonen ihre Waffen ausliefern und die Jugend wurde ausser Landes verschleppt, um als Sklaven verkauft zu werden.³⁷ Vermutlich kamen auch schon vor der Einverleibung der Provinz Einwohner Pannoniens auf die Sklavenmärkte des Reiches, wenn auch in geringerer Zahl als Daker und Germanen. Das lässt sich daraus folgern, dass einen der Handelsartikel Aquileias die aus den Donauprovinzen für Wein, Öl und Seeprodukte erworbenen Sklaven bildeten.³⁸

Štaerman ist der Ansicht,³⁹ dass im Laufe des IV. Jahrhunderts Sklaven aus Pannonien abermals in grösseren Mengen auf den Markt gebracht wurden. Die *Expositio totius mundi* erwähnt nämlich nebst Mauretanien bloss Pannonien als solche Provinz, von der Sklaven zur Ausfuhr gelangten. Štaerman sieht den Grund dieses Umstandes in der Verarmung der pannonischen Bauernschaft, die erst verhältnismässig spät, im IV. Jahrhundert einsetzte. Damals gerieten viele der freien Kleinbauern in den Sklavenstand. Doch lässt sich die Stichhaltigkeit dieser Annahme auf Grund des vorhandenen Inschriftenmaterials nicht kontrollieren. (Die einzige bekannte Inschrift aus dem IV. Jahrhundert, die Namen von Freigelassenen enthält, ist: CIL III 4185 *Flavius Dalmatius protector*, dessen Freigelassene: *Volussius, Sabatia.*) Ebenso

³⁶ Röm. Mitt. 27 (1912) 249.

³⁷ Cass. Dio, 54, 31, 1.

³⁸ Strabo, V, 1, 8.

³⁹ ВДИ 1951, 2, 103.

liesse sich auch die Annahme vertreten, dass sich der pannonische Sklavenexport nicht auf die Einwohner der Provinz, sondern vielmehr auf die Kriegsgefangenen aus dem Barbaricum gründete, denn die Kriege, die sich z. B. auf sarmatischem Gebiet zwischen den barbarischen Völkern abspielten⁴⁰, boten hierfür günstige Voraussetzungen.

10. *Die Herkunft der Sklaven.* Diese Frage kann hier nur flüchtig gestreift werden, teils wegen der Seltenheit der Angaben über die Herkunft der Sklaven, teils wegen der eigenartigen Beschaffenheit der Sklavennamen. Die Namensgebung der Sklaven war nämlich stark vereinheitlicht. Es gibt typische Sklavennamen und selbst auf lateinischem Sprachgebiet sind griechische Sklavennamen vorherrschend.⁴¹ Das findet seine Begründung vornehmlich darin, dass die Sklaven der Kaiserzeit in überwiegender Zahl von den östlichen Sklavenmärkten beschafft wurden.⁴² In Pannonien halten sich die griechischen und lateinischen Namen ungefähr die Waage, doch wäre es vorläufig noch gewagt, daraus Schlüsse auf die Anzahl der aus dem Osten stammenden Sklaven zu ziehen. Es kann immerhin sein, dass einzelne Sklaven ihre griechischen Namen in Pannonien erhielten, wie dies beispielsweise bei den Alunnen der Fall war. Beachtenswert ist dennoch, dass ein ansehnlicher Teil der Sklaven und Freigelassenen im I. Jahrhundert lateinische Namen trägt, die im Westen des Reiches, vor allem in Norditalien und Südgallien als Sklavennamen gang und gäbe waren. Daneben begegnen wir allerdings auch zahlreichen griechischen Namen. Die für Norditalien charakteristischen lateinischen Sklavennamen weisen darauf hin, dass ihre Namensträger über Aquileia hierher gelangten.

Im III. Jahrhundert sind die Sklaven- und Freigelassenennamen schon weniger charakteristisch. Immerhin gibt es unter ihnen sehr viele griechische, was jedoch darin seine Erklärung findet, dass die pannonischen Sklavenhalter, die ihnen den Namen gaben, selbst östlicher Herkunft waren.

Das Bild, das wir aus der Gruppierung der Inschriftennachweise erhielten, ermöglicht es uns, den Entwicklungsverlauf in beiden pannonischen Provinzen zumindest während der Zeit des Prinzipates zusammenhängend aufzuzeichnen. Aus dem IV. Jahrhundert besitzen wir so wenig epigraphisches Nachweismaterial, dass wir bei Untersuchung der zu dieser Zeit herrschenden Sklavenwirtschaft bereits von anderen, in erster Linie archäologischen Quellen ausgehen müssten, was uns der heutige Stand der Forschung noch nicht ermöglicht. Die Kenntnis der während der ersten drei Jahrhunderte herrschenden Zustände erfordert jedoch gleicherweise eine erhöhte Aufmerksamkeit bei der Erforschung der im Innern Pannoniens gelegenen Siedlungen. Vorderhand stehen uns noch fast keinerlei Angaben über die Siedlungsarten der einzelnen Gebiets-

⁴⁰ A. ALFÖLDI: Bpest Tört. I, 678 f. — Zuletzt E. CHIRILĂ: SCIV 2 (1951) 183 ff.

⁴¹ M. L. GORDON: JRS 14 (1924) 101.

⁴² M. BANG: a. a. O. 247 f.

einheiten zur Verfügung. Die Erforschung der Eingeborenendörfer, der Landhäuser, der inneren städtischen Siedlungen und der Gehöfte gehört zu den am meisten vernachlässigten Gebieten der pannonischen Altertumsforschung, während eben deren eingehendes Studium von entscheidender Bedeutung für die genaue Kenntnis der Provinz sein würde. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass aus den Komitaten Somogy, Zala, Veszprém, Tolna und Baranya fast gar kein Inschriftenmaterial zur Verfügung steht, weshalb wir in unserer Gesamtübersicht auf die in diesen Gebieten herrschenden Verhältnisse nur sehr unbestimmte Schlüsse ziehen können. Überdies bietet das Inschriftenmaterial nur schematische, leicht zu verallgemeinernde Ergebnisse, die eine konkrete Analyse der wirtschaftlichen Lage nicht zulassen. Wenn wir es dennoch unternahmen, die Entwicklung der Sklavenwirtschaft auf Grund rein epigraphischen Nachweismaterials aufzuzeichnen, taten wir es, weil bei Ergründung der sozialgeschichtlichen Probleme auch das derzeit zur Verfügung stehende Quellenmaterial noch unausgebeutet ist. Die hier aufgeworfenen Fragen werden, wie wir hoffen, der Forschung helfen, den richtigen Weg zu finden und zur Erweiterung der dabei massgeblichen Gesichtspunkte beizutragen.

Vor allem müssen wir auf den wesentlichen Unterschied hinweisen, der zwischen der Entwicklung in Pannonia Inferior und Pannonia Superior besteht. Die Gestaltung der inneren Verhältnisse in Pannonia Superior ist weniger militärischer Art, hier spielte das munizipale Leben und die über Grundbesitz verfügende städtische Aristokratie eine grössere Rolle. Die Entwicklung der Provinz wurde durch zwei Handelswege entscheidend bestimmt. Der eine führte durch das Savetal, der andere war die Bernsteinstrasse und die Städte entfalteten sich entlang diese beiden Verkehrsadern aus den Ansiedlungen Fremder. Die Grenzbefestigungen, die Lagerplätze der Legionen und die Siedlungen militärischer Art spielten nur an den kurzen Grenzabschnitten der Provinz eine nennenswerte Rolle. Hingegen wurde die Entwicklung in Pannonia Inferior in hohem Masse durch die weite Ausdehnung seiner Grenzen bestimmt. Hier bestand vor der Besetzung kein Verkehrsnetz, das in handelspolitischer Hinsicht von Bedeutung gewesen wäre. Die Entstehung der Städte hing mit den militärischen Niederlassungen zusammen, und die Teilnahme der ortsansässigen Bevölkerung an der Verwaltung der Städte war ein Ergebnis zielbewusst geleiteter Politik.⁴³ In der früheren Zeit gab es hier keine Ansiedlung Fremder, weder von Zivilpersonen noch von Veteranen.

In Pannonia Superior nähern sich folglich die inneren Verhältnisse mehr der klassischen Form munizipal verwalteter Provinzen, während der in Pannonia Inferior herrschenden Lage die einheimische Kleinbauernbevölkerung und die militärische Urbanisation den Stempel aufdrückt. Die Verteilung der

⁴³ A. Mócsy : Arch. Ért. 78 (1951) 108.

auf Sklaven und Freigelassene bezüglichen Inschriften auf dem Gebiete der beiden Pannonien zeugt deutlich für die unterschiedliche Richtung, die die Entwicklung in diesen beiden Provinzen einschlug. Während sich die Fundorte auf dem Gebiet von Pannonia Superior gleichmässig verteilen, beschränken sie sich in Pannonia Inferior lediglich auf einige bedeutendere Siedlungszentren (Abb. 1).

In *Pannonia Superior* ist die Sklavenwirtschaft teils ortsgebunden, teils wurde sie von den eindringenden römischen Elementen eingeführt. Bei den Eingeborenen kann eine Sklavenwirtschaft nur an einzelnen Orten der Provinz und in nemnenswertem Ausmass nur beim Stamm der Bojer festgestellt werden. In den Händen der boischen Stammesaristokratie fand sich ansehnlicher Landbesitz vereinigt, den sie von Sklaven bestellen liess. Die Sklavenwirtschaft der im Laufe des I. Jahrhunderts eingewanderten Zivilpersonen und Veteranen lässt sich auf dem ganzen Gebiete der Provinz nachweisen. Die Sklaven wurden in vielerlei Beschäftigungszweigen verwendet, als Handwerker, Hausbedienstete und im Handel, und man bediente sich ihrer Arbeit auch weitgehend auf Gemeindegütern und den Feldern der Veteranen. Die Vermutung liegt nahe, dass zwischen dem Grundbesitz der Veteranen und den munizipalen Gütern der Zivilbevölkerung keinerlei Unterschied bestand,⁴⁴ ja dass vielleicht der gesamte auf Sklavenarbeit beruhende Munizipalgrundbesitz seinen Ursprung in der Ansiedlung der Veteranen hatte. Die Blütezeit dieser sich auf den munizipalen Landbesitz gründenden Sklavenwirtschaft entfällt auf das I. und die erste Hälfte des II. Jahrhunderts. In der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts räumt die Sklavenwirtschaft dem Kolonat das Feld, und im III. Jahrhundert verliert sie vollends an Bedeutung. Es ist augenscheinlich kein Zufall, dass sich das Erstarken des Kolonats in Savaria nachweisen lässt, in einer Stadt, die sich auch im IV. Jahrhundert noch einer gewissen Blüte erfreuen konnte. Das Kolonat trat auf dem munizipalen Grundbesitz in Erscheinung, indem die Grundbesitzer ihre Sklaven befreiten und auf ihren Feldern als Kolonen ansiedelten. Das war eine der bestbekannten Methoden, nach denen sich das Kolonat entwickelte und damit wird auch die Ansicht Štaermans⁴⁵ hinfällig, der zufolge das Kolonat eine Bewirtschaftungsmethode der neu erstandenen Latifundien darstelle, und die munizipalen Güter auch im IV. Jahrhundert noch grösstenteils von Sklaven bestellt wären. Demgegenüber entwickelte sich das Kolonat in Pannonien, wie wir sahen, innerhalb der munizipalen Rahmen, schon lange vor dem wahrscheinlich erst Ende des III. Jahrhunderts beginnenden Entstehen der Grossgrundbesitze.⁴⁶

⁴⁴ Vgl. H. SCHMITZ' Berechnung der Grösse eines Veteranengrundstücks. Stadt und Imperium, Köln in röm. Zeit. 1948. 141.

⁴⁵ E. M. Штaepман: ВДИ 1951, 2, 102 f.

⁴⁶ F. FÜLEP: Intercisa. I., 227. — A. RADNÓTI: MTA II. Oszt. Közl. 1955, 492 f. setzt die Entstehung der Latifundien zu einem früheren Zeitpunkt an. Wahrscheinlich

Im Zusammenhang mit der Sklavenbefreiung muss darauf hingewiesen werden, dass wir bei einigen Gesellschaftsschichten, wie Soldaten, Veteranen und den Eingeborenen von Pannonia Inferior fast ausschliesslich Freigelassenen begegnen. Man gewinnt den Eindruck, dass manche bloss deshalb Sklaven erwarben, um sie über kurz oder lang freizulassen, da die Freigelassenen über grössere Bewegungsfreiheit verfügten, und somit ihrem Patron auch mehr Nutzen einbringen konnten.⁴⁷

In Pannonia Superior hatte die Beschäftigung von Sklaven in der Landwirtschaft munizipalen Charakter. Die Lebensumstände der innerhalb geschlossener Gemeinden lebenden, allenfalls aus freien Kleinbauern bestehenden einheimischen Bevölkerung sind in dieser Provinz nur wenig bekannt. Der Stamm der Bojer, dessen Lebensverhältnisse wir etwas besser kennen, bildete vermutlich eine Ausnahme innerhalb der anderen Gemeinschaften. Doch lässt es sich vorläufig noch nicht feststellen, ob die Sklavenwirtschaft der Bojer mit der Zeit ebenfalls in Kolonat überging. Was die einheimische Kleinbauernwirtschaft in Pannonia Superior betrifft, so wurde diese durch das Anwachsen des munizipalen Grundbesitzes wahrscheinlich schon recht bald in den Hintergrund gedrängt, konnte doch den Veteranen für Ansiedlungszwecke anfangs bloss Grund und Boden der Eingeborenen zugeteilt werden. Ein so in sich geschlossenes, auf die einheimische Bevölkerung bezügliches epigraphisches Nachweismaterial, wie es uns in der nördlichen Hälfte von Pannonia Inferior zur Verfügung steht, kennen wir hier nur aus der Gegend Emonas und aus den Gebieten der Bojer, wogegen die Spuren früher Veteranenansiedlungen auch in dem vorläufig noch als terra incognita geltenden Komitat Somogy nachgewiesen werden können.⁴⁸

In *Pannonia Inferior* kann während der ersten zwei Jahrhunderte von keiner nennenswerten Sklavenwirtschaft gesprochen werden. Die Kaufleute und Handwerker des in Aquincum ansässigen Stammes der Eravisker hielten im I. Jahrhundert Freigelassene, überdies lassen sich in geringer Anzahl auch Freigelassene und in selteneren Fällen Sklaven der eingewanderten Kaufleute nachweisen. Im III. Jahrhundert änderte sich die Lage der Dinge insofern, dass zu jener Zeit die aus der Fremde stammende Stadtbevölkerung in grösserem Umfang zur Sklavenwirtschaft überging, doch wurden die Sklaven allem Anschein nach auch weiterhin bloss in Handel und Gewerbe beschäftigt. Ebenso hielten auch Veteranen und Soldaten ihre Sklaven bloss für Handels- und Gewerbezwecke, auch verfügten überhaupt nur eingewanderte aktive oder verabschiedete Soldaten über Sklaven. Die einheimische Bevölkerung

beziehen sich die von ihm angeführten, aus Personennamen gebildeten Ortsnamen auf Veteranenvillen oder kleinere Güter (also nicht Latifundien).

⁴⁷ Vgl. E. M. Шт а е р м а н : ВДИ 1950, 3, 73, zum wirtschaftlichen Hintergrund der manumissiones.

⁴⁸ CIL III 4122, vgl. A. ALFÖLDI : Századok 70 (1936) 19 ff.

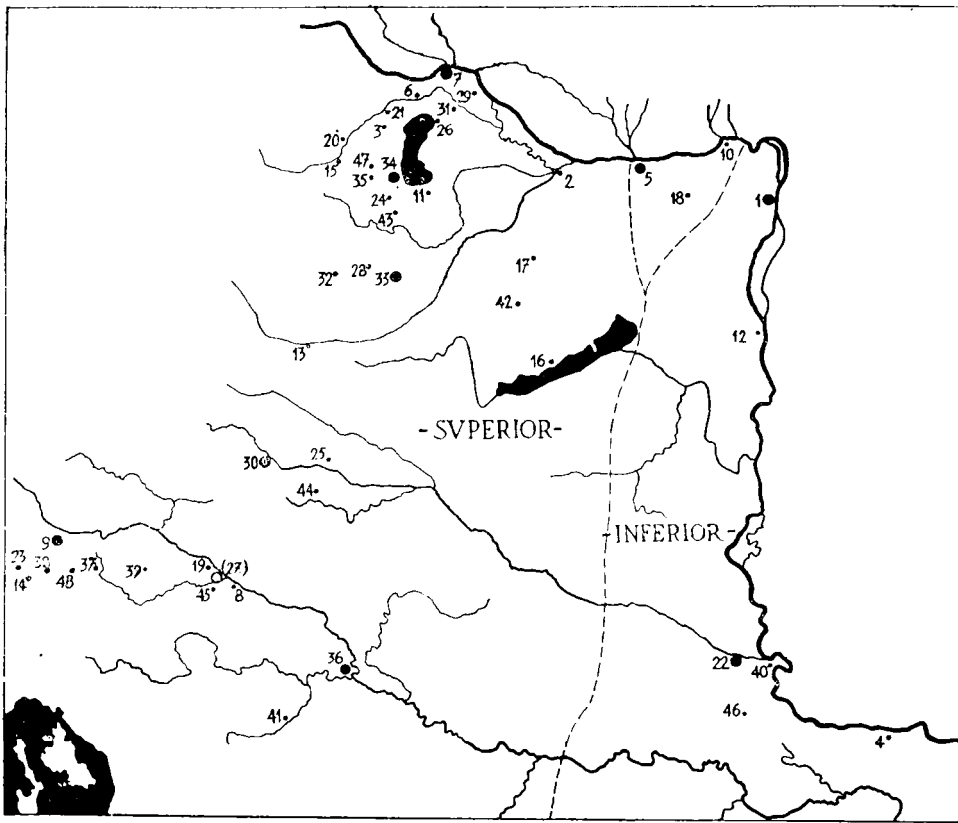
hat keinen Anteil an dieser im III. Jahrhundert erstarkenden Sklavenwirtschaft, und bewahrt auch weiterhin sowohl in ziviler als auch in militärischer Umgebung ihren kleinbäuerlichen Charakter. Der grösste Teil des Landbesitzes befindet sich selbst im III. Jahrhundert noch in den Händen der ohne Sklaven arbeitenden einheimischen Bauern,⁴⁹ die in der leitenden Schicht der Städte zwar ebenfalls eine gewisse Rolle spielten, doch von den städtischen Gesellschaftsschichten fremden Ursprungs, die sich Sklaven hielten, ziemlich abgesondert lebten. Es kann sein, dass diese aus der Fremde stammende städtische Aristokratie in der unmittelbaren Umgebung der Städte auch über kommunalen Grundbesitz verfügte, den sie von Sklaven bewirtschaften liess, wie dafür die Ländereien des Aurelius Aepictetianus und seiner Mitbesitzer in Aquincum benachbarten vicus Vindonianus ein Beispiel liefern.⁵⁰ Der überwiegende Teil der Provinz und auch deren Munizipalgebiete wurden jedoch von Bauern bewohnt, die sich keine Sklaven hielten, sondern ihr Feld selbst bestellten. Die sklavenhaltende Bevölkerung konzentrierte sich in Pannonia Inferior ausschliesslich in den Städten, vor allem in den Garnisonsplätzen der Legionen.

Schliesslich muss noch darauf hingewiesen werden, dass innerhalb jeder der beiden Provinzen zwischen den Lebensumständen der einzelnen Stadtgebiete sicherlich wesentliche Unterschiede bestanden. Doch genügt das zur Aufarbeitung gelangte Nachweismaterial nicht zur befriedigenden Ergebnisse zeitigenden Untersuchung dieser besonderen ortseigenen Verhältnisse. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass man im Besitze des gesamten epigraphischen Nachweismaterials auch die voneinander abweichende Entwicklung der einzelnen Städte einer eingehenden Untersuchung unterziehen können wird. Ziel der vorliegenden Arbeit war bloss, die unmittelbaren Inschriftennachweise der pannonischen Sklavenwirtschaft erstmalig in übersichtliche Gruppen zu ordnen.⁵¹

⁴⁹ Bezüglich der Kleinbauern der Donaugebiete siehe E. M. Штаерман: ВДИ 1946, 3, 260 ff.

⁵⁰ CIL III 10 481, 10 570.

⁵¹ Für einige wichtige Bemerkungen und Ergänzungen sei P. OLIVA (Prag) auch an dieser Stelle herzlichst gedankt.



Verzeichnis der Fundorte, an denen Inschriften über Sklaven und Freiglassenezutage gefördert wurden

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Aquincum | 25. Nedelja (Gross-Sonntag) |
| 2. Arrabona (Győr) | 26. Neusiedl am See |
| 3. Au am Leithaberg | 27. Nevioudunum |
| 4. Banoštor | 28. Ondód |
| 5. Brigetio | 29. Oroszvár |
| 6. Bruck an der Leitha | 30. Poetovio |
| 7. Carnuntum | 31. Potzneusiedl |
| 8. Catež | 32. Rotenturm |
| 9. Emona | 33. Savaria |
| 10. Esztergom | 34. Scarbantia |
| 11. Hegykő | 35. Schattendorf |
| 12. Intercisa | 36. Siscia |
| 13. Jannersdorf | 37. Stična (Sittich) |
| 14. Kamnik | 38. Studenec |
| 15. Katzelsdorf | 39. Terbina |
| 16. Kékkút | 40. Teutoburgium |
| 17. Kisdiópuszta | 41. Topusko |
| 18. Környe | 42. Tüskevár |
| 19. Krško (Gurkfeld) | 43. Unterpetersdorf |
| 20. Lichtenwört | 44. Varasd.-Toplice |
| 21. Mannersdorf | 45. Veliká Malenec |
| 22. Mursa | 46. Vinkovce |
| 23. Nauportus | 47. Walbersdorf |
| 24. Neckenmarkt | 48. Žaljna |

А. МОЧИ

РАБОВЛАДЕНИЕ В ПАННОНИИ ВО ВРЕМЯ ПРИНЦИПАТА

(Резюме)

В дебатах, имевших место в советской литературе по вопросу о конце рабовладельческого строя, выяснилось, что с помощью юридических источников и записей некоторых авторов невозможно вывести заключений, относящихся ко всем частям империи. Поэтому необходимо обследовать местные условия в каждой провинции, с широким использованием исторических данных.

В статье собраны надписи, относящиеся к рабовладельческому строю в Паннонии. При группировке материала рабовладельцы и патроны служили исходным пунктом, причем рабы и вольноотпущенники таможенного и финансового управления были оставлены без внимания. Особое место заняла и другая часть вольноотпущенников. В западной части Паннонии, вдоль янтарного пути, ведущего из Аквилеи в Германию, проживали вольноотпущенники, принадлежавшие патронам неместного происхождения, но их патроны не упомянуты в источниках. Они, по всей вероятности, как вольноотпущенные одиночками прибывали в Паннонию, а их патроны остались на местах. Многие из них прибывали из Аквилеи. Аквилейские и итальянские торговые фирмы отправляли их в Паннонию в качестве коммерческих уполномоченных, подобно тому, как это практиковалось и в других провинциях.

Надписи, свидетельствующие об автохтонном рабовладении в Верхней Паннонии, происходят из I—II веков. Они распределяются на две группы. Группа, находившаяся в окрестностях Эмоны, не имеет большой важности. Тем более значительным является рабовладение у кельтского племени Бойев (*Boii*), где обнаружено множество надписей, поступивших из различных мест, с приведением имен рабов и вольноотпущенников. Одна часть рабов и вольноотпущенников пользовалась правами перергинов, а другая часть была удостоена гражданских прав еще в царствование Флавиев. В руках этой племенной аристократии были крупные имения.

А что касается Нижней Паннонии, то только в г. Аквинкуме сохранились памятники автохтонного рабовладельческого строя. Но эта рабовладельческая система г. Аквинкума значительно отличалась от земледельческого рабовладения племени Бойев. Из Аквинкума мы имеем исключительно только памятники вольноотпущенников. В названном городе имели право держать рабов или вольноотпущенников только те члены коренного населения, которые уже вышли из рамок племенной организации и стали заниматься торговлей или промышленностью.

Руководящий слой городов Верхней Паннонии рекрутировался из инородных поселенцев. Рабовладение этого слоя освещено многочисленными надписями, происходящими из I—II веков. Одна часть рабов была приобретена путем покупки в империи, а другая часть (германские и дакийские рабы) — из варварских областей, на рынке рабов в Карпунте. В III веке уже мало находилось рабов во владении городской аристократии Верхней Паннонии. Из этого явствует, что во второй половине II века наступили коренные изменения, связанные — судя по саварийскому листу (CIL III 4150) — с возникновением колоната.

В I—II веках рабовладение не имело большого распространения в Нижней Паннонии ни среди коренного населения, ни среди пришельцев. Только после маркоманских походов увеличилось число рабов и вольноотпущенников, что должно быть приписано новым поселенцам, прибывшим из других областей империи. Благосостояние пришельцев было весьма значительно, вследствие чего они оттеснили местную аристократию и членов коренного населения на задний план.

Памятники, свидетельствующие о рабовладении ветеранов в I веке, встречаются только на территории Верхней Паннонии. Большинство рабов занималось обработкой земель ветеранов, уволенных со службы с «*missio agaria*». В II—III вв. только ветераны, поселившиеся вокруг лагерей, имели рабов или вольноотпущенных, особенно те, которые занимались ремеслом или торговлей. С середины II века большинство легионеров рекрутировалось из мелких хозяев местного населения, которые и после своего увольнения не держали рабов. Среди ветеранов только пришельцы оказались рабовладельцами во время принципата. Впрочем ветераны причислялись к руководящим кругам городов. Одна часть начального гражданского рабовладения распространилась в Верхней Паннонии именно из их поселений.

Памятники рабовладения легионеров действительной службы распределяются в отношении места и времени точно так же, как и подобные им памятники ветеранов.

В I веке они встречаются только в Верхней Паннонии, а в III веке центр тяжести переместился уже в Нижнюю Паннонию. Таким образом, рабовладельчество легионеров всецело зависело от общего развития. Они покупали большей частью малолетних рабов и выращивали их. На надписях иногда встречается выражение «*solus et libertus*». Жены легионеров в начале были вольноотпущенниками или же женщинами, имеющими гражданские права. Последние прибыли из других областей империи. Но в то время, как две трети легионерских вольноотпущенных в I веке состояли из женщин, то в течение II века эта пропорция изменилась в пользу мужчин. Начиная с названного века жены для легионеров выбирались из женщин коренного населения, владевших гражданскими правами. Рабы мужского пола легионеров приносили пользу своим владельцам как ремесленники или рабочие, отдаваемые на прокат.

Картина, получаемая группировкой надписей, допускает нам детально очертить развитие рабовладельчества в обеих частях Паннонии.

Рабовладельчество в *Верхней Паннонии* имеет отчасти местные корни, отчасти является системой, применявшейся римскими пришельцами, явившимися из других областей империи. Рабовладельчество местного характера наблюдается только в некоторых частях провинции, особенно у племени Бойев, где оно достигло значительных размеров. В руках аристократии названного племени скапливались крупные имения, которые обрабатывались рабами. Рабовладельчество в I веке может быть доказано на всей территории провинции как у гражданских, так и у военных пришельцев. Использование рабочей силы рабов не везде было одинаково. Были рабы, которые занимались ремеслом или торговлей, но были и рабы, выполнявшие домашние работы. В большом количестве они были ангажированы для имений муниципального населения, равно как и для обработки участков ветеранов. Между участками ветеранов и землями городского гражданского населения, повидимому, не было никакой разницы, причем даже допустимо, что гражданское земледелие с применением рабов имело свои исходные пункты в поселениях ветеранов. Земледелие в связи с рабовладением расцветало в I веке и первой половине II-го. Во второй части II века рабовладельчество уступило свое место колонату, а в III веке оно уже потеряло все свое значение. Может быть неслучайно, что на возникновение колоната можно было найти доказательства в Саварии, т. е. в городе, показывающем сравнительный расцвет и в IV веке. Система колоната появилась в имениях муниципального населения, где владельцы освободили своих людей от рабства, заселяя ими собственные земли в качестве колонов. Это представляет собой общезвестный способ создания колоната и опровергает мнение Штаерманна, по которому колонат был создан для обработки земель имений нового типа, латифундий, а на землях муниципального населения работали преимущественно рабы даже в течение IV века. В противоположность этому, колонат возник как доказал автор — именно в муниципальных рамках, на много опередив создание латифундий, которое наступило в конце III века.

В связи с освобождением рабов надо указать и на то, что некоторые слои общества (легионеры, ветераны и коренные жители Нижней Паннонии) имели почти исключительно только вольноотпущенников. Допустимо, что некоторые люди приобретали рабов только для того, чтобы рано или поздно освободить их от рабства, потому что они как вольноотпущенники, будучи более активными, приносили больше пользы своим владельцам, нежели рабы.

А что касается хозяйствования местных мелких хозяев в Верхней Паннонии, оно рано было оттеснено на задний план имениями муниципального населения, так как при ранних заселениях ветеранов только земли местного населения служили для целей раздела. Такой же эпиграфический материал местного характера, как в северной части Нижней Паннонии, нам известен только в окрестностях Эмоны и на земле Бойев, а следы ранних заселений ветеранов наблюдаются и в комитате Шомодь, считающемся пока еще неизведанной землей.

В первых двух столетиях в *Нижней Паннонии* рабовладельчество не имело значительных размеров. Торговцы и ремесленники племени эрависков, проживавшие в Аквинкуме, имели вольноотпущенников еще в I веке. Помимо этого, и торговцы-пришельцы владели вольноотпущенными, иногда даже рабами, но число их было невелико. В III веке изменяется это положение, так как городские жители, прибывшие из других областей империи, приобретали рабов в более значительном количестве, но, повидимому, для целей торговли и промышленности. Подобный же характер имело и рабовладельчество прибывших легионеров и ветеранов. В расцветавшем рабовладельческом строе III века местное население не принимало участия, сохраняя свой мелкохозяйственный характер как в гражданском, так и военном отношениях. Большинство имений принадлежало местным крестьянам, которые единолично обрабатывали свои земли. Хотя эти крестьяне и играли некоторую роль в управлении городов, все же они проживали до-

вольно изолированно от иноземного происхождения городского населения, имевшего рабов. Возможно, что эта городская аристократия имела муниципальные земельные владения и близ городов, как, например, земли Аврелия Эпиктетiana и его совладельцев, находившиеся в деревне Виндониане возле г. Аквинкум, но в преобладающей части провинции, даже на муниципальных территориях проживали крестьяне, которые обрабатывали свои участки без помощи рабов. Рабовладельцы Нижней Паннонии группировались исключительно в городах, в первую очередь около лагерей легионеров.

T. NAGY

LES CAMPAGNES D'ATTILA AUX BALKANS ET LA VALEUR DU TÉMOIGNAGE DE JORDANÈS CONCERNANT LES GERMAINS

On retrouve, dans les ouvrages de plusieurs historiographes contemporains, l'hypothèse selon laquelle, à côté de plusieurs autres peuples barbares, les Gépides d'Ardaric et les Goths de Valamèr auraient, eux aussi, participé à la campagne qu'Attila entreprit en 447 contre l'Empire romain d'Orient.¹ Or, parmi nos sources, Jordanès est seul à signaler, à propos de ces luttes, la participation des peuples germaniques vivant sous la domination des Huns², ce qui, en soi, est déjà suffisant pour rendre suspecte la véracité de la teneur du récit. Il est sans doute vrai que dès le début, tout comme plus tard les Avares, les Huns ont utilisé dans leurs campagnes la force militaire des peuples soumis, cependant, nos sources ne signalent ce fait que rarement. Dans la plupart des cas, elles ne parlent qu'en termes généraux des attaques des *Hunni*, *Chunni*, *Oïrroi* ou *βάρβαροι* etc., et ce n'est que sporadiquement qu'elles spécifient les noms des autres peuples ayant pris part à ces combats sous la direction des Huns. A propos de certains combats, nos sources dignes de foi signalent également des troupes auxiliaires germaniques, comme ayant participé aux opérations. Ainsi, par exemple, nous trouvons une telle énumération, fort heureuse d'ailleurs, dans un passage de Zosime, où cet historien, retraçant les événements de l'année 381, mentionne l'incursion commune des Skires, des Karpo-Daces et des Huns dans la région du Bas-Danube.³ On lit ensuite dans Sozomène que, lorsqu'en 409, Anthémios, le tout-puissant régent de la partie orientale de l'Empire romain,⁴ soudoya les lieutenants d'Uldin — en expédition sur le territoire de la Dacia ripensis — et attira les troupes de celui-ci dans le camp des Romains, ce furent les héroïques combats d'arrière-

¹ C. DICULESCU : *Die Gepiden*. 1923, 56. — E. A. THOMPSON : *A History of Attila and the Huns*. 1948. 90. — W. ENSSLIN : *RE*. 2. R. XIV. HB (1948), mot-rubrique „Valamer”, 2092.

² Jord., *De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum*, c. 331 (MOMMSEN, p. 42). — Dans la suite, nous désignerons cet ouvrage par «Romana», titre abrégé en usage dans la littérature.

³ Zosime, IV. 34, 8 (MENDELSSOHN, p. 187). — THOMPSON : 26, et L. SCHMIDT : *Die Ostgermanen*². 97 interprètent le passage de manières différentes.

⁴ Les ouvrages les plus récents, où il est question de lui, sont : S. MAZZARINO : *Stilicone e la crisi imperiale dopo Teodosio*. 1942, 350 et sq., et E. DEMOUGEOT : *De l'unité à la division de l'empire romain*. 1951, 338 et sq., 449 et sq.

garde des Skires incorporés dans l'armée d'Uldin qui permirent au prince hunnique de se réfugier sur la rive opposée du Danube.⁵ De plus, c'est un fait assez connu que les peuples germaniques de l'empire des Huns prirent part, dans leur presque totalité, à la campagne de Gaule qu'Attila entreprit en 451.⁶ Parmi ces peuples, c'étaient les Germains de l'Est qui s'étaient vus confier les opérations militaires les plus difficiles, ou du moins celles qui devaient être les plus coûteuses en fait de vies humaines. C'étaient les Gépides qui formaient l'avantgarde de l'armée d'Attila ; quant aux Ostrogoths, ils eurent pour mission de repousser, dans la bataille livrée près de Troyes, l'assaut massif de l'adversaire.⁷

Ainsi donc, compte tenu des faits que nous venons de signaler, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que les peuples germaniques de l'empire des Huns, et, parmi eux, les Gépides et les Ostrogoths, eussent également participé aux combats qui s'étaient déroulés aux Balkans dans les années 40. L'objectif stratégique des campagnes était de détruire la ceinture de fortifications que l'Empire d'Orient possédait le long de la rive droite du Danube. Il était à prévoir que la réalisation de cet objectif exigerait des sacrifices assez lourds. Ce fait pouvait motiver d'une manière toute particulière la mise en ligne, à une vaste échelle, de la force militaire des peuples soumis. Ainsi, en apparence, les arguments extérieurs qui peuvent être invoqués semblent corroborer l'authenticité du récit que l'on trouve au chapitre 331 de la *Romana*. Toutefois, l'examen critique du passage en question peut prouver le contraire.

Comme c'est l'usage pour les ouvrages de Jordanès en général, l'examen du chapitre 331 de la *Romana* s'appuie, lui aussi, sur les remarques critiques que Mommsen a consacrées aux sources. Dans son édition des œuvres de Jordanès, Mommsen a fait dériver les renseignements que renferme, sur les Germains, la première phrase du chapitre 331 de la *Romana*, d'une source inconnue (la source dite «*Ignotus*»)⁸. Simultanément, il a renvoyé au chapitre 199 de la *Getica*, où Jordanès signale Ardaric et Valamèr comme les plus fidèles parmi les princes des peuples soumis à Attila. C'est sur ce renvoi de Mommsen que s'est appuyé L. Schmidt⁹ quand, d'une manière qu'il faut en substance qualifier de correcte, il a contesté la force probante des renseignements que le chapitre 331 de la *Romana* fournit au sujet des Germains, et fait valoir qu'en parlant de Gépides et d'Ostrogoths, Jordanès avaient simplement formulé une conjecture. Cependant, à la lumière du renvoi de Mommsen,

⁵ Sozom., H. e. IX. 5 (MSG. LXVII. 1605–7.). — Cf. Cod. Theod. VII. 17, 1. — La dernière mention de cet épisode se trouve dans H. VETTERS : *Dacia Ripensis* (Schriften d. Balkankommission, XVI. 1949). 29.

⁶ Sidon. Apoll., Carm. VII. 321 et sq. (LUETJOHANN, p. 211). — L. SCHMIDT : *Ostgermanen*². 268. — THOMPSON : 136. — F. ALTHEIM : *Attila et les Huns*. 1952, p. 175, et 185.

⁷ Jord., *Get.* 209 et 217 (MOMMSEN, pp. 111, 113).

⁸ MOMMSEN : *MGH. Auct. Ant.* V. p. 42.

⁹ *Die Ostgermanen*². 268, note 2.

L. Schmidt a pensé que, pour le passage en question, Jordanès avait utilisé le chapitre 199 de la *Getica*. Récemment, c'est Ensslin qui a étudié d'une manière approfondie les sources de la *Romana*.¹⁰ Le grand mérite de l'étude d'Ensslin, c'est que, pour de nombreux passages de la *Romana*, et non seulement pour ceux où Mommsen a signalé la source «*Ignotus*», l'auteur a réussi à démontrer avec beaucoup de vraisemblance qu'il s'agit d'emprunts faits à l'«*Historia Romana*», ouvrage en sept livres de Q. Aurelius Memmius Symmachus, contemporain et aîné de Cassiodore. Toutefois, en même temps, E. sous-estime visiblement la mesure où Jordanès a puisé du «*Chronicon*» de Marcellinus Comes. Selon lui, la mention faite, au chapitre 331 de la *Romana*, des Gépides et des Ostrogoths, permet également de conclure à une source occidentale italienne, datant vraisemblablement de l'époque de Théodoric.¹¹ Quoique Ensslin ne le dise pas, sa remarque révèle que, là encore, il a sans doute pensé à l'utilisation de l'ouvrage de Symmaque.

Ainsi donc, dans la littérature, le chapitre 331 de la *Romana*, de Jordanès est apprécié de deux manières différentes. Selon la première hypothèse, Jordanès aurait puisé, pour son énumération des peuples ayant participé à la campagne entreprise en 447 par Attila, dans quelque source antérieure, soit dans un ouvrage historique inconnu (Mommsen), soit encore dans l'«*Histoire romaine*» de Symmaque, ouvrage en sept volumes que nous ne possédons plus (Ensslin). La deuxième hypothèse est celle de L. Schmidt : il est presque seul à la soutenir. Selon celle-ci, le passage en question de Jordanès ne s'appuierait sur aucune source. La mention que Jordanès fait des Gépides et des Ostrogoths se ramènerait à une conjecture de l'historien.

Cependant, les ouvrages parus jusqu'à ce jour n'ont point tenu suffisamment compte des chances d'erreur qui se présentent souvent chez presque tous les chroniqueurs faisant des extraits d'une source antérieure, et surtout chez Jordanès : ces chances d'erreur se déclarent en particulier lorsqu'le chroniqueur, occupé à compiler ses extraits, lie entre elles des données éloignées les unes des autres, lorsqu'il se méprend sur le sens de tel passage et ajoute des enjolivures de son propre cru à certains épisodes. Au chapitre 331 de la *Romana* de Jordanès, nous retrouvons toutes ces trois particularités. Et tout d'abord, dans le passage en question, Jordanès confond en un toutes les remarques de Marcellinus Comes concernant les années 442 et 447, et a fait de deux campagnes différentes, entreprises par les Huns, une seule et même grande incursion hunnique. De plus, ce faisant, il a aussi mal compris l'un des passages de la source : il s'agit de la phrase où, à propos des deux frères Bléda et Attila, princes des Huns, la source déclare qu'ils furent aussi «*rois*» de nombreux autres peuples. Or, jugeant que ce passage avait trait aux princes des peuples

¹⁰ ENSSLIN : Des Symmachus *Historia Romana* als Quelle für Jordanes (SBAM. 1948, 3.).

¹¹ ENSSLIN : Symmachus, 73.

qui s'étaient soumis aux Huns, Jordanès, à propos des *multarum gentium reges*, mentionna aussi d'une manière spéciale les deux princes qui lui étaient le mieux connus, Ardaric et Valamèr, ainsi que les Gépides et les Ostrogoths. En comparant et en examinant attentivement les deux lieux en question, celui de Marcellinus Comes et celui de Jordanès, on découvre sans erreur possible que Jordanès s'est trompé lorsqu'il a voulu inclure les deux peuples germaniques dans le nombre des autres peuples ayant participé aux campagnes balkaniques d'Attila.

- | | |
|---|---|
| <p>a. 442 : Marcellinus Comes
<i>Bleda et Attila fratres multarumque gentium reges Illyricum Thraciamque depopulati sunt.</i></p> <p>a. 447,2 : <i>Ingens bellum et priore maius per Attilam regem nostris inflicto paene totam Europam excisis invasisque civitatibus atque castellis conrasit.</i></p> <p>ibid., 4 : <i>Attila rex usque ad Thermopolim infestus advenit.</i></p> <p>ibid., 5 : <i>Arnegisclus magister militiae in ripense Dacia iuxta Utum amnem ab Attila rege viriliter pugnans plurimis hostium interemptis occisus est.</i></p> | <p>Jordanès, Romana, 331
<i>Hunnorum rex Attila iunctis secum Gepidas cum Ardarico, Gothosque cum Valamir, diversas alias nationes suis cum regibus, omnem Illyricum, Thraciamque et utramque Daciam, Mysiam et Scythiam populatus est.</i></p> <p><i>contra quem Arnegisclus magister militum Mysiae egressus a Marcianopolim¹² fortiter dimicavit, equoque sub se decidente praeventus est, et nec sic quiescens bellare, occisus est.</i></p> |
|---|---|

Nous croyons que le rapprochement des deux textes démontre très clairement la corrélation qui existe entre les passages cités de la Romana de Jordanès, parue en 551, et du Chronicon de Marcellinus Comes, ouvrage paru pour la première fois quelque quinze ans auparavant. Mais il ressort avec certitude du récit de l'histoire d'Arnegisclus que Jordanès a connu non seulement le Chronicon de Marcellinus, mais qu'il avait aussi utilisé une autre source, plus abondante, celle-là.¹³ C'est de cette source qu'il a tiré le renseignement selon lequel le *magister militiae per Thracias*¹⁴ était parti de Marcianopolis — indication dont l'authenticité ne saurait guère être mise en doute¹⁵ —, ainsi que le récit des circonstances dans lesquelles mourut Arne-

¹² Chez Jordanès, la préposition *a* s'accompagne souvent de l'accusatif (MOMMSEN, p. 178).

¹³ MOMMSEN : ad loc. cit. — ENSSLIN : Symmachus, 73.

¹⁴ Telle était la dénomination du grade militaire qu'avait Arnegisclus (SEECK : RE. III. HB. 1203, 49 et sq., avec passages tirés des sources). Jordanès est inexact lorsqu'il parle du *magister militum Mysiae*.

¹⁵ L'importance militaire de ce lieu est illustrée par les faits suivants. Marcianopolis, métropole de la Mésie II (Hiéroclès, Synecd. p. 636, éd. WESSELING), était au IV^e siècle le siège du *comes militaris per Thracias* (Ammian., XXXI. 4, 9 ; 5, 4 et sq.) et un arsenal militaire (Not. dign. Or. XI. 34). Entre 367 et 369, la ville fut le grand quartier général impérial et le centre des opérations offensives contre les Goths (Ammian., XXVII. 5, 5 et Zosime, IV. 10, 5 ; 11, 1). Un peu plus tard, en 377, c'est avec les forces concentrées dans la région de cette ville que les Romains d'Orient s'efforcèrent de barrer aux Goths la route de Constantinople (Ammian., XXX I. 8, 1).

gisclus. Cependant, dans la phrase précédente, où Jordanès a condensé en un seul lemme les campagnes balkaniques entreprises par Attila en 441—443 et 447,¹⁶ il n'y pas un seul détail qui dépasserait les indications fournies par Marcellinus, et qui exigerait que l'on conjecturât l'utilisation de Symmaque ou de quelque autre source. Il est sans doute incontestable — et ceci semble en contradiction avec ce qui vient d'être dit — qu'au regard du texte de Marcellinus, nous trouvons chez Jordanès deux amplifications essentielles au point de vue du contenu. L'une, c'est le passage où l'auteur signale la présence de peuples germaniques dans l'armée d'Attila, l'autre, c'est la phrase où Jordanès parle des provinces danubiennes comme du théâtre de la guerre. Toutefois, aucune des deux amplifications ne permet de conclure que pour énoncer ce lemme, Jordanès aurait utilisé, outre le *Chronicon* de Marcellinus, quelque autre source.

A propos de l'énumération des provinces danubiennes, il importe de tenir particulièrement compte du fait — déjà signalé plus haut — que Jordanès réunit en une seule et même campagne l'expédition militaire entreprise par Bléda et Attila en 441—443, et celle que conduisit Attila en 447. C'est la raison pour laquelle Jordanès estima nécessaire de signaler, outre l'Illyricum et la Thrace, particulièrement ravagés lors des opérations militaires des années 441—443, les noms des provinces du Bas-Danube, dévastées pendant la grande campagne des Balkans de 447.

Il se démontre avant tout que Jordanès a recopié le nom de l'Illyricum et de la Thrace du passage du *Chronicon* où Marcellinus consigne les événements de l'année 442 : ceci ressort du fait que chez les deux chroniqueurs, les deux noms géographiques se retrouvent dans le même ordre. Cependant, chez Marcellinus Comes, la Thrace ne sert point à désigner la province du même nom, mais — comme c'est en général le cas chez cet historien ¹⁷ — le diocèse thracien. Jordanès, en revanche, n'utilise pas une seule fois cette notion géographique pour désigner le diocèse thracien. Dans son langage, la Thrace sert toujours à indiquer la province.¹⁸ Ceci étant dit, il ne peut plus faire de doute que Jordanès ait interprété comme nom de province le nom géographique de Thrace, employé dans la source dans le sens de diocèse. C'est pourquoi, quand, dans le *Chronicon* de Marcellinus, Jordanès eut lu un peu plus loin, à l'année 447, qu'Attila avait alors dévasté non seulement les «provinces» d'Illyricum et de Thrace, mais «presque toute l'Europe», et quand, dans l'histoire d'Arnegisclus, il eut constaté que la Dacie ripensis et la Mésie étaient spécialement mentionnées (il se peut qu'il ait trouvé la Mésie dans Symmaque), il crut indiqué de signaler comme théâtre de la campagne non seulement l'Illyricum et la Thrace (prise au sens de province), mais aussi les deux Dacies

¹⁶ Pour les détails, v. THOMPSON : 78 et sq., 218 et sq.

¹⁷ V. p. ex. *Chronic. a.* 422, 3, 499, 1, 502.

¹⁸ Cf. MOMMSEN : *MGH. Auct. Ant. V.* p. 165.

et la Mésie. Ainsi donc, c'est en enchaînant sur les noms de l'Illyricum et de la Thrace, recopiés du Chronicon, et en faisant entrer dans sa combinaison d'autres données géographiques découvertes ça et là dans les passages ultérieurs de Marcellinus, que l'auteur de la Romana avait augmenté le nombre des provinces par l'addition des provinces danubiennes. Selon toute vraisemblance, c'est encore l'expression «*paene tota Europa*», dont s'est servi Marcellinus, qui a inspiré à Jordanès l'idée d'inclure, à la fin de la liste des provinces, la Scythie aussi parmi les provinces dévastées par Attila. Le fait qu'en l'occurrence, il s'agisse d'une conjecture individuelle de Jordanès, semble vérifié par le témoignage d'autres sources selon lesquelles, au regard des autres provinces danubiennes, la Scythie ne souffrit guère, aux années 40 du V^e siècle, des invasions hunniques. Il nous suffira de signaler que les opérations militaires des années 441—443 se sont déroulées fort loin de la région du Bas-Danube.¹⁹ Cependant, en 447 non plus, les forces principales d'Attila ne traversèrent point la Scythie : après la bataille sur la rivière Utus, elles obliquèrent vers le sud-est et occupèrent Marcianopolis, ville stratégiquement importante, puis envahirent les territoires situés au sud de l'Hémus, jusqu'aux Thermopyles.²⁰ Parmi les provinces danubiennes, ce sont les deux Dacies et la Mésie qui furent fortement ravagées au cours des campagnes dont il vient d'être question. Aussi n'est ce point un hasard si — fait très important au point de vue de l'appréciation de la liste des provinces, dressée par Jordanès —, pour déterminer le tracé de la zone inhabitée longeant la rive droite du Danube sur une distance de cinq journées de marche, Attila indiqua deux points limite : la frontière de la Pannonie, d'une part, et Novae, localité de la Mésie Inférieure, d'autre part²¹; le territoire de la Scythie Mineure n'était donc pas inclu dans la région en question. Si, par conséquent, nous entendons circonscrire d'une manière plus exacte le théâtre des opérations de la campagne de 447, ce n'est qu'avec une extrême réserve que nous invoquerons la liste des provinces, communiquée par Jordanès : en effet, impossible de démontrer que cette liste soit basée sur une source indépendante. Quant au nom de la province de Scythie, nous pouvons, en l'occurrence, le laisser complètement de côté.

Comme nous l'avons déjà signalé, c'est la mention relative aux peuples germaniques qui constituerait, au regard de Marcellinus Comes, un élément nouveau dans l'ouvrage de Jordanès. Or, la prétendue participation des Gépides et des Goths repose sur une interprétation erronée du texte de Marcellinus. En effet, c'est à propos des deux frères, Bléda et Attila, que Mar-

¹⁹ THOMPSON : 79 et sq.

²⁰ Marcellinus Comes, *Chronic.* a. 447. — Théophanès, a. 5942 (CSHB. p. 158 et sq.). — Chron. Paschal. (CSHB. p. 586). V. encore, pour l'ensemble du problème, R. VULPE : *Histoire ancienne de la Dobroudja*, 1938. 351 et sq.

²¹ Priscus, *frag.* 7 (MÜLLER : *FIG.* IV. p. 76).

cellinus avait écrit que tous deux étaient aussi rois de nombreux autres peuples. Mais Jordanès donna à ce passage un sens différent : quand il lut dans sa source l'expression *multarum gentium reges* (qui est, grammaticalement, l'apposition de «*Bleda et Attila*»), il ne songea point aux deux princes huns, mais pensa qu'il avait affaire à un élément syntactique à part. Aussi Jordanès crut-il lire dans la source qu'outre Bléda et Attila, *de très nombreux autres peuples avaient pris part avec leurs rois respectifs* à l'attaque contre l'Empire romain d'Orient. Puisant dans ses études historiques antérieures, Jordanès connaissait nommément, parmi les princes barbares, deux personnages : le Gépide Ardaric et l'Ostrogoth Valamèr. A sa connaissance, tous deux avaient été au nombre des lieutenants préférés d'Attila, et leurs peuples avaient aussi pris part à la grande campagne de Gaule de l'année 451. Aussi Jordanès crut-il tout naturel que parmi les princes des nombreux peuples ayant accompagné Attila dans sa campagne balkanique, Ardaric et Valamèr eussent aussi été présents. Ainsi donc, parmi les *multarum gentium reges*, Jordanès mit en vedette les Goths, qui étaient ses préférés, de même que les Gépides, puis — variant une fois de plus la remarque laconique de sa source — signala encore collectivement les *diversas alias nationes suis cum regibus*.

Remarquons d'ailleurs que, dans les ouvrages de Jordanès, il y a, outre le cas que nous venons de signaler, d'autres exemples aussi, où le chroniqueur se méprend sur le sens des sources et interprète de travers certains passages. A ce propos, il est fort instructif de consulter, au chapitre 217 de la Romana, le passage où il est question des mesures prises par l'empereur Aurélien après l'évacuation de la Dacie. Voici ce que Jordanès écrit à ce sujet:²² (Aurelianus) *Daciam mediterraneam Daciamque ripensem constituit et Dardaniam iunxit*. Ainsi donc, selon Jordanès, Aurélien aurait non seulement créé les deux provinces de Dacie, sur la rive droite du Danube, mais leur aurait encore rattaché une troisième : la Dardanie. Cette affirmation réussit à dérouter même un chercheur aussi érudit et critique que J. B. Bury : en effet, celui-ci invoque précisément ce passage de Jordanès pour conclure à l'impossibilité de déterminer si la province de Dardanie a été créée par Dioclétien ou bien par Aurélien.²³ Or, on peut démontrer sans peine que le passage cité de Jordanès repose sur une interprétation erronée de la source et que, par conséquent, il est sans valeur. La première mention authentique du nom de la Dardanie se trouve dans la liste des provinces, dite de Vérone, dressée à l'époque de la tétrarchie (*Laterculus Veronensis*)²⁴ : aussi est-il presque certain que cette province doive sa création aux réformes intérieures de Dioclétien.

²² MOMMSEN : p. 28.

²³ JRSI 13 (1923) 135. — Pareillement N. VULIĆ : Musée Belge. 1923, 253 et sq.

²⁴ SEECK : Not. dign. p. 248. — Nous n'entendons point aborder ici le problème de la date exacte — contestée ces temps derniers — de la première rédaction du *Laterculus*, étant donné qu'il est sans importance au point de vue de la question examinée.

Pour ses remarques concernant les mesures prises par Aurélien, Jordanès avait sans doute utilisé le passage correspondant du *Breviarium* de Festus.²⁵ Or, voici ce qu'on lit dans Festus :²⁶ . . . *per Aurelianum . . . duae Daciae in regionibus Moesiae ac Dardaniae factae sunt.*

Dans le texte de Festus, il n'est pas question de la création de la province de Dardanie. Festus dit très clairement qu'Aurélien forma les deux Dacies des territoires de la Mésie et de la Dardanie. Cependant, tout en remaniant le texte de sa source, Jordanès se méprit une fois de plus sur le sens. Il prit en effet le vocable *Dardaniae*, que Festus avait mis au génitif du singulier, pour un mot qui, au nominatif du pluriel, s'accorde avec «deux Dacies» (*duae Daciae*), et ajouta improprement la Dardanie, comme troisième province, aux deux Dacies qui avaient de fait été créées par Aurélien.²⁷

C'est également pour avoir puisé à la hâte et sans soin dans Festus que Jordanès fit figurer, dans un autre passage de son texte, le préteur Lucius Anicius comme le conquérant des tribus pannoniennes et l'organisateur de la province de Pannonie²⁸ : *Illyriam autem Gentione suo rege Macedonibus auxiliantibus vicit Romanorum Lucius praetor et in provinciam redegit. Pannonum quoque regem in certamine superans idem Lucius redegit in provinciam utrasque Pannonias. Amantinos autem, qui inter Saum Draumque flumina insident, rege eorum interempto ipsa vice Romanam fecit provinciam.* Voici par contre, dans la source, le passage dénaturé et interprété d'une manière vicieuse:²⁹ *Illyrios, qui Macedonibus auxilium tulerunt, . . . per Lucium Anicium praetorem vicimus et eos cum rege Gentio in deditionem accepimus.* (Puis, à l'époque d'Auguste :) *Bathone Pannoniorum rege subacto in dicionem nostram Pannoniae venerunt. Amantinis inter Savum et Dravum postratis regio Savensis ac secundorum loca Pannoniorum obtenta sunt.*

C'est sans trop de peine que nous pourrions, dans les ouvrages de Jordanès, signaler, outre les cas cités, de nombreux autres passages défigurés.³⁰ Cependant, il nous semble que les cas cités suffisent pour illustrer la méthode de travail superficielle de Jordanès, méthode qui, à chaque instant, lui faisait comprendre de travers et dénaturer ses sources; la campagne d'Attila

²⁵ MOMMSEN : note marginale, loc. cit. — ENSSLIN : Symmachus, p. 65.

²⁶ Brev. c. 8 (FOERSTER : p. 10).

²⁷ V. à ce sujet l'inscription de Bov (région de Sofia), publiée par B. FILOW : *Klio*, 12 (1912), 236 (Ann. ép. 1912, 200) — : *Caro et Carino Aug(ustis). Gaianus pr(a)eses finem posuit (i)nter duas Dacias dilapsus?*]. . .

²⁸ Romana, 216 (MOMMSEN : p. 27).

²⁹ Festus, Brev., c. 7 (FOERSTER : p. 10).

³⁰ E. RAPPAPORT : Die Einfälle d. Goten in d. röm. Reich. 1899, p. 35, 2, signale dans la *Gotica*, c. 92 (MOMMSEN : p. 81), une faute d'écriture : cette fois-ci, au lieu de *secundam Moesiam*, Jordanès lut *de secundo Moesiam* et imagina en conséquence deux incursions des Goths. — C'est vraisemblablement à la suite d'une erreur analogue que le nom d'Aëtius figure au chapitre 327 de la *Romana*. V. encore v. GUTSCHMID : *Kleine Schriften*. V. 315 et sq.

que nous ayons signalée dans la Romana en première lieu, en est l'un des meilleurs exemples.

Si toutefois, après ce que nous venons d'exposer, il y aurait encore des doutes quant à l'appréciation du cas en question, ils pourront, ce nous semble, être dissipés au moyen de l'examen de la construction et des particularités de style de la phrase où il est question des Goths et des Gépides. En effet, dans le passage *iunctis secum Gepidas, . . . Gothosque, . . .*, nous découvrons que la construction avec l'ablatif absolu se mélange d'une manière étrange aux substantifs mis à l'accusatif. Or, a remarqué il y a longtemps déjà que la construction syntaxique en question est l'une des caractéristiques particulières du style de Jordanès.³¹ La tournure vulgaire que nous venons de citer suffit donc à elle seule pour écarter l'hypothèse selon laquelle le passage que Jordanès consacre, dans le chapitre 331 de la Romana, aux peuples germaniques, aurait été puisé par l'auteur dans un ouvrage historique de quelque ampleur, et qu'en particulier, comme on l'a récemment suggéré,³² il l'aurait recopié de l'ouvrage de Symmaque. L'appréciation du style de ce sénateur érudit qui vécut à Rome dans la deuxième moitié du V^e siècle peut être basée avec assez de certitude sur une citation puisée dans son œuvre ; cette citation, qui se trouve aux chapitres 83 et suiv. de la *Getica*, donne, sous sa forme actuelle, une image en substance fidèle du langage de Symmaque, quoiqu'elle ait été remaniée en certains endroits par Cassiodore.³³ Ce n'est point le fait du hasard si, dans ce long extrait de Symmaque, nous ne découvrons pas une seule fois la construction examinée plus haut, construction qui pourtant se retrouve chez Jordanès avec une extrême fréquence.

Ainsi donc, les textes de Jordanès ne peuvent pas être invoqués pour démontrer que les Ostrogoths et les Gépides ont participé aux campagnes d'Attila dans les Balkans. Néanmoins, il demeure légitime de conjecturer que fort probablement, les peuples germaniques danubiens et pontiques de l'empire des Huns ont pu prendre part à ces luttes.

³¹ On en trouvera d'autres exemples dans les ouvrages suivants : MOMMSEN : p. 177. — F. WERNER : *Die Latinität der Getica des Jordanis*. Diss. Halle. 1908. 82 et sq.

³² ENSSLIN : *Symmachus*, p. 73.

³³ Dernièrement, il en a été question dans W. HARTKE : *Römische Kinderkaiser*. 1951. 438 — 39.

Т. НАДЬ

ПОХОДЫ АТТИЛЫ НА БАЛКАНЫ
И ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ О ГЕРМАНЦАХ У ИОРДАНА

(Резюме)

В главе 331 «*De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum*» (сокр. *Romana*) Иордана говорится о том, что в походе Аттилы в 447 г. против восточно-римской империи вместе с другими варварскими племенами участвовали гепиды Ардарика и готы Валамера. В современной историографии принято вообще считать сообщение Иордана достоверным. Однако, более глубокий анализ источника показывает, что данное место не имеет никакой исторической ценности.

Во-первых, в указанной главе Иордан соединил заметки к 442 и к 447 гг. *Chronicon*-а Марцеллина Комеса, говоря, таким образом, вместо двух отдельных походов об одном большом нашествии гуннов на Балканы. При этом он неправильно понял одно выражение своего источника, а именно то место, где два брата, Бледа и Аттила, князья гуннов, названы «королями» многих других племен. Иордан ошибочно относит это выражение к князьям покоренных гуннами народов, и, говоря о *multarum gentium reges*, называет по имени самых известных князей Ардарика и Валамера, а также гепидов и восточных готов. Сопоставление и основательный разбор соответствующих мест из произведений Марцеллина Комеса и Иордана не оставляют никаких сомнений в том, что оба германских племени вместе с князьями были включены в ряд племен, принявших участие в балканских походах Аттилы лишь вследствие ошибки Иордана. Известно, что Иордан часто не понимает своих источников. Кроме примеров, собранных историографией, настоящая статья ссылается на 216 и 217 главы «*Romana*», где претор Луций Аниций объявляется покорителем паннонских племен и Дардания причисляется к провинциям, созданным Аурелианом, – все это вследствие необдуманной выдержки из «Бревиария» Феста. Языковые особенности 331 гл. «*Romana*» также выдают стиль Иордана и исключают возможность того, что Иордан списал части, занимающиеся германскими племенами, с семитомного труда Симмаха, как это полагали в последнее время некоторые ученые.

Таким образом, данные Иордана не являются доказательством участия восточных готов и гепидов в походах Аттилы. Несмотря на это, вполне вероятно, что придунайские и причерноморские германские племена, находившиеся под гунским владычеством, участвовали в этих походах.

Д. ЧАЛЛАНЬ
ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКОГО
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ИСКУССТВА II

ВИЗАНТИЙСКИЕ ПРЯЖКИ¹⁻²

Большая часть византийских поясных пряжек, рассматриваемых ниже, происходит с территории Венгрии из могильников аварской эпохи. Эти предметы одно время попадали в аварскую империю в качестве рыночных товаров. Их употребление распространяется не на всю аварскую эпоху, а только на время существования византийско-аварских торговых связей (568—679 вв. н. э.). Этот слой аварских племен с византийскими по происхождению предметами относится к эпохе с 568 по 679 год и хорошо может датироваться. Аварский археологический материал, с этой точки зрения, и принимая во внимание его развитие, можно точно ограничить и охарактеризовать первую его эпоху: *Раннеаварские могильные памятники. Эпоха византийского влияния* (568—679). (Византийские литые серебряные украшения, штампованные золотые, серебряные и бронзовые подделки.)

10 ГРУППА

СПЛЕТЕННАЯ ПАРА ЛЕНТОЧНОТЕЛЫХ ЖИВОТНЫХ, МЕЖДУ
КОТОРЫХ В СЕМЯОБРАЗНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОМЕЩЕН
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ

Сюда относятся следующие поясные пряжки:

¹ Д. Чаллань: Памятники византийского металлообрабатывающего искусства I, Acta Ant. Hung. 2 (1954), стр. 311—348. D. Csallány: Acta Arch. Hung. 2 (1952), стр. 235—250. — L. Huszár: Acta Arch. Hung. 5 (1954) стр. 61. — D. I. Pallas: Τα αρχαιολογικά τεκμήρια της καθόδου των βαρβάρων εις την Ἑλλάδα. Θεσσαλονίκη 1955, стр. 87. — D. Csallány: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Budapest 1956, глава III. (Находки византийских монет). — D. Csallány: Die ersten Spuren von byzantinischen Befestigungsplättchen an Gürtelschnallen und ihre Bedeutung für das Fundmaterial der Gepiden: A Szegedi Városi Múzeum Kiadványai, II. 4. Szeged 1943, стр. 9—21, 1. — D. Csallány: Folia Archaeologica 1—2 (1939) стр. 121. (Обобщающая работа о византийских связях).

² A Szegedi Városi Múzeum Kiadványai, II. 1. Szeged 1939, стр. 30. — G. R. Davidson: Hesperia, 6 (1937), стр. 227. — H. Zeiss: Avarenfunde in Korinth Serta Hoffilleriana, 1940, стр. 95. — J. Werner: Seminarium Kondakovianum 1936, стр. 186. — N. Aberg: Die Goten und Langobarden in Italien. Uppsala, 1923, стр. 46, 112, 122. — H. Zeiss: Die Grabfunde aus den spanischen Westgotenreich. Berlin u. Leipzig 1934, стр. 122. — D. I. Pallas: Αί «βαρβαρικά» πόρται της Κορίνθου. Πεπραγμένα τοῦ Θ' Λιεθνοῦς Βυζαντιολογικοῦ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, Α' (1954) стр. 340—396. — G. Fehér: Acta Arch. Hung. 5 (1954) стр. 1—2, 55—59. — J. Werner: Byzantinische Gürtelschnallen des 6. und 7. Jahrhunderts aus der Sammlung Diergardt. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, 1 (1955) стр. 36—48, табл. IV VIII. С результатами моей первой работы совершенно совпадают выводы уже подготовленного исследования, которое охватит в следующей, 3-ей публикации целый ряд пряжек с изображением лица.

1. Константинополь, румелийский берег. Бронзовая пряжка (табл. I, 3, За);³ овальная дужка с язычком отсутствует. На щитке явственна переплетенная и у шеи скрещивающаяся пара животных с ленточным телом, украшенным прочерчинами. Животные охватывают пятилепестковый цветок. На обратной стороне пряжки можно увидеть три петельки для прикрепления к ремню (табл. I, 3а).

2. Кестхей. Добого. Двучастная пряжка без язычка (табл. I, 2).⁴

Изумительно поражающее сходство константинопольского (табл. I, 3, За) и кестхейского (табл. I, 2) экземпляров. Их назначение, материал, техника выполнения, мотивы орнамента сходны, и разницу находим только в их размерах. Интерпретация композиции животных с замыкающим посредине растительным орнаментом одинаковы и говорят об одном их источнике.

На кестхейском экземпляре труднее различить изображение животного, но это скорее можно приписать к заслуге художника, который пару звериных голов трактовал как растительный орнамент. Ряд треугольников и расходящийся растительный орнамент следует рассматривать только как вариант орнаментики. Эти элементы орнамента часто встречаются на поясных гарнитурах византийского происхождения раннеаварского времени. Достаточно упомянуть о штампованном серебряном аварской эпохи наколочника пояса из Неметшюрю (Венгрия, ком. Шомодь) с трехлепестковым цветком, окруженным рядом треугольников,⁵ а также фенлакском (Румыния, ком. Темеш)⁶ и об акаланском (Турция)⁷ экземплярах с родственным семячковидным орнаментом.

Акаланская находка датируется византийскими монетами. Среди них самая ранняя монета Геракла I (613—641). На одной из относящихся к кестхейскому поясному набору (табл. I, 2) штампованной пластинке⁸ по-

³ Коллекция Месароша.

⁴ V. LIPP: A keszthelyi sírmezők. Budapest 1884, стр. 27, № 180. (табл. VII, № 180). К этой пряжке относятся штампованные пластинки серебряной поясной гарнитуры под №№ 45—49, стр. 21 (табл. III, 45—49), а не под № 54, стр. 21, как это по ошибке переименовал Липп. — J. HAMPEL: Alterthümer des frühen Mittelalters, in Ungarn. Braunschweig 1905, I, рис. 1500; II, стр. 199, рис. b). — N. FETTSCH: АЕ 40 (1923—26) стр. 163—164, рис. 53. Феттих не упомянул об этой пряжке среди кестхейских зверинообразных пряжек, не заметив их византийского происхождения и ошибочно заставляя видеть в них изображение грифонов и считать их продуктами местного производства. — N. FETTSCH: АН XXXI, 1951, стр. 79, табл. XLIII—XLIV. — D. I. PALLAS: ук. соч., 1954, стр. 377, рис. 10. В вышедшей сводной его работе правильно характеризуются бронзовые пряжки из Кестхейского района как предметы инвентаря византийского могильника, однако в них автор видит «варварские» пряжки и ошибочно относит их к памятникам IX—XII веков.

⁵⁻⁶ N. FETTSCH: Das Kunstgewerbe der Avarzeit in Ungarns. АН 1, 1926, стр. 17, табл. II, 30а (Неметшюрю); табл. IV, 1—5 (Фенлак).

⁷ N. ÅBERG: Die Goten u. Langobarden in Italien. Upsala 1923, стр. 122, рис. 252—254. — Jahrbuch d. Deutsch. Archäol. Inst. 29 (1914), стр. 416, рис. 1. — H. ZEISS, FuF 11 (1935), стр. 17—19. — N. MAVRODINOV: «Madara». 1936, стр. 155, рис. 231—232.

⁸ V. LIPP: ук. соч., табл. III, 45.



Табл. I. Византийские поясные пряжки VII века. 1, 1а: Сегед—Маккошердё (Венгрия), 17-ая могила; 2: Кестхей, Добого (Венгрия); 3, 3а: Константинополь, румелийский берег (Турция); 4: Коринф (Греция); 5: Игар, 3-ья находка (Венгрия); 6: Сегед—Этхалом (Венгрия). 1, 3—6 = 1:1, 2 = 2:3

является орнамент в виде пятилепесткового узора константинопольской пряжки (табл. I, 3). С помощью набора кестхейских поясных пластинок,⁹ приняв во внимание их смешанный характер, мы можем датировать две рассматриваемые византийские пряжки периодом между 650 и 679 годами. Местом их выделки можно считать Константинополь, ибо кестхейская пряжка (табл. I, 2) и родственные ей экземпляры из кестхейского района чужды аварским памятникам искусства. Это были импортные товары, на что правильно указал уже Вильмош Липп.¹⁰ Константинопольский экземпляр не только напоминанием кестхейской пряжки разрешает вопрос о византийской принадлежности упомянутой кестхейской пряжки, но и говорит о происхождении всех тех пряжек, которых Нандор Феттих в своей сводной таблице обозначает как происходящих из кестхейского района и как предметы местной продукции.¹¹

II ГРУППА

С ЗИГЗАГАМИ И РЯДАМИ КЛИНЫШЕК

Сюда можем отнести три поясных пряжки.

1—2. К о р и н ф (Греция) (табл. I, 4)¹² и находка «№ 3» в Игаре (Венгрия, ком. Фейер) (табл. I, 5);¹³ несколько составных (двучастных) бронзовых пряжек. Это также сходные экземпляры. У коринфской пряжки отсутствует овальная дужка, как на это указывает игарский экземпляр. На всех из них можно найти три основных орнаментальных элемента: зигзагообразные ряды, профилированные стороны, яйцеобразную форму нижней части щитка и контурные линии, выделяющие тело пряжки, с двумя рядами насечек.

3. С е г е д — Э т х а л о м (Венгрия); одночастная пряжка из бронзы (табл. I, 6).¹⁴ Насечки и профилированные стороны находим и здесь. Однако, вместо зигзагообразных линий здесь выступает ряд вертикальных насечек. У основания дужка пряжка имеет два рогообразных утолщения, источник которых трудно определить, но можно отметить в его исполнении схематизм, как, например, на табл. II, 3, 4.

Для определения времени пряжек лучше всех служит игарский экземпляр (табл. I, 5). Феттих упомянул, что во всех трех игарских наход-

⁹ Там же, табл. III, №№ 45—49.

¹⁰ Там же, стр. 26.

¹¹ N. FETTICH : АН XXXI, стр. 79, табл. XLIII—XLIV.

¹² G. R. DAVIDSON : *Hesperia* 6 (1937) № 2, рис. 6. — у к. соч., 1954, стр. 366, табл. 70, 1.

¹³ N. FETTICH : АЕ 43 (1929), табл. IX, 23. В секешфехерварском музее. — PALLAS : у к. соч., 1954, стр. 366, табл. 70.

¹⁴ F. PULSZKY : АЕ I (1881), стр. 153, рис. 16. — J. HAMPEL : I, стр. 303, рис. 756 ; III, табл. 93, рис. 15. Пряжка происходит из могил аварского времени, обнаруженных в процессе земляных работ. Из опубликованных этхаломских вещей эту пряжку можно связать лишь с бронзовой штампованной позолоченной частью шлема (табл. 92, 1), удилами (табл. 94, 5 и 8) и стременами с серебряной инкрустацией. — D. CSALLÁNY : АЕ 80 (1953), стр. 137—138. — D. I. PALLAS : у к. соч. 1954, табл. 7, 3.



Табл. II. Византийские поясные пряжки VII века. 1, 1а: Константинополь, румелийский берег (Турция); 2, 2а: Диск, могильник G, могила 27 (Венгрия); 3: Сегед—Ченгеле, могила 30 (Венгрия); 4, 6, 7: Кестхей, Добого (Венгрия); 5: Гатер, 358-ая могила (Венгрия). — 1:1

ках имеются такие экземпляры, которые обнаружены в тотипустинской находке в сопровождении золотых монет Константина IV Погоната (669—670).¹⁵

Уже и Х. Цейсс¹⁶ указал на связи в орнаментике игарского экземпляра и пряжек византийского характера из Сегед—Этхалом. Принимая во внимание вещи, обнаруженные вместе с игарской пряжкой (табл. I, 5),¹⁷ изображенные на табл. I, 3, 4, 5 пряжки, можно датировать между 660 и 679 годами. Византийское происхождение их подчеркивается нахождением коринфской поясной пряжки.

12 ГРУППА

С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖЕНИЕМ ЯЗЫЧКА

1. С е г е д (Венгрия), 17-ая могила. Из могильной камеры раннеаварской эпохи происходит бронзовая поясная пряжка (табл. I, 1, 1a), единственным орнаментом которой является язычкообразная выемка на лицевой стороне щитка, которая представляет собою как бы зеркальное отражение язычка пряжки. На обратной стороне имеются просверленные ушки для прикрепления к ремню (табл. I, 1a).^{17a}

Ближайшей аналогией предыдущей византийской пряжки со своеобразным орнаментом является поясная пряжка из могильника Суук-су (Крым).¹⁸ Щиток ее украшен двумя вдавленными линиями, идущими в сторону язычка и разделяющими щиток надвое.

Из 24-ой камеры аварского могильника в Сегед—Маккошердё имеются золотые монеты Константа II и Константина IV (654—659),¹⁹ которые датируют вышеуказанную пряжку (табл. I, 1, 1a) временем между 650 и 679 годами. Из 44-ой могилы того же кладбища происходит также бронзовая поясная пряжка (табл. VI, 2, 2a). Материал этого могильника не опубликован.

Упомянутую пряжку из Суук-су бронзовая монета Маврикия Тиберия (582—602)²⁰ датирует первой половиной VII века.

13 ГРУППА

ДУГООБРАЗНЫЕ ПРЯЖКИ ОТ ПОЯСА С РАСТИТЕЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ

1. К о н с т а н т и н о п о л ь, румелийский берег (табл. II, 1, 1a).²¹ Одночастная бронзовая пряжка; тело напоминает голову птицы. На по-

¹⁵ N. FETTSCH : АЕ 43 (1929) стр. 1.

¹⁶ H. ZEISS : Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich : Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, II. Berlin—Leipzig 1934, стр. 118, сноска 12.

¹⁷ N. FETTSCH : АЕ 43 (1929) табл. IX—X.

^{17a} Сегедский музей. — Материал могильника не опубликован. Об относящихся к нему данных см. сноску 19.

¹⁸ Н. И. Р е п н и к о в : Некоторые могильники области крымских готов. ИИАК 19 (1906), стр. 1—80 табл. X, 23.

¹⁹ D. CSALLÁNY : Folia Arch. 1—2 (1939) стр. 133. — D. CSALLÁNY : АЕ 4 (1943) стр. 166. — D. CSALLÁNY : Acta Arch. Hung. 2 (1952) стр. 235. — L. HUSZÁR : Acta Arch. Hung. 5 (1955) стр. 61.

²⁰ Р е п н и к о в : ук. соч., 77-ое погребение.

²¹ Коллекция Месароша.

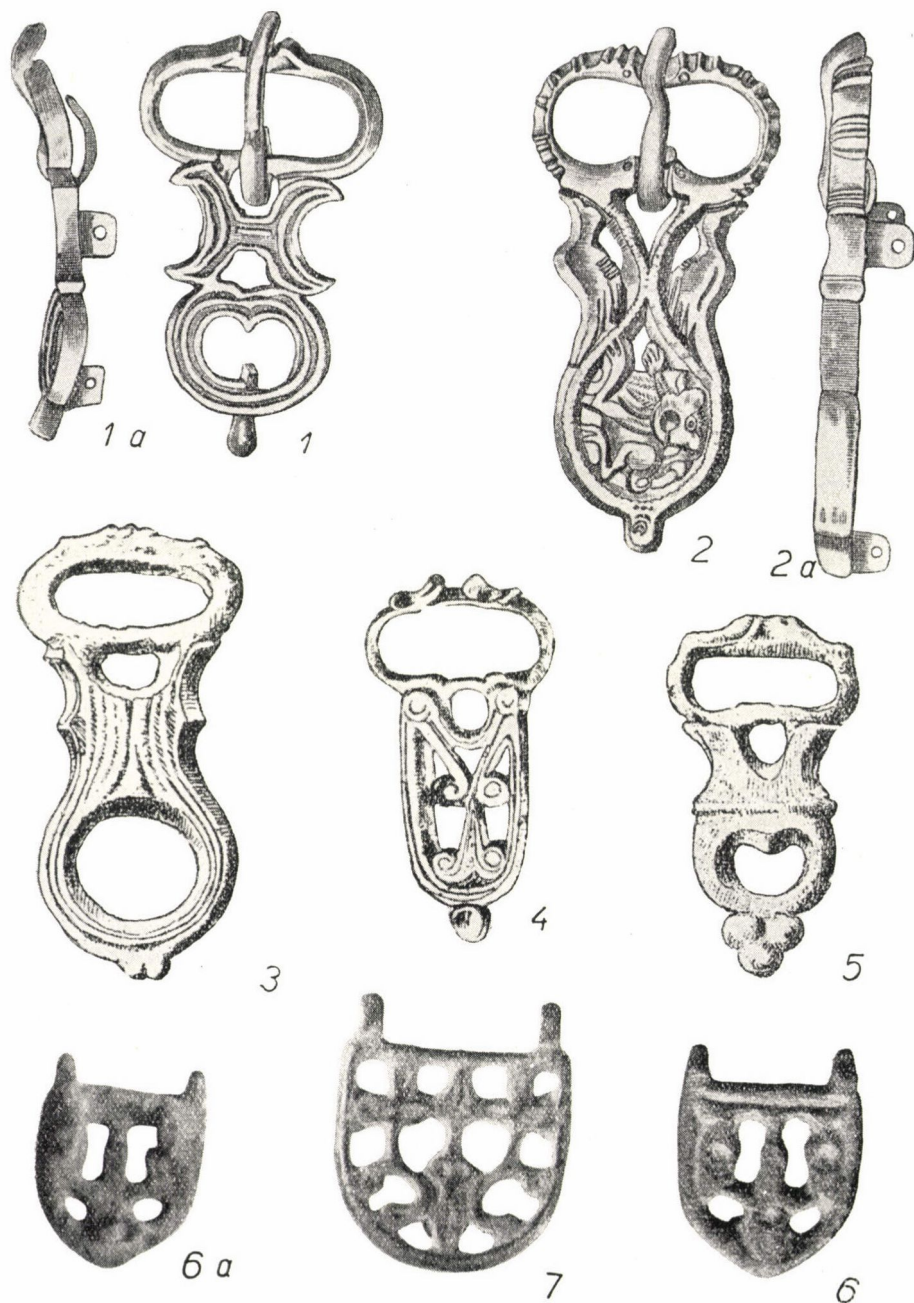


Табл. III. Византийские поясные пряжки VII века. 1, 1а, 2, 2а: Кишкашша (Венгрия); 3, 4, 5: Кестхей, Добого (Венгрия); 6, 6а: Константинополь, румелийский берег (Турция); 7: Италия. — 1:1

верхности пряжки виден рисунок леандры, дугообразно сгибающийся и оканчивающийся плоским листком. На задней стороне имеются два ушка для скрепления с ремнем пояса.

2. Мезембрия (Болгария). Бронзовая пряжка, выделка и рисунок которой тождественны предыдущему экземпляру. Она была обнаружена в византийском могильнике вместе со многими другими находками. На обратной ее стороне также находим два ушка.²²

3. Суук-су (Крым), могила № 60. Одночастная бронзовая пряжка с пробитым леандровым орнаментом дугообразной формы,²³ которая полностью сходна с предыдущим экземпляром.

4. Деск (Венгрия, ком. Чонград), могильник аварской эпохи под номером G, могила 27. Бронзовая поясная пряжка с железным язычком (табл. II, 2, 2а). Ее поверхность повреждена ржавчиной. Трудно различим дугообразный леандровый орнамент, окруженный рядом насечек. Форма пряжки является вариантом предыдущих. Обратная сторона имеет посередине два ушка.²⁴ Дескский могильник № G (по новому пересмотру границ относится к деревне Кларафальва) датируется штампованной золотой пластинкой из 30-ой могилы, с отпечатком аварского солида, подражающего византийскому солиду VI—VII веков. (Возможно, времени Геракла Погоната [610—641]). Погребение № 8, да и материал всего могильника тесно связывается с находками из раннеаварского кладбища под номером «О» из Кишзомбора, дату которого определяет золотой солид Фока (602—610).²⁵ Более ранний слой могильника Суук-су (Крым) имеет бронзовые монеты Юстиниана I и Маврикия Тиберия (582—602).²⁶

Константинопольская (табл. I, 1) и мезембрийская пряжки с леандровым орнаментом не только намечают пути распространения этих предметов, но и разрешают вопрос об их византийском происхождении. Дескская (табл. II, 2) и происходящая из Суук-су (см. у Репникова табл. X, 12) поясные пряжки на основании датированных вещей относят нашу группу находок к 610—620 годам.

14 ГРУППА

ПОЯСНАЯ ПРЯЖКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ИЗОГНУТОГО ЛЕАНДРОВОГО МОТИВА И ЛИЦА, ПОМЕЩЕННЫХ В РАМКУ

Последующее развитие предыдущей группы с дугообразным леандровым орнаментом можно усмотреть на поясной пряжке из 30-ой могилы

²² G. I. KAZAROV: Neue Funde aus der Necropole von Mesembria: Bull. de l'Inst. Arch. Bulgare 7 (1932), стр. 281, рис. 65—66.

²³ Репников: ук. соч., табл. X, 12.

²⁴ Сегедский музей. Материал могильника не опубликован.

²⁵ D. CSALLÁNY: Folia Arch. 1—2 (1939), стр. 121 (Деск, могила 8, могильник в Кишзомборе № О). — D. CSALLÁNY: AE 4 (1943), стр. 166. — Gy. LÁSZLÓ: Dolg. 16 (1940), стр. 145, табл. XXI (Деск G. 37-ая могила). — L. HUSZÁR: Acta Arch. Hung. 5 (1954), стр. 88, № CXXXIII (Кларафальва Кукутен).

²⁶ Репников: ук. соч., стр. 1—30.

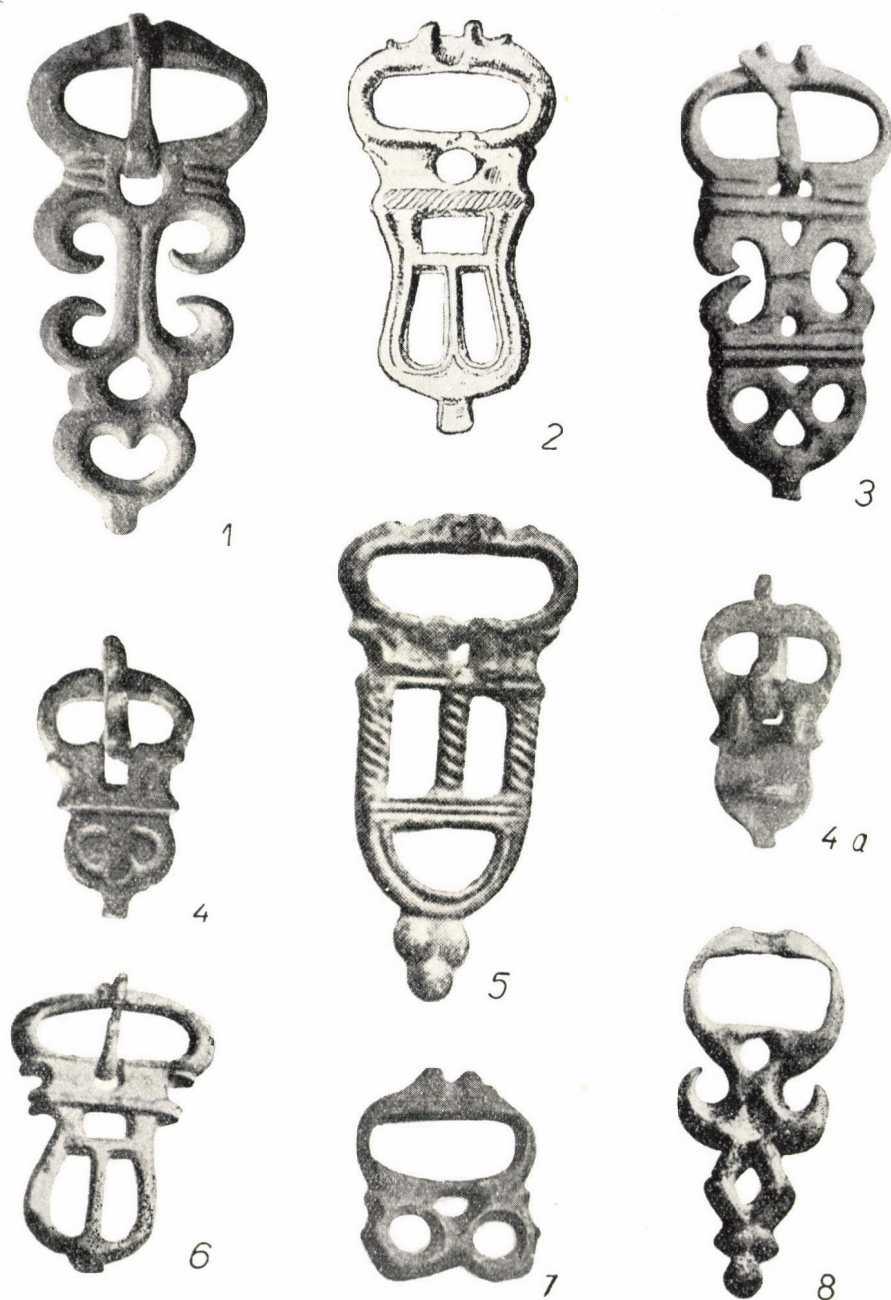


Табл. IV. Византийские поясные пряжки VII века. 1: Печ, Дьярварош (Венгрия); 2: Кестхей, Добого (Венгрия); 3: Цико (Венгрия); 4, 4a: Константинополь, румелийский берег (Турция); 5: Девискна Нова Вес (Чехословакия); 6: Дьёр, 145-ая могила (Венгрия); 7: Венгрия; 8: Юташ, 128-ая могила (Венгрия). — 1:1

кладбища в Сегед—Ченгеле (табл. II, 3).²⁷ В рамке, образующей щитовидную фигуру, можно хорошо проследить некоторые элементы лица: 2 глаза, нос, дугообразный рот. По обеим сторонам щитка имеется два вдавления, которые могут воспроизводить растение или животное. На территории Византии подобные экземпляры пряжек еще мне не известны, однако на штампах бляшек поясных наборов аварского периода, происхождение которых византийское, можно наблюдать окруженное рамкой изображение лица, как, например, из Константинополя²⁸ один экземпляр пряжки можно сопоставить с изображением лица на пряжке из Ченгеле. Кунсентмартонские вещи относятся к первой половине VII века на основании византийских экзагиумов и археологических связей; между тем, как могильник из Сегед—Ченгеле можно отнести к 650—720 годам. Пряжка, изображенная на табл. II, 3 относится к началу этого периода.

15 ГРУППА

ПОЯСНЫЕ ПРЯЖКИ, УКРАШЕННЫЕ РАСТЕНИЯМИ С ТРЕМЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯМИ

1. Константинополь, румелийский берег (табл. III, 6, ба). Двучастная поясная пряжка, дужка и язычок отсутствуют.²⁹ Щиток пряжки имеет ажурный орнамент в виде растения с тремя ветвями. Средний ствол оканчивается тремя удлиненными листьями с обращенными книзу концами. Обратная сторона имеет три обломанных заклепки.

2. Италия (табл. III, 7). Двучастная бронзовая пряжка,³⁰ дужка и язычок потеряны. Щиток имеет ажурный орнамент в виде растения с тремя ветвями, хотя и другого происхождения. Форма щитка отличается от константинопольского экземпляра. Однако, в орнаменте и в манере исполнения без сомнения связывается с византийскими.

Благодаря отсутствию определенного датирующего могильного инвентаря, с которым могли бы быть связаны наши предметы, рассматриваемые пряжки трудно ограничить точными рамками времени. Однако, время их уже вполне можно установить через родственную им бронзовую пряжку, обнаруженную у Марино-Каллига,³¹ на которой тоже имеется растительный мотив с тремя удлиненными листьями. Акаланская (Турция) находка поясных бляшек³² с орнаментом растений в форме удлиненного листа в

²⁷ В сегедском музее. Материал могильника не опубликован; работа J. Корек (рукопись). См. также D. Csallány: *Archäologische Denkmäler*. 1956, стр. 98, №№ 160—161.

²⁸ D. Csallány: *Goldschmiedegrab aus der Avarenzeit von Kunszentmárton*. 1933, табл. I, 6—9, 13, табл. III, 4, табл. IV, 1.

²⁹ Коллекция Месароша.

³⁰ Берлин, Государственный Музей Предистории, Инв. № L 49.

³¹ D. I. Pallas: *Αἱ «βαρβαρικά» πόρται τῆς Κορίνθου*. Афины 1954, табл. 65, 3 (рис. 1, стр. 348).

³² N. Åberg: *Die Goten u. Langobarden in Italien*. Uppsala 1923, стр. 122, рис. 252—254. — H. Zeiss: *FuF* 11 (1935), стр. 17. N. Mavrodinov: *L'Industrie d'art des protobulgares: «Madara» II* (1936), стр. 155, рис. 231—232 (Акалан).

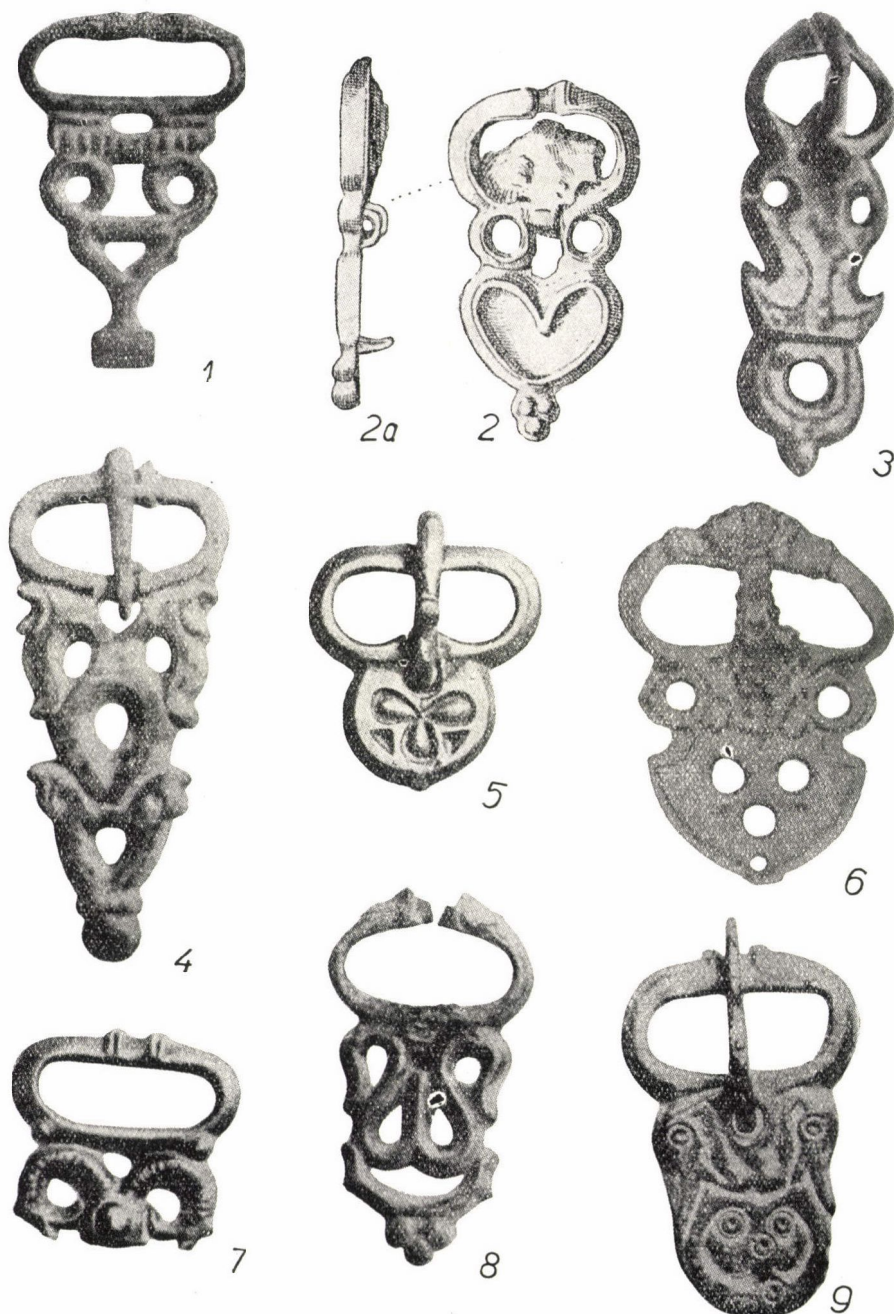


Табл. V. Византийские поясные пряжки VII века. 1: Венгрия; 2, 2a: Дьёр, 94-ая могила (Венгрия); 3: Цико, могила Б (Венгрия); 4: ком. Тольна (Венгрия); 5: Бачфeketехедь (Югославия); 6: Кунсентмартон, 7-ая могила (Венгрия); 7: Кестхей (Венгрия); 8: Дьёр, 608-ая могила (Венгрия); 9: Венгрия.

— 1:1

сопровождении монет, среди которых самые поздние были монетами Геракла 1 (613—641), позволяют экземпляры с родственным орнаментом из могил аварского времени с территории Венгрии датировать вполне определенно между 630 и 660 годами.

16 ГРУППА

ПРЯЖКИ СО СХВАТЫВАЮЩИМИ СВОЕ ЛИРОВИДНОЙ ФОРМЫ ТЕЛО, ПАРОЙ ДРАКОНОВ И ИХ СХЕМАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ

Сюда можно причислить многие варианты бляшек, которые трудно поставить в типологическую последовательность и определить точнее их хронологию, так как в то же самое время в обиходе были пластины не только с различными звериными формами, но и упрощенные геометризированные варианты этих форм.

Главным характеризующим элементом бляшек является пара животных, кусающих свое змееобразное тело. Эта пара животных в большинстве случаев образует орнамент в виде лиры.

К этой группе могут быть отнесены следующие экземпляры:

1. С е н т е ш — К а й я н (Венгрия, ком. Чонград), пряжка пояса из 27-ой могилы аварского могильника (табл. VI, 1).³³ Среди всех экземпляров этой группы именно на этой поясной пряжке лучше всего можно различить форму животного: двуглавый дракон, кусающий свое ленточной формы тело, покрытое бугорками. У соединения согнутых тел находим выпуклый орнамент в виде головки гвоздя, что повторяется на одном из кестхейских экземпляров (табл. V, 7). Язычок пряжки сделан из железа. На обратной стороне имеется два ушка для скрепления с ремнем. К этой пряжке относятся неорнаментированный наконечник того же пояса и нашивные к нему бляшки; наш экземпляр можно датировать еще VII веком, хотя кладбищем пользовались начиная с середины VII века и вплоть до VIII—IX веков.

2. К е с т х е й (Венгрия, ком. Веспрем), фрагмент бронзовой бляшки (табл. V, 7)³⁴ с ажурным изображением драконов. Этот экземпляр почти совпадает с пряжкой из Сентеш—Кайяна.

3. С е г е д, М а к к о ш е р д ё (Венгрия) 44-ая могила. Раннеаварская бронзовая поясная пряжка (табл. VI, 2, 2а),³⁵ которая дошла до нас в плохом состоянии. Язычок железный. Обратная сторона с раковинообразными выемками; характерные ушки для прикрепления к ремню обломаны. Пара зверей на лицевой стороне превратилась в ленточный орнамент с насечками. Между зверями, в кружке, ограниченном полосами с насечками,

³³ В сентешском музее. — J. KÖRÖK: Das avarische Gräberfeld zu Szentes—Kaján, *Dolg.* 19 (1943), стр. 26, табл. XIX, 15. (пряжка). — D. CSALLÁNY: *Arch. Denkmäler.* 1956, стр. 197, № 913.

³⁴ Всевенгерский Национальный Музей. — N. FETTSCH: *AE* 40 (1923—26), стр. 157, табл. IV, 8.

³⁵ Сегедский музей, материалы могильника не опубликованы. О данных датировки см. сноску 19 и D. CSALLÁNY: *Arch. Denkmäler.* 1956, стр. 192, № 865 и стр. 239.

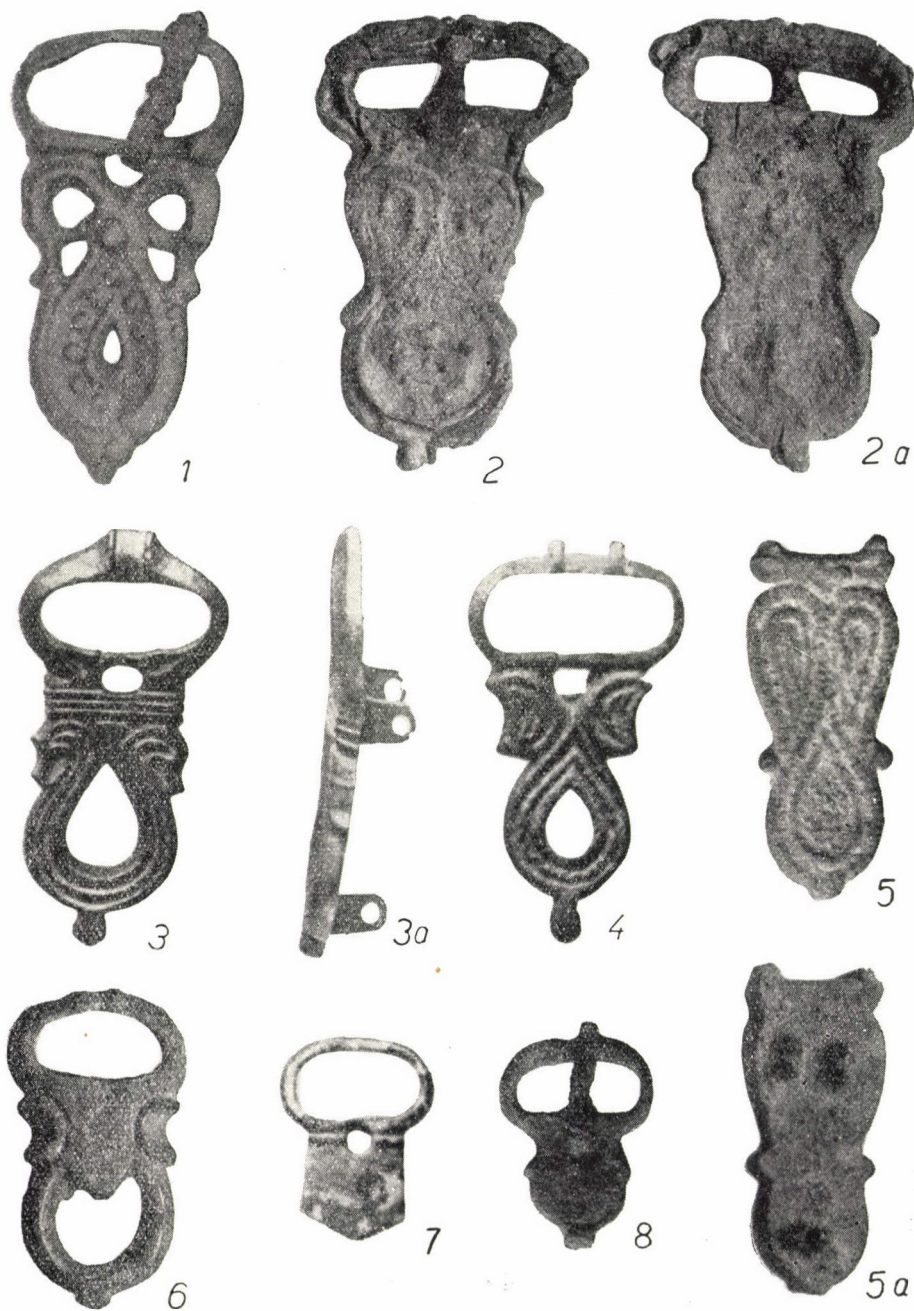


Табл. VI. Византийские поясные пряжки VII века. 1: Сентеш—Кайян, 207-ая могила (Венгрия); 2, 2а: Сегед, Маккошердё, 44-ая могила (Венгрия); 3, 3а, 4, 7: Коринф (Греция); 5, 5а: Константинополь, румелийский берег (Турция); 6: Оберпфальц (Германия); 8: Сегед—Фехерто, могильник А, 34-ая могила (Венгрия). — 1:1.

выпуклиной выделяется византийский крест с равными разветвлениями на утолщенном основании.

24-ая могила этого кладбища с золотой монетой Константа II и Константина IV (654—659) определяет время пряжки, изображенной на табл. VI, 2. Таким образом, ее можно датировать между 650 и 670 годами.

Византийские пряжки родственного характера с крестом, с греческой монограммой или с другими элементами, заполняющими пространство, или же с вырезками на щитке мы находим во многих местах, главным образом, на западных территориях. Санта-Олалла датирует эти византийские памятники временем между 621 и 711 годами.³⁶

4. Константинополь, румелийский берег (Турция), бронзовая поясная пряжка (табл. VI, 5, 5a).³⁷ Имеется только ее щиток. Орнамент состоит также из кусающего себя дракона-змеи. Его тело покрыто насечками, как и на экземпляре из Сегед—Маккошердё. Поле внизу заполнено неясным стертým орнаментом. На обратной стороне пряжки есть три ушка для скрепления с ремнем (табл. VI, 2a).

5—6. Печ, Дьярварош (Венгрия, ком. Баранья), почти одинаковые две бронзовые пряжки,³⁸ украшенные парой драконов (табл. VIII, 6).

7. Кестхей (Венгрия, ком. Веспрем), фрагментированная бронзовая пряжка с изображением пары драконов.³⁹

8. Калая (Югославия, Далмация), византийская бронзовая пряжка с изображением пары драконов, которая сходна с сентеш—кайянской формой.^{39a}

9. Коринф (Греция), одночастная поясная пряжка с хорошо видным изображением двух звериных морд и бороздкой, с тремя ушками для скрепления с поясом на обратной стороне (табл. VI, 3, 3a).⁴⁰

10—11. Коринф (Греция). Две бронзовые пряжки, которые показывают рудиментарную форму и варианты еще различного изображения дракона. Одна из них опубликована Палла,⁴¹ другая изображена на табл. VI, 4.⁴²

12. Девинска Нова Вес (Девеньуйфалу [Чехословакия]), 420-ое погребение аварского могильника. Византийская бронзовая пряжка (табл.

³⁶ J. M. SANTA-OLALLA : Esquema de la archueologia visigoda. Investigación y Progreso VIII. Madrid 1934, стр. 107—109, рис. 3 (Hinojar del Rey, Burgos). — D. I. PALLAS : ук. соч. 1954, табл. 76, 3—4).

³⁷ Коллекция Месароша.

³⁸ A. ALFÖLDI : Zur historische Bestimmung der Avarenfunde. ESA 9 (1934), стр. 285, табл. III, 3. — N. FETTSCH : Archäologische Studien zur Geschichte der späthunnischen Metallkunst. AN XXXI, стр. 67, табл. XIV, 2—3. — D. I. PALLAS : ук. соч., 1954, табл. 74, 3. — см. также D. CSALLÁNY : Arch. Denkmäler. 1956, стр. 178, № 768.

³⁹ N. FETTSCH : AN XXX. Budapest 1951. Табл. XLIV, фиг. 4.

^{39a} Берлин, Государственный Музей Предистории. (Abt. IV. b. Türkei. № 2r.)

⁴⁰ США, Колумбийский университет. — G. R. DAVIDSON : Hesperia. 6 (1937), № 2, стр. 227, рис. 6 a, b (вид сбоку). — D. I. PALLAS : ук. соч. 1954, табл. 74, 1.

⁴¹ PALLAS : ук. соч. табл. 75, 1.

⁴² DAVIDSON : ук. соч., рис. 6 c. — PALLAS : ук. соч., 1954, табл. 75, 1a.

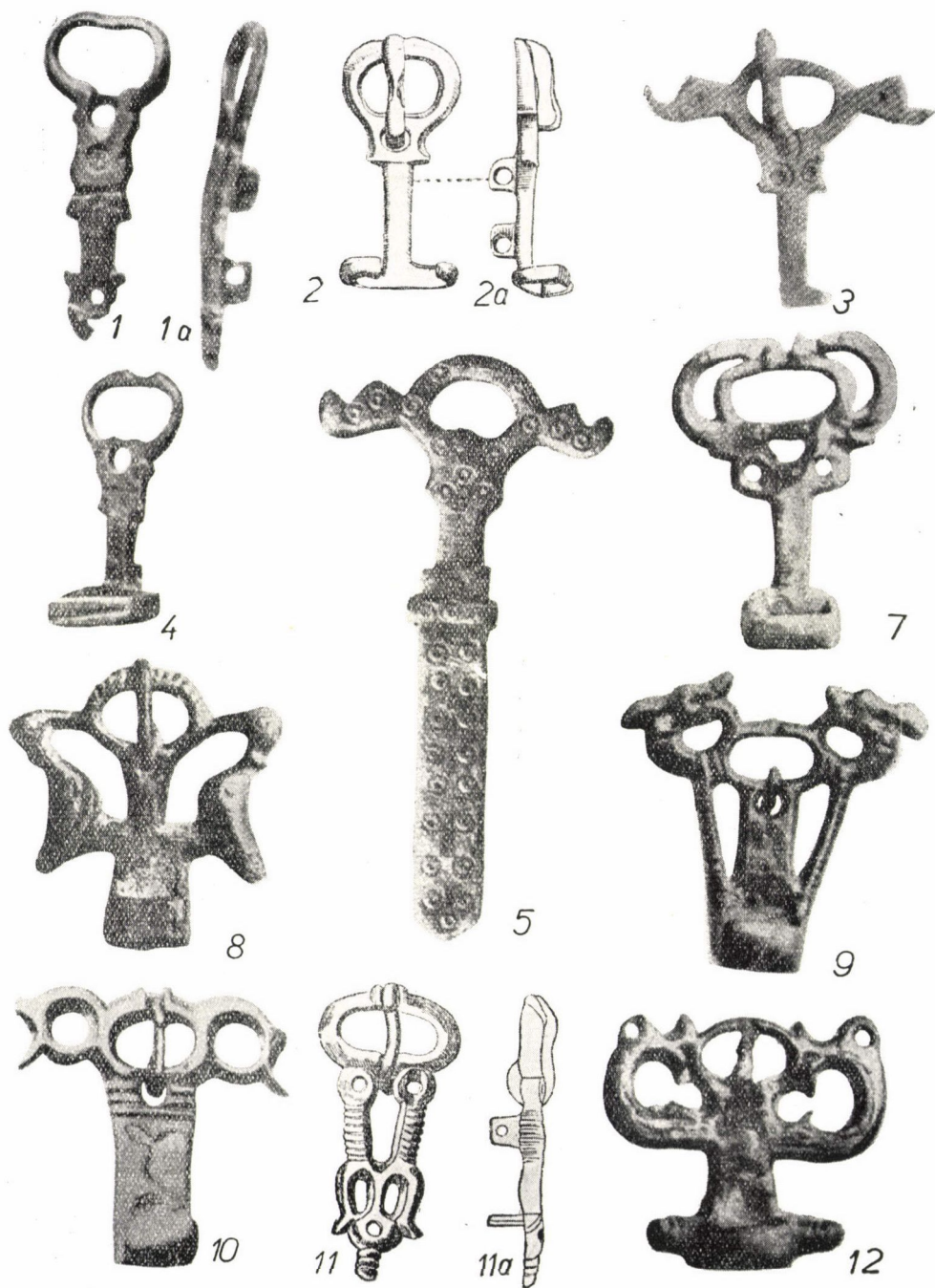


Табл. VII. Византийские поясные пряжки VII века. 1, 1а, 4: Коринф (Греция); 2, 2а: Сегхедь (Югославия); Папа, Урдомб, 1-ая могила (Венгрия); 5, 6, 8: Кестхей (Венгрия); 7: Цико (Венгрия); 9, 10: Венгрия; 11, 11а: Цико, 167-ая могила (Венгрия); 12: Гатер, 6-ая могила (Венгрия). — 1

VIII, 1), которая является органическим развитием коринфского типа пряжки (табл. VI, 4). Звериный характер орнамента здесь уже схематизирован.⁴³

При взгляде на карту аварского могильника в Девинска Нова Вес (Девеньуйфалу) можно отметить, что найденные там византийские бронзовые пряжки (мог. №№ 420, 425, 430) были сгруппированы в одной небольшой части могильника. Если рассмотреть расположение самого раннего материала находок кладбища (материал могил №№ 429, 466, 535, 401, 124, 132), можно сделать вывод, что византийские пряжки включаются именно в этот ранний слой памятников кладбища, который можно отнести ко второй половине VII века и который сосредоточен вокруг диагонали, разделяющей могильник по линии ЮЗ—СВ.⁴⁴

13. Оберпфальц (Германия), бронзовая пряжка (табл. VI, 6), форма которой восходит к звериной орнаментике.⁴⁵ Самое близкое сходство с ней имеет экземпляр из Девеньуйфалу (табл. VIII, 1).

14. Вариантом этой группы пряжек является и бронзовая пряжка из 136-ой могилы неттерсхеймского (Германия) могильника. Головная часть ее имеет прямоугольную форму.⁴⁶

15. Мы находим многочисленные варианты подобных пряжек, могущих войти в эту группу, как среди экземпляров, происходящих из Кестхейского района, так и среди других экземпляров с территории Венгрии. Так, бронзовая пряжка (табл. III, 1, 1a)⁴⁷ из Кишкашша (Венгрия, ком. Баранья) входит в круг упомянутых выше коринфских пряжек.⁴⁸

16. Кестхей, Добого (Венгрия, ком. Веспрем). Бронзовую пряжку отсюда мы можем причислить к вариантам пряжек со звериными изображениями только на основании предшествующих. Она больше указывает на геометрическо-растительные композиционные связи.⁴⁹

17—20 Кестхей, Добого (Венгрия, ком. Веспрем). Бронзовая пряжка (табл. II, 4)⁵⁰ и ее варианты (табл. VIII, 2, 7)⁵¹ также соответствуют формам пряжек с драконами (табл. VI, 1—6), но пара голов становится тут

⁴³ J. EISNER : Devínska Nová Ves. Bratislava 1952, табл. 48, 4. — Относительно другой литературы см. : D. CSALLÁNY : Arch. Denkmäler. 1956, стр. 105, № 219.

⁴⁴ J. EISNER : укр. соч. табл. 3.

⁴⁵ Нюрнберг, Германский Национальный Музей, инв. № FG. 1981.

⁴⁶ Берлин, Государственный Музей Претории.

⁴⁷ Национальный Музей. — АЭ I (1890), стр. 75. — J. HAMPEL : Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. II, стр. 365—367 ; III, 275—276. — N. FETTSCH : АН I, 1926, табл. I, 7, II, 21, 28. — N. FETTSCH : АЭ 40 (1923—26), табл. IV, 7. — DAVIDSON : Hesperia 6 (1937), № 2, рис. 8 A, — PALLAS : укр. соч., 1954, табл. 75, 2.

⁴⁸ PALLAS : укр. соч., табл. 75, 18.

⁴⁹ Национальный Музей. HAMPEL : III, табл. 159, 9 — V. LIPP : Keszthelyi sírmezők. Budapest 1884, стр. 26, № 168. — N. FETTSCH : АН XXXI, табл. XLIV, 2. — D. I. PALLAS : укр. соч. табл. 77, 1.

⁵⁰ Национальный Музей. — HAMPEL : III, табл. 160, 1. — V. LIPP : укр. соч. 1884, стр. 26, № 169. — N. FETTSCH : АН XXXI, табл. XLIV, 10. — PALLAS : укр. соч., табл. 78, 3.

⁵¹ FETTSCH : АН XXXI, табл. XLIV, 9, 11—12.

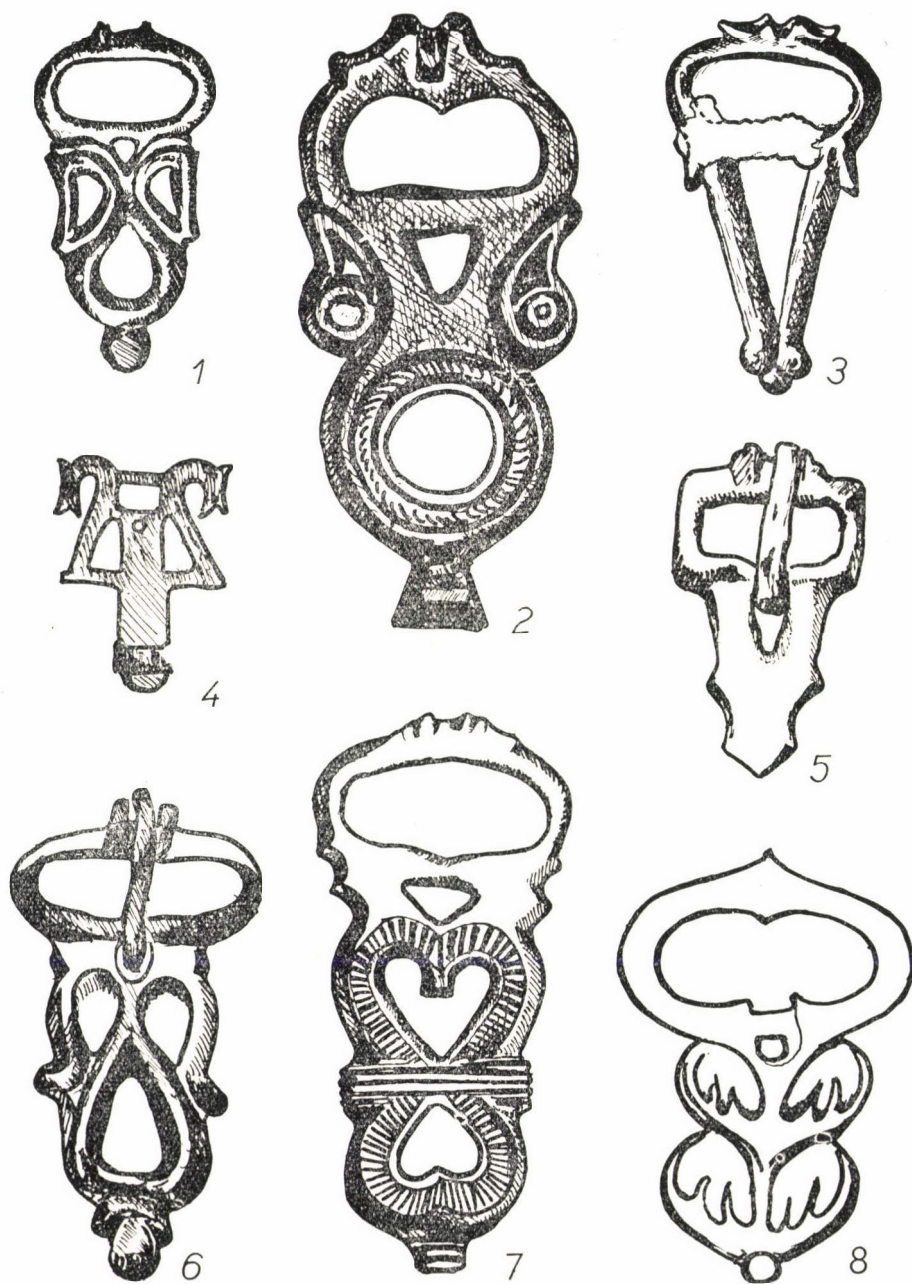


Табл. VIII. Византийские поясные пряжки VII века. 1: Девинска Нова Вес, 420-ая могила (Чехословакия); 2, 7: Кестхей, Добого (Венгрия); 3: Девинска Нова Вес, 425-ая могила (Чехословакия); 4: Семчиново (Болгария); 5: Девинска Нова Вес, 430-ая могила (Чехословакия); 6: Печ, Дьярварош (Венгрия); 8: Орцифальва (Румыния). — 1:1

самостоятельным членом щитка, а дугообразное тело животных превратилось в пробитую вилкообразную геометрическую форму.

Нандор Феттих в упомянутой работе⁵² публикует целый ряд подобных пряжек, считая их продукцией местных металлообрабатывающих ремесленных мастерских «Кестхейского района» и видя в них изображения грифонов.

Термин «Кестхейский район» слишком обобщающий, так как в данном случае в отношении упомянутых Феттихом пряжек на основании работ Липпа можно точно определить, откуда они происходят. Так, из г. Кестхей, Добого происходят следующие: табл. XLIII, 1—6; XLIV, 1—3, 5, 6, 8—12; из г. Кестхей — табл. XLV, 1—6. К ним можно прибавить и пряжки из г. Кестхей, Добого, о которых Феттих не упоминает. Это экземпляры, рассмотренные нами (табл. I, 2; III, 3).

Ввиду всего этого можно заключить, что металлообрабатывающее ремесло так называемого «Кестхейского района», связанного с находками пряжек, основывается, по сути дела, только на пряжках аварского могильника в г. Кестхей, Добого, так как вышеупомянутые «кестхейские», по Феттиху, пряжки являются лишь фрагментарными экземплярами, кестхейское местонахождение которых уточнить невозможно. Пряжки из Печ-Дьярварош мы не можем причислять к Кестхейскому району, т. к. на таком же основании нужно было бы причислить сюда все византийские пряжки всей Трансданубии, как, например, из сс. Печ-Кёзтеметё, Игар, Кишкашша, Цико, гг. Дьёр, Юташ, Папа и др.

Рассмотренные пряжки из г. Кестхей, Добого, представляющие продукцию металлообрабатывающего ремесла «Кестхейского района», оказываются, не могут представлять «местное металлообрабатывающее ремесло».

При ознакомлении с кестхейскими полями погребений⁵³ уже В. Липп подчеркнул, что «та группа пряжек, с которой нам предстоит познакомиться, является специфической для Добого, да и там только специфической группой небольшой территории, еле достигающей 100 м². Хотя эти пряжки и имеют очень красивые формы, они не принадлежат к числу собственно орнаментальных пряжек моих полей погребений, потому что они имеют композицию, расходящуюся с другими, и, вероятно, являются импортированными вещами. Во всяком случае, они происходят не из тех мастерских, из которых вышли остальные поясные бляшки. Эти пряжки, из которых я намерен показать семь основных, отлиты целиком и примерно имеют форму скрипки» (№№ 168—174, 179, 180).

1. Территориально пряжки встречаются не во всех частях могильника, а только на определенной небольшой его территории.

⁵² ФЕТТИХ : АН XXXI, стр. 65, 79, табл. XLIII, 1—6, XLIV, 1—12 («Кестхейский район»), табл. XLV, 1—6 (Печ, Дьярварош).

⁵³ V. LIPP : A keszhelyi sírmezők. Budapest 1884, стр. 26.

2. По времени они связываются со штампованными орнаментированными поясными пластинками, следовательно, их можно отнести только к VII веку.

3. Технически их выделка отличается от выделки обычных аварских пряжек, т. к., если наши византийские пряжки прикрепляются к ремню при помощи петелек, припаянных к обратной стороне, пряжки местного металлообрабатывающего ремесла аварского времени пробиты заклепками. (Липп, ук. соч. №№ 177—178, 176, 134, 125, 70, 85 и т. д.)

4. Об их византийском происхождении свидетельствуют подлинно византийские пряжки константинопольского (таковы связи пряжек на табл. I, 2, 3), коринфского и других заграничных и внутренних находений могильников аварского времени.

Что нахождение наборов византийских пряжек в качестве погребального инвентаря, группирующихся приблизительно в 100 м² в аварском могильнике из Кестхей, Добого не является случайностью, доказывает и топографическая карта аварского могильника из Девинска Нова Вес (Девень-уйфалу),⁵⁴ где находки византийских пряжек встречаются тоже только на небольшой определенной территории. Следовательно, они могут означать непродолжительный отрезок времени и быть охарактеризованы как продукты местного металлообрабатывающего ремесла.

5. Нельзя представить и того, что эти пряжки, которые массами встречаются в Византийской империи и на граничащих с ней территориях и которые уже в нескольких работах обозначены как византийские, распространились бы на трех континентах вследствие влияния аварского металлообрабатывающего ремесла. Следовательно, пряжки не являются «варварскими».

6. Нельзя видеть на пряжках и изображения грифонов. Их мотивы восходят к лентообразным драконовым изображениям. Достаточно, если в связи с этим я сошлюсь лишь на раннее сочинение Феттиха.⁵⁵ Их употребление распространяется на вторую половину VII века.

17 ГРУППА

ПРЯЖКИ С ПАРАМИ РАЗНООБРАЗНЫХ ЖИВОТНЫХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ВАРИАЦИЯМИ

1. К и ш к а ш ш а (Венгрия, ком. Баранья), одночастная бронзовая пряжка (табл. III, 2, 2а); справа и слева на щитке сидит по одной фигуре птиц и между ними в поле, окруженном перегородкой из планки, различима свернувшаяся фигура льва. Нижняя часть язычка оформлена в птичью голову, схватываемую с двух сторон раскрытыми пастью пары драконов,

⁵⁴ FISNER : ук. соч. 1952, табл. 3.

⁵⁵ N. FETTICH : AÉ 40 (1923—26) стр. 157.

тела которых составляет дужка с поперечными валиками. На игле пряжки нарезом сделан византийский крест.⁵⁶

2. К е с т х е й, Д о б о г о (Венгрия, ком. Веспрем), бронзовая поясная пряжка (табл. III, 3)⁵⁷ представляет схематизацию предыдущей; профилированный край следует за контурной линией пары птиц.

Византийскую связь пряжки из с. Кишкашша (табл. III, 2) подчеркнул уже Х. Цейсс.⁵⁸ Оба экземпляра можно отнести к VII веку.

3. П е ч, Д ь я р в а р о ш (Венгрия, ком. Баранья), бронзовая пряжка (табл. IV, 1).⁵⁹ Симметричный ажурный щиток изображает схематизированную пару драконов.

4. Бронзовая поясная пряжка (табл. IV, 3),⁶⁰ происходящая из аварского могильника в Ц и к о (Венгрия, ком. Тольна). Экземпляр стоит близко к пряжке, изображенной на табл. IV, 1. Она также имеет симметричную схематизированную форму. В могильнике Цико представлен как штампованный материал VII века, так и группа бронзовых литых предметов с грифоно-леандровым орнаментом VIII—IX веков. Рассматриваемая пряжка относится к слою VII века могильника так же, как и византийская бронзовая пряжка⁶¹ из 109-ой могилы могильника в Цико, которую сопровождающие ее вещи датируют этим временем.

5. Другой вариант пряжек с драконовым орнаментом представляет бронзовая пряжка (табл. V, 4),⁶² происходящая из ком. Т о л ь н а (Венгрия); имеет опускающиеся книзу головы животных.

6. На бронзовой пряжке (табл. V, 8)⁶³ из 608-ой могилы в. Д ь ё р (Венгрия) комбинируются S-образная пара драконов и растительные элементы. Ее сопровождала обломанная серебряная пластинка. В соседней, 756-ой могиле были обнаружены такие посеребренные штампованные бронзовые поясные бляшки, которые характерны для второй половины VII в

⁵⁶ Всевенгерский Национальный Музей. — HAMPEL: III, табл. 276, 17a—b. — FETTSCH: АЕ 40 (1923—26), стр. 162, табл. IV, 6. — Gy. LÁSZLÓ: *Dolg.* 16 (1940), стр. 157, табл. XXVI, 3.

⁵⁷ Всевенгерский Национальный Музей. — HAMPEL: III, табл. 160, 2. — PALLAS: ук. соч. 1954, стр. 372, рис. 7.

⁵⁸ H. ZEISS: *Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich*. Berlin—Leipzig 1934, стр. 119, сноска 4.

⁵⁹ Национальный Музей, коллекция Флейссига. — A. ALFÖLDI: *Zur historischen Bestimmung der Avarenfunde*: ESA 9 (1934), стр. 285, табл. III, 2. — FETTSCH: АИ. табл. XLV, 5.

⁶⁰ Там же, инв. номер новых находок: 5/1930, 5—6/1950, 45/1950. — N FETTSCH: АЕ 40 (1926), табл. IV, 3. — M. WOSINSZKY: *Arch. Közl.* 17 (1894), стр. 35; — АЕ (1895), стр. 176; — АЕ 16 (1896) стр. 190. — M. WOSINSZKY: *Tolna vármegye az őskortól a honfoglalásig*. II. Budapest 1896, стр. 886. — J. HAMPEL: III, табл. 201—240., II, стр. 257—315. — G. NAGY: АЕ 26 (1906), стр. 202—207.

⁶¹ M. WOSINSZKY: *Tolna vm.* стр. 883, рис. 3.

⁶² Сексардский музей. — N. FETTSCH: АЕ 40 (1923—26), стр. 162, табл. II, 3.

⁶³ Музей в Дьёре. — FETTSCH: АЕ 40 (1923—26) табл. II, 1. — он же: *Győr a népvándorlaskorban*. Győr 1943, табл. XVIII, 11. — PALLAS: ук. соч. табл. 79, 1.

7. На бронзовой пряжке из Венгрии (табл. V, 9)⁶⁴ можно увидеть пару птичьих голов вместе с маскообразным изображением. Более точных данных об ее месте находки нет.

8. На бронзовой пряжке из Кестхей, Добого (Венгрия, ком. Веспрем) можно различить звериную композицию в виде завитка вместе с маскообразным изображением.⁶⁵ Экземпляр относится к VII веку.

9—11, 12—14. Кестхей. Добого (Венгрия, ком. Веспрем), два геометризованных варианта пряжек со звериными фигурами (табл. II, 6; VIII, 7).⁶⁶

15. Гатер (Венгрия, ком. Бач-Кишкун), бронзовая пряжка из 358-ой могилы аварского могильника (табл. II, 5).⁶⁷ Добавочный экземпляр к предметам 9—11 из Кестхей, Добого. Стилистические и хронологические связи пряжки тождественны со сказанным выше. Пряжка тоже не является продуктом металлообрабатывающего ремесла «Кестхейского района».

16—17. Кестхей, Добого (Венгрия, ком. Веспрем). Одна из них — фрагментированная бронзовая поясная пряжка (табл. II, 7)⁶⁸ с полумесяцевидной вырезкой, а другая — вариант первой.⁶⁹

18. Печ. Дьярварош (Венгрия, ком. Баранья). Бронзовая поясная пряжка, которая имеет выделку, почти тождественную экземпляру № 16 из Добого.⁷⁰

19. Печ. Дьярварош (Венгрия, ком. Баранья). Бронзовая пряжка⁷¹ схематизированной формы.

20. Печ, центральный могильник, 30-ая могила (Венгрия, ком. Баранья). Бронзовая поясная пряжка с вырезкой в форме полумесяца и концом в виде бахрамы.⁷²

В ходе раскопок 1907—1908 гг. в 53-х раннеаварских могилах было найдено несколько византийских пряжек с ушками на обратной стороне.

⁶⁴ Национальный Музей, коллекция Дельхаза. — FETTSCH : АЕ 40 (1923—26), стр. 162, табл. IV, 9.

⁶⁵ Национальный Музей. — V. LIPP : A keszthelyi sírmezők. Budapest 1884, рис. 179. — N. FETTSCH : АЕ (1923—26), табл. IV, 1. — FETTSCH : АИ 1951, табл. XLIV, 3.

⁶⁶ V. LIPP : ук. соч. рис. 172, стр. 1. — HAMPEL : III табл. 160, 4. — FETTSCH : АИ XXXI, табл. XLIII, 1—6. — PALLAS : ук. соч. 1954, табл. 73, 1 и 3; табл. 78, 2.

⁶⁷ Кечкеметский музей (погибла). FETTSCH : АЕ 40 (1923—26), стр. 162, табл. IV, 2, 2. — E. KADA : Gátéri (kunkisszállási) temető a régibb középkorból. АЕ 35 (1905), стр. 360—384, 402—407; 26 (1906), стр. 135—155, 207—221; 28 (1908), стр. 330—339. Опубликованы могилы только с 1 по 297.

⁶⁸ Национальный Музей. HAMPEL : III, табл. 160, 5. — V. LIPP : ук. соч., рис. 173, стр. 26. — FETTSCH : АИ XXXI, табл. XLIV, 8. — PALLAS : ук. соч. 1954, табл. 74, 2.

⁶⁹ Всевенгерский Национальный Музей. FETTSCH : АИ 1951, табл. XLIV, 1.

⁷⁰ Там же, из коллекции Флейссига. A. ALFÖLDI : ESA 9 (1934), табл. III, 5. — FETTSCH : АИ XXXI, табл. XLV, 6.

⁷¹ Всевенгерский Национальный Музей, из коллекции Флейссига. ALFÖLDI : ESA 9 (1934), табл. III, 5. — FETTSCH : АИ XXXI, табл. XLV, 6.

⁷² Печский музей. A. MAROSI : Ásatás a pécsi népvándorláskori sírmezőn. Múzeumi és Könyvtári Értesítő 3 (1909), стр. 107, рис. 13.

Браслет с концами в виде раструбов и другой могильный инвентарь относят эту пряжку к VII веку.

21—23. В этой группе мы опять можем найти схематизированный вариант пряжек, который представлен тремя близкими экземплярами. Один из них является пряжкой из могилы аварского времени № 145 из г. Дьёр (Венгрия, ком. Дьёр-Шопрон) (табл. IV, 6).⁷³

Другой экземпляр, почти такой же выделки, происходит из погребального поля в Кестхей Добого (табл. IV, 2).⁷⁴

Третья бляшка является спорадической находкой и обнаружена в могильнике аварского времени в Девеньуйфалу (табл. IV, 5).⁷⁵ На этой пряжке нельзя найти следов зверинго орнамента. Она с винтовыми столбиками более походит на цветковое изображение.

Не имея датирующих ее материалов, просто на основании положения могил, пряжки №№ 21—23 можем причислить к византийскому наследию аварского времени VII века.

24. Ю т а ш (Венгрия, ком. Веспрем), 128-ая могила (табл. IV, 8). Бронзовая поясная пряжка с геометрическим орнаментом, о происхождении которой нельзя сказать ничего.⁷⁶ Из могильного инвентаря штампованная пара серег указывает на VII век, как на время употребления пряжки

25 В е н г р и я, бронзовая поясная пряжка (табл. V, 1)⁷⁷ с переплетенным лентообразным животным орнаментом

Пряжки под номерами 1—25 с геометрическими животными вариациями, относящиеся к 17-ой группе, хотя и представляют много вариантов форм, все они едины в наличии с обратной стороны петелек, в своих связях с памятниками аварского времени VII века и в своем происхождении из Византии, откуда они попали как торговые предметы в наследие соседних народов.

18 ГРУППА

ПРЯЖКА ОТ ПОЯСА С АЖУРНЫМ ЛЕАНДРОВЫМ ОРНАМЕНТОМ

К е с т х е й, Д о б о г о (Венгрия, ком. Веспрем). Бронзовая поясная пряжка (табл. III, 4) с ажурным леандровым орнаментом.⁷⁸ Ее орнаментация отличается от орнаментов пряжек, рассматриваемых до сих

⁷³ Музей Дьёр. — N. FETTSCH: Győr a népvándorlásokorban. Győr 1943, табл. XVIII, 12. — FETTSCH: АЕ 40 (1923—26), стр. 162, табл. IV, 4.

⁷⁴ Национальный Музей. — V. LIPP: ук. соч. рис. 171, стр. 26. — HAMPEL: III, табл. 160, 3. — FETTSCH: АН XXXI, табл. XLIV, 5. — PALLAS: ук. соч. 1954, табл. 79, 3.

⁷⁵ Братиславский музей. — J. EISNER: Devínska Nová Ves. Bratislava 1952, табл. 108, 1.

⁷⁶ Веспремский музей. — Gy. RHE u. N. FETTSCH: Jutas und Öskü. Praga 1931, II, 14.

⁷⁷ Национальный Музей. — FETTSCH: АЕ 40 (1923—26), табл. IV, 8.

⁷⁸ Национальный Музей. — FETTSCH: АН XXXI, табл. IV, 6. — V. LIPP: ук. соч. рис. 174, стр. 26.

пор, и совпадает с византийскими пряжками только в петельках для крепления к ремню и в употреблении двух выпуклин для защиты дужковой выемки, а также в «бородке». Так, в могильнике аварского времени в Добого она была найдена вместе с другими византийскими пряжками на небольшой, в 100 м² территории. Пряжка должна быть отнесена, если принять во внимание датирующие данные, к VII веку.

19 ГРУППА

ПОЯСНЫЕ ПРЯЖКИ С ТРЕХЛИСТНЫМ ОРНАМЕНТОМ
ИЛИ С ТРЕМЯ КРУГЛЫМИ ВЫРЕЗАМИ И ИХ СВЯЗИ

1. Константинополь, румелийский берег (Турция). Бронзовая пряжка (табл. IV, 4, 4а).⁷⁹ Щиток орнаментирован трехлистным, обращенным книзу орнаментом и согнутой ветвью. Часть дужки, охватывающая нижний конец иглы, восходит, вероятно, к драконовой композиции. С обратной стороны припаяны три петельки.

2. Бачфeketехедь (Югославия). Позолоченная серебряная пряжка (табл. V, 5), которая имеет трехлистный орнамент и две клиновидных прорезки, заполняющих пустое пространство.⁸⁰ Сопровождающий ее серебряный наконечник пояса с переплетенной ленточной орнаментикой и серебряная розетка указывают на первую половину VII века. Связь двух пряжек и их византийское происхождение несомненны.

К этой группе относятся мотивы штампов аварского времени, византийские по происхождению, из Фенлак (Румыния), где встречаются клинышки для заполнения пространства.⁸¹ Этот же орнаментальный мотив мы находим на других штампованных серебряных поясных бляшках, как, например, на находках из аварского могильника Кларафальва—Кукутин, из баюварского кладбища в Линц—Ст. Петер. Эту последнюю датирует 630-м гг. монета Геракла Константина, найденная в 132-ой могиле.⁸²

3. Вариант орнамента из с. Бачфeketехедь с (три + два) круглым вырезом находим на поясной пряжке (табл. V, 6),⁸³ обнаруженной в 7-ой могиле аварского могильника в Кунсентмартон, Хабрань-телеп (Венгрия, ком. Сольнок).

Обратная сторона ее имеет выемки в виде раковин. Ушко для скрепления с ремнем как характерный элемент византийских пряжек отсутствует. Зато на ней находим клинообразный орнамент на двух сторонах нижней

⁷⁹ Коллекция Месароша.

⁸⁰ Всеенгерский Национальный Музей. — FETTSCH: AN I, 1926 рис. 21. — AE 28 (1908), стр. 418, рис. 7.

⁸¹ FETTSCH: AN I, (1926), табл. IV, рис. 7—13.

⁸² FR. DWORSCHAK: Byzantinischer Münzfund. Mitteil. der Numismatischen Gesellschaft in Wien 4 (1943), стр. 30.

⁸³ Сентешский музей. — D. CSALLÁNY: A kunszentmártoni avarkori ötvössír. Szentes 1933, стр. 4.

части железной иглы и на двух сторонах нижнего круглого прореза. Способ скрепления с ремнем с помощью заклепок уже можно считать аварским техническим приемом.

4. Печ, Кёзтеметё, 18-ая могила (Венгрия, ком. Баранья). Бронзовая поясная пряжка с тремя продолговатыми прорезами на щитке.⁸⁴ Сопровождающие ее шейные подвески и пара браслетов с концами в виде растрескиваний датировать находку первой половиной VII века. Пряжка снабжена с обратной стороны петельками. Здесь в 30-ой могиле была также обнаружена византийская пряжка.

5. Чадъявица (Югославия, ком. Верецзе, район Долний Михольцац). Бронзовая поясная пряжка с волнистой в виде раковин поверхностью.⁸⁵ На дужке имеется врезанный клин, на щитке 3 круглых прорезки. Ее форма и орнамент близки к экземпляру из Кунсентмаргона, но пряжка из Чадъявицы имеет ушки для прикрепления к ремню. На основании связей византийских находок аварского времени из Земьянски Врбовки (Немешварбоки),⁸⁶ сопровождаемых монетами, время употребления пряжки из Чадъявицы можно отнести приблизительно к середине VII века.

6. Упрощенную форму и дальнейшее развитие византийских пряжек, изображенных на табл. V, 5, 6, мы находим в бронзовой пряжке⁸⁷ могилы № 11 аварского времени из с. Абонь (Венгрия, ком. Пешт), на которой можно найти как тройную продолговатую прорезку, так и остатки 3-х заклепок. Первое является характерным для византийского производства, а второе — приемом аварской техники. Принимая во внимание литые вещи с грифоно-леандрового характера орнаментом могилы № 11 из с. Абонь, время употребления пряжки доходит до 720—730-ых гг., а по описанию содержания погребений №№ 12 и 16 эта часть кладбища дает переходные экземпляры 679—720-ых гг. Сюда относятся бляшки поясных наборов со штампованным грифоно-леандровым орнаментом.

7. Фрагмент бронзовой пряжки, происходящий с территории Венгри (табл. IV, 7),⁸⁸ который благодаря его двух круглых прорезкам по видимому можно отнести к этой группе. Можно также подозревать, что на пряжке имеется пара поднимающихся драконовых голов. См. связь: табл. V, 7.

⁸⁴ Печский музей. — A. MAROSI: Ásatás a pécsi népvándorlaskori sírmezőn. Múzeumi és Könyvtári Értesítő 3 (1909), стр. 103—104, рис. 1.

⁸⁵ Загребский музей. — A. ALFÖLDI: Zur historischen Bestimmung der Avarenfunde. ESA 9 (1934), табл. III, 12. — N. FETICH: Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva. (1941—1942), стр. 55—61. — N. FETICH: АН XXVI, табл. X, 4.

⁸⁶ B. SVOBODA: Poklad byzantského kovotepce v Zemianském Vrbovku Pam. 46 (1953), стр. 33. — P. RADOMERSKY: Byzantské mince z pokladu v Zemianském Vrbovku Pam. 46 (1953), стр. 109—127. С монетами Константа II (641—668) и Константина IV Погоната (668—685).

⁸⁷ L. ÉBER: Sírleletek a régibb középkorból Abonyban és Hernádpusztán. АЕ 21 (1901), стр. 295, рис. 6 (пряжка), стр. 297—299; HAMPEL: II, 713 стр. рис. 6; I, рис. 763.

⁸⁸ Национальный Музей. — FETICH: АЕ 40 (1923—26), стр. 162, табл. II, 9.

8. На бронзовой поясной пряжке (табл. V, 2, 2a)⁸⁹ могилы № 94 кладбища аварского времени из г. Дьёр мы находим новый вариант орнамента, где кроме двух глазообразных вырезок можно увидеть сердцевидный шнуровой орнамент и на нижнем конце три выступа, схожего с виноградной гроздью. На обратной стороне имеются петельки (табл. V, 2a). Ее сопровождает набор поясных бронзовых пластинок четырехугольной формы, на которых имеются вырезки, образующие переплетенный ленточный орнамент.⁹⁰ Они относятся ко второй половине VII века.

9. Одночастная бронзовая пряжка (табл. V, 3)⁹¹ могилы «В» из Цико (Венгрия, ком. Тольна). Орнамент показывает другой вариант этого мотива. Ее две круглых прорези, орнаментальные кружечки и шнуровидные полосы вызывают впечатление маски. Сопровождающие ее находки (посеребренный бронзовый наконечник пояса и плоские полудисковидные пластинки от конской упряжи) датируют наш экземпляр VII веком и, главным образом, его первой половиной.

20 ГРУППА

«СУМОЧНЫЕ» ПРЯЖКИ С ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗВИТИЕМ ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ

Мы группируем здесь варианты своеобразных пряжек (табл. VII, 1—12; VIII, 4), основная форма которых показывает такое единообразие, что с полным правом мы предполагаем их общее византийское происхождение.

Материалом сумочных пряжек является бронза, дужка отлита вместе со щитком, следовательно они одночастные, несгибающиеся. Конец палочкообразного вытянутого узкого щитка в большинстве случаев оформлен в виде широкой петли. На двух сторонах щитка часто находим изображение пары животных на разных ступенях развития и в разных вариантах: дракон, голубь, змея или другие зооморфные животные. С обратной стороны на всех них без исключения припаяны прорезные петельки, означающие, что пряжки такого рода прикреплялись к ремню не заклепками, а пробивались в кожу ушками и укреплялись шнурком, протянутым сквозь отверстие ушек. Ранее этой группой пряжек занимался Нандор Феттих. Он установил, что «звериный стиль с открытой пастью и кольцевидным телом животных — «интернациональный» звериный стиль, который в той форме, которая встречается в типе своеобразных пряжек на территории Венгрии, Германии и России, нельзя причислить к формам I—II стилям германской звериной орнаментики. Не только звериный стиль, но и материал, и форма пряжек имеют такое единообразие, что само собой можно предположить, что стиль этот имеет свою историю и что рассмотренные экземпляры восходят все к одному общему источнику. На основании знания сравнительного материала,

⁸⁹ Музей г. Дьёр. — N. FETICH: Győr a népvándorláskorban. Győr sz. kir. város monográfiái III. 1943, табл. XVIII, 10. — HAMPEL: III, табл. 479, 1.

⁹⁰ A. BÖRZSÖNYI: Győri temető a régibb középkorból. AE 22 (1902), стр. 24.

⁹¹ Национальный Музей. — T. HORVÁTH: All XIX, рис. 14, 6 и сопровождающие находки: рис. 14, 1—5, 7—10, 15—16.

находящегося в нашем распоряжении, таким источником мы с большой вероятностью должны считать «скифское искусство».⁹²

Основной источник этой единой, закрытой группы памятников Н. Феттих искал в ошибочном направлении, т. к. во время написания своей работы еще не были найдены коринфские византийские пряжки, которые могли бы установить византийское происхождение их аналогий.

1. К о р и н ф (Греция), бронзовая пряжка без язычка, с петлей на лицевой стороне щитка (табл. VII, 4), который имеет простую основную форму.⁹³

2. С е г х е д ь (Югославия, ком. Бач-Бодрог). Бронзовая пряжка (табл. VII, 2, 2а). Основная ее форма почти совпадает с предыдущей.⁹⁴ Она происходит из конской могилы аварского времени и была найдена с золотой монетой Геракла и Геракла Константина (613—641), относящая время пряжек №№ 1 и 2 к первой половине VII века.

3. С у у к - с у (Крым), 29-ая могила. Бронзовая пряжка.⁹⁵ Она отвечает основной предыдущей форме. Могильник датируется также византийскими монетами. В 56-ой могиле были обнаружены бронзовые монеты Юстина I (518—522), Юстиниана II (527—565), а 77-ой могиле бронзовые монеты Маврикия Тиберия (585—602), которые относят пряжку к началу VII века.

4. Этот тип пряжек появляется и в среде поздних гепидских находок. Так экземпляр, который был найден в могиле на ул. Сентимре в с. Тисадерже (Венгрия, ком. Сольнок) почти совпадает с коринфским экземпляром, изображенном на табл. VII, 4.⁹⁶ В орнаментике наконечника пояса, принадлежащего к пряжке из с. Тисадерже, появляется византийский крест как орнаментальный мотив вместе с растительно-шнуровыми украшениями. Хотя наконечник профилирован, он показывает тесную связь с кестхейскими наконечником пояса (табл. VII, 6) и пряжкой (табл. VII, 5). Время могилы можно отнести к началу VII века.

5. За формой пряжек №№ 1—4 следует пряжка могилы № 1 из Хабраньи-телеп в Кунсентмарто⁹⁷ (Венгрия, ком. Сольнок), на головке щитка которой развиты драконы с гребнем. Глаза и брови обозначают кружки с точками в центре и полукруглая резьба. Язычок, имеющий птицеголовую форму, схвачен раскрытыми пальцами пар драконов. Пряжка может принадлежать к ремню, на котором висела сумка или коробка. Этот экземпляр

⁹² N. FETICH: АЕ 40 (1923—26), стр. 168—169.

⁹³ США, Колумбийский университет. — G. R. DAVIDSON: Hesperia 6 (1937), № 2, рис. 6. Е.

⁹⁴ Зомборский музей. — HAMPEL: III, табл. 497, 5. — АЕ 23 (1903), стр. 273, рис. 1, 5. — L. HUSZÁR: Acta Arch. Hung. 5 (1954), стр. 96. — D. CSALLÁNY: Archäologische Denkmäler. 1956, стр. 193, 239.

⁹⁵ Репников: ук. соч. табл. X, 24.

⁹⁶ Национальный Музей. — D. CSALLÁNY: A gepidakor régészeti emlékei a Kárpát-medencében (рукопись, тисадержская табл.).

⁹⁷ Сентешский музей. — D. CSALLÁNY: Goldschmiedegrab aus der Avarzeit von Kunszentmárton (Ungarn). Szentes 1933, стр. 36, табл. III, 5. — D. CSALLÁNY: Arch. Denkmäler. 1956, стр. 149, 236.

сопровождает много пластинок для штамповки и экзагиум византийского происхождения. Время могилы можем отнести ко второй четверти VII века.

6. Бронзовая пряжка с драконами, совпадающая с кунсентмартонской, которая происходит из могилы № 1 Урдомба в Папе (Венгрия, ком. Веспрем) (табл. VII, 3).⁹⁸ Вместе со штампованными лжепряжками она относится примерно к середине VII века.

7. Я обнаружил пряжку с гребнем тождественной формы в могильной камере № 16 аварского могильника, обозначенного «Д е с к - С» (Венгрия, ком. Чонград).⁹⁹ Пряжка находилась с внутренней стороны правой голени, почти у колена. Инвентарь могилы: железная пряжка, железный нож, железный меч, тонкий наконечник костяной стрелы и т. д. Выше могилы, поперек нее находилось аварское погребение. Так, время нашей пряжки можно отнести к первой четверти VII века.

8. Пряжку с драконом¹⁰⁰ из г. К е с т х е й (табл. VII, 5) (Венгрия, ком. Веспрем) надо считать продуктом позднего бронзового литья. Орнамент кружков с точками в центре, обозначающий глаза, здесь покрывает всю поверхность пряжки и принадлежащего к ней наконечника (табл. VII, 6). Этот орнамент можно найти на сумковой пряжке из Коринфа (табл. VII, 1), а наконечник пояса можно сравнить с византийским экземпляром, имеющим крестообразный орнамент, из с. Тисадерже. Кестхейская пряжка может быть датирована третьей четвертью VII века.

Хотя пряжки с гребнем и головой дракона в вариантах 5—8 мне не известны с византийской территории, все-таки, принимая во внимание основную ее форму, способ крепления с ремнем, элементы орнаментики и ее связи с другими вариациями пар животных (Семчиново, табл. VIII, 4), я их считаю экземплярами византийского происхождения. Время их употребления падает на первую половину VII века.

9—18. Пару животных мы найдем и на следующих сумковых пряжках, которые входят в круг форм коринфских (табл. VII, 4) сумковых пряжек. Их местонахождения: К е с т х е й¹⁰¹ (табл. VII, 8) 2 экземпляра, Г а т е р (табл. VII, 12)¹⁰², Венгрия (табл. VII, 9—10),¹⁰³ Ц и к о (табл. VII, 7),¹⁰⁴ П а с т ы р с к о е — 2 варианта,¹⁰⁵ Р е й х е н х а л л.¹⁰⁶ В этом

⁹⁸ Всеенгерский Национальный Музей. — L. JANKÓ: Grabfunde aus der Awarenzeit zu Pápa. АЕ 44 (1930), стр. 126, рис. 87, 12.

⁹⁹ Сегедский музей. Могильник неопубликован. Фотографию могилы см. D. CSALÁNY: Arch. Denkmäler. 1956, стр. 145, под именем Кларафальва-Кукутин.

¹⁰⁰ Национальный Музей. — ФЕТТІСН: АЕ 40 (1923—26) стр. 160, табл. III, 4.

¹⁰¹ Всеенгерский Национальный Музей. — ФЕТТІСН: АЕ 40 (1923—26), стр. 160, табл. III, 5.

¹⁰² Была в кечкеметском музее, но погибла, найдена была в гатерской, аварского времени 6-ой могиле. — ФЕТТІСН: ук. соч. табл. III, 2.

¹⁰³ Точное местонахождение их неизвестно. В Национальном Музее и в капошварском музее. — ФЕТТІСН: ук. соч. табл. III, 3.

¹⁰⁴ В сексардском музее. — ФЕТТІСН: ук. соч. табл. III, 2.

¹⁰⁵ Коллекция Ханенко. ФЕТТІСН: ук. соч. стр. 159, рис. 46—47.

¹⁰⁶ ФЕТТІСН: ук. соч. стр. 160, рис. 48—49.

последнем встречены такие далее развивающиеся формы, которые я считаю продуктами местной мастерской.¹⁰⁷ Те экземпляры, происхождение которых можно считать византийским, были в употреблении в VII веке.

19. Форма с парой животных (табл. VIII, 4) бронзовой сумочной пряжки из Семчиново (Болгария)¹⁰⁸ свидетельствует с том, что на территории Византии и соседних народов распространялись не только сумочные пряжки основной формы, но и их дальнейшие варианты с парами животных. Дальнейшая исследовательская работа обогатит византийское наследие близкими экземплярами пряжек.

20. Другой основной вариант византийских сумочных пряжек (табл. VII, 1, 1a)¹⁰⁹ также встречается в Коринфе (Греция). Эта пряжка отличается от сумочных пряжек с петлей на конце тем, что лентообразный щиток вместо петли оканчивается шейкой и головой животного.

21. Аналогичный экземпляр пряжки мы встречаем в гепидском могильнике¹¹⁰ на территории кирпичного завода Францисти в Ходмезёвашархей — Дилинке (Венгрия, ком. Чонград). Материал могильника можно отнести ко второй половине VI века.

22. Сюда относится и пряжка погребения № 75 могильника Суук-су (Крым).¹¹¹ Могильник датируется концом VII века. Самая поздняя дата пряжки — начало VII века. Все, что касается ее, рассмотрено выше в связи с описанием сумковых пряжек из Суук-су.

23. Третий вариант сумковых пряжек находим в могиле № 2¹¹² кладбища Суук-су (Крым). Ленточный щиток пряжки, украшенный ребрами, оканчивается небольшим диском. Дужка образует удлинненно-четырехугольную форму и с двух сторон оканчивается головами птиц. Она вместе с пряжкой из Семчиново доказывает, что на соседних территориях имелись не только византийские основные формы, но и экземпляры, орнамент которых комбинируется с парами животных, и которые также были византийскими изделиями.

21 ГРУППА

ПОЯСНЫЕ ПРЯЖКИ С ОРНАМЕНТОМ, ПОДРАЖАЮЩИМ ПАРЕ ЗМЕЙ, И ИХ СХЕМАТИЗИРОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ

1. Паре змей с ленточным телом, украшенным насечками, подражает бронзовая пряжка (табл. VII, 11), происходящая из могилы № 167 клад-

¹⁰⁷ FETICH : ук. соч. рис. 50—52 ; последняя найдена в Ипцинге.

¹⁰⁸ Bulletin de l'Institut Archéologique Bulgare 6 (1930—31), стр. 312—313, рис. 240.

¹⁰⁹ США, Колумбийский университет. Davidson : ук. соч., 1937, стр. 227, 6á F.

¹¹⁰ В ходмезёвашархейском музее. - См. D. Csallány : A gepidákör régészeti emlékei a Kárpát-medencében (рукопись, 1956, таблица).

¹¹¹ Репников : ук. соч. табл. X, 25. Пожалуй, сюда относится и бронзовая пряжка из Суук-су (табл. XII, 1), представленная фрагментом.

¹¹² Репников : ук. соч. табл. XII, 12.

бища аварского времени в Ц и к о (Венгрия, ком. Тольна).¹¹³ Для нее характерны две змеевидные фигуры, заменяющие щиток пряжки, которые на конце, противоположной дужке держат в пасте неопределенную геометрическую фигуру. Время этой находки можно отнести ко второй половине VII века. Ее сопровождали железные наконечники пояса. Что и эта форма пряжки восходит к Византии, видно не только благодаря присутствию трех петелек с обратной стороны, но и благодаря наличию пары животных, тело которых покрыто насечками. Этот орнаментальный мотив в близком варианте появляется на штампованных византийского происхождения наконечниках пояса из Неметшюрю, где змеи охватывают птичий орнамент в рамке.¹¹⁴

2—3. На пряжках из А л ь ш о п а х о к а (Венгрия, ком. Веспрем)¹¹⁵ из неизвестного пункта (В е н г р и я)¹¹⁶ мы еще находим ленточные тела с насечками, с глазообразным вырезом у основания дужка пряжки, но пару животных голов уже заменил большой кружок. Оба являются упрощенными экземплярами.

4. Пряжка из могилы № 9 из Р е й х е н х а л л а (Бавария)¹¹⁷ еще сохранила форму тела животного, но глаза обозначаются здесь уже не вырезкой, а нанесением точки в круг, головные же части обозначаются лишь выпуклинами.

5—6. К этой группе надо причислить и бронзовые пряжки из могил №№ 425 и 430 кладбища из Девинска Нова Вес (Д е в е н ь у й ф а л у) (Чехословакия)¹¹⁸ (табл. VIII, 395), которые по орнаменту представляют совершенно геометризованную, упрощенную форму. Без предыдущих экземпляров трудно было бы определить их византийское происхождение. Вещи, по сведению карты могильника, принадлежат к самому раннему слою кладбища, и таким образом, их можно отнести ко второй половине VII века.

22 ГРУППА

НЕОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПОЯСНЫЕ ПРЯЖКИ

1. Только в качестве примера я рассматриваю здесь два экземпляра таких пряжек, но этим еще не исчерпывается полное число неорнаментированных византийских пряжек.

¹¹³ M. WOSINSZKY : Tolna vármegye az őskortól a honfoglalásig. Tolna vármegye története. II. Budapest 1896, стр. 912, табл. CCH, могила 167, 9a, b. — D. CSALLÁNY : Arch. Denkmäler. 1956, стр. 96, № 147.

¹¹⁴ N. FETTSCH : AII I, 1926, табл. II, 30a—c.

¹¹⁵ FETTSCH : АЕ (1923—26), стр. 165, табл. V 1. В кестхейском музее.

¹¹⁶ Там же, табл. V, рис. 3. В Национальном Музее.

¹¹⁷ Там же, стр. 164, рис. 58.

¹¹⁸ J. EISNER : Devínska Nová Ves. 1952, табл. 48, 1 ; 50, 4 ; III. В братиславском музее.

Пряжка (табл. VI, 7)¹¹⁹ из К о р и н ф а (Греция). Ее овальная дужка и пятиугольный щиток можно связать у нас только с подобным типом пряжек венгерских могил эпохи завоевания венграми родины. Так, мы обнаруживаем ее аналогию среди карошских¹²⁰ и тарцальских¹²¹ находок. Конечно, необходимы еще дальнейшие исследования для того, чтобы родственные типы наших венгерских пряжек X века считать пряжками византийского происхождения.

2. Пряжка с петелькой из могилы № 34 аварского могильника «А» из С е г е д — Ф е х е р т о, которая была уже рассмотрена мною в первой публикации среди II-ой группы, а также на табл. III, 3 и среди всего могильного инвентаря (табл. VIII, 1). Публикуемая сейчас бронзовая пряжка с железным язычком (табл. VI, 8) имеет гладкую поверхность и напоминает своим щитком полущитообразную полость. До сих пор этот тип считался аварским, но способ прикрепления пряжки к ремню и сопровождающие ее византийские пряжки делают несомненным вывод о том, что источник и этой пряжки следует искать на византийской территории. Датировка первой половиной VII века действительна и для пряжки, публикуемой на табл. VI, 8.

D. CSALLÁNY

LES MONUMENTS DE L'INDUSTRIE BYZANTINE DES MÉTAUX. II

(Résumé)

Après la description des boucles classées dans les groupes typologiques 1 à 9, l'auteur aborde, dans sa deuxième communication, les boucles byzantines classées dans les groupes 10 à 23. La plupart de ces boucles proviennent des cimetières de l'époque des Avars, découverts en Hongrie. Ici encore, l'étude s'appuie sur le matériel des nécropoles de Constantinople, de Corinthe ou d'autres cimetières byzantins : cette tendance est conforme à la méthode appliquée par D. I. Pálá et J. Werner dans leurs études relatives à ce même sujet.

Les boucles figurant aux planches I—VIII sont pour la plupart des monuments archéologiques byzantins du VII^e siècle. C'est au cours du VIII^e siècle que, d'une manière suivie, les boucles en question ont pénétré en Hongrie : pas même publications parues jusqu'à ce jour ne nous fournissent de renseignement sur la manière dont cette pénétration s'est accomplie. G. Fehér père a mis en doute l'interruption, survenue en 679, des relations byzantino-avars. Cependant, au lieu de fournir des contre-arguments ou un matériel susceptible de corroborer sa thèse, il s'est contenté d'énoncer des opinions.

En examinant dans leur ensemble l'évolution et la couche d'origine byzantine du matériel archéologique de l'époque des Avars, nous sommes en mesure de déterminer avec exactitude la limite chronologique de la première période des antiquités avars et de fournir les caractéristiques de cette même période : *trouvailles provenant de sépultures datant de la première période avar, époque de l'influence byzantine (568—679)*. (Pièces d'ornementation byzantines moulées en bronze, pièces d'ornementation estampées en argent, en or et en bronze.)

¹¹⁹ Колумбийский университет. DAVIDSON : ук. соч. 1937, рис. 6, 6. PAL-LAS : ук. соч. 1954, табл. 64, 1.

¹²⁰⁻¹²¹ FETTSCH : АН XXI, 1937, табл. CXXX, 4, XLIII, 32.

Groupes de boucles

10. Couple d'animaux entrelacés, à corps rubanaires ; entre les deux animaux, motif végétaliforme disposé dans un champ en forme de noyau de prune (Constantinople, Keszthely). Le spécimen en question tranche le problème de l'origine byzantine des boucles découvertes aux environs de Keszthely. Datation : 650—679.

11. Boucles ornées d'une ligne en bâtons rompus et d'une rangée de coins (Corinthe, Igar, Szeged-Óthalom). Datation : 660—677.

12. Boucles ornées de la représentation de l'ardillon, disposée en sens inverse (Szeged-Makkoserdő, Suuk-su). Datation : 600—679.

13. Boucles de ceinture ornées de rinceaux cintrés (Constantinople, Mesembria, Suuk-su, Deszk G.). Datation : 610—620.

14. Boucle de ceinture ornée de rinceaux cintrés et encadrés, avec masque humain (Szeged-Csengele). Datation : 650—670.

15. Boucles de ceinture avec motif végétaliforme trifurqué (Constantinople, Italie). Datation : 630—660.

16. Boucles de ceinture ornés d'une couple de dragons en forme de lyre, mordant leur propre corps, ainsi que de variantes géométrisées du même motif (Szentek-Kaján, Keszthely, Szeged-Makkoserdő, Constantinople, Pécs-Gyárváros, Keszthely, Kalaja, Corinthe, Devinska Nová Ves, Oberpfalz, Nettersheim, Kiskassa, Keszthely-Dobogó). Au témoignage des cimetières de Keszthely-Dobogó et de Devinska Nová Ves, ces spécimens n'ont fait leur apparition que sur un territoire très limité et qu'à une certaine époque : il s'agit là d'articles d'importation. Datation : deuxième moitié du VII^e siècle.

17. Boucles de ceinture ornées de diverses couples d'animaux et de variantes géométrisées des mêmes motifs (Kiskassa, Keszthely-Dobogó, Pécs-Gyárváros, Cikó, département de Tolna, Győr, Hongrie, Gátér, Pécs-Köztmető, Devinska Nová Ves, Jutas). Datation : VII^e siècle.

18. Boucle de ceinture avec rinceaux ajourés (Keszthely-Dobogó). Datation : VII^e siècle.

19. Boucles de ceinture avec décoration feuillée triple ou trois ajours circulaires (Constantinople, Bácsfeketehgy, Kunszentmárton, Pécs-Köztmető, Čadjevica, Abony, Hongrie, Győr, Cikó). Spécimens datant du VII^e siècle, sauf celui d'Abony, qui présente une exécution technique avare (fixation par clous) et semble avoir été placé dans la tombe entre 720 et 730.

20. Boucles de «sabretache» et variantes à couples d'animaux (Corinthe, Szeghegy, Suuk-su, Tiszaderzs, Kunszentmárton, Pápa, Deszk Sz., Keszthely, Gátér, Hongrie, Cikó, Pastirskoïé, Reichenhall, Semtehinovo, Corinthe, Hódmezővásárhely-Dilinka, Suuk-su). Les boucles à couples d'animaux disposent, elles aussi, de corrélations byzantines. Datation : fin du VI^e siècle, VII^e siècle.

21. Plaque de boucle en couple de serpents, ainsi que variantes géométrisées (Cikó, Alsópáhok, Hongrie [?], Reichenhall, Devinska Nová Ves). Datation : deuxième moitié du VII^e siècle.

22. Boucle de ceinture, ornée d'une palmette quadrilobée (Orezfalva). Datation : troisième quart du VII^e siècle.

23. Boucles sans décoration (Corinthe, Szeged-Fchértó A.). Datation : X^e siècle, et première moitié du VII^e siècle.

La description des groupes de boucles byzantines se poursuivra également dans la troisième communication.

*

LES VARIANTES D'UN TYPE DE LÉGENDE BYZANTINE DANS LA LITTÉRATURE ANCIENNE-ISLANDAISE*

Au cours des quinze dernières années, plusieurs chercheurs spécialisés dans l'hagiographie byzantine ont étudié le type de légende des «saints guerriers» ou «saints soldats», extrêmement populaire parmi les Byzantins qui menaient une vie de lutttes défensives incessantes contre l'ennemi extérieur. Deux parmi ces chercheurs ont signalé que certains morceaux tirés des légendes byzantines de «saints guerriers» permettent non seulement de conclure à une continuité cultuelle remontant au culte des héros, pratiqué dans l'antiquité, mais encore d'y découvrir un sérieux élément historique, à condition de les confronter avec les sources historiques byzantines et autres de l'époque.¹

J'aimerais, dans la suite, éclairer combien loin l'influence du type de légende byzantine des «saints guerriers» s'est propagée dans le Nord — ceci grâce à une migration de culte, accompagnée d'une migration de légende —, et montrer aussi à quel point de telles légendes peuvent renfermer de sérieux éléments historiques, susceptibles de nous servir de source historique.

Parmi les auteurs hongrois, c'est Gy. Sántha qui a étudié avec le plus de détail les légendes byzantines des «saints guerriers».² Il a aussi signalé à propos de certains «saints guerriers» dont le culte «se pratiquait loin de la sphère de civilisation byzantine» que leur «intégration dans ce groupe des légendes byzantines (S. Olaf) . . . ne s'était opérée qu'en raison d'une connexion fortuite.»³ Sántha a entrevu, lui aussi, que la légende en question, d'origine byzantine, recelait un élément historique sérieux et propre à servir de source : cependant, comme nous le verrons plus loin, il n'approfondit pas suffisamment les re-

* [Le même thème est traité par R. M. DAWKINS dans les *Mélanges* É. Boisacq I, Bruxelles 1937, pp. 243—249. De cet article l'auteur ne pouvait plus faire usage à cause de sa mort tragique. — Réd.]

¹ F. DÖLGER : *Zwei byzantinische Reiterhéroen erobern die Festung Melnik* : *Ephemeris Instituti Archaeologici Bulgarici* 15 (Serdicæ, 1940) 275—279. (Paru en 1944!); N. H. BAYNES : *The supernatural defenders of Constantinople* : *Mélanges P. Pecters* I. — *Analecta Bollandiana* 67 (1949) 165—177. (Ce dernier ouvrage ne m'a pas été accessible jusqu'à ce jour.)

² *A barokos szentek bizánci legendái* — *Le leggende bizantine dei santi combattenti*. Bp., 1943.

³ *Ibid.*, 44.

cherches consacrées à cet aspect du problème : aussi demeura-t-il incapable de découvrir le véritable noyau historique de la légende, d'origine byzantine, de S. Olaf. Pour mieux mettre en lumière la source des erreurs qu'il commit dans ses recherches, je citerai ici textuellement le passage qu'il consacre à ce problème :⁴

«Une légende d'origine byzantine, sur l'apparition de S. Olaf, fournit une preuve intéressante des contacts entre Scandinaves et Byzantins au XI^e siècle. (ASS. Jul. VII. p. 118.) Nous pouvons lire dans le Breviarium Nidrosiense, qui est le recueil des légendes de S. Olaf, qu'un jour, l'empereur de Byzance invoqua le secours de la sainte Vierge et de S. Olaf. L'appel fut entendu. S. Olaf apparut et se plaça à la tête de l'armée, sur quoi, frappé d'épouvante, l'ennemi prit la fuite. Une autre variante de la légende, que nous retrouvons dans le Ms. Ultraiectinum, décrit avec plus de détail encore les circonstances dans lesquelles eut lieu l'apparition. Selon ce témoignage, S. Olaf apparut la tête ornée d'une couronne, monté sur un cheval blanc et tenant à la main une bannière blanche. Encore que pas une seule des variantes de la légende ne nomme l'empereur de Byzance qui fut témoin de ces événements, nous sommes en mesure d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de Michel IV le Paphlagonien. Nous savons en effet, que c'est dans l'armée de son célèbre général Georges Maniacès (mort en 1043) que combattit le vaillant Harold, frère de S. Olaf. (G. Ostrogorsky : Geschichte des byzantinischen Staates, München 1940. 233.) Il est donc vraisemblable que c'est par l'entremise d'Harold que les Byzantins connurent le nom de S. Olaf, et il est même probable que ce fut encore Harold qui conseilla à l'empereur d'invoquer le secours de son frère. (Cf. Petrus Boschius, ASS. Jul. VII. p. 118.) C'est ainsi que naquit la légende de l'apparition du saint, récit illustrant d'une manière éclatante à quel point telle ou telle légende de saint guerrier peut être fertile en épisodes historiques importants.»

Examinons de plus près de quoi il s'agit en réalité.

Voici la traduction de la variante communiquée par P. Boschius (ASS. Jul. VII. p. 118 B—D) : «... Il advint une fois que l'empereur de la ville dont il vient d'être question (Constantinople) rassembla son armée et sortit pour livrer bataille à quelque roi des païens. Les deux adversaires ayant mis en position et rangé avec un soin militaire leurs armées, le combat s'engagea. Les barbares se jettent avec une grande violence sur les chrétiens et, au premier choc, ils sont victorieux. La plupart des Grecs sont tués et les forces de l'armée des chrétiens s'épuisent. Il ne survécut qu'une petite troupe qui n'attendait plus rien, sinon la mort. Abandonné à lui-même, avec, dans son cœur, un trouble proche de la folie, l'empereur invoque le secours divin et, versant d'abondantes larmes, il implore pareillement l'aide du bienheureux martyr

⁴ *Ibid.*, 46 — 47.

Olaf, dont ils savaient déjà par ouï-dire qu'il secourait souvent ceux qui combattent pour la juste cause. Ils font vœu de faire élever dans la ville royale, en l'honneur de la sainte Vierge Marie, une église dédiée au martyr, si, par l'intercession de celui-ci, ils retourneraient victorieux. O glorieux et exceptionnel miracle! Le martyr apparaît à certains d'entre les guerriers de l'armée, et, tel un porte-étendard visible de tous, il s'avance à la tête de l'armée chrétienne. L'armée ennemie est frappée d'épouvante, et, ébranlés par la terreur divine, tous les horribles barbares, auxquels, tout à l'heure encore, la nombreuse et forte armée elle-même ne sut résister, prennent la fuite : ils sont pourchassés par cette poignée d'hommes que protège le martyr secourable : les païens subissent d'énormes pertes en vies humaines et les chrétiens s'en retournent chez eux, chargés d'un riche butin et victorieux.»

La variante de légende que renferme le bréviaire de Niðarós (Drontheim) relate ensuite que, rentré à Constantinople, l'empereur n'oublia point son vœu : il fit construire une église en l'honneur de la sainte Vierge Marie. Le peuple victorieux apporta volontiers sa contribution à cette œuvre, en sorte que l'immense église étant achevée et entièrement aménagée, l'on recueillit sur l'argent donné en offrande un important excédent. C'est pourquoi, en hommage au martyr, l'on offrit d'innombrables et riches présents et les fit parvenir en ce lieu (à Drontheim), dans l'église où repose le martyr.

La variante que renferme le Ms. Ultraiectinum d'Utrecht, autre manuscrit connu de P. Boschius et utilisé par lui, relate les mêmes événements. Or, au jugement de P. Boschius lui-même, cette variante abonde en éléments fabuleux qui, en contradiction avec les conditions d'alors, avaient été rajoutés au texte. En substance, cette variante ne diffère de la précédente que par les enjolivures apportées au récit de l'apparition de S. Olaf : le martyr se montre en roi orné d'une couronne, monté sur un cheval blanc, revêtu d'une bonne armure et tenant à la main une bannière blanche etc.

Si Sántha s'est mépris en voulant découvrir le noyau historique de cette variante, c'est qu'il s'est contenté de reprendre les remarques désuètes de P. Boschius, et n'a point examiné les sources abondantes et la littérature relative aux relations byzantino-varègues. Si, de notre côté, nous comblons cette lacune, nous retrouverons la version originale de cette légende byzantine de «saints guerriers», une version qui, d'un caractère bien plus historique et pleine de vie, n'est point encore connue de la littérature hongroise.

Si Sántha avait exploré plus à fond le volume de l'ASS dont il a été question, de même que la littérature latine et surtout vieille-noraise des légendes sur les différents miracles de «saint» Olaf, il aurait également pu trouver la version plus vivante et plus historique de la variante ayant trait à Harald harðraða. Il aurait découvert en même temps que le miracle d'Olaf, que l'on situe au temps d'Harald et de l'empereur byzantin Michel IV (1034—1042), est de beaucoup plus récent que cette autre variante — nous en parlerons

tout à l'heure — qui tire son origine des événements du règne d'Alexis I^{er} Comnène (1081—1118), et dont il est pour ainsi dire le doublement ultérieur, reporté dans le passé. Parmi les ouvrages anciens-islandais nous ayant transmis la Haraldssaga harðraða, ce ne sont que la Morkinskinna, compilation sans critique datant du début du XIII^e siècle (cf. l'ouvrage, cité ci-après, de E. Mogk, 566, 811 : l'original fut écrit aux environs de 1220 ; cependant, le texte ne nous est connu que d'une copie datant du dernier quart du XIII^e siècle), et le Flatey-jarbók, compilé encore plus tard, entre 1387 et 1395 (cf. notes 8 et 21), qui relatent cette apparition d'Olaf que l'on situe au temps d'Harald et de l'empereur Michel IV. Cependant, point de trace encore de l'apparition en question dans le Geisli d'Eimarr Skúlason, réécrit par lui en 1153 et renfermant la version versifiée de tous les miracles d'Olaf connus à l'époque (cf. ci-après, note 22), ni dans la « plus ancienne Ólafssaga helga », écrite entre 1160 et 1180 (cf. ci-après, note 21), ni même dans le Heimskringla de Snorri Sturluson, ouvrage qui, écrit entre 1220 et 1230 (cf. ci-après), communique pourtant *in extenso* tout le fond, connu jusqu'à ce jour, de la Haraldssaga harðraða (cf. la traduction allemande, citée ci-après, de F. Nieder, vol. III, 67—171). Seule la Knýttlingasaga, écrite aux environs de 1265, signale une Haraldssaga harðraða qui s'est transmise indépendamment des autres (cf. l'ouvrage, cité ci-après, de E. Mogk, 808, 818). Ainsi donc, la variante de la légende d'Olaf que l'on situe au temps d'Harald et de Michel IV et que nous exposerons plus loin, doit être née après 1220. De même, au regard de la légende sur l'apparition d'Olaf, relatée par le Heimskringla et placée au temps d'Alexis I^{er} Comnène, la variante en question revêt très certainement un caractère secondaire et n'en constitue qu'une imitation. Voici la marche de cette variante secondaire, reportée au temps d'Harald : des païens qu'il nous est impossible d'identifier ont envahi le territoire de l'Empire byzantin. (L'une des variantes précise expressément que ceci se passa au temps du « roi Michel. ») Les Varègues formaient l'élite de l'armée que l'empereur mit en ligne contre les barbares. Sur ordre du monarque, ce furent eux qui durent affronter les premiers l'ennemi redoutable. L'adversaire disposait de nombreux « chariots en fer, munis de roues », engins qui causaient de grands ravages parmi les assaillants. Harald invita ses compagnons d'armes à faire vœu d'élever une église en l'honneur de son frère, S. Olaf, si celui-ci les aidait à triompher de leurs adversaires si nombreux et si redoutables. Tous acceptèrent. L'armée des païens avait à sa tête quelques rois (marga konúnga), dont l'un, quoique aveugle, dépassait les autres par son intelligence et, pour cette même raison, commandait les autres et toute l'armée. Lorsque les Varègues engagèrent le combat et les païens voulurent mettre en marche leurs chariots, il se trouva que ces engins étaient incapables de se déplacer. Quant au roi aveugle, il recouvra tout à coup la vue et aperçut à la tête des rangs ennemis un homme qui, monté sur un cheval blanc, répandait la terreur et l'effroi autour de lui. Lorsque les

autres rois apprirent ceci du roi aveugle, ils prirent tous la fuite. Sitôt revenus à Miklagard (Constantinople), les Varègues, fidèles à leur vœu, bâtirent une grande église. Cependant, l'empereur ne cessait de contrarier la consécration de celle-ci, si bien qu'Harald eut beaucoup de peine à vaincre la résistance obstinée du monarque.

Si nous comparons cette variante à l'anémique fragment de bréviaire, communiqué par P. Boschius et utilisé également par Gy. Sántha, nous découvrons immédiatement qu'il n'y a point identité entre les deux versions. Dans l'une, les Varègues attaquent les premiers et triomphent immédiatement, tandis que dans l'autre, les chrétiens subissent d'abord une défaite, et ce ne sont que les survivants, une poignée d'hommes, qui, grâce à l'apparition de S. Olaf, remportent la victoire. Il suffit de comparer entre elles la variante communiquée par Boschius et celle du *Heimskringla*, version que nous allons reproduire plus loin : on voit aussitôt que le texte tiré du bréviaire par Boschius n'est qu'un extrait anémié de l'autre variante.

V. G. Vassilevski (ouvrage cité ci-après, 268—275), qui a signalé le premier cette pousse tardive de la Haraldssaga *harðraða*, a remarqué aussitôt qu'il s'agissait là de la variante ancienne-islandaise de la légende byzantine de S. Démétrios, « saint guerrier » et protecteur traditionnel de Thessalonique (cf. depuis lors Gy. Sántha, *op. cit.* 27—40). Connaisseur accompli des sources byzantines, il a également découvert le noyau historique de cette tardive variante ancienne-islandaise. Or, ce noyau historique, c'est l'investissement de Thessalonique, opéré en 1040 par les Bulgares qui, en révolte contre la domination byzantine, étaient commandés par Pierre Déliane, Alusiane, Tikhomir et Ivatsa. Pierre Déliane, qui, peu après le siège de Thessalonique, fut en effet aveuglé, avait envoyé en 1040 Alusiane et une armée de 40 000 hommes pour investir la ville. Cependant, les assiégés firent une sortie, et l'apparition miraculeuse de S. Démétrios leur permit de remporter la victoire (cf. Vassilevski, *op. cit.*, 269—277 ; Sántha, *op. cit.*, 35). A l'époque de Vassilevski — son étude a paru originairement en plusieurs communications successives dans les volumes du *ЖМНП* pour les années 1874—1875 —, la transmission et l'historique des ouvrages littéraires anciens-islandais n'étaient pas encore élucidés comme ils le sont aujourd'hui. Aussi est-il un point — et rien qu'un seul — où il a fait erreur : en effet, il a cru que la variante tardive, reportée au temps d'Harald et de Michel IV, était l'original, la variante située à l'époque d'Alexis I^{er} étant le fruit d'une refonte opérée ultérieurement. Nous verrons clairement dans la suite combien il s'est mépris sur ce point.

C'est entre 1220 et 1230 que Snorri Sturluson (1178—1241), personnage le plus illustre de la vie intellectuelle islandaise du moyen âge, écrivit son célèbre ouvrage historique intitulé «*Nóregs konunga sögur*» (c.-à-d. «Légendes des rois de Norvège») ou «*Konungabók*» («Le livre des rois»). L'ouvrage en question est habituellement désigné par «*Heimskringla*» (c.-à-d. «Cycle du

Monde») : cette dénomination est dérivée de deux mots qui, dans les manuscrits, figurent en tête du texte.⁵ Dans toutes les éditions et traductions du *Heimskringla* de Snorri Sturluson, l'on retrouve, incorporés parmi les narrations rapportant les faits et gestes du roi de Norvège Hakon aux Larges épaules (1157—1161), deux récits légendaires relatant chacun un miracle accompli par le roi de Norvège «saint» Olaf (1015—1030) parmi les Byzantins. En effet, selon la croyance naïve des Norvégiens de l'époque, une fois mort, leur «saint» roi avait continué à aider le peuple norvégien, assistant même les générations suivantes au moyen de songes et d'apparitions.

Voici, en traduction française, le deuxième récit légendaire⁶ qui, inclus parmi les autres narrations, relate un «miracle» accompli parmi les Byzantins :⁷

«Il advint en Grèce, alors que régnait le roi Kirjalax, que ce roi entreprit une campagne au pays des blök(k)umenn. Lorsqu'il arriva sur les champs des péziner, un roi païen vint à sa rencontre, suivi d'une puissante armée. Ceux-ci avaient amené avec eux de la cavalerie et de très grands chariots, et ces chariots étaient munis de parapets d'assaut. Lorsqu'ils établirent leur campement pour la nuit, ils rangèrent leurs chariots les uns à côté des autres, devant leurs tentes, et, en avant des chariots, creusèrent un profond fossé. Ces ouvrages étaient tous solides comme une forteresse. Le roi des païens était aveugle. Or, quand arriva le roi des Grecs, les païens déployèrent dans le champ leurs lignes de bataille, devant le retranchement de chariots. Alors, en face, les Grecs déployèrent, eux aussi, leurs propres lignes de bataille ; les deux adversaires s'affrontèrent à cheval et luttèrent. Cependant, le combat prit une

⁵ Sur la vie et les œuvres de Snorri Sturluson, v. E. MOGK : *Norwegisch—isländische Literatur : Grundriss der germ. Philol.*, hrsg. v. H. PAUL, II. Bd., I. Abt. Strassburg, 1901—1909.² 699—702, 812—815, 906—910 ; A. OLRIK : *Nordisches Geistesleben in heidnischer und frühchristlicher Zeit von — —*. Übert. v. W. RANISCH, Heidelberg, 1908. 145—150 ; G. NECKEL : *S. S. : Reallex. d. germ. Altertums*, hrsg. v. J. HOOPS IV. Bd. Strassburg, 1918—1919. 195—198 ; W. GOLTHIER : *Nordische Literaturgeschichte*, I. Teil. Die isländische und norwegische Literatur des Mittelalters. Berlin—Leipzig, 1921. 126—129 ; Snorris Königsbuch (*Heimskringla*). I. Bd. Übert. v. F. NIEDNER, Jena, 1922. (Thule. Altnordische Dichtung und Prosa. 2. Reihe, 14. Bd.) 3—20 ; F. JÓNSSON : *Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie af — II*. Bind. København, 1923.² 666—712 ; E. MONSEN : *Introduction to the Translation of Snorre's History of the Norse Kings : Heimskringla or the Lives of the Norse Kings by Snorre Sturlason*. Ed. by E. MONSEN and transl. into English with the assistance of A. H. SMITH. Cambridge, 1931. VII—XVIII.

⁶ Dans les éditions et traductions du *Heimskringla*, le récit légendaire qui nous occupe ici figure d'habitude comme le chapitre 21 ou parfois comme le chapitre 20 de la partie consacrée à Hakon aux Larges épaules.

⁷ Pour la traduction, j'ai pu utiliser les éditions et traductions suivantes du *Heimskringla* : *Heimskringla* edr Noregs Konunga Sögur af Snorra Sturlusyni... *Historia Regum Norvegieorum, conscr. a Snorrio Sturlae filio. Quam...* post G. SCHÖNING... accuravit S. TH. THORLACIUS. I. III. Hafniac, 1793. 404—407 ; Snorre Sturlason Kongesagaer overs. af G. STORM, Kristiania, 1900.³ 780—781 ; *Heimskringla. Noregs konunga sögur af Snorri Sturluson*. Udg. ... ved F. JÓNSSON. Bind III. København, 1900. 429—430 ; E. MONSEN et A. H. SMITH, *ed. cit.*, 706—707 ; F. NIEDNER : *trad. cit.*, III. Bd., 336—338 ; Snorres Konge Sogor — Snorres Konge Sagaer. Oslo, 1942. 606.

mauvaise et malencontreuse tournure ; les Grecs prirent la fuite et subirent de lourdes pertes en vies humaines, tandis que les païens triomphaient. Alors, le roi constitua une ligne de bataille composée de Francs et de Flamands, et ce furent ces hommes-là qui chevauchèrent ensuite à la rencontre des païens et luttèrent avec eux. Tout se passa comme lors de l'engagement précédent. Beaucoup d'entre eux furent tués et tous ceux qui en demeuraient capables prirent la fuite. Le roi des Grecs invectiva violemment ses guerriers, mais ceux-ci lui répondirent qu'il n'avait qu'à faire avancer les Varègues, ses outres de vin. Le roi dit qu'il n'entendait point perdre inutilement ses meilleurs guerriers en lançant si peu d'hommes, si intrépides fussent-ils, contre une armée aussi grande. Alors Porir Helsingr, qui commandait les Varègues, répondit au roi en ces termes : « Et quand nous aurions devant nous un brasier flamboyant, moi-même et mes hommes, nous nous y jetterions tout droit, si je savais qu'en agissant de la sorte, nous t'apporterions, ô roi, la paix pour l'avenir. » Et le roi de répondre : « Eh bien alors, suppliez votre roi saint Olaf de vous accorder le succès et la victoire ! » Les Varègues comptaient 540 hommes. Ils scellèrent par des poignées de main leur vœu de faire bâtir une église à Miklagard, à leurs propres frais et avec l'assistance des hommes de bien, et de consacrer cette église à la gloire et en l'honneur du roi saint Olaf. Ensuite, dans le champ, les Varègues s'élancèrent à l'assaut. Quand les païens s'en aperçurent, ils dirent à leur roi que, dans le champ, une troupe de l'armée du roi des Grecs revenait à la charge, — « et rien qu'une poignée d'hommes », — dirent-ils. Alors, le roi répondit : « Quel est cet homme d'aspect imposant qui, monté sur un cheval blanc, chevauche là-bas à la tête de son armée ? » « Nous ne le voyons pas », — répondirent les autres. L'inégalité était si grande que, dans la lutte, il y avait toujours 60 païens contre un chrétien, néanmoins, c'est avec une grande bravoure que les Varègues allèrent au combat. Et toutes les fois qu'ils se choquaient, la terreur et la peur s'emparaient de l'armée païenne, si bien qu'ils prirent aussitôt la fuite ; les Varègues les poursuivirent et bientôt en tuèrent des masses. Puis, quand les Grecs et les Francs, qui, tout à l'heure, avaient fui devant les païens, virent cela, ils revinrent eux-mêmes à l'attaque et s'unirent aux Varègues dans la poursuite des païens en déroute. Cette fois-ci, les Varègues réussirent à escalader le retranchement de chariots. Il y eut là énormément de morts. Et tandis que les païens fuyaient, le roi des païens fut fait prisonnier, et les Varègues l'emmenèrent avec eux. Dès lors, les chrétiens s'emparèrent des tentes des païens, ainsi que de leur retranchement de chariots. »

Abstraction faite de quelques divergences phraséologiques, le récit en question est repris quasi textuellement par la « Saga Olafs Kunungs ens Helga », une Óláfssaga amplifiée qui prit sa forme définitive en Islande, vers le milieu du XIII^e siècle.⁸

⁸ Publiée, sur la base du manuscrit de Stockholm — qui est le plus ancien et date du XIII^e siècle —, par P. A. MUNCH et C. R. UNGER : *Saga Olafs Kunungs ens Helga. Udførligere Saga om Kong Olaf den Hellige*. Christiania, 1853. Cap. 267, pp. 242–243. Voici les divergences qu'il y a lieu de relever dans les deux textes et qui nous intéressent d'une manière particulière : 1. L'expression «... au pays des blök(k)umenn...» figure dans les éditions du Hkr. sous les formes suivantes : chez SCHÖNING—THORLACIUS : à *Blöckomanna-land* chez JÓNSSON : à *Blokumannaland* : dans l'édition déjà citée de l'Ólafssaga amplifiée : a *Blocumanna völlu* (= sur les champs des blök(k)umenn). 2. L'expression «... sur les champs des pézincr...» figure dans les éditions du Hkr. sous les formes suivantes : chez SCHÖNING—THORLACIUS : à *Pezinaröllo* chez JÓNSSON : à *Pézinavöllu* dans l'édition déjà citée de l'Ólafssaga amplifiée : a *Pezina völlu*. — Le rapport entre l'Ólafssaga élaborée par Snorri dans le Hkr. et l'Ólafssaga helga empliifiée que nous venons de citer et qui a pris sa forme définitive en Islande, au XIII^e siècle, est un problème fort discuté. D'aucuns ont soutenu que l'Ólafssaga amplifiée, dite «historique», serait, elle aussi, l'œuvre de Snorri Sturluson. Cependant, depuis quelque temps, pour ce qui est tout au moins de son commencement, on la qualifie de compilation maladroite. On estime que son matériel a été tiré de l'Ólafssaga développée dans le Hkr., et qu'elle a vraisemblablement pour auteur le prieur Styrmir Kárason, membre de l'école de Snorri et collaborateur de celui-ci. C'est ce même prieur Styrmir Kárason qui avait mis au point auparavant, vers 1220, la grande Ólafssaga helga «légendaire», laquelle ne nous est parvenue que sous une forme remaniée, dans le Flateyjarbók islandais et la transcription norvégienne refondue. (Sur la littérature concernant ce problème, v. : P. MUNCH : introduction à l'édition déjà citée, E. MOGK : *op. cit.* 756, 806–808 ; F. NECKEL : *op. cit.* 197 ; F. NECKEL : *Saga : Reallex. d. germ. Altertums.* Hrsg. v. J. HOOPS. IV. Bd. Strassburg, 1918–1919. 69 ; W. GOLTHER : *op. cit.* I, 123 ; F. JÓNSSON : *op. cit.*, II, 605–624 ; 661–665.) — Quoi qu'il en soit, nous avons de sérieuses raisons de croire que primitivement, la variante qui nous occupe, ainsi que quelques autres miracles d'Ólaf, n'ont point fait partie du texte du Hkr., tel qu'il fut élaboré par Snorri. Nous estimons qu'ils ont été tirés de la grande Ólafssaga helga «légendaire», écrit par le prieur Styrmir Kárason et transmise par le manuscrit du Flateyjarbók pour être incorporés ensuite à l'édition princeps du Hkr., publiée par J. PERINGSKIÖLD (Stockholm, 1697. Cette édition ne m'a pas encore été accessible.) C'est en deux endroits [*op. cit.* III, 363 note q) et 404, note a)] que THORLACIUS signale aux lecteurs de son édition que les différents miracles d'Ólaf, et en particulier celui qui nous intéresse, ne figurent que dans le texte de l'édition princeps de PERINGSKIÖLD, mais non dans les manuscrits du Hkr. écrit par Snorri Sturluson. (Le plus ancien manuscrit sur parchemin du Hkr. était appelé Kringla. C'est vraisemblablement Sturla Þórðarson qui, en 1263, apporta ce manuscrit en Norvège, et c'est là, dans un lieu proche de Bergen, que le Kringla fut conservé jusqu'à la fin du XVI^e siècle. C'est d'ici qu'il parvint ensuite dans la bibliothèque universitaire de Copenhague, où, à la fin du XVII^e siècle, on en fit deux bonnes copies. L'archétype lui-même fut presque entièrement détruit lors du grand incendie qui ravagea Copenhague en 1728. Le texte le plus proche de celui-ci, c'est le Codex Frisianus qui date de la première moitié du XIV^e siècle. Cependant, ce dernier ne renferme point l'Ólafssaga helga. C'est de cette même époque que date l'édition appelée Jöfraskinna qui, lui, fut également détruit par l'incendie : seule une copie de la fin du XVII^e siècle nous en est restée. Cf. B. KAHLE : *Altisländisches Elementarbuch*. Heidelberg, 1896. 159 ; E. MOGK : *op. cit.* 814 ; E. MONSEN : *ed. cit.*, introd. XVI–XVII.) Selon THORLACIUS, le premier éditeur du Hkr., PERINGSKIÖLD, aurait puisé au Flateyjarbók les légendes d'Ólaf ne figurant point dans les manuscrits du Hkr., et en particulier celle qui nous occupe. Cependant, étant donné que la légende byzantine qui nous intéresse figure dans l'Ólafssaga helga amplifiée, il est vraisemblable que celle-ci ait aussi subi entre autres l'influence de la grande Ólafssaga helga «légendaire» du prieur Styrmir Kárason. — Selon THORLACIUS, l'exemple de PERINGSKIÖLD a aussi été suivi par SCHÖNING : ce dernier avait d'ailleurs préparé une édition du Hkr. qui, demeurée manuscrite, fut mise sous presse par les soins de THORLACIUS. — Les observations de THORLACIUS sont également vérifiées par le fait que la seule édition critique du Hkr. qui m'ait été accessible, celle de JÓNSSON, ne donne aucune variante au chapitre en question (chez JÓNSSON, ce chapitre est le 21^e de la partie consacrée à Hakon aux Larges épaules, tandis que chez THORLACIUS, il est le 20^e). Cependant, le fait demeure qu'aujourd'hui encore, les éditeurs et traducteurs du Hkr. continuent à incorporer ces fragments de légende, absents des manuscrits du Hkr., dans le Hkr. de Snorri. Nous verrons plus loin que dès le milieu du XII^e siècle, on connaissait en Islande la légende qui nous occupe, et que cette légende renferme aussi un noyau historique sérieux.

La grande Ólafssaga helga «légendaire», qui, provenant du milieu du XIII^e siècle, nous a été transmise en norvégien sous une forme remaniée et de caractère norvégien, était enrichie de toutes sortes de récits miraculeux tirés des prêches de l'Église norvégienne.⁹ C'est elle qui doit vraisemblablement être à la base des légendes d'Olaf figurant dans les bréviaires dont se servait le clergé norvégien. Voilà comment cette variante, «distillée» pour l'usage ecclésiastique à partir de la robuste version du Heimskringla et utilisée par Gy. Sántha, fut incorporée dans les bréviaires écrits en latin, détachés de leurs racines historiques, anémiés et utilisés pour le culte, et en particulier dans le Breviarium Nidrosiense qui, signalé plus haut, avait été compilé par les prêtres de la cathédrale de Drontheim.¹⁰

Si nous comparons entre elles cette variante ancienne-islandaise et la variante latine des bréviaires, nous découvrons immédiatement que la variante ancienne-islandaise du Heimskringla et de l'Ólafssaga helga se prête beaucoup mieux au dégagement du noyau historique de cette légende. La variante ancienne-islandaise fournit à ce sujet des indications qui, très utiles, ne figurent pas dans la version latine : 1^o Elle indique le nom de l'empereur byzantin sous le règne duquel eut lieu la bataille. En effet, le roi des Grecs Kirjalax, c'est *Kύρι(ος) Ἀλέξιος* c'est-à-dire l'empereur byzantin Alexis I^{er} Comnène.¹¹ 2^o Elle indique le but final de la campagne d'Alexis I^{er} Comnène, ceci au moyen de la détermination géographique «le roi entreprit une campagne au pays des blök(k)umenn». A l'exception de V. G. Vassilevski, L. Tamás et I. Knieszsa,¹²

⁹ Publiée par KEYSER et UNGER, Chria, 1849 (cette édition non plus ne m'a été accessible). Elle accuse une parenté avec l'Ólafssaga du Norsk Homilubók (publié par UNGER, Chria., 1864 ; je n'ai pas encore eu le moyen d'étudier cette édition), car, en ce qui concerne les miracles d'Olaf, elles ont puisé à la même source (cf. E. MOGK : *op. cit.*, 807).

¹⁰ Sur les manuscrits des légendes d'Olaf en langue latine, v. : Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, edd. socii Bollandiani. I. II (Bruxelles, 1901) 914 sq., 1375 sq. Suppl. 240 ; Analecta Bollandiana 20 (1901) 369 sq.

¹¹ C'est ainsi que ce nom a été identifié par THORLACIUS : *ed. cit.* III, 404, note a) ; I. CHERGHEL : Zur Geschichte Siebenbürgens. Wien, 1891, 17 et 28 ; I. CHERGHEL : Câteva contribuțiuni la cuprinsul cuvântului «Vlach» : Convorbiri Literare 52 (1920) 343 ; G. STORM : *trad. cit.* 780, note 2 ; N. DRĂGANU : Românii în veacurile IX—XIV. pe baza toponimiei și a onomasticeii. București, 1933. 571 ; F. NIEDNER : *trad. cit.* 336 ; N. IORGA : Histoire des Roumains et de la romanité orientale. III. Bucarest, 1937. 37.

¹² V. G. VASSILEVSKI, dans Варяго-русская и варяго-английская дружина въ Константинополѣ XI и XII вѣковѣ : Труды В. Г. Васильевскаго. Томъ I. Сѣбр., 1908. 366, a utilisé une traduction latine de la variante ancienne-islandaise qui nous occupe. Cette traduction est tirée des Antiquités Russes (I, pp. 468—469). Or, il figure dans ce texte latin une détermination géographique, «in terra Blacumannorum», que Vassilevski traduit par «sur la terre des Cumans». Toutefois, il n'explique pas pourquoi il identifie le nom ethnique *blök(k)umenn* aux Cumans. L'erreur de Vassilevski se limite à ceci que dans la variante qu'il a utilisée, la bataille n'est pas placée «au pays des blök(k)umenn» : en effet, le texte indique que le combat eut lieu sur le chemin conduisant à ce pays, «sur les champs des péziners». — Dans L. TAMÁS : Români, Romans et Roumains dans l'histoire de la Dacie Trajane. AECO I (1935) 46, note 71 ; L. TAMÁS Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában (Romains, Romans et Roumains en Dacie Trajane). Bp. 1935. 43, note 68 ; et I. KNIEZSA : Pseudorumänen in Pannonien und in den Nord-karpathen. AECO 2 (1936) 178, les auteurs font conditionnellement dériver le nom eth-

tous les chercheurs ont jusqu'à ce jour identifié cette détermination géographique avec l'habitat des Vlaques, ancêtres des Roumains actuels, et, C. C. Giurescou et N. Iorga mis à part, ont explicitement placé cette région dans la Valaquie située entre le Danube et la mer Noire.¹³ 3^o La variante ancienne-islandaise indique aussi le lieu exact de la bataille : elle relate en effet qu'en avançant vers «le pays des blök(k)umenn», l'empereur Alexis et son armée parvinrent chemin faisant «sur les champs des péziner». La plupart des chercheurs et traducteurs ont identifié cette détermination géographique avec l'habitat des Péchéhénègues.¹⁴ 4^o La variante ancienne-islandaise fournit de l'ennemi — qu'elle persiste à désigner toujours par «païens» — une description (armée de cavaliers, chariots fort grands pourvus de parapets d'assaut, campement avec tentes protégées par un retranchement de chariots et un fossé) qui, à n'en pas douter, est basée sur l'observation directe de la tactique guerrière d'un peuple de cavaliers nomades pratiquant l'élevage du gros bétail. Compte tenu de fait que nous sommes à l'époque d'Alexis I^{er} Comnène et qu'il convient d'envisager le problème du point de vue des Byzantins, l'ennemi ne semble

nique *blak(k)umenn* — tiré non de la variante de la légende d'Olaf, mais d'une inscription runique de Gotland, datant de 1100 environ — de l'adjectif nordique *blak*, *blök* 'noir' et entendent prendre pour point de départ la signification 'homines nigri'.

¹³ I. GHERGHEL : *Zur Geschichte Siebenbürgens*, 17 ; I. GHERGHEL : *Contribuțiuni*, 343 ; F. NIEDNER : *loc. cit.* V. BOGREA : *Blacumen* : *AnInstIstNat.* 3 (1924—1925) 526 ; G. STORM : *loc. cit.*, note 2, E. MONSEN—A. H. SMITH : *loc. cit.* ; N. DRĂGANU : *Românii*, 226, note 1 ; selon lui (*ibid.* 571), ce «Vlachenland» ou «Românii sudestici» peut ou bien porter sur la «terra Blachorum» de la vallée transylvaine de l'Aluta, ou sur la Vlașca de Valaquie ; St. SCHJØTT : *trad. norv. cit.*, 605 : «Valahia», «Valahiet» ; C. C. GIURESCOU : *Istoria Românilor*. I. București, 1935. 309 : «terra Blacorum»... «dans la partie nord de la Moldavie... de toutes façons à gauche du Danube». Seul N. IORGA fait remarquer (*loc. cit.*) : «Malheureusement, il s'agit de la «Valachie» située dans la presqu'île des Balkans!» — Or, puisque nous sommes à l'époque d'Alexis I^{er} Comnène, Iorga, quoiqu'il ne le dise point, ne pouvait entendre par la «Valachie» située dans la presqu'île des Balkans que la *Βλαχία ἡ μεγάλη* de la région thessalienne du Pinde.

¹⁴ Ainsi I. GHERGHEL : *Zur Geschichte Siebenbürgens*, 17 ; I. GHERGHEL : *Contribuțiuni*, *loc. cit.* ; dans le premier ouvrage, l'auteur place la bataille dans la Valaquie située entre le Danube et la mer Noire (cf. VASSILEVSKI : *loc. cit.* ; cependant, cet auteur sait fort bien qu'avant 1118, c'était la Cumanie, «la terre de Cumans», qui se trouvait dans la région située entre le Danube et la mer Noire, et non la Valaquie. Dans le deuxième ouvrage, GHERGHEL est déjà plus exact : il relate que l'empereur, parti en guerre contre les païens habitant au nord du Danube, conduisit ses armées vers «la terre des Roumains», en passant par «les champs des Péchéhénègues». A condition d'interpréter correctement le nom ethnique *blök(k)umenn*, cette deuxième rédaction est entièrement conforme, quant à ses deux derniers éléments, au récit de notre variante ancienne-islandaise.) — A. DECEI : *Românii din veacul al IX-lea până în al XIII-lea*, în *lumină izvoarelor istorice armenesti*. *AnInstIstNat.* 7 (1935—1938) 532, note 2 ; ici, l'auteur suppose d'une manière tout à fait erronée que même le nom de personne «Visinn», figurant dans l'expression «Visinn af Blökmannalandi» et tiré de la saga fabuleuse «Egils saga ok Ásmundar» du XIV^e siècle, serait à identifier avec «Biseni» ~ Péchéhénègues (cf. Fornaldar Sögur Nordrlanda... utg. af C. C. RAFN. III. bindi. Kaupmannahöfn, 1830. 377). — Cette détermination est assimilée aux Péchéhénègues du Bas-Danube par G. STORM : *loc. cit.*, note 3 ; E. MONSEN—A. H. SMITH : *loc. cit.*, note 3 ; dans ses traductions déjà signalées (Oslo, 1942. 605), St. SCHJØTT se contente de localiser la région en question dans la région danubienne. — N. DRĂGANU : *Românii*, 571, estime qu'il s'agit des Péchéhénègues de la «terra Blachorum», soit dans la vallée transylvaine de l'Aluta, soit dans la Valaquie située entre le Danube et la mer Noire.

pouvoir être assimilé qu'aux Pétchéhègues ou aux Cumans.¹⁵ 5^o Le «roi» ou chef de l'ennemi «païen» «était aveugle». Or, il s'est trouvé un chercheur perspicace qui a découvert que la cécité du roi des païens, signalée dans cette variante, n'était pas forcément un détail servant uniquement à rehausser le récit de «l'apparition miraculeuse» d'Olaf, mais qu'il se pouvait que le chef des cavaliers nomades ait réellement été aveugle.¹⁶ Quoi qu'il en soit, il est

¹⁵ Et, en effet, I. GHERGHEL : *Zur Geschichte Siebenbürgens* 17, et *ibid.* note 5 assimile l'adversaire aux Cumans, tandis que N. Dragănu, *loc. cit.*, et N. IORGA : *loc. cit.*, l'assimilent aux Pétchéhègues.

¹⁶ A la lumière de ces faits, I. GHERGHEL conclut qu'en tout état de cause, il s'agit ici d'une des guerres d'Alexis I^{er} Comnène contre les Cumans, de celle en particulier qui figure aussi dans les chroniques russes et que l'empereur eut à soutenir contre les Cumans ameutés contre son empire par Léon le pseudo-Diogène. Une première fois, I. GHERGHEL situa cette guerre en l'année 1114 (*Zur Geschichte Siebenbürgens, loc. cit.*), pour la reporter ensuite à l'année 1118. — En réalité, Alexis I^{er} Comnène entreprit contre les Cumans deux campagnes dont chacune peut entrer en ligne de compte : 1^o La première fut une guerre défensive qui se déroula en automne 1094 ; elle fut soutenue par Alexis contre les Cumans ayant à leur tête le pseudo-Diogène (selon Anne Comnène, il s'agissait de Léon, tandis que, selon Nicéphore Bryennios, c'était Constantin). Ce pseudo-Diogène avait auparavant été emprisonné par Alexis à Khersón. Échappé de prison, il prit, en sa qualité de prétendant au trône de Byzance, le commandement des Cumans qu'il dirigea sur le Bas-Danube, vers Andrianoupolis (Andrinople), en passant par le Paristrion (la Dobroudja actuelle, que l'on pouvait à bon droit tenir à l'époque pour «les champs des Pétchéhègues») et les défilés des monts Balkans. Quand Alexis apprit que, sous le commandement du pseudo-Diogène, les agresseurs cumans avaient atteint le Paristrion, il réunit à Constantinople un conseil de guerre et réfléchit si, oui ou non, il devait marcher contre les Cumans et les attaquer (cf. Anne Comnène, *Alexiade*. T. II. Texte ét. et trad. par B. LEIB. Paris, 1943. 192₆—193₁). Cependant, à ce conseil de guerre, il ne fut point question d'une attaque prévue contre «la terre» ou «le pays des Cumans», mais uniquement d'une campagne contre les Cumans ayant déjà pénétré au Paristrion. Un émissaire d'Alexis usa d'une ruse à l'égard du pseudo-Diogène : il l'attira dans le fort de Poutza, situé non loin d'Andrinople, l'enivra, le fit prisonnier et le conduisit à Tzouroulos (Tchourolu), qui est sur la route de Constantinople. Ici, l'impératrice mère, qui régnait à Constantinople en l'absence de son fils, fit aveugler le prisonnier par le bourreau ture du navarque envoyé pour recevoir le captif des mains de l'émissaire d'Alexis. (Cf. l'édition citée de l'*Alexiade*. II. 198₂₂—201₂₃) Et voici ce que la Chronique kiévienne signale à propos de cette campagne pour l'année 1095 : «Les Cumans attaquèrent les Grecs avec Devguénévitch (le fils de Diogène), et firent la guerre en terre grecque ; et l'empereur captura Devguénévitch, l'emmena et le fit aveugler.» (V. M. D. PRISOLKOV : *Тройцкая летопись*. М.-Л., 1950. 176, et, avec une légère divergence : *Летопись по Ипатскому списку*. Спб., 1871. 158₁₆₋₁₈.) Sur la datation et les détails de cette campagne, v. M. GRÓNÍ : La première mention historique des Vlaques des monts Balkans : *Acta Antiqua Acad. Sci. Hung.* 1 (1953) 495—515. — 2^o Selon Anne Comnène, la deuxième campagne d'Alexis Comnène contre les Cumans eut lieu en novembre 1114, tandis que Zónaras (XVIII, 26) situe ce même événement au printemps 1113. A la nouvelle que les Cumans, désireux de reprendre l'offensive, avaient repassé le Danube, l'empereur Alexis quitte la capitale, mobilise toute son armée et en dispose les unités à Philippoupolis (Plovdiv), Peritzos, Triaditza (Sofia) et au thème de Nis, jusqu'à Braničevo, localité qui se trouvait déjà au thème du Paristrion. Il ordonne à ces unités de veiller à ce que les chevaux soient en bonne condition, afin qu'ils soient de force à livrer une bataille de cavalerie. Lui-même poursuit entre temps, à Philippoupolis, une dispute théologique avec les pauliciens (cf. *Alexiade, ed. cit.*, III, 177₂₂—178₅). Dans l'intervalle, un messager était arrivé du Danube, annonçant que les Cumans avaient franchi le fleuve. A la tête des troupes qu'il a gardées auprès de lui, l'empereur se porte en hâte sur le Danube et arrive à Vidin, cependant — ayant appris qu'il approchait — les Cumans avaient déjà auparavant gagné la rive gauche du Danube et étaient parvenus en Valachie. L'empereur détache une troupe composée de vaillants guerriers et leur confie la mission de poursuivre les barbares. Cette troupe franchit immédiatement le Danube et poursuit les barbares.

significatif qu'à la fin de la bataille, le chef des cavaliers nomades ait été fait prisonnier par les Byzantins. 6^o Il convient de qualifier d'historiquement authentiques les indications que fournit la variante ancienne-islandaise à propos de la composition de l'armée d'Alexis I^{er}. En effet, selon cette description, l'armée de l'empereur se composait de Grecs, de «Francs», de Flamands, et de l'élément le plus précieux : la fameuse garde impériale des 540 Varègues ;¹⁷

Pendant trois nuits et trois journées, ils pourchassent les Cumans. Toutefois, les poursuivants ayant vu les Cumans traverser au moyen de radeaux l'un des affluents de gauche du Danube, ils s'en retournent chez l'empereur, sans avoir pu s'acquitter de leur mission cf. *ibid.*, III, 182₂₂—183₂. Ce récit d'Anne Comnène est complété, lui aussi, par les chroniques russes. Voici la relation que l'on trouve à propos des événements de l'année 1116 dans les différents manuscrits des chroniques en question : «En cette même année, Léon (Dioguénévitch), beau-fils de Volodimer (Vladimir Monomaque, prince de Kiev), attaqua le tsar Kyr Oleksi (l'empereur Alexis), et quelques villes sur le Danube lui firent leur soumission, et à Derester (Dristra = Silistrie), ville riveraine du Danube, deux Sorotchiniens (Sarrasins, Turcs), envoyés là par l'empereur, le tuèrent à la faveur de flatteries insidieuses, en la journée du 15 août» (cf. PRUSSOLKOV : *ed. cit.*, 206 et note 5 ; ЛѦТОПИСЬ ПО ИПАТСКОМУ СПИСКУ, *ed. cit.* 204. Sur l'ensemble de la campagne, v. F. CHALANDON : Les Comnène. I. Paris, 1900. 266—268. — Ainsi donc, seules ces deux campagnes d'Alexis I^{er} Comnène contre les Cumans sont susceptibles de fournir le noyau historique de la variante légendaire ancienne-islandaise qui nous occupe. L'identification est rendue difficile du fait que, dans les sources, on relève une confusion de noms à propos des trois fils de l'empereur byzantin Romain IV Diogène : or, c'est l'un de ces fils qui, en sa qualité de prétendant appuyé par les Cumans, a dû jouer un rôle dans les deux campagnes dont il vient d'être question. (Concernant cette confusion, cf. F. CHALANDON : *op. cit.* I, 26, 150, 151—153 et 266—268 ; A. SOLOVIEV : La date de la version russe du Diogénis Akritas : Byzantion 22 (1952—53) 129—132 ; M. MATTHIEU : Les faux Diogènes : Byzantion, *ibid.*, 133—150. — Quand on étudie l'Alexiade d'Anne Comnène, on a l'impression que, pour soutenir la réputation de son père, elle ait travesti à dessein ses relations concernant le pseudo-Diogène, et qu'il faille de fait identifier le prétendant avec l'un des fils de Diogène. [On est aussi porté à croire que, pour quelque raison, cette campagne de 1113/4 contre les Cumans ait été dédoublée et dans l'Alexiade, et dans les chroniques russes.] Cette question de détail doit être examinée plus à fond : ce n'est qu'ensuite que nous saurons décider, si, des deux campagnes d'Alexis contre les Cumans, c'est celle de 1094 ou celle de 1113/4 qui a servi de base historique à la variante ancienne-islandaise qui nous intéresse. A la fin de la présente étude, nous verrons également qu'il nous sera impossible d'aboutir à des résultats sûrs tant que nous n'aurons point trouvé l'explication correcte du mot ethnique *blak(k)umenn* ~ *blök(k)umenn* figurant dans les sources vieilles-noraises.)

¹⁷ Les chercheurs ont déjà suffisamment élucidé dans l'ensemble et dans la plupart des détails l'histoire de cette célèbre garde varègue des empereurs byzantins, de même que les changements ethniques que subit cette garde au cours des siècles. Cf. V. G. VASSILEVSKI : *op. cit.* : Труды I. Сtpb., 1908. 176—377 ; M. A. DENDIAS : *Oi Bάραγγοι καὶ τὸ Βυζάντιον*. Athènes, 1925 = *Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος* 9 (1926) 145—221. (Malheureusement, je n'ai point pu me procurer cet ouvrage) ; A. A. VASILIEV : The opening stages of the Anglo-Saxon immigration to Byzantium in the eleventh century : *Annales de l'Inst. Kondakov (Seminarium Kondakovianum)* 9 (1937) 39—70 ; F. DÖLGER : BZ 38 (1938) 235—236 ; L. BLÖNDAL : Nabites the Varangian : *Classica et Mediaevalia*, Revue danoise 2 (1939) 145 (cette édition m'est restée, elle aussi, inaccessible jusqu'à ce jour) ; R. M. DAWKINS : The Later History of the Varanguian Guard : *Journal of Roman Studies* 37 (1947) 39—46. En ce qui concerne l'effectif de ce corps de garde, évalué à 540 hommes dans le Geisli et les variantes de la légende d'Olaf, V. G. VASSILEVSKI (*op. cit.* 270—271, note 1) en a déjà reconnu l'authenticité historique. Il a même cité des exemples pour montrer que dans l'armée byzantine, le tagme, composé primitivement de 300 à 400 hommes, fut agrandi pour certaines armes spéciales, de sorte que, dans la suite, l'effectif atteignit 450 à 500 hommes. — Concernant la composition ethnique des unités byzantines comprenant non des réguliers, mais des mercenaires étrangers (*ἐθνικοί*), F. DÖLGER (*loc. cit.*)

d'ailleurs, la variante en question indique même le nom du commandant de la garde varègue : Thórer Helsing (Pórir Helsingr). 7^o La variante ancienne-islandaise fournit un repère très important au point de vue de l'élucidation du noyau historique ; elle signale en effet que la garde varègue fit un vœu : au cas où elle obtiendrait le secours de son patron, « saint » Olaf, et reviendrait victorieuse, elle élèverait en l'honneur de celui-ci, à ses propres frais et grâce aussi aux dons publics, une église à Miklagard (Constantinople). Selon la variante ultérieure du *Breviarium Nidrosiense*, c'est l'empereur lui-même (c.-à-d. Alexis I^{er} Comnène) qui aurait été l'initiateur de ce vœu. La variante en question précise également qu'après la victoire, l'église fut en effet construite à Constantinople. (A propos de Constantinople, le fragment de bréviaire signale dès le début que « c'est dans la ville royale, à Constantinople, que l'on vénère la mémoire de S. Olaf, roi et martyr, et dans cette même ville, on a élevé une église en son honneur »¹⁸ « en l'honneur de la sainte Vierge Marie ».¹⁹

a publié les indications que renferment à propos des *ἐθνικοί* dix chrysobulles impériales promulguées entre juin 1060 et avril 1088. L'on voit y figurer les peuples mercenaires suivants : Rouss, Varègues, Sarrasins, « Francs », Kulpings, Bulgares, Anglais, Allemands, Alains, Abasges, et la troupe d'élite désignée par « les immortels ». — Pour ce qui est de la composition ethnique de la garde impériale varègue elle-même, il convient de remarquer qu'après 1088, à la suite de la conquête de l'Angleterre par les Normands, ce corps de troupe, composé jusqu'alors de Russo-Varègues et de Scandinaves (Islandais, Norvégiens et Suédois), accueillit aussi un nombre toujours croissant d'Anglo-Saxons et de Danois. Cependant, longtemps encore, jusqu'à la fin du XII^e siècle, les trois pays scandinaves demeurèrent la traditionnelle région de recrutement de la « garde varègue » (dans cette expression, le mot « varègue » se transforma petit à petit en un nom collectif aussi bigarré au point de vue du contenu ethnique que le nom des uhlands, des cosaques et de la garde pontificale « suisse »). (Cf. DAWKINS : *op. cit.* 39.)

¹⁸ ASS. Jul. T. VII. Antwerpiae, 1731. 118b.

¹⁹ VASSILEVSKI : *op. cit.* 275—277 et 365—366, médite longuement sur le problème de savoir pourquoi, les sagas mises à part, aucune source, byzantine ou autre, ne signale qu'il y a eu à Byzance une église dédiée à S. Olaf. Il relève très justement que la variante de la légende de S. Olaf, que nous venons d'analyser et qui se rattache à Alexis I^{er}, n'affirme pas qu'une fois l'église achevée, elle a été dédiée à ce saint (dans le *Homiliubók* norvégien et le fragment du bréviaire latin, on lit en effet : « il éleva, en l'honneur de la sainte Vierge Marie, une église dédiée à elle »). Ensuite, il cite BEÉLIN (sic!) qui, dans l'Histoire de l'église latine à Constantinople (Paris, 1872, 166), fait remarquer que les recherches épigraphiques de Paspatis ont établi d'une manière certaine qu'à Constantinople, les Varègues possédaient une église à part, construite en l'honneur de leur patronne, la *Παναγία Βαγγελιώτισσα*, et que cette église s'élevait près de la façade ouest de Sainte-Sophie, si proche de celle-ci qu'on eût dit qu'elle était adossée à la basilique. Cependant, VASSILEVSKI estime que cette église était non latine, mais grecque, autrement dit orthodoxe, et que les Varègues fréquentant ce sanctuaire n'étaient point de rite latin, mais orthodoxe, et donc des Russo-Varègues. — A l'heure actuelle, les résultats des recherches nous permettent déjà de nous rapprocher davantage encore de la solution du problème de l'église que la garde varègue possédait à Byzance. DAWKINS a signalé (*op. cit.* 43) qu'au témoignage de Robert de Clari, quand, en 1204, les croisés occupèrent Constantinople, les Varègues possédaient un clergé à part, clergé qui officiait selon le rite romain : «... le matin, les prêtres et clercs, portant tous leurs vêtements particuliers — c'étaient des Anglais, des Danois et des hommes issus d'autres peuples encore — allèrent en procession au-devant de l'ennemi franc pour négocier les conditions... » C'est encore DAWKINS (*op. cit.*) qui, citant BELIN (Latinité de Constantinople. 1894², 20), fait remarquer que les inscriptions relatives à la garde varègue et découvertes par Paspatis avant 1885 se trouvaient sur le mur d'une tour qui, surmontant les murailles de Byzance, était située entre la porte d'Andrinople et le lieu appelé Top Kapou. A l'avis de

DAWKINS, ceci indique que ces pierres tombales varègues provenaient vraisemblablement de l'église qui était dédiée à S. Nicolas et à S. Augustin et qu'un émigré anglais du temps de Guillaume le Conquérant avait fait construire. Cette église peut être identifiée avec la chapelle de S. Nicolas qui est en ruines et s'appelle maintenant Bogdan Saraï (les ruines en question se trouvent au quartier de Balat, non loin de la porte d'Andrinople, à l'est de celle-ci). A environ 500 yards de ce lieu, toujours en direction est, s'élève la vieille église de Sainte-Marie-Pammakaristos. Là aussi, dans une pièce voûtée donnant directement sur la rue qui longe l'église, on a trouvé une inscription où il est question d'un garde varègue. — Or, il est deux faits qui, jusqu'à ce jour, ont échappé aux chercheurs : 1^o Dans un passage de la saga d'Harald que renferme le *Heimskringla*, il est dit que l'impératrice Zoé (1042) et son époux, Constantin IX Monomaque (1042—1055), firent jeter en prison Harald qui venait de rentrer à Byzance de son pèlerinage à Jérusalem. Puisant dans les chants scaldiques de l'époque, Snorri relate à ce sujet : «Là, près de la rue, il y avait une chapelle dédiée au roi Olaf, et cette chapelle s'y trouve toujours. La geôle était ainsi construite qu'elle possédait une tour élevée, ouverte en haut, et l'on y pénétrait de la rue par une porte» (cf. F. NIEDNER : *trad. cit.* III. Bd. 80). Cette «tour» (que la saga ne décrit comme ouverte par en haut que pour permettre à Harald et à ses compagnons de s'enfuir avec l'aide de plusieurs dames) est peut être à identifier avec la pièce voûtée qui, donnant sur la rue, se trouvait dans l'église Sainte-Marie (ou Théotokos) Pammakaristos. Or, Harald fut enfermé dans cette pièce parce que, ayant participé (les 20 et 21 avril 1042) à la révolte contre l'empereur Michel V le Calaphate et pris part à l'aveuglement de celui-ci, il s'était entre temps trouvé engagé dans un conflit avec les excubiteurs russo-varègues de l'empereur, c'est-à-dire avec les gardes varègues demeurés fidèles au souverain (cf. VASSILEVSKI : *op. cit.* 277—288). On peut en conclure qu'à l'époque de la prépondérance russo-varègue, c.-à-d. avant le schisme de 1054, c'est l'église de Marie (ou Théotokos) Pammakaristos qui fut le sanctuaire de la garde varègue. C'est dans une pièce voûtée de cette église que devait être enfermé Harald à la suite de son conflit avec la garde varègue, et, selon l'expression de Snorri, c'est «plus tard» que l'on construisit dans la même rue la chapelle (S. Michel?) des Varègues de rite latin (en tout état de cause, cette chapelle fut construite après 1066, année de la conquête normande, et peut être même déjà sous la règle d'Alexis I^{er} [1081—1118]). Cependant, la légende, également ancienne, d'un autre miracle d'Olaf (elle figure dans le *Geisli* d'Einar Skúlason, récitée en 1153, de même que dans l'*Ólafssaga helga* la plus ancienne, née entre 1160 et 1180, et aussi dans le *Heimskringla*) atteste qu'à Byzance, à l'époque d'Alexis I^{er}, on avait tout de même dédié une église, ou tout au moins une chapelle, à S. Olaf. A la fin du récit de ce miracle de l'épée, accompli par Olaf parmi les gardes varègues d'Alexis I^{er}, Snorri (F. NIEDNER : *trad. cit.* III. Bd. 336) remarque : «L'empereur (Alexis) fit porter l'épée dans l'église d'Olaf qu'entretenaient les Varègues. Là, elle fut fixée au-dessus de l'autel. Le Jeune Eindridi (cf. E. МОСК : *op. cit.* 824) se trouvait à Byzance au moment où ces événements eurent lieu. C'est lui qui en a fait le récit en Norvège, comme en témoigne Einar Skúlason dans son drapa qu'il composa sur le roi S. Olaf (c.-à-d. dans le *Geisli*). C'est là qu'est chanté cet événement.» On a l'impression que, dans la période qui se situe entre la guerre d'Alexis contre les Cumans (celle de 1094 ou celle de 1113/4) et la mort de l'empereur (1118), l'on ait tout de même construit à Byzance, aux frais de la garde varègue, un sanctuaire de S. Olaf. Ce sanctuaire, c'est peut être la chapelle varègue de rite romain (chapelle de S. Nicolas?) qui, bâtie dans la rue de l'église Marie-Pammakaristos, existait encore en 1204 et même au temps de Snorri (1220—1230, la même chapelle d'où proviennent les pierres tombales varègues et qui avait son propre clergé. — D'autre part, le problème se complique du fait qu'à l'autre extrémité de Constantinople, près de l'aile ouest de Sainte-Sophie, il existait un vieux sanctuaire élevé en l'honneur de la sainte Vierge Marie, Mère de Dieu (Justinien, Nov. III. cap. I.). Ce sanctuaire est mentionné dans les actes du V^e Concile œcuménique de Constantinople, tenu en l'année 553, à l'époque du patriarche Ménas, et même dans la chronique d'André Dandolo (cf. DU CANGE : *Constantinopolis Christiana*, lib. IV., cap. 2., No 11, p. 86). Le fait que le culte de «Marie protectrice des Varègues» se rattachait à l'église S. Maria ad S. Sophiam est établi, pour la deuxième moitié du XIV^e siècle, par une charte (datée de février 1361) dans laquelle le couvent de religieuses Theotokos Varangiôtissa est confié à Alexis Sophianos (cf. MIKLOSICH—MÜLLER : *Acta et diplomata*. I. No CLXXXII, p. 423 ; GEDEON : *Hagyaz. Hivazés*, p. 429). — Ainsi donc, sur ce point aussi, il nous faut continuer nos recherches concernant la date de la construction, à Byzance, de l'église de S. Olaf, les débuts du culte de Theotokos Varangiôtissa, et les corrélations entre ces deux problèmes.

Comme on le voit, cette variante ancienne-islandaise de la légende nous fournit suffisamment de repères pour pouvoir en mettre à jour le noyau historique qui, lui, se réduit à l'une des guerres ou batailles d'Alexis I^{er} Comnène contre une armée de cavaliers nomades. La narration relève qu'elle est basée sur les récits des acteurs mêmes de la bataille, c'est-à-dire sur le témoignage des gardes varègues revenus au pays après leur service dans la garde varègue d'Alexis I^{er} Comnène. Aussi faut-il supposer que cette variante est sensiblement plus ancienne que le *Heimskringla*, écrit entre 1220 et 1230, et même antérieure à l'*Ólafssaga helga* «historique» amplifiée, variante ancienne-islandaise née vers le milieu du XIII^e siècle : en effet, la bataille relatée dans cette version a dû avoir lieu sous le règne d'Alexis I^{er} Comnène (1081—1118).

Et, de fait, nous retrouvons déjà la variante en question dans des ouvrages bien plus anciens de la littérature ancienne-islandaise. Lorsque, dans l'édition critique du *Heimskringla*, F. Jónsson reproduit entre autres la variante ancienne-islandaise qui nous occupe — quoique, parmi les manuscrits du *Heimskringla* qui nous sont restés, cette variante ne figure pas dans l'ouvrage de Snorri —, il signale, sous le titre du chapitre 21, les œuvres vieilles-norvoises où l'on trouve le passage en question.²⁰ La première source, la plus lointaine au point de vue chronologique, c'est la plus ancienne *Ólafssaga helga*, qui fut écrite en Islande entre 1160 et 1180. L'auteur, dont nous ignorons le nom, a puisé son sujet dans la tradition orale, et, par endroits, dans la poésie scaldique. Outre sa curiosité historique, l'auteur y trahit un intérêt très vif pour les miracles de «saint» Olaf.²¹ Cependant, il y a, parmi les monuments de la littérature ancienne-

²⁰ V. F. JÓNSSON : *ed. cit.*, 429_a.

²¹ Cf. E. MOGK : *op. cit.* 806 ; F. JÓNSSON : *Den oldn. og oldisl. Litt. Hist.* II², 605—611. De cette *Ólafssaga helga* la plus ancienne, nous ne possédons que quelques fragments, figurant dans des manuscrits des XIII^e et XIV^e siècles. Ces fragments ont été publiés avec fac-similés par G. STORM : *Otte brudstykker af den ældste Saga om Olav den Hellige*. Chria., 1893. (Jusqu'à présent, je n'ai point pu me procurer cette édition.) Vraisemblablement, c'est à la p. 12 de cette édition que figure un fragment de la variante qui nous intéresse, fragment que F. JÓNSSON (*loc. cit.*) signale avec la mention : «Ældste s. p. 12». D'ailleurs, c'est cette *Ólafssaga* la plus ancienne qui a été l'une des sources principales de l'*Ólafssaga* «légendaire», laquelle, écrite plus tard, fut l'œuvre maîtresse du prêtre Styrmir Kárasen, et dont rien qu'une version remaniée nous est restée dans le *Flateyjarbók* (cf. E. MOGK : *op. cit.* 806—807). — Dans le répertoire des ouvrages reproduisant cette variante, F. JÓNSSON (*ed. cit.*, *loc. cit.*) signale également l'*Ólafssaga helga* «historique» qui fut élaborée vers le milieu du XIII^e siècle et que nous avons étudiée dans l'édition déjà citée de *Munch* et *Unger*. C'est le texte de cette version, texte amplifié davantage encore par des copistes ultérieurs, que signale F. JÓNSSON avec la mention «OH (Fms.) k. 250». Le texte en question se trouve dans le volume du recueil *Formanna Sögur*, publié entre 1825 et 1837 à Copenhague (k. 250, p. 283). — Au témoignage du répertoire de F. JÓNSSON, cette variante figure également dans le *Flateyjarbók*, compilé entre 1387 et 1395 par les prêtres islandais Jón Þórðarson et Magnus Þórhallsson (publié par VIGFÚSSON et UNGER, I—III. Chria., 1860—1868, cf. E. MOGK : *op. cit.* 815 ; je n'ai pas encore pu me procurer cette édition), ainsi que dans le «Homiliubók norvégien» qui, s'inspirant des mêmes sources que la grande *Ólafssaga helga* «légendaire», avait été rédigé à l'usage des prédicateurs désireux de faire des prêches conçus dans le style populaire (publié par UNGER : Chria., 1864 ; je n'ai point pu me procurer ce volume). On retrouve dans ce dernier, parmi les homélies traduites en vieux-norvégien (pp. 149—168), les légendes de «saint» Olaf. Les traducteurs de ces homélies

islandaise, une œuvre permettant d'établir que dans la poésie scaldique et dans la tradition orale transmise de génération en génération par les conteurs de sagas en prose, la variante qui nous intéresse avait cours dès avant 1160.

L'un des ancêtres de Snorri, Einarr Skúlason, qui, après 1145, fut le scalde de la cour du roi de Norvège Eysteinn, récita en 1153, dans l'église du Christ de Niðarós, devant la crypte de « saint » Olaf et en l'honneur de celui-ci, son drapa intitulé Geisli (= « Rayon »). La récitation eut lieu lors de la consécration, par le cardinal romain Nicolas, de cette cathédrale qui appartenait à l'archevêché que le roi Eysteinn avait fondé à Niðarós. Nous possédons 71 strophes de ce drapa consacré aux « miracles » d'Olaf.²² Dans son propre Heimskringla, Snorri a utilisé comme source ce poème d'Einarr Skúlason, ainsi que d'autres poésies de cet auteur. Dans les strophes 48—53 du Geisli, le poète relate le même miracle d'Olaf, accompli en terre péchéennegue, dans un milieu byzantin, que reproduit en prose le Heimskringla et que nous avons analysé tout à l'heure. Voici, traduites en prose, les strophes en question :²³

48.

Les faits de la bataille grecque sont connus,
(Le fils d'Harald, en de nombreuses
Occasions, prête son assistance),
Ce sont d'aimables miracles.
Ni moi, ni n'importe quel autre qui connaît
Ceux-ci, (partout la gloire céleste
d'Olaf devient célèbre),
N'avons connu de roi plus fêté.

49.

C'est sur les champs déserts des pétziner
Que se déroula le combat ; l'oiseau sanguinaire
Assouvit dans cette bataille
Sa lourde faim.

utilisaient déjà le « Passio et miracula beati Olavi », rédigé en latin à Niðarós (Drontheim) (cf. E. MOGK : *op. cit.*, 807 et 897). Ces versions plus récentes que nous venons de signaler et qui ont un caractère de compilation, sont déjà sans importance au point de vue de la présente étude.

²² Cf. E. MOGK : *op. cit.* 692—693 ; F. JÓNSSON : *op. cit.* II,² 62—72, là où se trouve également le répertoire des éditions.

²³ Je n'ai pu me procurer que l'édition déjà citée de SCHÖNING—THORLACIUS (III, 474—476). La présente traduction en prose est basée sur le texte ancien-islandais de cette édition, de même que sur la traduction latine et danoise, publiée dans le même volume.

Beaucoup de milliers d'hommes furent abattus ici
Avec l'épée ; l'ouragan des armes nuisibles
Pour le casque devint si
Puissant que les Grecs prirent la fuite.

50.

Le très vaste empire et les immenses territoires
De la grande ville (les troupes
Du souverain attristé firent un courageux
Effort), obéiraient à l'ennemi,
Si, avec leurs durs boucliers, les Varègues
(Dans la tourmente des épées brillaient
Les faces polies des armes),
Ne se fussent lancés dans la ligne de bataille.

51.

A Olaf agissant au milieu des armes
Les hommes courageux firent un vœu
Et avec foi en Dieu
Ils livrèrent une âpre bataille.
Et tandis que le sang teintait de rouge
Les boucliers, dès qu'ils se furent frayé un passage
à travers les lancements de piques, chacun
fut entouré par soixante ennemis.

52.

Dès qu'avec force la tempête des fers
S'abattit sur les guerriers, le succès
De la masse païenne, grave
Pour les hommes grecs, faiblit.
Les cinq cent quarante Norvégiens, qui
Audacieusement s'avançaient vers l'assaut
toujours plus proche des épées,
Conquirent joyeusement la gloire décisive.

53.

Aussitôt que le cadavre de la bête féroce rattrapée
 Fût découpé, les hommes rapides
 Sous la protection du noble roi
 Enfoncèrent le retranchement de chariots.
 A la suite des hauts faits du glorieux prince
 Une jeunesse comblée d'or
 Exalte ses exploits qui sont
 Salutaires pour le monde entier.

Il est manifeste qu'Einarr Skúlason a condensé dans ces six strophes, riches en images poétiques, la variante de légende qui, sous forme de tradition orale contée en prose, avait eu cours en Norvège et en Islande depuis le retour des membres norvégiens de la garde varègue d'Alexis I^{er} Comnène.

Pour terminer, disons quelques mots des hommes qui, membres de la garde varègue d'Alexis I^{er}, furent témoins oculaires et acteurs de la bataille livrée aux Cumans ; voyons brièvement comment parvinrent à Byzance et furent incorporés dans la garde varègue ces guerriers qui, leur service terminé, retournèrent au pays et y contèrent cette variante de la légende d'Olaf, variante qui apporta dans la lointaine Islande le type de légende byzantine des «saints guerriers», et à la suite de laquelle, au début du XIII^e siècle, les Islandais reportèrent sur Haraldr harðraði et même sur l'empereur byzantin Michel IV cette version qui rappelle S. Démétrios.

Dans la partie du *Heimskringla* qu'il consacre au roi de Norvège Sigurðr Jórsalafari, Snorri relate comment, à Byzance, Alexis I^{er} reçut avec grand apparat Sigurðr qui, en 1110, revenait avec sa flotte de son pèlerinage à Jérusalem, de même que les Norvégiens qui voyageaient sur les vaisseaux du roi, et peut-être aussi les Islandais qui pouvaient se trouver parmi eux. «Alors, le roi Sigurðr fit ses préparatifs pour le retour. Il fit cadeau de tous ses vaisseaux à l'empereur . . . L'empereur Alexis offrit au roi Sigurðr beaucoup de chevaux et lui adjoignit une escorte qui devait l'accompagner à travers tout son empire. Alors, le roi Sigurðr quitta Byzance, par contre beaucoup de ses guerriers norvégiens restèrent, et ceux-ci s'engagèrent comme mercenaires.»²⁴ Ces Norvégiens, demeurés à Byzance et entrés au service de l'empereur, furent utilisés pour la reconstitution de l'élément scandinave de la garde varègue. L'enrôlement des Norvégiens eut lieu en 1110 : or, ceci nous autorise à croire que la campagne d'Alexis I^{er}, entreprise pour parvenir jusqu'au «pays des blök(k)umenn», est identique à celle que fit l'empereur en 1113/4 contre les

²⁴ V. F. NIEDNER : *trad. cit.*, III, Bd., 129 — 220 ; THORLACIUS : *ed. cit.*, III, 404, note b).

Cumans, la même dont parle Anne Comnène et au cours de laquelle, au témoignage des chroniques russes, Léon Diognénévitch — d'abord aveuglé, puis évadé et devenu gendre du prince de Kiev — conquiert, à la tête de troupes cumanes obtenues peut-être de son beau-père, les villes et territoires situés au Paristrion, «sur les champs des péziner», c'est-à-dire dans la Dobroudja, habitat des Péchénergues établis sur le Bas-Danube.

Pour résoudre le problème d'une manière définitive, il sera indispensable de trouver le sens exact du nom ethnique *blak(k)umenn ~ blök(k)umenn* qui revient à plusieurs reprises dans les sources vieilles-noraises. Il sera également nécessaire d'analyser à fond les sources byzantines et russes, et enfin de remédier à la confusion qui règne dans les sources à propos de la dénomination des fils de Romain IV Diogène. On peut prouver par des arguments linguistiques et historiques que le nom ethnique *blak(k)umenn ~ blök(k)umenn* signifiait 'les hommes blêmes' et que l'on désignait ainsi les Cumans. Je reviens en détail sur tous ces problèmes dans une étude que je prépare en ce moment-ci et qui aura pour titre : «Un chapitre non encore élucidé des guerres byzantino-cumanes».

М. ДЬОНИ

ВАРИАНТЫ ЛЕГЕНД ВИЗАНТИЙСКОГО ТИПА О «ВОИНСТВУЮЩИХ СВЯТЫХ» В ДРЕВНЕ-ИСЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Резюме)

В агиографической литературе последних 15 лет было посвящено несколько статей типу легенд о «воинствующих святых», которые были очень популярны среди византийцев, ведших постоянную борьбу с внешними врагами. Некоторые исследователи указывают на то, что из этих легенд можно вывести заключения не только о пережитках античного культа героев, но и об исторических событиях истекших времен. В своей статье автор стремится доказать, что такой тип легенд, служа источником, может иметь серьезную историческую ценность.

Самое выдающееся лицо культурной жизни Исландии в средние века, Снорри Стурлусон (1178-1241) написал свое знаменитое историческое произведение о сагах норвежских королей («Nóregs konunga sögu» или «Konungabók») в 1220-1230 гг., которое часто называется по двум вступительным словам в нем «Heimskringla» (= Круг света). Во всех изданиях и переводах этого произведения приводятся две легендарные истории норвежского короля св. Олафа (1015-1030) о чудесах, происшедших в византийском окружении. В одной из них описывается следующее:

«Это случилось в Греции в царствование Кирялакса, когда царь отправился походом в Blök(k)umennaland. Когда Кирялакс прибыл в Pezina völlu, царь язычников выставил против него многолюдную армию, в числе которой была кавалерия и громадные повозки с осадными приспособлениями. Язычники при отходе на ночлег расположили перед палатками свои повозки вагенбургом, а спереди них вырыли глубокую канаву. Это фортификационное сооружение по своей мощности соответствовало крепости. Царь язычников был пленцом. При приближении греческого царя язычники выстроили свои войска на поле, перед вагенбургом. Греки тоже выстроили свои боевые ряды; всадники обеих сторон столкнулись и вступили в бой. Сражение закончилось неблагоприятно для греков, им пришлось спасаться бегством. Они понесли большие потери, а язычники одержали победу. . . . Тогда царь выставил войска, состоявшие из фламандцев и франков. Они напали на язычников и вступили в бой с ними. И повторилась та же история, что

ранее. Среди них оказалось много убитых и каждый спасался, как умел. Греческий царь сильно укорял своих воинов, а они посоветовали ему, чтобы он бросил в бой варягов... Отряд варягов состоял из 540 человек. Они дали обет, подкрепив его рукопожатиями, что построят за свой счет и при помощи добрых людей храм в Миклагарде в честь и во имя короля св. Олафа, если он поможет им одержать победу... Вслед за тем варяги начали сражение на поле. Когда язычники увидели их, сказали своему царю, что вновь наступает отряд греческого царя и отряд небольшой. Царь язычников спросил: «Кто этот импозантный всадник на белом коне, предводительствующий отрядом?» «Мы не видим его» — ответили окружающие. Разница в численности была столь велика между противными сторонами, что на каждого христианина приходилось 60 язычников. Несмотря на это, варяги сражались героически. И каждый раз, когда противники сталкивались, страх и ужас охватывал язычников и они обращались в бегство; варяги преследовали их по пятам, уничтожая в громадном количестве....»

Не считаясь с разницей некоторых выражений, почти о том же самом повествуется и в «*Saga Olafs konungs ens Helga*», полный текст которой был создан в Исландии в середине XIII века.

Эта большая, легендарная сага норвежского оттенка, сохранившаяся в норвежской обработке со второй половины XIII века, была дополнена чудесными рассказами, заимствованными из проповедей норвежской церкви. Она служила основой для олафских легенд, фигурирующих в молитвенниках норвежского духовенства. Таким образом, один из ее вариантов вошел в приемлемой для церковных целей форме — и в «*Breviarium Nidrosiense*», составленное отцами церкви на соборе в Дронтгейме.

Если мы сравним древне-исландский вариант легенды с соответствующим латинским текстом бревиярия, то бросается в глаза, что древне-исландский вариант, сохранившийся в «*Heimskringla*» и «*Olafssaga helga*», является более пригодным для установления исторического события, которое служило исходным пунктом для возникновения легенды. Этот древне-исландский вариант содержит такие весьма важные данные, которые отсутствуют в латинском тексте. В нем имеется 1. имя византийского царя, в царствование которого произошло описанное сражение. Вместе с тем царь Кирьякс является никем иным как *Kýri(ος) Ἀλέξιος*, т. е. Алексием Комнином I, царем византийским. 2. он поясняет цель похода Алексия Комнина географическим определением, замечая, что «царь отправился походом в *Blök(k)umannaland*.» Все исследователи — за исключением В. Г. Василевского, Л. Тамаша и С. Кинжежа — убеждены, что названная страна означает местожительство владов, предшественников теперешних румын, т. е. Валахию. 3. Древне-исландский вариант указывает и на место сражения, когда замечает, что, «отправляясь в *Blök(k)umannaland*», император Алексей со своими войсками прибыл «в *Reizina völlu*». По мнению большинства исследователей под этим должно подразумеваться местожительство печенегов. 4. В древне-исландском варианте, при описании противника таковой повсюду именуется «язычником» и приводятся черты (кавалерия, громадные повозки с осадными приспособлениями, лагерь из палаток, окруженный вагенбургом и канавой), характерные для боевых действий скотоводческих кочевников. Такими противниками могли быть во время Алексия Комнина I только печенеги или же куманы. 5. Царь язычников был слепым. Вместе с тем среди ученых оказался исследователь, который не только заметил, что упоминание о слепоте царя язычников было необходимо для того, чтобы более рельефно выдвинулось «чудесное появление» Олафа, но и предположил, что король был фактически слепым. Во всяком случае обращает на себя внимание, что по окончании сражения он попал в плен к византийцам. 6. Состав войска Алексия I, описанный в древне-исландском варианте, вполне соответствует историческим фактам. Войска императора состояли из греков, франков, фламандцев и из 540 варягов, знаменитых гвардейцев императора, вождем которых был *Þórir Helsingr*. 7. Очень важным моментом является и обет варягов, в силу которого они обязались построить за свой счет и при участии доброхотных пожертвователей храм в Миклагарде (Константинополе) в честь своего патрона, св. Олафа, если он поможет им одержать победу. Согласно с более поздним текстом «*Breviarii Nidrosiensis*» император Алексей I лично принял на себя инициативу по исполнению обета и после победы храм был построен в Константинополе (эта часть текста бревиярия в самом начале замечает, что память царя-мученика св. Олафа благоговейно чтится в царском городе, Константинополе, и там же построен и храм во имя его.)

Как видно из этого, в древне-исландском варианте имеется довольно много опорных точек, при помощи которых можно установить историческое событие, послужившее для него основой, т. е. борьбу или сражение Алексия Комнина I с кавалерией кочевников, напавших на Византию. Из легенды явствует, что эпизод описан со слов возвратившихся участников сражения, варяжских гвардейцев названного императора.

Поэтому можно предполагать, что этот вариант легенды более древний, нежели «Heimskringla» (1220–1230) или «Olafssaga helga», которая приняла свою полноту около середины XIII века, ибо сражение, описанное в нем, имело место еще в царствование Алексея Комнина I, т. е. между 1081 и 1118 гг.

В самом деле упомянутый вариант встречается и в более ранних памятниках древне-исландской литературы. В критическом издании «Heimskringla», в главе 21 Ф. Ионссон перечисляет все местонахождения этого текста в древне-северогерманской литературе, несмотря на то, что в сохранившихся рукописях не упоминается о произведении Снорри. Самое древнее местонахождение легенды находится в древнейшей «Olafssaga helga», которая была написана в 1160–1180 гг. в Исландии, причем неизвестный нам автор воспользовался устными преданиями и местами даже поэзией скальдов. Он интересовался историей, в частности чудесами св. Олафа. Но среди памятников древне-исландской литературы имеется один, который свидетельствует о том, что интересующий нас вариант легенды был известен по поэзии скальдов и устным преданиям прозаических саг и до 1160 г.

Один из предков Снорри, Эйнар Скуласон, который начиная с 1145 г. состоял на службе норвежского короля Эйстейнна в качестве придворного скальда, в 1153 году в соборе архиепископства имени Христа г. Niðaros, перед гробницей св. Олафа прочел свое стихотворение «Geisli» (= Луч) в честь св. Олафа именно в то время, когда римский кардинал Николай выполнял там церемонию освящения. 71 строфа этого стихотворения, восхваляющего чудотворство Олафа, дошла и до нас. При создании «Heimskringla» Снорри воспользовался этим стихотворением как источником. В строфах 48–53 «Geisli» рассказывается про то же самое чудо Олафа как и в «Heimskringla».

Наконец требуется сказать еще несколько слов о членах варяжской гвардии Алексея I, которые участвовали в сражении с язычниками. Как же и когда попали они в Византию и варяжскую гвардию, откуда по окончании службы вернувшись на родину они рассказали своим близким вариант легенды Олафа, занеся этим византийский тип «воинствующих святых» в отдаленный северный край, в Исландию, где он был отнесен в начале XIII века к Þaraldur Þarðarðr, равно как и к византийскому императору Михаилу IV.

В одной из частей «Heimskringla», содержащей повесть о норвежском короле Сигурде Йорсалафари, Снорри рассказывает, с каким почетом принял Алексей I в Византии вернувшегося в 1110 году из иерусалимского паломничества Сигурда и его норвежских спутников, в том числе, пожалуй, и исландцев. «В то время король Сигурд собирался к отъезду. Он подарил императору все свои корабли. . . . Император Алексей в свою очередь подарил Сигурду много лошадей и придал ему эскорт. Король Сигурд оставил Византию, но некоторые норвежцы остались в городе и вступили в армию императора наемниками.» Эти солдаты пополнили ряды скандинавской части варяжской гвардии. Так как это случилось в 1110 году, то можно предполагать, что поход Алексея I с целью завоевания Blok(k)umannaland был ничем иным как походом против куманов, датированным 1113/14 гг., о котором рассказывает и Анна Комнина. В названное время ослепленный ранее Леон, сын Диогена, который, освободившись из тюрьмы, стал зятем киевского князя, возглавляя куманские войска, предоставленные ему может быть тестем, завоевал города и области, находящиеся у низовьев Дуная, в «Pezina volla», т. е. в Добрудже, на территориях, заселенных печенегами.

Для окончательного разрешения вопроса надо бы выяснить точное значение названия народности blak(k)umenn ~ bløk(k)umenn, подробно проанализировать соответствующие места в византийских и русских источниках и устранить недоразумение, отмечаемое в источниках в связи с именами сыновей Романа Диогена IV. По нашему мнению нетрудно привести языковедческие и исторические доказательства о том, что название blak(k)umenn ~ bløk(k)umenn 'русые люди' относится к куманам.

COMPTES-RENDUS

SCRIPTORES GRAECI ET LATINI

NOUVELLES ÉDITIONS BILINGUES DE L'ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES

P. OVIDI NASONIS FASTORUM LIBRI SEX. En latin et en hongrois. Traduit par *L. GÁÁL*, introduction d'*I. BORZSÁK*. (Scriptores Graeci et Latini 1.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1954, 341 pages.

ARISTOTE: LA CONSTITUTION D'ATHÈNES. PSEUDO-XENOPHON: L'ÉTAT ATHÉNIEN. En grec et en hongrois. Traduit par *ZS. RITOÓK*, introduction et commentaires de *J. SÁRKADY* (Scriptores Graeci et Latini 2.) Budapest, Akadémiai Kiadó 1954, 281 pages.

HÉSIODE: EPYKA KAI HMERAI. En grec et en hongrois. Traduction, introduction, annotations et étude explicative de *I. TRENCSENYI-WALDAPFEL*. (Scriptores Graeci et Latini 3.) Budapest, Akadémiai Kiadó 1955, 225 pages.

Les témoignages de la connaissance des écrivains anciens en Hongrie, aussi bien que dans la plupart des littératures européennes, se confondent, du point de vue chronologique, avec les débuts de la littérature et les premiers essais de traduction apparaissent dans les manuscrits médiévaux de Hongrie. C'est surtout à partir du dernier quart du XVIII^e siècle que les traductions d'auteurs anciens se sont multipliées dans notre littérature. La cause de la traduction des littératures grecque et romaine est devenue une préoccupation majeure de l'Académie Hongroise des Sciences, et cela, pour ainsi dire, depuis sa fondation (1825). Même en dehors de l'Académie, les traductions trouvèrent au siècle dernier des éditeurs, cependant, l'initiative de la publication d'une première série de textes bilingues complets dont la valeur était censée dépasser celle des publications destinées à l'usage scolaire, fut due à la Commission de Philologie Classique de l'Académie, créée en 1883. Ce sont d'abord les œuvres des prosateurs (Hérodote, Thucydide, Platon, Démosthène, Lycurgue, Cicéron, Salluste, Velleius Patereulus, Sénèque, Suétone, Aulu-Gelle, Gaius, Ammianus Marcellinus) qui furent publiées dans cette série intitulée «Chefs-d'œuvre grecs et latins» et qui vit le jour à cette époque. Cependant, des poètes aussi y eurent leur place, comme Homère, Anacréon, Bacchylide, Euripide, Catulle, Virgile, Propertius, les Dicta Catonis et les épigrammes de l'Anthologie Grecque. Ces éditions, toujours complètes, qui ne comportaient pas d'apparat critique et qui généralement empruntaient leur texte à une des meilleures éditions étrangères comblaient une lacune de la philologie classique hongroise et leur publication était une entreprise dont ne se chargeaient pas les éditeurs privés de cette époque. La cessation de cette publication par l'Académie après la première guerre mondiale a signifié pratiquement la cessation de la publication d'éditions bilingues grecques et latines, et cela jusqu'au milieu des années 30. C'est alors que fut prise à charge par des éditeurs privés la publication, en Hongrie, de deux séries d'éditions bilingues, intitulées, la première «Les classiques en deux langues», et quelques années plus tard, la seconde, «Les classiques en deux langues du Parthénon», ces publications bénéficiant de l'appui financier de particuliers épris de culture antique. C'est ainsi que parurent dans la première série dix volumes

comprenant les oeuvres complètes d'Héraclite et de Catulle, les Hymnes de Callimaque, les Éclogues de Virgile, les Amours d'Ovide, le Manuel d'Épictète, le Cantique des Cantiques d'après le texte de la Vulgate, les oeuvres choisies d'Horace et deux volumes contenant la majeure partie des Hymnes homériques. Dans les volumes, de dimensions plus considérables, de la série du Parthénon, furent publiés intégralement, en deux langues, les deux drames de Sophocle sur Oedipe, l'Éthique à Nicomaque d'Aristote, un recueil de textes choisis de papyrus grecs, le Miles et le Trinummus de Plaute, la Germanie, l'Agricola et les deux premiers livres des Annales de Tacite, les Pensées de Marc-Aurèle et les Confessions de St. Augustin.

La deuxième guerre mondiale a marqué la fin de la publication de ces deux séries et c'est en vue de combler ce vide que l'Académie Hongroise des Sciences réorganisée a entrepris, par l'intermédiaire de sa commission de philologie classique, la publication de la série intitulée «Scriptores Graeci et Latini». La nouvelle série reprend la tradition des publications de l'ancienne Académie lorsqu'elle s'efforce de rassembler en premier lieu des textes qui n'existent pas encore en traduction hongroise et qui présentent un certain intérêt en tant que sources historiques. L'actuelle difficulté à se procurer des éditions étrangères de textes en grec et en latin, les nécessités de la recherche, d'une part, de l'enseignement universitaire, de l'autre, font qu'il est absolument indispensable de publier, à côté de la traduction, le texte lui-même, et que, par conséquent, cette édition soit une édition bilingue. Bien que l'établissement des textes ne se fasse pas plus qu'auparavant à partir des manuscrits eux-mêmes, ces éditions visent plus haut et reflètent un esprit plus indépendant que les anciennes éditions hongroises, comportant même, s'il y a lieu, un apparat critique.

Le premier tome de la nouvelle série contient la première traduction complète en vers des *Fastes d'Ovide*. La traduction est précédée d'une brève note explicative sur le calendrier romain, rédigée par l'éditeur du volume, I. Borzsák. C'est également I. Borzsák qui a assuré l'établissement du texte et ainsi que le montre le court apparat critique de la page 26, le texte n'est pas une simple copie d'une édition moderne, mais dans son établissement on a tenu compte de la tradition manuscrite et à certains endroits on a pris position d'une façon indépendante. C'est I. Borzsák aussi qui est l'auteur de l'étude introductive dans laquelle rapidement, mais tout en passant en revue les questions essentielles, il donne au lecteur un aperçu de l'époque d'Ovide, de l'arrière-plan historico-social des *Fastes*, enfin des problèmes essentiels touchant aux principes directeurs de la politique d'Auguste et au jugement à porter sur le règne de ce dernier. En soulignant le caractère contradictoire de la politique d'Auguste l'auteur indique le point de vue fondamental où se placer pour juger des poètes de l'époque d'Auguste et c'est ensuite avec un soin tout particulier qu'il analyse les rapports d'Ovide lui-même avec la politique d'Auguste et avec la société de l'époque de cet empereur. Il attire notre attention sur le fait qu'il existe une différence fondamentale entre la mentalité d'Ovide et celle des poètes de la génération précédente, une des raisons en étant qu'Ovide avait grandi dans la «paix d'Auguste», paix qui succédait à la sanglante période des guerres civiles. Les comparaisons de Borzsák, contenant des remarques neuves, entre des passages d'Horace et de Virgile et leur imitation ovidienne caractérise parfaitement cette différence. L'étude montre combien clairement on peut retrouver précisément dans l'Oeuvre d'Ovide les contradictions internes de la «Pax Augusta» et de la législation d'Auguste, les contradictions propres à la société tout entière de cette époque ; il est manifestement sur la bonne voie lorsqu'il cherche la raison principale du conflit entre le poète et le souverain précisément dans le fait que les incertitudes qui sont à la base des «réformes» d'Auguste apparaissent comme trop manifestes dans l'oeuvre poétique d'Ovide. Pour finir, I. Borzsák, dans sa préface, nous montre comment juger le style poétique d'Ovide et l'importance des *Fastes*.

En ce qui concerne la traduction proprement dite qui est l'oeuvre de L. Gaál, il ne faut pas séparer notre jugement de la question de l'état actuel des traductions littéraires hongroises des oeuvres de l'antiquité. Le hongrois est une des rares langues d'Europe dans laquelle on peut écrire des vers selon les règles de la versification antique classique basées sur la quantité des syllabes. Il est vrai que selon les lois de la versification hongroise la plus ancienne, bien connue et généralement employée de nos jours encore, la quantité des syllabes est indifférente, et c'est uniquement d'après la place de l'accent d'intensité qu'on divise le vers en unités rythmiques ; cependant, à côté de ce type de versification apparaissait dès le XVI^e siècle, dans la poésie hongroise, le type de versification antique, basée sur la durée des syllabes. Du dernier quart du XVIII^e siècle jusqu'à 1830 environ, la versification du type gréco-latin fut utilisée dans la poésie nationale

hongroise au même titre que la versification basée sur la place de l'accent et les meilleurs parmi les poètes classiques en firent un fréquent usage. A l'époque où les Hongrois luttèrent pour leur indépendance politique et culturelle, les Anciens furent pour eux un exemple et un encouragement ; il n'est pas étonnant que les poètes de cette époque aient considéré les formes de la poésie antique comme particulièrement aptes à l'expression de leurs sentiments. Avec l'extension du système de versification gréco-latin, il devint indispensable de fixer la durée des syllabes indépendante de la place de l'accent, dans la langue poétique hongroise. (Cf. l'ouvrage récent de J. Horváth : *Problèmes de versification en litige*. Nyelvtudományi Füzetek 7. Budapest 1955, pp. 72 et 83.) Au début, pour faciliter la versification, on appliqua mécaniquement même celles des lois de la versification ancienne — et surtout latine — qui allaient à l'encontre de la prononciation hongroise (p. e. la prononciation en une syllabe des voyelles doubles, la non-prononciation du son *h*) en même temps qu'on tolérait d'autres licences poétiques qui découlaient des caractéristiques du hongrois (p. e. on considérait tantôt comme longues tantôt comme brèves telle ou telle syllabe de certains mots dont la durée différait suivant les régions). Il va de soi aussi que dans la versification quantitative hongroise « s'était glissé un certain traitement de l'accent, conforme aux principes de la versification hongroise. » (Horváth, o. c. p. 72), et que, dans ces cas-là « le principe de l'intensité tendait à se substituer au principe de la quantité syllabique », sans que, pourtant, les bases mêmes de la versification quantitative aient été ébranlées. La versification du type gréco-latin, dans la poésie hongroise, devint un système tout aussi familier, clairement élaboré, que ne l'était le système reposant sur la place de l'accent d'intensité. Ce sont l'hexamètre et le distique qui tout particulièrement avaient les faveurs de la tradition dans la poésie hongroise. Nos plus grands poètes ont montré toutes les possibilités qu'impliquaient ces mètres, tous les effets musicaux qu'elles étaient susceptibles de produire, ils ont montré à quel point ces mètres pouvaient, même en hongrois, se modeler en vue de l'expression des contenus les plus variés. En tant que mètres vivants, hexamètre et distique ont subi des modifications entre les mains des poètes hongrois tout autant que les autres mètres anciennes ; les mètres anciennes ne constituaient pas, pour les poètes hongrois, des recettes toutes faites tirées de manuels d'art poétique, mais elles étaient une musique propre à rendre de la façon la plus adéquate ce qu'ils avaient à dire, et qui naissait et renaissait avec le texte lui-même. Voilà comment, vers le début de ce siècle, parallèlement à un effort général pour briser les formes classiques, une tendance à décomposer, dans une certaine mesure, les formes métriques antiques, se fit jour dans notre poésie : il y eut des dérogations sensibles aux lois de la versification antique, et cela en vue de servir un contenu nouveau. En même temps on se mit à accorder une signification beaucoup plus grande que par le passé au jeu de l'accent rythmique du vers (ictus) et de l'accent naturel des mots qui avait toujours existé et on entreprit de prouver, sur le plan de la théorie, que les syllabes longues de la versification gréco-latine pouvaient être remplacées systématiquement par l'intensité des syllabes brèves accentuées. Dans la période d'entre les deux guerres, les efforts pour briser les formes poétiques allèrent jusqu'à reléguer à l'arrière-plan, dans la poésie hongroise, la versification de type antique. Il est fort significatif que dans les années qui précédèrent le déclenchement de la deuxième guerre mondiale, on assiste à un retour aux mètres antiques avec une rigueur nouvelle ; les poètes qui entrent en scène à cette époque savent se rapprocher, mieux que jamais, des normes qui avaient dominé la versification antique, leur oreille s'étant affinée, leur technique poétique s'étant sensiblement perfectionnée grâce aux multiples essais tentés, dans le domaine des formes poétiques, au cours des années qui avaient précédé. « La sévère discipline du mètre classique est une béquille dans la main du poète, mais en même temps, en tant qu'elle maintient une tradition poétique humaniste, elle est une défense contre la barbarie fasciste » — voilà comment un de nos jeunes savants souligne le rôle de la forme poétique antique dans la poésie de cette époque (I. K. Horváth, *Irodalomtörténeti Közlemények*, 59 [1955] 189). C'est précisément dans la forme poétique antique épurée de toute modernisation, de toute licence superflue et archaïque, que les plus progressistes de nos poètes, voulant échapper au flot de la barbarie sur le point d'envahir la Hongrie, trouvèrent l'instrument le plus propre à exprimer leur message. Au cours de ces années-là — et avec la fin de la guerre cette tradition se poursuivit — les traductions des textes antiques trouvèrent un nouvel essor. La fidélité au mètre était devenue un principe dominant dans les traductions en hongrois des textes anciens et seuls quelques traducteurs à l'ancienne mode essayaient encore de rendre les poètes antiques dans une forme poétique moderne. Mais ce qu'il y avait de nouveau c'est que désormais non seulement les anciennes licences étaient senties comme inutiles et assimilables à de négligeables béquilles, mais on se contentait aussi de moins en moins de rendre correctement, conformément à l'usage

antique, la seule formule quantitative du vers ; les ambitions étaient devenues plus élevées : on voulait étudier et reproduire en hongrois la césure et les autres moyens musicaux propres à la versification antique ; on voulait traduire fidèlement la musique particulière des différents hexamètres (homériques, hellénistiques, virgiliens etc.) ; on peut même dire, que notre meilleur traducteur de la littérature ancienne, G. Devecseri, a su rendre en hongrois, en conservant de la façon la plus stricte le mètre antique, toute la richesse musicale des comédies de Plaute. Des licences poétiques, que l'on permettait autrefois, et en particulier au siècle dernier pour rendre le travail du traducteur plus facile et qui en fin de compte éloignaient la versification à l'antique de la prononciation quotidienne, furent donc de plus en plus éliminées de la versification hongroise du type gréco-latin, versification qui allait se perfectionnant, tandis que le jeu d'interférence de l'accent « naturel » des mots et de l'accent rythmique devenait plus conscient et se rapprochait beaucoup de la versification antique. En ce qui concerne les poèmes originaux, il va sans dire que de nos jours non plus il ne pouvait s'agir de réglementer étroitement la versification, et il n'en est que plus intéressant de noter que nos poètes emploient de plus en plus souvent les mètres antiques en les utilisant en vue de formes poétiques qui se rapprochent beaucoup de celles en usage dans l'antiquité. Le traducteur par contre ne peut prêter sa musique à lui au texte traduit ; le seul point de vue possible, pour lui, est de rendre en hongrois de la façon la plus fidèle possible non seulement la pensée du poète antique mais aussi la forme, la musique qui en sont inseparables. C'est pour cette raison que nos meilleurs traducteurs de littérature ancienne, G. Devecseri, Gr. Kerényi, P. Meller, I. Trencsényi-Waldapfel ont admis comme principe de base la nécessité non seulement d'être fidèle à la forme en respectant les formules quantitatives des vers antiques, mais de rendre aussi les particularités propres au poète, qui se manifestent dans les coupes des vers, dans les terminaisons de fin de vers, dans l'allitération, dans l'utilisation des assonances etc. Comparées aux oeuvres de ces traducteurs, les traductions qui se contentent de rendre la formule métrique des vers antiques originaux peuvent être considérées aujourd'hui comme des traductions de second ordre. En même temps, un certain nombre de nos poètes, dans leurs traductions, se permettent toujours les licences poétiques répandues dans les vers du type gréco-latin employés dans la poésie hongroise entre les deux guerres ; par conséquent, ils rendent le message des poètes antiques dans une musique qui leur est étrangère. Le nombre des traductions de cette sorte est de plus en plus limité, ceux qui font profession de ces principes se chargent de moins en moins de la traduction de textes anciens, ce qui est d'autant moins regrettable qu'il en est peu parmi eux dont les connaissances linguistiques soient assez sûres pour leur permettre de s'attaquer à un texte grec ou latin, tandis que les traducteurs des deux premiers groupes, et surtout ceux dont nous venons de citer les noms, possèdent sans exception une bonne formation philologique, et plusieurs d'entre eux font des recherches dans le domaine de la philologie classique.

La nouvelle traduction des *Fastes* appartient au deuxième groupe de traductions que nous venons de mentionner. Les mètres sont respectés, les anciennes licences de prononciation sont presque entièrement disparues, les césures des pentamètres sont bonnes, les hexamètres non plus ne diffèrent pas sérieusement des hexamètres d'Ovide, encore que les penthemimères soient négligés deux ou trois fois plus que dans l'original. Cependant, plusieurs règles de versification qui donnent à la musique des vers d'Ovide un caractère propre ne sont pas prises en considération, ce qui a pour conséquence que les effets évocateurs de la poésie ovidienne se perdent dans une certaine mesure. Chez Ovide, à certains égards, certaines types de fin de vers ou de demi-vers, héritage, en partie, de la poésie grecque et en partie de la poésie latine, ont pris un caractère stéréotypé, ce qui constituait le mode d'expression le plus propre à rendre la pensée ovidienne, souvent rhétorique dans la forme. Une de ces règles était par exemple qu'un mot de une, de quatre ou de cinq syllabes ne pouvait terminer un hexamètre, à moins que ce ne fût un nom propre. Dans les *Fastes*, Ovide ignore les mots d'une syllabe à la fin du premier ou du deuxième hémistiche du pentamètre, et n'utilise pas les vers terminés par un mot de plus de deux syllabes. Ce sont des particularités qui, dans cette nouvelle traduction, sont très peu prises en considération. Dans le style également, nous rencontrons des nuances qui diffèrent très souvent des nuances de style propres à Ovide. Le scintillement qu'il y a dans Ovide s'éteint parfois dans la trivialité ; certains provincialismes absolument étrangers à Ovide blessent de temps à autre la sensibilité du lecteur et le traducteur n'a su garder en hongrois que très peu de la gentillesse d'Ovide. Cependant, même si cette traduction n'atteint pas le niveau des meilleures traductions hongroises de littérature ancienne, elle comporte beaucoup d'excellentes parties et, quoique dans le style on soit privé de beaucoup des qualités charmantes de la poésie d'Ovide, on doit se garder de ne

pas voir cette patine généreuse que des années d'une communion directe et étroite avec la culture latine a donnée au traducteur et qui vaut bien quelques insuffisances.

Le deuxième volume de la série comporte la première traduction complète de la *Constitution d'Athènes*, d'Aristote et du *Pseudo-Xénophon*. Cette édition fait preuve dans l'établissement du texte grec d'un travail extrêmement soigné et elle offre un appareil critique qui comprend un choix de variantes très riche. La traduction est l'oeuvre de Zs. Ritoók qui soutient la concurrence avec les meilleurs traducteurs en vers tout en reflétant ce retard relatif qui généralement caractérise nos traductions en prose par rapport aux traductions en vers. Par contre, philologiquement parlant, le texte hongrois est un modèle et témoigne de la préparation approfondie du traducteur et du caractère consciencieux de son travail.

Environ 70 pages d'explications donnent un commentaire historique détaillé aux deux textes. L'édition ne s'adresse pas aux seuls historiens spécialistes de l'antiquité, c'est pourquoi elle comporte aussi un résumé d'information générale contenant les principales notions politiques, d'histoire du droit et de la constitution ; par ailleurs, en faisant appel aux travaux les plus récents des spécialistes et en prenant souvent position d'une façon indépendante à propos de questions encore en suspens, elle mérite toute l'attention des spécialistes d'histoire également et plus d'une des remarques que le commentaire contient mériterait d'être développées dans les cadres d'une étude plus détaillée. Dans ce volume, un seul problème a été traité d'une façon détaillée : faisant suite au commentaire, figure sous forme d'appendice, une étude qui, comme le commentaire lui-même, est due à un jeune et excellent spécialiste d'histoire ancienne, J. Sarkady. Dans cette étude, est examiné le problème de l'authenticité de la constitution de Dracon, qui décrite au chapitre IV de l'oeuvre d'Aristote ; l'auteur défend son point de vue, d'après lequel la constitution serait authentique, avec une argumentation digne d'attention, et cela contre le consensus historicorum.

Par ailleurs, l'introduction courte aux deux oeuvres en question est également l'oeuvre de J. Sarkady. Après avoir indiqué les sources de l'oeuvre d'Aristote, J. Sarkady montre en l'auteur un partisan de la démocratie modérée. Il montre qu'Aristote fait rejaillir sur le 5^e siècle aussi l'opinion défavorable, à certains égards fondée, qu'il a de la démocratie radicale de son temps et c'est ainsi qu'il intègre le siècle de Périclès dans l'époque de la décadence. Cette façon de voir les choses, écrit J. Sarkady, fausse la représentation de l'évolution du 5^e siècle dans son ensemble. Par ailleurs il souligne que « l'opposition d'Aristote à la démocratie radicale ne place jamais Aristote du côté de l'oligarchie et qu'une vue et une représentation claire des grandes lignes de l'évolution donne à l'oeuvre une valeur durable ».

Quant à l'oeuvre du Pseudo-Xénophon, Sarkady la tient également pour l'oeuvre d'un écrivain appartenant à l'aristocratie athénienne et ennemi de la démocratie. Il montre cependant que l'auteur de cet ouvrage de polémique s'oppose aux préjugés qui avaient cours dans les cercles aristocratiques et selon lesquels cette forme d'État serait absolument contraire à la raison et minée par une faiblesse intrinsèque. « Il reconnaît et s'efforce de comprendre les points de vue du démos en tant qu'expressions d'intérêts de classe contraires aux siens mais compréhensibles et fondés en eux-mêmes. » Son but était apparemment, d'une part, de dissiper certaines illusions en cours parmi les aristocrates et d'élever à un niveau plus haut la critique de la démocratie ; d'autre part, de renseigner les non-Athéniens sur la situation réelle. Sa conclusion est la suivante : « La démocratie athénienne est une forme d'État qui ne convient pas à l'aristocratie mais c'est un État trop fort et trop bien constitué pour être facilement renversé de l'intérieur. » La conclusion dernière, sans être exprimée, découle logiquement de cette opinion : pour renverser la démocratie athénienne, il fallait une aide venue de l'étranger.

Dans le volume le plus récent de la série, le troisième, sont publiés pour la première fois en hongrois et dans leur totalité, les *Travaux et les Jours d'Hésiode*. En effet, la première traduction hongroise complète remontant à un siècle et demi, et la deuxième, faite il y a une vingtaine d'années, sont restés à l'état manuscrit. Cette traduction nouvelle est l'oeuvre de I. Trencsényi-Waldapfel, et elle se place au rang de nos meilleures traductions récentes tant du point de vue de la forme que du point de vue de la précision philologique. Cette traduction peut être prise comme exemple par n'importe quel traducteur pour la compréhension du texte jusque dans ses moindres nuances, et par le choix circonspéct fondé sur une intime connaissance du texte, des mots, des expressions et des tours hongrois appropriés. Il arrive parfois, il est vrai, que du point de vue de la valeur poétique, la langue soit plus incolore, plus sèche que celle de nos traducteurs poètes et il se trouve

cà et là quelques inégalités, quelques tours légèrement surannés, qui, en comparaison avec des passages remarquablement traduits, éveillent dans le lecteur le sentiment de quelque chose d'un peu inachevé. Cependant, rien de tout cela ne constitue un obstacle à ce que le lecteur hongrois puisse connaître, en étudiant ce livre, le véritable Hésiode d'une manière complète.

La valeur scientifique de la traduction est renforcée par les notes accompagnant le texte bilingue. Dans ces notes, après un aperçu général du sort fait à Hésiode dans la littérature hongroise, vient une mise au point de la tradition manuscrite, suivie de la discussion de certaines leçons problématiques, qu'elles soient admises dans le texte ou qu'elles en soient rejetées, les raisons qui ont amené l'éditeur à prendre telle ou telle décision étant exposées d'une façon détaillée et minutieuse. Ces notes font en même temps office d'apparat critique dans cette édition.

Ce volume diffère légèrement de ceux dont nous avons parlé précédemment par le fait que la traduction et les commentaires qui l'accompagnent en occupent à peine le quart. La plus grande partie en est occupée par les études du professeur Trencsényi-Waldapfel sur Hésiode, qu'on peut diviser, suivant le but poursuivi, en deux parties. La première partie est constituée par une longue étude servant d'introduction (pages 5—36) et qui s'adresse à la large masse des lecteurs de la traduction et les introduit dans le monde d'Hésiode. Cette étude commence par un examen de la tradition biographique concernant le poète, la question des rapports entre Homère et Hésiode occupant la place centrale non seulement en tant que problème chronologique, mais parce que du point de vue du jugement à porter sur l'oeuvre d'Hésiode ce problème est d'une importance décisive. En faveur de l'antériorité chronologique d'Homère par rapport à Hésiode militent non seulement des arguments extérieurs, mais bien aussi la comparaison entre l'image historico-sociale reflétée par l'Iliade et l'Odyssée, d'une part, et par le Théogonie et les Travaux et les Jours, de l'autre. Le public d'Homère est l'aristocratie des clans et «le poète qui est très près de la culture des villes ioniennes disposant d'un artisanat développé» montre la société tribale en décomposition beaucoup plus proche encore du stade du communisme primitif qu'elle ne le paraît dans Hésiode. Dans les oeuvres de ce dernier, «c'est l'attitude de la paysannerie béotienne opprimée et exploitée qui se reflète» qu'il s'adresse aux représentants de l'aristocratie, comme dans la Théogonie, ou que, paysan lui-même, il parle directement aux paysans, comme ils le fait dans les Travaux et les Jours ; sa poésie nous montre l'image des antagonismes de classe qui s'exaspèrent après la décomposition de la société tribale». Dès lors, la prise de position de l'auteur est claire : Homère est antérieur à Hésiode, les ouvrages d'Hésiode doivent se situer dans la première moitié du VII^e siècle et, par ailleurs, les deux poèmes attribués à Hésiode doivent être effectivement l'un et l'autre l'oeuvre d'un seul poète. C'est dans cette situation historique qu'il voit la clef de la plupart des problèmes relatifs aux poèmes d'Hésiode. Hésiode vivait dans des conditions de classe plus développées, mais il avait ses «limites paysannes» — c'est là ce qui explique la contradiction apparente des traits qui marquent à la fois un progrès et un retard par rapport à Homère. D'autre part, à l'époque où écrivait Hésiode les poèmes d'Homère, déjà bien connus en Béotie, obligeaient Hésiode à respecter une certaine tradition présente dans les poèmes d'Homère ; c'est ainsi, que dans plus d'un cas il fut contraint au prix de certaines contradictions même de faire accorder des mythes qui exprimaient bien sa pensée (et qui relevaient souvent, en grande partie, de sources orientales) avec les versions homériques de ces mythes ; c'est là un argument qui tend également à prouver que son oeuvre est postérieure aux épopées homériques.

La série des études qui occupent la deuxième et la plus grande partie du volume nous fait pour ainsi dire entrevoir la façon dont fut élaborée cette conception nouvelle sur Hésiode, conception qui, sur plus d'un point complète les points de vue admis jusqu'ici. En effet, ces études, accompagnées d'un complet appareil d'érudition et destinées aux spécialistes constituent une mise au point détaillée et systématique des questions simplement indiquées ou effleurées dans l'introduction, questions qui tout en présentant le plus de problèmes apportent le plus de points de vue nouveaux concernant le poète.

Parmi les cinq études de cette série, les trois premières (I. Données autobiographiques et tradition biographique, II. Le mythe de l'âge d'or et l'Île des Bienheureux, III. Homère et Hésiode) constituent une unité organique. Au centre se situe la question de la véracité de la tradition relative à la vie d'Hésiode. En fournissant les preuves de ce que le récit contenu dans les Travaux de la participation du poète aux joutes poétiques d'Eubée organisées à l'occasion des funérailles d'Amphidamas correspond à la réalité, l'auteur trouve un fondement solide à son raisonnement ultérieur. D'un côté, cela prouve l'origine commune de la Théogonie et des Travaux et les Jours ; de l'autre, cela rend

évident le fait que le récit qui a pu prendre forme dès le VI^e siècle avant notre ère au sujet de la compétition d'Homère et d'Hésiode est l'élargissement, avec des enjolivements, de cette partie de la biographie se trouvant dans le texte primitif. De cela il ressort aussi que la «Compétition» ne repose pas sur une authentique tradition historique, tout comme le récit de la joute littéraire des deux poètes avec les conséquences chronologiques qu'on pourrait en tirer, n'est pas absolument digne de foi. Par contre, comme Amphidamas est un personnage historique et que la guerre de Lélantos, au cours de laquelle il est tombé, peut se situer — très approximativement — dans la première moitié du VII^e siècle (ce que prouvent entre autres certains traits de cette guerre explicables par la morale d'une société de clans), l'activité d'Hésiode doit être placée à cette époque, c'est-à-dire dans la première moitié du VII^e siècle — ou plus exactement, suivant l'opinion de l'auteur, opinion dont il n'expose pas les raisons en détail, dans les premières années du VII^e siècle.

L'examen du mythe d'Hésiode concernant l'âge d'or et l'Île des Bienheureux, que nous trouvons dans le chapitre suivant, corrobore ces faits par des arguments nouveaux. Le récit sur les âges de l'humanité qui se fonde sur des sources orientales et dont le thème principal se rencontre dans l'Ancien Testament également (Daniel, II. 31 — 45) est présenté chez Hésiode avec une divergence qui oppose sa variante à toutes les autres : le nombre des âges monte à cinq, l'âge des héros intercalé entre l'âge de cuivre et l'âge de fer. Bien que la compétition poétique d'Eubée prouve que «Hésiode n'était pas un convive mal vu aux réunions solennelles de l'aristocratie des clans» et bien que la Théogonie s'adresse justement à un public aristocratique de ce genre, la variante du mythe dans les Travaux et les Jours ne peut être considérée, dans son contexte, comme une concession faite aux exigences du public aristocratique. Il nous faudrait plutôt songer au fait que dans l'intérêt de sa propre «réputation de poète» il fallait bien qu'il trouvait, au prix d'une modification du mythe, s'il y avait lieu, une place parmi les âges du monde, pour une époque où il serait possible de transporter les héros homériques, sans qu'il y ait là de contradiction avec la tradition homérique ; ce qui est une nouvelle preuve en faveur de l'antériorité des poèmes d'Homère.

Chez Hésiode, une partie des héros continue à vivre dans l'Île des Bienheureux qu'il est le premier à mentionner, et l'interprétation du papyrus Naville, de Genève, (Revue Philol. 1888, 113—7) permet de tirer la conclusion selon laquelle Hésiode déjà soumet les héros qui y vivent à l'autorité de Kronos ; ceci aussi montre qu'il devait avoir devant les yeux l'image de l'Italie lorsqu'il décrivait l'Île des Bienheureux. L'Île des Bienheureux, revêtue des traits de l'âge d'or et où règne Kronos-Saturne, telle qu'elle se présente dans Hésiode est bien connue de la tradition orale et littéraire d'Italie. Il ne fait par contre aucun doute que la tradition qui situe l'Île des Bienheureux en Italie n'a pu naître que parmi les Grecs, la mythologie d'aucun peuple ne situant l'au-delà dans les limites de sa propre patrie. L'idée d'une Italie vivant dans la prospérité de l'âge d'or pouvait naître surtout parmi les Grecs colonisateurs comme un thème de propagande en faveur de la colonisation. Les premiers colons ont pu introduire le mythe avec eux en Italie et naturellement il s'y orna de traits empruntés à la réalité et bientôt, les Grecs eux-mêmes situèrent l'Île des Bienheureux plus à l'Ouest de la péninsule qu'ils venaient de connaître dans sa réalité géographique et historique. La colonisation grecque de l'Italie a commencé environ au milieu du VIII^e siècle et le rôle primordial en revenait aux Eubéens. Il n'est pas impossible que ce soit justement eux qui aient introduit le mythe en Italie et c'est par eux qu'Hésiode, passant par là, en aurait eu connaissance. C'est grâce à ce mythe qu'il réussit à faire accorder son système mythologique avec celui d'Homère : il développa l'histoire de Kronos que Zeus, chez Hésiode, tire des enfers pour qu'il règne sur les héros qui vivent dans les conditions de l'âge d'or au sein de l'Île des Bienheureux.

Ce qui donne un poids plus grand encore à cette hypothèse, c'est qu'Hésiode témoigne dans la Théogonie d'un intérêt manifeste et d'une information plus grande que l'auteur de l'Odyssée à l'égard des questions touchant à l'Italie. C'est dans les arbres généalogiques qui se trouvent à la fin de la Théogonie que cet intérêt se manifeste avec le plus de clarté. L'auteur en défend d'une façon convaincante l'authenticité en face des critiques modernes qui la mettent en doute : en évoquant l'exemple de la Genèse il renvoie à la loi de composition se manifestant dans les récits épiques de cette sorte selon laquelle ces récits commencent par un mythe cosmogonique et mènent à des légendes concernant les origines de mortels.

Hésiode est donc postérieur à Homère et même certains traits de ses deux œuvres présupposent l'existence des poèmes d'Homère. Dans le troisième chapitre, l'auteur défend cette chronologie en face des critiques anciens et modernes qui la mettent en

doute. Après le démenti porté aux arguments en faveur de l'antériorité d'Hésiode par rapport à Homère, il pose de nouveau le problème sous un angle plus large. Les savants de l'époque hellénistique soulignaient déjà le fait que, par rapport à Homère, Hésiode a des connaissances géographiques plus étendues et ils se servaient de ce fait comme d'un argument décisif dans la question de la chronologie. Il est également à peine imaginable que la langue épique, mélange d'ionien et d'éolien, soit née en Béotie ; il est beaucoup plus vraisemblable qu'elle soit venue d'Asie Mineure à la faveur de la tradition des aèdes transmettant les poèmes d'Homère.

Nous sommes sur un terrain beaucoup plus stable lorsque nous examinons la réalité sociale telle qu'elle se reflète dans les œuvres des deux poètes. Quoique Hésiode ait vécu dans une région en retard dans son développement tant économique que sociale et que le théâtre des activités d'Homère ait été pendant des siècles à l'avant-garde du développement des cités grecques, il n'en est pas moins évident que « les œuvres d'Hésiode témoignent dans l'évolution de la société d'un niveau beaucoup plus élevé sous beaucoup d'aspects que celui qui est reflété par les poèmes d'Homère ». On peut faire état ici du fait que le poète oppose la communauté d'intérêts des habitants d'un même endroit aux liens de parenté et au fait que le poète est en toute conscience au service du peuple opprimé contre l'aristocratie et qu'il exprime ses sentiments personnels dans l'intérêt du peuple. Ce type de poète, nouveau par rapport à Homère qui était au service de l'aristocratie des clans, n'a pas fait disparaître, par sa présence, le type ancien ; c'est ce qui est montré par la « Compétition », de même que par les parallèles modernes tirés de la pratique des « akin », chanteurs populaires du Kazakistan.

Le quatrième et le cinquième chapitres n'ont qu'un lien assez lâche avec les trois premiers. Dans le quatrième, l'auteur s'occupe de l'authenticité des « prooimia » d'Hésiode, de leurs sources et de leur signification, le cinquième du mythe de Prométhée et de Pandore. L'un et l'autre ont paru dans leur entier, l'un en allemand, l'autre en anglais (Die orientalische Verwandtschaft des Prooimions der hesiodischen Theogonia. Acta Orient. Hung. 5 [1955] 45—72 et The Pandora Myth. Acta Ethnogr. Hung. 4 [1955] 99—126), c'est la raison pour laquelle nous ne nous lancerons pas ici dans une étude détaillée de ces chapitres.

La mise au point des résultats essentiels de cette série d'études montre qu'en dehors de la connaissance des matériaux classiques l'auteur est parfaitement au courant des sources orientales de première main, des matériaux folkloriques indispensables aux recherches touchant à l'histoire de la religion qui occupe le centre de son ouvrage, des coutumes religieuses et des traditions épiques répandues en dehors du bassin méditerranéen. Cependant, ces connaissances ne l'amènent pas à des parallèles trop faciles, à des conceptions fondées sur des données trouvées au hasard ou isolées de leur contexte. Le principe de sa méthode est de replacer toujours chaque fait soumis à la comparaison dans son propre contexte social dans toute sa complexité et au cours de la comparaison il n'abandonne jamais ce point de vue. Entre ses mains, l'histoire des religions devient une véritable science historique, capable de montrer à travers le miroir des mythes et des rites la réalité sociale qui a favorisé leur apparition et les a entretenus. Cette méthode strictement historique et dialectique permet des résultats nouveaux et souvent mieux fondés que ceux qui ont été obtenus jusqu'à présent, et cela à propos de problèmes qui depuis un siècle sont au centre des préoccupations des spécialistes de philologie classique. C'est la raison pour laquelle cette série d'études mérite de retenir l'attention par la méthode qui y est appliquée, et c'est aussi la raison pour laquelle on peut espérer qu'un bon nombre des résultats acquis s'avéreront d'une valeur durable.

J. Gy. SZILÁGYI

R. BIANCHI—BANDINELLI: SITUAZIONE DELL'ARTE GRECA NELLA CULTURA CONTEMPORANEA. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1950. pp. 18.

La questione posta nel titolo stesso del quaderno è di grande importanza non soltanto per il circolo ristretto degli indagatori dell'arte greca, ma è uno dei problemi fondamentali dell'arte odierna in cerca di nuovi orientamenti, — un problema che viene posto timidamente e che, anzi, il più spesso, per prudenza male interpretata o per comodità che si rifugge dalle fatiche connesse con la valutazione della tradizione di epoche ormai troppo lontane, viene quasi fatto passare sotto un completo silenzio. Aumenta la nostra

attenzione il fatto che nella discussione interviene uno studioso, come Bianchi-Bandinelli, professore dell'Università di Firenze, il quale in numerose importanti pubblicazioni diede già segno della sua eccellente preparazione e nonchè delle sue idee progressiste e del suo umanesimo consequenziario.

Il saggio parte dall'affermazione che mentre il Winckelmann e i suoi contemporanei avevano scoperto un vivo e diretto rapporto con la cultura antica, l'epoca di oggi non è stata ancora capace di sostituire con degli ideali nuovi quelli del neoclassicismo winckelmanniano pur sentendo che essi avessero già perduto la loro attualità. Ciò si esprime, secondo il Bianchi-Bandinelli, nelle parole del Mondrian, che parla dell'«oscurità» dell'arte antica e anche quando altri definiscono una «mistificazione archeologica» l'opinione diffusa sul valore dell'arte antica. Accenna al fatto di come l'estetica winckelmanniana che aveva dichiarato l'arte greca «arte assoluta, essenza stessa ed esempio eterno dell'Arte» perdettero la sua validità nel corso dell'Ottocento. Nella seconda metà del secolo l'evasione da una realtà che non soddisfa, ma contro la quale non si vuol assumere l'impegno di una lotta effettiva» sboccava nella ricerca della novità ad ogni costo e ciò ampliava l'interessamento della cultura europea aprendo le porte davanti alle arti «primitive» e precolombiane, davanti all'arte dei cinesi, giapponesi e dei negri fino al punto che «partita in polemica contro il convenzionalismo e alla ricerca di un approfondimento umano e di una nuova purezza estetica, l'arte si è fatta antiumana». L'autore caratterizza magistralmente il processo nel corso del quale l'intenzione rivoluzionaria diventava «la fuga nell'irreale» e «il conseguente rifugiarsi nell'oscuro mondo dell'inconscio e dell'automatismo psichico, congiunto a una inconsistente e vaga tendenza verso tutto ciò che fosse primordiale e spontaneo, e che, iniziatosi come protesta, si risolve, per mancanza di una chiara aderenza a certi problemi fondamentali del nostro tempo, in un intellettualismo decadente e inutilmente distruttore».

Questa cultura «predominante nel nostro tempo» sul piano delle manifestazioni artistiche buttò via i principii fondamentali dell'arte greca classica: il senso dell'armonia e dell'unità organica, l'unità delle arti figurative e la prospettiva, l'evolversi della quale indusse la teoria dell'arte dei greci a considerare l'arte come imitazione della natura. La teoria dell'arte moderna invece si prefigge come principio il «superamento della prospettiva scientifica» e distingue rigidamente la realtà artistica da quella naturale. In queste condizioni la valutazione odierna dell'arte greca per quanto sia ancora positiva non può essere che «una scolastica ripetizione di formule winckelmanniane» e d'autorità tradizionale dell'arte greca si regge in effetti sopra la sopravvivenza di una estetica, che tutta la nostra cultura ha rifiutato da tempo».

Il Bianchi-Bandinelli considera dunque l'arte il rispecchiarsi di una situazione storico-sociale come egli stesso rileva accentuatamente e se l'atteggiamento di fronte all'arte greca sia divenuto problematico si tratta — secondo lui — di un fenomeno che abbia le sue radici nella società e nella cultura di oggi, di un fenomeno non fortuito o accidentale, ma che è legato organicamente alle condizioni e alle radici sociali dell'attuale cultura predominante nella sua patria.

L'Autore ritiene che la soluzione, cioè di trovarci di nuovo un rapporto vivo con la cultura greca, di farci nuovamente allievi di essa «non per una imitazione di forme ma per un migliore e più chiaro riconoscimento in essa dei nostri problemi» possa essere raggiunta attraverso la revisione di quella concezione che dell'arte greca abbiamo formato. Accentua che l'arte greca nel corso della sua storia subiva modificazioni essenziali e non può essere considerata un'unità tutt'una; accenna al fatto che nel secolo V. a. e. n. vi si possono osservare cambiamenti fondamentali che tagliano quasi in due la storia dell'arte greca. Rileva giustamente che la caratterizzazione data dal Winckelmann e dai suoi successori è valida soltanto a questa seconda parte dell'arte greca, ma non alla sua epoca geometrica e arcaica. Ritenendo l'idealizzazione dell'epoca classica dell'arte greca sia nell'antichità che nell'età nostra una caratteristica delle età classicheggianti, ci consiglia di considerare come punto più alto dell'arte greca il periodo che va dalla metà del secolo VII. fino alla metà del secolo V. perchè in questo periodo «non si può parlare nè di idealizzazione nè di imitazione della natura» e la concezione fondamentale dell'arte è ben più vicina all'arte moderna che non quella dell'arte classica. Quest'arte arcaica è caratterizzata, al parer suo, da «una completa e piena aderenza del prodotto artistico al sentimento e al gusto di tutti cittadini componenti la società che la produce», non è una preparazione del periodo classico, come si riteneva da tempo, ma è l'epoca dello splendore che supera ogni altra e, dopo la quale, parallelamente alla dissoluzione dello stato-città nell'ultimo quarto del secolo V., ha inizio anche la decadenza dell'arte. L'esigenza di questa nuova interpretazione dell'arte greca scaturisce, secondo l'Autore, non soltanto dal «gusto moderno», ma è desiderabile anche perchè solo così possiamo dare «al problema

dell'arte greca un'impostazione rigorosamente storica», vale a dire, egli ritrova il punto più alto anche della storia greca nell'epoca arcaica e non nello splendore della democrazia ateniese.

Ci pare che a queste conclusioni bisogna fare alcune obiezioni appunto in base ai principii stabiliti nella prima parte del saggio. La prima di esse tocca anche la stessa prima parte: il problema se sia giusto lo stesso punto di partenza, cioè di considerare unitaria l'arte e il gusto artistico di un'epoca in cui l'acutizzarsi degli antagonismi di classe nelle sue ampie proporzioni supera ogni altra precedente se si riconosce che l'arte sia il rispecchiarsi di una situazione storico-sociale? Da questa prima questione procede subito anche la seconda: se non sia fondamentalmente errato che il Bianchi-Bandinelli parta appunto da quella interpretazione dell'arte greca che sia il prodotto di una teoria e pratica d'arte decadenti anche da lui medesimo condannate? Invece di porre la questione se sia difatti generale la negazione dei suddetti principii fondamentali dell'arte greca e particolarmente se da quella negazione lo sviluppo dell'arte moderna sia portata veramente in direzione giusta, invece dunque di mettere sotto un esame critico l'atteggiamento di fronte all'arte greca della tendenza artistica moderna analizzata e criticata nella prima parte del saggio, egli cerca di plasmare al gusto di questa tendenza la nostra concezione avuta sull'arte greca.

Naturalmente ognuno ha il diritto di sentirselo più vicina o l'una o l'altra delle grandi tradizioni della storia d'arte. È particolarmente ben comprensibile se l'artista o il gusto artistico di un'epoca di transizione simile alla nostra, trova più problemi affini e sente voci più direttamente a lui indirizzate nell'arte greca arcaica che in quella classica. Ma a tale concezione dobbiamo contrastarci risolutamente se non vi si ama ciò che quell'arte fu in effetti e più particolarmente se per verificare le proprie idee estetiche o la propria pratica artistica se ne falsifica il vero aspetto deturpandone o tacendone i tratti più specificatamente propri strappandola da quella connessione storica in cui i singoli fenomeni di essa possono avere un senso tutto diverso, più vero che non fuori di quella connessione. Il criterio di valore dei tentativi di rivalutazione simili a quelli del Bianchi-Bandinelli si dà dalla risposta alle seguenti domande: se siano in contrasto coi fatti storici e se siano costretti a falsificarli, d'altronde in che direzione e per verificare qual gusto e quale pratica artistica questi tentativi alterino la realtà storica?

Alla seconda domanda la risposta viene dai suddetti: c'importa qui innanzitutto la prima: quale rapporto corre tra la teoria del Bianchi-Bandinelli e tra i fatti storici?

Il primo errore da refutare è quell'affermazione che la considerazione del periodo che va da Fidia a Lisippo sia il punto più alto dell'arte greca, sarebbe una concezione formatasi nell'epoca classicheggiante dell'arte greca, cioè nel tardo ellenismo (p. 11). Il vivo riconoscimento dell'arte di Fidia si trova già anche nel Platone (Menone 91D; Ippias Maior 290A), la storia d'arte di Senocrate, un allievo di Lisippo vissuto all'inizio del secolo III. a. e. n. che non può essere tacciato minimamente di confessare idee classicistiche, stabilisce chiaramente in Fidia e in Policlete il punto più alto della scultura greca anteriore come lo attestano i passi tramandatici da Plinio (Plin. N. H. 34, 54—56; v. ancora B. Schweitzer, Xenokrates von Athen. Königsberg 1932.).

Alla concezione e periodizzazione dell'arte greca sulle quali si basa tutta l'argomentazione del Bianchi-Bandinelli contraddicono considerazioni ancor più gravi. Per distinguere quanto più chiaramente la concezione dell'estetica winckelmanniana dalla sua egli contrappone due unità della storia dell'arte greca fra di loro. Ma in realtà nell'epoca che si parte dalla fine del secolo V. può essere considerata fino alla fine dell'ellenismo un'epoca unitaria a cui tocchino globalmente le lodi dell'estetica winckelmanniana, nè quell'altra che va dalla metà del secolo VII fino alla metà del sec. V. Quanto a quest'ultima, gli inizi dell'epoca arcaica possono essere collocati piuttosto alla fine che alla metà del sec. VII. (Richter ad Brunn-Bruckmann, Taf. 161—5; K. Schefold: Die grossen Bildhauer des archaischen Athens. Basel 1948. 63—64; ecc.). Quanto riguarda del resto quel limite netto che significa la creazione dello stile «severo» agli inizi dell'età classica intorno al 490—480 nei tempi delle guerre persiane e del consolidamento della democrazia ateniese, fu chiarissimamente definito appunto dal Bianchi-Bandinelli in un'altra sua opera (La storicità dell'arte classica 2. ed. Firenze 1950. 3 e segg.). La prova più grave però contro la giustezza del quadro storico dato dal Bianchi-Bandinelli è che non riesce di trovar posto per tutta un'epoca in questo quadro: ne elimina completamente l'età di Fidia e di Pericle, il terzo quarto del sec. V; non ha nemmeno una parola per ricordare che cosa sia accaduta fra l'età di «fioritura» durata fino alla metà del sec. V. e fra la decadenza avviatasi «dopo Fidia». Egli riesce a contrapporre l'arte arcaica, come il punto più alto mai più raggiunto dall'arte greca allo sviluppo ulteriore solo a costi di eliminare completamente il periodo più splendido di essa dall'evoluzione storica e

non soltanto perdendo d'occhio la prospettiva dell'arte classica che nell'epoca arcaica pur vi era. Ha bisogno di procedere così anche perchè altrimenti difficilmente potrebbe vedere appunto nell'età arcaica l'esempio dell'armonia perfetta di arte e di società nella storia greca.

Si può e si deve polemizzare con le altre conclusioni della concezione confessata dal Bianchi-Bandinelli; così per esempio si può domandare con diritto se sia giusto considerare il periodo dell'arte greca apertosi con la fine del sec. V. semplicemente come epoca della decadenza universale, e, se un siffatto giudizio di fronte tutta l'arte di un'epoca non scaturisca forse dal trascurare la dialettica dello sviluppo storico, o, se sia veramente questione di valutazione soggettiva dare il primato all'epoca arcaica dell'arte greca di fronte all'età di splendore della democrazia ateniese. Ma per dare un giudizio equanime sul saggio del Bianchi-Bandinelli è importante stabilire forse soprattutto che una tale valutazione dell'arte arcaica non è un fenomeno isolato. Il Bianchi-Bandinelli — evidentemente malgrado la sua stessa intenzione — si è lasciato trascinare da quelli che, sempre più numerosi in questi due ultimi decenni, stanno cercando nell'arte greca innanzitutto l'attestamento delle tendenze distruttrici di forme dell'arte odierna e per questo mirano a sviare l'attenzione dalle opere classiche dell'epoca di Fidia e ad orientarla a quelle che — almeno in mancanza di uno schiarimento storico — sembrano apparentemente assecondare le loro intenzioni artistiche.

L'essere sintomatico di questo fenomeno e i metodi dei tentativi per falsificare il realismo classico dell'arte greca sono benissimo esemplificati nel volume *L'Art en Grèce* redatto da Ch. Zervos pubblicato a Parigi in più edizioni che potrebbe quasi servire da materiale illustrativo al saggio di Bianchi-Bandinelli e al quale rimanda egli stesso il lettore per «buone riproduzioni». La collezione contiene 315 fotografie eccellenti che riproducono opere artistiche greche: il 14% di esse risale al III.—II. millennio, l' 11% ai secoli VIII.—VII., il 50% all'epoca arcaica (173 riproduzioni), l' 11% all'epoca dello «stile severo», il 6% all'età di Fidia e al successivo venticinquennio (20 riproduzioni di cui 10 sono particolari di *lekkythoi* a fondo bianco che sono in realtà soltanto diramazioni della pittura vascolare ed adoperati soltanto nel culto delle tombe) e solo il 3% risale ai quattro secoli posteriori alla fine del V. secolo dichiarati decadenti dal Bianchi-Bandinelli. Insomma il 91% della riproduzioni si riferisce al periodo che dura fino alla metà del sec. V. e solo il 9% a quello successivo. Non si tratta qui, in questo caso, soltanto dell'omissione di interi generi artistici (per esempio dei vasi a figure rosse riproducendone solo due esemplari, tardi anch'essi) ma si vale anche delle possibilità offerte dai trucchi fotografici: col gioco della luce e dell'ombra, e con la scelta del punto visuale interamente estranea all'arte greca nel tempo della nascita dell'opera si altera il contenuto ideale delle opere artistiche greche anche delle più conosciute. Basta citare l'esempio della famosa «testa bionda» di Atene. Confrontando la riproduzione del libro di Zervos (fig. 258) con quella del catalogo scientifico del Museo dell'Acropoli d'Atene (Payne—Young: *Archaic Marble Sculpture from the Acropolis*, London s. a. n. 689, pl. 113), si vede che il collocamento troppo forte artificialmente declinato della testa, e la fortissima illuminazione da una sola parte confondono non solo i contorni della testa, danno una nozione falsa non soltanto dell'elaborazione della pelle e della formazione del naso e della bocca, ma falsificano tutta l'espressione del volto, tutto il contenuto umano della statua.

La proposta del Bianchi-Bandinelli di rivalutare l'arte greca nella sua forma attuale si schiera a quei tentativi che per attestare le correnti antirealistiche dell'arte moderna cercano — tendenziosamente o involontariamente — di dare sull'arte greca un quadro falso, storicamente deformato e — come lo dimostra il libro di Zervos — alterato spesso anche nella sua forma estetica volendo renderla attuale di nuovo in questa maniera. Che il Bianchi-Bandinelli, accettando per punto di partenza appunto questa corrente della cultura moderna sia arrivato a una tale «riabilitazione» dell'arte greca pur tacendo dell'arte di Fidia, ci rincresce tanto di più, perchè non possiamo che fortemente condividere l'opinione dell'autore espressa nella conclusione del saggio: «Torna il bisogno, da tante parti sentito, anche se diversamente espresso, di uscire dal nihilismo distruttivo. Non ci interessano più le intellettualistiche acrobazie e cerchiamo un'arte che non sia più evasione, ma aderenza alla realtà del nostro tempo. Noi cerchiamo oggi, forse ancora indistintamente, un'arte che abbia immediatezza di espressione, che sia, con qualsiasi espressione formale, aperta alla comprensione dei molti e non dei soli circoli iniziati, e sia animata da un contenuto nè retorico nè intellettualistico, ma di effettiva aderenza alle fondamentali aspirazioni che muovono gli uomini del nostro tempo. Noi aspettiamo che anche l'artista, chiusosi col fallimento del superuomo il ciclo romantico, torni a essere uomo fra gli uomini.»

J. Gy. SZILÁGYI

GY. MORAVCSIK: BIZÁNC ÉS A MAGYARSÁG [BYZANTIUM AND THE HUNGARIANS]. Magyar Tudományos Akadémia [Hungarian Academy of Letters and Sciences]. Budapest, 1955, pp. 119 + 15 illustrations and one genealogical table. Tudományos ismeret- terjesztő sorozat [Popular knowledge series] No. 3.

This well-documented monograph has been the first attempt in this country to deal with the traces both of the Hungarian-Byzantine contacts and the influence of Byzantine culture on Hungary. As such, the present book makes use of, evaluates and sums up the numerous specific results in this field that have been gained by Hungarian and foreign scholars in the last decades. In a sense, the book marks an important stage in the development of Byzantine studies in Hungary. It offers a retrospective survey of what has so far been accomplished while, on the other hand, the character of the results attained, their geographical incidence and their range, suggest a number of new tasks for future investigation.

The author has spent a lifetime of painstaking, devoted and fruitful work, in investigating Byzantium, the Byzantine historical sources, the contacts between the two countries, the informations from Byzantine authors concerning the Turki peoples and the sporadic references in Byzantine works to the Hungarian and Turki languages. Prof. Moravcsik added much valuable information and revealed many unknown historical sources to our knowledge of the Hungarian-Byzantine connections and of the influence of Byzantium, in his studies on single items of the subject, in his monographs on Byzantine sources, their Hungarian and Turki references as well as in his editions of Byzantine historical sources. In the course of his investigations, he has always kept close touch with the advance in Byzantine studies here and abroad, and has made excellent use of their findings. His present monograph is a highly deserving fulfilment of a scholar's life spent in arduous research. A sober and critical spirit guides him in the use of his material, his book has been built up with a lively sense of proportion correctly emphasizing the outstanding features, and thus presenting the argument with a sure touch that never leads him astray in a maze of details.

The book offers a good example of how results from a specialised field of studies can be presented in a way that is interesting and enjoyable even to the widest reading public, and popular in the best sense of the word without, however, sacrificing anything of scientific exactness and reliability.

Part I (pp. 3–29) of Prof. Moravcsik's book, under the heading "Byzantium", gives a complete and interesting picture throwing light onto all the aspects of the capital, the life of the mediaeval Greeks and to the wealth of influences that radiated from there to the East, North and West. This part of the book calls our attention to a number of new tasks and suggests that Byzantine studies in this country should no longer abstain from taking their proper share in the investigation of Byzantine history, the solution of its major problems, and, in a not too distant future, from a comprehensive presentation of the entire history of Byzantium.

Part II, "Byzantium and the Hungarians" (pp. 30–108) deals in eight chapters with the Hungarian-Byzantine contacts and with the influences of Byzantium on Hungary. The two first chapters "Rise of the Hungarian nation along the northern frontiers of the Byzantine empire" pp. 30–40, and "Age of the Conquest of Hungary and the raids of the Hungarians into Europe" pp. 41–50, undoubtedly qualify, due to their unbiased, well-grounded, factual and careful presentation for being wholly included into the university textbooks on Hungarian history now under preparation without, however, aiming at any use of the Byzantine sources and information for an attempt to revise the historiography of the periods they deal with.

At a recent debate on Hungarian ancient history, it was Prof. Moravcsik the author of the work on issue, who pointed out the future tasks of Byzantine studies on this period of Hungarian history. Prof. Moravcsik called attention to a list in his possession of Byzantine hagiographical works that promise to offer new data and information on ancient Hungarian history. Part of this material is available in the Soviet libraries.

As to the raids of the Hungarians into the Balkan Peninsula and particularly their settlements on Byzantine territories (the Hungarians of Csaba and the Vardariote Turks), I believe that the next stage in our investigations should be a more detailed analysis of the Hungarian chronicles, first of all of the chronicle of Anonymus, and then

checking the findings by the data from Byzantine sources. It is not unlikely that rich results might be gained in this way.¹

Chapter Three of Part II (pp. 50–65) deals with the role played by the Byzantine Church in the early history of the Hungarian Christian Church. The picture drawn of the Byzantine Orthodox Church in Hungary is not only a highly interesting one, but also entirely novel in a number of features. As a matter of fact, Chapter One also treats of the same problems, however, from the viewpoint how they affected the factors of development of the Hungarian nation. Thus it is more than a mere coincidence that these two chapters appear to rest on the widest historical documentation and impress one as being the most conclusive parts in the entire book. It is a fact that so far the sharpest light has been thrown on the ecclesiastical side of Byzantine influence from the earliest Hungarian investigators to G. Györffy's recent valuable discovery of an original Greek list of landed properties dating from the 12th century as recorded by the Greek monastery at Szávademetér, a discovery exhibiting of fine philological tact, deep linguistic erudition while, at the same time, stressing the need for a further careful analysis of the contemporary Hungarian charters extant. The role of the Byzantine Church well deserves a more careful scrutiny than it has hitherto been given, not only because here we have to do with the most effective ideological form and the most powerful organisation of the Middle Ages, but also because the missionaries were the pioneers in diplomacy intent upon expanding the economic, political and cultural spheres of interest. As the story of G. Györffy's extremely important discovery shows, a great number of valuable results might still be expected from a systematic and close examination of the documents from the days of the Árpád kings and of the Papal records, too. In this chapter, Prof. Moravesik himself points to some of the future tasks and, as the first ones, to the systematic investigations into the place-names and the names of the patron saints of the parish churches in the period of the Árpád kings, as well as clearing up the religious and ecclesiastical contacts between the Hungarians of Greek rites and the orthodox Roumanians and Ruthenians. In my study on the *Volocho*s of the Kiev Proto-Annals, I pointed out the contact between the Hungarian and Kiev Basilite monasteries. This contact must have been responsible for a Pannonian-Moravian story, related to the legend of Cyril and Methodius, embodying the development and history of the orthodoxy in Hungary, and leaving its traces both in the Hungarian Proto-Gesta and the Proto-Annals of Kiev. A part of my argument has been taken up by Prof. Moravesik, too. Prof. Moravesik, Prof. Knieszsa and G. Györffy, share a view which is near my own concerning the respective agreements between the Hungarian Proto-Gesta and the Proto-Annals of Kiev. Further investigations along these lines will probably add to clear up this interesting side-issue, too.

In Chapter Four, "Orientation towards Byzantium" (pp. 65–75) we have a clear and authoritative summary of the history how the Hungarian kings of the 11th and

¹ I wish to make a quite unimportant remark in connection with a statement in the second chapter of Part II. On page 43, the author cites a few passages from Anonymus' chronicle to prove the assumption that Anonymus himself shared the view that at the time of the Hungarian Conquest the Carpathian Basin had been considered to belong to the Byzantine Empire. The author sums up his own views by saying: "All this seems to suggest that at the time of the Conquest the land of Hungary was looked upon as belonging to the Byzantine sphere of interest." This statement must be taken exception to because of the way it has been put. In view of the well-known political ideology of the Byzantine Empire, it can be accepted as a fact that the Byzantine court had been maintaining its age-long claim to the Carpathian Basin at the period of the Hungarian Conquest as well. But we must be reminded that the passage from Anonymus refers only to the dependence on Byzantium of the Great Khan, of Prince Shalan and of Mén-Marót, but this taken by itself does not prove anything concerning the nature of the claim asserted by Byzantium during the Age of the Conquest. Anonymus, faithful to his favourite method, here once more projects the conditions and the views of his own time back upon those of the Conquest. In his younger days, before 1185, viz. at the beginning of his service at the Royal Cancellaria, Bulgaria was still a province, a "thema", of the Byzantine State, and the big Bulgarian landlords were obedient vassals of the emperors at Byzantium. But it is much more likely that the claim of Byzantium to Hungary was inculcated into Béla III during his stay at the court of Manuel, and that Anonymus learned of it from his royal master, and simply set this claim back to the Age of the Conquest.

early 12th centuries looked towards Byzantium for help against the dangers of German political aspirations. This chapter recalled it once more how useful it would be to follow in the footsteps of Rasovsky, B. Kossányi, G. Györfy and others, and to prepare monographs on the history of the Petchenegs, the Uz and the Cumanian peoples, including their history not only in this country but also in South Russia, Moldavia and the Balkans as well. I think of the type of a monograph that, as I am told, is just being prepared on the Kazar people by Prof. Ch. Czeglédy. Such monographs and this chapter of Prof. Moravesik suggest the necessity of investigating among others the archaizing of Byzantine proper names, a subject which has been included by the Hungarian Academy into the list of subjects for scholarship studies.

Another important task would be to investigate the history of the Hungarian-Byzantine frontier by using not only the Hungarian, but also the Byzantine data, and thus to write the history of our southern frontier by putting to good use the preliminary work of N. Bănescu and others who have cleared up the history of the northern Byzantine themai between 1018 and 1185 A. D. This might easily lead to valuable results not only concerning the ecclesiastical but also the political history of those days.

Chapter Five, "Struggles against the Byzantine expansionist policy" (pp. 75–87) begins with a summary faithfully presenting all the information we possess about the Hungarian-Byzantine commercial relations in the 10th–12th centuries. Research has been as rich in results and as successful in discovering the ecclesiastical contacts as it has been poor, to the extent of showing almost a complete blank, in the commercial relations between the two countries. An urgent task is awaiting here the Hungarian mediaevalists. On hand of a much richer material to be gathered the early history of Hungarian foreign trade should be set on foot following the lead given by Louis Glaser and Ambrosius Pleidell, the two pioneers in this line. Archeology and numismatics will have to offer their assistance to decide how, when and what part of the Byzantine manufactured goods, objects of the applied arts and Byzantine coins came to this country by way of commercial transactions.

The above remarks on the paucity of research so far done, only apply to the content of the first page of Chapter Five. Otherwise this chapter and Chapter Six ("The plan of the Hungarian-Byzantine Union, pp. 87–93) present a period in Hungarian-Byzantine relations that has been worked out better and in greater detail than any other similar period. This chapter deals with the history of Manuel Komnenos and his expansionist policy towards Hungary, a period in the investigation of which the lion's share fell likewise to Prof. Moravesik. A true and realistic reconstruction of the part played by King Béla III and of his significance, is one of the outstanding achievements of the present work. By means of a convincing array of data, author has succeeded to refute the earlier views according to which King Béla III pursued a policy which was directed exclusively towards the west. In this chapter, however, there is again something which urges us to investigate the history of Byzantium herself on a wider scale than so far done in this country. We cannot help feeling some compunction that one of the discoveries in a subject so familiar to the mind of a Hungarian investigator, should have been made by a foreign scholar of Byzantine studies, though he may be an outstanding personality in these studies. Here I refer to the statement that the Byzantine rank of despotes created by Manuel for Béla-Alexios, was an exact translation of Béla's rank as an heir apparent and thus corresponded to the Hungarian word "urum", a rank that expressed Béla's double role as the heir apparent of both Byzantium and Hungary.

These last two chapters impress upon us once more the duty to set about a systematic research in the charters and diplomas from the Árpád period in order to discover all the Greeks who visited this country or settled down here, and further on to establish a complete list of the retinue of Hungarian princes and nobles who visited Byzantium as well as all their Byzantine connections.

Chapter 7, "Struggles to relieve Byzantium" (pp. 93–99), describes the relations of that period when Byzantium, in deathly struggle with Osmanli Turks, hoped for being rescued by Hungary.

When dealing with the general features of the present work, I already pointed out the merit of the last chapter, Chapter Eight "The influence of Byzantine culture" (pp. 99–108). Though research on this point is still far from coming anywhere near completeness, nevertheless the present chapter astounds one by the richness and novelty of its material. In addition, the author again mentions a number of further tasks that will have to be dealt with by the linguist, the archeologist and the historian of art.

Our historians have often stressed it lately that more room ought to be given to research in general history in order to clear up the significance and the parallels of the

Hungarian historical problems. In a recent article Louis Elekes took stock of our historical studies and gave a programme to its workers by saying: "... there lies great danger in the narrow, provincial outlook of our historical studies. If we refuse to consider the higher, universal interconnection of the facts of our history, we shall unavoidably arrive at the exclusive view of the 'globus Hungaricus' just as we may, on the other hand, easily run the risk of cosmopolitanism, as soon as we happen to forget that the relations and analogies of our historical development must be sought, first of all, east of the river Elba." (The state and tasks of Hungarian history, etc., p. 36.)

Now Prof. Moravcsik's present book, so far the highest achievement of Byzantine studies in this country, is the best proof to show that our "Byzantinologists" have succeeded in performing this task in the field of general history of the Middle Ages. It is now the duty of our historians to avail themselves of Prof. Moravcsik's results, and it remains henceforth our duty to work at the problems suggested and prepare, first of all, the publication of the bi-lingual edition of the "Byzantine sources of Hungarian history."

† M. GYÓNI

J. HORVÁTH: ÁRPÁD-KORI LATINNYELVŰ IRODALMUNK STÍLUSPROBLÉMÁI [STILPROBLEME UNSERER LATEINSPRACHIGEN LITERATUR AUS DER ARPADENZEIT] S. 400. Akademie-Verlag, Budapest 1954.

Das Erscheinen des mit dem Kossuth-Preis gekrönten Werkes J. Horváths war ein wichtiges Ereignis für all jene Wissenszweige, die mit der mittelalterlichen lateinischen Literatur Ungarns in Zusammenhang stehen. Das Buch gibt dem Leser weit mehr, als sein Titel verspricht. Obwohl der Verfasser bei seinen Betrachtungen von der stilgeschichtlichen Untersuchung der lateinischen Literatur Ungarns ausgeht, gelangt er über die Stiluntersuchungen hinaus zu wesentlich neuen Feststellungen hinsichtlich des Entstehens und der Zeitfolge zahlreicher Werke unseres mittelalterlichen Schrifttums. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst er in drei Hauptgruppen zusammen: 1. Stilgeschichte der mittelalterlichen Literatur; 2. Zeitliche Reihenfolge der behandelten Literaturwerke; 3. Geschichte der mittelalterlichen ungarischen Geschichtsschreibung. Die Gesichtspunkte für die Behandlung des Stils unserer mittelalterlichen lateinischen Literatur entnimmt der Verfasser den *Artes dictandi* und den Formularien und gelangt dabei zu dem Schluss, dass sich die Lehren der ausländischen *dictatores* auch in unserer lateinischen Literatur verfolgen lassen. Für diese Erkenntnis erbringt er auch den Nachweis nahezu bei allen wesentlicheren Werken unserer aus der Arpadenzeit stammenden Literatur. Eingehend kennzeichnet er die für unsere Prosakunst bezeichnenden Stilgattungen.

In dieser Hinsicht betrachtet der Verfasser als charakteristische Stilgattung unserer Literatur des XI. und XII. Jahrhunderts die Reimprosa, sieht in der Wende des XII. zum XIII. Jahrhundert eine Übergangszeit, und stellt von der Mitte des XIII. Jahrhunderts ausgehend die allgemeine Verbreitung der rhythmischen Prosa fest. Er erstreckt seine Untersuchungen auch auf die Urkunden und weist auf den Umstand hin, dass in unserer rhythmischen Prosa aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts sich neben den auch im Ausland gebräuchlichen Formen des *cursus planus*, *cursus velox* und *tardus* der in der ausländischen Literatur des XIII. Jahrhunderts nur äusserst selten angewandte *dispondaicus* (*trispondaicus*) geltend macht, was er für eine ungarische Eigenart in der Geschichte der rhythmischen Prosa hält. Bezüglich der Verbreitung dieser Form bemerkt er: «Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass diese Form bei uns deshalb eine so allgemeine Verbreitung fand, weil die Betonung der im *trispondaicus* enthaltenen Wörter an einen bereits vorhandenen ungarischen Rhythmus erinnerte.» Die weitgehende Verwendung dieses *trispondaicus* betrachtet der Verfasser als kennzeichnende Eigenart unserer Chronisten des XIII. Jahrhunderts. Dagegen weist er darauf hin, dass bei dem aus Italien stammenden Rogerius sich eine den westlichen Gebräuchen angepasste rhythmische Prosa geltend macht. In den Chroniken des XIV. Jahrhunderts entdeckt er eine von den Gebräuchen des vorhergehenden Jahrhunderts abweichende, der ausländischen Literatur entsprechende regelmässige Rhythmisierung. Gegenüber dem tadellos rhythmischen Werke des Minoriten bemerkt er bei Mark von Kalt verschiedene Unregelmässigkeiten.

Im Verfolge seiner Stilkritik entdeckte der Verfasser in einigen Werken unserer mittelalterlichen Literatur solche vom Einfluss der *Ars dictandi* unabhängige Stileigentümlichkeiten, die sich weder mit der Kenntnis der *Ars dictandi*, noch mit ausländischer Schulung erklären lassen, weshalb sie nach Ansicht des Verfassers für eine bezeichnende Eigenart der zeitgenössischen ungarischen Volksdichtung, der ungarischen Epik zu gelten haben. Beispiele hierfür erbringt er aus dem Werke des Anonymus und aus ungarischen Gedichten vom Ausgang des Mittelalters. Entgegen unserer bisherigen Annahme zieht er die Folgerung, dass Anonymus in seinen *Gesta* nicht etwa Jokulatorenlieder in Prosa umsetzte, sondern die in diesen Gesängen enthaltenen Erzählungen verwendete. Diesen charakteristischen Erzählungsstil suchte er auch in unseren Chroniken, und zum Teil mit dessen Hilfe sonderte er den von Béla I., von Géza und dem III. Ladislaus handelnden Chronikenteil vom übrigen Werk. Damit teilte der Verfasser die sogenannten *Gesta* aus der Zeit des III. Ladislaus in zwei gesonderte Teile. Als Verfasser des ersten, von ihm «*Gesta Ungarorum Vetera*» genannten Teiles betrachtet er den Bischof Nikolaus, der auch die Gründungsurkunde des Klosters Tihany verfasste, während er für den Autor des zweiten Teiles, der *Gesta Ladislai* einen unbekannten Chronisten aus der Regierungszeit König Kolomans hält. Nach Ansicht J. Horváths dürfte Bischof Nikolaus sein Werk in den Jahren 1055–1060 geschrieben und als Zeitgenosse des Bischofs Gellért den Aufstand der Heiden miterlebt haben. In seinem Werk dürfte sich Nikolaus recht eingehend

mit dem Martyrium des Bischofs Gerhard des heiligen und mit der Empörung der Vata beschäftigt haben und vermutlich ist die Schilderung dieser Ereignisse von da in die umfangreichere Gerhard-Legende übergegangen, die uns dann bedeutend mehr Einzelheiten aus der Erzählung des Bischofs Nikolaus überliefert hat, als der auf uns gekommene Chronikentext.

Das Verdienst, die Geschehnisse des XII. Jahrhunderts verewigt zu haben, spricht unser Verfasser einem ungenannten Chronisten aus der Zeit König Stefans III. zu. In Übereinstimmung mit Gy. Györfy hält er für den Chronisten des XIII. Jahrhunderts den Magister Ákos, bei dem er oligarchische Gesinnung wahrnimmt. Auf Grund seines lateinischen Stiles und seiner sozialen Anschauungen zieht der Verfasser einen scharfen Trennungsstrich zwischen diesem Magister Ákos und Simon von Kéza, dem «fidelis clericus» des Ladislaus IV., dem er als Verfasser auch die Geschichte der Hunnen zuschreibt.

Dem Buche Horváths müssen vielerlei Verdienste zugesprochen werden. Um nur das wichtigste unter diesen zu erwähnen: er war der erste, der unsere in lateinischer Sprache verfassten Literaturwerke aus der Arpadenzeit in ihrer Gesamtheit sowohl hinsichtlich ihres Stiles, als auch betreffs der in ihnen zur praktischen Anwendung gebrachten Erfordernisse einer kunstvollen Prosa einer systematischen Prüfung unterzog. (Wie bereits erwähnt, erstreckte sich diese Untersuchung auch auf die Urkunden.) Sein Verfahren wandte der Verfasser mit vollem Erfolg an und der Erfolg dieses Vorgehens beweist uns über seine literaturgeschichtliche Bedeutung hinaus, dass wir es überall, wo es angebracht ist, in unserer Textkritik auf möglichst weitem Gebiete anzuwenden haben. Gewiss kann dieses Verfahren — wie dies übrigens vom Verfasser in seinem Buche eigens betont wird und von ihm auch als richtig erkannter Grundsatz verwirklicht wird — nicht für sich allein bestehen und keine ausschliessliche Methode darstellen, sondern nur in gemeinsamer Anwendung mit den übrigen Methoden der Textkritik zum erwünschten Ziele führen. Das Buch trägt nahezu zu sämtlichen belangreichen Fragen unserer auf die Arpadenzeit bezüglichen Literaturgeschichte neue, wesentliche Gesichtspunkte bei, und einiger seiner wichtigsten Ergebnisse haben wir hier in unserer kurzgefassten Besprechung bereits Erwähnung getan. Überdies vermittelt jedoch das Buch Horváths wichtige Kenntnisse auch für die Geschichtsforschung und deren Hilfswissenschaften, sowie für jeden Forscher, der sich dem Studium der mit dem lateinischen Schrifttum Ungarns zusammenhängenden Fragen widmet. In mancher Hinsicht enthält das Werk auch für die Rechtswissenschaft wertvolle Hinweise. Was nämlich den Verfasser der Chronik des XIII. Jahrhunderts betrifft, so beweist hier Horváth erstmalig (wenn wir von einigen in allgemeinen Ausdrücken gehaltenen Bemerkungen absehen), was bereits im Jahre 1847 Gy. Bartal bezüglich der ungarischen Rechtsgebräuche des XIII. Jahrhunderts feststellte: die bereits damals bestehenden Kenntnisse des römischen Rechtes. (Siehe Bartal: Comm. ad hist. status jurisque publici Hung... Tom. III. pag. 12—13.)

Wir bedauern aufrichtig, dass J. Horváth das vielumstrittene Gesetzbuch Andreas III. aus dem Jahre 1298/99 nicht in das Gebiet seiner Untersuchungen miteinbezog und keinen Versuch unternahm, die Entstehungszeit des zweiten Teiles des Dekretes zu klären. Gewiss hätte er uns auch diesbezüglich neue Hinweise und interessante Aufklärungen geben können.

J. GERICS

The *Acta Antiqua* publish papers on classical philology in English, German, French, Russian and Latin.

The *Acta Antiqua* appear in parts of varying size, making up one volume. Manuscripts should be addressed to:

Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440.

Correspondence with the editors or publishers should be sent to the same address.

The rate of subscription to the *Acta Antiqua*, is 110 forint a volume. Orders may be placed with „Kultura” Foreign Trade Company for Books and Newspapers (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Account No. 43-790-057-181) or with representatives abroad.

Les *Acta Antiqua* paraissent en allemand, anglais, français, russe et latin et publient des travaux du domaine de la filologie classique.

Les *Acta Antiqua* sont publiés sous forme de fascicules qui seront réunis en un volume.

On est prié d'envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l'adresse suivante :

Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440.

Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse.

Le prix de l'abonnement est 110 forints par volume.

On peut s'abonner à l'Entreprise pour le Commerce Extérieur de Livres et Journaux «Kultura» (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Compte-courant N^o. 43-790-057-181) ou à l'étranger chez tous les représentants ou dépositaires.

«*Acta Antiqua*» публикуют трактаты из области классической филологии на русском, немецком, французском, английском и латынском языках.

«*Acta Antiqua*» выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том.

Предназначенные для публикации рукописи следует направлять по адресу :

Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440.

По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации.

Подписная цена «*Acta Antiqua*» — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultura» (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Текущий счет № 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномоченные.

INDEX

Э. Беке: Возникновение падежей в индоевропейских и финно-угорских языках ..	1
M. Riemschneider: Die Herkunft der Philister	17
A. Dávid: Un fragment de brique sigillée de Nabû-kudurri-ušur II	31
W. Ruben: Der Minister Jābāli in Vālmīkis Rāmāyaṇa	35
Á. Szabó: Achilleus, der tragische Held der Ilias	55
Á. Szabó: Wie ist die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft geworden?	109
Дь. Надор: Фатализм и верование в чудеса в мировоззрении эллинизма	153
A. Förster: Prolegomena metrica	171
Э. Мароти: Пиратство около Сицилии во время пропреторства Верреса	197
I. Borzsák: Otium Catullianum	211
A. Mócsy: Die Entwicklung der Sklavenwirtschaft in Pannonien zur Zeit des Prinzipates	221
T. Nagy: Les campagnes d'Attila aux Balkans et la valeur du témoignage de Jordanès concernant les Germains	251
Д. Чаллань: Памятники византийского металлообрабатывающего искусства II ...	261
†M. Gyóni: Les variantes d'un type de légende byzantine dans la littérature ancienne-islandaise	293
Scriptores Graeci et Latini. Nouvelles éditions bilingues de l'Académie Hongroise des Sciences (J. Gy. Szilágyi)	315
R. Bianchi-Bandinelli: Situazione dell' arte greca nella cultura contemporanea (J. Gy. Szilágyi)	322
Moravcsik Gy.: Bizánc és a magyarság (Gy. Moravcsik: Byzantium and the Hungarians) (†M. Gyóni)	326
Horváth J.: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái (J. Horváth: Stilprobleme unserer lateinsprachigen Literatur der Arpadenzeit) (J. Gerics)	330